69 ЭТЮДОВ О РУССКИХ ПИСАТЕЛЯХ

ЮРИЙ БЕЗЕЛЯНСКИЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга продолжает тему предыдущей книги Юрия Безелянского "99 имен Серебряного века". Она посвящена русской классической литературе (от Сумарокова до Надсона) и советской литературе (от Пильняка до Высоцкого). Представлены, разумеется, не все авторы XIX-XX веков, но все же присутствуют многие: Пушкин, Тютчев, Белинский, Герцен, Гоголь, Салтыков-Щедрин... Вересаев, Грин, Катаев, Хармс, Галич, Шаламов, Рубцов... Книга написана в своеобразной манере эссе-биографий. Особо выделена тема "Художник и власть", показывающая, на каком историческом фоне и в каких социальных условиях создавались лучшие произведения русской и советской литературы.

- Юрий Безелянский
  - БЕЗЕЛЯНСКИЙ
  - АВТОРСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ
  - ДОРОГА НА ЭШАФОТ
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
  - ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
    -
    - ЗАБЫТЫЙ ПЕРВЫЙ
    - КОЛКИЙ ФОНВИЗИН
    - БУНТОВЩИК? НЕТ, РЕФОРМАТОР!
    - «ЧАРОДЕЙСТВО» НИКОЛАЯ КАРАМЗИНА
    - ПОЭТ-ГУСАР
      -
      - Друг Пушкина
      - На службе и в отставке
      - Любовные кулисы гусара
      - Немного о водке
    - ОТ ЛЮБВИ К БЕЗУМИЮ
    - СФИНКС РУССКОЙ ЖИЗНИ
    - РОМАНТИК НА ЭШАФОТЕ
    - В ТОСКЕ «ПО РОДИНЕ И ВОЛЕ»
    - ЕГО УБИЛО ОТСУТСТВИЕ ВОЗДУХА

-
- Версии причин
- Дифирамбы Пушкину
- Разговоры с памятником
- Пушкиноведение
- Современное прочтение классика
- Финальный аккорд

- ЗА ДАЛЬЮ – ДАЛЬ
- БЛАЖЕНСТВО И БЕЗНАДЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ
- ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СЛАВЯНОФИЛОВ
- ПЕРВЫЙ РОСКОШНЫЙ ПОЭТ РОССИИ
- НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА ГОГОЛЯ
  -
  - Отчего умер Гоголь
  - Жизнь после смерти
  - Разгадка Гоголя
  - Гоголь и странствия
  - Гоголь и женщины
  - Гоголь и Россия
  - Гоголь и русская литература
  - Резюме от Гоголя
- НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН
- БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ
- НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ГОНЧАРОВА
- ГЕРОЙ КАКОГО ВРЕМЕНИ? ПРОШЕДШЕГО ИЛИ НАШЕГО?
- СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА – И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
  -
  - Встреча на балу
  - Алексей Константинович
  - Софья Андреевна
  - Долгожданный брак
  - Тайна
- ХОЖДЕНИЕ ПО «ДРЕМУЧЕМУ ЛЕСУ ЗАКОНОВ»
- ПРОПАЛИ ЛИ ЛАСТОЧКИ АФАНАСИЯ ФЕТА?
- ПОЧИТАТЕЛЬ ЗДРАВОГО СМЫСЛА
- ДОСТОЕВСКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ И БЕЗ КРАЯ
  -
  - Бездны Достоевского
  - Мнения и оценки
  - Ниспровергатели
  - Немного о языке и стиле
  - Бесы
  - На сцене и на экране

- ОН СОВЕТОВАЛ: «БДИ!»
- ВЕЧНО ЗЛОБОДНЕВНЫЙ НЕКРАСОВ
- «ПОДРУГА СЕМИСТРУННАЯ» ПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА
- ЛЕТОПИСЕЦ ГОРОДА ГЛУПОВ
- ПРОРОК ПО ИМЕНИ «КАНАШЕЧКА»
  -
  - Миф и его разрушение
  - Чернышевский глазами Набокова
  - Несколько слов в защиту писателя-демократа
  - Канашечка
  - И снова «Что делать?»
  - Родственники Чернышевского
- ЛЕВ ТОЛСТОЙ В МОСКВЕ
- НА ГРАНИ ДНЯ И НОЧИ
- ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛЕБЕДЬ
- РЫДАЮЩИЙ ПОЭТ
- ЭНТУЗИАСТ И ПРОПАГАНДИСТ ЧТЕНИЯ

○ ОТ ЗОЛОТА К СЕРПУ И МОЛОТУ

-
- ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ «ГРЯДУЩЕГО ХАМА»
- БУРЕВЕСТНИК, ПОЙМАННЫЙ В СЕТИ
  -
  - Линия судьбы
  - Линия любви
- ИСКАТЕЛЬ ПРАВДЫ
- ПОНИКШИЕ АЛЫЕ ПАРУСА
  -
  - Краткие вехи жизни
  - Мнения и оценки творчества Грина
  - Две женщины Александра Грина
- ПОЭТ И РЫЦАРЬ НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ
  -
  - Маленькое послесловие
- МАЯКОВСКИЙ КАК ТЕРМИНАТОР
- ПОЭТ-МСТИТЕЛЬ

○ РОМАН БЕЗ РОМАНА

-
- Первые встречи
- Первые письма
- Накал отношений
- Как писались письма
- Марина Цветаева о себе

- Борис Пастернак о себе
- Быт поэтов
- И другие темы
- Продолжение романа
- Новый поворот
- Спад в переписке
- Встреча-отторжение
- Встречи (невстречи) на родине
- Гибель и возвращение

○ «НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ...»

-
- СЪЕЗД БОЛЬШИХ НАДЕЖД
  -
  - Зачем был нужен съезд
  - Открытие съезда
  - И далее на съезде
  - Страсти по поэзии
  - Концовка съезда
  - Зачистка литературного поля
- КАК УБИВАЛИ ЗОЩЕНКО И ТРАВИЛИ АХМАТОВУ
- НОЧЬ УБИТЫХ ПОЭТОВ
- ОДИНОКИЙ ВОЛК ОКТЯБРЯ
- ПРОФЕССОР ПОЭЗИИ
- ДВА КАТАЕВА
- ПУТЬ НА ГОЛГОФУ
- МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО
- СУДЬБА ОБЭРИУТОВ
- АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ
  -
  - Немного биографии
  - Стихи
  - Личная жизнь
- ДАНИИЛ ХАРМС
- ОДИНОКИЙ ГОЛОС
- «РОЗА МИРА» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА
- «НАС УТРО ВСТРЕЧАЕТ ПРОХЛАДОЙ...»
- ЛЕТОПИСЕЦ И ЛИРИК
- НЕПОДКУПНАЯ И НЕПРИМИРИМАЯ
- ИЗРАНЕННОЕ СЕРДЦЕ ШАЛАМОВА
- НАСЛЕДНИК СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
- БАЛОВЕНЬ ИЛИ БОРЕЦ?
- «Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ»

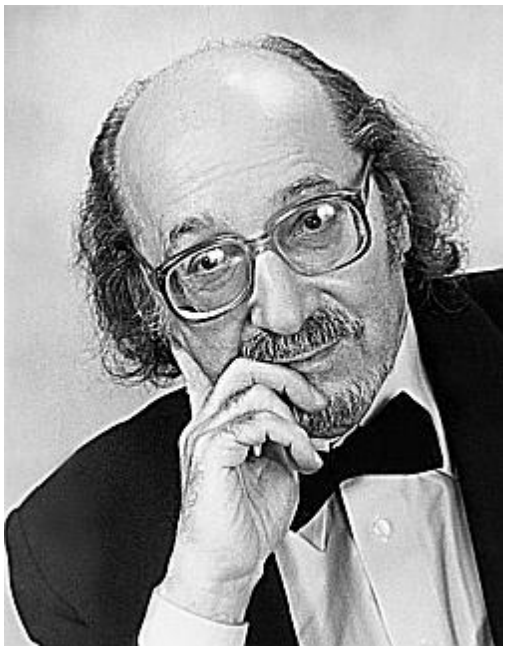
- Ошибка автора
- Советский период
- Антисоветский период
- Песни
- Евреи
- Жены
- Гонения
- На Западе
- Смерть
- Эпилог

- ПОЭТ, МЕЧТАТЕЛЬ И ВОИН
- КЛОУН СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ
- БУЛАТ ВСЕГДА БУЛАТ
- ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ ЮРИЯ КАЗАКОВА
- ПЕЧАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА НИКОЛАЯ РУБЦОВА
- НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПРОЩАНИЕ
- А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ...
- «...И НЕ НАДЕЙТЕСЬ – Я НЕ УЕДУ!»
- МОСКВА – ПЕТУШКИ, ДАЛЕЕ БЕЗДНА, ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА ПО КЛИЧКЕ ЕРОФЕИЧ
  - Тип русского человека
  - Петушки – наш тоскующий град
  - «И в запой отправился парень молодой»
  - Возвращение к «Петушкам»
  - Пришелец из Заполярья
  - Книжный человек
  - Веничка во весь рост
  - Женщины Венедикта Ерофеева
  - «С чего начинается Родина?..»
  - Болезнь и смерть
  - Нечто личное
- ИСТОРИЯ С ХРОНОЛОГИЕЙ
  - ПЕРВЫЙ СБОРНИК «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»
  - МАЙ – МЕСЯЦ ПОЭТОВ

- notes
  - 1

Юрий Безелянский
69 этюдов о русских писателях

БЕЗЕЛЯНСКИЙ Юрий



Московский журналист, писатель, культуролог. Лауреат премии Союза журналистов РФ 2002 года в номинации «Профессиональное мастерство». Автор 26 книг – «От Рюрика до Ельцина», «Вера, Надежда, Любовь», «Улыбка Джоконды», «5-й пункт, или Коктейль “Россия”», «Ангел над бездной», «Огненный век» (панорама российской истории XX века), «Московский календарь», «Культовые имена», «Прекрасные безумцы», «Все о женщинах» и т.д. Автор более 1600 публикаций в газетах и журналах России и США.

АВТОРСКОЕ ПОЯСНЕНИЕ

Я – из племени Читателей. Из тех, кто любит Книгу. И мне очень интересны судьбы русских писателей.

Я сам автор, и мне близки их муки творчества, чаяния и надежды. Их любовь к России и критика России. Их страстное желание, если использовать слова Державина, превратить страну из «вертепа разбойничья» в «блаженный Эдем».

И еще одно признание: по натуре своей я – классификатор, систематик. И мне давно хотелось провести свой, сугубо индивидуальный и, соответственно, субъективный смотр русской и советской литературы. Подобно Юлию Айхенвальду, создать «Силуэты русских писателей». Идея, конечно, дерзкая и даже сумасшедшая. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А так хочется пузырьков и легкого головокружения.

О судьбе многих писателей я писал в разных своих книгах, а также в газетах и журналах. И настала пора объединить их всех под одной обложкой. Так появилась книга «99 имен Серебряного века» (Эксмо, 2007). Но это «серебристы», а как же другие поэты и прозаики? И вот появилась идея написать о Золотом веке. Кстати, в Литературной энциклопедии нет такого понятия, как «золотой век», только «Золотое руно» – художественный журнал, издававшийся в 1906 – 1909 годах. Но термин «золотой век» все же существует. И он связан в первую очередь с Пушкиным и пушкинской плеядой, когда все осветилось, засверкало, заблистало. Какие восхитительные книги появились на свет! Какие дивные стихи! Какая удивительная проза! Какой блистательный перечень имен: Пушкин, Баратынский, Вяземский, Жуковский, Гоголь, Тютчев, Фет, Тургенев... А три титана русской литературы: Лев Толстой, Достоевский, Чехов?!..

Нет, Золотой век существует. Он, как Эверест, непокоренная вершина для современных авторов, свет маяка в бушующем море. И все же вторую книгу я первоначально решил назвать не «Золотой век», а «Великая литература», ибо ею гордились в России, она покорила Европу и весь остальной книжный мир. А к великой литературе можно присоединить советскую, дать их вместе, тем более что у них был один объединяющий фактор: власть. И в царской России, и в советской империи власть не уважала писателей, не доверяла им, боялась их. Избавлялась от них различными способами: кого в ссылку, кого к стенке, кому кляп в рот, кого дубинкой по голове. Учитывая все эти обстоятельства, и родилась другая идея названия книги «Великая литература, или Дорога на эшафот». И даже эпиграф приглянулся

из стихотворения Александра Кушнера:

Если кто-то Италию любит,
Мы его понимаем, хотя
Сон полуденный мысль ее губит,
Солнце нежит и море голубит,
Впала в детство она без дождя.

Если Англию – тоже понятно.
И тем более – Францию, что ж,
Я впивался и сам в нее жадно,
Как пчела… ах, на ней даже пятна,
Как на солнце увидишь – поймешь.

Но Россию со всей ее кровью,
Я не знаю, как это назвать, —
Стыдно, страшно, – неужто любовью?
Эту рыхлую ямку кротовью,
Серой ивы бесцветную прядь.

Но потом и этот заголовок был отброшен (эшафот – не коммерческое название, может отпугнуть читателя). Короче, сплошные муки. Мучился-мучился и пришел к простенькому названию: «69 этюдов о русских писателях». Очень сериально: 99 имен Серебряного века и 69 писателей классической русской и советской литературы. И не толстенный том ЖЗЛ об одном писателе, а всего лишь этюды о многих. Не большая симфония, а так – «Этюды» Рахманинова, к примеру. У художников бытует выражение: пойти на этюды. То есть писать красками с натуры, делать заготовки, эскизы для будущих больших полотен. Вот отсюда и родились литературные этюды. И, разумеется, не обо всех (на всех сил никаких не хватит!), а выборочно о некоторых. Нет Державина, Жуковского, Грибоедова, Крылова… Словом, велик перечень тех, кого нет. Из советских отсутствуют Шолохов, Леонов, Федин… И все же многие большие писатели есть. Они выбраны по собственному вкусу или по другим таинственным соображениям автора, – так я решил, и никто мне не указывал, кого брать, а кого нет.

А в итоге получилась книга литературных судеб. Хочу предупредить, что она написана не для литературоведов, не для критиков, не для писателей, не для знатоков литературы. В ней нет академического пафоса, научного занудства и филологических глубин. Она проста, как слеза младенца, и ясна, как румянец на его щеке. Это просто «чтиво». Знакомство-воспоминание о русской литературе («Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...»). О ее творцах и их нелегкой судьбе.

И приведу одну цитату из Владимира Набокова:

«Литература родилась не в тот день, когда мальчик кричал «волк, волк», выбегая из неандертальской долины, преследуемый по пятам большим серым волком; литература родилась, когда мальчик притворно кричал «волк, волк», а волка за ним не было. Что бедняжка, из-за того, что лгал, был в конце концов съеден настоящим зверем, совершенная случайность. Но здесь вот что важно. Между волком в небывало высокой траве и волком в небылице есть мерцающий посредник. Этот посредник, эта призма и есть искусство литературы».

Вот и данная книга – всего лишь «мерцающий посредник». Блуждающий огонек в современной тьме тотального невежества. Ныне культура и литература пребывают в глубоком загоне. В бездыханном нокауте. В современной России правят бал нефть и газ. Все крутится исключительно вокруг денег. А энергоносительную элиту обслуживает развеселая попса – гламурненькие книжечки, муторные детективчики, триллеры и прочие ужастики. Поющие, идущие, танцующие. И всё ненастоящее, всё – фанера, квази и псевдо. Люди-фантомы. И вот среди этого энергокарнавального веселья пусть мелькнет эта книга про муки и слезы великой литературы, про эшафот Достоевского и слезы Надсона. Вдруг книга вызовет в обедневших и очерствелых душах какой-то отклик...

Когда-то Эмиль Золя написал статью «Я обвиняю». Я не обвиняю. Я всего лишь надеюсь...

Сентябрь 2007 г.

ДОРОГА НА ЭШАФОТ
Предисловие

I

Вся Русь – костер. Неугасимый пламень.
Из края в край, из века в век
Гудит, ревет... и трескается камень.
И каждый факел – человек.

Максимилиан Волошин,

«Китеж», 1919

Русскому писателю казни не избежать: а уж кто, как и когда будет ее исполнителем, как сложатся обстоятельства, – это дело случая:

Глаза усталые смежа,
В стихах, пожалуй, ворожа,
Но помни, что придет пора, —
И шею брей для топора!

Владислав Ходасевич,
«Кровавая пища», 1932

Я не собираюсь открывать Америку. Она давно открыта.

И не хочу воспевать великую русскую литературу. Она давно воспета и покоится в величии и блеске.

Я хочу только вспомнить и выстроить в своей памяти дорогу на эшафот, по которой проследовали многие русские писатели и поэты. Конечно, любой школьник знает, что Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли. Что Гоголь сжег рукопись второго тома «Мертвых душ». Что Есенин повесился, а Маяковский застрелился. Но если бы только они одни. Мартиролог чрезмерно велик. И, как отметил Ходасевич: «в известном смысле историю русской литературы можно назвать историей изничтожения русских писателей». Хотя Михайло Ломоносов на румяной заре русского сочинительства утверждал, что «музы не таки девки, которых завсегда изнасильничать можно». Еще как можно! И насиловали. И мордовали. И ногами топтали.

Вспомним Василия Тредиаковского, реформатора русской поэзии.

Поэтом нулевого цикла

Я б Тредиаковского назвал, —

восклицал наш современник Вадим Шефнер. В книге «Из старой шкатулки» Валентин Пикуль пишет: «У мученика российской словесности была страшная судьба. Всю жизнь работал, как вол, в награду получал палки надругательства». Историческое извлечение: «Тредиаковскому не раз случалось быть битым. В деле Волынского сказано, что сей однажды, в какой-то праздник, потребовал оду у придворного пииты, Василия Тредиаковского, но ода была не готова, и пылкий статс-секретарь наказал тростью оплошного стихотворца».

И снова к Пикулю: «Брел Тредиаковский через Неву и было ему до слез обидно. Он ли грамматики не составитель? Он ли од торжественных не слагатель?» «Так что ж вы, людишки, меня-то, как собаку бездомную, по кускам рвете? Тому не так. Этому не эдак. И любая гнида учит, как надо писать». – Кого учите? – спросил поэт у ночной тишины...»

Шел XVIII век. Пушкин еще не родился.

«За Тредиаковским пошло и пошло. Побои, солдатчина, тюрьма, ссылка, изгнание, каторга, пуля беззаботного дуэлянта, не знающего, на что подымает он руку, эшафот и петля – вот краткий перечень лавров, венчающих «чело» русского писателя, – так писал Владислав Ходасевич в своей небольшой статье «Кровавая пища» и продолжал. – Вслед за Тредиаковским – Радищев; «вослед Радищеву» – Капнист, Николай Тургенев, Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Одоевский, Полежаев, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Чаадаев (особый, ни с чем не сравнимый вид издевательства), Огарев, Герцен, Добролюбов, Чернышевский, Достоевский, Короленко... В недавние дни: прекрасный поэт Леонид Семенов, разорванный мужиками, расстрелянный мальчик-поэт Палей и расстрелянный Гумилев.

Я называю имена лишь по одному разу. Но ведь на долю скольких пришлось по две, по три «казни» – одна за другой! Разве Пушкин, прежде чем был пристрелен, не провел шесть лет в ссылке? Разве Лермонтов, прежде чем был убит, не узнал солдатчины и не побывал тоже в ссылке? Разве Достоевского не возили на позорной тележке и не взводили на эшафот, прежде чем милостиво послали на каторгу? Разве Рылеев, Бестужев и Гумилев перед смертью не узнали, что есть каземат? Еще ужаснее: разве Рылеев не дважды умер?

Но это – только «бичи и железы», воздействия слишком сильные, прямо палаческие. А сколько же было тайных, более мягких и даже вежливых? Разве над всеми поголовно не

измывались цензора всех эпох и мастей? Разве любимых творений не коверкали, дорогих сердцу книг не сжигали? Разве жандармы и чекисты не таскали к допросу и не сажали в каталажку, чуть не по очереди, без разбору, за то именно, что – писатель? А полицейский надзор, который порой поручался родному отцу (это было с Пушкиным)? А придирки начальства, отравляющие каждую минуту жизни? А дикая, одуряющая нищета, с алчностью издателей, с судорожной работой наспех – с этой великой казнью для всякого художника: быть недовольным своими созданиями? А «широкая публика», своим рыночным спросом вечно снижающая литературный уровень и обрекающая писателя шутовству в той или иной степени?..»

Обрываю эту пространную выдержку из статьи Ходасевича, напечатанную в эмигрантской газете «Возрождение» 21 апреля 1932 года. Она была воспроизведена в книге «Колеблемый треножник» в 1991 году и больше нигде не перепечатывалась. Отдадим должное перу мастера, блестящему поэту и не менее блестящему критику. Я всегда выступаю за цитатность и не соревнуюсь с корифеями. Цитировать их – значит, дышать с ними одним воздухом. Тема горьких писательских судеб была близка Ходасевичу. Он сам испытал эмигрантское лихо, живя в Париже.

Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом... —

так писал Ходасевич в невыносимой тоске и печали в далеком 1922 году. Но не будем об эмиграции, это – особая тема. И примеров, помимо Ходасевича, очень много. Болезненно много.

В России, на родине, всякий пишущий вступает в особые отношения с властью. Власть тут как тут. Нависает над письменным столом и чернильницей и учит (а иногда и приказывает), как писать, как жить, как дышать. Как там у Гавриила Державина?

Поймали птичку голосисту
И ну сжимать ее рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: пой, птичка, пой!

1792

Россия – страна особая. Сколько мудрых людей пытались ее разгадать, но никак разгадка не удается – ни умом, ни чувством, ни интуицией. Отчаявшись ее понять, Максимилиан Волошин восклицал:

Кто ты, Россия? Мираж? Наважденье?
Была ли ты? Есть? Или нет?
Омут... стремнина... головокруженье...
Бездна... безумие... бред...

«Неопалимая купина», 1919

В России издревле душили свободу, и в частности свободу слова. И в первую очередь доставалось писателям, которые никак не хотели шагать в ногу вместе с властью. Правители России хотели видеть своих подданных только в качестве рабов и «тварей дрожащих» и никак не желали видеть в опасной близости от себя граждан независимых и свободных. Гражданского общества в России, как не было во времена Петра и Екатерины, так нет его и теперь. Только мечты и вздохи: «О вольность, вольность, дар бесценный» (Радищев).

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле
предрассуждений
Воссела – рабства грозный гений
И славы роковая страсть...

Пушкин. Ода «Вольность», 1917

Кстати, об Александре Сергеевиче. В честь 200-летия со дня рождения на ТВ был произведен интерактивный опрос: «Кто погубил Пушкина: злая жена, цирроз печени, Грушницкий?» Под стать вопросам были и ответы. В новейшей малограмотности и ужасающей дремучести совершенно исчезла тема: Пушкин и власть. Вроде бы ее не было. Пушкин был кудряв и счастлив. Поэтому еще и еще раз хочется напомнить про российский эшафот.

Вернемся к Радищеву. «Первый пророк и мученик революции»

– так сказал о нем Луначарский. «Бунтовщик хуже Пугачева», – изрекла Екатерина II. И приказала заковать свободолюбивого писателя в кандалы и отправила его в Сибирь. При Александре I Радищева освободили, но он, испугавшись «новой Сибири», покончил жизнь самоубийством в возрасте 43 лет.

А как не вспомнить Николая Новикова, русского просветителя, писателя, издателя, критика, который, избрав псевдоним Правдолюбова, выступал против Екатерины II и отстаивал независимость литературы от власти. И тогда был дан приказ сверху: проверить, нет ли в изданных Новиковым книгах «какого-либо колобродства, нелепых умствований и раскола»? Конечно, нашли, и тут же Новиков без всякого суда был заключен в Шлиссельбургскую крепость. Его просветительское дело было разгромлено, книжные лавки в разных городах упразднены, сотни, тысячи изданных им книг запрещены, уничтожены, сожжены. Ну, а сам Новиков был физически и психологически сломлен.

Дениса Фонвизина не тронули, но тем не менее в 40 лет его разбил паралич. Лакей возил его в колясочке. Возле университета Фонвизин махал рукой и кричал выходящим из здания студентам: «Не пишите, молодые люди, не пишите. Вот что сделала со мной литература...»

Ну, а тем, кто не только писал, но хотел и действовать, декабристам например, тем и вовсе пришлось туго. Кондратий Рылеев все фрондировал: «Что за веселье без свободы, что за весна – весна рабов!..» Да еще говорил: «Мне тошно здесь, как на чужбине». И что в итоге? 13 июля 1826 года Рылеева повесили на кронверке Петропавловской крепости. Он не успел отметить свое 31-летие.

Александр Бестужев-Марлинский, декабрист. Сначала был заключен в крепость, затем сослан рядовым на Кавказ. Погиб в бою 7 июня 1837 года, в 38 лет. Подавал большие литературные надежды. Критиковал «Евгения Онегина» Пушкина за отсутствие «резкого злословия».

Еще один поэт-декабрист Александр Одоевский. Этапы жизни: тюрьма, ссылка, строительство Лазаревского форта, смерть от малярии в 37 лет.

Вильгельм Кюхельбекер, поэт, прозаик, драматург, критик, друг Пушкина – Кюхля. Современники называли его Дон Кихотом за неспособность лукавить или смолчать, Кюхельбекер всегда говорил правду-матку в глаза. Был узником многих крепостей и последние годы провел на поселении в Сибири. Перед смертью написал стихотворение «Участь русских поэтов».

Горька судьба поэтов всех племен;
Тяжелее всех судьба казнит Россию...

Молодой поэт Александр Полежаев написал неканоническую поэму «Сашка», копия которой дошло до Николая I. Сразу же наказание: разжалован из офицеров в солдаты. За побег был лишен дворянского звания и посажен в солдатскую тюрьму. Скончался от развившегося туберкулеза в 33 года и, как он написал: «Я умру! На позор палачам беззащитное тело отдам!..»

Михаил Лермонтов, погибший в 26 лет! Уж в совсем ранние 15 лет в стихотворении «Жалобы турка» (1829) писал:

Там стонет человек от рабства и цепей!..
Друг! Этот край... моя отчизна! —

писал о Турции, думая о России? А вот и знаменитые строки с точным адресом:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты послушный им народ.

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Атмосфера. Политический климат. Общественные нравы и порядки. Все это тяжелым камнем давило в первую очередь на мыслящих, созидающих людей. Многие не выдерживали.

Давно ль они кичася пили
Вино из синих хрусталей?.. —

вопрошал Константин Батюшков. И... сам сошел с ума. Дмитрий Веневитинов неожиданно простудился и умер в 22 года. «Я чувствую, во мне горит Святое пламя вдохновенья...» Горело и погасло. Грибоедов погиб в Тегеране – и еще неизвестно, какая судьба ожидала бы его в России. Аполлон Григорьев никак не мог встроиться в жизнь и сгорел от алкоголя. «О, говори хоть ты со

мной,/ Подруга семиструнная!..»

Особый случай с Петром Чаадаевым. «Главный рычаг образования души есть без сомненья слово...» – писал он в пятом «философском письме». В 1836 году по указанию Николая I Чаадаев был официально объявлен сумасшедшим и навсегда лишен права печататься. Как могла высшая власть допустить такое, к примеру, высказывание Чаадаева: «Любовь к отечеству есть вещь прекрасная, но еще прекраснее любовь к истине». Какая истина?! Истина в России – царь и трон. Что скажут, то и будет. А кто там на троне? – какая разница! Главное – молчание ягнят.

И перечитаем вновь Ходасевича:

«...идет череда: голодный Костров; «благополучный» Державин, преданный Екатерине и преданный Екатериной; измученный завистниками Озеров; Дельвиг, сведенный в могилу развратной женой и вежливым Бенкендорфом; обезумевший от «свиных рыл» и сам себя уморивший Гоголь; дальше – Кольцов, Никитин, Гончаров; заеденный друзьями и бежавший от них, от семьи куда глаза глядят, в ночь, в смерть, Лев Толстой; задушенный Блок, загнанный большевиками Гершензон, доведенный до петли Есенин. В русской литературе трудно найти счастливых: несчастливых – вот кого слишком довольно. Недаром Фет, образчик «счастливого» русского писателя, кончил все-таки тем, что схватил нож, чтобы зарезаться, и в эту минуту умер от разрыва сердца. Такая смерть в семьдесят два года не говорит о счастливой жизни. И, наконец, последнее поколение: только из числа моих знакомых, из тех, кого знал я лично, чьи руки жал, – одиннадцать человек кончили самоубийством.

Я называл имена без порядка и системы, без «иерархии», как вспомнились. И, разумеется, этот синодик убиенных не трудно было бы весьма увеличить. Сколько еще пало жертвой того общественного пафоса, который так бурно и откровенно выразил городничий в своих проклятиях «бумагомаракам, щелкоперам проклятым»? Того пафоса, коим охвачен был на моих глазах некий франтоватый молодой человек в Берлине, перед витриной русского книжного магазина, он сказал своей даме:

– И сколько этих писателей развелось!.. У, сволочь!

Это был маленький Дантес, совсем микроскопический. Или, если угодно, городничий, потому что ведь Дантес сделал то самое, о чем городничий думал. А городничий думал то самое, что, по преданию, сказано о смерти Лермонтова: «Собаке собачья смерть».

Лесков в одном из своих рассказов вспоминает об Инженерном корпусе, где он учился и где еще живо было предание о Рылееве. Посему в корпусе было правило: «за

сочинение чего бы то ни было, даже к прославлению начальства и власти клонящегося – порка: пятнадцать розог, буде сочинено в прозе, и двадцать пять – за стихи».

Возникает естественный вопрос, а как там на Западе, «с этим делом». Ходасевич отвечает: «Конечно, мы знаем изгнание Данте, нищету Камоэнса, плаху Андре Шенье и многое другое – но до такого изничтожения писателей, не мытьем, так катаньем, как в России, все-таки не доходило нигде. И, однако же, это, не к стыду нашему, а может быть, даже к гордости. Это потому, что ни одна литература не была так пророческой, как русская. Если не каждый русский писатель – пророк в полном смысле слова (как Пушкин, Лермонтов, Достоевский), то нечто от пророка есть в каждом, живет по праву наследства и преемственности в каждом, ибо пророчественен самый дух русской литературы. И вот поэтому – древний, неколебимый закон, неизбежная борьба пророка с его народом, в русской истории так часто и так явственно проявляется. Дантесы и Мартыновы сыщутся везде, да не везде у них столь обширное поле действий...»

Да, Россия – это ширь. Громадная территория и почему-то много писателей, думающих и пишущих. Пророков и кандидатов в пророки, и поэтому есть кого побивать камнями. Народ это делает с удовольствием, ну, а власть – с наслаждением.

У Владислава Ходасевича был один список жертв, у Корнея Чуковского свой. 30 марта 1958 года он записывает в дневнике о встрече с Михаилом Зощенко, с «заклейменным и отверженным»: «...Ни одной прежней черты. Прежде он был красивый меланхолик, избалованный славой и женщинами, щедро наделенный лирическим украинским юмором, человеком большой судьбы...» И вот после уничтожающей критики в печати (власть сказала: «Фас!»): «с потухшими глазами, со страдальческим выражением лица, отрезанный от всего мира, растоптанный. Ни одной прежней черты... Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь, – и этот потухший взгляд!»

И Корней Иванович восклицает: «Очень знакомая российская картина: задушенный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясенский, Ник. Бестужев – все раздавлены одним и тем же сапогом».

II

Самовластная власть в России всегда держала своих подданных под сапогом, и рабство впиталось в кровь. Немногие, как Радищев, могли гордо заявить:

Я то же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Да, всегда находились свободолюбивые люди с развитым гражданским чувством. Они все видели и все понимали. Отчетливо представляли весь исторический путь России. В 1920 году, в гражданскую войну, Максимилиан Волошин писал:

Сотни лет мы шли навстречу вьюгам
С юга вдаль – на северо-восток.
Вейте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба:
В этом ветре вся судьба России —
Страшная безумная судьба.
В этом ветре гнет веков свинцовых:
Русь Малют, Иванов, Годуновых,
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса,
Чертогона, вихря, свистопляса:
Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах – дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.

...Ныне ль, даве ль – все одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг.
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,

Замыслы неистовых хирургов
И размах заплечных мастеров.

Сотни лет тупых и зверских пыток, —
И еще не весь развернут свиток,
И не замкнут список палачей...

Волошинский «Северо-восток» был написан в 1920 году. Прошло еще почти 100 лет, свитки и списки значительно пополнились. И нет им конца и края... но вернемся в XIX век, а затем перейдем и в XX.

Вспомним примечательные слова Юлия Айхенвальда: «Тюрьма и Россия – это восток; свобода – это запад. Сущность декабризма – тяготение к западу, к его жизненному строю».

Юлию Айхенвальду предшествовали великие русские критики Белинский, Добролюбов, Чернышевский. Неистовый Виссарион ушел из жизни в 37 лет. Умирал медленно, мучительно, как все чахоточные. Перед его смертью в доме не осталось денег, семья Белинских жила в долг... Николай Добролюбов прожил еще меньше – 25 лет. Очень способный человек, истинный книжник, «юноша-гений», как назвал его Некрасов. Работа Добролюбова «Темное царство» – это масштабное исследование социальной патологии, основанное на социальном неравенстве и «самодурстве».

«И пока не будет правды между людьми, не поможет людям ничто», – это сказал Николай Чернышевский. Очень подходит к вопросу: «Что делать?» Свой знаменитый роман Чернышевский написал в крепости. Свыше двух десятилетий он провел в тюрьме, на рудниках и ссылке. Когда в 1874 году в Вилюйске ему посоветовали подать прошение царю о помиловании, Чернышевский ответил: «В чем же я должен просить помилование?.. Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроена на разный манер, а об этом разве можно просить помилования?..»

Справедливости ради следует сказать, что не всех русских писателей хватали, сажали и ссылали. Все шло по выбору: кого-то – хрясть, а кто-то доживал свой век в собственном доме, хотя и являлись, как принято нынче говорить, критиками режима – к примеру, Некрасов и Салтыков-Щедрин. Казалось, за поэму «Кому на Руси жить хорошо» или за «Размышления у парадного подъезда» можно было наказать автора. Но не наказали. Так, слегка пожурили. Может быть, потому, что Некрасов был хоть и певцом гражданской темы, но не бойцом, звавшим на баррикады,

всего лишь, как он сам говорил, «рыцарем на час»? И вполне благоразумный, цивилизованный призыв: «Сейте разумное, доброе, вечное...»

Более радикальным выглядел Михаил Салтыков-Щедрин. Сатирик с горечью писал о том, что «встречаются поколения, которые нарождаются при начале битья, а сходят со сцены, когда битье подходит к концу». Его симпатии были на стороне человека, вся жизнь которого есть «безмолвное геройство». Выведенные Салтыковым-Щедриным градоначальники града Глупова благоденствуют и поныне. «Великий диагност наших общественных зол и недугов», – так сказал о писателе Сеченов.

То, что удалось высказать Салтыкову-Щедрину, не удалось многим другим. Тут же замыкали рот и отбирали перья. У власти всегда находились литературные подручные, которые зорко наблюдали за литературой, что можно, а чего нельзя. Алексей Жемчужников называл их «литераторы-гасильники». В одном из стихотворений 1870 года он писал:

Теперь как будто для ума
Есть больше воли и простора, —
Хоть наша речь еще не скоро
Освободится от клейма
Литературного террора...
Несли мы рабски этот гнет;
Привыкли к грубым мы ударам.
Такое время не пройдет
Для нашей нравственности даром...

И Алексей Жемчужников 15 лет спустя (увы, «литературный террор» не кончился!) с горечью отмечал:

В пылу вдохновенья
Попробуй-ка, ухни —
Сейчас на съеденье
В цензурные кухни!..

А «В кабинете цензора» (так называется эпиграмма Дмитрия Минаева):

Здесь над статьями совершают
Вдвойне убийственный обряд:
Как православных – их крестят,
И как евреев – обрезают.

«Во времена Пушкина имелось множество экспертов, знающих, как создавать талантливое и великое. Лучшие специалисты работали в цензуре и в III отделении. Писателям рекомендовали – преданность монарху, народность, воспевание побед российского оружия. Прописывались точные рецепты, как заверяли Бенкендорф, Уваров, сам Николай I. Требованья их полны искренности. Они знают как...

Большинство литераторов были гуляки праздные, свободные и беспечные поэты, слагающие своим песни по вдохновенью, по зову совести и музы и прочих неуправляемых субстанций. Ремесло – вот что было нужно. Побольше ремесла, квалифицированных ремесленников, делателей, готовых мастерить на любую заданную царем тему. К середине XIX века их появляется все больше...

Надежность была нужна. А посредственность – она надежна... На самом же деле раздел литературных страстей прежде всего проходил между талантом и посредственностью... Почему-то самодержавие никак не могло найти себе честных апологетов. Большая часть этих правоверных, этих ревнителей, гонителей оказалась хапугами, растратчиками, лихоимцами...»

Эта цитата взята из статьи «Священный дар» Даниила Гранина, которая была напечатана в «Новом мире» в ноябре 1971 года. Статья, что называется, с подтекстом. Критикуя прежнее положение в дореволюционной русской литературе, Гранин имел в виду и советскую. Впрямую говорить было нельзя, и поэтому Гранин, как и многие другие его коллеги по цеху, прибегал к эзопову языку. Вот и в пьесе «Шаги командора» Вадима Коростылева (все те же 70-е годы) император Николай I говорит:

« – Тут и твоя вина, Александр Христофорович, что только люди без искры божьей в душе хвалы нам поют!

Бенкендорф:

– И пусть поют! Их много, пение-то громкое получается».

И чтобы закрыть это ответвление темы, приведем высказывание Ченгиза Айтматова: «Наша самая большая беда в литературе – это обилие посредственности, той обманчивой видимости, когда пены больше, чем живой воды».

О том, как советская власть умела взбивать пену, – об этом чуть позже. А мы продолжим печальный список униженных и загубленных русских писателей до 1917 года.

Семен Надсон – не только поэт-лирик («Только утро любви хорошо...»), но и сознательный гражданский поэт.

Друг мой, брат мой, усталый страдающий брат,

Кто бы ты ни был, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей;
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь: —
Верь, настанет пора и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!..

1881

Надсон ушел из жизни в 24 года, так и не дождавшись падения Ваала. Не дождался и Глеб Успенский: его поразило безумие. Всеволод Гаршин, человек «с лучистыми глазами и бледным челом», бросился от отчаянья в лестничный пролет.

Публицист и критик Николай Михайловский в 1895 году на вечере, устроенном в честь его дня рождения, сказал: «Я не знаю, есть ли на свете служба тяжелее службы русского писателя, потому что ничего нет тяжелее, как хотеть сказать, считать себя обязанным сказать, – и не мочь сказать».

И, конечно, одна из самых трагических фигур русской и мировой литературы – Федор Михайлович Достоевский. В юности, как вспоминает Достоевского его товарищ по пансиону: «он был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг...» Из книгочея превратился в писателя. Один из его первых романов – «Бедные люди». Примкнув к кружку петрашевцев, Достоевский решил революционным путем поменять историческую обстановку и помочь «бедным людям». Тут же последовал арест – 23 апреля 1849 года. При аресте архив Достоевского был отобран и уничтожен в III отделении. Далее Алексеевский равелин, приговор к смертной казни. «Помилование», и в оковах отправление на каторгу. Все это известно и описано много раз. Разумеется, то, что произошло с Достоевским, надломило и психологически сломало его, ибо ему было суждено заглянуть в трагические бездны. «В несчастьи яснее истина», – отмечал писатель.

Литературоведы утверждают, что смертную казнь Достоевский пережил трижды: реально («изнутри») – 22 декабря 1849 года, художественно – в романе «Идиот», и вновь реально (но уже «со стороны») – 22 февраля 1880 года, присутствуя на казни Ипполита Млодецкого (он покушался на жизнь графа Лорис-Меликова). Палач надел на Млодецкого белый колпак, закрывший ему лицу, и холщовый халат, связав его сзади

рукавами. Затем накинул на него петлю и поставил на скамейку. Барабаны ударили дробь… И безжизненное тело Млодецкого закачалось на веревке… Все это наблюдал и переживал (и еще как!) Достоевский.

Федор Михайлович вспоминал, как он сам стоял на эшафоте в серое петербургское утро и как неожиданно из-за морозных клубов дыма блеснул луч солнца. А жить оставалось минут пять – не больше. И «эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении…» («Идиот»). И устами князя Мышкина Достоевский выразил терзавшую его мысль: «Что, если не умирать! Что, если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил…»

Достоевский, можно сказать, вышел из могилы, и поэтому он такой трагический и инфернальный. Как считал Николай Бердяев, Достоевский «открыл какую-то метафизическую истерию русской души, ее исключительную склонность к одержимости и беснованию…» Достоевский точно определил новую породу людей: бесы!

Интересно, что Достоевского преследовала царская власть, но не любила его и советская. «Архискверный Достоевский!» – считал Ленин. При Сталине Достоевский находился вне советской литературы. Его считали злобным, махровым врагом революции и революционеров-демократов. Ну, а потом признали: гений!..

III

Ну, а теперь самое время переходить от царского времени к советскому. Долгое время считалось, что до октября 1917-го все было плохим, сплошной мрак, а после 17-го – все светлое и счастливое. И вообще жизнь России началась как бы с чистого листа. Об этом писали, талдычили и кричали. И даже просвещенный нарком Анатолий Луначарский писал (был ли он искренним, кто знает?): «Почти у всякой русской писательской могилы, у могилы Радищева, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Достоевского, Толстого и многих других, – почти у всех можно провозгласить страшную революционную анафему против старой России, ибо всех она либо убила, либо искалечила, обузила, обрызгала, завела не на ту дорогу. Если же они остались великими, то вопреки этой проклятой старой России, и все, что у них есть пошлого, ложного, недоделанного, слабого, – все это дала им она».

Вот такая нехорошая старая Россия. А советская Россия, стало быть, рай? И писателям при ней жилось и писалось вольготно и весело?

Вспомним Евгения Замятина, который, по его признанию, был влюблен в революцию. «Революция так хорошо меня встряхнула. Чувствовалось, что есть что-то сильное, огромное, гордое, как смерч, поднимающий голову к небу, ради чего стоило жить. Да ведь это счастье!» Так писали и думали многие российские интеллектуалы в феврале 1917 года. А в октябре их мнения и оценки резко изменились.

В 1921 году Замятин пишет роман, сатирическую утопию «Мы», который был запрещен в советской республике, и литературный манифест «Я боюсь». В манифесте он утверждает, что «настоящая литература может быть только там, где ее делают не исполнительные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики». И далее о положении писателя в новых, послереволюционных условиях: «Писатель, который не может стать юрким, должен ходить на службу с портфелем, если хочет жить. В наши дни в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь... И перед писателем – выбор: или стать Брешко-Брешковским – или умолчать...»

Надо напомнить, кто такой Николай Брешко-Брешковский – сын знаменитой Екатерины Брешко-Брешковской, прозаик, журналист, бытописатель, наивный и категоричный. Любил писать о светской жизни, о жизни натурщиц и борцов, о скандалах. В его произведениях Куприн видел «холодно

риторическую, искусственно взвинченную, вымученную порнографию». То есть Брешко-Брешковский был вне социальной и гражданской проблематики. Не опасный.

А Евгений Замятин был замешан из другого теста. Он был талантливый и поэтому вдвойне опасный. 17 августа 1922 года последовал арест Замятина, и ему пришлось посидеть в петроградской тюрьме. Однако выпустили. После того как «Мы» появилось на Западе, Замятина перестали печатать на родине. Ему не простили и вывод, сделанный в конце его литературного манифеста: «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее – ее прошлое».

С весны 1930 года, после гибели Маяковского, готовя процесс Промпартии, продолжая наступление на интеллектуальные силы страны, начатое в 1928 году, Иосиф Сталин совершал свои расчеты – кому налево, кому направо. Карта Замятина легла на Запад; он был выпущен мирно. Отъезд его стал существенной вехой литературной и общественной отечественной жизни.

А при Ленине был «философский пароход» – первый удар по интеллектуальному достоянию России. Философов, писателей, мыслителей – вон из России, чтобы не мешали строить новую счастливую жизнь.

В октябре 1931 года Замятин покинул СССР. А 10 марта 1937 года умер в Париже.

1937-й год. Черный год в истории России.

Можно привести множество свидетельств, но ограничимся одним – «открытым письмом Сталину» Федора Раскольникова. Революционер, партийный и государственный деятель, публицист Федор Раскольников, будучи полпредом в Болгарии, был внезапно объявлен вне закона и лишен советского гражданства. Став невозвращенцем, Раскольников в газете «Последние новости» (Париж) опубликовал свое знаменитое письмо вождю, датированное 17 августа 1939 года. Вот только один отрывок из него:

«...Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца.

Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом.

Вы душите советское искусство, требуя от него придворного

лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».

Бездарные графоманы славословят вас, как полубога, «рожденного от луны и солнца», а вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.

Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично вам неугодных русских писателей.

Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова?

Вы арестовали их, Сталин!

Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг.

Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащие немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии в 1937 году, в полученном мною списке обреченной огню запретной литературы я нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилии моих авторов значилось: «Уничтожить все книги, брошюры и портреты».

Обрываю письмо Раскольникова. И последняя фраза, обращенная к вождю: «Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго». Она, эта вакханалия, закончилась со смертью вождя. Но после короткой оттепели либерализма снова появилась на исторической сцене, хотя и не в столь кровавых одеждах.

IV

Но вернемся к началу столетия, когда закончился так называемый Серебряный век и начался век советский… Кто-то, предчувствуя грядущие несчастья, отправился в эмиграцию, а кто-то остался в России, решив испить горькую чашу до дна. А теперь выборочно – по алфавиту.

Аркадий Аверченко, русский Марк Твен, без сожаления покинул, как он выразился, «кровавый балаган», устроенный большевиками в России, и напоследок швырнул новой власти свой сборник «Дюжина ножей в спину революции».

Николай Агнивцев, куртуазный поэт Серебряного века, эмигрировал, а затем вернулся, еле сводил концы с концами и выпустил грустную книжку «От пудры до грузовика». Вот уж, действительно, громыхая, приехали.

В ее глаза потухли блестки
И поглядевши на серсо,
Она поправила прическу
И прошептала: «Вот и всё!»

Георгий Адамович, петербургский поэт. В 1923 году эмигрировал во Францию.

За все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье,
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существованье».
Нет доли сладостней – все потерять,
Нет радостней судьбы – скитальцем стать,
И никогда ты не был к Богу ближе,
Чем здесь, устав скучать, устав дышать,
Без сил, без денег, без любви,
В Париже…

Один из лучших критиков и литературоведов Юлий Айхенвальд. Его лично распял Лев Троцкий. В эмиграции Айхенвальд прожил недолго и трагически погиб под колесами трамвая.

Александр Амфитеатров. В царское время был сослан за фельетон «Господа Обмановы», в котором высмеял царскую

семью. В советское время вынужден был бежать от ЧК.

Леонид Андреев. Увидев, как «по лужам крови выступает завоеватель Ленин», писатель обрушился на большевистскую диктатуру. «Я на коленях молю вас, укравших мою Россию: отдайте мне мою Россию, верните, верните...» Дневники Леонида Андреева под названием «SOS» – это боль и крик. Пронзительный крик и пронзающая боль. Леонид Андреев умер 12 сентября 1919 года в Финляндии, можно сказать, во время и вдали. А вот его сыну Даниилу Андрееву, поэту, прозаику и философу, пришлось испытать все «прелести» советского режима на своей шкуре. 21 апреля 1947 года он был арестован (а заодно арестовали и его жену Аллу) и приговорен к 25 годам тюремного заключения (абсурдное обвинение: подготовка террористического акта). В тюрьме Даниил Андреев как-то умудрился написать три книги, одна из них замечательная – «Роза мира». Она была закончена в 1958 году, опубликована лишь в 1991 году.

Продолжаем наш скорбный список. Михаил Арцыбашев. Вторил Леониду Андрееву: «Ни нашествие Батыя, ни кровавое безумие Иоанна не причинили России такого вреда и не стоили русскому народу столько крови и слез, как шестилетняя диктатура красного вождя». Подумать только: всего лишь 6 лет! На дворе стоял 1923 год. А уж какие «ягодки» пошли потом!..

Анна Ахматова. Ее любимое слово «бедствие», оно сопровождало ее на протяжении почти всей жизни: расстрел мужа Николая Гумилева, аресты сына Льва Гумилева, гонения властей, бездомность... В марте 1940 года в поэме «Реквием» Анна Андреевна писала:

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разрушилась связь,

Ни в Царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, кто и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыханье черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век
Как слезы струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли...

А уж как Анну Андреевну критиковали! Ее топтали и в 20-х годах: «Тепличное растенье, взращенное помещичьей усадьбой» (Лелевич). Уничтожали в 40-х: «Ахматова является типичным представителем чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии» (Жданов). Ее называли и «блудницей», и «монашкой», и еще бог знает как. И что оставалось?

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою...

Андрей Белый. Эмигрировал. Вернулся. Пытался стать советским писателем. Не вышло. Скончался 8 января 1934 года, прожив 53 года. Больше бы не получилось, ибо впереди маячил 37-й, а Андрей Белый был причислен к «представителям реакционного мракобесия в политике и искусстве» (доклад Жданова, 1946 год).

Александр Блок. Не уехал и власть радостно зачислила его в «поэты революции», но в революции его привлекала только идея свободы, а свободу как раз и задушили.

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли ты? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог, да столбов верстовых...

Лодки да грады по рекам рубила ты,
Но Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты —
Кинулась из степи черная мгла...

За море Черное, за море Белое
В черные ночи и в белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

Блок критиковал Россию. Любил Россию. Желал ей лучшего будущего. Но пришли «неслыханные перемены. Неведомые рубежи». Пришлось изведать поэту и голод, и холод. Одна из последних записей в дневнике: «До каких пределов дойдет отчаянье? – Сломан на дрова шкапик – детство мое и мамино» (17 ноября 1919).

Безумие охватило Блока. Его могли вылечить, но власти не захотели отпустить его на Запад.

Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть.

Валерий Брюсов – счастливец. Удачно влился в советские ряды. Бюрократ-коммунист, как звала его Цветаева. Но кто знает, что было в его душе? Может быть, и морфинистом он стал не случайно?..

Лауреат Нобелевской премии Иван Бунин. Как его называли – «Певец дворянских могил». В эмиграции Иван Алексеевич скорбел о старой России, «погибшей на наших глазах в такой волшебно краткий срок». До революции Максим Горький упрекал Бунина в общественной пассивности: «Не понимаю, как талант свой, красивый, как матовое серебро, он не отточит в нож и не ткнет им куда надо?» После революции советская власть считала его ярым антисоветчиком и не печатала. А когда Бунин умер, то его начали печатать во всю: советской литературе нужен был классик, и умерший Бунин был уже не опасен: ничего нового он уже не скажет.

Весьма популярная в старые годы писательница Анастасия

Вербицкая новой властью была зачислена в «бульвар» и ей с ходу приписали «порнографию» и «черносотенство».

Не вписался в советский интерьер и Максимилиан Волошин. А он, со своей стороны, не выступая открыто, тихо, за письменным столом писал громкие строки:

О, господи, разверзни, растопчи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи:
Германцев с запада, монгол с востока.
Отдай нас в рабство, вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного суда.

Таким же праведным гневом к революционерам-большевикам пылала Зинаида Гиппиус:

Рабы, лгуны, тати ли —
Мне ненавистен всякий грех.
Но вас, Иуды, вас предатели,
Я ненавижу больше всех.

За эти слова власть отыгралась сполна. Она не достала в Париже Зинаиду Гиппиус и ее мужа Дмитрия Мережковского, которого собиралась ликвидировать, но уж других с радостью поставила к стенке. И одним из первых был Николай Гумилев, поэт-воин, герой Первой мировой войны. Его без промедления зачислили в заговорщики, хотя он им совсем не был, и расстреляли. Спустя год после гибели Гумилева Лев Троцкий отметил в «Правде», что Гумилев и его сподвижники по поэзии «не творцы жизни, не участники в создании ее чувств и настроений, а пенкосниматели, эпигоны чужой кровью созданных культур». И впрямь советской власти были не нужны ни Николай Гумилев, ни Андрей Белый, ни другие яркие представители Серебряного века. В идеологический и культурный сектор вписывались лишь откровенные агитки Демьяна Бедного и Владимира Маяковского.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам... —

возмущался Сергей Есенин. «Дар поэта – ласкать и

корябать...» Вот он и карябал. Итог известен. Есенин повесился. А Максим Горький задохнулся в золотой клетке, куда его поместила власть. «Предлагаю назвать нашу жизнь Максимально горькой», – пошутил Карл Радек, блистательное перо революции, сгинувший впоследствии среди лагерной пыли.

Георгий Иванов из парижского далека писал:

Россия тишина. Россия прах.
А может быть, Россия – только страх.
Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума...

Сергей Клычков – удивительный поэт и романист, в советские годы был определен в «кулацкие гуси» и в 1937 году ликвидирован. Та же судьба постигла другого крестьянского поэта Николая Клюева – убит.

Я умер! Господи, ужели?
И где же койка, добрый врач?
И слышу: «В розовом апреле
Оборван твой предсмертный шаг!..»

Владимир Короленко. Пожалуй, единственный писатель из «крупняков», который громко протестовал против большевистских репрессий, арестов, грабежей и расстрелов. «Мы, как государство, консервативны только в зле, – писал Владимир Галактионович, – чуть забрезжит что-то новое, гуманное, справедливое и тотчас гаснет. Приходит «новый курс» и отбрасывает нас к Иоанну грозному...» Короленко умер в декабре 1921 года, еще бы немного – и не избежать ему расстрельной участи.

Александр Куприн – нищета во Франции и доживание в советской России (власть все сделала, чтобы он вернулся. Имена были нужны. Имена!). В парижской газете «Утро» (1922) Куприн провидчески писал о судьбе литературы: «Теперь уже немыслимы очаровательная простота Мериме, аббата Прево и пушкинской «Капитанской дочки». Литература должна им (читателям. – *Ю.Б.*) приятно щекотать нервы и способствовать пищеварению».

Поэт Бенедикт Лившиц никуда не уезжал из России. И чувствовал, как «на черной лестнице распахнута дверь». 16 октября 1937 года его арестовали. Не выдержал пыток, лишился рассудка и по требованию следователей оговорил десятки невиновных, в том числе Николая Заболоцкого.

Осип Мандельштам.

Это какая улица?
– Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова!
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо!

О трагической судьбе Мандельштама столько написано, что не надо повторяться. Можно только напомнить строки самого поэта: «Мы живем под ногами не чуя страны...» Осип Мандельштам не дожил каких-то двух недель до 48 лет.

Владимир Маяковский. У него был роман с революцией и советской властью («...и думаю: – Очень правильная эта, наша советская власть»). Ангажированность не дала счастья поэту, и последовал выстрел в сердце.

Владимир Нарбут, поэт, художник, издатель. Арестован 27 октября 1936 года. Выслан в Магадан, там и расстрелян.

Луна, как голова, с которой
Кровавый скальп содрал закат.

Это было написано Нарбутом в 1912 году. Предчувствие?..

Борис Пастернак. Никаких комментирующих слов. Только строки из стихотворения «Нобелевская премия» (1959):

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет...

Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей...

Стихотворение «Нобелевская премия» появилось в феврале 1959 года в английской печати – и мгновенно последовал вызов к генеральному прокурору Руденко...

Михаил Пришвин. Он избежал репрессий, может быть, потому, что ушел от общественной жизни в мир природы. Вел два дневника: один обычный, а второй – крамольный, естественно, в стол.

Игорь Северянин. Грандиозный успех до революции, и

жалкий и горький хлеб эмиграции. Взывал о помощи. Никто не откликнулся. И «чаруйная поэма» превратилась «в жалкий бред».

Алексей Толстой – пример проданного таланта. Подвыпив, среди друзей, Алексей Николаевич бахвалился: «Меня Сталин любит!», и на вопрос, в каком жанре ему приятнее всего пишется, Толстой ответил: «Больше всего люблю писать: сумма прописью...»

Не вписался в жизнь Велимир Хлебников, хотел «взлететь в страну из серебра,/Стать звонким вестником добра». Не вышло.

Марина Цветаева – одна из самых мрачных страниц русской литературы.

Отказываюсь – быть.
В бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей
Отказываюсь.

И отказалась. Предпочла петлю в 49 лет.

Саша Черный. Уехал из России, где «от российской чепухи/ Черепа слетают».

Есть парламент, нет? Бог весть.
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска – я знаю – есть,
И бессилье гнева есть.
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть...

Антон Павлович Чехов. Это сегодня он классик без всяких оговорок, а когда он жил и писал, то подвергался жестокой критике за отображение постылой русской реальности. Везде – «Палата № 6». Чехов испытывал непреходящую тоску: «Жизнь идет и идет, а куда – неизвестно».

Один из чеховских героев говорит: «Я не скажу, чтобы французские книги были и талантливы, и умны, и благородны. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов».

V

Если от Серебряного века переходить к советской литературе, то тут целое поле загубленных талантов. И с кого прикажите начинать? Уничтоженные Исаак Бабель, Борис Пильняк, Артем Веселый, Сергей Третьяков, Павел Васильев, Борис Корнилов, поэты-обэриуты Хармс, Введенский и Олейников, критик и писатель Александр Воронский и многие другие.

И что удивительно, что многие убиенные не были ни фрондерами, ни оппозиционерами, а искренно любили революцию и советскую власть, как, к примеру, Пильняк. Он не доверял интеллигенции, а верил в народ, вылезший из изб, деревень, лесов от полей диких и аржаных, черная кость, мужик. «Чай – вон, кофий – вон! Брага. Попы избранные. Верь во что хошь, хоть в чурбан». Неосторожно Пильняк написал «Повесть непогашенной Луны» о подозрительной гибели командарма Фрунзе и тут же попал под огонь критики. 28 октября 1937 года, когда Пильняк отмечал день рождения сына, за ним приехал человек весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Он был сама любезность. «Николай Иванович, – сказал он, – срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома».

Николай Иванович – это кровавый нарком Ежов. Ни через час, ни через день, ни через год Борис Пильняк не вернулся. Он был арестован и расстрелян. Его жена Кира Андроникашвили, актриса, была отправлена в женский лагерь под Акмолиском.

Анна Ахматова посвятила Пильняку стихотворение, в котором были такие строки:

Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...

Яркий, самобытный поэт Павел Васильев. 7 февраля 1937 года пошел в парикмахерскую побриться и не вернулся. Через 20 лет, хлопоча о посмертной реабилитации мужа, жена Васильева узнала, что его расстреляли 16 июля 37-го.

Я уж давно и навсегда бродяга,
Но верю крепко: повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи...

Всего лишь 31 год прожил другой поэт, Борис Корнилов – его поставили к стенке (или стреляли в затылок?) 21 ноября 1938 года. А он-то старался, воспевая «планету рабочих и крестьян»:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?..

Помните, была такая замечательная песня на музыку Шостаковича?..

Жестоко поступили с женой Бориса Корнилова Ольгой Берггольц – травля, тюрьма. Чтобы описывать все эти ужасы, нужна не короткая статья, а тома. Кое-что издано, а многое ждет своей очереди. Их издадут, если, конечно, не придет в Россию новый Сталин.

Целая тема: Булгаков и Сталин. Михаила Афанасьевича не репрессировали, но его последовательно уничтожали, отнимая у него право на слово и печать.

28 марта 1930 года Булгаков пишет письмо Правительству СССР: «...Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР?.. я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу...»

Но какое могло быть великодушие у жестокой власти?! 30 мая 1931 года Михаил Булгаков пишет письмо уже лично Сталину: «...на широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, но все равно не похож на пуделя. Со мной и поступали как с волком. И несколько лет гнали меня по правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы я не имею, но я очень устал... перед тем, как писать вам, я взвесил все. Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться. Ключ в этом...»

Михаил Булгаков света не увидел. Сталин играл с ним, как играет кошка с мышкой: слегка придушит, потом отпустит и снова придушит. «Мы вам немного поможем», – сказал вождь, и Булгакова взяли либреттистом в Большой театр (у него было такое отчаянье, что он был готов инсценировать словарь Брокгауза и Эфрона)... В такой же обстановке гонений и травли жили и творили Андрей Платонов и Михаил Зощенко. Платонов ходил и в «подкулачниках» и «буржуазных наймитах». «Едкая царская водка платоновского стиля», по выражению Юрия Нагибина, была противна до тошноты советскому режиму, а сам

Платонов был в положении своего героя, «усомнившегося Макара»:

« – Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен? – спросил Макар и затих от ужаса».

В адрес Михаила Зощенко Сталин бросил зловещие слова: «Не обществу надо перестраиваться по Зощенко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям». То есть никакой дипломатии – открытый текст. После известного постановления 1946 года Зощенко перестали печатать. За несколько месяцев до смерти, 11 февраля 1958 года, Зощенко писал Корнею Чуковскому:

«С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием».

Пенсия! Не все до нее дожили. К уже перечисленным добавим молодого поэта Сергея Поделкова. Его взяли 7 октября 1935 года, за то, что он якобы играл в шахматы во время выступления Сталина. И дали срок, как выразился следователь, «туда, где штопают белым медведям чулки». Поэта Ивана Приблудного расстреляли 13 августа 1937 года. А он-то радостно писал:

И счастлив я, что я не стар,
Что еле-еле расцветаю,
Что шелест мая рассыпаю,
Как первый, чуть созревший дар.

Приблудный прожил всего 32 года. Артем Веселый (Николай Кочкуров) немного больше – 38. Большевик, матрос, писатель. Писал то, что видел в жизни. В «полурассказе» «Босая правда» писал от имени тех, кто дрался за Советскую власть в революцию и в годы гражданской войны:

«Голоса наши когда-то гремели на кровавых полях, а нонче они робко звучат в стенах канцелярий. Много погибло наших дорогих товарищей, но о них и помину нет местной властью. Нас, защитников и завоевателей, восхваляют и призывают только по большим праздникам да и когда в нос колет – во время проведения какой-нибудь кампании, а потом опять отсовывают в темный угол. Закомиссарились прохвосты, опьянели властью. Ежели таковые и впредь останутся у руля, то наша республика еще сто лет будет лечить раны и не залечит».

Это было написано в 1928 году, и эта правда колола глаза. Артема Веселого критиковали, а он продолжал гнуть свою линию и написал роман «Россия, кровью умытая» – «В России революция, вся Россия на ножах… Расеюшка огнем взялась да кровью

подплыла...»

Не унимается, гад! – подумали, наверное, чекисты, и 28 октября 1937 года писателя арестовали. 8 апреля 1938-го расстреляли. Ну, а реабилитировали в 1956 году.

Так же рано погиб Иван Катаев – 35 лет, Михаил Кольцов – 41, Сергей Третьяков – 47, Иван Касаткин – 58 лет.

А как не вспомнить замечательного грузинского поэта Тициана Табидзе, закончившего филфак МГУ.

Кто я? Денди в восточном халате.
Я в Багдаде в расстегнутом платье
Перечитываю Малларме.
Будь что будет, но, жизнь молодая,
Я объезжу тебя и взнуздаю
И не дам потеряться во тьме.

Тициан был экспансивным, вспыльчивым и восторженным до слез.

Не я пишу стихи. Они как повесть, пишут
Меня, и жизни ход сопровождает их.
Что стих? Обвал снегов. Дохнет – и с места сдышит,
И заживо схоронят. Вот что стих, —

эти строки Табидзе, переведенные Борисом Пастернаком, поэт написал в 1927 году, а спустя десять лет его звезда закатилась за Мцхету. Вот стихотворение Юнны Мориц «Памяти Тициана Табидзе»:

На Мцхету падает звезда,
Крошатся огненные волосы,
Кричу нечеловечьим голосом —
На Мцхету падает звезда...
Кто разрешил ее казнить,
Кто это право дал кретину —
Совать звезду под гильотину?
Кто разрешил ее казнить,
И смерть на август назначал,
И округлял печатью подпись?
Казнить звезду – какая подлость!
Кто смерть на август назначал?

Война – тебе! Чума – тебе,

Земля, где вывели на площадь
Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.
Война – тебе! Чума – тебе!
На Мцхету падает звезда.
Уже не больно ей разбиться.
Но плачет Тициан Табидзе...
На Мцхету падает звезда...

Тициан Табидзе погиб в 42 года. Реабилитирован посмертно. И еще строки поэта, как реквием:

Кто вспомнит, что любили мы с тобою,
Узнает кто, чем жили ты и я?
Завеса смерти нас укроет тьмою.
«Прости» нам скажет ночь небытия.

Убивали грузинских поэтов. Русских. Еврейских... И не только в 37-м. 12 августа 1952 года на Западе отмечают как «ночь убитых поэтов». После процесса по обвинению в космополитизме в подвалах Лубянки были расстреляны Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Ицик Фефер, Лев Квитко. 1 февраля 1949 года Перец Маркиш получил орден Ленина, а спустя 3 года другую «награду»: пулю в затылок... Все убитые поэты никогда не критиковали власть, напротив, ее любили и пели «осанну» в ее честь. На первом съезде советских писателей в августе (все тот же август!) 1934 года Ицик Фефер говорил с трибуны: «Бодрость и оптимизм – вот характерные черты еврейской советской поэзии... Изломанных, разбитых, угнетенных и придавленных людей, которые стояли в центре дооктябрьской еврейской литературы, в советской литературе больше нет. Эти горбатые люди исчезли из нашей жизни и больше не вернутся... Советский Союз навсегда похоронил проклятый «еврейский вопрос»...»

Еще один еврейский поэт Давид Гофштейн восторженно встретил Октябрьскую революцию. В своем творчестве разрабатывал традиции Пушкина и Тютчева. Но и это его не защитило и не спасло. Гофштейн был расстрелян чуть раньше Фефера и других, 12 июля 1952 года.

Однако многие поэты и прозаики выжили, пройдя весь ад тюрем и лагерей... Например, Николай Заболоцкий. Его арестовали 19 марта 1938 года и выслали на Дальний Восток, где он работал землекопом. В стихотворении «Воспоминания» (1952) Заболоцкий писал:

Наступили месяцы дремоты...
То ли жизнь, действительно, прошла,
То ль она, закончив все работы,
Поздней гостьей села у стола.

Хочет пить – не нравятся ей вина,
Хочет есть – кусок не лезет в рот.
Слушает, как шепчется рябина,
Как щегол за окнами поет.

Он поет о той стране далекой,
Где едва заметен сквозь пургу
Бугорок могилы одинокой
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется береза,
Корневищем вправленная в лед.
Там над нею в обруче мороза
Месяц окровавленный плывет.

Никаких обид, стенаний и проклятий. Но все равно от этого «окровавленного месяца» несет ужасом.

Олег Волков. Замечательный писатель. Одна из его книг называется «Погружение во тьму».

В феврале 1928 года Волков был арестован на улице и привезен на Лубянку. Ему неприкрыто-цинично предложили выбор: секретное сотрудничество или тюрьма. Стать осведомителем он наотрез отказался. Тогда ему было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации, обещано «сгноить» в лагере. Началась почти 28-летняя гулаговская эпопея «социально опасного элемента» – «соэ», виновного лишь в дворянском происхождении, а также в неверии в возможность процветания России при диктатуре большевиков. Разумеется, в лагере Волкову было лихо, но он старался не утратить человеческого достоинства. Шагая в колонне зеков, конвоируемых на заснеженную лесную делянку, он шептал, вспоминая, строки Овидия и Горация. Его освободили в 1955-м и полностью реабилитировали «за отсутствием состава преступления».

Трижды подвергался арестам Варлам Шаламов. Первый раз его арестовали 19 февраля 1929 года и заключили в Бутырскую тюрьму за распространение «Письма к съезду» Ленина. Три года отсидел в неволе. В январе 1937-го повторный арест и ссылка на

Колыму. А в 1943-м еще добавили 10 лет за антисоветскую агитацию, да еще какую – назвал эмигранта Бунина русским классиком. Сегодня это кажется абсурдом, но этот абсурд был реальностью для многих людей в советские времена. В Москву Шаламов возвратился лишь в 1956 году после реабилитации. Его «Колымские рассказы», которые он писал с 1954 по 1973 годы, потрясают. Один из рассказов – «Надгробное слово» – начинается так: «Все умерли...» И – «месяц окровавленный плывет».

Любопытна судьба литератора князя Дмитрия Святополка-Мирского, потомка Рюриковичей. Он вырвался из объятий гражданской войны и в 1922 году осел в Лондоне. Написал исследование по истории русской литературы 1881 – 1925 годов, которое, кстати, Владимир Набоков считал одним из лучших по истории отечественной литературы. В 1932 году князь вернулся в СССР и начал играть активную роль при большевиках. Ни один из пышных приемов, которые Сталин устраивал в Кремле для «прогрессивных деятелей зарубежной культуры», не обходился без князя Святополка-Мирского. Но после того, как он неосторожно покритиковал роман Фадеева «Последний из Удэге», на него набросились так называемые пролетарские писатели и заклевали князя. А когда умер его защитник Максим Горький, то князю и совсем стало худо. Он попадает в лагерь и в 1939 году умирает в Магадане, в столице Колымского края. Романа с советской властью у князя не получилось. Как не получилось и у Владимира Маяковского.

Владимир Маяковский был не первый самоубийца среди литераторов. В 1913 году в Париже покончил с собой молодой поэт Серебряного века Виктор Гофман. В том же Париже свел счеты с жизнью в 1935 году Борис Поплавский. «Как холодно, молчит душа пустая...» В 1926 году в Москве покончил с собой Андрей Соболь (никак не мог примирить двух «правд» и двух революций). В преддверии ареста в июле 1937 года поставил точку грузинский поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец, – таким его воспринимал Борис Пастернак. В отчаянии Яшвили взял карабин и дробью из двух стволов разнес себе череп... Из окна в тюремном дворе выбросился и разбился Борис Савинков (хотя есть другая версия: выбросили чекисты).

Самое знаковое самоубийство совершил 54-летний Александр Фадеев, литературный генерал, любимец вождя. Он ушел из жизни 13 мая 1956 года, написав предсмертное письмо в ЦК КПСС. «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может

быть поправлено... Литература – это святая святых – отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа...» В письме Фадеев делает горькое признание: талантливых мастеров, чьими произведениями гордится страна, низвели до положения мальчишек. Уничтожали, идеологически пугали... «Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных». Поэтому «нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить...»

Фадеев закончил письмо, достал наган и...

Корней Чуковский записывал в дневнике по следам гибели Фадеева: «Мне очень жаль милого А.А. – в нем – под всеми наслоениями – чувствовался русский самородок, большой человек, но боже, что это были за наслоения! Вся брехня сталинской эпохи, все ее идиотские зверства, весь ее страшный бюрократизм, вся ее растленность и казенность находили в нем свое послушное орудие. Он – по существу добрый, человечный, любящий литературу «до слез умиления», должен был вести весь литературный корабль самым гибельным и позорным путем – и пытался совместить человечность с гепеушничеством. Отсюда зигзаги его поведения, отсюда его замученная СОВЕСТЬ в последние годы. Он был не создан для неудачничества, он так привык к роли вождя, решителя писательских судеб – что положение отставного литературного маршала для него было лютым мучением...»

А что изменилось после смерти Сталина и Фадеева? Стало ли писателям легче, освободились ли они от идеологического прессинга?.. В феврале 1972 года покончил с жизнью самобытный русский поэт Алексей Прасолов. Ему шел 42-й год.

Еще одна преждевременная потеря – Геннадий Шпаликов. Автор знаменитых киносценариев «Мне двадцать лет» и «Я шагаю по Москве». Ему было 37 лет.

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

Поэтесса-фронтовичка Юлия Друнина свела счеты с жизнью, не выдержав испытания перестроечных лет. А 27-летний талантливый поэт из Екатеринбурга Борис Рыжий ушел совсем недавно, в начале XXI века.

Мы были последними пионерами,
Мы не был комсомольцами.

Исполнилось четырнадцать —
Галстуки сняли.
И стали никем: звездами и снежинками,
Искорками, летящими от папиросок,
Легкими поцелуями на морозе,
Но уже не песнями, что звучали
Из репродукторов, особенно первого мая.

У нового поколения свои проблемы, заморочки, тараканы, беды. У них свой «Поезд в огне», как некогда пел Борис Гребенщиков о том, как «Полковник Васин приехал на фронт»:

Это поезд в огне,
И нам не на что больше жить,
Этот поезд в огне,
И нам некуда больше бежать...

VI

Но вернемся в старые, советские времена. В них было много темного и зловещего. В 1936 году странным образом исчез замечательный, оригинальный прозаик Леонид Добычин. Слово «цензура» он всегда писал с саркастической почтительностью с заглавной буквы. А 38-летнего поэта Дмитрия Кедрина таинственным образом убили, и отнюдь не хулиганы: на него давно косились власти. Он, обличая жестокость средневековья, имел в виду милое ему современье. Несчастья сыпались на Маргариту Алигер одно за другим: застрелился муж, дочь Маша в 1991 году покончила с собой. В начале осени 1992 года Маргарита Иосифовна упала в глубокую яму, недалеко от дачи. Спасти ее не удалось.

Смерть и жизнь ходили рядом, не подчиняясь никакой логике. Кому выпадала черная метка, а кто-то выпадал из поля зрения властей и пользовался свободой. Если продолжать список, прошедших лагеря и тюрьмы, то это – Ярослав Смеляков, Анатолий Жигулин, Юз Алешковский, Николай Эрдман. Последнего сгубила сатира. Актер Василий Качалов на каком-то правительственном приеме решил посмешить партийных сановников и прочитал строки:

Явилось ГПУ к Эзопу —
И хвать его за жопу.
Смысл этой басни ясен:
Довольно басен!..

И довольно свободы! Трое сатириков Николай Эрдман, Владимир Масс и Михаил Вольпин отправились в лагеря. Эрдмана арестовали в Гаграх, на съемках фильма «Веселые ребята», автором сценария которого он был. И, конечно, Эрдману припомнили его убийственные пьесы и «Мандат», и «Самоубийцу». Помните его фразочку: «В смерти прошу никого не винить, кроме нашей любимой советской власти»?..

Юз Алешковский, прозаик, поэт, бард. Но бардом, автором многих лагерных песен стал благодаря аресту и лагерю. Знаменитая песня о Сталине:

Товарищ Сталин, вы большой ученый —
В языкознанье знаете вы толк,
А я простой советский заключенный,

И мне товарищ – серый брянский волк.

За что сижу, воистину не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
Сижу я нынче в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке вы.

В чужих грехах мы с ходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе,
Но верили вам так, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

И вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры, словно псы, грубы,
И это все, конечно, понимаю
Как обостренье классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра,
Вы здесь из искры разводили пламя —
Спасибо вам, я греюсь у костра...

Но то сталинские времена, а вот хрущево-брежневские. Андрей Синявский и Юлий Даниэль позволили себе вольность печатать свои произведения на Западе. КГБ расшифровал их псевдонимы (Абрам Терц и Николай Аржак), последовали аресты и в феврале 1966 года состоялся знаменитый процесс против Синявского и Даниэля. Подсудимые не признали себя виновными, а Синявский к тому же заявил, что «у меня с советской властью стилистические разногласия». Не идеологические. А посему «Прогулки с Пушкиным», а не с Хрущевым и не с Андроповым. Синявский получил 7 лет лагерей строгого режима, а Даниэль – 5. Как горько пошутил Даниэль, в СССР провозглашен «день открытых убийств» (повесть «Говорит Москва»). Хотя Даниэль был неточен: этот день был провозглашен еще до его рождения – в октябре 1917-го.

Кого-то «замели», а многие – тысячи, десятки и сотни тысяч – ждали в страхе своей очереди. В повести Виталия Коротича «Наедине» рассказывается, как академик Бажан, один из крупнейших украинских переводчиков и поэтов, в конце 30-х около двух лет подряд спал в брюках. Он с детства был близорук и не хотел, на ощупь разыскивая очки, появиться перед своими палачами в нижнем белье, – открывать ведь надлежало

немедленно, иначе вышибали дверь. В конце концов он своего дождался – на рассвете в дверь постучали. Бажан, готовый ко всему, отпер замки и увидел за дверью маленького испуганного корреспондента, просящего интервью и утверждающего, что его, Бажана только что наградили высшим в стране орденом Ленина. Кое-как вытолкав нежданного гостя, Бажан решил скрыться, потому что провокация была очевидной. Два дня он прожил в кустах на киевском пляже, а на третий нашел в песке газету и прочел, что его действительно наградили…

Через много лет, уже в послевоенном Киеве, Хрущев пригласил Миколу Бажана в гости на чай. Разливая заварку, он меланхолически прояснил историю: «Мы ведь, Бажан, хотели арестовать вас. Но однажды прямо на заседании Политбюро Сталин вдруг сказал: «Есть такой украинский поэт Бажан. Он прекрасно, говорят, перевел поэму грузинского классика Руставели. Давайте наградим его орденом Ленина». И наградили…»

Таких историй можно привести много. И печальных, и даже смешных. Поэт Юрий Влодов, тот, кто написал знаменитые строки: «Прошла зима, настала лето. Спасибо партии за это!» – пришел сам на Лубянку и сказал, что написал гимн ЧК, и тут же спел: «На площади железного Дзержинского работает полночное ЧК…» Ему ответили: «Учтите, мы и днем работаем».

Поэт и драматург Александр Володин («Пять вечеров», «Звонят, откройте дверь!» и другие пьесы) – вроде благополучный был человек: не сидел, не высылался, не привлекался. Но опять же, был ли он счастлив от своей свободы?

Страна моя давно больна.
Отдельно от нее болею…

И следующие строки:

Меня ошибочно любили
Златые женщины твои.
Меня случайно не убили.
Враги твои – враги мои.

Отдельная тема – самиздат. Он возник тогда, когда в литературе был перекрыт кислород, и ни одно слово-птица не могло вылететь из талантливой клетки. И тогда авторы печатали свои произведения на пишущей машинке в несколько экземплярах-копиях и раздавали своим знакомым. Сам пишу –

сам издаю. В конце 50 – начале 60-х в списках ходили запрещенные Ахматова, Мандельштам, Волошин, Гумилев, Цветаева. И авторы, которых игнорировали, не замечали государственные издательства, – Иосиф Бродский, Наум Коржавин и другие. Обо всем этом можно прочитать подробно и обстоятельно в увесистом томе «Самиздат века» (1997). Возникающие нелегальные издания закрывали, а людей за самиздат арестовывали, ссылали, помещали в психиатрические лечебницы (новация чекиста Андропова). Так, к примеру, поступили с диссидентствующей поэтессой Натальей Горбаневской – ей «вправляли мозги» в психушке в Казани. А в 1975 году ей удалось вырваться из СССР, и в Париже она стала издавать исторический журнал «Память». Короче, самиздат – это был глоток свободы, за который карали. Юлий Даниэль писал про лагерь в стихотворении «Часовой»:

Эй, на вышке! Мальчишка на вышке!
Как с тобою случилась беда?
Ты ж заглядывал в добрые книжки
Перед тем, как пригнали сюда...

То, что я пишу в этой главе, – это хождение след во след. Обобщение делал Ходасевич, этой темой болел и литературовед и прозаик Аркадий Белинков. Вот что он писал 20 июня 1968 года в «Письме в СП СССР»:

«Уничтожению великой русской литературы способствовало много обстоятельств. Исторических катаклизмов. Учреждений и лиц, и в их списке вместе с Центральным комитетом коммунистической партии Советского Союза и Комитетом государственной безопасности Совета министров СССР ответственная роль принадлежит Союзу писателей.

Возникновение литературной империи с огромным аппаратом законодателей, исполнителей, судей и палачей было неминуемо и произошло в то же время по тем же причинам, по каким были организованы массовые уничтожения 30-х годов. Союз писателей СССР был создан в 1934 году, с которого начинается летопись советского самоистребления: она начинается с убийства Кирова, давшего возможность убивать всех. Нужно было уничтожить все, что носило блеск дара, ибо дар нетерпим ко злу. Стране навязывали тягчайшее зло: царствование бездарностей. Союз писателей был придуман для того, чтобы управлять литературой (ставшей наконец «частью общепролетарского дела»), то есть получать от нее то, что нужно безжалостной и нетерпимой, невежественной, всепожирающей

власти. Власти нужно было воспитывать удобных и преданных скотов, готовых развязать войны, убивать инакомыслящих и единомышленников, дуть в торжественную фанфару славы замечательного человека, которому удалось истребить самое большое количество людей на земле.

Я никогда не написал и строки, какая требовалась от благонамеренного советского писателя, и никогда не считал себя верноподданным государства лжецов, тиранов, уголовных преступников и душителей свободы.

Союз писателей является институтом полицейского государства таким же, как и все остальные его институты, не хуже и не лучше милиции и пожарной команды.

Я не разделяю взглядов советского полицейского государства, его милиции, пожарной команды и других институтов, в том числе и Союза писателей...»

Далее Белинков дает свой список гонимых и посаженных: Буковский, Гинзбург, Галансков, Инна Лиснянская, Есенин-Вольпин и др. плюс рассыпанные наборы книг Кардина и Копелева. Исключение из Союза писателей Костерина и т.д. и т.п. И приговор писателя: «Советская власть неисправима, неизлечима; она может быть только такой, какая она есть, – мстительной, нетерпимой, капризной, заносчивой и крикливой».

Ну, и как выживали в этих условиях? Недавно в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «Повседневная жизнь советских писателей. 1930 – 1950-е годы». Мажорные официальные съезды и обычная полунищенская жизнь литераторов. Короче: тоска, водка, очередь, НКВД. Или как писал Илья Эренбург:

Были в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.

А судьба Аркадия Белинкова? За свою дипломную работу в Литинституте – роман «Черновик чувств» (1943) – был арестован и отправлен в лагерь (вначале хотели даже расстрелять). В лагере он доверился стукачу и еще получил 25 лет срока. Вышел на свободу в 1956 году. А дальше пошли сплошные литературные трудности – книга о Тынянове, написанная эзоповым языкам, проскочила, а вот книга об Олеше была законсервирована. Пришлось Белинкову эмигрировать. И уже в Мадриде после смерти писателя была издана его книга «Сдача и гибель советского интеллигента». Юрий Олеша – яркий тому пример.

VII

Итак, эшафот. Путь к нему пролегал по дорогам и весям советской империи. Но даже те, кто находился за ее пределами, не чувствовали себя вполне безопасными. Страх гнездился в мозгу и не давал покоя. Владимир Набоков в 1927 году в Берлине написал удивительное стихотворение «Расстрел»:

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать,
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —
вот-вот сейчас пальнет в меня —
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы так хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.

И, конечно, вспоминается другое произведение Набокова – роман «Приглашение на казнь». Какое точное название! Издевательски расстрельное. Так вот – кто-то входил на этот гибельный эшафот. Кто-то ждал своей очереди. А кто-то резвился на свободе, подсюсюкивая власти и пытаясь лизнуть мохнатую руку в знак благоговения. Всякое было. Но это раньше. С распадом СССР и переходом на капиталистические рельсы положение с литературой кардинально изменилось. Об этом кричат почти на каждом перекрестке. Власть отвернулась от

литературы и бросила ее в объятия другого монстра – коммерции.

Еще действуют, конечно, классики последнего призыва – Фазиль Искандер, Войнович, Вознесенский, Ахмадулина, Гранин, Битов, Аксенов, Маканин... Но их голоса тонут в хоре коммерческих авторов. И изменился вектор литературы: она не проповедует, не отображает, не кричит. Она развлекает. Классика еще издается, но ее уже мало читают. Пушкин уже никому не нужен. Толстой – устаревший придурок, – об этом во всеуслышание сказал молодой человек с экрана ТВ. И уже критик Сергей Чупринин в своем литературном путеводителе ставит такой эпиграф: «Все, что вы хотели узнать о современной литературе, но не знали, у кого спросить». Словом, решили немного просветить читателя-дебила. Ну, а что касается самих писателей, нормальных, некоммерциализованных, то их нынешняя жизнь – уже не дорога на эшафот, а топтание у паперти: кто сколько подаст...

«Настоящей литературе тяжело...» – вздыхает дуэт критиков Ольги и Владимира Новиковых.

Ну, что ж, утрем слезу. Глубоко вздохнем. И предадимся сладостно-горьким воспоминаниям о том, какая кому выдалась судьба. Отдельные главы об отдельных писателях, ну, и о поэтах, конечно. Помните стихотворение Александра Блока:

> За городом вырос пустынный квартал
> На почве болотной и зыбкой.
> Там жили поэты, – и каждый встречал
> Другого надменной улыбкой...

Но главное, конечно, другое: как их встречала власть. Вот об этом данная книга.

Юрий Безелянский

ЗОЛОТОЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

А теперь перейдем к персоналиям – к классикам русской литературы и к кандидатам в классики, если применять спортивную терминологию. К великим и не очень великим. О которых все знают и о тех, кто основательно забыт. Все писатели, поэты и критики представлены не в алфавитном порядке, а в хронологическом ряду – по годам рождения, что дает возможность плавно переходить от одного исторического периода к другому.

ЗАБЫТЫЙ ПЕРВЫЙ

Александр Сумароков

В датах жизни Александра Сумарокова сплошные семерки: 1717 – 1777. Вольтер писал Сумарокову: «Вы долго еще будете славою своего отечества». Вольтер ошибся: Сумарокова быстро забыли.

А забыли Александра Сумарокова зря: он был не только ярким представителем дворянского классицизма, но и первым русским на театре: его пьесы вошли в репертуар первого русского профессионального тетра. С Сумароковым связано и появление первых русских актеров, и первая русская опера и первый русский балет. Он был первым профессиональным русским литератором (до него литературой занимались попутно, побочно). Сумароков издавал первый в России литературный журнал «Трудолюбивая пчела». Он и сам был той пчелой: поэт, драматург, баснописец, режиссер, театральный администратор, публицист и теоретик театра. Короче, первый-первый и напрочь забытый.

Александр Петрович Сумароков родился 14(25) ноября 1717 года в Москве в доме деда в Большом Чернышевском переулке, дед был по положению «стряпчий с ключом». А род Сумароковых – старинный дворянский. Обучение Сумароков прошел в Сухопутном кадетском корпусе и прославился на балах как

отличный танцор, а уж менуэт танцевал просто бесподобно. Но танцы закончились – и началась служба. Сумароков служил адъютантом у вице-канцлера графа Головина, затем у графа Разумовского. Блистал в свете, но не ярко, умеренно – на вторых ролях (ибо состояние было небогатым, а так, средненьким). Но Сумароков был умен, остер и склонен к сочинительству. Начинал писать стихи под Тредиаковского, а потом попал под влияние од Ломоносова. В 1743 году 26-летний Сумароков состязался со своими кумирами Тредиаковским и Ломоносовым в переложении 143-го псалма на русский язык.

Сумароков сначала писал любовные стишки – пасторали, песенки, затем перешел к трагедиям – «Хорев», «Гамлет», «Синав и Трувор», «Дмитрий-самозванец». А еще сочинил несколько комедий – «Вздорщица», «Рогоносец по воображению» и другие. Тут следует заметить, что в середине XVIII века в театре господствовали сначала немцы, потом французы и итальянцы. Они бились за благосклонность царского двора, за свою карьеру в России и за деньги. Так вот, этих иноземных на театре Сумарокову удалось немного подвинуть, когда он стал сочинителем трагедий, связанных с отечественной историей, и комедий, высмеивающих «нравы национальные».

3 февраля 1755 года в Петербурге была представлена первая русская опера «Цефал и Прокрис» по сценарию Сумарокова, а 5 сентября 1759 года был поставлен балет «Прибежище Добродетели» с русскими актерами (Ф. Волков, Дмитриевский, Г. Волков, Попов). Итак, первая русская опера и первый русский балет.

Сумароков лихо переводил произведения Расина и Бомарше, Мольера и Шекспира. Многие пьесы ставил сам как режиссер. Короче, смелый человек, замахнувшийся на самого «Вильяма нашего Шекспира» и заменивший слишком мудреный монолог Гамлета на более удобоваримые тирады из Вольтера.

За свое рвение Сумароков в 1756 году был назначен директором первого русского профессионального театра, учрежденного в Петербурге. Но характер имел не покладистый, несколько вздорный и в конце концов испортил отношения со многими важными вельможами. К тому же не всем по душе пришлись отдельные тираноборческие реплики из его трагедий. И пришлось Сумарокову уйти в отставку, а в 1769 году он переехал из Петербурга в Москву. Приобрел красивый дом-сад на Новинском бульваре и любил щеголять в камзоле с орденской лентой через плечо.

Существует такой литературный анекдот. Сумароков очень уважал Баркова как ученого и острого критика и всегда требовал

его слов касательно своих сочинений. Барков пришел однажды к Сумарокову.

– Сумароков вольный человек! Сумароков первый русский стихотворец! – сказал он ему.

Обрадованный Сумароков велел тотчас подать ему водки, а Баркову только того и хотелось. Он напился пьян. Выходя, сказал:

– Александр Петрович, я тебе солгал: первый-то русский стихотворец – я, второй – Ломоносов, а ты только что третий.

Сумароков чуть его не зарезал.

Такой вот анекдотец. По натуре Сумароков был добрым и благородным человеком. Часто помогал бедным. «Коли хочешь ты писать, то прежде влюбись», – повторял он правило Буало.

Любовь! Любовь! Ты сердце к утехам заманя,
Любовь! Любовь! Ты уж полонила меня.

Эдакие лирические пасторали давно ушедших дней: «Не грусти, мой свет! Мне грустно и самой...» В своих стихах Сумароков постоянно боролся со «злодеями». Ненависть вызывали у него люди, которых «обуяли алчь и жажда» – денег и золота. Возмущался он системой фаворитизма.

Всегда болван – болван. В каком бы ни был чине.
Овца – всегда овца и во златой овчине.

Высмеивал Сумароков фанфаронство, щегольство, галломанию офранцуженных «вертопрахов» и «вертопрушек». Частенько пребывал в тоске и меланхолии.

Мной тоска день и ночь обладает;
Как змея, мое сердце съядает,
Томно сердце всечасно рыдает.
Иль не будет напастям конца?
Вопию ко престолу Творца:
Умягчи, Боже, злые сердца!

Много размышлял Сумароков о жизни («Не зрим мы твердости ни в чем») и о смерти («На свете жизни нет миляе./И нет на свете смерти зляе,/ Но смерть – последняя беда»). Миляе-зляе – так уже не пишут...

Как оценивали Сумарокова современники и потомки? Некоторые ценили высоко, ставя его наравне с Мольером и

Расином, плакали от его драм и смеялись до слез от его комедий. Новиков считал, что все сделанное Сумароковым – это «сокровище русского Парнаса». Пушкин похвалил Сумарокова, что он, де, «прекрасно знал русский язык». Но в другой раз и сурово покритиковал Сумарокова. Когда Сумароков умер, Карамзин написал: «Уже фимиам не дымится перед кумиром; не тронем мраморного подножия; оставим в целости и надпись: Сумароков! Соорудим новые статуи, если надобно; не будем разрушать тех, которые воздвигнуты благородною ревностью отцов наших!»

А вот строки Евгения Евтушенко о Сумарокове:

Он был не в меру унижаем
И был не в меру вознесен...

Последние годы жизни Сумарокова были трудными. Сам он писал с горечью:

На что писателя отличного мне честь,
Коль нечего ни пить, ни есть?

Да и честь прошла. Популярность рассеялась, как дым. Раньше Сумароков помогал другим, а когда стало трудно самому, никто не пришел ему на помощь. Пришлось закладывать дом. За долги описали все: рукописи, книги, гравюры, мебель... Сумароков обратился к Григорию Потемкину: «Я человек. У меня пылали и пылают страсти. А у гонителей моих ледяные перья приказные: им любо будет, если я умру с голода или с холода». В стихотворении «К неправедным судьям» писал:

О вы, хранители уставов и суда,
Для отвращения от общества вреда
Которы силою и должностию власти
Удобны отвращать и приключать напасти
И не жалеете невинных поражать!..

И в конце – инвективы к судьям и чиновникам:

А что творите вы, так то и люди знают,
Которые от вас отчаянно стонают.

Страдали при Сумарокове, страдают и ныне. Вечная

российская боль. Итак, Сумароков страдал, «стонал» и… пил (не он первый и не он последний).

Женат Сумароков был два раза: в первый раз на бывшей фрейлине Екатерины, второй раз, как пишет Пыляев в «Старой Москве», чуть ли не на своей кухарке.

Умер Александр Петрович 1(12) октября 1777 года, немного не дожив до 60 лет. Никто из родственников не пришел отдать ему последний долг. Московские артисты пронесли на руках гроб первого русского драматурга и похоронили за свой счет на кладбище Донского монастыря. Могила Сумарокова не уцелела. Еще в 1876 году на месте погребения был похоронен профессор московского университета П. Щепкин.

Вот вкратце и всё об Александре Сумарокове. Как у всех литераторов – грустная жизнь. И что остается нам, потомкам? В «Оде на суету мира» Сумароков советовал: «Воззри на красоты природы/И коловратность разбери…»

Коловратность, коловращение, всё идет в природе и в мире по кругу. Сегодня мы на новом витке, а Сумароков остался в старом, – вот и всё.

КОЛКИЙ ФОНВИЗИН

Денис Фонвизин

Если располагать портреты русских писателей (или эскизы, ибо они довольно-таки краткие и до конца не прописаны), то следует, пожалуй, начать с Фонвизина. Денис Иванович Фонвизин родился 3 (14) апреля 1744 или 1745 года. В ту эпоху, в которой он родился, точность была не в чести. Да не цифирь главное, а человек, его значение и заслуги, а с этим у Дениса Ивановича всё в порядке. Он – создатель русской социальной комедии. Писатель, драматург.

Маленькая неясность лишь с фамилией. Как только не писали ее предки Фонвизина, современники и даже его потомки: Фон-Визин, Фон-Висин, Фон-Визен и прочие модификации. А корень дал рыцарь-меченосец фон Визин, участвовавший на стороне Ивана Грозного в ливонской войне.

Любители чистоты русской крови встрепенутся: немец! Обратимся к Пушкину, в письме к брату Льву он писал: «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин. Что он за нехрист? Он русский, из перерусских русский». Но оставим тему национальной принадлежности. Как обронил однажды сам Фонвизин: «У нас, как и везде, всякий спорит о том, что ему не нравится или непонятно».

Итак, Денис Иванович – русский, родился в Москве, учился в Московском университете. Еще в студенческие годы начал печататься в журналах и заниматься переводами. Служил переводчиком в Коллегии иностранных дел и секретарем кабинет-министра Елагина и дальше успешно двигался по служебной лестнице. Но литература пересилила карьеру, и Фонвизин вышел в отставку. Познакомился с жизнью во Франции и Германии, где от него сбежал слуга Семка, и написал «Записки первого путешествия». Но главными литературными произведениями его стали комедии «Недоросль» (1781) и «Бригадир» (1766 – 1769). Вот главные вехи жизни Фонвизина, ну, а всякие подробности и детали можно узнать из книги Станислава Рассадина «Сатиры смелый властелин».

Вот его внешность: «Полное и бледное лицо… Увы, Денис Иванович смолоду жестоко мучился головными болями, сильно был близорук, рано облысел, жаловался на несварение желудка, – не говорю уж о роковом параличе, сведшем его в могилу, раннюю даже по тогдашним понятиям». «Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, – писал его современник, – а наутро он уже был в гробе!»

Фонвизин умер в 48 лет в Петербурге 1(12) декабря 1792 года, за 7 лет до рождения Пушкина.

Фонвизин – это прежде всего «Недоросль». Он стал собственно Фонвизиным, написав «Недоросля», как Грибоедов – Грибоедовым, создав «Горе от ума», а не «Студентов» или «Молодых супругов».

Интересно, что сам Фонвизин рекомендовал себя публике как «сочинителя “Недоросля”». Не комедия состояла при маститом сочинителе, а он при ней. Такова была ее сила, такова был суперреальность выведенных автором образов Митрофанушки, Стародума, Простакова и других. Эти образы впервые в русской драматургии остро социальны. Митрофанушка – это русский генотип. Лентяй и невежда, но отнюдь не дурак. «Они всегда учились понемногу, сквозь слезы при Петре I, со скукой при Екатерине II, не делали правительство, но решительно сделали нашу военную историю XVIII века», – отмечал историк Василий Ключевский.

Да, воевать Митрофанушки умели, а вот в науке были слабы, что при Фонвизине, что ныне, недаром митрофанушка – это нарицательное имя, это те школьники или выпускники школ, утверждающие, что «Тихий Дон» написал Гоголь. Кстати говоря, Фонвизин и Гоголь следуют в русской литературе в одной упряжке. «Недоросль», как и пришедшие за ним «Ревизор» и «Мертвые души», стал своеобразным русским зеркалом

российской действительности. О «Недоросле» Гоголь говорил: «Все в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на все русское, а между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы...» Такого же мнения был и Пушкин: «Все это, вероятно, было списано с натуры».

В произведениях Фонвизина и Гоголя выведена вереница типов, переходящих из одной эпохи в другую. Менялась одежда, язык, способы передвижения людей и прочие внешние аксессуары бытия, но оставалась неизменной внутренняя суть исторических персонажей. Словом, в российском театре менялись лишь декорации, но герои оставались прежними. Об этом красноречиво написал Пушкин в поэме «Тень Фонвизина»:

Мертвец в России очутился,
Он ищет новости какой,
Но свет ни в чем не переменился,
Все идет той же чередой;
Все так же люди лицемерят,
Все те же песенки поют,
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут;
В окошко миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут,
И мучат смертных лекаря.
Спокойно спят архиереи,
Вельможи, знатные злодеи,
Смеясь, в бокалы льют вино,
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно;
Все столько ж трусов и нахалов,
Рублевых столько же Киприд,
И столько ж глупых генералов,
И столько ж старых волокит...

И далее Пушкин писал: «Вздохнул Денис: «О боже, боже!/ Опять я вижу то ж да то же». Что волокиты? – это мелочь. А вот высшие чиновники, управители, администраторы, канцелярские вершители судеб просто народа – «повсюду разлиты чернила» (ремарка Пушкина). В отсутствие точных и справедливых законов они, власть и чиновники, правят бал. О том, кто заказывает музыку и кто и как скользит по паркету, превосходно знал Денис Иванович Фонвизин («Страшна Фонвизина рука!»). В своей

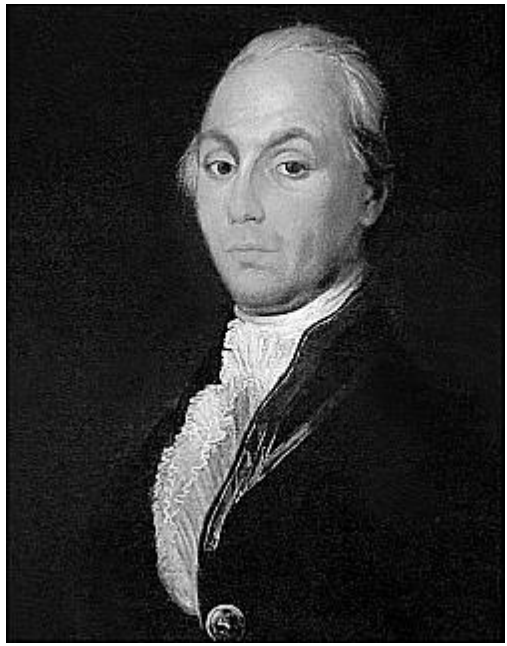
«Всеобщей придворной грамматике» Фонвизин отмечал: «Что есть придворный падеж? – Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости».

И еще фонвизинское наблюдение: «Ум и наука подчиняются людям столько же, сколько сережки и пуговицы».

Острота и колкость высказываний Фонвизина не понравились Екатерине II, и ему не разрешили издать ни пятитомное собрание своих сочинений, ни журнал «Друг честных людей, или Стародум». Осталась незаконченной комедия «Выбор гувернера», в которой Фонвизин поставил проблему воспитания передового человека. Эта проблема не решена и поныне. И что делать? Традиционный русский вопрос. России нужны «фундаментальные законы», – отвечал Фонвизин.

Сам он не впадал в беспросветный мрак отчаяния. Не будем впадать и мы. Пусть нас ведут и дальше по кривым российским дорогам и ухабам Вера, Надежда и Любовь. А что касается Фонвизина, то, как сказал Пушкин: «Денис! Он вечно будет славен».

БУНТОВЩИК? НЕТ, РЕФОРМАТОР!



Александр Радищев

С Денисом Фонвизиным власть обошлась не так уж сурово, скорее даже милостиво, простив некоторые вольности. А вот Александру Радищеву не повезло: он, как говорится, получил по полной программе. Советский нарком Луначарский назвал Радищева «первым пророком и мучеником революции». Пророк и мученик, вернувшись из ссылки, в «Проекте гражданского уложения» утверждал необходимость равенства всех сословий перед законом, свободы совести, свободы книгопечатания, особождения крестьян и т.д.

– Эх, Александр Николаевич! – сказал ему вельможный граф Завадовский. – Охота тебе пустословить по-прежнему... Или мало тебе было Сибири?

43-летний Радищев не захотел новой Сибири и 11 сентября 1802 года утром разом выпил стакан едкой жидкости для выжиги старых офицерских эполет его старшего сына. Потом схватил бритву и хотел зарезаться. Сын вырвал у него бритву. Вызвали лекаря. Но все оказалось тщетным. Радищев умер 12 (24) сентября в страшных мучениях. Лейб-медик, лечивший его, меланхолично заметил: «И светила небесные не затмились, и земля не тряслась».

Радищев исповедовал твердые принципы: «Если человек не может жить честно, то может прибегнуть к самоубийству». Не по-христиански, но по-граждански. Незадолго перед смертью Радищев написал: «Потомство за меня отомстит». Отомстили царской власти в 1917 году? Но при этом наворотили горы нового зла…

Трагическая смерть Радищева никого не оставила равнодушными. Поэт Иван Пнин, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, откликнулся стихотворением «На смерть Радищева»

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон,
Уста, что истину вещали,
Увы! Навеки измолчали
И пламенник ума погас;
Кто к счастью вел путем свободы

. . . . . .
Навек, навек оставил нас!

Оставил и прешел к покою.
Благословим его мы прах!
Кто столько жертвовал собою
Не для своих, для общих благ,
Кто был отечеству сын верный,
Был гражданин, отец примерный
И смело правду говорил,
Кто ни пред кем не изгибался,
До гроба лестию гнушался,
Я чаю, тот – довольно жил.

Другой поэт Иван Борн тоже отозвался стихотворными строками о жизни и заслугах Радищева: «Чертог сатрапский не манит/ Того, кто жизни цену знает…» А в итоге – «Пьют Патриоты смерти чашу». И далее Борн писал в прозе: «Друзья! Посвятим слезу сердечную памяти Радищева. Он любил истину и добродетель… Он родился быть просветителем, жил в утеснении – и сошел в гроб. В сердцах благодарных патриотов да соорудится ему памятник, достойный его!..»

Так воспринимали Александра Радищева современники. Для нас, ныне живущих, фигура Радищева далекая и малопонятная,

вроде восковой фигуры из музея мадам Тюссо: революционер – и всё! Такую табличку прикрепили к нему в годы советской власти. «Великий русский революционер, борец против самодержавия и крепостничества» (Энциклопедический словарь, 1955). В монографии «Радищев», изданной в 1949 году, утверждалось, что Радищев был «гражданином будущих времен», а далее автор проложил мостик к этим «будущим» людям – к Ленину и Сталину. Чур-чур, не надо! Не надо делать из Радищева железного большевика, он им никогда не был. Он был всего лишь пламенным мечтателем-реформатором, мечтающим изменить общественные законы жизни (некоторые его современники называли его маньяком, одержимым идеями реформаторства). Нет, не маньяк. А – поэт, философ, юрист, экономист («Как богата Сибирь своими природными дарами! – писал он. – Какой это мощный край!»). Еще серьезно занимался Радищев минералогией, климатологией, изучал растительный мир края, куда был сослан («Я уже чувствую себя почти Линнеем»). Но и это не все: добавим увлечение химией и музыкой. Короче, ренессансный человек!

Александр Николаевич Радищев родился 20 (31) августа 1749 года в Москве, в богатой дворянской семье. Род Радищевых берет свое начало от татарских князей, братьев Кунай и Нагай. Во времена Ивана Грозного они перешли в русское подданство и так же, как Фонвизины и многие другие неславяне, укоренившиеся на славянской почве, в потомстве дали людей, прославивших Россию.

Детство Радищев провел в селе Верхнем Аблязове (ныне Пензенская область). Затем домашнее воспитание в Москве, далее петербургский Пажеский корпус, по окончании которого Радищев был отправлен в группе молодых дворян в Лейпцигский университет для изучения юридических наук. И служба: протоколист в Сенате, таможенное ведомство, в котором дослужился до директора и стал статским советником, орден Св. Владимира 4-й степени... Женитьба, дети. Казалось бы, тишь и гладь, благодать. Жил да поживал бы припеваючи, но так поступать Радищев не стал. И дело было не в лихих временах (на Западе – Французская революция, в России – восстание Пугачева), а в нем самом, во внутреннем каком-то беспокойстве, «влача оков несносно бремя».

В заметках Георгия Адамовича «На полустанках» есть такое соображение: «Слаб человек. Любит он искусство, в котором узнает себя, свою грусть и жизнь». Это про Радищева. В 1789 году, в 30 лет, он закончил свое главное произведение «Путешествие из Петербурга в Москву». В мае 1790 года оно появилось в количестве 25(!) экземпляров в книжном магазине Зотова.

Во времена екатерининской гласности Радищев, конечно, не соразмерил всей полноты правды, многое тогда дозволялось, но не до такой же степени правдолюбия. Радищеву мало было правды о всяческих петиметрах, щеголихах, простаковых и прочих сатирических мишенях екатерининского века. Он замахнулся на крепостничество, на саму государственную систему.

Радищевское путешествие попало в руки Екатерины II. Она внимательно прочитала книгу и оставила на ней своим пометы: «Сочинитель не любит царей и где может к ним убавить любовь и почитание, тут жадно прицепляется с редкою смелостью; все сие клонится к возмущению крестьян противу помещиков...»

И еще: «Тут рассеивание заразы французской, отвращение от начальства... кроме раскола и разврату не усматриваю из сего сочинения...»

Царский секретарь Храповицкий записал в дневнике: «Сказывать изволила, что он бунтовщик хуже Пугачева». А это уже как приказ. И утром 30 июня 1790 года Радищева арестовали и препроводили к Степану Шешковскому, к «домашнему палачу» императрицы, к начальнику тайной полиции, а уже от него – в Петропавловскую крепость.

На следствии Радищев пытался защищаться, доказывая, что «Путешествие...» – явление чисто литературное, в духе сочинений западноевропейских писателей-сентименталистов, для народа книга не представляет никакой опасности, поскольку, как заявил Радищев, «народ наш книг не читает».

Поначалу Екатерина II потребовала для Радищева смертной казни, а потом смертный приговор был заменен десятилетней ссылкой в Сибирь, в Илимский острог. Радищева «заклепали в железы» и отправили по этапу. В Новгороде по настойчивому ходатайству графа Александра Воронцова, большого благожелателя писателя, кандалы сняли. Воронцов имел вес при дворе и часто выступал вразрез деяниям «матушки Екатерины», за что она придумала для него специальную аббревиатуру – ч.е.п. (черт его побери!).

И все же острог. Но, справедливости ради, надо отметить, что ссылка была отнюдь не сталинской (свирепая жестокость пришла позднее). Опять же благодаря графу Воронцову Радищеву присылали в Сибирь лекарства, книги, необходимые инструменты для естественнонаучных опытов. Помогал Воронцов Радищеву и материально. Опекал детей, они не были отнюдь «детьми врага народа».

Что касается судьбы крамольной книги, то почти все экземпляры ее были конфискованы и уничтожены, чудом уцелели 14 экземпляров (позднее они «вплыли» в саратовском музее им.

Радищева в 1887 году с указанием: «Хранить как дорогую библиографическую редкость и не выдавать для чтения»).

В одной из глав «Путешествия...» («Торжок») Радищев проницательно написал о бесполезности цензурных акций: «Что запрещено, того хочется. Мы все Евины дети». И точно: интерес к изъятой книге был жгучий, и она ходила в народе в рукописных списках. За рубежом «Путешествие из Петербурга в Москву» издал Герцен, а в России книга появилась спустя более века, в 1905 году.

Книге Радищев предпослал эпиграф из «Тилемахиды»: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Что за чудище? Из книги вытекает точный ответ: «Самодержавство», которое «есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». «Чудище» самодержавие порождает рабство, а рабство уродует души людей. Они не граждане великой страны, они всего лишь рабы, «винтики государственной машины», как говорил «великий вождь и учитель», товарищ Сталин.

В своей книге Радищев анатомировал все родовые пороки самодержавного Российского государства, которые были и есть (самодержавие ведь не исчезло, оно просто прячется под карнавальной маской демократии) – воровство, чинопочитание, взяточничество, только раньше оно называлось мздоимством, а ныне именуется коррупцией. В радищевские времена в народе складывались плачи:

> Власть их увеличилась, как в Неве вода;
> Куда бы ты ни сунься, везде господа!..

И одна из первых фраз «Путешествия...»: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». А далее – картинки бедствия по мере продвижения из Петербурга в Москву, от пункта Тосна до пункта Черная Грязь. И прежде всего писателя-путешественника ужасает положение крестьян, основного класса России того времени. В главе «Хотилов» Радищев восклицает: «Земледелец! Кормилец нашея тощеты, насытитель нашего глада, тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея права распоряжать ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит...» И задает вопрос: «Может ли государство, где две трети граждан лишены гражданского звания и частию в законе мертвы, называться блаженным? Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России?..»

Выводы Радищева резко не понравились Екатерине Великой. А пророчества его просто возмутили: «Пагуба зверства

разливается быстротечно. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медленнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем».

Власть всегда боится за себя, отсюда и приговор Радищеву – «казнить смертию». Но, испугавшись крови, сослали в Сибирь.

В 1796 году, после кончины Екатерины, при Павле I, Радищев вернулся в Россию, но права жительства в столицах не получил. Неизвестный художник нарисовал портрет вернувшегося Радищева, и он совпадает с описанием его сына: «...был среднего роста и в молодости очень хорош лицом, имел прекрасные карие глаза, очень выразительные...» На портрете Радищев уже не молод. Зачесанные седые волосы открывают высокий лоб. Глубокий, сосредоточенный взгляд больших темных глаз обращен на нас. Портрет человека, вобравшего мудрость и трагизм своего века. Это, кстати, единственный прижизненный портрет Александра Радищева.

Короткое царствование Павла I сменилось царствованием Александра I – подули новые свежие ветры. Радищеву было возвращено дворянство, и он был привлечен к работе в комиссии по составлению законов. Радищев оказался в своей родной стихии (ах, это сладкое слово «реформы»!). Он пишет Гражданское уложение, где первым пунктом ставит отмену крепостного права, а далее предлагает следующее: в уголовных делах отменить пристрастные допросы (на своей шкуре испытал, что такое пытки), ввести публичное судопроизводство и суд присяжных – иначе, считал Радищев, не может быть истинного правосудия. Еще – ввести свободу книгопечатания, свободу торговли. Свободу совести... «Но что ж претит моей свободе?/ Желаньям зрю везде предел», – писал Радищев в оде «Вольность». Короче, Радищев вознамерился построить (не один, конечно, а с единомышленниками) «храм Закона».

Закончив Гражданское уложение, Радищев принимается за Уголовное и здесь предлагает радикальные изменения. Он верит в реформы. Верит, что жизнь простого народа можно улучшить. Наивные надежды реформатора-просветителя. Непосредственный начальник Радищева граф Завадовский видит, что его подчиненный излишне прыток и полон реформаторского зуда. Возникает угроза «новой» Сибири. Радищев впадает в глубочайшую депрессию. Гнет и насилие ему ненависты. В оде «Вольность» он говорит:

И се чудовище ужасно,
Как гидра, сто имея глав,

Умильно и в слезах всечастно,
Но полны челюсти отрав,
Земные власти попирает,
Главою неба досягает,
«Его отчизна там», – гласит.
Призраки, тьму повсюду сеет,
Обманывать и льстить умеет
И слепо верить всем велит.

Есть «чудище», но нет свободы, нет вольности, а значит, нет и самой жизни. И Радищев самовольно решил уйти из нее.

В цитируемой уже оде «Вольность» Радищев выдвинул закон восходяще-циклического развития общества, согласно которому в обществе происходит постоянная борьба между началами равенства и неравенства, порождая их попеременное торжество.

Дойдешь до меты совершенство,
В стезях препоны прескочив,
В сожитии найдешь блаженство,
Нещастных жребий облегчив;
И паче солнца заблистаешь,
О вольность, вольность, да скончаешь
Со вечностью ты свой полет:
Но корень благ твой истощится,
Свобода в наглость превратится,
И власти под ярмом падет.

Сделаем ремарочку: русские классики были удивительными пророками, вот и Радищев сквозь толщу времен увидел, как «свобода в наглость» превратилась. Пал коммунистический тоталитарный режим, и на смену ему пришла короткая пора свободы, почти тут же превратившейся в наглость.

В советское время Радищева почитали как великого революционера. По личному указанию Ленина ему в Петрограде поставили памятник, однако наводнение 1924 года разрушило его. Партийные пропагандисты и идеологи считали, что заветы и мечты Радищева воплощены в жизнь. Сегодня с чувством удивления, смешанным с умилением, можно читать, что писали в печати о том, как «неузнаваемо изменилась жизнь в родном селе Радищева – Верхнем Аблязове. «Зажиточно и культурно живут колхозники сельхозартели «Родина Радищева». В селе построены начальная и средняя школы, работает опытная сельскохозяйственная станция. Колхозники осуществляют

высокую обработку почвы, проводят насаждения лесных полезащитных полос. Выписывают больше 400 газет и журналов...»

Социалистическая идиллия! И ни слова о том, что гнет помещиков сменился партийным гнетом. Но что об этом говорить? Давно нет СССР, развеялось, как дым, всевластие КПСС. В России строится капитализм, и не простой, а олигархический. Изменилась жизнь в деревнях и селах. Почти повсюду раздор и нищета, повальный алкоголизм, дебилизация людей, вымирание. Этого, конечно, не мог предполагать Александр Николаевич. «Внезапу вихри восшумели,/ прервав спокойство тихих вод...» – все та же «Вольность».

Вопрос другой, а был ли Радищев истинным революционером? Он верил в эволюцию, а не в революцию. А якобинский терроризм во Франции его очень напугал, и правлению безжалостного Робеспьера он предпочел мир самодержавной «неволи». Его разочарование в революции советские историки тщательно затушевывали. Как правило, классиков литературы гримировали и одевали в революционные наряды, мол, смотрите, какие были предтечи!

Радищева давно нет. Однако «Путешествие из Петербурга в Москву» продолжается. Путешествуют люди. Перемещаются идеи. Перекидываются события. Вспомним: Февральская и Октябрьские революции 1917 года возникли именно в Петербурге (тогда Петроград), а уже потом перекинулись в Москву. Большой террор (убийство Кирова 1 декабря 1934 года) начался именно в Ленинграде, а уже потом перебрался в Москву и распространился по всей России. Господи, сколько всего было! Петербург-Петроград-Ленинград как колыбель всяких печальных начинаний и новаций, опять же выступление декабристов на Сенатской площади. А перевод Академии наук СССР уже в советские времена из Ленинграда в Москву. И уже наши дни – «нашествие» питерцев на Москву. Питерская команда против московской!..

Соревнование-соперничество идет, тут двигатель – амбиции и жажда власти, а как насчет кардинальных реформ, в которые так верил Александр Радищев? Опять со скрипом и торможением? Шаг вперед, два шага назад? И опять окрест «меч и отрава»?

И последняя цитата из радищевского «Путешествия»: «Нет человека, который бы не чувствовал прискорбия, видя себя унижаема, поносима, порабощаема насилием, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретал нигде утешения своего...»

И тогда мы имеем не здравое «Путешествие из Петербурга в Москву», а прискорбно-комическое путешествие «Москва –

Петушки» незабвенного Венички Ерофеева.

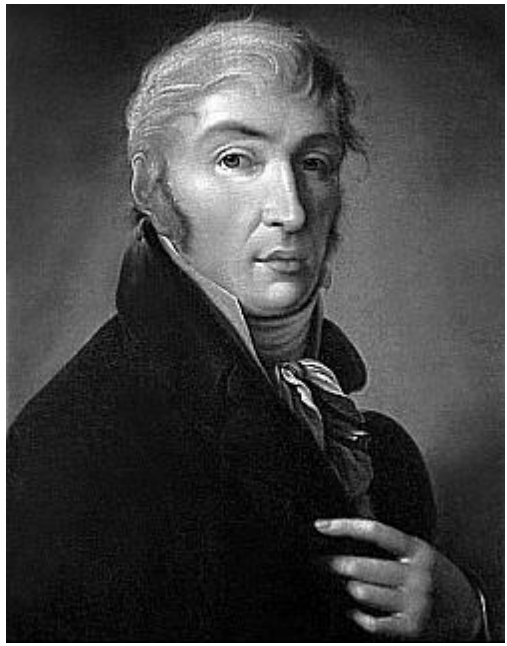
Воззрим мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства...

Стихотворные строки из радищевского «Путешествия», глава «Тверь»:

«Куда едешь, несчастный? Где может быть блаженство, если в своем доме его не обретешь?..»

На этом прощаемся с Радищевым и переходим к другой персоне.

«ЧАРОДЕЙСТВО» НИКОЛАЯ КАРАМЗИНА



Николай Карамзин

Николай Михайлович Карамзин – выдающийся русский историк, поэт, прозаик, журналист, реформатор языка. Илья Репин назвал Карамзина одним из «запевал» российской художественной интеллигенции.

Его «История государства Российского», без всякого преувеличения, потрясла просвещенную Россию. «Все, даже светские женщины бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную, – вспоминал Александр Пушкин. – Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили…»

Карамзин, по мнению Михаила Погодина, «заохотил русскую публику к чтению истории».

«Старина для меня всего любезнее», – признавался автор «Истории государства Российского». Незадолго до смерти Карамзин в одном из писем признавался: «Пусть никто не будет читать моей истории: она есть, и довольно для меня…» Ему чуть-чуть не хватило времени, чтобы довести свою «Историю» до избрания Романовых: его труд заканчивался 1612 годом.

Восемь томов «Истории государства Российского» вышли в

свет 28 января 1818 года тиражом в 3000 экземпляров и разошлись в один месяц, и сразу же потребовалось второе издание. Это был огромный успех. Но этот успех дался автору тяжелой ценой. Почти два года Николай Михайлович Карамзин потратил на чтение корректуры. «Читаю корректуру до обморока», – писал он 12 марта 1817 года. Она отнимала все рабочее время историка.

Последний, двенадцатый, том, не законченный Карамзиным, был издан в 1829 году, уже после смерти «российского Ливия» (так Жуковский сравнивал Карамзина с римским историком Ливием, автором «Римской истории»). И сегодня «История государства Российского» читается весьма современно, ее аналогии подчас просто пугают, неспроста в советское время ее боялись и не переиздавали в течение 70 лет.

Ныне исторические книги пекутся как блины (история снова в моде), но, увы, всем современным историографам далеко до Карамзина, ибо никто не владеет методом Николая Михайловича, а он удивительно прост и одновременно весьма труден: «порядок, ясность, сила и живописность». Умение красочно и выпукло организовать материал – это уже талант. А Карамзин, без всякого сомнения, был талантливым историком.

Однако историком он стал не сразу, а шел к своему призванию постепенно, «он смолоду любил надевать маски, менять лица», по выражению Юрия Лотмана, автора книги «Сотворение Карамзина».

Николай Михайлович Карамзин родился 1 (12) декабря 1766 года, по одним сведениям, в селе Михайловке, по другим – в Богородском в Симбирской губернии. Происходил он из крымско-татарского рода, известного с XVI века, представители которого стали русскими дворянами, небогатыми, но традиционно гордившимися образованием и независимостью. Отличные корни для русского писателя.

Первые шаги Карамзина неоригинальны – служба в гвардейском полку. Но следующий оригинален – отставка в 17 лет! С тех пор Николай Карамзин никогда не служил, что выглядело в ту пору как вызов. Почему бросил военную службу? В стихотворении «Послание к женщинам» Карамзин это объясняет так:

... в войне добра не видя,
В чиновных гордецах
чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны
(«Россия, торжествуй, —

сказал я, – без меня!»)...
и, вместо острой шпаги,
Взял в руки лист бумаги...

Итак, вместо шпаги – перо. И новая стезя: журналистская. Карамзин пишет стихи, прозу, сотрудничает в журнале Новикова «Детское чтение для сердца и разума», создает свой журнал, да не просто журнал, а новую его форму – альманах. Все дальнейшие российские альманахи вышли из «Аглаи» Карамзина. После «Аглаи» Карамзин взялся за издание журнала «Пантеон иностранной словесности». Еще он издавал «Московский журнал», он, кстати, выходит по сей день.

Впрочем, перечислять, что написал Карамзин, что создал, с кем сотрудничал, – слишком длинно и утомительно (нужна отдельная книга о Карамзине). Пожалуй, следует выделить предпринятое Карамзиным в молодые годы путешествие по Европе (Швейцария, Германия, Франция и Англия) и созданные на основе увиденного «Письма русского путешественника».

Еще один штрих к биографии Карамзина: одно время он был в кругу масонов и даже делил с одним из них комнату в «масонском доме» в Кривоколенном переулке в Москве. Интересовался утопическими проектами возрождения человечества и имел прозвище «лорд Рамзей» (философ-утопист). Карамзин мечтал о создании человека новой культуры – цивилизованного, утонченного, «чувствительного», с тонкой душой и гибким умом, наследующим все лучшее из наследия мировой культуры. Но, как историк, Карамзин понимал, что этот идеал почти недостижим. «Век конституций напоминает век Тамерлана: везде солдаты в ружье...»

В стихотворении «Гимн глупцам» (1802) Карамзин рассматривает государство как неизбежность реального мира, где, к сожалению, господствуют глупцы, оно может вырвать кинжал из рук злодея или само убить Сократа, может лишить счастья человека с умом и сердцем, но осчастливить может только дурака:

Глупцы Нерону не опасны:
Нерон не страшен и для них.

Это как бы аллегория, а вот о реальной действительности: 21 июля 1813 года Карамзин пишет письмо графу Сергею Уварову, попечителю Петербургского учебного округа, будущему министру народного просвещения: «...хвалю усердие и мысли Ваши. Дай

Бог, чтобы щастливый мир дал Правительству более способов заняться с успехом внутренним благоустройством России во всех ее частях! Доживем ли до времени истинного, векового творения, лучшего образования, назидания в системе гражданского общества? Разрушение наскучило. Говорю в смысле нашего ограниченного ума: Божественное видит иначе; но мы, бедные люди, имеем право молиться, в засуху о дожде, в бедах о спасении. Питайте в себе усердие к общему добру и веру в возможность лучшего. Наблюдайте, размышляйте, пишите и приятельски сообщайте мне плоды Ваших трудов...»

Сам Карамзин, как историк, считал, что «всякие насильственные потрясения гибельны». Он стоял за просвещенный путь развития: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений».

Последние 10 лет своей жизни Карамзин провел в Петербурге при дворе. При этом неоднократно повторял: я не придворный, но тем не менее был им. Царская семья постоянно приглашала его к обеду. Сам Государь не раз общался с Карамзиным, стараясь не мешать «исторической откровенности», как выразился историк. Более того, Александр I «душил его в розах». Однако ордена и награды не радовали Николая Михайловича, а скорее огорчали. Все дворцовые ритуалы лишь отвлекали его от основной работы. Когда грянуло восстание на Сенатской площади, Карамзину захотелось воочию посмотреть, как происходит смена исторических эпох. Но при этом он сильно простудился. 22 мая 1826 года Карамзин умер на 60-м году жизни.

Ну, а теперь перейдем от Карамзина-историка к Карамзину-человеку. Себя он считал «Холодным Меланхоликом». В книге «Спутники Пушкина» Викентий Вересаев пишет: «Карамзин в среде близких ему людей пользовался огромным уважением, почти поклонением. В своих воспоминаниях они рисуют его как исключительно доброго и благородного человека. «Прекрасная душа», – отзывается о нем Пушкин... На большинстве дошедших портретов Карамзина лицо у него брезгливое и губы недобрые. Карамзин был в жизни, как и во взглядах своих, очень воздержан и умерен, ни в какие крайности не вдавался, очень был аккуратен... очень бережлив, но если покупал, то уже самое лучшее...»

Карамзин был дважды женат и имел 10 детей: одну дочь от первой жены Елизаветы Протасовой и девять детей от Екатерины Колывановой. В стихотворении «Элегия» писал:

Печально младость улетит,

Услышу старости угрозы,
Но я, любовью позабыт,
Моей любви забуду ль слезы!

Мы и сегодня восхищаемся слогом Николая Карамзина. Он первым заговорил о литературе простым разговорным языком, освободил его от прежней ходульной напыщенности. «Карамзин, – говорил Пушкин, – освободил язык от чужого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова».

Карамзин начал, а Пушкин продолжил. Именно Карамзин ввел в русский язык новые слова: «общественность», «образ», «развитие», «человечный», «общеполезный», «трогательный». И еще – «промышленность». Однажды на обеде у английского консула Карамзин провозгласил тост за «вечный мир и цветущую торговлю». Это его выражение тотчас сделалось крылатым.

Много перлов рассыпано в поэзии Карамзина. Вот, к примеру, из стихотворения «Выбор жениха»:

Всем любиться в свете должно,
И в семнадцать лет не можно
Сердцу без другого жить.
Что же делать? Где искать?
И кому «люблю» сказать?..

А как замечательно сказано о том, что «мы слабых здесь не угнетали», так как «у нас не черные сердца!» Или вот о русском национальном характере:

Престань, мой друг, поэт унылый,
Роптать на скудный жребий свой —
И знай, что бедность и покой
Еще быть могут сердцу милы.

Для ленивых и вялых сограждан эти слова Карамзина как бальзам на душу. Зачем бурлачить и тянуть тяжелую лямку труда? Крутиться, изворачиваться? Когда можно тихо прожить «без напряга», как-то перебиться, перекантоваться, перезимовать. Мол, нам богатство не нужно, нам бедность в сладость и, конечно, пресловутая духовность. Если говорить о Карамзине, то он не был «сентименталистом жизни», как выразился Юрий Лотман. Он сам сотворил себя писателем. Знаменитая мадам де

Сталь после встречи с Карамзиным оставила запись: «Сухой француз – вот и всё».

Нет, не был Карамзин сухим человеком. Он был человеком размышляющим и свои эмоции держал в узде. Он пытался все время разгадать таинственный ход истории и отчаивался оттого, что не находил его:

Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.

Да, и сегодня нам ничего не понятно: куда идет Россия? на Запад или Восток? к демократии или к тоталитаризму? к просвещению или к новому варварству?.. Один «непроницаемый туман». И что остается?

На минуту позабудемся
В чародействе красных вымыслов!..

Вымыслы спасают от абсурда бытия. Иногда абсурд и глупость жизни доходят до такого предела, что начинаешь безудержно хохотать. И, как говорил Карамзин: «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно». В конечном счете, лучше смеяться, чем плакать. Спасибо за совет Николаю Михайловичу Карамзину.

ПОЭТ-ГУСАР

Денис Давыдов

Мы живем в странном обществе. Нас не привлекает история. Мы обожаем сиюминутность, всякие развлечения и экстримы («шок – это по-нашему!»). В июле 2004 года исполнилось 220 лет воину и поэту, герою Отечественной войны 1812 года Денису Давыдову. И почти никто не вспомнил о нем. Подумаешь, «кровью всех врагов России омыл свой доблестный булат». О Филиппе Киркорове писали все. О Денисе Давыдове напрочь забыли. Так давайте вспомним о нем.

Друг Пушкина

Поэт-гусар, «питомец муз, питомец боя», организатор партизанского движения в Отечественной войне 1812 года. Все европейские газеты того времени рассказывали о подвигах Дениса Давыдова и называли его Черным капитаном. В кабинете Вальтера Скотта висел портрет Черного капитана. Многие поэты посвящали ему стихи: «Усач. Умом, пером остер он, как француз. Но саблею французам страшен...» (Федор Глинка), «Давыдов, витязь и певец Вина, любви и славы!..» (Александр Воейков).

«Анакреон под доломаном, Поэт, рубака, весельчак!..» (Петр Вяземский).

Сам Александр Пушкин имел пристрастие к Денису Давыдову: «Я слушаю тебя и сердцем молодею...» А когда вышла из печати «История Пугачевского бунта», Александр Сергеевич подарил Давыдову экземпляр, снабдив его стихотворным посвящением: «Не удалось мне за тобою/ При громе пушечном, в огне/ Скакать на бешеном коне...» Пушкин выделял своего героического друга из близкого ему окружения: «Я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник».

Денис Давыдов родился 16 (27) июля 1784 года в Москве, на Пречистенке. Впоследствии жил в Трубниковском переулке, на Арбате и на Смоленском бульваре. Все дома, к сожалению, не сохранились. В конце 1820 года Денис Давыдов приобрел дом в Большом Знаменском переулке, но содержать его не смог и был вынужден продать.

Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой Пречистенский дворец... —

писал Денис Давыдов Пушкину в шутливой «Челобитной».

Сын военного, Денис Давыдов и мечтал быть военным.

– Любишь солдат? – спросил его Суворов.

– Люблю Суворова, – восторженно ответил мальчик, – с ним солдаты, и победа, и слава!

– Удалой, удалой, – отвечал Суворов. – Я умру, а он уже выиграет три сражения.

Пророчество Суворова сбылось.

На службе и в отставке

В 17-летнем возрасте Денис Давыдов начал военную карьеру. Пять лет состоял адъютантом князя Петра Багратиона. А потом грянула Отечественная война, в которой Денис Давыдов проявил и храбрость, и умение, и смекалку. После войны, однако, ему дважды пришлось уходить в отставку. Власть не слишком жаловала Давыдова за его острый язык и сатирические и оппозиционные стихи. Он смело критиковал монархический строй, но тем не менее в ряды декабристов не вступил, считая, что Россия станет свободной страной лишь в отдаленном будущем, а пока она, «расслаблясь ночною грёзою... сама не хочет

шевелиться, не только привстать разом».

Короче, Денис Давыдов был не совсем благонадежным генералом. «В течение сорокалетнего, довольно блистательного моего военного поприща, – писал он, – я был сто раз обойден, часто притесняем и гоним людьми бездарными, невежественными и часто зловредными...»

Как отмечал Белинский, Денис Давыдов – «истинная русская душа – широкая, свежая, могучая, раскидистая». А кому нужна такая душа? Власть любит людей узких, покорных, тихих и послушных, такова уж природа российской власти во все времена.

В 48 лет (в 1832 году) Денис Давыдов покинул Москву и уехал в свое имение Верхняя Маза, где жил до конца своих дней, лишь изредка наездами посещая две столицы. Его уделом были охота, сельское хозяйство и воспитание детей (6 сыновей и 3 дочери). И, конечно, литературная работа: «Я пишу много прозою, т.е. записки мои; стихи ничто, как десерт после обеда рюмка ликера, чашка кофе». А когда-то, в молодые годы:

Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки...

Словом, с Денисом Давыдовым произошла возрастная метаморфоза: из беспечного гуляки он превратился в образцового домоседа. Бывает такое...

Денис Давыдов скончался скоропостижно 22 апреля 1839 года на 55-м году жизни. Умер за столом, готовя эпитафию на могилу Багратиона: «Прохожий, скажи нашей родине, что мы умерли, сражаясь за нее».

Любовные кулисы гусара

Поэзия Дениса Давыдова в основном состоит из «распашных» гусарских стихов, военной и любовной лирики. Вот характерная «Песня» (1815):

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!

Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!..

«Шумная сеча боя» воспета Давыдовым бодро и звонко. А любовь? В ней Денис Давыдов предстает совсем другим, почти робким и застенчивым романтиком.

Как я любил! – В те красные лета,
Когда к рассеянью всё сердце увлекало,
Везде одна мечта,
Одно желание меня одушевляло,
Всё чувство бытия лишь ей принадлежало!..

Эти строки из «Элегии VII» и посвящены они Лизе, красавице полячке Елизавете Злотницкой. И до нее у отважного гусара были различные любовные интрижки, но тут он, как говорится, запал и потерял голову, и решил жениться. Лиза приняла предложение руки и сердца, но перед самой свадьбой наотрез отказалась соединить своею судьбу с Денисом Давыдовым. Она предпочла более красивого Петра Голицына, отвергнутый жених, как писал один современник: «Давыдов был не хорош собою...» Небольшого роста, с азиатским обликом, с маленькими глазами, – явно не красавец. И посему отказ. Денис Давыдов впал в бешенство и тут же написал стихотворение «Неверной»:

Неужто думаете вы,
Что я слезами обливаюсь,
Как бешеный кричу: увы!
И от измены изменяюсь?
Я – тот же атеист в любви,
Как был и буду, уверяю;
И чем рвать волосы свои,
Я ваши – к вам же отсылаю...

И бравая, настоящая гусарская концовка:

Чем чахнуть от любви унылой,
Ах, что здоровей может быть,
Как подписать отставку милой

Или отставку получить!

Лукавил Денис Васильевич, лукавил. Очень переживал он из-за любовных приключений и даже чах. Сначала по балерине Ивановой, потом по неверной полячке, затем по молодой соседке по симбирскому имению Кукушкиной и по другим «милым девам», прежде чем жениться и остепениться с чувствами. В этом смысле он был необычным сентиментальным гусаром.

Вы личиком – пафосский бог,
Вы молоды, вы стройны, как Аглая;
Но я гусар... я б вас любить не мог,
Простите: для меня вы слишком неземная!.. —

так писал Денис Давыдов своей соседке Кукушкиной.

В возрасте 35 лет Денис Давыдов женился на Софье Чирковой. Богатое приданое пришлось весьма кстати. Жена попалась ему заботливая, внимательная, любящая, ухаживала за ним, как за малым ребенком (гусар в мирное время – точно малое дитя). В одном из писем Давыдов писал одному из друзей: «Что тебе сказать про себя? Я счастлив! Люблю жену всякий день всё более и более... Несмотря на привязанность к жене милой и доброй, зарыт в бумагах и книгах, пишу, но стихи оставил! Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни».

Какие стихи, когда кругом целая ватага детей – Васька, Николенька, Денис, Ахилл и прочие «партизаны», все галдят и требуют к себе внимания. Хорошо-то хорошо, но на душе что-то свербит. Мучает Дениса Давыдова ностальгия по молодости, по боям, по друзьям-собутыльникам:

Где друзья минувших лет?
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?..

С одним из таких, с Дмитрием Бекетовым, Денис Давыдов особенно сдружился, благо он жил недалеко от него, верст в двухстах, не более. У Бекетова Давыдов и познакомился с его племянницей Евгенией Золотаревой. Ей 21 год, она прехорошенькая, эдакая Психея пензенская, очень начитанная и обожает стихи. Нетрудно догадаться, что возникло взаимное чувство. Он – женатый мужчина, да еще с кучей детей, она –

девица на выданье, но разве сердцу прикажешь, кого надо любить, а кого нельзя?

Эжени (на французский лад) Золотаревой Денис Давыдов пишет стихи в альбом:

В тебе, в тебе одной природа не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой,
И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство.

Долго не писал Давыдов стихи, а тут вдруг прорвало: одно стихотворение прекраснее другого. Любовь – источник вдохновения. Он пишет Эжени и стихи, и письма (сохранилось 57 писем к «пензенской богине»). Они встречаются. Но встречи эти, естественно, тайные и робкие: оба понимают, как опасно дать разгореться любви и страсти. И вот наступает закономерный конец.

«Я знаю хорошо, что это должно так кончиться, но это не облегчает удара, – писал Золотаревой Денис Давыдов. – Всё кончено для меня; нет настоящего, нет будущего! Мне осталось только прошлое, и всё оно заключается в этих письмах, которые я вам писал в течение двух с половиной лет счастья».

Тоже странность. Обычно любовные письма просит вернуть женщина, а тут мужчина. Но этим мужчиной был поэт, а поэты всегда бывают немножечко странными. И вот последние стихи:

Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей,
Неотразимый, неизбежный.
И милые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть, и жизнь при встрече с ней...
Исчезло всё!..

Под давлением родственников Евгения Золотарева приняла предложение и обвенчалась с пензенским помещиком Манцевым. Была ли тут любовь? Трудно сказать. Но стихов не было точно. Письма Дениса Давыдова Эжени сохранила при себе и передала по наследству сыну. Значит, дорожила.

Ну, а Денис Давыдов? После расставания с Эжени, по наблюдению современника, «стал стареть ужасно». А вскоре

подоспела и смерть.

Немного о водке

В заключение отметим, что на склоне лет Денис Давыдов ворчал по поводу «новых гусар», нового поколения военных:

Говорят, умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке – ни полслова!

И что это за таинственная «Жомини»? Оказывается, не что. А кто – военный теоретик, по происхождению швейцарец, генерал Анри Жомини. Был советником Александра I и основал русскую Академию генерального штаба. И выходит, что Дениса Давыдова раздражали паркетные офицеры, не пропахшие дымом сражений. Да еще этот иностранец Жомини! Что касается водки, то Денис Васильевич вряд ли мог предположить, что со временем его любимая матушка Россия утонет в алкоголе. «А об водке – ни полслова»? А пиво?!

ОТ ЛЮБВИ К БЕЗУМИЮ

Константин Батюшков

В 1987 году широко отмечалось 200-летие Батюшкова. Солидный доклад «К.Н. Батюшков и русская литература» в Союзе писателей и в Институте мировой литературы. Вычеканенная юбилейная медаль. Выпущенный миллионным тиражом томик стихов поэта. Большое празднование на Вологодчине. Уйма народа. Речи, стихи. Выступление фольклорного ансамбля...

И вот прошло 20 лет, 220-летие Константина Батюшкова – и тишина. Не нужен ни поэт, ни вообще русская литература. Свой «батюшка» сидит в Кремле, – чего же еще желать большего?.. если вспоминать прошедшее, то 20 лет назад при выступлении фольклорного ансамбля особым успехом пользовался танец «Веселуха-топотуха». Какая историческая ирония! Жизнь Батюшкова была отнюдь не веселой, а трагически-печальной. Он был забыт как литератор еще при жизни, в которой оказался неудачен и беден, закладывал и перезакладывал свое жалкое именьице. Издал всего лишь одну книжку. И впал в безумие. Из 68 прожитых лет половину Батюшков провел под гнетом неизлечимой душевной болезни. «И был он мертв для внешних впечатлений» – как выразился о нем Вяземский. Вот такая «Веселуха-топотуха».

Следует напомнить, что Батюшков был первым, кто тяготился чиновничьим мундиром (до Пушкина); кто пришел к выводу, что в России бывает горе от ума (до Грибоедова); прежде Гоголя сжег свои рукописи; до Баратынского в Италии заболел ностальгией и о войне, задолго до Льва Толстого, написал жестокую правду. И, наконец, Батюшков был предтечей Пушкина.

У Осипа Мандельштама есть строки:

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне – и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
Который час? Его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность.

Спесь Батюшкова – это для рифмы, а на заданный вопрос о часе Батюшков точно ответил так: вечность. То есть он думал не о жизни, а заглядывал за ее грань.

Константин Николаевич Батюшков родился 18 (29) мая 1787 года в Вологде, в старинной дворянской семье. Рано лишился матери: она сошла с ума, когда мальчику было всего 4 года. Юность его прошла у родственников в Петербурге. Учился в частных пансионах. Получил блестящее образование, в совершенстве владел несколькими европейскими языками (а итальянский выучил первым из русских писателей). Прекрасно знал латынь и, соответственно, античную литературу. Под влиянием своего дяди Михаила Муравьева, «самого порядочного русского», Батюшков увлекся поэзией.

А потом была служба, сначала в Министерстве просвещения, затем при Московском университете. Службой, естественно, тяготился, поэтическая душа рвалась куда-то ввысь. Его девизом было «подобно Тассу, любить и страдать». Торквато Тассо – любимый поэт Батюшкова, которого он переводил на русский. Печатал стихи в различных журналах и альманахах: «Северный вестник», «Лицей», «Цветник», «Вестник Европы» и др. Как выглядел Батюшков в молодости? Современник вспоминает, что он был «чрезвычайно приятной наружности. Глаза у него были чудного голубого цвета, волосы курчавы, губы довольно большие, сладострастные. Он всегда отлично одевался, любил даже рядиться и был педант в отношениях моды. Говорил он прекрасно, благозвучно и был чрезвычайно остроумен».

Себя Батюшков характеризовал с легкой иронией: «лентяй, шалун, беспечный баловень, маратель стихов… который любит

друзей своих, влюбляется от скуки».

Для себя он – «маратель стихов», для читателей и поэтов – «жрец любви», «философ-эпикуреец», «русский Тибулл», «Русский Парни», «Русский Петрарка», призывающий «харит изнеженных любить, наперстник милых аонид». Было такое направление в русской поэзии: сентиментализм, в оковах которого и барахтался поначалу Батюшков. Карамзин сурово порицал поэтов-сентименталистов за «излишнюю высокопарность» и «притворную слезливость». Что было, то было.

В «Силуэтах русских писателей» Юлий Айхенвальд писал: «Батюшков – певец сладострастия, и даже слово это было для него излюблено. Он радовался молодости и страсти, любил вдыхать в себя от каштановых волос тонкий запах свежих роз и безустанно пел о том, что «сладко венок на волосах каштановых измять и пояс невзначай у девы развязать». Его чаровали тихие, медленные и страстные телодвижения в сплетенном хороводе поющих жен. Он славил и роскошь золотую, которая обильною рукой подносят вины и портер выписной, и сочны апельсины, и с трюфелями пирог...» Цитату следует оборвать, а то придется стремглав бежать в ближайший ресторан, хотя я не уверен, что там есть «с трюфелями пирог».

Батюшков в своих стихах пел любовь и удивлялся, что для «угрюмых стоиков и скучных мудрецов» – «Весна без радости и лето без цветов». Вот такая была в нем языческая радость. Но не одна. Рядом соседствовали совсем иные мысли и чувства, он часто «вспоминал и о минутности и бренности всего человеческого». Он отчетливо понимал, что все неминуемо исчезнет, что смерть стоит за спиной.

Жуковский, время всё поглотит,
Тебя, меня, и славы дым...

Стихи Батюшкова полны предчувствий, но он их не боится, он их даже ждет и приветствует: «Парки дни мои считают», «Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен...», «Земную ризу брошу в прах...» По всей вероятности, это предчувствие собственной судьбы: он шел без страха к неминуемой гибели.

Ты помнишь, что изрек,
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?
Рабом родился человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудных слез,

Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Эти строки Батюшков уже не писал сам, а надиктовал в 1821 году, будучи уже объятым безумием. Но строки удивительно логичны и точны. Но открутим время назад. В 1807 году 20-летний Батюшков добровольцем отправился в прусский поход против Наполеона. «Но слаще мне среди полей/ Увидеть первые биваки/ И ждать беспечно у огней/ С рассвета для кровавой драки...» Батюшков участвовал в боевых действиях, был ранен в сражении под Гейльсбергом, удостоился ордена Св. Анны 3-й степени. Осенью 1808 – весной 1809 года участвовал в Русско-шведской войне. И, наконец, Отечественная война 1812 года. Батюшков клялся «за древний град моих отцов» «поставить грудь перед врагов сомкнутых строем». Участвовал во многих сражениях, в том числе в знаменитой «битве народов» под Лейпцигом. В январе 1816 года как офицер лейб-гвардии Измайловского полка Батюшков выходит в отставку и навсегда порывает с военной службой.

Участие в войнах не принесло Батюшкову ни славы, ни денег, а одно разочарование: его сердце отторгло ужасы войны, а французское просвещение в лице Наполеона разочаровало, как и торгашеский дух, с которым он столкнулся на Западе. «Мудрено. Мудрено жить на свете, милый друг!» – писал он в одном из писем. Выйдя в отставку, он много пишет, переводит, занимается проблемами поэтики, вступает в общество «Арзамас», где его звали Ахиллом, но имея в виду его плохое здоровье, именовали как: Ах, хил! В октябре 1817 года вышло два тома «Опытов в стихах и прозе» на деньги, данные его другом Гнедичем. Книга имела успех.

Мой друг! Я видел море зла
И неба мстительные кары:
Врагов неистовых дела,
Войну, и гибельны пожары...

Не избежал Батюшков и сильного чувства, полюбив Анну Фурман. Все ждали, что после заграничного похода Батюшкова они поженятся. Но что-то помешало браку. В одном из писем поэт признавался: «Я не стою ее, не могу сделать ее счастливою с моим характером и с маленьким состоянием... Видеть, что все милое и драгоценное сердцу страдает, это – жестокое мучение...» В другой раз высказался иначе и ироничнее, почему он не подходит ей: «Первый резон – мал ростом. 2-й – не довольно дороден. 3-й –

рассеян. 4-й – слишком снисходителен... 6-й резон – не чиновен, не знатен, не богат». Шуткой прикрывал боль, а тем временем сердце кровоточило от страданий.

Анна Фурман вышла замуж за другого. А Батюшкову осталась доля изливать свои чувства в стихах – в любовных элегиях «Мой гений», «Разлука», «Таврида», «Пробуждение». Знаменитые строки «О память сердца, ты сильней/ Рассудка памяти печальной...», положенные на музыку Глинкой.

Начальные признаки душевной болезни появились летом 1820 года, в Неаполе, куда он отправился на дипломатическую службу. Физические недомогания и тоска преследовали его. В 34 года Батюшков умолк как поэт. Лечение на Кавказских водах и в клинике Зонненштейна в Германии не помогли. Бред и галлюцинации чередовались с периодами ремиссии, когда больному становилось лучше, в такие дни он занимался рисованием и лепил фигурки из воска. Но потом неизменно наступал кризис. Летом 1828 года немецкий врач Дитрих привез Батюшкова в Москву. Сохранились записки Дитриха о том, как он вез русского поэта на родину: «...сидя в коляске, почти не двигался, но временами улыбался, и так странно, что сердце содрогалось...» Кричал по-итальянски, что он прибыл на родину Данте и Тассо, и то, что он тоже художник! То, выйдя из коляски, бросался на траву, крича уже по-русски: «Маменька! Маменька!»

В 1830 году в Вологде больного навестил Пушкин, но Батюшков его не узнал. Под впечатлением увиденного Александр Сергеевич написал свои знаменитые строки: «Не дай мне Бог сойти с ума./ Нет, легче посох и сума...» Пушкин видел важную заслугу Батюшкова в том, что тот сумел дать русскому слову и русскому звуку красоту и силу «италианского» слова и звука. На полях батюшковских «Опытов...», рядом со строками из стихотворения «К другу», Пушкин записал: «Звуки италианские! Что за чудотворец этот Батюшков». И вот этот «чудотворец» угрюмо молчит и только что-то рисует на бумаге. Пушкин испытал ужас.

Оборвалась лира Батюшкова. Он мог написать и сделать для русской литературы многое, он это знал, ибо лучше других сам сказал о своей трагедии, на рубеже «двух жизней»: «Что писать мне и что говорить о стихах моих!.. Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди узнай теперь, что в нем было!»

Поди узнай. Алексей Пьянов в стихотворении, посвященном Батюшкову, написал: «Стихи его/ И музыка речей – / Чудесный пир/ Для слуха и очей.../ Безумие/ Оборвало строку,/ Как будто

конь/ Споткнулся на скаку».

Умер Константин Батюшков 7(19) июля 1855 года в возрасте 68 лет от тифа. Похоронен в Спасо-Прилуцком монастыре.

В молодые годы он написал в стихотворении «Надпись на гробе пастушки»: «…И я, как вы, жила в Аркадии счастливой…»

Счастливая Аркадия? В письме к А. Тургеневу Вяземский писал: «Мы все рождены под каким-то бедственным созвездием. Не только общественное благо, но и частное не дается нам. Черт знает как живем, к чему живем! На плахе какой-то роковой необходимости приносим в жертву друзей своих, себя, бытие наше. Бедный Батюшков…»

Вздохнем и мы по поэту.

СФИНКС РУССКОЙ ЖИЗНИ

Петр Чаадаев

В Нижнем Новгороде на улице Чаадаева есть памятная доска: «Петр Чаадаев. Поэт. Друг Пушкина».

Конечно, друг, – у нас все крутится вокруг Пушкина, он – наше светило, а остальные, так, – мерцающие звездочки. Чаадаев – поэт? Разумеется, поэт, коли у него было так сильно развито воображение, а метафоры и сравнения так и выпирали из его текстов. Но еще Чаадаев был философом, мыслителем. И мыслителем в основном русским: все о России думал, сравнивал ее со странами Запада и негодовал, почему мы, русские, не такие, как немцы или французы, и живем значительно хуже их, – почему? Юный Пушкин со своей поразительной интуицией сразу понял суть Чаадаева:

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он – офицер гусарский.

И гусарствовал недолго. Ушел в высокие думы и своими

мыслями взбудоражил Россию (разумеется, просвещенную ее часть). Чаадаев со временем весь издан, но его мало читают, недостаточно цитируют и почти всегда обходят стороной: опасный Чаадаев! Все высказанное им – это пропасть, бездна, не дай бог провалиться туда. А может быть, прав был Николай I, объявивший Чаадаева сумасшедшим.

«Сумасшедший!»
«рыжий!» —
Запрыгали слова.
Ругань металась от писка до писка,
и до-о-о-о-лго
хихикала чья-то голова,
Выдергиваясь из толпы, как старая редиска, —

это ранний Маяковский, стихотворение «Ничего не понимают» (1913).

Император Николай I действовал как первый психиатр России и, ставя диагноз чаадаевским мыслям, в первую очередь, полагался на свое внутренне чутье: Чаадаев опасен России, его слова о свободе – сродни артиллерийским снарядам – могут все разрушить. «Польза философии не доказана, а вред – возможен», – однажды вымолвил Его Величество.

Среди заметок на полях книг есть одно ужасное высказывание Чаадаева. Он говорит: «...меня обвиняют в том, что я притворяюсь, но как не притворяться, если живешь среди бандитов и дураков». Эту запись Чаадаев сделал как бы конспиративно, не в открытую. Как опытный конспиратор, он важные для себя мысли записывал на полях книг или на клочках бумаги, – авось, не заметят!.. Но и того, что появилось в печати, было достаточно, чтобы мыслителю кричать: ату его!.. Чаадаева критиковали вовсю, но так до конца и не поняли. Он был, по выражению одного из современников, сфинксом русской жизни.

Ну, а теперь коротко о его биографии. Петр Яковлевич Чаадаев родился 27 мая (7 июня) 1794 года в Москве. В «Родословной книге князей и дворян российских и Выезжих» можно найти такую информацию: «Чаадаевы. Выехали из Литвы. Название получили от одного из потомков выехавшего и прозывавшегося Чаадай, но почему, неизвестно». По одной из версии, имя имеет монгольские корни, его носил один из сыновей Чингисхана, получивший во владение огромную территорию, население которой называли «чегодаи» (или «чегатаи»). Отец мыслителя, Яков Чаадаев, дослужился до подполковника и баловался иногда литературой, написав и издав комедию «Дон

Педро Прокодуранте, или Наказанный бездельник». А мать Петра Чаадаева – Наталья, была дочерью знаменитого историка и публициста XVIII века князя Михаила Щербатова, который написал нашумевшую и, естественно, крамольную книгу «О повреждении нравов в России». Внук где-то унаследовал эти литературно-бунтарские гены.

Петр Чаадаев рано лишился отца, вскоре умерла и мать, и поэтому они со старшим братом Михаилом попали под опеку тетки, старой девы Анны Михайловны Щербатовой. Деньги имелись – и образование сирот не стало проблемой. Петр Чаадаев окончил Московский университет и 12 мая 1812 года начал военную карьеру. Участвовал в Отечественной войне, в Бородинском сражении и в заграничных походах русской армии. Его ожидала блестящая карьера – он пренебрег ею. Не захотел войти в ближайшее окружение Александра I, считая, что таким образом станет соучастником лицемерия, официально освященного монархией. Самодержавие было несовместимо с его убеждениями. В феврале 1821 года 25-летний ротмистр Петр Чаадаев выходит в отставку. В 1823 – 1826 годах путешествует по Европе – «вдохнуть воздух свободы» (Англия, Франция, Швейцария, Италия, Германия).

Знакомство с Европой окончательно сформировало взгляды Чаадаева и испепелило его сердце. Контраст между духовной и политической жизнью буржуазной Европы и крепостной России был слишком разителен. Нищета, отсталость, дикость России были чрезмерно наглядны и безысходны, население Российской империи коснело и пресмыкалось в рабстве. «Во Франции на что нужна мысль? – спрашивал Чаадаев и отвечал, – чтобы ее высказать. В Англии? Чтобы привести ее в исполнение. В Германии? Чтоб ее обдумать. А у нас? Ни на что!»

Чаадаев попытался помыслить и получился печальный результат, но, конечно, больше пострадали его знакомые и единомышленники-декабристы. А Чаадаеву была уготована участь домашнего заточения.

Прежде чем перейдем к философическим письмам Чаадаева, приведем цитату из Осипа Мандельштама: «След, оставленный Чаадаевым в сознании русского общества, – такой глубокий и неизгладимый, что невольно возникает вопрос: уж не алмазом ли проведен он по стеклу?.. Уроженец равнины захотел дышать воздухом альпийских вершин и, как мы видим, нашел его в своей груди… На Западе есть единство! С тех пор, как эти слова вспыхнули в сознании Чаадаева, он уже не принадлежал себе и навеки оторвался от «домашних» людей и интересов. У него хватило мужества сказать России в глаза страшную правду, – что

она отрезана от всемирного единства, отлучена от истории... Что он думал о России, – остается тайной. Начертав прекрасные слова: «истина дороже истины», Чаадаев не раскрыл их вещего смысла...»

На то и сфинкс!..

В 1828 – 1830 годах Чаадаев работал над циклом «Философических писем» (всего их восемь). Живет во флигеле на Новой Басманной и получает прозвище «Басманного философа» (такая «историческая» ирония: Басманный философ Чаадаев и пресловутый нынешний Басманный неправедный суд!..). В сентябрьском номере за 1836 год журнала «Телескоп» появляется первое философическое письмо. Оно, по сути дела, было адресовано не «à une dame» (знакомой Чаадаева Пановой), хоть и начинается словами «Сударыня...», а лично российскому императору Николаю II, чтобы помочь ему разобраться в российской истории и встать на путь европейских реформ.

«Взгляните вокруг себя, – писал Чаадаев. – Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, пробуждало бы в Вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри Вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам...»

Далее Чаадаев рассуждает об историческом развитии Запада и России и утверждает: «...у нас ничего этого нет. Сначала – дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства, ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, занимаемое нами пространство, – Вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы Вам о

прошлом, который воссоздал бы его пред Вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя…

…У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса, каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда… мы растем, не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно…»

Хочется процитировать это бурное письмо полностью, но этого делать нельзя: мы ограничены рамками объема книги, она не только о Чаадаеве.

В середине письма почти вопль: «И вот я спрашиваю Вас, где наши мудрецы, наши мыслители?..» Чаадаев больше всего хотел научить русских людей мыслить – то есть думать систематически (sine ira et studio), анализировать факты. Но напрасные старания. Император Николай Павлович пришел от этого хотения в полнейшее негодование. «Прочитав статью, – начертал он на первом «Философическом письме» резолюцию, – нахожу, что содержание оной – смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного».

Сказанное было воспринято как приказ: Чаадаев – умалишенный. Ему было запрещено печататься. Его ежедневно стали посещать доктора. Издателя «Телескопа» Николая Надеждина арестовали и сослали в далекий Усть-Сысольск. Цензора, допустившего публикацию «Философического письма», отправили в отставку. Но слово, вымолвленное, а лучше даже сказать – отчеканенное Чаадаевым, полетело по просторам России. Хотя Чаадаев совсем не рассчитывал на такой резонанс, в письме к Мещерской от 15 апреля 1836 года он писал: «Вам известно, что я никогда не думал о публике, что я даже никогда не мог постигнуть, как можно писать для такой публики, как наша: все равно обращаться к рыбам морским, к птицам небесным».

В этих словах, конечно, слышится высокомерное презрение к толпе, публике, к людям. Когда к Чаадаеву пришли с обыском, он, сидя в кресле, любовался на свежие оттиски «Писем». Зрелище обыска раздавило философа: изымали подряд все бумаги, трясли книги, шарили по шкафам. Крамолы, однако, не отыскали, но напугали Петра Яковлевича на всю жизнь. А потом еще докучливые доктора с осмотром: насколько повредился в уме? Но, справедливости ради, необходимо сказать, что врачебный контроль длился недолго, хотя клеймо сумасшедшего никаким царским указом снято не было. «Что касается до моего

положения, то оно теперь состоит в том, что я должен довольствоваться одною прогулкою в день и видеть у себя ежедневно господ медиков...» – писал в одном из писем Чаадаев, а другое подписал просто: «Безумный».

Наверное, какое-то безумие было, если Чаадаев в 1837 году написал еще одно ядовитое сочинение – «Апологию сумасшедшего» (а может, вошел во вкус и бравировал этим?).

«Прекрасная вещь – любовь к Отечеству, но есть еще нечто более прекрасное – это любовь к истине. Любовь к Отечеству рождает героев, любовь к истине создает мудрецов, благодетелей человечества. Любовь к Родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Не чрез Родину, а через истину ведет путь на небо. Правда, мы, русские, всегда мало интересовались тем, что – истина и что – ложь, поэтому нельзя и сердиться на общество, если несколько язвительная филиппика против его немощей задела его за живое...»

А русскую особость Чаадаев определял главным образом географическим фактором: «Мы просто северный народ и по идеям, как и по климату, очень далеки от благоуханной долины Кашмира и священных берегов Ганга».

И главный тезис «Апологии»: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны Родине истиной... Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями и которым, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы...»

Боже, как ошибался Петр Яковлевич, говоря, что «время слепых влюбленностей прошло». Оно не прошло. Напротив, расцвело после 1917 года и продолжает цвести и пахнуть в начале XXI века. Всюду слышен «одобрямс» и крики «Ура!» Очень многие, миллионы, купаются в «блаженном патриотизме лени» и никак не хотят снимать розовые очки... Но остановимся и воскликнем: эдак, нас повело от чаадаевских рассуждений и наблюдений, неужели вековой резонанс?..

«Апология сумасшедшего» не была до конца дописана Чаадаевым, в каком-то месте рукопись, написанная опять же по-французски, прервалась. Сфинкс рявкнул. И снова замолк...

За три года до смерти Чаадаев вдруг быстро состарился,

облысел и осунулся. Заказал в Париже свои литографические портреты и частенько ими любовался. Умер Петр Яковлевич внезапно, сидя в кресле, 14(26) апреля 1856 году в возрасте 62 лет. Газеты написали, что «14 апреля, в 5 часов пополудни, скончался один из московских старожилов, Петр Яковлевич Чаадаев, известный почти во всех кружках нашего столичного общества». Согласно завещанию похоронили его на кладбище Донского монастыря, рядом с могилой Авдотьи Норовой (о чаадаевских женщинах чуть позже). Мебель, платья, белье, серебро «и все прочее» философ завещал своим слугам Титу и Василисе. Флигель на Басманной, где жил Чаадаев, долгое время был местом паломничества жителей и гостей престольной Москвы: «А вот дом, где жил сумасшедший Чаадаев...» – всем было крайне любопытно.

Чаадаев умер, а каким он был при жизни? Был замкнут и скрытен, никого не подпускал к своей душе, даже тех, с кем дружил – Пушкина, Ивана Якушкина, которого в письмах называл иногда братом. Домосед, но не совсем. Любил бывать в Английском клубе, появлялся в салонах Орловой, Елагиной, посещал модный ресторан Шевалье. Заказывал бутылку шампанского, выпивал один бокал и молча удалялся. Иногда вступал в разговоры, острил и язвил. Сохранилась эпиграмма:

Чета московских краснобаев
Михаил Федорович Орлов
И Петр Яковлевич Чаадаев
Витийствуют средь пошляков...

А вообще Чаадаев был типичным меланхоликом, впрочем, как и его брат Михаил. Оба были озабочены своим здоровьем, и каждый пытался лечиться по-своему. Петр скупал за границей медицинскую литературу, тщательно ее штудировал и находил у себя признаки многих заболеваний. После этого бросался к светилам европейской медицина и старательно следовал их рекомендациям: пил всякие микстуры, принимал порошки и ванны. А старший брат, Михаил, в своем имении Хрипунове пил горькую – водкой лечился и водкой утешался. Примечательно, что оба брата были бездетными и не оставили наследников.

Некоторые исследователи жизни и творчества Петра Чаадаева утверждают, что он был человеком «нулевой сексуальности». Вся его любовь выражалась исключительно через письма. Один из его адресатов – соседка по усадьбе Авдотья Норова. Она любила Чаадаева до беспамятства, до исступления, у нее был культ Чаадаева. Но она умерла, и вместо нее появилась другая –

Екатерина Левашова, соратница-утешительница, и она «изошла любовью» к Чаадаеву, а он так и не воспламенился. Свои «Философические письма» Чаадаев посвятил еще одной женщине – Пановой. Считают, что она была увлечена его религиозными идеями. Публичное посвящение ей писем Чаадаева привело к трагедии: муж засадил ее в сумасшедший дом. Несчастной было всего 32 года. Ее били и вязали… Николай Языков, один из недругов Чаадаева, писал про Басманного философа:

Свое ты все презрел и выдал,
Но ты еще не сокрушен;
Но ты стоишь, плешивый идол
Строптивых душ и слабых жен.

Подтекст таков: Чаадаев сманивал своим блистательным умом «слабых жен». А по поводу чаадаевских сочинений Языков негодовал еще больше: «Вполне чужда тебе Россия,/ Твоя родимая страна!/ Ее предания святые/ Ты ненавидишь все сполна».

Следует заметить, что Чаадаеву был присущ дендизм, а точнее – эстетизм. И, вообще, Чаадаев – некий странный русский вариант Оскара Уайльда с сильной примесью Фридриха Ницше – типа прямо противоположного. «Образ жизни Чеодаев (именно так написано. – *Ю.Б.*) ведет весьма скромный, страстей не имеет, но честолюбив выше меры», – доносил в Петербург московский жандармский начальник.

Сделаем еще один поворот в теме: Чаадаев и Пушкин. 22-летний Чаадаев летом 1816-го познакомился с 17-летним лицеистом Пушкиным и стал для него другом-учителем, он «заставлял Пушкина мыслить». Уроки не пропали даром: ученик стал самым глубоким критиком взглядов учителя, касающихся исторического прошлого России. Западная демократия виделась Чаадаеву необходимым условием прогресса в развитии страны, а Пушкин называл демократию всего лишь «забавой взрослых шалунов». Пушкин ратовал за идею империи с некоторой долей свободы. А Чаадаев противопоставлял свободу государству. Больше всего возмущало Чаадаева рабство в России. «Я предпочитаю, – говорил Чаадаев, – бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать». А Пушкин, в отличие от Чаадаева, тешил себя надеждами. В 1817 году он писал Чаадаеву: «Товарищ, верь: взойдет она,/ Звезда пленительного счастья…» Чаадаев, в свою очередь, отвергал подобную наивную веру.

Чаадаевское неверие точно выразил современный поэт Александр Радковский в стихотворении «Чаадаев» (1968):

Россия – Некрополь. Россия – Некрополь,
На Ново-Басманной шуршащая опаль.
На Ново-Басманной во флигеле строгом,
пустыми ночами беседуя с Богом,
живет человек, наподобие тени —
душа всех загубленных, дух погребений.
Седой нетопырь, трепеща от бессилья,
он чинит свои перебитые крылья.

О, дух погребальный, скользящий,
нелепый!
Мелькают под крыльями здания-склепы,
Бескровная рана и рана сквозная...
Над невской водою стена крепостная.
У склизлой стены известковая яма.
Кричи, о кричи же, истошно, упрямо!
Кричит безутешный, кричит,
а не плачет,
он слезы в улыбке язвительно прячет,
и – дальше – крыла выгибая упруго —
к могиле открытой любимого друга.
Деревья от скорби за день поседели.
За что, о за что, святогорские ели?
Вот так он летает,
все ночи летает.
Звезда одинокая льдисто мерцает.
И воздух тлетворный становится чище.
Россия – кладбище. Россия —
кладбище.

Мрачные стихи? Безусловно. Но и сочинения Чаадаева казались многим современникам его чрезвычайно мрачными: никогда еще русский не говорил ТАКОГО о России. Такой резкой критики прошлого России русская общественность еще не знала: «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам от этого движения, мы исказили...»

Слова эти, как удар плетью по обнаженной спине.

«“Письма” Чаадаева послужили толчком для раздела русского общества на западников и славянофилов: тех, кто призывал Россию идти по столбовой дороге всего цивилизованного мира, и

тех, кто настаивал на особом, русском, пути развития. Спор этот продолжается, и каждая сторона считает себя правой.

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж, – писал в свое время Александр Герцен. – Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться... «Письмо» Чаадаева потрясло мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горя от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление».

Аполлон Григорьев: «Письмо Чаадаева... было тою перчаткою, которая разом разъединила два дотоле если не соединенные, то и не разъединенные лагеря мыслящих и пишущих людей. В нем впервые неотвлеченно поднят был вопрос о значении нашей народности, самости, особенности, до тех пор мирно покоившийся, до тех пор никем не тронутый и не поднятый».

И снова Герцен: «Наконец пришел человек с душой, переполненной скорбью; нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что... накопилось горького в сердце образованного русского...»

Петр Чаадаев хотел жить по законам совести. Но это была утопия. Воздушный замок.

Драматичной была судьба и сочинений Чаадаева. 6-е и 7-е письма появились в России лишь в 1906 году, 8-е было опубликовано в «Литературном наследстве» аж в 1935 году. «Апология сумасшедшего» вышла в свет в 1906-м. Афоризмы Чаадаева – в 1986 году. В 1905 году издана книга М. Лемке «Николаевские жандармы и литература», в ней были даны кое-какие выдержки из петербургского «Дела» Чаадаева, в частности расписка мыслителя: «...и я в будущее время писать ничего не буду». Однако не писать он не мог. Судьба России терзала чаадаевскую душу.

Повторим еще раз его слова: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами».

Кто пойдет по безумному чаадаевскому пути?!..

РОМАНТИК НА ЭШАФОТЕ

Кондратий Рылеев

Дорога на эшафот... Многим российским литераторам грозил эшафот. Многим он по ночам мерещился. Но лишь один поэт, Кондратий Рылеев взошел на эшафот и принял мученическую смерть. В советские времена был уже не прилюдный эшафот, а тайный расстрел, а точнее – убийство.

Юлий Айхенвальд в «Силуэтах русских писателей» писал: «Рылеев не принадлежит к числу поэтов сколько-нибудь выдающегося дарования: в художественном отношении он светится лишь отраженным светом Пушкина, и энергия, присущая его думам и поэмам, не искупает однообразия, часто, внутренней и внешней прозаичности его стихов. И, вероятно, история литературы прошла бы мимо него равнодушно, если бы недостатки его скромного таланта не восполнила его личная жизнь, если бы она сама не была занесена в летопись русской общественности, как потрясающая трагическая поэма. Его дело завершило его поэзию. Свыше ста лет назад была воздвигнута близ Петропавловской крепости та виселица, на которой дважды душил его неискусный палач, и хотя с тех пор на месте

политических казней сменились в России многие жертвы, многие задохнувшиеся тела, все же черная тень этого эшафота не может дрогнуть и рассеяться».

Знаменитые строки Рылеева на смерть Ермака:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии летали,
Беспрерывно гром гремел,
И ветры в дебрях бушевали…

А далее о Ермаке и провидчески о собственной судьбе:

Но роковой его удел
Уже сидел с героем рядом
И с сожалением глядел
На жертву любопытным взглядом…

Сам Рылеев – и герой, и жертва. Можно сказать, сам сочинил себе геройскую жизнь и мученическую гибель. С детства охватила Рылеева мистическая жажда свободы, и в конечном счете он стал жертвой этой свободы.

Кондратий Федорович Рылеев родился 18 (29) сентября 1795 года в Петербургской губернии в обедневшей дворянской семье. Первые уроки несвободы ему преподал деспот-отец, который беспощадно сек сына за малейшую провинность. И в кадетском корпусе, куда рано отдали Рылеева, он столкнулся с жестоким подавлением личности. В 1814 – 1815 годах в чине прапорщика Рылеев участвовал в заграничных походах русской армии, победителем побывал в Париже, а в 1819 году вышел в отставку в чине подпоручика. «Я служил отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить для прихотей самовластного деспота», – говорил впоследствии Рылеев.

Далее Кондратий Федорович поступил на службу в Петербурге в палату уголовного суда и прославился в качестве честного и неподкупного судьи, защищая униженных и обиженных. В нем бушевали гражданские чувства и «любовь к общественному благу», как сказано в одном из его стихотворений. Успел поработать Рылеев в российско-торговой компании и страстно полюбил Соединенные Штаты, видя в новом государстве образец подлинной свободы. Еще будучи армейским человеком, Рылеев грезил об Америке. По воспоминаниям, «фрунтовой службы не любил, да и гарнизонную ненавидел… Мы замечали,

что он проговорился: «Нет, нет! надо ехать туда, где люди живут и дышат свободно!» – «А куда бы, например, ехать? – спросили товарищи. «В Америку, непременно в Америку!..»

Первая рылеевская страсть – свобода. Вторая – литература. Вместе с Бестужевым-Марлинским основал альманах «Полярная звезда». Сам стал писать «Думы», вдохновленный Карамзиным, создавая поэтические образы ярких личностей русской истории – Олег Вещий, Боян, Иван Сусанин, Петр Великий и т.д. В 1823 году начал поэму «Войнаровский», которую завершить не успел, в ней легально пропагандировал идеи декабристов (монологи героя). Гордо прозвучало рылеевское: «Я не поэт, но гражданин» (позднее эту формулу подхватил Некрасов: «Поэтом можешь ты не быть, а гражданином быть обязан»). В поэме «Наливайко» Рылеев, по существу, бросает грозный вызов власти:

...Но вековые оскорбленья
Тиранам родины прощать
И стыд обиды оставлять
Без справедливого отмщенья —
Не в силах я: один лишь раб
Так может быть и подл и слаб.
Могу ли равнодушно видеть
Порабощенных земляков?
Нет, нет! Мой жребий:
ненавидеть
Равно тиранов и рабов.

Покорность и рабство были ненавистны Рылееву. По существу, Рылеев был зачинателем гражданской поэзии – именно благодаря ему закрепился этот термин в русской литературе. Опять же из исповеди «Наливайко»:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?..

Рылеев это понимал и сознательно шел к своей гибели, вступив в тайное общество по рекомендации гвардейского поручика Ивана Пущина. К 1825 году Рылеев стал фактически главой Северного общества, располагавшегося в Санкт-

Петербурге. Он явственно видел, как вся Россия заражена злом – всюду разврат, мздоимство, несправедливость и всевластие самодержца. Особенно ненавистен Рылееву был временщик Аракчеев, насаждавший в стране неволю и казарму.

В стихотворении «Гражданин» Рылеев писал: «Пусть с хладною душой бросают хладный взор/ На бедствия своей отчизны». Это – рабы и трусы, он, Рылеев, другой:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан...

«Отечество ожидает от нас общих усилий для блага страны! – горячо восклицал Рылеев. – Души с благороднейшими чувствами постоянно должны стремиться ко всему новому, лучшему, а не пресмыкаться во тьме. Вы видите, сколько у нас зла на каждом шагу; так будем же стараться уничтожить и переменить на лучшее!»

И еще: «Каждый день убеждает меня в необходимости своих действий, будущей погибели, которой мы должны купить первую нашу попытку для свободы России, и, вместе с тем, в необходимости примера для пробуждения россиян». Так говорил Рылеев, обращаясь к членам тайного общества. Он вскоре стал душою, вдохновителем и певцом Декабрьского восстания на Сенатской площади.

Душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу.

Ах, эти романтики с «высокими думами» и «кипящей отвагой», бескорыстные мечтатели о мифической свободе. «Молодые штурманы будущей бури», – как определил их Герцен (средний возраст декабристов – 27 лет). В стихотворении «Рылеев» Михаил Зенкевич писал:

В передней грудой кивера
Валялись, виснули шинели,
И шла азартная игра
На жизнь и смерть – уж не во сне ли?
Но комнаты еще в чаду
От дыма, крика, разговора...

Накануне восстания Рылеев распрощался с семьей. Рыдания

жены и даже просьбы 5-летней дочери Настеньки не остановили его. Он твердым шагом отправился на Сенатскую площадь, – что там произошло, мы знаем из многочисленных книг и кинофильмов. Лучше вспомним об обстоятельствах женитьбы Рылеева.

Служа в Воронежской губернии, Рылеев полюбил Наталью Тевяшову – девушку необыкновенной красоты. Оба были молоды, да и чин Рылеева невелик, и поэтому старик-отец отказал влюбленному артиллеристу. Тогда Рылеев сказал, что не уйдет из комнаты живым, коль не получит согласия на брак, и вынул пистолет. В этот момент вбежала дочь и с рыданиями бросилась на шею отцу: «Папенька, отдайте за Кондратия Федоровича или монастырь!» С этими словами упала без чувств. Старику ничего не оставалось, как благословить молодых. Обряд бракосочетания состоялся 22 января 1819 года. Вскоре Рылеев вышел в отставку и поселился в Петербурге.

Прошло около 7 лет, и вот наступил роковой день. «Оставьте мне моего мужа, не уводите его, я знаю, что он идет на погибель», – умоляла жена Рылеева его друзей-единомышленников. Не помогли ни мольбы, ни слезы. Из крепости Рылеев писал жене утешительные письма. В последнем из них: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертию позорною. Да будет его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле Всевышнего, и Он утешит тебя. За душу мою молись Богу. Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на Него, ни на государя: это будет и безрассудно, и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые пути Непостижимого? Я ни разу не возроптал во время моего заключения, за то Дух Святой дивно утешал меня... О, милый друг, как спасительно быть христианином...»

Удивительный поворот: от революции к религии, от тираноборчества к полному смирению. Дореволюционный исследователь жизни и творчества Нестор Котляревский отмечал, что «к концу заключения у него не осталось ни тени революционного духа». В записке, обращенной к Николаю I, Рылеев отрекся от «своих заблуждений и политических правил» и посчитал свою казнь заслуженной и «благословляет карающую десницу», но молит лишь об одном: «Будь милосерд к товарищам моего преступления». Борьба за свободу – преступление? Сломался Кондратий Федорович, сломался...

12 (25) июля 1826 года состоялась казнь Павла Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Кондратия Рылеева, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского. Виселица оказалась слишком высокой, веревки плохие, и три декабриста – Рылеев,

Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин упали в ров живыми. По одной из версий, Муравьев-Апостол сказал: «И повесить-то в России порядочно не умеют...» А Рылеев в исступлении закричал генерал-губернатору: «Подлый опричник тирана! Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз».

Вторая попытка повешения была удачной. Кондратию Рылееву шел 31-й год. «Погибну я за край Родной, – /Я это чувствую, я знаю...»

После восстания декабристов «Петербург стал суше и холоднее прежнего, общего разговора об общих человеческих интересах решительно не было» (Герцен). Покарав смутьянов, власть утвердилась, «шествуя путем своим железным» (Баратынский). Но к семье Рылеева власть была милосердна: вдова получила солидную материальную помощь, а дочь со временем была принята в женский институт на счет собственных сумм императора, – и никаких ярлыков «детей врагов народа».

Одна из любимых, часто повторяемых мыслей Пушкина была та, что отсутствие в России легальной оппозиции, возможности открыто выражать общественное мнение привело к возникновению сети тайных обществ и к трагедии 14 декабря...

В стихотворении «14-е декабря 1825» Федор Тютчев писал:

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула —
И не осталось и следов.

Вечный полюс российского самодержавия! И никакой гражданственности (ау, где ты, гражданское общество?). Покорность и рабство – вчера, сегодня, завтра!.. Советские историки любили говорить, что Октябрь 17-го воплотил в жизнь мечты декабристов, – так ли это? Евгений Евтушенко сделал набросок возможного сценария:

А что случилось бы, Рылеев,
когда бы свергнули царя
и расстреляли, не жалея,
на льду того же декабря?
Потом была бы схватка спесей,
и Вас бы, пряча торжество,

назвал врагом народа Пестель
или, быть может, Вы – его?..

Ну, и так далее по страницам советской истории: Ленин – Троцкий – Сталин – Каменев – Бухарин, и поехали дальше…

Но это общий исторический контекст. А есть еще и человеческий, индивидуальный камешек в общую мозаику исторических событий. Федор Глинка, офицер русской армии и поэт, принимавший деятельное участие в декабристском движении и пострадавший за это (был сослан, но не повешен), оставил воспоминания и в них отмечал:

«Рылеев, как жаль, как и многие тогда, сам на себя наклёпывал! Все из того, чтоб как-нибудь да выплеснуть – выскидаться из садка! Совсем он не был обжора, а пишет Булгарину: «Я обжираюсь и проч!» Эта, тогдашняя черта, водилась и за Пушкиным: придет, бывало, в собрание, в общество и расшатывается: «А что вы, Александр Сергеевич!» – «Да вот выпил 12 стаканов пуншу!» А все вздор, ни одного не допил! А это все для того, чтоб выдвинуться из томящей монотонии и глухой обыденности и хоть чем-нибудь да проявить свое существование. Хотели воли, поля и деятельности… но Рылееву эта привычка нахватывать на себя дорого обошлась! Мне сказывали, что он и пред тайным судом будто говорил: «От меня всё зависело! – Я всё мог остановить и всему дать ход!»

У Федора Глинки есть стихотворение «Плач плененных иудеев», которое заканчивается строками:

Увы! неволи дни суровы
Органам жизни не дают:
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песней не поют!

Рылеев влачил оковы, но при этом пел высокие песни.

В ТОСКЕ «ПО РОДИНЕ И ВОЛЕ»

Александр Бестужев-Марлинский

Есть в русской литературе имена, сулившие большие надежды. Белинский писал, что «появление Марлинского было ознаменовано блестящим успехом. В нем думали видеть Пушкина прозы». Пушкина из Бестужева-Марлинского не получилось, но он стал одним из зачинателей русской критики.

Александр Александрович Бестужев родился 23 октября (3 ноября) 1797 года в Петербурге в знатной, но обедневшей дворянской семье. Обычное тогдашнее воспитание и военная карьера. Служил в лейб-гвардии Драгунском полку, стоявшем под Петербургом в Марли (отсюда и псевдоним писателя). По воспитанию и убеждению романтик. «Нас ждет доля блаженства, непрерывного, неисчерпаемого блаженства»... – как писал он в повести «Фрегат “Надежда”». Однако блаженства в России не было, была суровая действительность, тирания и социальная несправедливость. Душа Бестужева-Марлинского забурлила, и он писал вместе с Кондратием Рылеевым бунтарские песни:

Ах, где те острова,
Где растет Трынь-трава,
Братцы!..

Где с зари до зари
Не играют цари
В фанты...

И за год до восстания на Сенатской площади:

Ах, тошно мне
И в родной стороне.
Все в неволе,
В тяжкой доле,
Видно, век вековать?

И далее извечный русский вопрос: «Долго ль русский народ/ Будет рухлядью господ,/ И людями,/ Как скотами,/ Долго ль будут торговать?... А теперь господа/ Грабят нас без стыда,/ И обманом/ Их карманом/ Стала наша мошна./ Они кожу с нас дерут,/ Мы посеем – они жнут./ Они воры,/ Живодеры,/ Как пиявки, кровь сосут...»

С такими убеждениями и взглядом на окружающее («Кто же нас закабалил,/ Кто им барство присудил,/ И над нами,/ Бедняками,/ Будто с плетью посадил?..») была прямая дорога к декабристам-бунтарям. Бестужев-Марлинский к ним и пошел. Сблизился с Рылеевым. Они вместе издавали альманах «Полярная звезда», писали агитационные стихи, боролись за передовую литературу и состояли членами тайного Северного общества.

В 28 лет Бестужев-Марлинский вывел Московский полк на Сенатскую площадь. Вел себя храбро, но восстание потерпело поражение. Сам пришел на гауптвахту Зимнего дворца: «Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам». Во время следствия написал письмо Николаю I «Об историческом ходе свободомыслия в России». В нем говорилось: «Люди с дарованиями жаловались, что им загромождают дорогу по службе, требуя лишь безмолвной покорности, ученые на то, что им не дают учить молодежь, на препятствия в учении. Словом, во всех уголках виделись недовольные лица, на улицах пожимали плечами, везде шептались, – все говорили: к чему это приведет? Все элементы были в брожении. Одно лишь правительство беззаботно дремало над вулканом, одни судебные места блаженствовали, ибо только для них Россия была обетованною землею. Лихоимство их взошло до неслыханной степени бесстыдства...»

Более 180 лет прошло, а как читается, будто про сегодняшнюю Россию!..

За то, что «умышлял цареубийство и истребление императорской фамилии», Бестужев-Марлинский был приговорен к смертной казни, но помилован и отправлен на каторгу, которую не отбывал, все закончилось ссылкой в Якутск, то есть избежал горькой участи Рылеева и других декабристов, которых повесили. В 1829 году Бестужев был переведен рядовым на Кавказ, произведен в прапорщики.

Убит в Адлере 7(19) апреля 1837 года в стычке с горцами. Ему было 39 лет. Труп не опознали, и возникли версии о том, что Бестужев-Марлинский перешел на сторону сражающихся за свою независимость черкесов. По другой версии, сам искал смерть в бою и был изрублен саблями до неузнаваемости.

Такова краткая канва жизни. А теперь о литературе. Бестужев-Марлинский начал печататься с 1818 года. Одно из ранних произведений «Подражание первой сатире Буало» было запрещено цензурой. Первое крупное прозаическое произведение – «Поездка в Ревель» – написано под влиянием Карамзина. В дальнейшем нашел свой стиль – орнаментальный и несколько вычурный («марлинизм»), который был принят многими на «ура». По воспоминаниям современника, «повести А. Бестужева считались тогда бриллиантом нашей словесности. Мы выставляли его против Бальзака, знаменитого тогдашнего беллетриста, и радовались, что победа оставалась на нашей стороне...»

В первых произведениях выделялась апология гордой личности («Ночь на корабле», «Изменник»), далее сильно звучали мотивы социального протеста («Замок Венден», «Ревельский турнир»). Писал Бестужев-Марлинский и батальные повести, и исторические («Роман и Ольга», «Наезды»), а еще чисто кавказские («Аммалат-Бек», «Мулла-Нур». И, конечно, стихи, в которых явственно слышалась тоска по «родине и воле» (был предтечей Лермонтова).

Вот пример письма Бестужева-Марлинского: «Молодость, молодость! Волшебный край жизни! Прелестна ты, когда лежишь впереди, необозримый, как надежда, а не позади, как воспоминание; когда развиваешься очам как панорама, а не как обнаженная карта. Зачем не дано человеку способности, как сурку, засыпать на всю зиму настоящего горя, чтобы хоть во сне дышать своим вешним воздухом, перевкушать прежние радости крепким еще сердцем, выносить бури твои? Напрасно! Ничем не обновить юности, и никогда ее не забыть, и всегда сожалеть – удел наш!»

И еще характерная цитата. «Перо мое, – писал Марлинский, – смычок самовольный, помело ведьмы, кони наездника. Да: верхом

на пере я вольный казак, я могу рыскать по бумаге, без заповеди, куда глаза глядят...»

«Вольный казак» Бестужев-Марлинский был мил Пушкину. Александр Сергеевич писал ему 21 июня 1822 года из Кишинева: «Милостивый государь, Александр Александрович! Давно собирался я напомнить вам о своем существовании. Почитая прелестное ваше дарование и, признаюсь, невольно любя едкость вашей остроты, хотел я связаться с вами на письме, не из одного самолюбия, но также из любви к истине...»

Завязалась переписка. Пушкин – Марлинскому: «Ты – всё ты, т.е. мил, жив, умен». Пушкин восторгался знанием иностранных языков у коллеги: «Ты, да может, Вяземский, одни из наших литераторов учатся, все прочие разучиваются. Жаль!..»

Бестужев-Марлинский был первым, который произнес формулу «У нас нет литературы». Пушкин не согласился: «У нас есть критика и нет литературы»; где же ты это нашел? Именно критики у нас недостает... «Отчего у нас нет гениев и мало талантов?» Во-первых, у нас Державин и Крылов; во-вторых, где же бывает много талантов?..»

Бестужев-Марлинский и Пушкин внимательно приглядывались к творчеству друг друга. Бестужеву, к примеру, не понравился «Евгений Онегин», он сравнивал его с байроновским Дон Жуаном и посчитал его слабее. «Почто же восторги священных часов/ Ты тратишь для песней любви и забавы?» – напрямую к Пушкину обращался Бестужев-Марлинский в своих стихах и призывал его: «Храни для героев восторги прямые!/ Согрей их лучами возвышенных дел...» То есть толкал Пушкина к декабризму. Но у Пушкина была своя дорога.

Формулу «У нас нет литературы» вслед за Бестужевым-Марлинским подхватил Белинский. И он же критиковал Марлинского за «сверхчеловеческие» страсти героев и фразерство. А между тем Пушкин, разбирая повесть «Ревельский турнир», отмечал, что «роман требует болтовни... Твой Владимир говорит языком немецкой драмы...» – всяк судит по-своему. И тем не менее у Бестужева-Марлинского было и фразерство, и болтовня, и романтические вздохи, ибо он твердо знал:

Дни юности дважды, певец, не придут!
Утраченным чувствам не будет возврата!..

Чувства ушли. Но хорошо, что остались книги Александра Бестужева-Марлинского.

ЕГО УБИЛО ОТСУТСТВИЕ ВОЗДУХА

Александр Пушкин

29 января (10 февраля) 1837 года умер Александр Сергеевич Пушкин. Закатилось солнце русской поэзии. «Я пережил свои желания,/ Я разлюбил свои мечты...» и еще пушкинские строки: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...»

Версии причин

Черная речка. Дуэль. Смертельное ранение. И негодование Лермонтова:

Погиб поэт! – невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!..

Кто не знает этих строк. А далее праведный лермонтовский гнев: «А вы, надменные потомки...» Лермонтов винил общество, стоящее у трона – «Свободы, Гения и Славы палачи!» Позднее Маяковский сузил круг виновников до одного – «Сукин сын Дантес! Великосветский шкода». «Но Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха...» – говорил Блок.

В эссе «Мой Пушкин» Марина Цветаева пишет: «По существу, третьего в этой дуэли не было. Было двое: любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики: поэт – и чернь. Чернь на этот раз в мундире кавалергарда, убила – поэта. А Гончарова и Николай I, – всегда найдутся».

Версий и гипотез причин гибели поэта множество. Вересаев в исследовании «В двух планах» отмечал: «Страсти крутили и трепали его душу, как вихрь легкую соломинку... Последние полгода его жизни Пушкин захлебывается в волнах непрерывного бешенства, злобы, ревности, отчаяния. Никаких не видно выходов, зверь затравлен... впереди только одно – замаскированное самоубийство...»

Поэт и переводчик Михаил Синельников высказал гипотезу: «Прочел Пушкин «Мертвые души». Ужаснулся неведомому лику родной страны. Ощутил, что в воздухе эпохи – катастрофическая нехватка кислорода... наверное, это его и убило...»

Существует и такое мнение, что роковую роль в судьбе Пушкина сыграла Идалия Полетика. Именно месть отвергнутой женщины стала причиной его смерти. Эта вторая леди Санкт-Петербурга приговорила поэта. «Заказала» – современным языком.

Так или иначе – результат один. Убили, отпели, похоронили... и такая еще деталь – из дневника Никитенко: «Народ обманули, сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе – так было означено на билетах, а между тем, тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты присутствовали бы на занятиях».

Не стало живого Пушкина. Но сбылось его пророчество:

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит...

Дифирамбы Пушкину

Род пиитов на Руси не иссякает – поэты вспоминают Пушкина и поют ему гимны. Еще при жизни Александра Сергеевича ему посвящали стихи Дельвиг, Туманский, Гнедич и другие.

Пушкин! Он и в лесах не укроется;
Лира выдаст его громким пением, —

писал Антон Дельвиг.

Он пел в степях, под игом скуки
Влача свой страннический век —
И на пленительные звуки
Стекались нимфы чуждых рек... —

вторил Федор Туманский.

Пой, как поешь ты, родной соловей!
Байрона гений, иль Гёте, Шекспира —
Гений их неба, их нравов, их стран!

Что же, постигнувший таинство русского духа и мира,
Пой нам по-своему, русский Баян! —

умолял Пушкина Николай Гнедич. «Пушкин есть явление чрезвычайное... – отмечал Гоголь в 1835 году. – Это русский человек в его развитии, в каком он может явиться через 200 лет».

Это было написано и сказано еще при жизни поэта, а уж после его гибели!.. Пушкиным восторгались и били ему поклоны, словно иконе. Искали в нем чудодейственный ориентир, чтобы не заблудиться в российской действительности. Считали его точкой отсчета всему. «Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились все роды и виды искусства во всех наших художниках...» (Иван Гончаров).

«О, никогда не порвется кровная, неизбывная связь русской культуры с Пушкиным», – восклицал в одной из статей Владислав Ходасевич. Александр Блок в стихах «Пушкинскому дому» спрашивал: «Не твоя ли, Пушкин, радость, окрыляла нас тогда?..»

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил ты право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?.. —

писала Анна Ахматова в стихотворении «Пушкин».

Из записей Лидии Чуковской об Ахматовой:

« – Вы ясно представляете себе Пушкина по-человечески? – спросила я.

– Да, вполне... «Арап, бросающийся на русских женщин», – как говорил Сологуб».

У Марины Цветаевой есть цикл «Стихи к Пушкину» (1931):

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен,
Пушкин – в роли монумента?
Гостя каменного? – он,
Скалозубый, нагловзорый
Пушкин – в роли Командора?..

И далее Цветаева примеряет к Пушкину другие ходячие маски: Пушкин – в роли лексикона... гувернера... русопята... гробокопа... пулемета... пушкиньянца... «Пушкин – тога,/ Пушкин – схима, Пушкин – мера, Пушкин – грань...»

Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всем.
Всех живучей и живее!
Пушкин – в роли мавзолея?..

Цветаевский перечень обернулся сегодняшним «Пушкин – это наше всё!»

Есть имена, как солнце! имена —
Как музыка! Как яблоня в расцвете!
Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном в любые времена! —

восклицал Игорь Северянин (конечно, Пушкин и Северянин –

противоположные полюса, но полюса, которые сходятся).

Николай Агнивцев видел своей любимый Петербург только в неразрывной связи с Пушкиным.

Санкт-Петербург – гранитный город,
Взнесенный Словом – над Невой...
Недаром Пушкин и Растрелли,
Сверкнувший молнией в веках,
Так титанически воспели
Тебя – в граните и – стихах!..

Всем сомневающимся в значении «Северной Пальмиры» Агнивцев бросал недоуменный вопрос:

Ужели Пушкин, Достоевский,
Дворцов застывших плац-парад,
Нева, Мильонная и Невский
Вам ничего не говорят?..

И повторял с нажимом:

И Александр Сергеевич Пушкин
У парапета над Невой!..
...Рыданье Лизы у «Канавки»
И топот медного Петра!..

В другом стихотворении «Белой ночью» Агнивцев писал:

– «Германн?!» – «Лиза?..» и, тотчас же,
Оторвавшись от гранита,
Незнакомец в альмавиве
Гордый профиль повернул.

– Александр Сергеевич, вы ли,
Вы ли это? Тот, чье Имя
Я в своих стихах не смею
До конца произнести?!..

«Пушкин – наше солнце, он гармоническое всё, кудесник русской речи и русских настроений, полнозвучный оркестр, в котором есть все инструменты», – писал Константин Бальмонт. Стало быть, и трубы, и барабаны, и арфы со скрипками...

и исполнял этот оркестр фуги и интермеццо, мадригалы и реквием...

Поэт Серебряного века Георгий Иванов видел Пушкина не с парадной стороны, а за кулисами без маски весельчака и оптимиста.

Александр Сергеевич, я о вас скучаю.
С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.
Вы бы говорили, я б, развесив уши,
Слушал бы да слушал.

Вы мне все роднее, вы мне все дороже.
Александр Сергеевич, вам пришлось ведь тоже
Захлебнуться горем, злиться, презирать,
Вам пришлось ведь тоже трудно умирать.

Разговоры с памятником

К Пушкину обращались не раз. Не к самому поэту (увы, это было нельзя), а к памятнику. Очень хотелось поговорить, поболтать, посудачить...

Александр Сергеевич,
разрешите представиться.
Маяковский, —

хрестоматийные строки «Юбилейного». Почти запанибрата обращался поэт-маузер к поэту-солнцу и лире.

У меня,
как и у вас,
в запасе вечность.
Что нам потерять
часок-другой?!..

Вот и Сергей Есенин не мог спокойно пройти мимо памятника Пушкину на Тверской.

Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой.

Блондинистый, почти белесый,
В легендах ставший как туман,
О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган...

«Хулигану» Есенину тоже очень хотелось со временем стать памятником, «чтоб и мое степное пенье/ Сумело бронзой прозвенеть». Неизвестно, понял ли Александр Сергеевич Сергея Александровича, но вполне возможно, что замолвил словечко в небесах за молодого Есенина, и появился на Тверском бульваре, в нескольких стах метрах от Пушкина бронзовый памятник Есенину. Произошло, так сказать, историческое сближение двух поэтов.

Про пушкинский памятник меланхолично пел Булат Окуджава:

На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны (для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодейства
на фоне Пушкина! И птичка вылетает...

Не мог не остановиться и не задуматься Иосиф Бродский у памятника Пушкину в Одессе:

Поди, и он
здесь подставлял скулу под аквилон,
прикидывая, как убраться вон,
в такую же – кто знает – рань,
и тоже чувствовал, что дело дрянь,
куда ни глянь.
И он, видать,
здесь ждал того, чего нельзя не ждать
от жизни: воли...

Естественно, «эту благодать» в России не получили ни Пушкин, ни Бродский. Однако памятники – памятниками. А как быть с творческим наследием Пушкина? Как менялось отношение к нему?

Пушкиноведение

Первыми подняли руку на Пушкина футуристы. В известном Манифесте русских футуристов (1912) призывалось «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода Современности». Шустрые были эти ребята – футуристы. А первым среди них блистал Владимир Владимирович. В стихотворении «Радоваться рано» (1918) Маяковский вопрошал:

Выстроены пушки на опушке,
глухи к белогвардейской ласке.
А почему
не атакован Пушкин?
А прочие
генералы классики?..

Наверное, сразу после революции Маяковскому не терпелось занять место Пушкина. Потом малость поостыл и решил стоять рядом: «вы на Пе, а я на эМ», опять же по алфавиту первый… Но Маяковский – отнюдь не пушкинист. Пушкинисты – это те, кто изучает Пушкина, анализирует его, анатомирует, примеряет к эпохе, поэтому он все время разный: то борец с самодержавием, то чистый государственник, то отъявленный патриот, то интернационалист, то… Бог знает кто еще. Сколько книг, монографий и диссертаций написано о Пушкине. Среди авторов такие имена, как П. Анненков, Зелинский, Лернер, Тынянов, Жирмунский, Щеголев, Л. Гроссман, А. Эфрос, Азадовский, Бонди, Винокур, Цявловский, А. Орлов, Оксман, Виноградов, Благой, Мейлах, Томашевский… Не забыть бы упомянуть Татьяну Цявловскую, урожденную Зенгер, у которой был свой конек: удивительный дар почерковеда и знатока пушкинской графики. Свой первый день работы с рукописями Пушинка – 4 мая 1928 года, – она считала счастливейшей датой своей жизни.

Пушкинистика – это целая отрасль, индустрия предположений, догадок, гипотез и версий. Золотоносный Клондайк для исследователей. Борис Пастернак однажды пошутил, что Пушкину следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшей пушкинистике.

Тут следует отметить, что пушкинистика всегда находилась в опасной близости к политике. На этот счет высказался как-то Булат Окуджава:

Сталин Пушкина листал
и постичь его старался,
но магический кристалл
непрозрачным оставался…

Чем он покорял народ,
если тот из тьмы и света
гимны светлые поет
в честь погибшего поэта?

Да, скрипя своим пером,
чем он потрафлял народу?
Тем, что воспевал свободу?
Но, обласканный царем,
слыл оппозиционером,
был для юношей примером
и погиб в тридцать седьмом!..

Может, он – шпион английский,
если с Байроном дружил?
Находил усладу в риске —
вот и голову сложил...

Или, может, был агентом
Эфиопского царя?
Жил, писал о том и этом,
эпиграммами соря...

Над Москвой висела полночь,
стыла узкая кровать,
но Иосиф Виссарьоныч
не ложился почивать.

Он в загадках заблудился
так, что тошно самому.
И тогда распорядился
вызвать Берия к нему.

Выдумка? Преувеличение? Вспомним, что первым официальным пушкинистом был начальник корпуса жандармов Леонтий Дубельт, который сразу после смерти поэта разбирал и регистрировал бумаги в его домашнем архиве. Октябрьская революция уничтожила значительную часть пушкинского наследия, рассеянного по многим владельцам. Любителей Пушкина расстреливали, а бумаги выбрасывали. Затем та же ЧК помогала пополнять коллекцию Пушкинского Дома.

Писатель-эмигрант Юрий Дружников писал: «До революции

затушевывали интерес Пушкина к революции, после революции – из всех сил раздували. Цековец В. Кирпотин назвал Пушкина отщепенцем, с гордостью отделив его от общества пушкинского времени, сделав нашим. Мы знаем, как это слово употребляли власти позднего советского времени: стал нужен законопослушный Пушкин – образец для советских писателей...»

Дело доходило до того, что услужливые пушкинисты писали о том, что дальновидный Пушкин предвидел появление Ленина. Ну, а кто не писал о предвидении, тому было худо. «Страх сказать о Пушкине не то, боязнь пропустить не только свою, но чужую мысль, отклонявшуюся от догмы, стал довлеющим над служащими в пушкинистике» (Ю. Дружников). Отсюда материалы к книге «Арестованная Пушкинистика». Достаточно вспомнить VII том юбилейного Полного собрания сочинений А.С. Пушкина 1937 года. Сталин пришел от него в ярость: «Кого мы, собственно, издаем – Пушкина или пушкинистов?» Но причина была, конечно, иная: отсутствие в комментариях «социальной проблематики» и «марксистко-ленинского подхода». В этом был просчет пушкинистов-академиков. Весь тираж VII тома (32 175 экземпляров) был отправлен под нож. Вот вам и репрессированный Пушкин!.. «Пока свободою горим,/ пока сердца для чести живы...»

Современное прочтение классика

Прочтения, упоминания, мнения, оценки, параллели, связанные с Пушкиным, – всего хватает в избытке. Арсений Тарковский, к примеру, писал стихи с эпиграфами из Пушкина. И не он один. Многие интегрировали пушкинские строки в свои. Вот Давид Самойлов:

С двумя девчонками шальными
Я познакомился. И с ними
Готов был завести роман.
Смеялись юные шалавы.
«Любви, надежды, тихой славы
Недолго тешил нас обман»...

У Андрея Вознесенского есть стихотворение «Время поэта»:

«Пушкин – это русский через
двести лет».
Все мы нынче Пушкины.
Гоголю привет!

Пушкин не читает в школе Пушкина.
Пушкин отрывается на Горбушке.
Пушкин лопнул банки, как хлопушки.
Кто вернет нам вклады?
Может, Пушкин?..
...Пушкин, параноик, мне помог
отыскать в России пару Твоих ног...

И так далее, без особого пиетета – «все мы нынче Пушкины». «Вдруг я в белую ночь вспоминаю/ небо, Пушкина без самолетов...» (Игорь Шкляревский). «Любимый наш поэт, боюсь,/ был гипертоник,/ Страдавший от жары,/ о чем не ведал сам» (Александр Кушнер). Тимур Кибиров:

Ната, Ната, Натали,
Дал Данзас команду: «Пли!»
По твоей вине, Натуля,
Вылетает дура-пуля.

Будет нам мертвец ужо,
Закатилось наше всё...

Туда же и Дмитрий А. Пригов:

Невтерпеж стало народу:
Пушкин, Пушкин, помоги!
За тобой в огонь и воду!
Ты нам только помоги!

А из глыбы как из выси
Голос Пушкина пропел:
Вы играйте-веселитесь,
Сам страдал и вам велю!

Пушкин – как эпатажное имя. Открыл эту страницу Андрей Синявский, когда в «Прогулках Пушкина» под псевдонимом Абрам Терц написал: «...на тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию». О Пушкине наговорено столько, что уже не разберешь, где быль, а где небыль. Пушкинистика приобрела гигантские масштабы и надломилась, вошла в кризис: венки да бюсты в каждом абзаце. И как справедливо заметил

недавно ушедший Александр Щуплов: «В своей любви к гению мы теряем голову. Пушкин растворился в нашем воздухе, став не только вечным бытием, но и повседневным бытом».

Пушкин – как кич: водка, конфеты, бараночки. Есть даже сорта картофеля: «Ранний Пушкин» и «Поздний Пушкин».

Ученики в школах в своих сочинениях выдают перл за перлом: «Пушкин вращался в высшем свете и вращал там свою жену»... «Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко цокая копытами».

Потеряв всякий вкус, кто-то сочинил вирши – апофеоз морального ужаса и культурного бескультурья:

Застрелил его пидор,
В снегу возле Черной речки.
А был он вообще-то ниггер,
охочий до белых женщин.
И многих он их оттрахал,
А лучше б, на мой взгляд,
бродил наподобье жирафа
на родном своем озере Чад.

Грубо и ксенофобно. Куда более незатейливы и милы анекдоты, приписываемые Даниилу Хармсу. Вот один из них:

«Лермонтов хотел у Пушкина жену увезти. На Кавказ. Все смотрел на нее из-за колонны, смотрел... Вдруг устыдился своих желаний. «Пушкин, – думает, – зеркало русской революции, а я – свинья». Пошел, встал перед Пушкиным на колени и говорит:

– Пушкин, – говорит, – где твой кинжал? Вот грудь моя!

Пушкин очень смеялся».

Финальный аккорд

Пора подводить итоги. Пушкин выступает в разных ипостасях: реальный Пушкин, мифологический, идеологический, коммерческий. Сегодня как раз время коммерческого Пушкина: тут и водка, и изделия № 2, и остальное «наше всё». И все же, все же... В 1924 году Михаил Зенкевич написал про Пушкина:

Но он наш целиком! Ни Элладе,
Ни Италии не отдадим:
Мы и в ярости, мы и в разладе,
Мы и в хаосе дышим им!

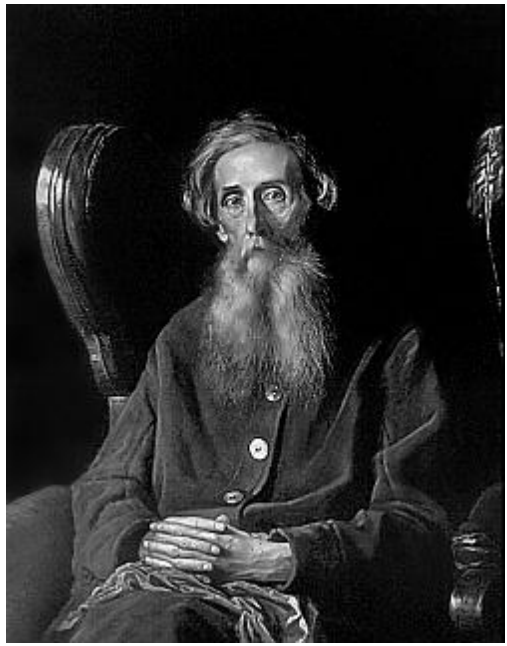
Про разлад и хаос очень актуально, хотя и более 80 лет прошло.

Куда нам плыть? Какие берега
Мы посетим? Египет колоссальный,
Скалы Шотландии иль вечные снега? —

спрашивал Пушкин. Действительно, куда плывет Россия?

Власти молчат. Народ, как и во времена Бориса Годунова, безмолвствует.

ЗА ДАЛЬЮ – ДАЛЬ



Владимир Даль

mp1

Владимир Иванович Даль – это не только знаменитый словарь и гимн русскому языку, но это и жгучая проблема ксенофобии и национализма, поэтому Даль суперсовременен.

Владимир Даль родился 10 (22) ноября 1801 года, в начале XIX века. А сегодня, в начале XXI столетия, повсюду вылезает мурло национализма («Германия для немцев!», «Франция для французов!», «Россия для русских!» и т.д.). Пример Даля говорит об ином, о прекрасной дружбе народов и обретении подчас новой родины. Отец Владимира Даля – Иоганн Христиан Матеус родом из Дании и в Россию был приглашен Екатериной II и именовался у нас как «Иван Матвеев сын Даль». Владимир Даль по этому поводу говорил: «Отец мой выходец из Дании, а мое отечество Русь, русское государство». Будучи морским офицером, Даль посетил прародину: «Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился, что Отечество мое Россия, что нет у меня ничего общего с отчизною моих предков».

Недруги попрекали Даля, что он, де, «немец». На что Даль спокойно отвечал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека – вот где надо искать

принадлежность его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

Вот вам и вся проблема «коренного населения». Коротко и ясно.

И еще раз о корнях Даля. Его мать – Мария Христофоровна, урожденная Фрейтаг, немка. Но ни немецкая, ни датская кровь не помешала быть Владимиру Далю истинно русским человеком и прославить свою обретенную родину, стать, по выражению Андрея Битова, «нашим Магелланом, переплывшим русский язык от А до Я».

А сколько таких замечательных «пришельцев» в русской истории, русском искусстве и литературе, – не перечисляю, а отсылаю к своей книге «5-й пункт, или Коктейль «Россия» (издательство «Радуга», 2000). Кого там только нет – от абиссинцев до грузин! И каждый жил и творил во имя России!

Однако вернемся к Владимиру Далю. Рассказывать его биографию не имеет смысла: она достаточно известна. Хороший морской офицер, отличный военный врач (участвовавший, кстати, в борьбе с эпидемией холеры), умелый инженер, основательный ученый-естественник, крупный государственный чиновник, достаточно демократичный и прогрессивный, и самое главное – писатель, высоко оцененный Пушкиным и Белинским. Одно из первых произведений Даля – повесть «Мичман поцелуев, или Живучи оглядывайся». Книгой о казаке Владимире Луганском не угодил власти, ибо проявил насмешку над правительством и обратил внимание на горестное положение солдат (и тогда тоже!), за что был даже арестован на некоторое время. Но писать, конечно, не перестал.

Знаменитый хирург Пирогов так характеризовал Даля: «Это был прежде всего человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, всё ему удавалось усвоить». Это качество оценил и Пушкин, он посоветовал ему заняться составлением словаря. Совет был воспринят. Когда произошла роковая дуэль, то Даль искренне переживал все случившееся и неотлучно находился у постели смертельно раненного Пушкина. После его смерти от вдовы поэта получил простреленный сюртук и знаменитый перстень-талисман. Этот пушкинский перстень с изумрудом Даль воспринимал как символическое завещание поэта.

Писательство Даль сочетал со службой, хотя понимал, что это грозит опасностью: «Времена шатки, береги шапки...» С осени 1859 живет в Москве в собственном доме на Пресне – ныне Большая Грузинская, дом 2, строение в глубине двора. И выходит

в отставку. К этому времени популярность Даля как беллетриста несколько падает («Денщик», «Чухонцы в Питере», «Матросские досуги» и другие произведения), но он приобретает популярность и славу как знаток и собиратель русского языка.

В 1861 году вышел первый выпуск «Толкового словаря живого великорусского языка». Над ним Даль работал около полувека, работал упорно, натужно, «иногда до обмороков». В нем он собрал и объяснил значение 200 тысяч слов, из них 80 тысяч вообще были впервые зарегистрированы. Допуская иноземные речения, Даль всё же предлагал заменить иностранные слова русскими, к примеру, вместо «адрес» употреблять слово «насыл», вместо «горизонт» – «глазоём» и т.д. Даль говорил, что надо прислушиваться к народному языку, «изобиходить и обусловить его, не ломая, не искажая, только тогда он будет хорош».

За свой титанический труд Даль получил ряд премий и был избран почетным академиком Академии наук (1868).

Словарь Владимира Даля – это, по существу, энциклопедия народной жизни и святая купель русской души. Словарь Даля всё время переиздается, но пользуемся ли мы им? Вот в чем вопрос. К сожалению, общество больше тяготеет к словарю людоедки Эллочки, к усредненному набору банальных слов, без цвета и запаха. И еще к тюремно-воровскому жаргону. И не яблоки мочим в кадушке к зиме, а исключительно врагов и преступников в сортире. И, легко скрипя, крутится изо дня в день вся эта «карусель-марусель» исковерканного русского языка. И уже по одному из популярных радиоканалов ведущий радостно сообщает всем слушателям, что его подружка любит «зырить киношку». И даже гамлетовский вопрос осовременили сленгом: «Жужжать или не жужжать? Вот в чем заморочка. Не в падлу ль быть отбуцканным судьбою? Иль все же стоит дать ей оборотку?» Что тут скажешь? Можно только развести руками…

О пристрастии нынешнего поколения к ненормативной лексике, то бишь, к мату, и вовсе молчу, появились даже писатели-матюгальники, все тексты которых вьются вокруг слова на букву «х».

Еще одна напасть: «Языковое чужебесие». Русский язык отступает под натиском английского. Сплошные киллеры, провайдеры и транши. Клипмейкеры строят контроллинги, их охраняют секъюрити, все они втянуты в дискурс, а в итоге выходит сплошной экшн. Владимир Иванович, между прочим, предупреждал: чужое взять – свое потерять. Но кто слушает Даля? Словарь побоку и придумываются новые «русизмы»: впендюрить, поколбасить… «Ты на кого, питекантроп, батон крошишь?!» Или в школе: «И так настроение кавалькадное… а тут еще и задачки эти

стёбные по алгебре… Вот непруха-то!» Могучий русский язык!..

Но что школьники! Есть надежда, что научатся или переучатся. А вот с чиновниками и государственными мужами – настоящая беда. Под сводами многих государственных учреждений звучит не живое слово, а какое-то туманно-обманное. Как не вспомнить Даля: «На словах, что на гуслях; а на деле, что на балалайке». И обещают, и обманывают, да еще на плохом русском языке, да и за нос водят. А всё язык да русский характер, о котором Даль говорил: «Смышленостью и находчивостью неоспоримо может похвалиться народ наш… он крайне понятлив и переимчив, если дело пойдет по промышленной и ремесленной части; но здесь четыре сваи, на которых стоит русский человек – авось, небось, ничего и как-нибудь». Короче, тяп-ляп.

«За далью – Даль». Красивый заголовок. Но лучше, чтобы Владимир Даль был рядом. С нами. С народом. А пока – много говорено, да мало сделано.

Перед смертью (он умер 22 сентября (4 октября) 1872 года) Владимир Иванович подозвал дочь и попросил: «Запиши словечко…»

Давно нет Даля: он скрылся вдали. А мы в сегодняшней жизни, к горькому сожалению, забыли два главных русских слова: стыд и совесть. Если бы они были, то мы давно бы жили в нормальной, цивилизованной стране, без нищих, бездомных и сирот.

«Одна только гласность может исцелить нас от гнусных пороков лжи, обмана и взяточничества и от обычая зажимать обиженному рот и доносить, что всё благополучно», – писал Даль в письме к издателю Кошелеву.

Прислушаемся к его словам.

БЛАЖЕНСТВО И БЕЗНАДЕЖНОСТЬ ЛЮБВИ

Федор Тютчев

«Нам не дано предугадать...» Это слова истинного поэта земли Русской Федора Тютчева, может быть, и есть ключ к его жизни и поэзии.

Всем известно крылатое выражение Тютчева о том, что «умом Россию не понять...». А можно ли понять сердце поэта, особенно тютчевское? Никаким прибором нельзя увидеть и измерить все тончайшие движения и колебания его души и чувств. Трудно понять порою его поступки. Не всегда доступен ход мыслей. «Там наверху, в тютчевских Альпах...» – говорил Осип Мандельштам. Действительно, в этих Альпах протекала удивительная, зачастую недоступная пониманию жизнь.

О Тютчеве-поэте написано много. Многое известно и о его частной жизни, особенно про последний роман стареющего поэта с юной Еленой Денисьевой.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

Однако следует вспомнить и другую женщину, его первую жену – Элеонору.

Сделаем извлечение из книги К. Пигарева:

«5 марта 1826 года Тютчев женился на вдове Элеоноре Петерсон, урожденной графине Ботмер. Род Ботмеров принадлежал к наиболее старинным аристократическим родам Баварии. Первый муж Э. Ботмер Александр Петерсон был русским дипломатом, занимающим пост поверенного в делах в Веймаре...

Чем была для Тютчева его жена, можно судить по его собственному признанию в одном из позднейших писем к родителям: «...я хочу, чтобы вы знали, что никогда человек не был столь любим другим человеком, сколь я любим ею. Я могу сказать, удостоверившись в этом на опыте, что в течение одиннадцати лет не было ни одного дня в ее жизни, когда, дабы упрочить мое счастье, она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня. Это нечто весьма возвышенное и весьма редкое, когда оно не фраза...»

Невольно приходят на ум строки Тютчева того периода:

О, кто мне поможет шалунью сыскать,
Где, где приютилась сильфида моя?
Волшебную близость, как бы благодать,
Разлитую в воздухе, чувствую я...

Любопытно узнать мнение со стороны. 1 апреля 1828 года Генрих Гейне пишет в письме к Франгагену фон Энзе: «...знаете ли вы дочерей графа Ботмера?.. Одна уже не очень молодая, но бесконечно очаровательная, состоящая в тайном браке с молодым русским дипломатом и моим лучшим другом Тютчевым и ее очень юная красавица сестра – вот две дамы, с которыми я нахожусь в самых приятных и лучших отношениях. Они обе, мой друг Тютчев и я – мы часто обедаем... а по вечерам... я болтаю сколько душе угодно, особенно про истории с привидениями. Да, в великой пустыне жизни я повсюду умею найти какой-нибудь прекрасный оазис».

Из дневника Долли Фикельмон: «18 июля 1830... я познакомилась с очаровательной женщиной, госпожой Тютчевой, урожденной Ботмер из Мюнхена... Она еще молода, но так бледна, так хрупка и имеет такой томный вид, что можно принять ее за очаровательное привидение... Муж ее – человек в очках, очень некрасивый, но блестящий говорун».

Итак, две красавицы сестры – Элеонора и Клотильда. На

первой (старшей) женился Федор Иванович Тютчев, другой, Клотильдой, увлекся великий немецкий поэт Генрих Гейне.

Первые годы совместной жизни Тютчева и Элеоноры были довольно счастливыми и омрачались только материальными затруднениями (отсутствие денег – бич всех русских поэтов!). Но со временем этот брак стал мучительным для обоих супругов. Увы, русский гений плохо был приспособлен для ровной и спокойной семейной жизни (в следующем веке эти качества антисемейной жизни ярко проявит Сергей Есенин). Тютчев отличался нерешительностью, безволием, был абсолютно непрактичен, к тому же он вечно предавался меланхолии и, что весьма существенно, был весьма влюбчив. Так, не успев жениться и любя свою жену, Тютчев влюбился в Эрнестину Дернберг. Не влюбляться Тютчев не мог. «Его болезненное воображение, – жаловалась Элеонора брату Тютчева Николаю, – сделало из моей жизни припадок горячки».

Горячка – это совсем не то, что нужно для семейных отношений. Русский посланник в Мюнхене Г. Гагарин называл брак Тютчева «роковым», а он и впрямь был таким. Не выдержав напряжения, Элеонора пыталась даже покончить жизнь самоубийством, нанеся себе несколько ударов небольшим маскарадным кинжалом в грудь.

Сильфида с кинжалом – какая горькая ирония судьбы! Хрупкое здоровье Элеоноры не выдержало всех материальных и психологических тягот, и 27 августа 1838 года она умерла, по словам Тютчева, «в жесточайших страданиях». Смерть Элеоноры потрясла Тютчева, за одну ночь он поседел у ее гроба.

Тютчев очень переживал утрату, но одновременно в его сердце, полном страдания, разгорелась новая любовь. Непостижимо, скажет читатель. Но тем не менее это так. Василий Жуковский сделал такую запись о Тютчеве: «Он горюет о жене, которая умерла мученическою смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене».

Понять поэта трудно, да и он сам восклицал:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?..

Особую роль в жизни Тютчева сыграла младшая сестра Элеоноры Клотильда. До сих пор считалось, что знаменитое стихотворение «Я встретил вас – и всё былое...» посвящено Амалии Крюденер. Она же вдохновительница и другого шедевра любовной лирики поэта – «Я помню время золотое...». Однако новейшие изыскания указывают другой адресат – Клотильду

Ботмер.

Библиофил-исследователь А. Николаев обратил внимание на некий провал в днях по дороге Тютчева из Карлсбада в июле 1870 года, где Тютчев находился с 21 по 26 июля. Одна из версий: в эти дни он встретился с Клотильдой (только что в феврале умер ее муж. С Тютчевым она не виделась целую вечность – 23 года). А. Николаев утверждает, что только к Клотильде Тютчев мог обратить строки:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь.

Вполне вероятно, что они встретились и вспоминали дни, когда, по словам Тютчева, «все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно!..».

Неизбежно возникает вопрос: кого больше всего любил Тютчев? Элеонору? Ее сестру Клотильду? Эрнестину Дернберг? Амалию Крюденер? Елену Денисьеву?..

Сын Федора Ивановича отмечал, что Тютчев через год после смерти Элеоноры вторично женился на одной из первых красавиц того времени – Эрнестине Дернберг. «Брак этот, заключенный опять-таки же по страстной любви, не был, однако, особенно счастливым, и у молодой женщины очень скоро появились соперницы, а через одиннадцать лет после свадьбы Федор Иванович совершенно охладел к ней, отдав всего себя, всю свою душу и сердце, новой привязанности...»

У Тютчева было особенное сердце, всегда способное к новой любви. Только вот любовь эта становилась тяжелым испытанием для каждой из женщин. Это понимал и сам Тютчев:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..

Когда Тютчев встретил Денисьеву, ему было 47 лет, но в эти еще нестарые годы он выглядел рано состарившимся человеком. Елене Денисьевой, молодой, сначала выпускнице, а потом воспитательнице Смольного института, было 24 года. Двадцать три года разницы. Помимо возрастного перепада разница в жизненном опыте, интеллекте, положении в обществе. Денисьева – почти никто. А Тютчев – человек при дворе, высокий чиновник, салонный острослов. («Много мне случалось на моем веку

разговаривать и слушать знакомых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст», – говорил писатель граф Владимир Соллогуб).

Эти «жемчужины» и пленили сердце Денисьевой. Тютчев был женат вторым браком, любил жену, детей, две его взрослые дочери воспитывались в Смольном институте, где и произошла как раз первая встреча с Денисьевой.

Любовно-мучительный роман Тютчева с Денисьевой длился 14 лет. Она умерла, оставив троих детей, официально признанных Тютчевым. Детей он признал, но разводиться с женой так и не стал, хотя любовь к Денисьевой была, казалось, безмерной. Когда она умерла, он воскликнул:

О Господи!.. и это пережить...
И сердце на клочки не разорвалось...

Да, это сердце было «скроено» на особый, тютчевский лад. Ибо после смерти Денисьевой Тютчев, безутешный и немощный старик, к стыду своих детей и к собственному отчаянию, вновь влюбился, на этот раз в баронессу Услар. Такое уж было сердце поэта. Оно не могло не пылать любовью!..

У Тютчева есть строки:

И в мире сем, как в царстве снов,
Поэт живет, мечтая...

Именно так жил Федор Иванович. Но в «царстве снов» пребывали и женщины, с которыми довелось встретиться Тютчеву. Они не смогли не ответить на любовь поэта. Она была слишком маняще привлекательна, чрезмерно пылка и горячительна, а это всегда притягивает отзывчивые женские сердца. Интеллектуальный поэт, отличный собеседник, отменные аристократические манеры – всё это компенсировало неказистую внешность Тютчева. Вот вам и ответ на возможный вопрос: «За что женщины любили Тютчева?» Они любили его за любовь к ним. Им тоже хотелось погрузиться в сладостное «царство снов».

Но вернемся от любви к теме России, с которой начали рассказ. И тут усматривается двойственность Тютчева: он любит Родину и в то же время ненавидит ее железные порядки, гнусные нравы, долготерпение народа.

Возвращаясь в Россию из заграничного путешествия, Тютчев

пишет жене из Варшавы: «Я не без грусти расстался с гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, чтоб вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины...»

Хотел ли Тютчев перемены участи своего народа? Да, несомненно, но не путем, на который вступили революционеры-декабристы. «Минуты роковые» притягивали и вместе с тем отталкивали от себя Тютчева. Он на всю жизнь сохранил верность идее монархии, считая, что нельзя даже делать попытки растопить «вечный полюс».

Стоим мы слепо пред Судьбою,
Не нам сорвать с нее покров...

В своем творчестве Тютчев в основном ставил вопросы и не давал ответов. Для него мир был как бы запечатанным, нераскрытым и таинственным. Отсюда – «Нам не дано предугадать...», «Душа моя, Элизиум теней, что общего меж жизнью и тобою?..», «Мысль изреченная есть ложь...» и т.д.

И как иногда хочется поверить Тютчеву и жить по предложенной им бесхитростной схеме:

Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит,
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет...

Как парадокс – это прекрасно. Или скажем по-другому: это глубинная мудрость – «Чего желать? О чем тужить? День пережит – и слава Богу». Но на дворе уже XXI век. И если не желать, не действовать, не хотеть, так что получится в итоге?..

И все же спасибо Федору Ивановичу Тютчеву за мудрость постижения окружающего мира, за блаженство и безнадежность любви и жизни.

Можно на этом поставить точку, но можно и продолжить короткий рассказ о Тютчеве. Мыслитель, поэт, любовник. А еще и дипломат. «Но вот что странно, – пишет о Тютчеве Владимир Ходасевич, – будучи не весьма исправным чиновником дипломатического ведомства, он всю жизнь рвался к самой активной деятельности именно на этом поприще. И особенно – в те годы, когда он был уже не у дел, в опале. Служить он не умел, но политические судьбы Европы и России волновали его чрезвычайно...»

И далее Ходасевич пишет про Тютчева: «Всю жизнь он

тешился сверкающей игрой своего ума, гнался за ясностью мысли, за ее стройностью. Но своего истинного и исключительного величия достигал, когда внезапно открывалось ему то, чего «умом не понять», когда не дневной ум, но «ночная душа» вдруг начинала жадно внимать любимой повести «Про древний хаос, про родимый!» В шуме ночного ветра и в иных голосах природы он услыхал страшные вести из древнего Хаоса, как сигналы, подаваемые с далекой родины…»

Перечитав написанное, ахнул: а где даты жизни? Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года в селе Овсюг Орловской губернии, ныне Брянской области. Умер 15 (27) июля 1873 года в Царском Селе, немного не дожив до 70 лет. Любовная драма с Денисьевой – терзался сам и терзал ее, – подорвала его здоровье. После смерти своей возлюбленной поэт жил в оцепенении, в «страдальческом застое». «Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо…» – так вспоминал современник Тютчева.

Игорь Северянин, поэт, абсолютно полярный Тютчеву, писал о нем: «В душе скрывающий миры немые…» И далее в «Медальоне» о Тютчеве:

Вечерний день осуеверил лик,
В любви последней чувства есть такие,
Блаженно безнадежные. Россия
Постигла их. И Тютчев их постиг…

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СЛАВЯНОФИЛОВ

Иван Киреевский

Сегодня мы упорно ищем национальную идею. Спорим до хрипоты: идти по европейскому пути, развивать демократию, или вернуться к старым истокам, чуть ли не допетровской Руси. Пытаемся нащупать и какой-то третий путь. Особую дорогу, по которой никто еще не ходил в мире. Кто мы – Европа или Азия? – задаем вопрос и подчас забываем, что он был поставлен давным-давно, что сегодняшние страсти – это всего лишь отзвуки когда-то кипевшей полемики, спора между западниками и славянофилами в середине XIX века. Тогда идею славянофильства особо ретиво защищали двое: Алексей Хомяков и Иван Киреевский.

Вспомним Ивана Васильевича Киреевского, к сожалению, ныне имя его всплывает редко. А был он – человек преинтересный. «Русский Дон-Кихот». Философ, литературный критик, публицист. «Киреевский – автор первого философского обозрения нашей словесности», – писал о нем Аполлон Григорьев.

Иван Киреевский – современник Пушкина. Родился 22 марта (3 апреля) 1806 года в Москве, в семье отставного секунд-майора, помещика Киреевского. После его смерти мать, знаменитая московская барыня Авдотья Петровна Юшкова (по второму браку – Елагина) уехала в родовое имение Долбино, в 7 верстах от Белева. Там и прошло детство Ивана Киреевского и его младшего

брата Петра. В воспитании мальчиков принимал участие Василий Жуковский, состоявший в родстве с Юшковой-Елагиной. Маленький Иван освоил французский и немецкий языки, усердно занимался историей, математикой и особенно литературой. В 16 лет Иван Киреевский появился в Москве и стал брать уроки у московских профессоров. Набравшись основательно знаний, в 18 лет поступил на службу в Московский архив иностранной коллегии. Но вскоре остыл к ней. «Мне кажется, что вне службы я могу быть полезнее… – писал он другу Кошелеву. – Я могу быть литератором». И Киреевский становится таковым. Его первое напечатанное произведение – статья «Нечто о характере поэзии Пушкина». С Пушкиным, Гоголем и другими литературными светилами Киреевский общался в литературных салонах – у Зинаиды Волконской и своей матушки Елагиной в доме у Красных ворот в Трехсвятском переулке. А еще часто гостил у московского историка Погодина и в квартире Аксаковых. Счастливое дотелевизионное время – собирались, высказывали суждения, сопоставляли мнения, спорили. Только вот истина никак не высекалась: западники стояли на своем, а славянофилы держались за прошлое.

Бывший «архивный юноша», так звали Ивана Киреевского, организовал свой журнал «Европеец», но на второй книжке он был запрещен, – какие могут быть разговоры в России о свободе и государственном устройстве?! Все давно определено, – и умри, любая мысль!.. Только заступничество Жуковского спасло Киреевского от ареста и ссылки. Иван Васильевич после этого то ли испугался, то ли присмирел, но со своими статьями замолчал на много лет. Женился на Наталье Арбеневой. Народил шестерых деток. И потихоньку сдвинулся в религиозно-мистическую сторону и тесно сблизился с братией Оптиной пустыни. От просветительского журнала «Москвитянин», который он редактировал, перешел в основном к переводам и изданиям святых отцов. Но не этот период стал главным в его жизни, а другой, предыдущий, когда он участвовал в создании другого журнала, «Русская беседа», и возлагал большие надежды на русскую литературу и отмечал, что «литература наша в первой весне, каждый цвет ее пророчит новый плод и обнаруживает новое развитие».

Киреевский, по существу, стоял у истоков славянофильства, с восторгом оценивая прошлое и будущее России и считая, что нечего нам равняться на Запад, ибо он откровенно гниет. Вот образчик его рассуждений:

«Казалось, какая блестящая судьба предстояла Соединенным Штатам Америки, построенным на таком разумном основании»

(то есть на началах европейской жизни. – *Прим. Ю.Б.*) «И что же вышло? Развились одни внешние формы общества и, лишенные внутреннего источника жизни, под наружною механикой задавили человека… Нет! Если уж суждено будет русскому… променять свое великое будущее на одностороннюю жизнь Запада, то лучше хотел бы я замечтаться с отвлеченным немцем в его хитросложных теориях; лучше залениться до смерти под теплым небом, в художественной атмосфере Италии… чем задохнуться в этой прозе фабричных отношений, в этом механизме корыстного беспокойства…»

Сегодня мы видим, что Киреевский был мечтателем и плохим провидцем. «Отвлеченный немец» достиг высот материального благополучия а итальянец отнюдь не заленился под теплым небом и вывел свою страну на передовой уровень развития. И только мы, русские, презирая до сих пор «корыстное беспокойство», никак не можем вывести Россию из трясины отставания до передовых стран. Страшно подумать, что бы было, если бы не нефть и не газ. И самое ужасное то, что власти не могут понять простой истины, что к «величайшим благодеяниям», как говорил Киреевский, можно придти только через просвещение и культуру. Но при этом тот же Киреевским не верил в науку, считая, что она оторвалась «от неба». Свято верил Киреевский в русский народ, считая, что в нем сохраняются зерна «святой истины в чистом и неискаженном виде». Отдельные взгляды Ивана Киреевского смыкались с положениями других русских мыслителей, таких как Владимир Соловьев, Трубецкие, Флоренский, Бердяев. И эта «смычка» сходилась на полном неприятии рационализма. Выражаясь иначе, многие философы, в том числе и Киреевский, были противниками «рацио», они стояли горой за душу или, как модно говорить, за духовность. Отсюда и понятно прозвище Дон-Кихота, которым наградили Киреевского.

Прожил Иван Васильевич не много – всего 50 лет. Умер по возвращении из Петербурга 11(23) июня 1856 года. Хомяков писал Шевыреву: «Смерть Киреевского была почти внезапная: с сыном обедал очень легко, после обеда лег отдохнуть; через час вскрикнул от боли; начались холера с корчами. Доктора не скоро достали; перед ночью приобщился, а к утру кончил…» И далее в письме: «…круг наш уменьшается, и какой человек из него выбыл! Потеря невознаградимая, не говорю для нас, а для мысли в России… Грустно; но все же он недаром пожил и в истории философии оставил глубокий след, хоть, может быть, и не доделал своего дела».

И еще одно высказывание Хомякова: «С Киреевским для нас всех как будто порвалась струна с каким-то особенно мягкими

звуками, и эта струна была в то же время мыслию».

Похоронили Киреевского на кладбище в Оптиной пустыни.

Давно нет Ивана Киреевского, а страсти всё кипят и кипят. Иван Васильевич умел будить мысль, и пусть порой ошибался при этом. В конце концов, кипение лучше застоя, хотя... Евгений Баратынский в одном из писем писал Киреевскому: «Ты принадлежишь новому поколению, которое жаждет волнений, я – старому, которое молило Бога от них избавить. Ты назовешь счастием пламенную деятельность, меня она пугает...»

А что в итоге? Вопросы есть. Ответов нет.

ПЕРВЫЙ РОСКОШНЫЙ ПОЭТ РОССИИ

Владимир Бенедиктов

Владимир Бенедиктов познал большую славу и был осмеян затем, забыт. В Серебряном веке его неожиданно вспомнили. И снова задвинули в дальний ящик русской поэзии. И только знатоки поэзии шелестят: «Ах, Бенедиктов – большой оригинал… а, вообще, бенедиктовщина, – просто фу… «Пара черненьких очей» – разве это поэзия? А «тучи лопнули, и хлынул крупный ливень на бивак…»?

Поэтический путь Бенедиктова – прекрасная иллюстрация к латинской мудрости – Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава). Первая же книга вызвала восторг. По свидетельству Якова Полонского, «не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова. Он был в моде – учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали, приезжие из Петербуга, молодые франты, хвастались, что им удалось заучить наизусть только что написанные и еще нигде не напечатанные стихи Бенедиктова. Что девицы и франты! Солидные и маститые поэты – Вяземский, Плетнев, Шевырев, Тютчев, Фет, Шевченко и другие, восторгались Бенедиктовым. Даже патриарх русской поэзии Василий Андреевич Жуковский «до того был поражен и восхищен

книжечкой Бенедиктова, что несколько дней сряду не расставался с нею и, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал воздух бенедиктовскими звуками», – так писал Панаев.

А потом грянули залпы главных бомбардиров критической «Авроры» Белинского и Добролюбова. Сник и затих Бенедиктов. Смолкли и его поклонники и фанаты, вознесшие выше самого Пушкина. А дальше, как у Шекспира, – дальше тишина. И все же краткая, но яркая была слава у Бенедиктова. Пьянящий успех и приятное головокружение.

Что за человек был Владимир Григорьевич Бенедиктов? Родился он в Петербурге 5 (17) ноября 1807 года в чиновничьей семье. Вскоре родители перебрались в Петрозаводск, там в Олонецкой губернской гимназии учился юный Бенедиктов, и там же один из преподавателей увлек его поэзией. Увлечение растянулось на всю оставшуюся жизнь. Активно сотрудничал с рукописными журналами Кадетского корпуса, в котором учился. Выпущен был прапорщиком «первым по успехам». Затем, уже поручиком, Бенедиктов участвовал в польской кампании (брал Варшаву) и удостоился ордена Св. Анны 4-й степени за храбрость.

В 1832 году вышел в отставку, и началась его успешная гражданская карьера. Столоначальник, статский советник (считай: генерал). В 51 год уволен по прошению. Евгений Евтушенко написал про него: «Защищаю Бенедиктова,/ его серый сюртучок./ Невезучим было дитятко,/ невезуч был старичок...» Да, возможно, в карьере Бенедиктова не было звона, как у... (фамилию не называю), но все же Бенедиктов был не бедным Акакием Акакиевичем. С точки зрения перемещения по служебной лестнице – это была вполне удачная карьера. А вот стихотворчество...

Бенедиктов постоянно раздваивался между службой и поэзией (сидеть на двух стульях всегда неудобно). С приятелями замыслил журнал «Мы Вам», где должна быть виньеточка с несущейся тройкой и словами: «Вот мчится тройка: но какая?/ Вдоль по дороге: но какой?!» К сожалению, альманах не увидел свет. Но отдельные стихи Бенедиктова ходили по рукам, и хозяйка одного из петербургских литературных салонов Елизавета Карлгоф была в восторге от них. Уговорила мужа, и тот издал за свои деньги «Стихотворения Бенедиктова» в 1835 году (напомним: за два года до гибели Пушкина).

Книга имела бешеный успех не только у обывателей, но и у просвещенной публики. Привлекла новизна и какая-то необычная для того времени раскованность. Даже суровый Некрасов признал, что у Бенедиктова есть «талант, несомненный и прекрасный», но тут же добавил уничтожающее «но»: «и не

прискорбно ли, что этот прекрасный талант пошел по ложному пути?..»

Ложный путь по Некрасову – это любование природой и возвеличивание ее сил, любовь к «идеальной деве», гордая и одинокая личность и т.д. А где слияние с народом? Где мучительное сопереживание народным бедам? И почему нет поиска, кому на Руси жить хорошо, а кому плохо? Ничего этого нет, и одно кружение в вальсе (за пристрастие к балам многие ругали Бенедиктова). И вот этот знаменитый бенедиктовский «Вальс» (1840):

Всё блестит: цветы, кенкеты,
И алмаз, и бирюза,
Ленты, звезды, эполеты,
Серьги, перстни и браслеты,
Кудри, фразы и глаза.
Все в движенье: воздух, люди,
Блонды, локоны и груди,
И достойные венца
Ножки с тайным их обетом,
И страстями и корсетом
Изнуренные сердца...

Да, Бенедиктов любил эти внешние эффекты, когда «всё блестит».

По существу, он был первым роскошным поэтом России, уловившим в обществе потребность к роскоши, к шику, красоте. Он умудрился соединить классические элегии с новым «галантерейным» языком, что позднее с блеском развил Игорь Северянин. В футболе есть термин «игра на публику». Именно на публику и «играл» Бенедиктов. И вот типичный пример:

Прекрасна дева молодая,
Когда, вся в газ облачена,
Несется, будто неземная,
В кругах затейливых она.
Ее уборы, изгибаясь,
То развиваясь, то свиваясь,
На разогревшуюся грудь
Очам прокладывают путь.
Она летит, она сверкает, —
И млеют юноши кругом,
И в сладострастии немом
Паркет под ножкой изнывает.

Огонь потупленных очей,
По воле милой их царицы,
Порой блеснет из-под ресницы
И бросит молнию страстей.
Уста кокетствуют с улыбкой;
Изобличается стан гибкой, —
И всё, что прихотям дано,
Резцом любви округлено...

Ну, разве не «роскошная» поэзия? «Кому нравился Бенедиктов? – спрашивал Эренбург и отвечал, – невзыскательным женам городничих». Конечно, жены и дочки млели, всем им хотелось «магнитными прелестями» привлекать к себе «железные сердца» мужчин. А еще гарцевать на жеребцах и «гордиться красивым и плотным усестом», – звучит как злая пародия, но этот испорченный вкус поэта дамочки, как правило, не замечали. Главное – «и цельный кудрявый локон твой был локон неподдельный». Бенедиктов был умным человеком и все прекрасно понимал:

Пиши, поэт! слагай для милой девы
Симфонии любовные свои!
Переливай в гремучие напевы
Палящий жар страдальческой любви.
Чтоб выразить таинственные муки,
Чтоб сердца огнь в словах твоих изник,
Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый язык.

Бенедиктов изобретал и выдумывал разные словесные вычуры. Придумывал неологизмы (сердцегубка, волнотечность, нетоптатель и т.д.). Прибегал к оригинальным сравнениям, к примеру, сравнивал небо с опрокинутой чашей. Много уделял внимания рифмам. Пушкин не то похвалил, не то сыронизировал, обращаясь к Бенедиктову: «У вас удивительные рифмы – ни у кого нет таких рифм! – Спасибо, спасибо!» Бенедиктов создал свой стих, прорисованный насквозь. Себя он, кстати, называл «ремесленником во славу красоты».

И, действительно, многие вещи Бенедиктова очень красивые и нарядные. И в них много звуковой мишуры – поэт был в большей степени увлечен звуками, чем красками. Всё это так, но для настоящей поэзии этого явно мало. Неистовый Виссарион и припечатал Бенедиктова:

«Стихотворения г. Бенедиктова имели особенный успех в Петербурге успех, можно сказать, народный, – такой же, какой Пушкин имел в России: разница только в продолжительности, но не в силе. И это очень легко объясняется тем, что поэзия г. Бенедиктова не поэзия природы или истории, или народа, – а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностию, с их балами и светскостию, с их чувствами и понятиями, – словом, со всеми их особенностями, и выразила простодушно-восторженно, без всякой иронии, без всякой скрытой мысли».

«Разгромной статьей Белинский прямиком отправил Бенедиктова в ссылку – из Центра внимания в Дом престарелых пошлостей», – так интерпретирует Евтушенко статью классика в наши дни. И выходит: Бенедиктов – всего лишь рыцарь на час. В 1910 году в журнале «Мусагет» Борис Садовский высказался еще резче, объявив Бенедиктова Чичиковым, вздумавшим взяться за стихи. И лишь другой поэт Серебряного века, Федор Сологуб, назвал Бенедиктова предтечей модернистов, за его музыкальность и певучесть.

Но это уже произошло после смерти поэта, а тогда, после оглушительной критики Белинского, Бенедиктов пытался перестроиться и повернулся в сторону гражданской поэзии, но при этом не смог выйти за либеральные рамки: «благодетельные реформы» сверху, законность, просвещение, борьба с лихоимством, «разумная» свобода печати…

Боитесь вы сорвать покров,
Где зла скопляется излишек,
И где бы обличать воров —
Вы обличаете воришек…

Но всё это говорилось умеренно, без гнева, без вспышки эмоций, поэтому Бенедиктова никак нельзя занести в ряд «отрицателей и обличителей».

В 1856 году вышло трехтомное собрание сочинений Бенедиктова. В «Современнике» Добролюбов не преминул откликнуться, что поэзия Бенедиктова «по-прежнему слагается из вычурности и эффектов, для которых канвою служат ныне нередко общественные интересы, так, как прежде служили заоблачные мечты…»

Евтушенко саркастически написал о Бенедиктове:

За овацией – овация,

а потом – вдруг ничего.
Обозналась наша нация,
приняла не за того.

Надо отдать должное Бенедиктову: он стоически перенес все критические нападки своего времени. Продолжал писать и выступать перед публикой и даже обратился с призывом к молодым: «Шагайте через нас!» Постепенно Бенедиктов отходит от собственной поэзии и сосредоточивается на переводах. Переводит французских романтиков Гюго, Ламартина, Барбье, а еще «Торквато Тассо» Гёте, «Каина» Байрона. Жил тихо и незаметно. Хозяйство по дому вела его сестра. И скончался тихо 14 (26) апреля 1873 года, в возрасте 65 лет. По словам Полонского, когда Бенедиктов умер, «то многие, даже из его знакомых, не знали, где его квартира, и весьма немногие проводили на вечный покой...» Похоронили Бенедиктова на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге.

В 50-летнем возрасте Бенедиктов написал преинтересное стихотворение «Оставь!», обращенное то ли к отвергнувшей его женщине, то ли к поэтической музе, которая тоже его отвергла, но которой он продолжал преданно служить:

«Оставь ее: она чужая, —
Мне говорят, – у ней есть он.
Святыню храма уважая,
Изыди, оглашенный, вон!»
О, не гоните, не гоните!
Я не присвою не свою;
Я не во храме, посмотрите,
Ведь я на паперти стою...
Иль нет – я дальше, за оградой,
Где, как дозволенный приют,
Сажень земли с ее прохладой
Порой и мертвому дают.

Я – не кадило, я – не пламень,
Не светоч храма восковой,
Нет: я – согретый чувством камень,
Фундамент урны гробовой;
Я – тень; я – надпись роковая
На перекладине креста;
Я – надмогильная, живая,
Любовью полная плита.

Мной не нарушится святыня,
Не оскорбится мной она, —
И Бог простит, что мне богиня —
Другого смертного жена.

Бенедиктов и женщина, – дело частное. Бенедиктов и поэзия – дело уже общественное. В своей работе «Неудачник Бенедиктов» (1976) Станислав Рассадин отмечает, что «Бенедиктов оказался в промежутке, условно говоря, между Пушкиным и Некрасовым... Вся поэтика Бенедиктова промежуточна, зыбка, подвижна, она плещется между двумя этими опорами». Продолжая мысль Рассадина: Бенедиктов не достиг гармонии Пушкина и не овладел гражданской болью Некрасова. Проигрывает Бенедиктов и Тютчеву: у Тютчева – космические бездны, у Бенедиктова – трагизм на час.

Порою внезапно темнеет душа, —
Тоска! – А бог знает – откуда?
Осмотришь кругом свою жизнь: хороша,
А к сердцу воротишься: худо!

Всё хочется плакать. Слезами средь бед
Мы сердце недужное лечим.
Горючие, где вы? – Горючих уж нет!
И рад бы поплакать, да нечем.

В конечном счете Бенедиктов никогда не впадал в отчаянье, не подходил к грани распада, а пытался удержаться на краю. Им владела всего лишь благодетельная меланхолия.

Время перемчалося: скрылся ангел сладостный!
Все исчезло с младостью —
Все, что только смертные на земле безрадостной
Называют радостью...

Типичная философия утешения. Но не ею силен Бенедиктов. Он, по определению Юлия Айхенвальда, «любитель слова, любовник слова, он в истории русской словесности должен быть упомянут именно в этом своем высоком качестве, в этой своей привязанности к музыке русской речи». Бенедиктов был противником «чужеречить язык родной». Он хотел увековечить

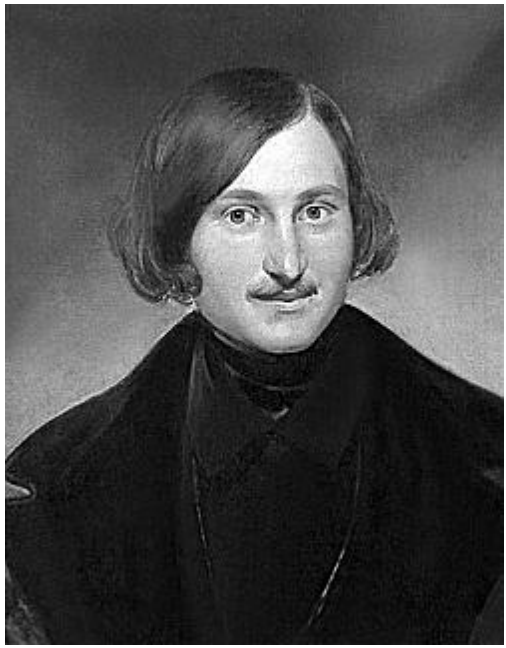
«Богом данный нам глагол». Ну, а что касается «Кудрей» (знаменитое стихотворение, за которое Бенедиктова только ленивый не критиковал), то что же в этом, в конце концов, плохого: «Кудри девы-чародейки,/ Кудри – блеск и аромат,/ Кудри – кольца, струйки, змейки,/ Кудри – шелковый каскад!..»

Кудрявая юность – замечательная пора. Увы, только краткая.

Появились, порезвились, —
И, как в море вод хрусталь,
Ваши волны укатились
В неизведанную даль.

Волны укатились. Кудри поседели или выпали. А вот стихи Владимира Бенедиктова, несмотря на все выпады Белинского и Добролюбова, остались. И это замечательно.

НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА ГОГОЛЯ



Николай Гоголь

В апреле 2009 года Россия вздрогнет: пройдут юбилейные торжества по случаю 200-летия Гоголя. Торжества будут отмечены на федеральном уровне. И соответственно, праздные славословия, фанфарные визги, велеречивые излияния. А пока предлагаю вспомнить другую дату – день смерти Николая Васильевича. Он умер 21 февраля (4 марта) 1852 года в Москве, на Арбате.

Отчего умер Гоголь

На тему смерти Гоголя написано много. Как возмущался Андрей Вознесенский про обывательский интерес: «Как вы любите слушать рассказ, /как вы Гоголя хоронили...» Раз любят, значит, с удовольствием рассказывают. И как занемог Николай Васильевич, как бросил в огонь беловую рукопись второй части «Мертвых душ», и как доставал писателя своим суровым ригоризмом приехавший из Ржева протоиерей отец Матвей, как бездарно лечили Гоголя врачи и лили на его голову холодную воду, и еще множество других печальных деталей.

И вот еще одно. Смерть жены его близкого друга Хомякова. На панихиде по Екатерине Михайловне Гоголь произнес пророческие слова: «Всё для меня кончено». И на него нашел «страх смерти». А страх привел к быстрой кончине.

Врачи и близкие считали, что причина смерти Гоголя – «желудочнокишечное воспаление вследствие истощения». Нарушение обмена веществ, дистрофия внутренних органов. Среди причин называлось многое: чахотка, малокровие, нарушение кровообращения, катар, гастроэнтерит и даже тиф. Но вскоре вынуждены были признать, что болезнь Гоголя не имеет названия в научных анналах. Словом, загадка. Тайна. По мнению дальнейших исследователей и биографов писателя, Гоголь умер, сломленный трагическим разрывом в себе между человеком и художником. Он был уверен, что силой дара преобразит жизнь и смехом победит злые силы. Ставил задачу – пробудить человечество «от сна духовного, исправления его пороков в свете евангелического благочестия». Но дар художника вступил в противоречие с пророком. Разлад оказался непосильным. И поэтому Гоголя преследовало нездоровье. Он не находил подчас себе места, постоянно страдал от озноба, порой им овладевала такая тоска, что, как он говорил, «повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство или облегчение».

Болезнь души и болезнь тела, – что на что влияло?.. «О, моя юность! О, моя свежесть!.. Отдайте, возвратите мне, возвратите юность мою, молодую крепость сил моих, меня, меня, меня свежего, того, который был, был! О, невозвратимо всё, что ни на есть на свете!..» Тоска по юности. Борьба с собой. Мучительное приневоливание и переписывание высасывали душу Гоголя. О чем свидетельствует даже почерк, который менялся – вначале мелкий, бисерно-убористый и похожий на нитку жемчуга, а потом жемчуг куда-то исчез, рука писателя стала дрожать – буквы стали выше и крупнее, и по всему чувствовалось, что перо медленно ползло по бумаге. Вместе с вдохновением ушла и легкость.

В своей книге «Гоголь» Игорь Золотусский отмечает, что это было не то сожжение, какое он учинял своим трудам прежде, это был расчет с писательством и с жизнью. Более ни жить, ни писать было нечем и не для чего... Гоголь верил, что должен умереть, и этой веры было достаточно, чтоб без какой-либо опасной болезни свести его в могилу... То был уход, а не самоубийство, уход сознательный, бесповоротный, как уход Пульхерии Ивановны, Афанасия Ивановича, понявших, что их время истекло. Жить, чтобы просто жить, чтобы повторяться, чтоб тянуть дни и ожидать старости, он не мог. Жить и не писать (а писать он был более не в

силах), жить и стоять на месте значило для Гоголя при жизни стать мертвецом.

И Гоголь отправил себя на тот свет. Интересная деталь: по описи вещей, оставшихся после смерти писателя, в карманах его одежды не было найдено никаких денег, да и все имущество его было оценено в 43 рубля 88 копеек.

«21 февраля, в четверг, поутру, без четверти восемь часов, умер Гоголь, – так писал в своем некрологе старинный его друг профессор истории Михаил Погодин. – Публика требует подробностей о кончине своего любимца: в городе ходят разные слухи и толки...»

Жизнь после смерти

24 февраля в ясный морозный день при огромном стечении народа состоялись похороны. Из университетской церкви гроб с телом писателя был вынесен профессорами, а до самого кладбища Даниловского монастыря его на руках несли студенты Московского университета.

На установленном памятнике были выбиты слова пророка Иеремии: «Горьким словам моим посмеются». Не только посмеялись, но и поиздевались, устанавливая разные памятники, передвигая их с места на место, не давая упокоиться Гоголю. В 1909 году его потревожили, проводя какие-то реставрационные работы. По одной из версий, тогда и был похищен череп Николая Васильевича, обнаруженный впоследствии в тайном захоронении у известного московского коллекционера Алексея Бахрушина... Правда – не правда, – очередная тайна Гоголя.

31 мая 1931 года власти решили перенести прах Гоголя с Данилова кладбища на Новодевичье, более престижное. Акт об эксгумации подписали 12 человек, в том числе несколько писателей – Лидин, Сельвинский, Вс. Иванов, Олеша... Многие из свидетелей вскрытия превратились в бесстыдных охотников за сувенирами: кто-то отхватил пуговицу от сюртука, кто-то кусок ткани, кто-то целое ребро (чтоб стать великим, как Гоголь?!..) Впрочем, воспоминания того печального события крайне путаны и противоречивы, возможно, всех их попутал гоголевский бес.

Далее пошли лукавые игры с памятниками. Открытие памятника работы Николая Андреева состоялось 26 апреля 1909 года, месяц спустя после 100-летнего юбилея писателя. Организовано всё было плохо, и произошла давка. «Торжество открытия памятника прошло в полном беспорядке», – написали «Московские ведомости». Да и сам «статуй» не всем понравился. Слишком мрачный и самоуглубленный. В советское время

появился новый Гоголь – памятник работы Томского, – бодрый и радостный (нам нужны такие гоголи, чтобы нас не трогали!..) Короче, с Гоголем и после смерти, было не все так просто. Как выразился поэт: «Вместо смеха открылся кошмар...»

Разгадка Гоголя

«Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи!..» А знаем ли мы самого Гоголя? Статьи и книги о нем пишутся и издаются, а загадка, тайна писателя, так и не разгадывается до конца. В моем архиве собрано множество публикаций о Гоголе, одни названия красноречивы: «От смеха к проповеди», «Писатель по несчастью», «Нечеловеческая скорбь Гоголя», «Гоголь и ад», «Защита Гоголя», «Арабеск или апокалипсис?», «Остается по-прежнему нераскрытым и загадочным» и т.д. Словом, известный и неизвестный Гоголь.

Многие исследователи по-фрейдистски копались в детстве писателя. И что? Он родился весной и потом всю жизнь любил весну, весною весь его организм просыпался, напрягался. Весною ему и писалось, и мечталось, и жилось. «Сильно люблю весну», – признавался он... Научился говорить Николаша Гоголь-Яновский в 3 года: природа как бы замедлила его развитие, чтобы затем в короткий срок дать выплеснуться его силам... С детства привык он к одиночеству среди людей и одиночеству наедине с собой. Это создало характер скрытный, закрытый, но и способный сосредоточиться на себе, удовлетвориться собой... В стенах гимназии вынес много обид и оскорблений, получил прозвища «таинственный карла» и «пигалица».

Впрочем, биография Гоголя известна, лишь еще раз обратим внимание на некоторые факты. Гоголь с юности рос чрезвычайно чувствительным человеком. В 18 лет писал в письме к своему двоюродному дяде: «...неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце...» Первые литературные опыты Гоголя встретили резкую критику, и это тоже сильно ранило молодого человека. Прибавим неудачные любовные увлечения, безуспешную попытку поступить на сцену в качестве драматического актера, глубокое разочарование в государственной службе (вначале писец, а потом помощник столоначальника) – всё это задевало и кололо «нашу милую чувственность» (выражение Гоголя из статьи «Последний день Помпеи», 1834).

Далее успех и вместе с тем критика его литературных работ, непонимание гоголевских текстов цензорами, творческие сомнения, душевная усталость, бегство из Петербурга,

физические недомогания, отчаяния по поводу «Мертвых душ» – «и пишутся и не пишутся...» Критика второго тома – «здоровье мое... сотряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги... дивлюсь сам как я еще остался жив» (письмо от 12 авг. 1847).

Но это все, как говорится, за кулисами. А на сцене – успех, триумф, чествование Гоголя как классика русской литературы. Конечно, классик – какие сомнения! Но каков был Гоголь как человек? Ведь это страшно интересно. Писатель прожил странную жизнь: много путешествовал, умело использовал своих знакомых, чурался тесных отношений с женщинами и постоянно ощущал разлад в душе между художником и проповедником.

На Западе пишут о Гоголе без особого пиетета (что им Гекуба, что им Гоголь?..). Один критик заявил, что «Гоголь лгал самому себе, так же, как и другим. Ложь была его образом жизни, существом его гения...» Другой рецензент отмечал, что Гоголь был вруном, нахлебником и лицемером. Он, де, предпочитал отрицать действительность и погружаться в фантастический мир своей лжи. Многие исследователи на Западе сознательно сближают «ложь» гоголевских произведений с «ложью» гоголевской жизни. Но оставим их мнение, а обратимся лучше к нашему.

«Настоящее его призвание было Монашество; я уверен, что если бы он не начал свои «Мертвые души», которых окончание лежало на его совести и все ему не удавалось, то он давно был бы монахом... по особенному свойству его гения ...» (Василий Жуковский).

«...художник, заставлявший всю Россию смеяться по своему произволу, был человек самого серьезного характера, самого строгого настроения духа... писатель, так метко и неумолимо каравший человеческое ничтожество, был самого незлобивого нрава и сносил, без малейшего гнева, все нападки и оскорбления... едва ли найдется душа, которая бы с такой нежностью и горячностью любила добро и правду в человеке и так глубоко и искренно страдала при встрече с ложью и дрянью человека. Как на нравственный подвиг, требующий чистого деятеля, смотрел он на свои литературные труды, и – живописец общественных нравов – неутомимо работал над личным нравственным усовершенствованием (Иван Аксаков).

Написано несколько выспренно и с пафосом. А вот Василий Розанов, приведя восклицание Гоголя «Грустно жить на этом свете, господа», замечает: «И не могло не быть «грустно» душе такой особенной, и одинокой, и зловещей. С зловещею звездою над собою, пожалуй – с черною звездою в себе».

Гоголь и странствия

А какая звезда заставляла Гоголя пускаться в вечные путешествия? Почему он не обзавелся собственным домом и не завел семью? По свидетельству Смирновой-Россет: «Ему всегда надо пригреться где-нибудь, тогда он и здоров». Вот он и «пригревался» во многих чужих домах – у той же Смирновой-Россет, у Жуковского и Виельгорских в Ницце, у Апраксиной в Неаполе, у Погодина и графа А.П. Толстого в Москве. В Риме квартировал то у Анненкова, то у Языкова, то у Панова, в Петербурге – у Данилевского.

О житье писателя у графа Александра Петровича Толстого поэт Николай Берг вспоминает: «Здесь за Гоголем ухаживали, как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет. Белье его мылось и укладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги, дома служил ему человек из Малороссии, именем Семен, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная».

Из своих 43 лет Гоголь около 12 провел за границей, по замысловатым адресам: Париж, Рим, Неаполь, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Дрезден, Ницца, Одесса, Калуга ... Эдакий странник, скиталец, одинокий путник, нигде не задерживающийся более как на несколько месяцев.

Настроение его всегда резко менялось. Сначала Германия рисовалась ему светлым, почти райским местом, утопающим в садах. Потом он разочаровался в Германии, называл ее «подлой», а немцев «гадкими». И только, пожалуй, Италия очаровала Гоголя надолго. «Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу – и уж на всю жизнь», – такими восторгами полны его письма из Рима. «Этот Рим увлек и околдовал меня». В другом письме: «Только тут узнаешь, что такое искусство».

Он любил ходить по Вечному городу и часами сиживать в кафе «Эль Греко». Именно в Риме Гоголь начал «Мертвые души». Он нежился в атмосфере теплого и ласкового римского воздуха, а писал о ледяных просторах России.

Последний римский адрес – улица Систина, 126, апартаменты на втором этаже и под крышей. Когда Гоголь был вынужден лечиться на водах в Германии и Швейцарии, то жаловался: «Мутно и туманной кажется после Италии...»

Гоголь и женщины

Николай Васильевич не был женат и не замечен даже в маломальских светских романах (вот уж не Пушкин!). Французский писатель Анри Труайя считает, что «единственной» женщиной в жизни Гоголя была его мать, «остальные – ловушки». Гоголь страдал материнским комплексом и писал ей письма «Дражайшая маменька!». Но в них никогда не рассказывал о своих делах, а что-то врал и придумывал. Кстати, и мать писателя была престранной женщиной, как бы мы сегодня сказали, с чуть поехавшей крышей. К примеру, она считала, что именно Гоголь выдумал и построил железную дорогу.

Один лишь раз в жизни Гоголь увлекся молодой графиней Анной Виельгорской. Ему показалось, что эта женщина близка ему по духу (о красоте и телесных достоинствах речь не шла), но ничего из этого увлечения так и не вышло. Предложение сделано не было, свадьба не состоялась. То был роман без романа. В итоге Гоголь не стал семьянином, а остался одиноким наблюдателем жизни.

С красавицей и умницей Александрой Россет Гоголь дружил годами. «Нас сдружило наше обоюдное одиночество», – признавалась она ему. Их дружба вылилась в утешение друг друга: Гоголь утешает Россет, а Россет – Гоголя. Николай Васильевич давал ей советы, к примеру, «избегать обедов и гадких разговоров» (гадких – это о чем?). И еще, что самое удивительное, – он «лечил» ее от тоски и ипохондрии, будучи сам неспособным избавиться от меланхолии и терзавшей его депрессии.

Единственной «женщиной», увлекшей Гоголя, была Муза. Творчество. Книги. И в них легко вычитать, как относился писатель к слабому полу. Как только женщина начинает интересоваться мужчиной, тот спасается от нее бегством, как Подколесин, как Чичиков, как многие его герои. Если же мужчина не может спастись, он гибнет.

Итак, либо гибнет, либо бежит. И никакой любви!.. О чем это говорит? О тайном ужасе Гоголя перед суетным женским соблазном. О страхе перед женщиной – не дай бог приблизиться к Панночке!..

Интересны пристрастия гоголевских героев. Чичиков говорит об Улиньке: «У нее... существенный недостаток – именно – недостаток толщины». Анна Михайловна имела тот же «недостаток» ... Селифану, как и Чичикову, нравились «девки... белогрудые, белошейные... породистые», у которых «походка павлином и коса до пояса». Фольклорные женщины?..

Из гоголевских описаний видно, что писатель не любил женщин, боялся их, издевался над ними. Под пером Гоголя они –

или ведьмы, или пародии. Не случайно на Западе в моде тема гомосексуальности Гоголя. Да если это и так, разве это – главное?! Главное для нас совсем другое.

Гоголь и Россия

По мнению Чаадаева, Гоголь «резко высказал нашу грешную сторону». Писатель изобразил Россию как русскую Венецию грязных луж. Россия, по Гоголю, страна, где торжествуют и царят чиновники-взяточники, чиновники-душители, где думают не о пользе отечеству, а исключительно о собственном кармане. Одно только восклицание Собакевича из «Мертвых душ» чего стоит! «Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Один там только порядочный человек – прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья...»

Свиные рыла вместо человеческих лиц – это у Гоголя в порядке вещей. А всё потому, что, по мнению писателя, «чорт путаницы» запутал все российские дела, и, чтобы разобраться в России, надо смотреть на нее исключительно «под углом ее нынешних запутанностей». Это во времена Гоголя. А что же говорить нам о сегодняшнем дне?!..

«Все между собою в ссоре, и всяк друг на друга лжет и клевещет беспощадно», – писал Гоголь в письме к графу А.П. Толстому. «Велико незнание России посреди России...»

А как выбраться из бездорожья и трясины, Гоголь уповал на мастера (это главенствующий образ в «Выбранных местах из переписки с друзьями») да на «кормщика небесного». Без них «птица-тройка» бог знает куда может направиться. Как ни закрывай глаза, как ни прячь голову в песок, а пропасть рядом. Еще немного – и нет России, сгинет святая Русь...

Гоголь и русская литература

В 1919 году на одном официальном мероприятии важное лицо продекларировало: «Гоголь, товарищи, великий русский революционный писатель земли русской...» Простенькая формулировочка, но не так просто с Гоголем.

В книге «Духовный путь Гоголя» (Париж, 1934) тонкий критик Константин Мочульский писал: «С Гоголя начинается широкая дорога, мировые просторы. Сила Гоголя была так велика, что ему удалось сделать невероятное: превратить пушкинскую эпоху нашей словесности в эпизод, к которому возврата нет и быть не может. Своим кликушеством, своим юродством, своим «священным безумием» он разбил гармонию

классицизма, нарушил эстетическое равновесие, чудом достигнутое Пушкиным, всё смешал, спутал, замутил, подхватил вихрем русскую литературу и помчал ее к неведомым далям… После надрывного «душевного вопля» Гоголя в русской литературе стали уже невозможны «звуки сладкие и молитвы». От Гоголя всё «ночное сознание» нашей словесности: нигилизм Толстого, бездны Достоевского, бунт Розанова. «День» ее – пушкинский златотканый покров – был сброшен; Гоголь первый «большой» нашей литературы, первый ее мученик. Можно жалеть о столь быстро промелькнувшем дне и содрогаться перед страшным ночным «карлой» – автором «Мертвых душ», но нельзя отрицать того, что великая русская литература вышла из-под плаща – из-под «Шинели» – этого «карлы». Без Гоголя, быть может, было бы равновесие, благополучие: бесконечно длящийся Майков, а за ним бесплодие; после Гоголя – «полное неблагополучие», мировой размах и мировая слава…».

Согласитесь, что подобная оценка Гоголя в советские времена у нас в стране появиться не могла. Ведь как было принято писать о русских гениях: «Дружба Пушкина с Гоголем – одна из самых счастливых и гордых страниц истории нашей литературы» (В. Ермилов, 1956). Светло и лучезарно.

А вот еще неканоническая характеристика творчества Гоголя. Юлий Айхенвальд в своих знаменитых «Силуэтах русских писателей» сравнивал Пушкина с Гоголем совсем в другом ключе: «Пушкин, признательный к своему гению, в божественной наивности, любуясь своим дарованием, бросая ретроспективный взгляд на свои стихи, непоколебимо и радостно верит, что он памятник воздвиг себе нерукотворный и назовет его на Руси всяк сущий в ней язык, – а Гоголь, темной ночью, пугая рыдающего мальчика-слугу, жжет свои страницы в печке и не ожидает для них участи феникса. Гоголь не хотел быть тем, кем он был. Он страдал от своего таланта, от своего назначения, которое было ему предсказано выше – Тем, кто распределяет человеческие способности и силы…»

И далее: «Его привлекало нелепое. Его художественное зрение невольно замечало все изъяны, все живые «прорехи на человечестве»… Страшные сказки о жизни рассказал нам Гоголь, потому что и жизнь сама страшна…»

И Айхенвальд заключает: «Он хотел быть Шиллером, но мир ему неизменно показывал себя в освещении Свифта и Сервантеса. И он умер среди своего уродливого маскарада, в заколдованном кругу ряженых, которые так-таки и не смогли скинуть своих масок и под ними навсегда похоронили свои лица».

«Для нас он был больше, чем просто писатель – он открыл

нам самих себя...» – сразу после смерти Гоголя писал Тургенев Полине Виардо. И выходит, добавим мы, в каждом из нас сидят и плут Чичиков, и враль Хлестаков, и донельзя нерешительный Подколесин, и мечтатель Манилов, и хам Ноздрев, и прижимистая Коробочка, и скупердяй Плюшкин? А если еще и Держиморда, наделенная властью?! То становится как-то не по себе. Правда, есть утешительное мнение, что язвительный смех Гоголя – очищающий, полезный... Об этом, кстати, протрубил Игорь Северянин в своем медальоне-сонете:

Мог выйти архитектор из него:
Он в стилях знал извилины различий.
Но рассмешил при встрече городничий,
И смеху отдал он себя всего.

Смех Гоголя нам ценен оттого, —
Смех нутряной, спазмический, язычий, —
Что в смехе древний кроется обычай:
Высмеивать свое же существо.

В своем бессмертьи мертвых душ мы души,
Свиные хари и свиные туши,
И человек, и мертвовекий Вий —
Частица смертного материала...

Вот, чтобы дольше жизнь не замирала,
Нам нужен смех, как двигатель крови...

Отсмеялись и выздоровели? Если бы....

Обратимся ко второму тому «Мертвых душ». «Как-то устроен русский человек, как-то не может без понукателей... так и задремлет, так и заплеснет». Кнут нужен. Сталин нужен, – вот при нем народ был бодренький и веселенький.

А теперь гоголевские рассуждения о взятках (читай: о коррупции): «Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными».

Резюме от Гоголя

Гоголь, в отличие от многих российских писателей, многое понял. Он понял страшную вещь о России: с виду она святая Русь, а, по сути, немного поскреби, и в ней не только что татарин –

диавол сидит. Это обнаружилось в 1917 году – чуть ослабли скрепы и поводья, как тут же пошел люд все крушить, кромсать и уничтожать. Вылезли гоголевские хари и рожи. Загнали их обратно в хлев. А что дальше делать? Вот она, тайна русской жизни, загаданная Николаем Васильевичем.

И он же утверждал, что в России две главные беды: дураки и дороги. С дорогами по-прежнему плохо. А дураки?!.. Вглядитесь, кто нынче правит бал?..

Российская действительность оказалась куда более фантасмагорична, чем больные фантазии Гоголя.

НЕИСТОВЫЙ ВИССАРИОН

Виссарион Белинский

Начну с курьеза. Когда внук моего старого товарища впервые в школе услышал имя Белинского, он воскликнул: «Я его знаю – это друг моего дедушки!» Учительница так и ахнула…

Белинский, Безелянский – вполне созвучные фамилии. И, вообще, с фамилиями бывают разные недоразумения. Например, отец великого критика был вовсе не Белинским, а Белынским. Ну и что? Не фамилия делает человека, а человек делает фамилию…

Белинский – это легенда. Согласно советской легенде: «Великий русский революционный демократ, критик, публицист и философ-материалист Ленин назвал Белинского, наряду с Герценом и Чернышевским, предшественниками российской социал-демократии. Глубокий и оригинальный мыслитель. Наследие Белинского является национальной гордостью русского народа» – так представлял Белинского Энциклопедический словарь 1959 года.

Любопытную запись сделала Лидия Чуковская 2 октября 1955 года. В разговоре с ней Анна Ахматова, говоря о литературе XIX века, сказала: «Время для поэзии было уж очень тяжелое. Чернышевский и Писарев, а отчасти Белинский, объясняли

публике, что поэзия – вздор, пустяки. Они внушали людям, кроме того, еще нечто очень верное – например, о вреде богатства, о зле социального неравенства – но этой стороны их проповеди мещане не усвоили. Зато что поэзия – вздор, очень усвоили...»

Из дневника Корнея Чуковского (9 марта 1901): «Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей И. Иванова, Евг. Соловьева-Андреевича и проч. нынешних говорунов... говорят, говорят, кругло, цветисто, а попробуй пересказать что, черт его знает, он и сам не перескажет. Счастье этому писателю. Он и сам в письме к Анненкову сознается, что ему везет на друзей, а чуть он помер, стали его друзья вспоминать и, по свойству всех стариков, уверенных, что «их время» было «куда лучше» – создали из него мифич. личность...»

Вот так Корней Иванович нелицеприятно о Виссарионе Григорьевиче.

В октябре 2007 года Российский академический молодежный театр поставил спектакль английского драматурга Тома Стоппарда «Берег Утопии». По этому берегу прохаживался, а больше метался, вместе с Герценом, Бакуниным и другими утопистами, Белинский. Актер играл Белинского дерганым, несуразным человеком. Он то и дело натыкался на разные предметы, размахивал руками и захлебывался красноречием. Белинский с Герценом все время задавались вопросом: «Что нам делать с Россией?!..» Актер Евгений Редько, игравший Белинского, в одном из интервью сказал: «Россия – это территория, на которой никогда ничего не меняется. Вечное холопство...» То ли сам догадался, то ли проник в мысли неистового Виссариона.

Но вернемся непосредственно к Белинскому. Тем более что когда падает интерес к книге, просто необходимо вспомнить самого компетентного читателя России. Как вдумчиво и глубоко читал он книги и как замечательно умел их анализировать. Заметим в скобках: о Белинском сначала апология, а уж потом критика самого критика (как заметил Юлий Айхенвадьд: «У него – шаткий ум и перебои колеблющегося вкуса. Одна страница в его книге ничего не отвечает за другую...»)

Виссарион Григорьевич Белинский родился 30 мая (11 июня) 1811 года в крепости Свеаборге (Финляндия). Отец – уездный лекарь, любивший хорошо выпить. Мать – дочь матроса (шкипера) – вздорная, с невысокими культурными запросами женщина. Такие вот родители.

Детство и юность будущего критика прошли в Пензенской губернии. Учился мальчик в уездном училище, а затем в

пензенской гимназии. В училище его заприметил писатель Лажечников, приехавший туда с ревизией, впоследствии он написал «Заметки для биографии Белинского»: «Лоб его был прекрасно развит, в глазах светлелся разум не по летам...» Сам же Белинский вспоминал о своих первых шагах: «Бывши во втором классе гимназии, я писал стихи и почитал себя опасным соперником Жуковского; но времена переменились... Я увидел, что не рожден быть стихотворцем».

«Стихотворное неистовство», по выражению Белинского, прошло, затем настал черед неистовству критики чужих произведений.

Из провинции – в Московский университет на словесное отделение философского факультета. Проучился Белинский в университете всего три года. 21 мая 1833 года писал матери: «Я не буду говорить Вам о причинах моего выключения из университета: отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства. Ныне времена мудренные и тяжелые: подобные происшествия очень нередки».

В письме Белинский умалчивает о том, что он был инициатором выступлений против казарменного надзора, плохого питания и других негативных фактов студенческой жизни. «Казеннокоштный» студент Белинский был явно неугоден студенческому начальству, его и исключили по двум мотивам: «по слабому здоровью» и «по ограниченности способностей».

Белинскому пришлось туго: он сильно нуждался, зарабатывал репетиторством, мелкой журнальной работой, переводами. Нужда сопровождала его всю жизнь. Вечный бедняк. Постоянно ему ссуживали деньги, то Герцен, то Анненков, то Боткин.

С августа 1834 года Белинский поселяется в квартире Николая Надеждина, помогает ему в издании «Телескопа» и «Молвы», становится их ведущим критиком. В «Молве» было напечатано первое крупное критическое произведение Белинского – «Литературные мечтания». Перечислять дальнейшие работы Белинского не будем (лучше взять и кое-что прочесть самому). Отметим главное: Белинский попал в родную стихию и буквально купался в ней.

«Я рожден, чтобы называть вещи их настоящими именами; я в мире боец» (из письма Бакунину, 9 декабря 1841).

«Умру на журнале и в гроб велю положить под голову книжку «Отечественных записок». Я литератор – говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением. Литературе расейской моя жизнь и моя кровь» (в том же письме Бакунину).

В работе «О развитии революционных идей в России» Герцен писал о Белинском: «...Он не зависел от общественного мнения и не признавал никаких авторитетов; он не боялся ни гнева друзей, ни ужаса «прекраснодушных». Он всегда стоял на страже критики, готовый обличать, заклеймить всё то, что считал реакционным».

Вспоминая Белинского, Тургенев отмечал: «Эстетическое чутье было в нем почти непогрешительно; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью... он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор – высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения... При появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести – никто ни прежде Белинского, ни лучше его не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова».

Панегирик, да еще какой!.. Но так ли был безгрешен Белинский в своих литературных оценках? «Отрицание – мой бог!» – часто говорил Белинский и в этом отрицании уходил слишком далеко от истины. Умудрился в 1834 году «похоронить» Пушкина: «Пушкин царствовал десять лет. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время...» Белинскому не понравились сказки Пушкина и поэма «Анджело», и он вынес суровый приговор Александру Сергеевичу. «Повести Белкина» по Белинскому – ничтожество. Не понравилось критику окончание «Евгения Онегина». Досталось от Белинского и Гоголю, он начисто отверг «Переписку с друзьями», и Александр Блок считал это «грехом перед Гоголем»: «Я кричу «позор Белинскому!»Это не преувеличено. Пусть Белинский велик и прозорлив во многом, но совершил великий грех перед Гоголем» (А. Блок, 1918).

Белинский заявлял, что Тургенев не будет художником. О восходящей звезде русской словесности Белинский высказался так: «Достоевский – ерунда страшная». Федор Михайлович не остался в долгу и спустя годы писал Николаю Страхову (1871): «Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените) именно был немощен и бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда (о Белинском еще много будет сказано впоследствии: вот увидите)».

Итак, про Белинского есть многое «за здравие», но и много «за упокой».

Дмитрий Мережковский в статье «Заветы Белинского» (1906) отмечал, что два демона свирепо терзали тщедушное тельце Белинского: один Неистовый, который свергал кумиров и

возводил на трон новых идолов; другой – Смиренный, который каялся в прегрешениях. «Как бы два Белинских, – писал Мережковский, – внук о. Никифора, «монах» от чрева материнского, тот, который говорит: «Я человек не от мира сего» – Виссарион Смиренный; и «безбожник», мятежник, человек, одаренный вечною «движимостью», тот, который говорит: «Я в мире боец» – Виссарион Неистовый. Один – в религии, другой – в революции, – таков путь Белинского, первого русского интеллигента и, может быть, всей русской интеллигенции».

Двойственность Белинского подчеркивал и Юлий Айхенвальд в своих «Силуэтах русских писателей», говоря о его книгах: «Порою дышит в них трепет искания, горит огонь убежденности, блещет красивая и умная фраза – но всё это беспомощно тонет в водах удручающего многословия, оскорбительной недодуманности и беспрестанных противоречий. Белинскому не дорого стоили слова. Никто из наших писателей не сказал так много праздных речей, как именно он... Отдельные правильные концепции, отдельные верные характеристики перемежаются у него слишком обильной неправдой, свойственна ему интеллектуальная чересполосица ... Его неправда компрометирует его правду... Неровный маятник его легкомысленных мыслей описывал чудовищные крути...»

И так далее под самый поддых. «Моя жизнь, моя сущность, – признавался Белинский, – полемика. Я без полемики сохну, без полемики вяну». А известное дело: чего в пылу споров и дискуссий не наговоришь. Горячие слова опережают холодный ум. По утверждению Вяземского, Белинский, не имея возможности бунтовать на площадях, бунтовал в журналах. И, конечно, расшатывал свое слабое здоровье (туберкулез).

В 1839 году Белинский переехал в Петербург, который потряс его: «Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в человеке всё святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в литере человек может узнать себя – человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нем – человек...» (из письма Боткину). Белинский страдал и продолжал метать свои критические стрелы со страниц «Отечественных записок». Низвергал и восхвалял писателей, писал о России и народе: «Народ слабый, ничтожный или состарившийся, изживший всю свою жизнь до невозможности итти вперед, любит только хвалить себя и больше всего боится взглянуть на свои раны...»

«России нужен новый Петр Первый», – мечтал Белинский.

Белинский был нетерпелив и не исключал применения террора в целях быстрейшего решения назревших проблем. «Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут

братья...» – грезил он. А далее предлагал радикальный рецепт: «И это сделается чрез социальность. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильственно надо вести к счастию. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов».

Примечательно, что Белинский проделал путь от так называемого примирения с действительностью к революционному атеистическому социализму. К счастью людей через кровь и насилие. В его сочинениях нередко можно встретить слово «террор», но и в этом Неистовый Виссарион был противоречив, ибо ему же принадлежит и такое высказывание: «Вся надежда России на просвещение, а не на перевороты, не на революции, не на конституции». Но вот этим словам большевики (они же «бесы» по Достоевскому) в 1917 году не вняли. Пошли по кровавому пути...

Перебьем тему. Белинский и женщины (о, как любят нынешние авторы эту суету вокруг кровати!). Но тут особо «поживиться» и нечем. Не бонвиван, не Дон Жуан, а застенчивый, закомплексованный скромняга (ни красоты, ни денег, ни положения). И пошли в ранней молодости Неистовый Виссарион вкупе со своим другом Михаилом Бакуниным по дороге самоудовлетворения. Это другой великий критик Николай Добролюбов тяготел к женщинам «из разряда Машенек» и бегал к проституткам. Белинский не бегал. Белинский признавался в письме к Бакунину в ноябре 1837 года: «...я был онанистом и не очень давно перестал им быть – года полтора или два. Я начал тогда, когда как ты кончил – 19-ти лет... я был уже не ребенок, а студент, читал Шиллера, Байрона, бредил романтизмом и сочинял свою драму. Сначала я прибег к этому способу наслаждения вследствие робости с женщинами и неумения успевать в них; продолжал уже потому, что начал...»

Вот такое удивительное признание, а все дело в том, что Белинский и Бакунин соревновались друг с другом в степени откровенности; «...а начавши говорить, я люблю всё сказать», – вот кредо Белинского.

В 1836 году у Белинского был бурный роман с модисткой (имя ее неизвестно). А затем после долгого знакомства в ноябре 1843 года Белинский в возрасте 32 лет женился на своей ровеснице Марии Орловой. Брак оказался неудачным, да и не мог быть удачным. Жена попалась расчетливая, жесткая, забытованная, и ей был чужд непрактичный «артистический» характер Белинского. В браке родилось трое детей, двое умерли

во младенчестве. По воспоминаниям Панаевой, Белинский любил играть в преферанс, часто проигрывал. Менял кухарок: ему попадались то пьяницы, то крикуньи-грубиянки, – хорошие были не по карману.

Не по карману Белинскому было многое.

«Белинский, слушая толки о поездках за границу, сказал:

– Счастливцы, а нашему брату, батраку, разве во сне придется видеть Европу! А что, господа, если какого-нибудь иностранного литератора переселить в мою шкуру хотя бы на месяц – интересно было бы посмотреть, что бы он написал? Уж на что я привык под обухом писать, а и то иногда перо выпадает из рук от мучительного недоумения: как затемнить свою мысль, чтобы она избегла инквизиционной пытки цензора... Злость берет, делаешь вопрос самому себе: и какой же ты писатель, что не смеешь ясно излагать свою мысль на бумаге? Лучше иди рубить дрова, таскай кули на пристани...» (А. Панаева. «Воспоминания»).

Летом 1847 года Белинский попал, в первый и последний раз, за границу: друзья собрали деньги и послали его лечиться (лечился в Зальцбрунне и в Пасси под Парижем). Но, как пишет Тургенев: «Слишком скорое возвращение в Петербург всё уничтожило. Странное дело! Он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад, в Россию. Уж очень он был русский человек, и вне России замирал, как рыба на воздухе».

В письме к Василию Боткину от 8 марта 1847 года Белинский писал: «Я – натура русская. Скажу тебе яснее: je suis un Russe et je suis fier de irktre («я – русский и горжусь этим»). Не хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность пока – эмбрион, но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость! Она боится их, не терпит их больше всего, – и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того чтобы закабалиться в какую-нибудь дрянную односторонность».

Прямо расцвет русофильства!.. И ксенофобии у Белинского хватало, и антисемитизма («жид – не человек»). «Что за тупой, за пошлый народ немцы... – жаловался он Боткину. – У них в жилах течет не кровь, а густой осадок скверного напитка, известного под именем пива, которое они лупят и наяривают без меры». О братьях-славянах из Малороссии: «Ох эти мне хохлы! Ведь бараны – а либеральничают во имя галушек и варенников с салом!»

Неистовый Виссарион! Безудержный. И никакой политкорректности. Недаром российская власть за ним давно приглядывала. Комендант Петропавловской крепости, встречаясь с Белинским на Невском проспекте, говорил ему как бы шутя:

«Когда же к нам? У меня совсем готов тепленький каземат, так для вас его и берегу».

Белинский чувствовал реальную угрозу над собой, поэтому во время перебрал свой архив и много бумаг уничтожил.

Виссарион Белинский умер 26 мая (7 июня) 1848 года в возрасте 37 лет. В Петербурге. Умирал как все чахоточные – медленно, мучительно. Перед смертью Белинского семья жила в долг – денег не было. Хоронили его на средства друзей. Имя Белинского было запрещено упоминать в печати. «Он умер кстати и вовремя! – восклицал Тургенев. – Какие беды ожидали его, если б он остался жив!..» Глава полицейского ведомства Леонтий Дубельт с яростью сожалел, что Белинский умер, прибавляя: «Мы бы его сгноили в крепости».

Не удалось... После смерти мужа Мария Белинская переехала в Грецию, где их дочь Ольга вышла замуж за Георгия Бенсиса... Третье, четвертое, пятое поколение семьи Белинского проживают в Греции и русского языка не знают. А знают ли греки с русскими корнями, что их предок, по словам Некрасова:

В те дни, как всё коснело на Руси,
Дремля и раболепствуя позорно,
Твой ум кипел – и новые стези
Прокладывал, работая упорно.

Незадолго до смерти Белинский любил ходить смотреть на строительство первой в России железной дороги – «из Петербурга в Москву». На вопрос, зачем он это делает, ответил: «Не так грустно умирать, видя, что вот и мы приобщаемся к цивилизации, и, может быть, вся наша жизнь теперь будет другой».

В современной России железных дорог настроено немало, но стала ли от этого Россия лучше и цивилизованней? Может быть, все это лишь «Литературные мечтания»?.. и все же остается мечтать и надеяться. К этому призывал нас отец русской интеллигенции – Виссарион Белинский. И опять же, возможно, что когда-нибудь «Белинского и Гоголя с базара понесут».

Простим Виссариону Григорьевичу все его промахи и заблуждения. Главное, на что указывал Юлий Айхенвальд, он новую книгу, литературную новинку поднял на степень события. После Белинского уже нельзя не интересоваться литературой. Через книги, ощупью, наивно, торопливо пробирался Неистовый Виссарион к истине.

БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ

Александр Герцен

Кто виноват? Этот простенький вопрос звучит уже третье столетье и не находит ответа. Его автор – литератор, мыслитель и революционер – Александр Герцен.

Россия – страна, где все время подвергают ревизии своих героев, то ставя их на пьедестал, то низвергая с оного. Герцен – счастливое исключение. Его полюбили давно и почитают до сих пор. Он в некотором смысле мифологическая фигура. Его антиправительственный пафос, нападки на западную цивилизацию и воспевание русского социализма постоянно в цене. Ленин несколько раз в своих сочинениях упомянул Герцена, и это было достаточно для установления культа Герцена как великого русского революционного демократа, хотя он нещадно поносил и Маркса, и марксистов, и создал свою особую теорию социализма. Но вождь отметил, – и многочисленные памятники по стране, улицы, музеи, школьная программа, академическое собрание, пятитомная летопись жизни и творчества, книги литературного наследства. Герцена модно цитировать. Короче, он неизменно в «лучистом ореоле», как выразился один критик.

Здесь уместно вспомнить и стихотворение Владимира Маяковского «Дом Герцена» (1928):

Расклокотался в колокол Герцен,
чуть языком не отбил бочок...
И дозвонился!
Скрипнули дверцы,
все повалили в его кабачок...

...Герцен, Герцен,
загробным вечером,
скажите, пожалуйста,
вам не снится ли,

как вас удивительно увековечили
пивом,
фокстротом,
венским шницелем?..

А далее поэт цитирует надпись в мужской уборной: «Хрен цена вашему дому Герцена». Мещанскому идеалу – да, но не самому.

Герцен яростно выступал против мещанской западной цивилизации или, как бы мы сказали сегодня, против общества потребления. Он писал о Западе: «Постоянное снижение личностей, вкуса, тона, пустота интересов, отсутствие энергии... всё мельчает, становится дюжинное, рядное, спёртое, пожалуй, «добропорядочнее», но пошлее... вырабатываются общие, стадные типы... Остановитесь, одумайтесь! Знаете ли, куда вы идете? Посмотрите – душа убывает...»

Как актуально звучат сегодня эти герценские слова, но применительно уже не к Западу, а к нам, к новой капиталистической России.

Можно вспомнить статью Сергея Булгакова о Герцене: «На челе блестящей европейской цивилизации Герцен прочел выжженную надпись: мещанство. Герцен избрал как бы художественной специальностью обличение европейского мещанства... Мещанство Герцен считал свойством не одного только класса предпринимателей, но болезнью всего европейского общества, состоящей в оскудении идеалов, в исключительном подчинении не изменным, эгоистическим

интересам...»

Что мы видим с вами сегодня. Нет личности, нет человека. На первом плане – товар, вещь, дело, то есть деньги и жажда развлечений.

Герцен покинул Россию в 35 лет. Прожил на Западе 22 года, но так и не прижился там, оставаясь душой и мыслями в России, которую любил и вместе с тем резко критиковал, разумеется, не саму Россию, а режим самовластья:

«Россия могла быть спасена путем развития общинных учреждений или установления самодержавной власти одного лица. События сложились в пользу самодержавия. Россия была спасена; она стала сильной, великой – но какой ценой? Это самая несчастная, самая порабощенная из стран земного шара; Москва спасла Россию, задушив всё, что было свободного в русской жизни...» («О развитии революционных идей в России», 1850).

Ну, а теперь самая малость из биографии Александра Ивановича Герцена. Он родился 25 марта (6 апреля)1812 года в Москве. Отец Иван Яковлев не принял сына, как и не принял его мать Луизу Гааг, немку из Штутгарта, так на ней и не женившись. Своего родного сына называл всего лишь «воспитанником» и дал ему другую фамилию – Герцен (от немецкого слова Herz – сердце). Вот вам первая драма Герцена. А сколько их было в его жизни, не счесть! Вторая драма юных лет: казнь Пестеля и других декабристов. «Сон моей души был разбужен», – отметил Герцен. Он плакал и обещал отомстить за их гибель.

В 19 лет последовала знаменитая клятва на Воробьевых горах. Герцен и его друг Огарев наблюдали, как гас день и поверили будущему счастливому восходу солнца над Россией. Романтики с Воробьевых гор! Задуманный Герценом и Огаревым собственный энциклопедический журнал вызвал подозрение у властей. И, как следствие, арест и ссылка. «Правительство постаралось закрепить нас в революционных тенденциях», – впоследствии напишет Герцен.

Москва и Московский университет позади, впереди ссылка в Пермь и Вятку, сидение в канцелярии вятского губернатора Тюфяева, наблюдение за безобразиями чиновничества провинциальной России – все это вызвало ненависть к самодержавному строю. «Мое одиночество в кругу зверей вредно, – писал Герцен Огареву. – Моя натура по превосходству социабельная. Я назначен собственно для трибуны форума, как рабы для воды».

Послевоенные годы жизни в России прошли в Москве, в доме № 27 по Сивцеву Вражку. Здесь Герцен пишет свои литературные произведения «Сорока-воровка», «Доктор Крупов», роман-памфлет

«Кто виноват?» Роман был принят восторженно. Критик Писарев увидел в образе Бельтова «мучительное пробуждение русского самосознания». А Белинский о романе «Кто виноват?» писал: «Какая во всем поразительная верность действительности, какая глубокая мысль, какое единство действия, как всё соразмерно – ничего лишнего, ничего недосказанного; какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумия, души, чувства!»

И здесь же на Сивцевом Вражке собирается кружок и обсуждаются все передовые идеи. По признанию собиравшихся, от Герцена веяло благородным умом и бесконечной сердечной добротой.

19 января 1847 года «смелый вольнодумец, весьма опасный для общества» решил поехать на Запад. Как вспоминал Герцен: «Возок двинулся; я смотрел назад, шлагбаум опустился, ветер мел снег из России на дорогу, поднимая как-то вкось хвост и гриву казацкой лошади... Вот столб и на нем обсыпанный снегом одноглазый и худой орел с растопыренными крыльями. Прощайте!..»

Спустя два года Герцен пишет друзьям: «Разумеется, мы, вероятно, к лету у вас на Девичьем Поле». Но не вышло Девичье Поле. Вышел императорский указ: за вольнолюбивые писания Герцена на Западе лишить его состояния и запретить въезд на родину.

В разговоре с директором Петербургской публичной библиотеки бароном Корфом Николай I заявил: «Теперь за границею завелись опять два мошенника, которые пишут и интригуют против нас: какой-то Сазонов и известный Герцен, который... писывал и здесь под псевдонимом Искандера; этот уж был раз у нас в руках и сидел...»

В вынужденной эмиграции Герцен с новой силой продолжил борьбу за свободу России. «Да, я люблю Россию, – говорил он. – Но моя любовь – не животное чувство привычки; это не тот природный инстинкт, который превратили в добродетель патриотизма; я люблю Россию потому, что я ее знаю, сознательно, разумно. Есть также многое в России, что я безмерно ненавижу, всей силой первой ненависти. Я не скрываю ни того, ни другого...»

В Европе Герцен принялся за устройство Вольной русской типографии. 22 июня 1853 года она заработала, и в первых ее материалах ставился острейший для России вопрос о крепостном праве. Поучительно, что в течение 17 лет типографией управляли всего два человека, а сколько она выдала на-гора! Восемь книг «Полярной звезды», 245 номеров «Колокола», «Исторические сборники», «Голоса из России», запрещенные на родине

воспоминания и труды декабристов, Радищева, Дашковой, Щербатова, Лопухина, секретные записки Екатерины II, сборники потаенных стихотворений, документы о расколе, а также многое другое.

Нелишне напомнить даты: 20 августа 1855 года вышел первый номер «Полярной звезды», на обложке которой были помещены портреты пяти повешенных – Пестеля, Рылеева, Каховского, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина. 1 июля 1857 года впервые зазвучал «Колокол»: у него был эпиграф: «Зову живых». «Мы крик русского народа, убитого полицией, засекаемого помещиками...»

В июне 1858 Герцен писал в «Колоколе»: «Александр II не оправдал надежд, которые Россия имела при его воцарении... он повернул: слева да направо... Его мчат дворцовые кучера, пользуясь тем, что он дороги не знает. И наш «Колокол» напрасно звонит ему, что он сбился с дороги».

Однако в 1861 году, когда было отменено крепостное право, Герцен опубликовал в «Колоколе» статью «Манифест»: «Первый шаг сделан!.. Александр II сделал много, очень много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания, против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их! Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут... Мы приветствуем его именем освободителя!»

Многие, и в частности советские, историки упрекали Герцена за обращение к царю и похвалы в его адрес. Но он считал, что необходимо всегда оставаться объективным и отличать добро от зла. «Я в императоре Александре вижу сильного представителя противоположного нам начала, враждебного нам стана, я уважаю в нем нашу борьбу».

В российских верхах Герцена называли не иначе, как «лондонским королем» и шутили: «Кто у нас царь – Александр Романов или Александр Герцен?»

Десять лет звучал «Колокол», и десять лет Герцен боролся против «России подлой» за «Россию новую». При этом Герцен был категорически не согласен со своим «старым товарищем» Михаилом Бакуниным, который призывал к немедленному социальному перевороту и требовал не «учить» народ», а «бунтовать» его, а также проповедовал идеи уничтожения государства. Герцен отвечал Бакунину, что насилием и террором можно только расчищать место для будущего, но не создавать новое общество. Для этого нужны созидательные идеи, развитое народное сознание: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри».

В Лондоне Герцен начал писать «Былое и думы», – по оценкам авторитетов, вершину русской мемуарной прозы. Сам автор расценивал свое детище скромно: «не историческая монография, а отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге». Виктор Гюго в письме к Герцену писал: «Ваши воспоминания – это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели. Вы умеете хорошо мыслить и хорошо страдать – два высочайших дара, какими только может быть наделена душа человека».

А вот мнение позднее, принадлежащее Натану Эйдельману: «Герцен был, наверное, самым счастливым русским писателем прошлого века (позапрошлого. – *Ю.Б.*), так как в течение многих лет писал и издавал всё, что хотел, в полную меру таланта и знания, не ведая иной цензуры, кроме собственного разумения, и не имея недостатка ни в средствах, ни в хороших читателях. Но за такую исключительность заплатил сполна: два ареста, две ссылки, смерть и гибель многих близких, разрыв со старыми друзьями, невозможность «пройтиться» (как он говаривал) по любимой Москве и по московскому снегу...»

Скитальческая жизнь, семейные драмы и тяжелейший диабет сломили здоровье Герцена. Он заметно похудел, постарел, цвет лица принял желтоватый оттенок. О смерти он думал без страха: «Я всё принимаю как фатум – и желал бы спокойно провести немного времени, записать еще кое-что людям на память и потухнуть без особой боли» (из письма Огареву, 31 июля 1869). В начале 1870 года Александр Иванович простудился и 9 (21) января скончался на 58-м году жизни. Его похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. Член учредительного собрания Франции Малардье возложил на могилу Герцена цветы со словами «Вольтеру XIX столетия». Позднее прах Герцена был перезахоронен в семейной могиле в Ницце.

«Политическая мысль Герцена, – писал Осип Мандельштам, – всегда будет звучать, как бетховенская соната». Приведем еще одну «ноту»: «У народа, лишенного общественной свободы, литература – единственная трибуна, с высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей совести...»

Что касается личной жизни Герцена, то это особая тема, очень сложная и чрезвычайно запутанная, о которой он рассказал сам в «Былом и думах». «Для нас, – написал в одном из писем Герцен о себе и Огареве, – семейная жизнь была на втором плане, на первом – наша деятельность... пропаганда наша удалась, а семейная жизнь пострадала». Достаточно лишь вспомнить роман первой жены Герцена Натальи Захарьиной с немецким поэтом Георгом Гервегом. Была ли виновата Наталья Александровна? Да.

Но, с другой стороны, сам Александр Иванович проповедовал «высокий» эгоизм против официальной и религиозно-аскетической морали, выдвигая на первый план необузданность страстей и жажду наслаждений, – теория и ударила по практике. Любопытно, что в «Былом и думах» этот драматический треугольник представлен как борьба двух исторических формаций – молодой России и буржуазного Запада. А на самом деле это лишь банальная история семейных «бедствий», как определил Герцен. С другой женой Натальей Тучковой-Огаревой были другие «бедствия».

После смерти Герцена в Париже остались две дочери и сын. У сына было 10 детей. После революционных потрясений потомки Герцена покинули Россию и порвали с ней всякую связь. Есть ныне американская ветвь русского классика. Помимо Штатов, поколение Герценов живут в Германии, Франции, Канаде, в Южной Америке и в Австралии. Всего потомков Герцена в мире около 250 человек. В России их нет. Последняя правнучка Александра Ивановича, жившая в Москве, умерла 20 лет назад.

В 1996 году на 20-летний юбилей музея Герцена пригласили его зарубежных потомков. На встрече праправнучка из Франции Симона Рист отметила, что Герцен был страстным поклонником свободы и потребность в защите свободы продолжает быть актуальной в мире. Праправнучка из Швейцарии Наташа Юзер заявила, что всем народам необходим свой «Колокол». А праправнук Франклэн Рист (Франция) добавил: «Мне всегда хочется кого-нибудь разбудить».

Осенью 2007 года в Московском молодежном театре состоялась премьера английского драматурга Тома Стоппарда «Берег Утопии». Один из персонажей пьесы – Александр Герцен. Актер, играющий роль Герцена, Илья Исаев в одном из интервью с горечью сказал: «У меня возникло чувство стыда, потому что англичанин Стоппард проявляет к нашей истории больший интерес, чем мы сами». И еще: «За державу обидно».

«Берег Утопии» – это продолжение темы Герцена, и эта береговая линия нескончаема. И многое еще зависит от угла зрения: как на нее смотреть, на эту линию России. Можно трагически со взрыдами и плачем. Можно драматически, с заламыванием рук и в тихом стенании. Можно прозаически: да, вот она какая, и что же с ней делать… Еще один подход аналитический: все утопить в цифрах и статистических данных. А можно посмотреть на историю России сатирическим глазом. С усмешкой. С иронией. С сарказмом, что, кстати, сделал в не таком уже далеком от нас 1972 году Наум Коржавин, написав стихотворение «Памяти Герцена» – балладу об историческом

недосыпе, опираясь на работу Ленина.

Стихотворение это ложится абсолютно в тему данной книги и герои в ней одни и те же. Итак:

Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.

А тот со сна, имея нервы слабые,
Стал к топору Россию призывать, —
Чем потревожил крепкий сон Желябова,
А тот Перовской не дал всласть поспать.

И захотелось тут же с кем-то драться им,
Идти в народ и не страшиться дыб.
Так началась в России конспирация:
Большое дело – долгий недосып.

Был царь убит, но мир не зажил заново,
Желябов пал, уснул несладким сном.
Но перед этим разбудил Плеханова,
Чтоб тот пошел совсем другим путем.

Всё обойтись могло с теченьем времени.
В порядок мог втянуться русский быт...
Какая сука разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребенок спит?..

. . . . . .

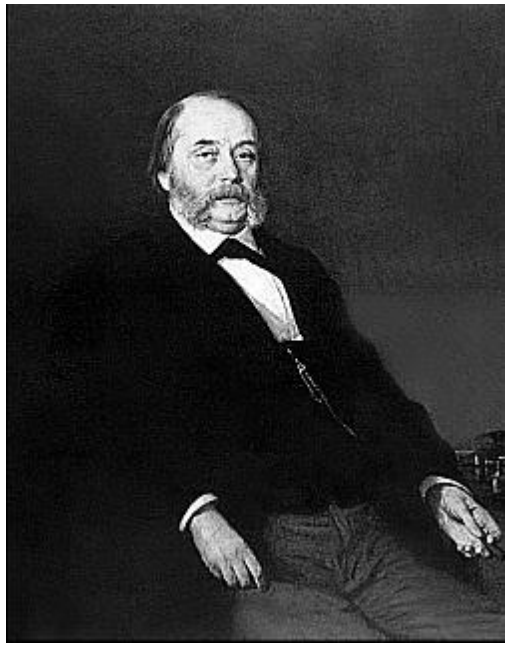
... Он сразу всем устроил революцию,
Чтоб ни один от кары не ушел.

И с песней шли к Голгофе под знаменами
Отцы за ним, – как в сладкое житье...
Пусть нам простятся морды полусонные,
Мы дети тех, кто недоспал свое.

Мы спать хотим... И никуда не деться нам
От жажды сна и жажды всех судить...
Ах, декабристы!.. Не будите Герцена!..
Нельзя в России никого будить.

Для чего нужна история? Чтобы понять, что прошлое и нынешнее взаимосвязано. Что все мы звенья одной цепочки. Что в каждом из нас еще копошится декабрист. Что Герцен, Чернышевский и далее по списку – все они наши далекие родственники, и от этого родства нам никуда не деться. А еще в наших родственниках находятся Бенкендорф со своей компанией сатрапов, до Ежова и Берия. И поэтому все мы одновременно герои, палачи, жертвы и обычные обыватели. Всё зависит от пропорций...

НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ГОНЧАРОВА



Иван Гончаров

Как известно, Гончаров – классик русской литературы, А его литературный герой Обломов – это истинно русский национальный тип. Он был, есть и, наверняка, еще будет долго жить. «Быть или не быть?» Обломов приподнялся было с кресла, но не попал сразу ногой в туфлю и сел опять».

Школьники помнят, а взрослые, возможно, подзабыли фигуру Гончарова, поэтому коротко о биографии. Иван Александрович Гончаров родился 6 (18) июня 1812 года в Симбирске в состоятельной семье. Первоначальное образование получил дома, затем в частном пансионе для местных дворян. В 10-летнем возрасте был определен в Московское коммерческое училище. Но, не унаследовав от родственников склонности к купеческому делу, Гончаров всё свободное время отдавал чтению. Увлекся поэзией Пушкина: «Какая школа изящества, вкуса для впечатлительной натуры!» – вспоминал он спустя годы.

В августе 1831 года Гончаров поступил на словесный факультет Московского университета. Революционных настроений избегал и относился к университету исключительно как к храму науки. Затем служба в департаменте внешней торговли министерства финансов. Отказавшись от своей доли

наследства в пользу брата Николая, Гончаров жил на свой собственный заработок. «Хотелось мне всегда и призван я был писать; между тем должен был служить... всегда делал то, чего не умел или не хотел делать», – писал он в одном из писем.

Первые литературные сочинения Гончарова прошли незамеченными, а потом неожиданный успех. В марте 1846 года Гончаров прочитал Белинскому только что написанный роман «Обыкновенная истории», и тот «был в восторге от нового таланта».

В основе «Обыкновенной истории» – конфликт, столкновение между «романтиком жизни» и «положительным человеком». Трезвый практицизм старшего Адуева против восторженного идеализма младшего Адуева. Дядя Адуев племяннику: «Я не понимаю, почему пренебрегать скромным предназначением? И оно имеет свою поэзию...» Племянник быстро расстался с романтизмом, отверг скромность и возжелал высокого положения в обществе, комфорта, роскоши, денег. И в конце концов младший Адуев явно преуспел в жизни. Буржуазный прагматизм победил беспомощный романтизм.

После «Обыкновенной истории» Гончаров берется за «Обломова», но неожиданно для всех на три года отправляется в кругосветное путешествие на фрегате «Паллада» к качестве секретаря вице-адмирала Путятина. В результате плавания появился уникальный труд «Фрегат “Паллада”». После путешествия Гончаров «осел на берег» и приступил к работе в Петербургском цензурном комитете, выезжая почти каждое лето за границу, «на воды». В Мариенбаде в 1857 году он завершил свой роман «Обломов». На писателя, по его воспоминаниям, нашло вдохновение: «Подле меня кто-то невидимо сидел и говорил мне, что писать».

В статье «Что такое обломовщина?» Добролюбов отмечал: «В типе Обломова и во всей этой обломовщине мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта: мы находим в нем произведение русской жизни, знамение времени».

К «Обломову» мы еще вернемся. В 1869 году появился роман «Обрыв», вызвав весьма разноречивые отклики. Многим пришелся не по нраву образ нигилиста Марка Волохова («грязный Марк и незначительная Вера окружаются каким-то поэтическим ореолом»). «Талантливая бесталанность, – оценил «Обрыв» критик Шелгунов. – В «Обрыве» г. Гончаров похоронил себя...» Такое было обидно читать Ивану Александровичу, ибо, по его признанию: «Этот роман была моя жизнь: я вложил в него часть самого себя, близких мне лиц, родину, Волгу, родные места...»

В последние десятилетия Гончаров редко выступает в печати

и считает себя устаревшим и забытым писателем. Наибольший интерес вызвал его «критический этюд» на постановку «Горе от ума» – «Мильон терзаний» да очерк «Май месяц в Петербурге». Жизнь шла вперед, и Гончаров многое «перестал понимать».

Жил Гончаров в Москве, в доме на Моховой, тихо. Тихо был отмечен и его 50-летний юбилей литературной деятельности. 2 февраля 1883 года делегация женщин вручила старому писателю благодарственный адрес, где говорилось, что «рисуя» своих героев, он «сам жил их жизнью, плакал их слезами!» В своей последней воле Гончаров просил не печатать его личной переписки и судить о нем только по его литературным произведениям. Сам сжег большую часть собственного архива в камине. Заболел воспалением легких и скончался 15 (27) сентября 1891 года, в возрасте 79 лет.

Вот вкратце и вся биография – обыкновенная и необыкновенная – Ивана Александровича Гончарова. По свидетельству современников, был он человеком замкнутым, легкоранимым, крайне неуверенным в себе. Ни разу не женился, детей не заимел и оставался вечным холостяком. Хотя любовные романы у него были: «Я пережил несколько таких драм и выходил из них, правда, «небритый, бледный и худой..» Корчась в судорогах страсти, я не мог в то же время не заметить, как всё это вместе взятое глупо и комично». Гончарову всегда удавалось вырваться, как он говорил, «с этого острова Калипсо».

Из письма к Елизавете Толстой: «...остаюсь один я со своей апатией, или хандрой, с болью в печени, без «дара слова»...»

Бытует мнение, что Обломова писатель списывал с самого себя, – это вызывало протест со стороны Гончарова. О себе он говорил: «Я с детства, как нервозный человек, не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была... умеренность, кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей. Это впоследствии назвали во мне обломовщиной...» Знаменитый юрист и мемуарист Анатолий Кони вспоминал: «Главных свойств Обломова – задумчивой лени и ленивого безделья – в Иване Александровиче не было и следа. Весь зрелый период своей жизни он был большим тружеником».

В противоположность Гончарову Илья Ильич Обломов не был не только большим тружеником, но и вообще никаким тружеником. Он – чистый созерцатель жизни, а его созерцание поддерживают «триста Захаров». Трудиться? Ни боже мой. «...он бы желал, чтоб это сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой...» И в итоге: «Он терялся в приливе житейских забот и всё лежал». Леность как национальная черта характера. Леность, нежелание изменить сложившийся порядок и махровый

консерватизм. В 1922 году Ленин возмущенно писал: «Россия проделала три революции, а всё же Обломовы остались...»

Да, куда они денутся? Коли это менталитет определенной части жителей России. Илья Обломов и Андрей Штольц – вечные антагонисты и противники, как Запад и Восток. Штольц – это ведь «немец», «варяг» – чужой. Обломов ведет созерцательную «святую» жизнь, а Штольц вечно что-то делает, суетится, предпринимает. А зачем? – вопрошает его Обломов. Обломов, как его отец и дед, считал грехом «стараться приобретать больше». Богатство, с точки зрения Обломова, – всегда нечистое дело, грех. Штольц этого никак не может понять: «Труд – образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере, моей». Однако его рациональность никак не может перебить иррациональность Обломова.

Илья Ильич многим нашим соотечественникам очень мил, их прельщает «свет его душевной чистоты». Как написал один литературовед: «В нем дорого и прекрасно то, что он не делец, что он – созерцатель и, кроткий голубь, не мог ужиться в такой среде, где необходимо дело... Покой Ильи Ильича – это не только повадка сказочного запечного дурака, не только бесстрастие и апатия античного любомудра, не только самодисциплина отшельника, но и нирванческая застылость теплого божка с едва пульсирующей сонной артерией...»

Эко, куда тянет наших патриотов-почвенников! Для них Обломов и божок, и кроткий голубь!..

В 1991 году в Германии, на Баварских землях, в Бамберге прошла первая международная Гончаровская конференция. Следует отметить, что Гончаров – наименее известный русский писатель на Западе. И вот ему уделили особое внимание, ему и его герою Обломову. Любопытно, что там слово «обломовец» (в написании – «обломовист») фигурирует в качестве медицинского термина и вошло в «Словарь психиатрии и медицинской психологии». Обломовщина – это избалованность и неврозы, душевная болезнь как результат воспитания, где основное – накормить (в «Обрыве» красноречиво удивление: «Сыты! Ужинали без горячего, без пирожного! Я сейчас пришлю варенья...»).

На конференции прозвучал вывод: Обломов отвергает мир как волю и принимает его как объект искусства. Короче, отказ от постоянной борьбы. Все это аукнулось уже в постсоветские времена, когда развалился Советский Союз и рухнула система социального иждивенчества. Многие из наших сограждан оказались не готовыми к новой жизни, к борьбе, к конкуренции. Согласно исследованиям социологов, среди причин сползания к бедности в современной России названы: лень,

неприспособленность к жизни, нежелание менять привычный образ жизни. Другими словами, не все хотят расстаться с милым и теплым Обломовым и влезать в шкуру практичного и сухого Штольца.

Сам Гончаров понимал, что «мир ищет обновления во всем, начиная с религии и кончая полицией, – писал он А.Ф. Кони 19 августа 1880 года, – …чтоб идти дальше и выше, и выше…» Гончаров писал о необходимости «освежить» жизнь и «сделать невозможным возврат к прежнему злу».

XXI век на дворе. Пусть Обломов останется лишь в книге, на сцене и на экране. А нам всем надо засучить рукава и работать. «Тщательней, ребята, тщательней!..» Будем работать – будут результаты. Иначе всем нам труба, не нефтяная и газовая, а совсем другая. Об этом предостерегал нас Иван Гончаров.

ГЕРОЙ КАКОГО ВРЕМЕНИ? ПРОШЕДШЕГО ИЛИ НАШЕГО?

Михаил Лермонтов

15(27) июля 1841 года около 7 часов вечера, на дуэли у подножия Машука вблизи Пятигорска был убит Михаил Лермонтов. Ему шел 27-й год.

Гибель Пушкина 29 января на дуэли у Черной речки – национальная дата. Еще бы: Пушкин – это наше всё! А Лермонтов? Лучше всех сказал Мережковский: «Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило». А Бальмонт добавил: «Лермонтов – звездная душа, родственная с тучами и бурями, тоскующий поэт, которому грезились воздушные океаны и с которым говорили демоны и ангелы».

Итак, дневное и ночное светило. И оба померкли от пули. Пушкин в 37 лет, а Лермонтов... «Представить себе нельзя, до какой высоты этот человек поднялся бы, если бы не погиб в 26 лет» (Бунин). И, как написал Айхенвальд в своих «Силуэтах», Лермонтов «шлет из своей трагической могилы поклон родному краю, – и родной край любовью отвечает на него своему певцу и сыну». Насчет любовного ответа ныне большие сомнения: в героях и гениях ходят отнюдь не Печорин и не Лермонтов. Неспроста Михаил Юрьевич писал: «Гляжу на будущность с боязнью...»

И скушно и грустно! – и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...

Михаил Лермонтов был странным человеком, весьма рефлектирующим, и неадекватно воспринимал жизнь и окружающих его людей. Его разъедал скепсис.

А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг,
Такая пустая и глупая шутка!

Не у всех, однако, такой пессимистический взгляд. Маяковский, к примеру, любил жизнь: «И жизнь хороша,/ и жить хорошо/ А в нашей буче,/ боевой, кипучей,/ и того лучше». Правда, Маяковский не погиб на дуэли, а сам выстрелил себе в сердце. Лермонтов и Маяковский – это как два разных полюса, Северный и Южный. Лермонтов презрительно бросил:

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ...

А Маяковский обожал власть и ее вождей, разговаривал с фотографией Ленина, дружил с органами. Но оставим в стороне Владимира Владимировича. Сосредоточимся на Михаиле Юрьевиче. Любопытно высказалась о нем Анна Ахматова: «Он жил очень недолго. Его никто не заметил. Никто его жизни не увидал, никто не понял – такой он был или другой. А потом кинулись писать воспоминания. Людям этим было уже под 60. Они ничего не помнили и списывали друг у друга, поэтому заниматься биографией Лермонтова очень скучно...» Поэтому и не будем касаться участников дуэли, друзей и женщин поэта. Обратимся лучше к удивительно проникновенным его стихам.

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит...

Лермонтова одолевала какая-то неведомая космическая тоска. Ему было неуютно на земле. В 1832 году он написал: «Как в

ночь звезды падучей пламень/ не нужен в мире я...» «Ты дал мне жизнь, но счастья не дал...» – в «Эпитафии». «Измученный тоскою и недугом и угасая в полном цвете лет...» И, наконец:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я – или бог – или никто!

«Что же? Умереть, так умереть. Потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я – как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова... Прощайте!..» («Княжна Мэри»). И то же мироощущение в «Демоне»

Моя печаль бессменно тут,
И ей конца, как мне, не будет...

Конечно, лермонтовская поэзия (а, может, в какой-то степени проза) многих возмущала. «Скептик, фаталист, байронист, протестант, игравший жизнью, как игрушкой...» – писал о поэте Короленко. А Василий Розанов сравнивал: «Пушкин – лад... гармония, согласие, счастье», Лермонтов – «разлад... отвращение»; он вечно уходит и ему «и в раю было бы скверно». Владимир Соловьев отмечал «страшную напряженность и сосредоточенность мысли на себе на своем Я, страшную силу личного чувства» у Лермонтова.

Интересно заглянуть в частотный словарь и сравнить частоту употребления отдельных ключевых слов у Лермонтова и Пушкина. Слово «вино» у Пушкина употреблено 154 раза, у Лермонтова – лишь 60, «муза» – соответственно 148:14, «праздность» – 17:1. У Лермонтова очень часто мелькают «один», «нет», «душа»... В стихотворении «К Лермонтову» Константин Бальмонт писал:

И вижу я, как ты в последний раз
Беседовал с ничтожными сердцами,
И жестким блеском этих темных глаз
Ты говорил: «Нет, я уже не с вами!»
Ты говорил: «Как душно мне средь вас!»

Кто-то, читая это краткое представление поэта, возмутится: а нельзя ли было подобрать что-то из Лермонтова более светлое, позитивное, типа «Бородино» или «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (прозу оставляем в покое), но и там свои ужастики и про визжащую картечь и «поцелуи окаянные». Нет, всё у Лермонтова в разладе с социалистическим реализмом. Только Лермонтов и мог сказать: «Люблю отчизну я, но странною любовью!..»

И еще раз о параллели двух светил. В статье «Ремесло поэта» Валерий Брюсов отмечал: «Лермонтов был поэтом для самого себя. В этом существенное отличие лермонтовской поэзии от пушкинской. Пушкин любил повторять, что пишет для себя, а печатает для денег, но его стихи всегда обращены к читателю; он всегда что-то хочет передать другому. Лермонтову было важно только уяснить самому себе свое чувство. Пушкин работал над стихами, делал их... У Лермонтова стихи выходили из головы уже законченными... Пушкин желал, чтобы слух о нем прошел по всей Руси великой. Лермонтов задумывался над тем, не лучше ли оставить свои мечты навсегда в глубине души, как драгоценность, которой люди недостойны... (к тому же –) у языка нет сил, чтобы выразить сокровенные думы – «стихом размеренным и словом ледяным не передашь ты их значенья!»

«Это было странное, загадочное существо...» – размышляла Ахматова о Лермонтове. «Он не увидел царскосельские парки с их растреллями, камеронами и лжеготикой, зато заметил, как «сквозь туман кремнистый путь блестит». Он оставил без внимания знаменитые петергофские фонтаны, чтобы, глядя на Маркизову лужу, задумчиво произнести: «Белеет парус одинокий...»

Что тут добавить? Классик есть классик. И по сей день школьники пишут сочинения на тему «Герой нашего времени». Кто действительно герой? Печорин сегодня непонятен и не нужен, что он будет делать, скажем, на фондовой бирже? В героях ходят другие, Билл Гейтс, например. Или... хотел назвать, но лучше прикусить язычок. Героями России были и остаются два классика русской литературы, два светила – Пушкин и Лермонтов, оно, конечно, не всё наше (всё – конечно,

преувеличение), а уж частичное – абсолютно точно. И повторим вслед за Георгием Ивановым:

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня!
И Лермонтов выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

Михаил Юрьевич с нами. У него можно найти и практические советы. Особенно ценные в нынешнее лихолетье:

У Бога счастья не прошу
И молча зло переношу...

Ну, а нам, журналистам и писателям, оглянувшись вокруг, в растерянности, можно задать риторический вопрос из лермонтовского стихотворения «Журналист, читатель и писатель» (1840): «Скажи ж мне, о чем писать?..» И нужно ли вообще сегодня «глаголом жечь сердца людей»? Но это уже Пушкин. «Пророк».

Как всё переплелось: Пушкин – Лермонтов. Наши великие классики. Один светлый, гармоничный. Другой печальный и пессимистический. И как писал про Лермонтова Игорь Северянин:

Он в свадьбе видит похороны. В свете
Находит тьму. Резвящиеся дети
Убийцами мерещатся ему.

Постигший ужас предопределенья
Цветущее он проклинает тленье,
Не разрешив безумствовать уму.

И эти лермонтовские тучи – «вечно-холодные, вечно-свободные»...

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА – И ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ

Алексей Толстой

Алексей Константинович Толстой родился 24 августа (5 сентября) 1817 года в Петербурге, а окончил Московский университет. Поэт, писатель, драматург. Увы, он постоянно находился в тени своего великого однофамильца – Льва Николаевича Толстого. И его часто путают с другим, уже советским однофамильцем – Алексеем Николаевичем Толстым. Но Алексей Константинович Толстой – фигура особая. Сегодня на каждом шагу можно цитировать из его «Истории Государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (1868):

И вот земля свободна
От всяких зол и бед
И очень хлебородна,
И всё ж порядка нет.

Замените «хлебородна» на «нефтеродна» – и получите тот же результат: вечный российский беспорядок.

Алексей Константинович Толстой жил в бурное время (боже, когда в России бывает спокойное время!) и отказывался причислять себя к какому-либо политическому или литературному направлению – «двух станов не боец, но только гость случайный...» – говорил он о себе. Да, не боец. Он был верным рыцарем одной женщины, ее преданным пажом. А она для него – классической музой, вдохновительницей всего его творчества. Поэтому не будем вести биографический и литературоведческий рассказ о писателе, а коснемся только истории отношений ЕГО и ЕЕ.

И как писал Алексей Константинович:

Сидел я под кленом и думал,
И думал о прежних годах...

Встреча на балу

Кто не знает романса Чайковского «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты...»? Знают все.

«Случайно» – вот ключевое слово. Живут на свете двое, вдалеке друг от друга. Живут разной жизнью. И вот их соединяет случай. Как писал Анатоль Франс: «Случай – вообще, Бог!» Вот такой случайной встречей на петербургском балу было знакомство графа Алексея Константиновича Толстого в январе 1851 года с Софьей Андреевной Миллер.

Он – знатный вельможа, аристократ, видный чиновник, церемониймейстер императорского двора.

Она – рядовая дворянка. Жена какого-то ротмистра, и не более того.

Он – статный, красивый, сильный мужчина, к тому же богатый и талантливый, известный поэт и писатель.

Она – не блещущая красотой, но блещущая умом женщина, поклонница и знаток литературы и музыки. Некрасивая (чрезмерно высокий лоб, тяжелый волевой подбородок), но в ней есть что-то эдакое – притягательное, манящее, сверкающее. Иногда это нечто определяют словом «шарм» или другим: «манок». Манкая женщина, манящая, притягивающая к себе.

Самое любопытное то, что на том балу с г-жой Миллер познакомился и другой наш классик – Иван Сергеевич Тургенев, но он не нашел в новой знакомой ничего примечательного, более того, выразился о ней уж совсем не комплиментарно: «Лицо чухонского солдата в юбке». Кстати, Софье Миллер приглянулся поначалу именно Тургенев, а не Толстой, они даже долго

переписывались друг с другом, и Иван Сергеевич признавался ей: «…из числа счастливых случаев, которые я десятками выпускал из своих рук, особенно мне памятен тот, который свел меня с Вами и которым я так дурно воспользовался. Мы так странно сошлись и разошлись, что едва ли имели какое-нибудь понятие друг о друге…»

Короче, Тургенев не оценил Софью Андреевну, а вот Алексей Константинович не только оценил встретившееся ему богатство, но и сразу загорелся. Для него встреча на балу с незнакомкой в маске оказалась любовью с первого взгляда. Так бывает. Увидел – и пропал.

Уезжая с бала-маскарада, Алексей Константинович повторял про себя пришедшие вдруг слова: «Средь шумного бала, случайно…» Так родилось это гениальное стихотворение:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.

Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид;
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.

В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;

И грустно я так засыпаю,
И в грёзах неведомых сплю…
Люблю ли тебя – я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!

В стихотворении есть сомнение – «кажется», но в жизни колебания не было: Алексей Константинович Толстой полюбил сразу и навечно, точнее говоря, на весь срок жизни, отмеренной ему судьбой. Почему люди любят друг друга? Из-за чего

вспыхивает чувство? Что питает любовь? Вопросы эти не имеют ответов. Не случайно Алексей Константинович в одном из стихотворений, посвященных Софье Андреевне, писал:

Ты не спрашивай, не распытывай,
Умом-разумом не расскидывай:
Как люблю тебя, почему люблю...

Люблю – и всё! Любовь – это всегда неразгаданная тайна.

Алексей Толстой и Софья Миллер встретились в январе 1851 года (ему было 33 года, ей чуть меньше), но повенчались они лишь 12 лет спустя – в 1863 году. Почему? Чтобы ответить на это, нужно хотя бы вкратце рассказать историю жизни того и другого перед встречей. С чем к ней пришли Алексей Константинович и Софья Андреевна.

Алексей Константинович

Полагается начинать с женщины, но мы сделаем исключение и начнем с мужчины, так как именно Алексей Константинович Толстой является гордостью русской литературы, а Софья Андреевна – всего лишь его спутница и муза, вдохновившая, правда, Толстого на создание многих лирических стихотворений.

Итак, Алексей Константинович Толстой. Его рождение окутано легендой. Есть версия, ее разрабатывал Василий Розанов, что Толстой родился от супружеских отношений брата и сестры. Воспитывал его не отец, а дядя Алексей Перовский. Естественно, ему помогали гувернеры и учителя. Стихи Толстой начал писать с 6 лет. В 8 лет Алексей Толстой был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым он остался в большой близости и дружбе на всю жизнь. Говоря современным языком, Алексей Константинович быстро сделал блистательную карьеру, но неожиданно для всех сам ее и оборвал. Об отказе быть высшим правительственным чиновником Толстой написал в письме императору, в котором сослался на провидение, что оно – «мое литературное дарование, и всякий иной путь для меня невозможен... Служба и искусство несовместимы. Одно вредит другому... Что касается вас, Государь, которого я никогда не перестану любить и уважать, то у меня есть средство служить вашей особе: это средство – говорить во что бы то ни стало правду; вот единственная должность, которая мне подходит и, к счастию, не требует мундира...»

Да, Алексей Константинович Толстой был удивительный

человек: правдолюбец и романтик в одном лице. «Когда… кругом и мор, и голод, – Вы в самую ту пору о местах тягаетесь? Опомнитесь, бояре!» – писал Толстой в одном из своих обращений. Смело, не правда ли? – так бросить в лицо обвинение своему сословию, элите, в которую он входил сам. Очень красноречива самохарактеристика Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!

Читаешь эти строки и видишь перед собой добродушного великана, силача. Он и впрямь обладал огромной физической силой: заламывал на охоте медведя, бросал двухпудовую гирю через флигель, гнул подковы и т.д. Но этот силач был абсолютно бессилен против собственной матери. Строптивая и властная Анна Алексеевна Толстая с детства «задавила» мальчика и продолжала держать его под своим материнским прессом и во взрослом состоянии. Она постоянно наставляла его, советовала, требовала. Ревниво относилась к его увлечениям женщинами. Расстроила его отношения с княгиней Еленой Мещерской, когда увидела, что чувства сына крепнут с каждым днем. Этого допустить она не могла, чтобы он женился и оставил ее одну. Нет, это катастрофа! И она придумывала всякие болезни, лечилась за границей и настаивала на том, чтобы сын был рядом. Все это, конечно, не могло не отразиться пагубно на характере Алексея Константиновича: он был лишен самостоятельности (критик Юлий Айхенвальд отмечал у Толстого «отсутствие душевного синтеза, внутреннюю нецельность»).

Когда мать Толстого узнала о появлении в жизни ее сына женщины, которой он безумно увлекся, она вознегодовала и сделала все, чтобы не допустить их брака. Алексей Константинович и Софья Андреевна могли повенчаться лишь после смерти матери Толстого.

Но были препятствия и со стороны Софьи Андреевны Миллер. Собственно, ее девичья фамилия другая – Бахметьева. Однако расскажем всё по порядку.

Софья Андреевна

Будущая жена Алексея Константиновича Толстого происходила из старинного рода Бахметьевых, восходящего к XV веку. Отец ее Андрей Николаевич Бахметьев – военный, в чине прапорщика вышел в отставку и поселился в своем имении под Пензой. Женился на дочери соседского помещика, которая родила ему трех сыновей и двух дочерей. Младшая Софья была общей любимицей в семье. Росла бедовой девчонкой-сорванцом, носившейся наравне с мальчишками в округе. Далее – Институт благородных девиц в Петербурге.

Софья уже девушка на выданье, ее опекает любимый брат Юрий, гвардейский офицер. Он знакомит ее со своими друзьями, среди которых выделяются двое: конногвардеец Лев Миллер и прапорщик князь Григорий Вяземский.

У молодой женщины – выбор, кому отдать предпочтение: велеречивому лишь на бумаге Миллеру или пылкому в обществе Вяземскому? Конечно, второму, тем более что он – князь, а кому из тогдашних девушек не хотелось стать княгиней? Как выглядела претендентка на княжеский титул? По воспоминаниям современницы Хвощинской, Софья «была некрасива, но сложена превосходно, и все движения ее были до такой степени мягки, женственны, а голос ее был так симпатичен и музыкален...»

Словом, у Софьи Бахметьевой на руках были свои женские козыри, и князь Григорий Вяземский не устоял: 8 мая 1843 года он попросил у нее руки. Софья мгновенно согласилась и с нетерпением стала ждать согласия со стороны родителей князя, хотя она и была дворянкой, но стояла на иерархической сословной лестнице несколькими ступенями ниже, да и приданое за ней тянулось весьма крохотное. Короче, явный мезальянс, то есть неравный брак. Получив от Григория Вяземского письмо с извещением о его помолвке, родители, жившие в Москве, встревожились и настоятельно посоветовали влюбленному сыну поостыть и не решать свою судьбу «слишком поспешно и неосмотрительно».

Эту не совсем радостную новость Вяземский довел до родительницы Софьи Бахметьевой. Вдова (муж давно умер) не захотела смириться с потерей такой выгодной брачной партии для дочери и бросилась уговаривать родителей жениха. Те заупрямились окончательно. Тогда Бахметьева-мать стала уговаривать Григория Вяземского решиться на брак без согласия родителей. Однако на это Григорий Вяземский не согласился: он слишком любил своих «стариков» и не хотел их огорчать. Что делать? Бахметьева-дочь, то есть Софья, решается на отчаянный

шаг давления на князя: возвращает ему подаренное ей кольцо и грозится уйти в монастырь. Молодой князь заколебался (ему и жениться хочется на милой прелестнице, и огорчить родителей он не в состоянии).

Дело осложнилось тем, что Вяземскому в Москве подыскали более достойную невесту из своего круга – Полину Толстую. Софья Бахметьева поняла: князь от нее уплывает, и окончательно решила сыграть ва-банк: разжалобить мать князя Григория. Она едет к непреклонной старухе и бросается ей в ноги. Но все тщетно. Борьба за князя проиграна. И тут появляется последний довод. У королей – это пушки, а у женщин – беременность. Софья Бахметьева беременна от князя Григория Вяземского. Скандал, да и какой! Мать Софьи пишет военному начальнику князя с целью заставить его жениться на ее дочери. Шеф жандармов граф Орлов, которому попало письмо, выносит решение, что князь Вяземский «не обязан жениться на девице Бахметьевой».

Не будем описывать дальнейшие драматические перипетии этого светского скандала, скажем лишь одно: он закончился роковой дуэлью. Брат Софьи Юрий Бахметьев вызвал на поединок князя Григория Вяземского. Брат таким образом хотел отомстить за поруганную честь сестры. Дуэль состоялась 15 мая 1845 года в пригороде Москвы, вблизи села Петровское-Разумовское. Результат был ужасный: разволновавшийся Юрий Бахметьев промахнулся, а хладнокровный Григорий Вяземский оказался точным. Бахметьев был убит наповал.

Можете себе представить состояние Софьи Бахметьевой? И брат убит, и свадьба не состоялась. В отчаянии она выходит замуж за старого знакомца Льва Миллера и становится г-жой Миллер. Но любви нет, муж становится вскоре противен, и они расходятся, не разводясь, однако, формально.

Будучи замужней женщиной и одновременно свободной от мужа, Софья Андреевна решила зализывать сердечные раны в обществе. Она стала часто появляться в свете, демонстрируя свои замечательные таланты в области литературы и музыки. Она любила играть пьесы Перголези, Баха, Глюка, Шопена, Глинки. Но не только играла, но и пела. Голос у нее был чарующий.

В январе 1851 года в Петербурге состоялся тот бал-маскарад, на котором она всецело покорила Алексея Константиновича Толстого. Он сделал ей предложение, но и в этом случае поступило возражение со стороны матери Толстого. История повторилась дважды!.. Тем не менее встречи не прекращались, и Толстой всё более распалялся от Софьи Андреевны: она ему казалась необыкновенной женщиной. А тем временем она, не будучи лишенной практицизма, заготавливала на всякий случай

запасной вариант с писателем Дмитрием Григоровичем. Они даже вместе путешествовали по Европе. В дневнике Суворина есть такая запись: «Когда Григорович возвратился к Бахметьевым, то он застал госпожу Миллер лежащею, слабою. У ног ее сидел граф А.К. Толстой, страстно в нее влюбленный...» «Я не хотел мешать, – рассказывал Григорович Суворину, – и мы расстались...»

Грянула Крымская война, и Толстой отправился на театр военных действий. В войсках свирепствовал тиф, и Алексей Константинович опасно заболел, его жизнь оказалась на грани смерти. Узнав об этом, к больному Толстому срочно приехала Софья Андреевна (в тот момент она официально была ему никем) и буквально выходила его.

Выздоровев, Толстой еще более укрепился в своей любви к ней.

Долгожданный брак

Смерть матери устранила главное препятствие к их союзу, и Алексей Константинович Толстой обвенчался с Софьей Андреевной. Из Миллер она превратилась в Толстую. В графиню Толстую. Это был почти идеальный брак. Алексей Константинович нашел в Софье Андреевне новую «мамочку», но мамочку, которую можно было любить по-настоящему, душой и телом. К тому же она была энциклопедически образованным человеком, знала более десяти иностранных языков, включая такой редкий, как санскрит. Легко цитировала Гёте, Шекспира, Ронсара и других западноевропейских классиков. У нее был отменный литературный вкус, которому полностью доверял Толстой. Если ей что-то не нравилось, то Алексей Константинович прекращал работу над произведением, не одобренным супругой.

Софья Андреевна много читала, причем читала по ночам и ложилась спать только под утро. Ночью любил работать и Толстой. Они встречались за чаем во втором часу дня, и Алексей Константинович обычно говорил: «Ну, Софочка, слушай и критикуй...» И читал ей вслух написанное за ночь.

До официальных уз Гименея Алексей Константинович Толстой писал Софье Андреевне: «Я еще ничего не сделал – меня никогда не поддерживали и всегда обескураживали, я очень ленив, это правда, но я чувствую, что я мог бы сделать что-то хорошее, – лишь бы мне быть уверенным, что я найду артистическое эхо, – и теперь я его нашел... это ты».

Алексей Толстой нашел не только эхо, но и музу, да еще очень любимую. Что касается сделанного, то он сделал немало.

Написал несколько исторических романов и трагедий, наиболее известные – «Князь Серебряный» и «Царь Федор Иоаннович». Часто выступал как сатирик, создал «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашева», был соавтором знаменитого Козьмы Пруткова (все эти знаменитые мысли и афоризмы «Никто не обнимет необъятного», «Смотри в корень», «Бди!» и т.д.). Написал множество лирических стихотворений. Тут и – «Колокольчики мои, цветики степные!..», «Край ты мой, родимый край!..», «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...» и много других стихов, ставших хрестоматийными.

За многим из написанного Толстым стоит Софья Андреевна. «Не могу лечь, не сказав тебе, что говорю тебе уже 20 лет, – что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет назад. Кровь застывает в сердце при одной мысли, что я могу тебя потерять...»

Так писал Толстой Софье Андреевне. Но потерял не он ее, а она потеряла его. Дело в том, что последние годы жизни Алексей Константинович страдал от болезни – расширения аорты. Его мучила астма, бессонница, головные боли. Приходилось прибегать к морфию. Он и умер от передозировки: заснул и не проснулся. Это произошло 28 сентября 1875 года. А за три месяца до кончины, будучи на лечении в Карлсбаде, он писал Софье Андреевне: «...для меня жизнь состоит только в том, чтобы быть с тобой и любить тебя; остальное для меня – смерть, пустота, нирвана, но без спокойствия и отдыха».

Алексей Константинович Толстой прожил 58 лет. На целых двадцать лет пережила его Софья Андреевна. После смерти мужа она жила воспоминаниями о любви, перечитывала его письма и плакала. Воспоминаний не написала, более того, уничтожила часть писем. Умерла она в Лиссабоне, куда уехала к племяннице, спасаясь от одиночества...

Вот тут необходимо вернуться снова к романсу «Средь шумного бала...» Помните строки?

Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Тайна

Да, в жизни Софьи Андреевны была тайна, в которой она до их союза открылась Толстому. Ее исповедь была бурной. Алексей Константинович не только простил, но и был счастлив ее

страданием (некий сентиментальный мазохизм?).

Слушал повесть твою, полюбил я тебя, моя радость!
Жизнью твоею я жил и слезами твоими я плакал...

Тайна такова, и это подтверждается запиской графини Наталии Соллогуб, хранящейся в РЦАЛИ: после Миллера и до Толстого Софья Андреевна родила двух детей – Юрия и Софью, считавшихся детьми ее брата, Петра Бахметьева. «Племянница» Софья воспитывалась в семье Софьи Андреевны, потом она вышла замуж за русского посланника в Лиссабоне господина Хитрово. Детей от Алексея Константиновича Толстого у Софьи Андреевны не было.

Вот такая вот драматическая «лав стори». Похоронили Софью Андреевну рядом с Толстым, в их фамильном склепе в имении Красный Рог, в Черниговской губернии. Что остается добавить в конце? Разве что вспомнить строки Алексея Толстого:

То было раннею весной...

Тоже хрестоматийное стихотворение. И в конце его:

То было в утро наших лет —
О, счастие! о, слезы!
О, лес! о, жизнь! о, солнца свет!
О, свежий дух березы!

Все это было – и счастье, и страдания, и слезы. Было и прошло. А нам досталось это как исторический урок в школе или академии любви. Вы постигаете науку?..

ХОЖДЕНИЕ ПО «ДРЕМУЧЕМУ ЛЕСУ ЗАКОНОВ»

Александр Сухово-Кобылин

Сегодня имя Александра Васильевича Сухово-Кобылина, блистательного, трагического драматурга, человека выдающихся способностей и роковой судьбы, попавшего в адскую машину чиновничьего произвола, не на слуху.

О нем вспоминают лишь в связи с историей убийства любовницы. Достаточно взглянуть на различные публикации: «Дело о безумной любви и кровавом убийстве», «Нераскрытое преступление», «Убийство Луизы Симон-Деманш», «Кто убил Луизу Симон-Деманш», «Драматург под следствием», «Детективная жизнь аристократа», «Драматург-убийца», «Тайны Страстного бульвара» и т.д. И мало кто помнит, что написал Сухово-Кобылин и кто ставил его пьесы. А вот дело об убийстве – это самое оно для желтой прессы. Интригует и щекочет. Рядовой читатель любит ужасы и убийства.

Придется и нам, не смакуя, однако, подробности, вкратце рассказать о том, что произошло. Московскому богатому барину Александру Сухову-Кобылину в Париже понравилась модисточка Луиза. Он приглашает ее в Россию, и она оказывается в Москве

(для нее это был шанс) в качестве любовницы и содержанки Сухово-Кобылина. Любовь, квартира, деньги, наряды – всё как полагается. После 9 лет связи Сухово-Кобылин стал тяготиться Луизой Ивановной (так ее звали на русский манер) и все чаще стал заглядываться на других женщин. Одной из опасных соперниц Луизы оказалась красавица княгиня Наталья Нарышкина. Как легко догадаться: светская львица и иноземная содержанка – неравный бой. Француженка стала бешено ревновать и была в итоге убита. 9 ноября 1850 года ее нашли в снегу с перерезанным горлом и сломанными ребрами неподалеку от Ваганьковского кладбища.

Кто убил? Сам Сухово-Кобылин? Нарышкина? Или дворня по приказу хозяев? Следствие так и не нашло точного ответа. Наталья Нарышкина срочно покинула Россию (в Париже она вышла замуж за Александра Дюма-сына). Сухово-Кобылин в течение долгих 7 лет находился под судебным следствием, дважды подвергался тюремному заключению, откупался крупными взятками («Не будь у меня связей да денег, давно бы я гнил где-нибудь в Сибири», – говорил он впоследствии). А в конце концов все обвинения как в убийстве, так и в пособничестве в убийстве были сняты за недоказанность. Дело сдали в архив.

Ну, а теперь обратимся непосредственно к фигуре Александра Васильевича Сухово-Кобылина. Он родился 17(29) сентября 1817 года в Москве. Свое происхождение вел от Андрея Кобылы, очень знатной фамилии (не менее знатной, чем Романовы). Как святые реликвии хранил родовые дарственные грамоты от Ивана Грозного. Окончил философское отделение Московского университета. Продолжил изучение философии в университетах Германии – в Гейдельберге и Берлине. Видный мужчина. Образованный, богатый и красивый – убойное сочетание для женщин. Своей красотой и деньгами умело пользовался. По характеру был крайне неуравновешенным, очевидно, в маменьку, способную собственноручно надавать пощечин горничным и лакеям, а затем прилечь на диван с французским романом. Вот и Александр Васильевич однажды надавал тумаков родной сестре Елизавете за то, что она вознамерилась выйти замуж за профессора Московского университета Надеждина, имевшего неосторожность родиться в семье сельского дьякона. Как можно: он – плебей, а мы – аристократы!

Как аристократ, он позволил себе иметь любовницу. Когда ее не стало, он очень горевал (наверное, все-таки любил). Ходил пешком через весь город на немецкое кладбище, где похоронили Луизу Симон-Деманш. В день именин посещал церковь Людовика

на Малой Лубянке, где ее отпевали. «Моя потеря огромна, – писал он в письме к родным. – ...только потеряв всё, я узнаю величину моей потери...» В своем кабинете он повесил портрет Луизы и в память о ней назвал свою дочь Луизой. Спустя 9 лет после гибели Симон-Деманш Кобылин женился на Мари де Буглон. Опять француженка! И, увы, снова смерть: она умерла в холодной Москве через год после приезда от туберкулеза, на руках драматурга. Последний брак с англичанкой Эмилией Смит, и, как говорят в Одессе, вы будете смеяться: всё в той же холодной Москве она простудилась и вскоре покинула белый свет. Личные беды Сухово-Кобылина наложились на восприятие всей жизни. «Здесь в России, кроме вражды и замалчивания, ждать мне ничего. На самом деле, я России нечем не обязан, кроме клеветы, позорной тюрьмы, обирательства и арестов меня и моих сочинений, которые и теперь дохнут в цензуре... Из моей здешней, долгой и скорбной жизни я мог, конечно, понять, что на российских полях и пажитях растет крапива, чертополох, татарник, терновник для венцов терновых, куриная слепота для мышления, литературная лебеда для «духовного кормления»... Лично обречен я с моими трудами литературному остракизму и забвению».

Действительно, Сухово-Кобылин так и не дождался ни одного серьезного обзора своего творчества, ни одной биографической брошюры, не говоря о целой книги. Лишь за год до смерти Сухово-Кобылин был избран почетным академиком по разряду изящной словесности. И тоже ирония: он занимался не изящной словесностью, а разящей сатирой, – это как будто и не заметили.

Вторую половину жизни Сухово-Кобылин провел за границей и в своем родовом имении, где занимался хозяйством и философией, кстати, именно философию он считал своим истинным признанием и создал собственную «Философию Всемира». 19 декабря 1899 года в имении случился пожар (возможно, поджог), сгорел дом, а с ним и библиотека, и рукописи, и переводы любимого Гегеля. Это был страшный удар, после чего Сухово-Кобылин окончательно переселился во Францию, а в России появлялся лишь изредка наездами. Россия стала для него ненавистной страной, о которой он еще в 1855 году сказал так: «Богом, правдою и совестью оставленная Россия – куда идешь ты – в сопутствии своих воров, грабителей, негодяев, скотов и бездельников?»

18 февраля 1902 года в парижском театре «Ренессанс» состоялась премьера «Свадьбы Кречинского». Французская критика встретила спектакль с восторгом, а русская отозвалась о нем фельетонно-издевательски: Сухово-Кобылин для России

никогда не был ни кумиром, ни пророком. Александр Васильевич умер в Болье, близ Ниццы 11(24) марта 1903 года, в возрасте 85 лет. В итоге он оказался «крепким орешком».

Если бы не убийство Луизы Симон-Деманш, мы, может быть, и не знали бы Сухово-Кобылина как блистательного драматурга. А так в результате психического потрясения и судебных мытарств в нем развилась творческая энергия, произошла так называемая сублимация.

Леонид Гроссман в своей книге «Преступление Сухово-Кобылина» (1928) по поводу остроты пера драматурга писал так: «...силу его негодования возбуждают четыре источника: страдание любовника, потерявшего дорогую ему женщину, возмущение невинного человека, на которого возводят напраслину, спесь дворянина, над которым издеваются разночинцы-чиновники и, наконец, возмущение буржуа, у которого отнимают деньги...» Если отбросить вульгарный социологизм 20-х годов, то суть схвачена правильно.

Сухово-Кобылин создал трилогию, одну из самых мрачных абсурдистских творений XIX века. В 1852 – 1854 годах была написана первая пьеса – комедия «Свадьба Кречинского», в 1856 – 1861 годах – сатирическая драма «Дело». В 1869 году Сухово-Кобылин завершил заключительную пьесу трилогии – «Смерть Тарелкина» (это даже не сатирическая комедия, а скорее гротеск, гиньоль, почище Хичкока: нигде, пожалуй, еще человек не притворялся мертвецом и не ложился в гроб живьем, чтоб спрятать нахватанные им взятки).

«Свадьба Кречинского» – это комедия о шулере Кречинском, о моральной деградации дворянства. Она была поставлена в Малом театре в Москве и имела успех. В советской России ее поставил Всеволод Мейерхольд. «В «Свадьбе Кречинского», – отмечал режиссер, – показан не просто некий конфликт в обществе лиц, в ней действующих, трагедия людей на деньгах, около денег, из-за денег, во имя денег. Правильно было бы назвать эту пьесу «Деньги».

Пьеса «Дело», звучавшая как сатирическая мистерия, была опубликована в Лейпциге и в России находилась под запретом более 20 лет. Предваряя «Дело», Сухово-Кобылин писал: «Предлагаемая здесь публике пьеса «Дело» не есть, как некогда говорилось, Плод Досуга, ниже как ныне делается Поделка Литературного Ремесла, а есть в полной действительности сущее из самой реальнейшей жизни с кровью вырванное дело».

Драматург отобразил в ней свое мучительное хождение «по дремучему лесу законов», мучительное блуждание по темным и грязным чиновничьим лабиринтам, где светлячком надежды для

жертвы является лишь взятка.

«Взятка взятке рознь, – утверждал еще Кречинский в своей «Свадьбе», – есть сельская, так сказать, пастушеская, аркадская взятка; берется преимущественно произведениями природы и по стольку-то с рыла; – это еще не взятка. Бывает промышленная взятка; берется она с барыша, подряда, наследства, словом, приобретения, основана она на аксиоме: возлюби ближнего твоего, как и самого себя; приобрел – так поделись. – Ну, и это еще не взятка. Но бывает уголовная, или капканная взятка: – она берется до истощения, догола! Производится она по началам и теории Стеньки Разина и Соловья Разбойника; совершается она под сению и тению дремучего леса законов, помощию и средством капканов, волчьих ям и удилищ правосудия, расставляемых по воле деятельности человеческой, и в эти-то ямы попадают, без различия пола, возраста и знания, ума и неразумения, старый и малый, богатый и сирый...»

Невольно вспоминается хор полицейских чиновников в «Ябеднике» (1793) Василия Капниста:

Бери – большой тут нет науки, —
Бери, что только можно взять!
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтоб брать, брать, брать?

Именно «Дело», переплет, в который попал Сухово-Кобылин, и сделало из него саркастического психолога современных ему нравов. Но разве эти нравы исчезли сегодня? А пресловутый Басманный суд? А тысячи примеров из современной уже нам жизни, где отнюдь не торжествуют правда и справедливость, а, напротив, предвзятая ложь и неправедная сила власти (на более понятный язык – коррупция и административный ресурс). Но вернемся к «Делу» Сухово-Кобылина. В ней драматург осуждает всю бюрократическую систему самодержавия – от министра до рядового писаря, всю язву чиновничества. Сухово-Кобылин имел все личные основания яростно ненавидеть окружающую его азиатскую дикость самодержавного тиранического режима. Его аморальность и безликость.

Примечательны авторские характеристики лиц, которые начинаются с бесфамильного начальства, с «Весьма важного лица», о котором сказано: «Здесь все, и сам автор безмолвствует». Итак, «Начальство», «Силы», «Подчиненности», «Ничтожества или частные лица» и вовсе «Не лицо», о которое можно просто вытереть ноги. Не это ли видим и сегодня?..

И, наконец, «Смерть Тарелкина», которая находилась под

запретом более 30 лет. Когда министр внутренних дел Валуев с ней познакомился, он пришел в ужас: «Сплошная революция!» В пьесе два наиболее ярких персонажа – Тарелкин и Расплюев – два нарицательных типа, вошедших в классическую русскую литературу.

Кандид Касорович Тарелкин – талантливый мошенник, который устроил собственные похороны: «Милостивые государи. Ваше превосходительство! Итак, не стало Тарелкина! Немая бездна могилы разверзла перед нами черную пасть свою, и в ней исчез Тарелкин!.. Он исчез, извелся, улетучился – его нет. И что пред нами? – Пустой гроб и только...» Тарелкин – это человек-флюгер, всегда тонко чувствующий требования времени и четко улавливающий конъюнктуру. «Всегда и везде Тарелкин был впереди. Едва заслышит он, бывало, шум свершающего преобразования... как он уже тут и кричит: вперед!! Когда несли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; когда объявили прогресс, то он стал и пошел перед прогрессом – так что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади!»

Узнаете фигуру? Тарелкин – такой же вечный русский тип, как Хлестаков, Манилов, Чацкий, Скалозуб и другие знаменитые литературные герои. Он – анти-Обломов, ибо пышет энергией. Его пристанище не диван, его стихия – улица, где всегда что-то происходит.

«Когда пошла эмансипация женщин, то Тарелкин плакал, что он не женщина, дабы снять кринолину перед публикой и показать ей... как надо эмансипироваться. Когда объявлено было, что существует гуманность, то Тарелкин сразу так проникнулся ею, что перестал есть цыплят, как слабейших и, так сказать, своих меньших братий, а обратился к индейкам, гусям, как более крупным. Не стало Тарелкина, и теплейшие нуждаются в жаре; передовые остались без переду, а задние получили зад! Не стало Тарелкина, и захолодало в мире, задумался прогресс, овдовела гуманность...»

Вот такую саморазоблачительную речь сказал Кандид Тарелкин. В рукописи Сухово-Кобылина сохранилась примечательная запись: «Есть Кандиды, или, проще, Наивники, ожидающие в своей Наивности Лучшего. Какой Вздор! Почему же Лучшее? Законы новые – Люди старые, и будет всё та же Дребедень...»

Если Тарелкин – фигура комическая, то Расплюев – фигура мрачная и страшная (Расплюев – переходной герой трилогии или, лучше сказать, сквозной). В «Свадьбе Кречинского» он – карточный шулер, ну а в «Смерти Тарелкина» – полицейский чин, квартальный надзиратель. Благодаря ему возник термин

«расплюевщина» – неприкрытое, открытое мародерство. Ему всё время всего мало, и он готов «всю Россию потребовать и посадить на цепуру» (чуть не написал: на вертикаль) . Знакомая линия: Держиморда-унтер Пришибеев-Расплюев... Так называемая «твердая рука». Разгул полицейщины. Только в 1900 году «Смерть Тарелкина» была сыграна в Суворинском театре Санкт-Петербурга, в искаженном и урезанном виде, под названием «Расплюевские веселые дни». Акценты были смещены в сторону быта. Вот, к примеру, Расплюев допрашивает Брандахлыстову о том, как она жила со своим то ли мужем, то ли сожителем: «А как я на постель полезу, так он, мошенник, рылом-то в стену и обернется. Так вот я с ним одиннадцать годков и мучилась; глаза выплакала с разбойником; глаз, бывало, не сомкну, всё плачу, а он дрыхнет себе, да и только, горой его раздуй...»

Иногда критики проводят параллели: смех Гоголя и смех Сухово-Кобылина. Они разные. Гоголевский смех содержал надежду на духовное возрождение человека. Гоголь верил в прощение Небес. У Сухово-Кобылина никакой веры нет. Как отмечала Инна Вишневская, «у него был смех-содрогание, смех-мрак, смех-боль, смех-отчаяние, смех-реквием, смех, не смолкающий даже перед воротами ада».

Вот из-за этого зловещего смеха Сухово-Кобылин носил на себе, как он выразился, «намордник».

Еще его перу принадлежит сатирический памфлет «Квартет», который завершается следующей картиной-апофеозом: «Глухая ночь при зловещем рембрандтовском освещении... Рак чиновничества, разъевший в одну сплошную рану великое тело России, едет на ней верхом и высоко держит Знамя Прогресса!»

А что? Разве не являются прогрессом наши нынешние многочисленные национальные проекты? А грядущая Олимпиада в Сочи? Всё по Сухово-Кобылину: «В будущем объявлено благоденствие, а в настоящем покуда: урррааа!»

ПРОПАЛИ ЛИ ЛАСТОЧКИ АФАНАСИЯ ФЕТА?

Афанасий Фет

Не так давно был праздник: юбилей Афанасия Фета. Лирика из лириков. Певца природы. Его пейзажные зарисовки, моментальные снимки, четко фиксируют картинку бытия и передают настроения мига:

Ночь светла, мороз сияет,
Выходи – снежок хрустит;
Пристяжная озябает
И на месте не стоит.

Сядем, полость застегну я, —
Ночь светла и ровен путь.
Ты ни слова, – замолчу я,
И – пошел куда-нибудь!

Сознательно привожу именно эти строки, а не хрестоматийные «Я пришел к тебе с приветом...» или «Шепот,

робкое дыханье...», которые у всех на слуху. Стихи знают, но знают ли драматическую повесть жизни самого поэта? Если нет, то позвольте поведать, как говорили в старину.

В биографии поэта значатся две фамилии: Фет и Шеншин. Если читать стихи поэта, а потом взглянуть на портрет зрелого Фета, можно поразиться, как этот человек с грубым, нахмуренно-брезгливым лицом и седою бородою патриарха мог писать легкие строки, парящие в небе, подобно воздушным шарам? Всё это сразу наводит на мысль о некоем дуализме, двойственности натуры Афанасия Афанасьевича. Знакомство с его жизнью лишь подтверждает это. С одной стороны, прижимистый помещик, кулак, который мог и накричать и побить; серьезнейший аграрий, поборник земского дела. С другой стороны – тончайший лирический поэт, от стихов которого замирает сердце и кружится голова. Явное противоречие. Но и жизнь сама противоречива, соткана из диалектических отталкиваний.

Появлению на свет Фета предшествовал настоящий любовный детектив. Его отец, богатый помещик Афанасий Шеншин, отдыхая и немного подлечиваясь в Дармштадте, пленился немочкой Шарлоттой Элизабетой Фет. С кем не бывает! Однако здесь экстраординарный случай: Шарлотта замужем, у нее годовалая дочка, и к тому же она беременна. Богатого русского ничто это не остановило, и он похищает Шарлотту (естественно, с ее согласия) и увозит от мужа в далекую Россию. В имении Новоселки Мценского уезда Орловской губернии 23 ноября (5 декабря) 1820 года Шарлотта рождает мальчика Афоню. С матерью всё ясно, но кто отец? Окружной асессор Иоганн Фет? Или кто-то другой? Но точно: не Шеншин.

До 14 лет мальчик ничего не знал о своем истинном происхождении, а потом ему объявили. Что было дальше? Как написал Юрий Нагибин в своем очерке о Фете: «И беспечный барчук, воспитанник пансиона Верро, столбовой дворянин, в чьем роду были воеводы, стольники, вдруг превратился в иностранца, гессен-дармштадтского подданного и разночинца Фета. Смириться с этим он не мог, маленький Афоня твердо знал, что в огромном неприютном мире сладко быть лишь русским дворянином и барином. У него появилась одна всепоглощающая цель: вернуть утраченное...»

К социальному надлому прибавился и национальный. Если он не русский, то кто? Немец? Еврей? Толстые (а Фет дружил с Львом Николаевичем) считали его евреем. Старший сын писателя, Сергей Львович Толстой, писал: «Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна: большая лысая голова, высокий лоб, черные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос с

синими жилками… Его еврейское происхождение было ярко выражено, но мы в детстве этого не замечали и не знали».

Досужие разговоры: немец, еврей… Афанасий Фет – русский поэт: по воспитанию, по духу, языку и культуре.

Лишившись фамилии Шеншина, а соответственно, дворянства и всех привилегий, Фет, как говорится, положил живот на то, чтобы занять в обществе достойную социальную нишу. Окончив философский факультет Московского университета, он подался в армию сделать себе карьеру, так как офицерское звание позволяло получить дворянство. И вот поэт, о котором сам Гоголь сказал, что «это несомненное дарование», становится кирасиром. Участвует в ежедневной муштре, ездит на лошади, машет саблей и общается, скажем так, в далеко не интеллектуальной армейской среде.

Во время военной службы в Херсонской губернии у Фета завязывается короткий роман. Через семью одного из богатых местных помещиков Афанасий Фет знакомится с 20-летней дочерью бедного соседа Марией Лазич, девушкой весьма милой и необычной: она умна, образованна, прекрасно играет на рояле, и сам Ференц Лист удостоил ее похвалы за музыкальную одаренность. Вот такой неожиданный «подарок» ждал Фета в провинциальном захолустье.

Мария Лазич отнеслась к Фету в высшей степени благосклонно: ее привлек не белый мундир кирасира Фета, а стихи поэта (прямо в рифму), его начитанность, ум, чувствительная душа. Прервем, однако, плавное течение рассказа и процитируем одно из замечательных лирических откровений Фета:

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.

Ты пела до зари, в словах изнемогая,
Что ты одна – любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна – вся жизнь, что ты одна – любовь.

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

Правда, строки эти написаны позднее и посвящены не Марии Лазич, а Татьяне Кузминской, которую однажды слушал Фет в Ясной Поляне, после чего, взволнованный, ушел в свою комнату и за ночь написал этот лирический шедевр, но тут важна суть: чувствительность души Фета, ее отзывчивость на любовь. Именно это почувствовала Мария Лазич (как пианистка, она точно уловила эти звуки). Человек, который способен «любить, обнять и плакать над тобой!» – это идеал для тонко чувствующей женщины. Так считала Мария Лазич. Но совсем не так считал Фет.

Все его помыслы и устремления были направлены на карьеру, на дворянство, на материальное благополучие. В этом плане Лазич была ему не парой, ибо не была «мадмуазелью с хвостом тысяч в двадцать пять серебром» – приданого за ней не имелось. А посему Фет пренебрег своими чувствами (а она ему нравилась) и пошел на разрыв. Как в том фетовском стихотворении: «Какая грусть! Конец аллеи...» Любовная прогулка была завершена.

Фет оттолкнул чистую и бескорыстную любовь Марии Лазич, не понимая, что€ он отталкивает и что€ он теряет. Как правило, это выясняется значительно позднее, когда пройден весь жизненный путь и ясно, что самое лучшее, самое любимое осталось позади.

Но у этого расставания был еще трагический финал: неожиданная смерть молодой женщины. Нелепая случайность или преднамеренное самоубийство?

По одной из версий, было будто бы так.

Мария Лазич лежала на диване и читала. Закурив папироску, бросила на пол спичку, от пламени которой загорелся подол ее летнего кисейного платья. В мгновение она превратилась в горящий факел. Бросилась в сад. Пламя сбили, но ожоги были так сильны, что спасти Марию не было уже возможности. Она скончалась на четвертые сутки в страшных мучениях.

Можно себе представить, что почувствовал Фет, когда узнал о случившемся, как он корил себя и как страдал. Его даже не утешала последняя фраза Марии Лазич, произнесенная перед смертью: «Он не виноват, а я». Произошло то, как признавался Фет, что он «не взял в расчет женской природы и полагал, что сердце женщины, так ясно понимающей неумолимые условия

жизни, способно покориться обстоятельствам». Фет не учел, что ему встретилась не обычная женщина, а женщина высоких страстей и максималистских требований, которая посчитала, что жизнь без любимого человека не имеет никакого смысла. Так посчитала она и тут же приняла решение уйти совсем.

В итоге Мария Лазич ушла с дороги Фета, а поэт с той поры постоянно взывал к ушедшей возлюбленной:

Ты, дней моих минувших благодать,
Тень, пред которой я благоговею...

Взору Фета всё виделся «ряд волшебных изменений милого лица» – мираж несостоявшейся любви.

Однако вспоминай не вспоминай, а жить надо, и Фет делает еще один решительный шаг: в чине ротмистра он оставляет армию. А летом 1857 года он женится, да весьма выгодно и удачно: не 25 тысяч серебром, а поболее. Невеста Мария Боткина из богатой семьи чаеторговцев, и за ней стоит большое приданое. Фету – 36, ей – 30 лет. Зрелые люди. У него на душе горький осадок от воспоминаний о Марии Лазич. У Марии Петровны позади тоже любовный роман с печальным концом. Они честно рассказали друг другу о своем прошлом, и это их как-то сразу сблизило. Союз Фета и Боткиной оказался если не счастливым, то, по крайней мере, прочным и долгим.

Женины деньги Фет сразу пустил в дело. Купил невзрачную усадьбу Степановку и превратил ее, как говорили тогда орловские помещики, в образцовую «табакерку». Тут-то и взыграли немецкие гены Афанасия Фета, он оказался дотошным и рачительным хозяином. Всё быстро поставил на ноги, удачно распорядился землей, и цифры урожаев и овса с фетовских полей украшали губернскую статистику.

Тут подоспел императорский указ о «возвращении» родового имения Шеншина. Обрадовавшись, Фет-Шеншин сменил свою «табакерку» на богатейшее имение Воробьевку, расположенную под Курском. Когда-то он мечтательно описывал Софье Андреевне Толстой свой идеал: «Жить в прохладной каменной усадьбе, совершенно опрятной, над водой, окруженной значительной растительностью. Иметь простой, но вкусный и опрятный стол и опрятную прислугу без сивушного запаха».

Мечта сбылась. Усадьба с домом, и не просто опрятная, а великолепная. Парк. Поля. Теплицы. Пруд и «всё вокруг мое», как написал какой-то советский анти-Фет. Можно отлично пожить и хорошо поесть. Покушать Афанасий Афанасьевич особливо любил свежую икру, только что вынутую из осетра и чуть присоленную.

Когда Фет гостил в Париже у семейства Виардо, а точнее, у своего старого друга Тургенева, то там Фету очень не понравилось это «малое количество питания»: французский бульон, «слабый до бесчувствия», вареные бобы и яичница с вареньем. Нет, в России, у себя в Воробьевке, кушали по-другому: жирно, обильно и со смаком.

Итак, всё вроде бы пришло к определенному возрасту: удовлетворены все сословные претензии, наличествуют достаток, сибаритство и житейский покой. Жена хотя и некрасивая, но млеет от стихов мужа. А счастья нет, как и не было. Есть жуткая тоска. С годами она усиливается. И всё чаще преследуют Фета грезы юности, воспоминания о Марии Лазич.

4 ноября 1878 года, на пороге своего 58-летия, Фет пишет строки, вырвавшиеся из самых глубин сознания:

Ты отстрадала, я еще страдаю,
Сомнением мне суждено дышать,
И трепещу, и сердцем избегаю
Искать того, чего нельзя понять.

А был рассвет! Я помню, вспоминаю
Язык любви, цветов, ночных лучей, —
Как не цвести всевидящему маю
При отблеске родном таких очей!

Очей тех нет – и мне не страшны гробы,
Завидно мне безмолвие твое,
И, не судя ни тупости, ни злобы,
Скорей, скорей в твое небытие!

Жизни еще оставалось 14 лет, а Фету уже мерещились гробы, и он стремился в небытие.

К концу жизни Фета начали мучить физические недуги, в частности застарелая астма. Ему было тяжело дышать, и он нередко шутил, что вот «опять слон наступил мне на грудь». Сдавали глаза, он терял зрение. Пришлось не писать самому, а диктовать литературному секретарю, молоденькой Екатерине Федоровой.

«Моя старуха Муза, – говорил Фет весной 1892 года, – спит, спит, да вдруг во сне и забредит, а Екатерина Владимировна запишет кошмар». По вечерам в доме на Плющихе (зимой Феты жили в Москве, а летом – в Воробьевке) старый поэт садился в кресло, и Екатерина Владимировна читала ему вслух что-то услаждающее, например «Мадам Бовари». Фет слушал и

погружался в свои воспоминания:

Мелькнет ли красота иная на мгновенье,
Мне чудится, вот-вот тебя я узнаю...

Смертный конец пришелся на 21 ноября 1892 года. Фет пожелал вдруг выпить шампанского и отправил за ним жену, а сам продиктовал записку: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий. Добровольно иду к неизбежному». И собственноручно подписался: *«21 ноября. Фет (Шеншин)».*

В тот же миг он схватил стилет для разрезания бумаги и попытался нанести себе удар в грудь, но Екатерина Владимировна повисла у него на руке. Фет вырвался и бросился бежать по анфиладе комнат. В столовой пытался открыть дверцу шифоньерки, где лежали ножи, но не хватило уже сил. Фет, тяжело дыша, опустился на стул. В это время вбежала Екатерина Владимировна. Она услышала сорвавшееся с уст Фета слово «черт!». Глаза его расширились от какого-то привидившегося ужаса, и он испустил последний дух. То есть умер в одночасье.

В письме Софья Андреевна Толстая описывает кончину Фета иначе: «...он стал метаться, что воздуху мало, пошел в кабинет, оттуда обратно в столовую, сел на стул, опустил голову и скончался...»

Сбылось давнее желание поэта:

И с лона тихого земного идеала
На лоно вечности с улыбкой перейду.

Такова основная канва жизни Афанасия Фета. Поэтическая его судьба сложилась неровно. Первый поэтический успех в 20-летнем возрасте, триумф в 30-летнем. Далее альянс с Некрасовым и разрыв с ним. Нежелание вступить в радикальный лагерь и изгнание радикалами его из литературы. Долгое творческое молчание (но именно на этот период приходится расцвет Фета как помещика-фермера). И, наконец, возвращение в литературу в 80-х годах. В январе 1889 года – торжественное чествование в московском ресторане «Эрмитаж». Живые цветы, лавры, подношения, оркестр. В сладкоречивых выступлениях благодарили Фета за то, что он «в наше тяжелое время крепко держит знамя поэзии и не отдает своей лиры на служение темным силам». В общем, хвалили за то, за что ранее ругали, что-де он остается в стороне от бурления общественной жизни.

Похвалы Фету были приятны, он не был ими избалован. Ну, иногда только Лев Толстой прочтет какое-либо стихотворение Фета, и у него «защипает в носу». А так в основном Фета ругали. Он один из самых заруганных русских поэтов. Поэзию Фета многие считали мелкотравчатой и мелкотемной. Бойкие фельетонисты из газеты «День» договаривались до того, что считали стихи Фета чепуховиной, ерундистикой, набором слов и просто даже дичью. Чернышевский в письме к сыну дал такую характеристику стихам Фета: «Все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если бы выучилась писать стихи». Салтыкову-Щедрину тоже не нравилось «скудное содержание» стихов Фета. Тургенев все пытался редактировать своего друга (потом они разругались) и писал на полях со стихами Фета суровые резолюции: «Непонятно», «Неясно», «Что за дьявол?», не понимая того, что поэзия Фета – это не поэзия Тургенева, что бессмысленно упрекать луну за то, что она не становится солнцем.

Доставалось Фету и в советское время. Всё началось с Маяковского:

> Не высидел дома.
> Анненский, Тютчев, Фет...

У Маяковского представление о творчестве неотделимо от понятия битвы, сражения: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» и т. д. Фет, напротив, абсолютно не приемлет никаких баталий. Он не собирается драться ни на той, ни на другой стороне: «Радость чуя, не хочу я ваших битв...»

Николай Старшинов снисходительно бросил на страницах «Литературной газеты»: «Фет – прекрасный поэт... Но великий поэт – это прежде всего поэт социальной активности, живущий проблемами своего времени...»

Да, кому-то всё подавай проблемы, битвы, революции, так называемую гражданственность. А вот Афанасий Фет – совсем иной поэт. Как считал Константин Бальмонт: «Фет – нежнейший певец неуловимых ощущений, воздушных, как края вечерних облаков, и странно-прозрачных, как тихие жуткие воды глубокого затона...»

«Читать Фета – это слаще всякого вина... Стал читать Фета, одно стихотворение за другим, и всё не мог остановиться, выбирал свои любимые и испытывал такое блаженство, что казалось, сердце не выдержит – и не мог представить себе, что есть где-то люди, для которых это мертво и ненужно...» (Чуковский Корней. Дневник 24 марта 1926 года).

Поэзия Фета – особая поэзия. Как писал один из самых лучших критиков Юлий Айхенвальд в своих «Силуэтах русских писателей»: «У Фета не даль, не длительность, не история – он пьёт и поет мгновение, это чудное настоящее, за которым надо только протянуть руку, чтобы его достать».

Отсюда причудливый синтаксис и как бы спотыкающиеся слова. Их вообще часто не хватает Фету («Как беден наш язык! – Хочу и не могу...»). По Фету, все мы обречены на вечную невысказанность и немоту души, когда – «друг мой, бессильны слова – одни поцелуи всесильны...».

Прочитайте внимательно сборничек Фета, в нем этот вечный бред любви. «О, сладкий нам, знакомый шорох платья!..»

Я болен, я влюблен; но, мучась и любя, —
О, слушай! О, пойми! – я страсти не скрываю,
И я хочу сказать, что я люблю тебя —
Тебя, одну тебя люблю я и желаю!

Но, увы, нельзя жить в «лобзаньи непрерывном». Это отчетливо понимал и сам Фет. Поэтому в его поэзии много печали и боли. Иногда поэт бывает сложным и запутанным, когда пытается морализировать под влиянием своего любимого Шопенгауэра (кстати, именно Фет впервые на русский язык перевел трактат Шопенгауэра «Мир как воля и представление»). Но чаще всего Фет прост и почти кристально ясен, как тихий осенний день:

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали
Да как сеть мелькали
Вон над той горой...

...Начало XXI века. Переселенные города-чудовища. Половодье автомобилей. Воздух продымлен и загазован. Люди забились в дома-норы. Светится лишь голубой экран телевизионного ящика. Какой тут Фет?! Какие ласточки?!

Действительно, нужны ли сегодня ласточки Афанасия Фета? Вся эта гамма благоухающих откровений старого, давно ушедшего поэта? Его своеобразная муза? «На заре ты ее не буди...» Может быть, не надо будить?..

Нет, надо! Природа наша в экологическом упадке. Вырубаются леса. Уничтожаются луга. Исчезают цветы и травы.

Перестают петь птицы. Всё природное и естественное становится своеобразной редкостью. И в этом музее исчезающей Природы на видном месте лежит томик стихов Афанасия Фета. Остается только открыть его и глубоко вздохнуть с горьким сожалением. Ибо, как писал более ста лет назад (1887 г.) поэт Арсений Голенищев-Кутузов в стихотворении «А.А. Фету»,

Словно голос листвы, словно лепет ручья,
В душу веет прохладою песня твоя;
Всё внимал бы, как струйки дрожат и звучат,
Всё впивал бы цветов и листов аромат,
Всё молчал бы, поникнув, чтоб долго вокруг
Только песни блуждал торжествующий звук,
Чтоб на ласку его, на призыв и привет
Только сердце б томилось и билось в ответ...

Господи, и всё это ушло?..

ПОЧИТАТЕЛЬ ЗДРАВОГО СМЫСЛА

Алексей Писемский

Как известно, есть классики первого ряда (Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский...). А есть второй ряд. Вот в этом втором ряду обретается Алексей Феофилактович Писемский. Его знают – и не знают. Хотя написал он много. Тургенев назвал его «профессором литературного рисунка». «Это большой, большой талант», – определил Писемского Чехов. В конце XIX века вышло полное собрание сочинений Писемкого аж в 24 томах. В советское время, в 1959 году, выходил девятитомник: там – «Богатый жених», «Фанфарон», «Боярщина», «Тысяча душ», «Люди сороковых годов» и другие произведения автора. Писемского читают и сегодня, но не очень охотно: слишком буйный народный язык, и многие слова напрочь забыты. «Мастер крестьянской речи, в литературу ходок от мужиков», – так определил Писемского критик Юлий Айхенвальд.

Вообще Писемский – фигура оригинальная. Дворянин по происхождению, но крестьянин по духу. Родился он 10(22) марта 1820 года (по другим сведениям, в 1821-м) в селе Раменье Костромской губернии. Один из его предков – Федор Писемский выполнял личные поручения Ивана Грозного, и в частности ездил

в Лондон по устройству брачных дел царя. Потом род обеднел и, как сказано об одном из Писемских, «ходил в лаптях и сам пахал землю».

Алексей Писемский уже не пахал землю, а трудился исключительно с бумагами, сначала как чиновник, потом как писатель. Характер у него был двойственный: от отца он получил в наследство здравомыслие, а от матери – художественную одаренность. Рос мальчиком хилым (из десяти братьев и сестер – единственный, кто не умер в младенчестве). Воспитывался «за тремя мамками». И вырос особенным: скорее реалист, чем романтик. Меланхолический увалень и в то же время отчаянный скептик. Уважал практицизм и ненавидел прекраснодушие.

Время Писемского – время громкокипящих фраз. Надежды, упования, восторги. Метания Герцена. Боль Белинского. Писемский, провинциал, приехавший из Костромы, учился в Московском университете, где даже стены дрожали от яростных споров по поводу настоящего и будущего России. Казалось бы, Писемский должен был легко заразиться этим фразерством, но он оказался стойким в своем трезвом взгляде на жизнь. Не бросился в объятия западников и не впал в славянофильство. Как отмечает современный критик Лев Аннинский: «Он судил русскую жизнь здраво: отвергал крепостников, опасался левых демагогов, уповал на общественность, скептически смотрел на церковное мракобесие, с надеждой – на просвещение...»

Писемский вступил на стезю чиновничьей карьеры: был канцелярским чиновником в Костромской палате государственного имущества, затем в Московской – столоначальником. А в поздние годы (1869 – 1872) неоднократно исправлял должность московского вице-губернатора. Но, как признавался он сам, его попутал «бес авторства». В 1846 году он закончил роман «Боярщина» (первоначальное название «Виновата ли она?» о женской эмансипации, а уже потом Герцен подхватил вопрос Писемского и сформулировал его по-прокурорски: «Кто виноват?»). Роман у Писемского вышел преоригинальный: виноватых нет, виноваты не люди, а сама жизнь, которая толкает их на определенные поступки. Маститый наставник Писемского Степан Шевырев поставил в рукописи кучу вопросов, и Писемский старательно перелопатил свое творение. Роман имел успех. Потом в печати появилась его вариация «Нина» о превращении романтически-идеальной дамы в заурядную обывательницу.

Далее последовала повесть «Тюфяк», которая вышла в трех книжках журнала «Москвитянин» в 1848 году и стала литературным явлением. О Писемском заговорили как о сложившемся писателе. Сам он дал такую характеристику своего

творчества: «Сначала я обличал глупость, предрассудочность, невежество, смеялся над детским романтизмом и пустозвонными фразами, боролся против крепостного права, преследовал чиновничьи злоупотребления, обрисовал цветки нашего нигилизма... и в конце концов принялся за сильнейшего, может быть, врага человеческого, за Ваала и за поклонение Золотому тельцу...»

Писемский на время выходит в отставку и пишет, пишет... В 1858 году был издан его нашумевший роман «Тысяча душ» (как продолжение Гоголя или в споре с ним?), в нем писатель проникновенно и горько пишет об «убыли сердца», об окончательном вытеснении идеализма практицизмом. В «Тысячах душ» и в других произведениях Писемского просматриваются созвучные с Гоголем мотивы, и не случайно его сравнивали с Николаем Васильевичем. Один из героев «Тысячи душ» сетует на то, как «бесплодно проживет наше поколение, потому что оно окончательно утратило романтизм... Я с ужасом смотрю на современную молодежь... что же, наконец, составляет для них смак в жизни? Деньги и разврат!»

Это писал Писемский полтора века назад. А чем живет молодежь в современной России? Какой у нее смак?!..

Но не будем отвлекаться от Писемского. Интересно то, что, когда он стал выступать не в тон революционно-демократических идей левого лагеря, на него обрушились с шумом и гиканьем и изгнали из своих рядов. Курс литературных акций Писемского мгновенно пошел вниз.

Скандал разразился из-за романа «Взбаламученное море» (1863), в котором писатель выступил как последовательный антинигилист. В этом романе Писемский буквально пригвоздил всех революционных романтиков, посчитав все их радикальные устремления по переустройству жизни русского народа как плод дворянского безделья, как разновидность фанфаронства, как некую вредную игру. Сам Писемский, по словам Анненкова, был «совершенно свободен от розовых надежд ... на освобождение». Отсюда и резкие нападки на «властителей дум» – Герцена, Огарева, Чернышевского.

Один из критиков в советские времена восклицал по поводу Писемского: «Россия нуждалась – в безумстве храбрых. А он предлагал ей трезвость».

В своих фельетонах, где он выступал под псевдонимом Никиты Безрылова, Писемский не раз задевал прогрессивную для того времени «Искру», за что был вызван на дуэль искровцами Курочкиным и Степановым. Дуэль не состоялась, но тем не менее Писемский был вынужден покинуть Петербург, вконец

затравленный нигилистами. Еще бы: он и цикл рассказов «Русские лгуны» написал!..

Прогрессивная общественность (примем такой термин) и Писемский стали врагами. Общественность хотела положить живот за народ, осчастливить его и во имя этой благороднейшей цели зачитывалась романом Чернышевского «Что делать?». А тут возникает Писемский и утверждает, что все эти прекрасные метания с фразерством и фантазерством всего лишь «взбаламученное море» – революционная накипь, пена, которая ни к чему хорошему не приведет. Писемский предлагал обществу не революционные судороги, а трезвую и спокойную работу на каждом участке жизни. Но именно это здравомыслие Писемского и было воспринято в штыки революционными демократами. Работать и ждать?!.. Как в современной песенке: «Нет, я хочу сегодня! Нет, я хочу сейчас!..» Непременный и кропотливый труд вообще не вписывался в революционные идеалы. Они, эти революционные демократы, хотели сразу десантироваться на кисельные берега и молочные реки. Без каких-либо проволочек и усилий.

«Честный, трезвый почитатель здравого смысла, теоретик практичности, никого и ничего не прихорашивающий», по определению Айхенвальда, Алексей Писемский оказался не нужным российскому читателю. Для сентименталистов он был неприемлем: ни восхитительных пейзажей, ни очаровательных женщин, ни таинственных свиданий в затемненных беседках... Для радикально настроенной публики Писемский тоже был неинтересен: к топору не звал, героев не возвеличивал, на своих страницах выводил всё больше чиновников да разный провинциальный люд, да и то в каком-то дремучем, неприветливом виде...

Да, Алексей Феофилактович пытался писать горькую правду о жизни (одна из его лучших пьес недаром носит название «Горькая судьбина») но и сам оказался в плену у этой несладкой российской действительности. Будучи чиновником при костромском губернаторе, был вынужден выполнять приказ: уничтожить часовни и библиотеки раскольников. И он это сделал, симпатизируя в душе гонимым. Идеалы – одно, а жизнь – это совсем иное: компромиссы да сделки с совестью. Все это Писемский понимал прекрасно и потому не хотел в своем творчестве приукрашивать действительность. На юбилее своей литературной деятельности Писемский сказал: «Единственной путеводной звездой во всех трудах моих было желание сказать моей стране, по крайнему разумению, хотя, может быть, и несколько суровую, но все-таки правду про нее самое. Насколько

я успевал в этом случае – не мое дело судить».

Юрист и мемуарист Анатолий Кони вспоминал один из своих визитов к писателю: «Писемский вошел в просторном летнем платье, но без галстука. Расспрашивая одного из гостей о его семейных делах, он отстранил рукой налитый ему стакан чаю и, налив большую рюмку водки, выпил ее залпом, ничем не закусив. Через несколько минут он повторил то же самое и угрюмо замолчал, не отвечая на вопросы. Через десять минут он выпил третью рюмку. Я взглянул вопросительно на бедную Екатерину Павловну (супругу Писемского. – *Ю.Б.*). Она с печальною улыбкой в ответ мне пожала плечами и с затаенным страданием посмотрела на мужа».

Писемский не просто любил выпить, он пил по-настоящему. А сострадательная жена? На Катеньке Свиньиной Писемский женился после некоторого увлечения «жоржсандизмом». Свою благоверную писатель вывел во «Взбаламученном море» в лице Евпраксии как женщину холодную, не способную внушить мужчине пылкую страсть, и придал ей название – ледяшка. Как они там ладили в своем браке? – не будем копаться. Писемский испытал два удара от своих сыновей: любимый сын Николай внезапно покончил жизнь самоубийством. Второй сын Павел был безнадежно болен. Всё это не смогло не сломать писателя.

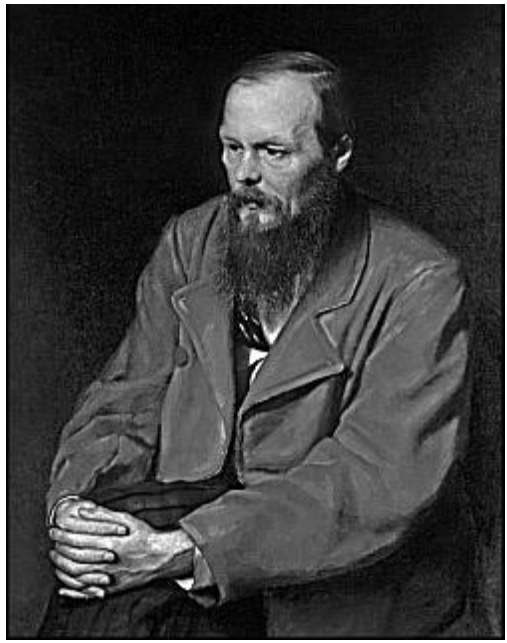
На портрете Ильи Репина (1880) Писемский выглядит взлохмаченным и испуганным стариком. Некий испуг в его натуре биографы вспоминают и раньше: боялся плыть из Петербурга в Кронштадт и как бледнел при звуке выстрела. Как иногда топтался на пороге своего дома, боясь войти: вдруг там грабители? или кто-нибудь умер? или пожар?.. Короче, страх сопровождал Писемского по жизни. Откуда? Надо спрашивать у Зигмунда Фрейда. В конечном счете напряженное творчество, борьба с литературными оппонентами, семейные переживания привели Писемского к преждевременному дряхлению. В одном из писем он признавался: «...я действительно устал писать, а еще более того жить».

Алексей Писемский умер 21 января (2 февраля) 1882 года в своем родном Раменье, на Чухломе, в возрасте 60 лет. О последнем его романе «Масоны» один из критиков отозвался так: «В романе ни эпохи, ни масонства, ни характеров».

Через неделю после смерти Писемского, 28 января, скончался Федор Достоевский. Оба писателя по-разному предостерегали Россию от грядущих бурь и потрясений. Общество не вняло пророкам.

И напрасно. Бесы пришли. И море взбаламутилось...

ДОСТОЕВСКИЙ БЕЗ ГРАНИЦ И БЕЗ КРАЯ



Федор Достоевский

Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября (11 ноября) 1821 года, а умер в 1881 году. Споры и страсти по Достоевскому не утихают и, очевидно, не утихнут, никогда. О нем постоянно выходят статьи и книги – у нас и за рубежом. Проходят Международные Достоевские чтения. Его имя и произведения будоражат, волнуют, нервируют. Он – истинный возмутитель человечества. Все пытаются разгадать феномен Достоевского: кто он такой? что написал? что напророчил? и что говорит он нам сегодня? «Господа, меня мучат вопросы; разрешите их мне».

Один из первых исследователей Достоевского Валериан Майков отмечал, что «Гоголь – поэт преимущественно социальный, а Достоевский – по преимуществу психологический». Психология – вот океан, куда с головой нырнул Федор Михайлович. «Пловец страшных человеческих глубин, провидец тьмы, рудокоп души» – так определял его критик Юлий Айхенвальд.

Многие психические состояния человека названы в честь писателей – садизм, байронизм, мазохизм, толстовство и т.д. А достоевщина (был такой вульгарный социологический термин) – это про все человеческие состояния, а заодно и пороки, бездны и

страхи разом. «Злобный, махровый враг революции» – так называли Достоевского в советские времена. «Архискверный Достоевский», – считал Ленин.

Бездны Достоевского

Политик и историк Петр Струве в 1931 году в Белграде произнес речь в память Достоевского, в которой отметил, что «личный душевный опыт Достоевского воплотился в фигуры и драмы его произведений: то, что думают и делают его «герои», этим жил он сам, над этими безднами он сам стоял, не отвлеченно, не «воспроизводя» их, как воспроизводили драмы жизни другие художники, а в самом подлинном смысле слова. Раскольников – это не произведение Достоевского, это сам Достоевский. Соберите Карамазовых – Федора Павловича, Ивана, Дмитрия и Алешу, и вы получите Достоевского. Или иначе: разложите Достоевского на отдельные стороны его страшно сложной натуры и вы с изумлением, даже скажу: с содроганием, увидите перед собой Карамазовых...»

Дополним Струве: а Смердяков?! Это разве не частица самого Достоевского? А в скольких людях сидит этот Смердяков – лакей и сволочь! Так что четыре брата Карамазовых, включая Смердякова, – страшная полифония русского национального характера – от бунта до смирения и покорности, от благородства к подлости и злодейству. «И с чего это взяли эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения?..» – вопрошал человек из подполья у Достоевского.

Великие ученые Ухтомский и Бехтерев считали, что Достоевский дал для психологии и психиатрии больше, чем все профессиональные психологи и психиатры. Сам писатель говорил: «Меня называют психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Но то, что «изображал» Достоевский, дало обильную пищу для многих смежных дисциплин – для философии, теологии, психологии, социологии.

Знаменитая фраза писателя: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».

Мнения и оценки

Интересно, что каждый пишущий о Достоевском воспринимает его по-своему и дает сугубо субъективные оценки, которые бывают часто полярными. Многоцветие pro et contra. Философ Лев Шестов отмечал, что Достоевский не только один из

самых трудных писателей, но и самый мучительный. Народник Николай Михайловский сказал про Достоевского – «жестокий талант», а Максим Горький – «ядовитый». А еще Горький говорил: «Это огромная фигура, но это жуткий мстительный человек. Это враг жизни». А сам Достоевский утверждал, что «в несчастьи яснеет истина». Про «врага жизни» недавно на Западе вышла очередная книга под названием «Светлый и жизнерадостный Достоевский». Так светлый или мрачный?..

Не в тонах и красках дело. «Величайший писатель и мыслитель всех времен и народов» – такова оценка Сергея Булгакова. А Оскар Уайльд с горечью говорил, что после Достоевского «нам остались только эпитеты», то есть все «проклятые вопросы» жизни поставлены.

«Достоевский дает мне больше, чем любой ученый, – отмечал Альберт Эйнштейн. – Он вызывает у меня этический порыв такой непреодолимой силы, какой возникает от истинного произведения искусства».

«Достоевский не просто сильно повлиял на меня, – признавался Уильям Фолкнер, – я получаю огромное удовольствие, перечитывая его, и я по-прежнему перечитываю его примерно каждый год. Его мастерство, проникновение в человеческую душу, способность к состраданию делает его писателем, к которому хотели бы приблизиться многие, если бы могли. Он был одним из тех, кому поистине удалось сказать: «Я был в этом мире».

Вирджиния Вулф: «Романы Достоевского – это бурлящие водовороты, самумы, которые с шумом и свистом засасывают в себя. Они состоят целиком и полностью из душевной материи. Против воли нас захлестывает, вращает, мы слепнем, захлебываемся, – и в то же время испытываем головокружительный восторг...»

«Не будем называть их романами, – писал Стефан Цвейг о творениях Достоевского, – не будем применять к ним этическую мерку: они давно уже не литература, а какие-то тайные знаки, пророческие звуки, прелюдии и пророчества мифа о новом человеке;... Достоевский – больше, чем поэт, – это духовное понятие, которые вновь и вновь будет подвергаться истолкованию и осмыслению. Образ русского писателя пронизывает и озаряет сегодня все сферы духовной жизни – поэтическую и философскую, духовную и культурную».

Герман Гессе считал Достоевского прежде всего «пророком, угадавшим исторические судьбы человечества».

Во времена цензуры Даниил Гранин пытался сказать частичную правду о писателе: «Читая Достоевского, становится

стыдно – это драгоценное качество гения... Как он умеет изображать низость, лицемерие, ханжество, жестокость! Нет, нет, это не больной талант, скорее целительный, не жестокий, а гуманный. Может быть, когда мы жаждем изо всех сил показать лишь хорошее, доброе, возвышенное, добродетельное, когда мы хвалим и отбираем лучших, примерных – мы усыпляем совесть, требовательность, мы льстим людям, народу. Авторитет, накопленный русской литературой, укреплялся, в частности, неустанным обличением пороков и заблуждений. В этом принимали участие не только Достоевский, а и вся великая русская литература, имевшая смелость говорить своему народу слова гнева, печали... Потревожить совесть сегодняшнего человека не просто. Она защищена ловко и надежно...» («Новый мир», 10, 1981).

Ниспровергатели

Подобных положительных и восторженных оценок и высказываний о Достоевском можно привести множество. Это, как говорится, «за». Но много есть и «против».

Лев Толстой возражал: «Нельзя ставить памятник человеку, который весь борьба». А еще как-то Лев Николаевич сказал про Федора Михайловича: «Он был болен и думал, что весь мир болен».

Достоевский, по Томасу Манну, – больной гений, ясновидец сатанинских глубин, преступник...

«Полубесноватый, полусвятой» – это уже мнение Дмитрия Мережковского.

Максимилиан Волошин: «Войдите в мир Достоевского: вся ночная душа России вопит через его уста множеством голосов. Это не художник, – это бесноватый, в котором поселились все бесы русской жизни. Ничего не видно: ни лиц, ни фигур, ни обстановки, ни пейзажа – одни голоса, спорящие, торопливые, несхожие, резко индивидуальные, каждый со своим тембром, каждый являющий сущность своей души и до конца».

Развенчивал Достоевского и Владимир Набоков: «Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей с дофрейдовскими комплексами, упоение унижением человеческого достоинства, – всё это вряд ли может вызвать восторг. Меня не увлекает, как его герои «через грех приходят к Христу». А русский писатель Бунин выразился еще крепче: у Достоевского, мол, Христос в каждой бочке затычка». Так же, как меня оставляет равнодушным музыка, я, к сожалению, равнодушен и к Достоевскому-пророку...»

Набоков читал лекции о русской литературе, и в частности о Достоевском, в американских университетах. Набоков отмечал и такие детали, что герои Достоевского «никогда ничего не произносят, предварительно не побледнев, не зардевшись». Кстати, исследователи давно подсчитали, что одним из излюбленных словечек Достоевского является слово «вдруг» как знак катастрофы. В «Преступлении и наказании» оно встречается 565 раз, в «Подростке» – 671, в «Братьях Карамазовых» – аж 1154. Отсюда и побледнения и покраснения на щеках, ибо «вдруг» – это как апокалипсический пожар.

И еще одно развенчание, ниспровержение Достоевского. «В монументальных произведениях Достоевского, – пишет Эдуард Лимонов, – море слез, тысячи истерик, колоссальное количество бесед за чаем, водкой и без ничего, бесед о душе, о Боге, о мире. Герои его упиваются беседами, самоистязаются словами и истязают других. Только и делают, что высасывают из пальца, из мухи производят слона. На Западе считают, что Достоевский лучше всех сообщил в словах о русской душе и изобразил русских. Это неверно. Истеричные, плачущие, кричащие, болтающие без умолку часами, сморкающиеся и богохульствующие – население его книг – достоевские. С русскими у них мало общего...»

И далее, по мнению Лимонова, «Россия предстала перед миром и собой в зеркале пошлейше искривленной, старомодной старухой КАРАМАЗОФФ в чеховских очках...» (заодно и Чехову досталось!).

Хулить Достоевского на родине стало модно? Вот и еще один наш современник (новый русский?), фамилию которого приводить не хочется, свои высказывания в одном журнале озаглавил: «Почему я ненавижу Достоевского». Я и Достоевский! Да кто он такой и кто Достоевский! Достоевский встрепенул весь мир. А что сделал этот новоявленный ниспровергатель? Бренчит на гитаре? Мурлыкает песенки? Малюет картины? Что-то пытается сочинять на своем ужасном «коверканном» русском языке?..

Немного о языке и стиле

Язык Достоевского – это особая тема. Иосиф Бродский отмечал: «Из беспорядочной русской грамматики Достоевский извлек максимум. В его фразах слышен лихорадочный, истерически, неповторимо индивидуальный ритм, и по своему содержанию и стилистике речь его – давящий на психику сплав беллетристики с разговорным языком и бюрократизмами».

Один пример из «Зимних заметок о летних впечатлениях»: «Конечно, есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебе все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещают кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему всё кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому – полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше...»

В своем эссе о Достоевском Бродский делает вывод: «Конечно же, Достоевский был неутомимым защитником Добра, то бишь христианства. Но, если вдуматься, не было и у Зла адвоката более изощренного».

Адвокат – не адвокат, с этим можно спорить. Но тем не менее зло в книгах Достоевского выписано ярко, грубо, зримо. Одни только «Бесы» что стоят! Этот роман – одно из самых страшных пророчеств Федора Михайловича. Вспомним рассуждения Верховенского: «Необходимо лишь необходимое – вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов шигалевщина... шигалевщина ювелирная вещь. Это идеал, это в будущем...»

Большевики-революционеры показали всему миру, как они умело использовали эту самую кровавую «судорогу». То, что было в «теории» в «Бесах», они превосходно воплотили на практике: куда там слезинка одного-единственного ребенка – миллионы невинно загубленных жизней.

Бесы

«Достоевский, – писал Николай Бердяев, – открыл какую-то метафизическую истерию русской души, ее исключительную склонность к одержимости и беснованию...»

Но то явление, которое Достоевский определил как бесовство, – явление, отнюдь, не исключительно русское, оно всемирное и даже метафизическое. Бесовство, по Достоевскому,

это прежде всего отрицающее, разрушительное начало мира, человеческого сознания, отраженное во всех сферах жизнедеятельности. «Красота спасет мир», – утверждал писатель. «Нет, ненависть и зло погубят мир», – ухмыляются бесы.

Существует легенда, когда наркома просвещения Луначарского спросили, какую надпись сделать на памятнике писателю, нарком ответил: «Достоевскому – от благодарных бесов». Бесы по Достоевскому – это люди (иногда и нелюди), у которых размыто понятие Добра и Зла, кто ставит свои геростратовы цели выше человеческой жизни «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым образом, точно шампанское...» («Записки из подполья»).

Сегодня после революционного («Ваше слово, товарищ маузер!..») и сталинского террора мы переживаем накат третьей волны. Убийства, похищения людей, захват заложников, взрывы зданий, угоны самолетов и так далее по полной смертоносной программе (а невинная забава в армии: дедовщина). И апофеоз всемирного сатанинского бала: 11 сентября 2001 года, Нью-Йорк, сто этажей ада. А после еще Мадрид, Лондон, Беслан... Все выдуманные в литературе и кино дракулы и франкенштейны сразу померкли перед реальными террористами.

Современная бесовщина, принявшая форму международного терроризма, – это какой-то удивительный коктейль исторических предрассудков, этнической нетерпимости, религиозного фанатизма и черной зависти бедных к богатым. Терроризм как особая форма неприятия цивилизованного мира. Но Россия страдает больше от отечественного терроризма, от доморощенных бесов, подчас носящих официальную форму и погоны, – вот что особенно ужасно. Почти каждый день – как сводки с фронта: там убили, там застрелили, там взорвали, там избили... А убийства известных журналистов – Влада Листьева, Дмитрия Холодова, Анны Политковской!.. Это те же бесовские пляски под русскую гармонь?..

Бесы – это проклятие России. И не Федор Михайлович их вызвал. Они явились сами. Он их только предугадал.

На сцене и на экране

О Достоевском можно говорить без конца. И хвалить его, и возносить, и критиковать, и удивляться. О его рассуждениях о мессианстве русского народа, о Боге, о России, о его отрицательном отношении к Польше, к католицизму, об антисемитизме и т.д. и т.д. «Широк человек, я бы сузил», – говорил Достоевский. Сузим и мы писателя до сцены и экрана.

Достоевского давно ставят в кино и театре. И сюжетно, и триллерно. Публика жаждет адреналина, а у Федора Михайловича его хоть отбавляй. «Мир Достоевского – это мир мужчин, женщин и детей, одновременно заурядных и необычных, – отмечает мексиканский писатель Октавио Пас. – Одних обуревают заботы, других сладострастие, одни бедны и веселы, другие богаты и печальны. Это мир святых и злодеев, идиотов и гениев, благочестивых женщин и терзаемых своими отцами детей-ангелочков. Это мир преступников и добропорядочных граждан, но врата рая открыты всем. Они могут спастись или обречь себя на вечное проклятье...» И именно поэтому Достоевский так сценичен и кинематографичен.

При жизни писателя были сделаны инсценировки: «Дядюшкин сон», «Преступление и наказание», «Бесы». В дальнейшем Достоевский стал одним из «репертуарных» авторов. Сыграть Раскольникова, князя Мышкина, Настасью Филипповну, братьев Карамазовых – мечта каждого актера. Какие характеры! Какие бездны!.. Очень популярны постановки по произведениям Достоевского за рубежом.

Одну из первых киноэкранизаций Достоевского осуществил немецкий режиссер Лупу Пик: он в 1921 году поставил фильм «Идиот». Вспоминать отечественные кинокартины по произведениям Достоевского не имеет смысла: они глубоко остались в памяти тех, кто их видел, текст Достоевского позволял актерам играть роли ярко и буйно (разве можно забыть Михаила Ульянова в роли Мити Карамазова). Не так давно с большим успехом прошел телесериал «Идиот» (удивительная игра Евгения Миронова). «Преступление и наказание» (режиссер Дмитрий Светозаров) тоже высоко оценен и зрителями и критиками. Рассказывают, что в съемочной группе бытовала шутка: а не открыть ли нам дело «Раскольников и сыновья»? Разумеется, с раскрутки рекламы: «Избавляем от старушек. Недорого».

Как видим, молодое поколение воспринимает Достоевского не так мрачно и надрывно, как предыдущие (ну, подумаешь, замочил кого-то!), а весело и с юмором. Черным юмором. Отсюда можно сделать вывод: Достоевский – для всех поколений и на долгие времена, и пусть все критики умолкнут.

Вечное вам здрасьте, Федор Михайлович!..

ОН СОВЕТОВАЛ: «БДИ!»

Алексей Жемчужников

Все эти перлы – «Бди!», «Смотри в корень!», «Никто не обнимет необъятного», «И терпентин на что-нибудь полезен!», «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану», «На дне каждого сердца есть осадок» и так далее, – до сих пор живы, более того, в цене, и им не грозит инфляция слов. Все эти фразы изрек Козьма Прутков – литературный герой, которого создали, по молодости лет, озорники из озорников – братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы (дети почтеннейшего сенатора) и их двоюродный брат граф Алексей Константинович Толстой. Но главным в этой великолепной четверке, своеобразным заводилой, «капельмейстером оркестра» был старший Жемчужников – Алексей Михайлович. Он родился 11(23) февраля 1821 года в местечке Почепе Черниговской губернии.

Слава Козьмы Пруткова, этого едкого и одновременно наивного и добродушного человека, затмила почти все литературные деяния братьев Жемчужниковых, и это особенно несправедливо в отношении старшего – Алексея. Алексей Жемчужников – оригинальный поэт, не только сатирик, но и тонкий лирик, а еще драматург и публицист. Он прожил долгую и

интересную жизнь русского интеллигента (хотя лучше сказать – интеллектуала). Получил образование в Петербурге, где приобрел «запас возвышенных идеалов». Пошел служить – сначала в Сенат, потом в Государственный совет, разочаровался в государственной службе и понял, что надо «жить вне мундиров и парадов» («Если хочешь быть красивым, поступи в гусары» – совет все того же Козьмы Пруткова). И занялся исключительно литературной деятельностью, получив возможность «мыслить и чувствовать с большею свободой и независимостью».

Жемчужников сам стал свободным (относительно, конечно, ибо абсолютной свободы в России никогда не было) и других призывал к оной. В стихотворении «Тяжелое признание» (1858) писал:

Я грубой силы – враг заклятый
И не пойму ее никак,
Хоть всем нам часто снится сжатый,
Висящий в воздухе кулак;

Поклонник знанья и свободы,
Я эти блага так ценю,
Что даже в старческие годы,
Быть может, им не изменю...

В своих публикациях Алексей Жемчужников выступал против социальной жизни, которая определяется «силой подлости» и «силой тупоумия». Призывал к гражданской активности, чтоб народ не молчал, а подавал свой голос. Ратовал за свободу личности и независимость мысли. И протестовал против «национальной хвастливости» и «напускного шовинизма». Последним своим протестом вызвал гнев Достоевского, но, с другой стороны – одобрение Тургенева.

Идеал Алексея Жемчужникова – расцвет свободной, без государственных оков, культуры и внутренняя раскрепощенность каждого творца («Но есть великая препона/ Свободе слова – в нас самих!»).

Долгие годы Жемчужников жил за границей (Германия, Италия, Франция). Пережил горькие утраты – смерть сына и жены. Естественно, тосковал по России. В октябре 1871 года в Германии, в Югенгейме, написал своих знаменитых «Осенних журавлей», которые со временем превратились в трагический романс:

Сквозь вечерний туман мне, под небом стемневшим,

Слышен крик журавлей всё ясней и ясней...
Сердце к ним понеслось, издалека летевшим,
Из холодной страны, с обнаженных степей.
Вот уж близко летят и, всё громче рыдая,
Словно скорбную весть мне они принесли...
Из какого же вы неприветного края
Прилетели сюда на ночлег, журавли?..

Я ту знаю страну, где уж солнце без силы,
Где уж савана ждет, холодея, земля
И где в голых лесах воет ветер унылый, —
То родимый мой край, то отчизна моя.
Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть,
Вид угрюмый людей, вид печальной земли...
О, как больно душе, как мне хочется плакать!
Перестаньте рыдать надо мной, журавли!..

Истинно рыдательные строки, не правда ли?..

В 1884 году Алексей Жемчужников возвратился в Россию и в этом же году пишет стихотворение «На родине»:

Опять пустынно и убого;
Опять родимые места...
Большая пыльная дорога
И полосатая верста!

И нивы вплоть до небосклона,
Вокруг селений, где живет
Все так же, как во время оно,
Под страхом голода народ...

Жемчужникову издалека казалось, что найдет на родине успокоение, но не нашел. «Опять пустынно и убого», и никаких радикальных перемен к лучшему не произошло за годы его отсутствия, и поэт с горечью спрашивал: «Почему так всё запугано, что честно?» Старые беды и застаревшие проблемы не исчезли.

В стихотворении «О духовной скудости» (1890) Жемчужников пишет:

Для творческих идей дух времени – препона;
От лучших замыслов получится урод.
Из мрамора резцом ваяют Аполлона,

Но разве вылепишь его из нечистот?

В другом стихотворении – и всё о том же:

О, скоро минет это время,
Весь этот нравственный хаос,
Где прочность убеждений – бремя,
Где подвиг доблести – донос?

Проклятые российские вопросы! И еще весьма огорчали и возмущали Жемчужникова доморощенные крикуны-патриоты (очень живучее племя – до сих пор кричат!). Дел на копейку, а крика о родине – на мильон!

О пользе, о любви к отчизне,
О чести, правде – обо всем,
Что нам так нужно в нашей жизни,
Хоть и без этого живем.

О том, что Русь в державах значит,
О том, как бог ее хранит,
И вдруг, растроганный, заплачет, —
Меня при этом не тошнит?..

Алексей Жемчужников почти безвыездно живет в провинции, в Орловской губернии, всё больше отходит от политической борьбы и всё ближе приближается к природе, ища в ней отраду и утешение.

Твоя природа так прелестна;
Она так скромно-хороша!

Хотя надо отметить, что красотами природы Жемчужников наслаждался не только в России: «Что за прелесть сегодня погода!/ Этот снег на вершинах вдали,/ Эта ясность лазурного свода,/ Эта зелень цветущей земли...» И где же этот эдем? Оказывается, в Швейцарии. Но и Россию природой бог не обидел! И цикл стихов Жемчужникова «Сельские впечатления и картинки» можно по праву отнести к шедеврам лирики.

Душа то грустию томима,
То тихой радостью полна...

И всё же, когда вспоминаешь имя Жемчужникова, на память прежде всего приходят его не лирические, а гражданственные строки, типа стихотворения «Почему? (1857):

Умом уж не один разоблачен кумир;
Но мысль трудиться не устала,
И рвется из оков обмана пленный мир,
Прося у жизни идеала...
Но почему ж досель и сердцу и уму
Так оскорбительно, так тесно?
Так много льется слез и крови? Почему
Так всё запугано, что честно?

И спустя 39 лет – в 1895 году:

Всё в бедной отчизне
Преступно и глупо!
Все веянья жизни —
Как запахи трупа!..

Возможно, кто-то из читателей скажет: ну, зачем так актуализировать старого поэта, находить все эти параллели и ассоциации к сегодняшнему дню. Действительно, зачем? Но ведь болела душа у Алексея Михайловича за Россию, за народ, болит и у нас (кто только не повторял фразу из кино: «За державу обидно!»). И остается только надеяться, что весь российский хаос когда-нибудь утихомирится, придет к какой-то гармонии, и тогда можно будет повторить слова Жемчужникова, которые вырвались у него в мае 1879 года:

О, жизнь! Я вновь ее люблю
И ею вновь любим взаимно...

Угадайте, где он написал эти строки? Правильно – в Швейцарии.

В 1900 году Жемчужников был избран почетным академиком Петербургской академии наук по разряду изящной словесности. В последние годы Алексей Михайлович воспринимался почти всеми как «поэт забытых слов», как «последний могикан идейной поэзии», как «рыцарь духа». Жемчужников умер 25 марта (7

апреля) 1908 года в Тамбове, в возрасте 87 лет. Годы жизни братьев Жемчужниковых: Александр (1826 – 1896), Владимир (1830 – 1884), последний, кстати, нашел успокоение на русском кладбище в Ницце.

Ну, а какой заключительный аккорд должен прозвучать? А вот какой. Чистой лирикой, увы, не проживешь. И очень годится для успешной жизни совет Жемчужникова (точнее, Козьмы Пруткова) – «Бди!»

Бди! – когда падает на голову вертикаль власти.

Бди! – когда правительство проводит реформы.

Бди! – когда свирепствует инфляция и доллар падает в пропасть.

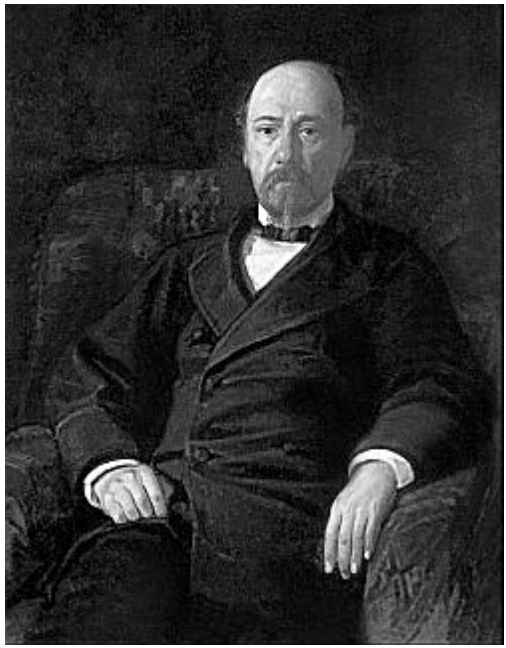
Бди! – когда прокуратура и следственные органы разыгрывают маски-шоу.

Бди! – когда тебя остановит автоинспектор.

Бди! – и держи ухо востро, когда кто-нибудь настойчиво и нежно начинает тебя обхаживать, – наверняка, в этом есть большая корысть.

Это «бди!» можно продолжать до бесконечности, ибо бдеть – это значит жить в России.

ВЕЧНО ЗЛОБОДНЕВНЫЙ НЕКРАСОВ



Николай Некрасов

При упоминании имени Некрасова сразу возникают фразы-формулы: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан...», «Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь...», «Сейте разумное, доброе, вечное...» И фразы-плачи: «Выдь на Волгу: чей стон раздается...», «Бесконечны унылы и жалки эти пастбища, нивы, луга...» Хрестоматийные строки, тысячи раз повторенные и от этого стертые и не говорящие уже ничего...

И все же Некрасов – это не только поэзия, литература, но и сама история России, ее боль и страдание. Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября (10 декабря) 1821 года. Биография его широко известна, поэтому оставим все за скобками. Не будем педалировать тему Некрасова как человека, как личность. Это был барин и страстный человек, – сказал о Некрасове Александр Блок. Корней Чуковский, сравнивая Некрасова с издателем Сувориным, отмечал: «Некрасов не таков: порочный, но не дурной человек».

Некрасов любил играть в карты («головорез карточного стола»), обожал псовую охоту («много травили, много скакали...»),

не был равнодушен к женщинам («Долго не сдавалась Любушка-соседка...»), не всегда был чист в финансовых делах (достаточно вспомнить огаревское наследство), Некрасов – это первый издательский олигарх, ну, и т.д. Все это так, но не это главное. Как справедливо писал замечательный критик Юлий Айхенвальд: «Мы не будем касаться его личности, потому что она умерла, и в русском обществе живут не его пороки и недостатки, а его стихотворения».

Некрасов прежде всего поэт – яркий, гражданский, социальный, народный. Но тут все же необходимо вернуться к началу его биографии, к юности Некрасова, когда он на собственной шкуре познал все «прелести» и лиха жизни, изведал «горемычную нищету». Юный Некрасов жил на подаяния, на копейки за написание писем для неграмотных, занимался репетиторством, жил впроголодь, в ночлежках, в «петербургских углах».

Расчеты мелочей и грязной суеты,
И юношеских лет прекрасные мечты,
Погибшая любовь, подавленные слезы,
Проклятья, жалобы, бессильные угрозы.

Именно в те лихие годы Некрасов «дал себе слово не умереть на чердаке». Он активно занимался журналистикой всех видов: писал заметки, стихотворные пародии, отзывы о книгах – «ничего о них не зная», и, конечно, прозу, рассказы, стихи...

Примерно к 1844 году (к 23 годам) Некрасов выбился из бедности и занял в литературной среде и обществе достойное место, чему способствовало знакомство с Виссарионом Белинским. «Белинский произвел меня из литературного бродяги в дворяне», – скажет позднее Некрасов.

С ранней юности Некрасов узнал цену деньгам и поэтому к ним относился с особым чувством. Недаром современники отмечали противоречивость некрасовского характера, его колебания между «мелким торгашом и глубоко и горько чувствующим поэтом».

Как поэт Некрасов достиг высот и встал вровень с Пушкиным? Но какие они разные! Один гармоничный, светлый, жизнеутверждающий, другой – дисгармоничный, угрюмый, печальный. Пушкин говорил всегда от себя, а Некрасов от имени народа, сочувствуя его «униженности и оскорбленности». И тем не менее Достоевский ставил Пушкина выше Некрасова, хотя многие и не соглашались с такой оценкой. Пушкин – аристократ духа, Рафаэль красоты. Некрасов – живописец-реалист, Рембрандт

российской действительности.

«Убогая, трижды несчастная страна, обиженная богом, плоская, скучная, холодная, безрадостная. Болота, кочки, темные леса, равнины, над которыми песня звучит как стон. Деревни, деревушки, беспросветная глушь. Тяжелые, рабские города, где всё так темно, сжато, бедно, искривлено, изуродовано... Забитые рабские души...» – так описывал Константин Бальмонт образы, созданные Некрасовым, и который свою поэзию представлял как «эту бледную, в крови, кнутом иссеченную музу».

«Некрасов, – писал Бальмонт, – первый посмевший создать музыку диссонансов и живопись уродства, он – многослитный возглас боли и негодования; мы с детства узнаем через него, что есть тюрьмы и больницы, чердаки и подвалы, он до сих пор говорит нам, что вот в эту самую минуту, когда мы здесь дышим, есть люди, которые – задыхаются».

Эту некрасовскую мрачность, «музу мести и печали», подчеркивал и Айхенвальд: «Некрасов – поэт города, Петербурга, поэт проститутки, и все чудища, которые плывут, сплываются и расплываются в испарениях столичной мглы и мерзости, мутно глядели на него белесоватыми глазами и здесь же, на улице, в тумане заставляли звучать его лиру: из этого безобразия он умел творить образы...» Одно только некрасовское «Утро» в Петербурге: утро без солнца, без счастья, без радости, что стоит!

... Начинается всюду работа;
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Провели – там уж ждут палачи.

Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель;
Офицеры в наемной карете
Скачут за город: будет дуэль.

Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть...

И так далее. Бесконечная чреда мучений. «Где-то в верхнем этаже раздался/ Выстрел – кто-то покончил с собой...»

Выражаясь современным языком, гримасы урбанизма. Но Некрасов не только певец сумрачного Петербурга. Его песни, жалобы и стоны неслись по всей крестьянской России. «Кому на

Руси жить хорошо?» – поставил он вопрос и сам же на него ответил: простому народу всегда худо. А вот власти и богатым всегда хорошо.

Где же наш пахарь? чего еще ждет?
Или мы хуже других уродились?
Или не дружно цвели-колосились?
Ветер несет им печальный ответ:
Вашему пахарю моченьки нет.

И сразу вспоминается Анна Ахматова, которая восклицала: «А Некрасова не любить разве можно? Он так поет о пахаре, что нельзя было не рыдать». Не возразишь. Некрасов – поэт страдания и слез. Цензор Волков в рапорте министру просвещения в 1856 году доносил, что у Некрасова «…ни одной отрадной мысли… Он видит всё в черном цвете… Как будто уже нет более светлой стороны?..» Некрасов сам признавался:

Мне самому, как скрип тюремной двери,
Противны стоны сердца моего.

Но что Некрасов мог поделать, когда куда ни глянь, везде одно и то же – боль и страдание, «везде неправедная власть» (это уже Пушкин). И раздаются вопросы некрасовского «убогого странника»: «Мужик, ты тепло ли живешь?», «хорошо ли ешь, пьешь?», «что в кабак ты идешь?..»

В своих гражданских стихах Некрасов порой кипел злобою. Захлебывался в ней. Задыхался. И, понимая это, говорил в поэме «Саша»:

Злобою сердце питаться устало —
Много в ней правды, да радости мало…

Но ни писать, ни страдать Некрасов не мог («Вечные спутники русской души – ненависть, страх…»). Но он умел и видеть себя со стороны, как «рыцаря на час» – не более («Суждены нам благие порывы,/ Но свершить ничего не дано»).

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу – день за днем бесполезно губя…

Недоволен был Некрасов подчас и своим творчеством:

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих.

Но это ему так казалось, а другие некрасовскими стихами восторгались. Анна Ахматова считала, что поэма «Мороз, Красный нос» – «одно из величайших явлений русской поэзии. Всё – музыка. И всё – открытие». И Анне Андреевне нельзя не верить.

В свое время Некрасов был самым почитаемым поэтом в России, а собратья по перу этого не прощают. Отсюда и парадокс: Некрасов являлся самым нелюбимым поэтами поэт. Достаточно вспомнить, как отзывался о нем Тургенев. Иван Сергеевич писал Полонскому: «Некрасов – поэт с натугой и штучками; пробовал на днях перечесть его собрание стихотворений... Нет! Поэзия и не ночевала тут – и бросил в угол это жеваное папье-маше с поливкой из острой водки» (1868).

А вот Игорь Северянин (некрасовский антипод в поэзии) посвятил Николаю Алексеевичу один из своих «Медальонов»:

Блажен, кто рыцарем хотя на час
Сумел быть в злую, рабскую эпоху,
Кто к братнему прислушивался вздоху
И, пламенея верой, не погас...

И заключительные, концевые строки сонета:

Так перед плотно запертою дверью
Рыдал Некрасов, русский Дон Кихот.

Некрасов умер 27 декабря 1877 года, более 130 лет назад. Исторически срок немалый. Ну, и что радикально изменилось на Руси? Не будем касаться технического прогресса («мерсы» заменили лошадей; появились самолеты, мобильники, компьютеры и т.д.) А жизнь народа-то как? Полегчало?

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая – «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна, —
Не верьте, юноши, не стареет она!.. —

предвидел Некрасов в стихотворении «Элегия» (1874).

С тех пор многое ли изменилось? Если отъехать от витрины

России – Москвы, то те же плохие дороги, ветхие дома, уныние, пьянство, вымирание, ужасающая выморочность. И одновременно уголки капиталистического рая. Парадные подъезды, где сытые и холеные новые господа вершат судьбы простых людей: «что тебе эта скорбь вопиющая, что тебе этот бедный народ?..» Нынешняя Россия разделена как бы на две части: на «нищую и убогую» и на «могучую и обильную». И это жуткое социальное неравенство двух Россий как бы зацементировано, что кажется, эти разные России никогда не воссоединятся вместе. Невольно вспоминается сон Некрасова:

Я заснул...
Мне снились планы
О походах на карманы
Благодушных россиян,
И, ощупав мой карман,
Я проснулся...
Шумно... В уши
Словно бьют колокола,
Гомерические куши,
Миллионные дела,
Баснословные оклады,
Недовыручка, дележ,
Рельсы, шпалы, банки, вклады —
Ничего не разберешь!..

Узнаваемо? И еще: «Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллион» . И вот, уже в печати, директор Пушкинского Дома Николай Скатов пишет статью «Почему мы не любим Некрасова?» Да потому, что мы отвернулись от христианской любви, нам не до нее. И, вообще, сколько можно об одном и том же? Стенать и возмущаться! Живописать и бередить раны!

Хватит. Надоело. Не ново. Ничего в России не изменилось: как были баре, так и остались (чиновники даже назначили себе пенсии в 40 раз больше, чем у простых тружеников, вышедших по старости на пенсию). Одни жируют и их слух услаждает развеселая армия попсы, другие стонут на Волге, Каме, Оби и на прочих водных магистралях России. «И пойдет грабеж огульный»! – застонешь, конечно, и вопрос «Кому на Руси жить хорошо» отпал сам собой. Один только вопрос остался: а чем все это кончится? У Некрасова свой финал: «и случится крррах!»

Одна надежда на великое терпение народа, на то, что народ, как считал Некрасов: «вынесет все». Перетерпит. Переживет, – и не дай Бог нам новой революции. А пока —

В столице шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.

Такие вот грустные мысли приходят, когда мы вспоминаем Некрасова.

«ПОДРУГА СЕМИСТРУННАЯ» ПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли.

С детства памятный напев,
Старый друг мой – ты ли?..

Аполлон Григорьев.
Цыганская венгерка.

Аполлон Григорьев

Когда однажды я принес в одну редакцию материал об Апухтине, ответственное лицо было разочаровано: «Стихи – да, но жизнь какая-то скучная... Где любовь? Где страсть?.. Нет никакой пикантности...»

Ах ты, боже мой, как всем хочется чего-нибудь эдакого. Можно подумать, что мы живем в скучную эпоху. Всё как раз наоборот. Время сверхбурное. И в этой сверхбурности хочется еще чего-то супербурливого. Какого-то будоражащего наркотика. Может быть, просто русского загула? «Буйного похмелья, горького

веселья»?

Кстати, чьи эти строки? Аполлона Григорьева. Вот кто прожил недолгую, но чрезвычайно бурную, огневую, противоречивую жизнь, раскачиваясь на качелях своих взлетов и падений. Именно он, Аполлон Александрович Григорьев, знаменитый литературный критик, переводчик, мемуарист и поэт. И первая странность: автор множества стихотворений, он при жизни издал всего один-единственный сборник в феврале 1846 года тиражом… 50 экземпляров.

Аполлон Григорьев родился 16 (28) июля 1822 года в Москве в зажиточной семье. Отец – дворянин, чиновник, мать – дочь крепостного кучера. Возможно, именно эта комбинация разных социальных и культурных генов вывела на свет такого преоригинального человека, каким был Аполлон. Он считал себя «последним романтиком», донкихотом, и часто подписывал свои статьи так: «Один из ненужных людей».

Детство его было безоблачным: любимое дитятко в семье. Мать ласково расчесывала его волосы, а отец самолично провожал его… нет, не в детский сад или школу, а в университет. Аполлон все, что попадалось под руку, читал взахлеб, пристрастился рано к поэзии, прекрасно говорил по-французски и вдохновенно играл на рояле. Словом, прекрасное детство. Неомраченная юность. Это первая половина жизни. А вторая покатилась совершенно иной…

Аполлона Григорьева постоянно бросало из стороны в сторону: то он был деловым и энергичным, то впадал в скуку и в сплин, то хотел переделать весь мир, то отгораживался от него и презирал всех и вся. «Неумелый человек, одно только умел – следить за умственным и эстетическим движением, чувствовать и понимать все явления в нашем мире искусства и мысли. Сюда были устремлены все силы его души; здесь была его радость и печаль, долг и гордость», – так писал о нем близкий друг Николай Страхов.

Аполлона Григорьева как стихотворца очень ценил Блок. Книгу его стихов Александр Блок подарил Максиму Горькому с надписью: «Дарю Алексею Максимовичу Пешкову – книга, полная русской тоски и пьяной хандры, но и русских прозрений. От редактора ее».

Размышляя над многими чудачествами и безумствами Аполлона Григорьева, Блок писал: «Этот неряха и пьяница, безобразник и гитарист никогда, собственно, и не хотел быть «светлою личностью», не желал казаться «беленьким» и «паинькой». Он не «ставил себе идеалов», к которым полагается «стремиться».

Но – «русские прозрения»! В чем они? Вот короткая канва не столь прозрений, сколь метаний Аполлона Григорьева. Московский университет. Лекции Грановского, Погодина, Шевырева, пробудившие интерес к русской старине и устному народному творчеству. Первые шаги по службе (в Управе благочиния, в Сенате) – и полная несостоятельность в канцелярской работе. Первые стихи, вызванные несчастной любовью (но об этом позже). Гнет родителей. Преследование кредиторов. Бегство из Москвы в Петербург, где Григорьев посвящает себя целиком литературе. В 1845 году в «Отечественных записках» появляется первое его печатное стихотворение «Прости». Сотрудничество с различными журналами. Много пишет сам, редактирует, переводит. Мечется между двумя различными политическими лагерями: то он славянофил, то западник. Кстати говоря, «раздвоение двух лагерей» Аполлон Григорьев ведет смерти Пушкина.

В июле 1857 года Аполлон Григорьев становится воспитателем и домашним учителем юного князя Ивана Трубецкого. Следует выезд в Италию. Но учительства не получилось (не хватило выдержки?). И снова литературная работа. Создает цикл стихов «Импровизация странствующего романтика». Сближается с братьями Достоевскими. Масса других интересных знакомств и вместе с тем полное одиночество, неумение, неспособность посвятить себя какой-то одной определенной идее и цели. Сам Аполлон Григорьев признается: «Нет, не рожден я биться лбом...»

Так он и не прибился ни к какому «приходу». Остался одиноким художником, одержимым «умственными сатурналиями». Волк без стаи, но с душою романтика. Необычайно темпераментный по природе, Аполлон Григорьев не умел вести нудные практические дела, отстаивать свои интересы. Отсюда постоянное безденежье. Был дважды посажен в долговую тюрьму. И не случайно поэтому приступы отчаяния. Запои. Он сам говорит: «В вине ищу нередко я забвенья...» У него явственное ощущение рокового конца.

Паду ли я в грозящей битве
Или с «запоя» кончу век, —

писал он в феврале 1858 года, за шесть с половиной лет до своей кончины.

О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!

Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!..

В этих строках Аполлона Григорьева такая «безнадега» чувствуется, хоть вешайся. Нет, он не делал никаких роковых попыток. Его спасали от петли вино, цыгане и гитара.

Из воспоминаний Константина Леонтьева:

«Мне нравилась его наружность, его плотность, его добрые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые движения, под которыми укрылась страстность. Когда он шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, медленный, с бородкой, когда пил чай и, кивая головою, слушал, что ему говорили, – он был похож на хорошего, умного купца, конечно, русского, не то чтобы на негоцианта в очках и стриженых бакенбардах! Один из наших писателей рассказывал мне о своей первой встрече с Ап. Григорьевым; эта встреча, кажется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в руках; не говоря ни слова, садится и начинает играть, и если не ошибаюсь, и петь».

«Ведь он, шельма, прегениальнейшая бестия, этот Сашка!..» – восклицал по поводу Аполлона Григорьева композитор Александр Серов.

Поэт и «бестия» Аполлон Григорьев был неплохим гитаристом и нередко с гитарой садился за нескончаемый самовар. Он приезжал к своему однокашнику по университету Афанасию Фету на Басманную и пел. Фет вспоминает:

«Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы... Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю... Репертуар его был разнообразен, но любимою его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка».

Так вспоминал Фет. И сразу зададимся вопросом: кто же был «душечкой» Аполлона Григорьева? «Душечкой» была не одна, а несколько женщин, но все попытки поэта найти в каждой из них большую любовь оставались неудачными. Аполлон Григорьев открывал, нет, скорее, распахивал свою душу полюбившейся ему

женщине, а в ответ холодное неприятие, без единой искорки взаимного чувства. Даже цыганка Стеша осталась равнодушной к Аполлону Григорьеву и упорхнула от него, как птичка.

Первый раз Аполлон женился в середине 1847 года, когда ему шел 25-й год. Но как женился? Любил Аполлон Антонину Корш. Она его отвергла, он страдал и женился через некоторое время на ее сестре Лидии Корш, чтобы быть поближе к любимой женщине хотя бы как родственник.

Вот как описывает Аполлон Григорьев свою первую встречу с Антониной: «Разговор наш был незначителен, но я рад был, что мог хоть что-нибудь говорить: близость этой девушки веяла на меня благоуханием – мне было сладко тонуть взглядом в ее детски ясных, голубых глазах».

Ну а потом это благоухание для Григорьева испарилось: Антонина отдала предпочтение другому – Константину Кавелину, человеку степенному и надежному, историку и публицисту.

«Но если эта женщина полюбит кого-нибудь, она будет следовать за ним на край света», – говорил Кавелин. Я молчал: меня сжимал внутренний холод – мне было нестерпимо грустно» – это выдержка из автобиографического рассказа Аполлона Григорьева «Мое знакомство с Виталиным».

Итак, любимая женщина ушла, и остается только рвать гитарные струны:

Басан, басан, басана,
Басаната, басаната,
Ты другому отдана,
Без возврата, без возврата!..

В отчаянии ли, из-за мести ли или по какой-то иной причине, но Аполлон Григорьев женится на сестре Антонины – Лидии. Брак оказался неудачным (да и разве мог он быть удачным?), его не смогли скрепить и родившиеся дети. Сам Аполлон Григорьев был человеком не семейного, а богемного образа жизни, такой же непутевой оказалась и жена Лидия. Последовали измены, и всё сразу зашаталось и рассыпалось.

К моменту окончательного распада семьи Аполлон Григорьев безотчетно любил таинственную незнакомку любовью пламенной, экзальтированной, о чем свидетельствуют его стихи из цикла «Дневник любви и молитвы»:

Как тяжело любить такой любовью,
Рыдать без слов, метаться, ощущать,
Что кровь свинцом расплавленным, не кровью,

Бежит по жилам, рваться, проклинать,
Терзаться ночи, дни считать тревожно,
Бояться встреч и ждать их, жадно ждать...

У Аполлона Григорьева одна несчастная любовь сменилась другой. Леонида Визард, по которой томился поэт, москвичка, из семьи выходцев из французской Швейцарии. По свидетельству современника, она была «замечательно изящна, очень умна, хорошенькая, талантливая, превосходная музыкантша... Ум у нее был очень живой, но характер сдержанный и осторожный. Григорьев часто с досадой называл ее пуританкой. Противоположностей в ней была масса, даже в наружности. Прекрасные, густейшие, даже с синеватым отливом, как у цыганки, волосы и голубые, большие, прекрасные глаза. С ее стороны не было взаимности никакой...»

Очевидно, своим женским нутром она чувствовала, что Аполлон Григорьев не тот, кто ей нужен: излишне горяч, порывист, неуравновешен. И еще одно немаловажное обстоятельство: он – отец троих сыновей. Зачем ей все это? Отсюда вся холодность Леониды Визард. А он все любил, все пылал, все надеялся на взаимность. И так продолжалось более 6 лет. В 1857 году все надежды поэта окончательно рассеялись, растаяли как дым. Визард вышла замуж за инженера-поручика, помещика и к тому же небесталанного драматурга Михаила Владыкина и уехала с ним в Пензенскую губернию. В глазах Аполлона померк свет. Загнанный болью и отчаянием в угол, он излил свою несостоявшуюся любовь в двух прекрасных стихотворениях-романсах «О, говори хоть ты со мной...» и «Цыганская венгерка».

Горюя о своем идеале («Я ведь не говорил, что она совершенство, а говорю только, что она была создана совсем по мне, равно как и я создан был совсем по ней... Зовите меня сумасшедшим... но я, и умирая, не поверю, что эта женщина была не то, чем моя душа ее знала...»), Григорьев в начале 1859 года сошелся с полюбившей его мещанкой Марией Дубровской, ставшей его гражданской женой. Он пожалел и вытащил ее из притона (мечта каждого русского интеллигента: обязательно кого-то спасти). Однако Дубровская не смогла забыть своего прошлого, и поэтому ее жизнь с Аполлоном Григорьевым протекала бурно: разрывы, примирения, ссоры, расставания.

Квинты резко дребезжат,
Сыплют дробью звуки...
Звуки ноют и визжат, —

Словно стоны муки...

Все та же «Цыганская венгерка». Короче, личная жизнь Аполлона Григорьева не задалась. Неустроенность. Почти бездомность. И почти бродяжничество. Бомж с гитарой?..

В сентябре 1861 года Григорьев жалуется Страхову в письме: «В эти две недели воспоследовали опять каинская тоска, приливы желчи и, стало быть... прилив служению Лиэю, не вредивший, однако, делу классов. А теперь, разумеется, я разбит, как старая кобыла. Да и, право, я не больше как старая, никуда уже не годная кобыла... Увы! как какой-то страшный призрак – мысль о суете суетствий, мысль безотраднейшей Книги Екклезиаста, – возникает всё явственней, и резче, и неумолимей перед душою...»

«Раскаянья надгробные цветы» – строчка из стихотворения Аполлона Григорьева «Дума» (1846).

Последняя женщина поэта – генеральша Бибикова. Она выкупила Аполлона Григорьева из долговой тюрьмы, но не для того, чтобы вручить ему свое сердце, а для литературного наставничества. Генеральша баловалась сочинительством и рассчитывала на помощь известного литератора.

Через три дня после выхода на свободу Григорьева хватил удар, после того как он бурно отметил свое освобождение. Смерть свою он почувствовал и ушел умирать, как собака. Аполлон Григорьев умер 25 сентября 1864 года, в возрасте 42 лет. После его похорон приятели напились с горя.

Так скончался, сгорел апостол русского романса, «вечно декламирующая душа» (как назвал его Федор Достоевский). Ушел из жизни человек, ставший прототипом героев многих литературных произведений – Федора Протасова («Живой труп»), Мити Карамазова, персонажей Островского – Любима Торцова, живущего «метеорною жизнию», и актера Несчастливцева с его романтическим отношением к искусству и к жизни.

Мы у Неба не просим покоя
И не ждем ничего от судьбы.

Не покоя жаждал Аполлон Григорьев, а бури. И четко сознавал при этом, что не в силах взять судьбу в свои руки. Судьба его и придавила, точнее, не судьба, а «коловратность бессмысленного дня», как сам выразился поэт в стихотворении «Город».

«Подруга семиструнная» осиротела. Как последний аккорд звучат слова Константина Леонтьева из письма Страхову:

«В той гамме индивидуальностей, которой и теперь уже не бедна Россия, Аполлон Григорьев занимал не последнее место».

ЛЕТОПИСЕЦ ГОРОДА ГЛУПОВ

Михаил Салтыков-Щедрин

Есть классики спокойные (за давностью лет – всё отшумело и отгорело), уравновешенные, гармоничные, застывшие в своем гранитном академизме. А есть, – и тому яркий пример Салтыкова-Щедрина, – которые и сегодня продолжают жечь глаголом сердца людей. Ну, конечно, не глаголом, а своим беспощадным, анализом российской действительности, которая, увы, мало изменилась с тех давних пор, и потому Салтыков-Щедрин не теряет своей злободневности. Читаешь его – ну, прямо про нынешний день. И это не какой-то «плавленый сырок» Шендеровича, а настоящая плавильня человеческих пороков и мерзостей. Салтыков-Щедрин – писатель-обличитель, писатель-судия. Читаешь его – вспоминаешь историю российской жизни. Оглядываешься сегодня вокруг – вспоминаешь Салтыкова-Щедрина. Мы находимся как бы в кругу его произведений, а наиболее часто – в городе Глупове. Меняются только лица, персонажи, действующие герои.

«Трифонычи сменяют Сидорычей, Сидорычи сменяют Трифонычей – вот благодарение Богу, все политические перевороты, возможные в нашем любезном отечестве. Если такая перетасовка королей и валетов может назваться революцией, то,

конечно, нельзя не согласиться, что она совершается на наших глазах. Пожалуй, можно сказать даже, что в настоящее время она совершается сугубо, потому что на место старых и простых Трифонычей поступают Трифонычи молодые, сугубые, махровые».

Это – Салтыков-Щедрин. Лучшие его произведения – приведем их сразу – «Благонамеренные речи» (1872 – 1876), «История одного города» (1869 – 1870), «Господа Ташкентцы» (1869 – 1872), «Дневник провинциала в Петербурге» (1872), «Господа Головлевы» (1875 – 1880), «Современная идиллия» (1877 – 1883), «Убежище Монрепо» (1878 – 1879), «За рубежом» (1880 – 1881), «Письма к тетеньке» (1881 – 1882), «Сказки» (1869 – 1886), «Мелочи жизни» (1886 – 87), «Пошехонская старина» (1887 – 1889). А еще пьесы: «Смерть Пазухина» и «Тени».

Михаил Салтыков писал свои сочинения под псевдонимом Н.Щедрин. В русскую литературу он вошел с двумя фамилиями: Салтыков-Щедрин. Салтыков имел успешную карьеру на государственной службе, а Щедрин в своих произведениях критиковал эту службу, поносил чиновников – всё то, чему служил верой и правдой. Такая вот амбивалентность.

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской губернии шестым ребенком в помещичьей семье. Род Салтыковых старинный. Салтыковы били челом первому русскому царю Михаилу Романову о бесчестии, жалоба их была удовлетворена, Тимофея Салтыкова били батогами и запретили ему впредь именовать себя Салтыковым. Однако тот ослушался и передал своему потомству фамилию Салтыковых.

Бичевателя человеческих пороков били во младенчестве. «Помню, что меня секут, кто именно не помню, но секут как следует, розгою, а немка-гувернантка старших моих братьев и сестер заступается за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком еще мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше».

Учился Салтыков сначала в Московском Дворянском институте, а потом в Императорском Царскосельском лицее, как Пушкин. В журнале «Библиотека для чтения» появилась и первая публикация – стихотворение «Лира», однако стихотворцем Салтыков не стал. С чином XX класса (коллежский секретарь) поступил на службу в канцелярию Военного министерства. Имел неосторожность опубликовать в «Отечественных записках» повесть «Запутанное дело», в котором сам Николай I обнаружил «вредное направление и стремление к распространению идей, потрясших всю Западную Европу». Короче, крамола. Но император проявил милость по отношению к молодому

Салтыкову и отправил его служить в Вятку. Будущий писатель назвал это «изгнанием».

Этапы службы: Вятка, Пенза, Рязань, Тула, Тверь. Салтыков – высокопоставленный чиновник, дослужился до звания гражданского генерала, был в должностях вице-губернатора. Делал одно, а думал другое. Уже на первой службе, в канцелярии Военного министерства увидел, что «везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь...» И чем дальше жил и служил Михаил Евграфовович, тем горестнее и печальнее он становился. Он любил Россию, но отчетливо видел, как «тля опутала все наши Палестины: в каждом углу она сосет, точит, разоряет и вдобавок нахальничает». Но если бы только нахальничала, так еще и бьет, больно бьет, как в Ташкенте. Ташкент, по Щедрину, это – символ «страны, лежащей всюду, где бьют по зубам». Вот совсем недавно, в путинские времена, таким «Ташкентом» стал город Благовещенск. А разве он один?!..

Щедрин писал: «Так-то жизнь идет наперебой судьбе и самой невероятной сатире. Кто мог думать, что я в этом случае буду пророком, – а вот, однако ж, вышло, что я всё это предвидел и изобразил».

Чтобы стать писателем, шутил Щедрин, «нужно только сесть у окошка и пристально глядеть на улицу. «Прошел по улице франт в клетчатых штанах – записать; за ним прошла девица... записать». Об этом немудрящем глаголе «записать» Леонид Гроссман выразился так: «Дар его – мощно и выпукло лепить с:безобразной действительности пугающие гротески...»

Беспощаден и суров был Михаил Евграфович. Мариэтта Шагинян в свое время признавалась, что, еще не познакомившись с книгами Салтыкова-Щедрина, увидела его портрет – и была потрясена. Такой скорбный, такой гневный и такой требовательный взгляд был у русского классика! Да, именно таким суровым взглядом Салтыков-Щедрин окидывал все российские веси и гати и выносил нелицеприятный приговор. Нет, он не был прокурором, он был критиком и моралистом и по-настоящему радел за землю русскую, потому и боролся печатным словом против власти и чиновников, творящих беззаконие и произвол. Ну, а прокуроров он «нежно» любил. Помните, как он писал «У обывателя Куралеса Проказникова, на Болоте, уродился мальчишечка, по имени Прокурор...»

А как вам нравится, такая историческая сентенция Салтыкова-Щедрина: «Начальство – это продукт отечества, отечество же, в свою очередь, продукт начальства...»

Нельзя не вспомнить щедринские «Соседи»: «В некотором селе жили два соседа. Иван Богатый да Иван Бедный. Богатого

величали «сударем» и «Семенычем», а бедного – просто Иваном, а иногда Ивашкой. Они были хорошие люди, а Иван Богатый – даже отличный, как есть по всей форме филантроп. Сам ценностей не производил, но о распределении богатств очень благородно мыслил. «Это, говорит, с моей стороны лепта. Другой, говорит, и ценностей не производит, да и мыслит неблагородно – это уже свинство. А я еще ничего». И Иван Бедный о распределении богатств совсем не мыслил (недосужно ему было), но взамен того производил ценности и тоже говорил: это с моей стороны лепта...»

Писатель признавался: «Я Езоп и воспитанник цензурного ведомства». Действительно, Салтыков-Щедрин – Езоп, но очень прозрачный. У него подчас не только намеки, но, как говорится, не в бровь, а в глаз.

В февральском номере журнала «Современник» за 1861 год в очерке «Литераторы-обыватели» Салтыков-Щедрин впервые упомянул образ города Глупова. После чего писатель не раз возвращался к Глупову и глуповцам, бичуя их своей сатирой. Что ни сделают, что ни предпримут, – все не в масть, одна глупость выходит. Ничего не продумано, ничего не просчитано, вся надежда только на «авось» да «кабы». Помните, был такой недавний пример с монетизацией льгот.

Салтыков-Щедрин ненавидел не только власть и подпирающих ее чиновников, но и гневно критиковал народ, за его податливость и пассивность, за то, что сам народ добровольно лезет в ярмо. «Да, русский мужик беден, – писал Щедрин в «Письмах о провинции», – но это еще не столько важно, как то, что он не осознает своей бедности. Приди он к этому сознанию, его дело было бы уже наполовину выиграно, и главные причины нашего экономического неустройства, то есть случайность, неожиданность, произвол и т.д., устроились бы сами собою».

Салтыков-Щедрин не был оптимистом. В глубинах народной жизни он видел «...лишь убожество, нищету да бессилие». Будучи за границей, писатель, увидев буйные хлеба у немцев, отметил: «Это было до такой степени неожиданно (мы все заранее зарядились мыслью, что у немцев хоть шаром покати, и без нашего хлеба немец подохнет), что некто из ехавших рискнул даже заметить: – Вот увидите, что скоро отсюда к нам хлеб возить станут!» И ведь стали же!..

Что тут сказать? Терпелив русский народ. Верит в барскую милость. И ждет годами-десятилетиями-веками, когда же потекут молочные реки при кисельных берегах. Да и либералы наши хороши, «соль земли», интеллигенция. Всё бурлит, кричит, мечется и непонятно, что хочет: «не то конституции, не то

севрюжины с хреном». А простой народ вроде мелкой рыбешки, пескарика, – боится, как бы не попасть в рот прожорливой щуки-чиновника.

« – Смотри, сынок, – говорил старый пескарь, умирая; – коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

Хочется продолжить щедринские опасения: жуировать – это лавировать сегодня между навалившимися реформами, того и гляди, какая-нибудь глыба ЖКХ на голову свалится и придавит.

«Великий диагност наших общественных зол и недугов», – когда-то сказал о Салтыкове-Щедрине Илья Сеченов. И тут самое время вспомнить и другие оценки современников: «Прокурор русской общественной жизни и защитник России от врагов внутренних» (газета «Искра»); «Маяк для всей наиболее умственно независимой части населения» (Н. Щелгунов); «Сократ русской общественной мысли» (А. Ухтомский); «Радетель о русской земле» (Глеб Успенский); «Пророк vates римский» (А. Островский). «У вас есть все что нужно – сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у Вас одних… и по содержанию – любовь и потому знание истинных интересов жизни народа» (Лев Толстой); «Открыто презирать умел один только Салтыков» (А. Чехов).

Однако не всем нравились инвективы писателя. К примеру, знаменитый критик и нигилист Дмитрий Писарев считал сочинения Салтыкова-Щедрина безответственным и неостроумным зубоскальством.

В юбилейный 1926 год Игорь Северянин, большой почитатель Щедрина, написал сонет о писателе:

Не жутко ли, – среди губернских дур
И дураков, туземцев Пошехонья,
Застывших в вечной стадии просонья
Живуч неумертвимый помпадур?

Неблагозвучьем звучен трубадур,
Чей голос, сотрясая беззаконье,
Вещал стране бесплодье, похоронье,
Чей смех тяжел, язвителен и хмур.

Гниет, смердит от движущихся трупов
Неразрушимый вечно город Глупов —
Прорусенный, повсюдный, озорной,

Иудушки из каждой лезут щели,
Страну одолевают. Одолели.

И нет надежд. И где удел иной?

Ханжа и лицемер Иудушка Головлев – один из потрясающих образов Салтыкова-Щедрина, этот образ любил Ленин и приклеивал его к своим политическим противникам (Иудушка-Троцкий, к примеру). Как отмечено в старой Энциклопедии: «В.И. Ленин и И.В. Сталин неоднократно пользовались щедринскими образами в борьбе с врагами рабочего класса». В Твери долгое время была экспозиция «Ленин и Щедрин». Вождям нравилось, как «великий революционный демократ» критиковал царскую Россию, себя и советскую страну они никак не могли видеть объектом критических стрел. В 1952 году на XIX съезде партии в отчетном докладе Георгий Маленков сказал, что «нам нужны советские Гоголи и Щедрины». Вождь лукавил: нужны были фанфаристы, барабанщики, а отнюдь не сатирики… Сатирика Михаила Булгакова власть планомерно довела до могилы. Булгаков признавался: «Влияние Салтыков на меня оказал чрезвычайное, и будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией… Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные клементинки, рукосуи, и лапотники, майор Прыщ, и бывалый прохвост Угрюм-Бурчеев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным…»

Можно процитировать и старую статью (1975) молодого тогда критика Андрея Туркова: «Чего стоят, скажем, одни градоначальники града Глупова – эти луны, причудливо отражающие, «фокусирующие лучи» административных солнц куда большого масштаба, или «господа ташкентцы» с их тупоумной убежденностью в том, что они вправе вершить судьбами народа и страны (безо всяких реальных к тому оснований, или смешно сказать, способностей!) или шайка, «патриотически» настроенных мерзавцев, стоящих на «правильной стезе», у которых на подозрении – чуть не весь мир, а цель простым-проста – ухватить в пылу своих верноподданнических чувств кусок пожирнее!..»

Короче, Валтасаров пир!..

С невыразимой печалью Салтыков-Щедрин констатировал, что «негодяй – властитель современности». А еще: «Хищник – вот истинный представитель нашего века». А двадцатый? А начавшийся двадцать первый, когда хищничество стало обыденной нормой?.. А в итоге – «Ах, тетенька, тетенька! как это мы живем! И земли, у нас довольно, и под землей неведомо что лежит, и леса у нас, а в лесах звери, и воды, а в водах рыбы – и

все-таки, нам нечего есть!»

Это – «Письма к тетеньке». Удивительно цитатный автор Салтыков-Щедрин! Но, несмотря ни на что, писатель говорил: «Я люблю Россию до боли сердечной».

Заграница его не впечатляла. Когда в 1875 году он по настоянию врачей отправился лечиться в Ниццу, отдых и местные красоты стали для него пыткой. Из Ниццы Салтыков-Щедрин посылал домой письма злые и желчные: «Скучновато, но климат хороший... И везде виллы, в коих сукины дети живут. Это беспредельное блаженство сукиных детей, их роскошь, экипажи, платья дам ужасно много портят крови...»

Алексею Жемчужникову Щедрин пенял: «Что Вы так надолго запали за границу? Кажется, надо бы и про нас вспомнить, про нас, которые здесь живут и пишут (9 февраля 1870).

А живя и творя в России, Салтыков-Щедрин упивался ее болячками и язвами. «Быть любезным – совершенно не моя специальность», – говорил великий сатирик.

«Две трети читателей не любили его, – утверждал Чехов, – но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения». Когда Салтыков-Щедрин умер, на его поминках был дед Александра Блока – Андрей Бекетов. Он оставил такую запись: «Говорят, что он (Салтыков-Щедрин) ненавидел всё русское. Я скажу, что он ненавидел подлость и глупость повсюду, а так как он писатель русский, то он обрушивался исключительно на глупость и подлость русскую. Он стремился искоренить в своем отечестве и то и другое. Пусть всякий сам судит о том, насколько он послужил этому делу...»

В конце жизни на писателя обрушились тяжкие болезни, приходили даже мысли о самоубийстве. Он жил несколько отстраненно от общества и от коллег-писателей. Тяжело переживал нелады в семье, однако не прекращал писание. За несколько дней до смерти он написал начальные страницы задуманного произведения «Забытые слова», где хотел напомнить «пестрым людям» 80-х годов своего века об утраченных ими словах: «...совесть, отечество, человечество... другие там еще...»

В середине апреля 1889 года вышел в свет первый том 9-томного «Собрания сочинений» Салтыкова. Остальные Михаил Евграфович уже не увидел. 28 апреля (10 мая) 1889 года в 3 часа 20 минут дня он скончался, в возрасте 63 лет. Его похоронили на Волковом кладбище Петербурга, согласно завещанию – рядом с могилой Тургенева. В советское время прах писателя перенесли в другое место некрополя. И тут уместно вспомнить строки Анны Ахматовой:

Темнеет жесткий и прямой Литейный.
Еще не опозоренный модерном,
И визави меня живут – Некрасов
И Салтыков... обоим по доске
мемориальной. О, как было б страшно
им видеть эти доски!..

В письме-завещании сыну Константину Салтыков-Щедрин писал: «Еще паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».

К литературе мы еще вернемся, а пока несколько мазков о семейной жизни и характере Михаила Евграфовича. В 27-летнем возрасте в Вятке влюбился он в 13-летнюю Лизу Болтину. Через три года они обвенчались в Москве. Увы, семейного счастья писатель не нашел, но тем не менее всю жизнь любил свою Елизавету Аполлоновну, женщину, по воспоминаниям современников, вздорную, мелочную, мало ценившую талант мужа. Она была часто груба и бессердечна с ним (не отсюда ли ответный литературный гнев?..). Даже смертельно больного мужа она продолжала проклинать и напутствовала его пожеланием скорее умереть. Словом, «Современная идиллия» – так называлась одна из книг писателя. Или семейная!..

Дома Салтыков-Щедрин был почти безропотным и тихим, а на работе, в губернских канцеляриях, в качестве вице-губернатора проявлял неизменную твердость и требовательность, беспощадно карал лихоимцев и бездельников, за что был прозван вице-Робеспьером. Обладал исключительным пуританизмом. Резко выступал против «Анны Карениной» Толстого и «Нана» Золя. Эротические мотивы ему были ненавистны.

Из пристрастий Салтыкова-Щедрина: любил итальянскую оперу. В его кумирах ходили Россини и Беллини. Но главной музыкой, конечно, была литература. К условиям писательской работы был неприхотлив, мог творить при необходимости даже на подоконнике, но зато проявлял требовательность к письменным принадлежностям, любил писать на хорошей бумаге, причем перегибая ее пополам. На первой половине он записывал текст, а на второй – поправки и дополнения к нему. Русским языком он владел отменно и удачно вкрапливал в текст язык чиновничьих канцелярий и бюрократических документов. И создавал новые слова и понятия – «щедринизмы». А говорящие фамилии: Удав, Дыба, Дерунов, Разуваев... И еще отличался писатель мнимой серьезностью и перевертыванием смысла. Например, в «Недоконченных беседах»: «народная политика»

означает противонародную; «правовой порядок» – бесправие; «превратные суждения» – передовые взгляды и т.д. И, конечно, богатейшая палитра смеха, от мягкого и светлого до грозного и мрачного.

В «Дневнике провинциала в Петербурге» Салтыков-Щедрин создал правила поведения российских литераторов. «Обязанности сии суть:

Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило.

Второе. По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать».

Далее опускаем, и правило девятое: «Опасаться вообще». Вот этим «опасаться» Салтыков-Щедрин провидчески заглянул в будущее, в советскую литературу. «Совсем неуютный писатель» – так назвал свою статью о Щедрине в связи с его 100-летием супер-советский журналист Давид Заславский. Неуютный для потомков или современников? «Летописец минуты», «историк современности», как называл себя Салтыков-Щедрин, был, как вспоминает известный юрист Анатолий Кони, грубым и неискренним человеком. Это наблюдение портит, конечно, глянец на портрете классика (пятна на солнце!). В дневнике Корнея Чуковского можно прочитать следующее о встрече с 80-летним Анатолием Федоровичем Кони (4 апреля 1925):

«Рассказывал, что Салтыков был ужасный ругатель – и про всех отсутствующих, хотя бы и так называемых друзей, всегда отзывался дурно. Например, о Лихачеве: Лихачев устраивал в течение многих лет все денежные дела Салтыкова, покупая акции и проч. Предан он был Салтыкову, как собака. И вот однажды Салтыков говорит: Экой мерзавец этот Лихачев. – Отчего? – с испугом спросил Кони. – Да вот уже 3 часа, а он до сих пор не приходит из банка. Должно быть, протранжирил мои деньги, спустил, убежал...»

Что ж, две ипостаси одного человека. Салтыков просто недоверчиво относился ко всем, подозревая почти в каждом какой-то подвох. А Щедрин пытался проникнуть в суть человеческую, понять и, возможно, простить. До ужаса лишенный иллюзий Щедрин писал: «Стыд хорошее здоровое чувство – при случае может быть рекомендован» в качестве целесообразного практического средства. Нужно, чтобы возможно большее количество людей почувствовали стыд».

Стыд в начале XXI века – а что это такое?!.. «Большинство даже людей так называемой культуры просто без стыда живет», – отмечал Щедрин о своем времени.

Вот, пожалуй, весьма кратко о Салтыкове-Щедрине, более подробно можно узнать из щедринских томов «Литературного наследства». Исследователю писателя Сергею Макашину когда-то нарком Луначарский сказал: «Другое дело Щедрин. По глубине своего понимания общественной жизни, по силе пророческих прозрений будущего это писатель на 9/10 наш. Но мы плохо его знаем. Он нуждается как в изучении, так и в пропаганде. Идеалы Щедрина – свобода и социальная справедливость. Он жил, вдохновляясь ими, сознавая, однако, что идеалы эти неосуществимы в современной ему действительности, что они уходят в далекое неразличимое еще будущее. Отсюда – трагическое в творчестве. Щедрина».

А что же делать нам, потомкам великого сатирика, среди «дураков с музыкой» и «просто дураков», сталкиваясь подчас с губернатором с фаршированной головой и при звуках «органчика»? Только одно: ждать и надеется и пребывать в «безмолвном геройстве», как сказано в сказке Щедрина «Коняга».

Великий неувядающий город Глупов. И бедные несчастные глуповцы.

ПРОРОК ПО ИМЕНИ «КАНАШЕЧКА»

Нам впереди на многие столетия обеспечена счастливая доля делаться самим и устраивать свою жизнь все получше и получше.

Русский, у кого есть здравый ум и живое сердце, до сих пор не мог и не может быть не чем иным, как патриотом.

Николай Чернышевский

Николай Чернышевский

Миф и его разрушение

Что такое время? «Всему свой час, и время всякой вещи под небом...» Наверное, многие помнят эти мудрые библейские слова. И далее: «...время убивать и время лечить, время разрушать и время строить, время плакать и время смеяться...» и т. д.

Известно и крылатое латинское изречение: «Tora mutantur,

nos et mutamur in illis» (Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними).

Ну и, разумеется, у каждого времени есть свои писатели-кумиры, властители дум. В середине XIX века, когда появилось племя разночинцев, начавших теснить старую элиту (помещиков и дворян), любимым (модным, популярным) писателем стал Николай Чернышевский. Он как бы пришел на место Тургенева, певца помещичьих усадеб. Недаром некоторые критики отмечали, что Тургенев – поэт расставания, а Чернышевский – глашатай и провозвестник будущего.

«Социалистический Лессинг» и «великий мыслитель», по определению Маркса и Энгельса, Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 (24) июля 1828 года в Саратове, в семье священника. От религии к безбожию? От смирения к бунту? Уж не за это ли высоко ставил Чернышевского другой безбожник и бунтарь – Владимир Ульянов-Ленин? В своем романе «Дар», частично посвященном Чернышевскому, Владимир Набоков писал:

«Ленин считал, что Чернышевский «единственный действительно великий писатель, который сумел с пятидесятых годов вплоть до 1888 (скостил ему один) остаться на уровне цельного философского материализма». Как-то Крупская, обернувшись на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил... Я думаю, что между ним и Чернышевским было очень много общего». – «Да, несомненно, было общее, – добавляет Луначарский, сначала было отнесшийся к этому замечанию скептически. – Было общее и в ясности слога, и в подвижности речи... в широте и глубине суждений, и в революционном пламени... В этом соединении огромного содержания и внешней скромности и, наконец, в моральном облике обоих этих людей».

А уж раз Ильич любил Чернышевского, то и всей советской власти был люб Николай Гаврилович. А посему воплощен в бронзе и камне. Сочинения его изданы тиражом более 22 миллионов экземпляров на всех языках народов бывшего СССР.

В советские годы ученикам в школе все уши прожужжали: Чернышевский – революционный демократ, ах, что делать? а какой замечательный сон приснился Вере Павловне!.. и т. д. Короче, из Чернышевского сотворили миф. Создали культовую личность, впрочем, как из Феликса Дзержинского, Николая Островского и Павлика Морозова. Каждая власть выдвигает своих героев, ну а советской были крайне нужны именно такие, как Николай Гаврилович и ему подобные: великие разрушители и великие жертвенники одновременно. Сжечь себя во имя большой

идеи! Уже в поздние советские времена подобная идея даже воплотилась в массовой песне: «Раньше думай о родине, а потом о себе...»

Но вот миф разрушен. Пыль осела. И что же осталось от Николая Гавриловича Чернышевского? Стилистически бездарный и художественно слабый роман «Что делать?» Сотни горячительных статей и прокламаций, призывающих к бунту и топору. Да еще критика национального характера. «Жалкая нация, жалкая нация! – нация рабов, – снизу доверху, всё сплошь рабы», – думал он и хмурил брови». Это – Волгин из романа Чернышевского «Пролог».

Чернышевский глазами Набокова

В XX веке пелена восхищения Чернышевским у многих спала. Одним из резких критиков писателя-демократа стал Владимир Набоков, который в своем «Даре» полностью развенчал «биографию романсэ» Николая Гавриловича и показал его жизнь танцующей на грани пародии. По мнению Набокова, Чернышевский – «близорукий материалист», не разглядевший ни русскую природу, ни русскую жизнь.

«Чернышевский не отличал плуга от сохи; путал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы; но характерно, что это название ботаники сразу восполнял «общей мыслью», добавляя с убеждением невежды, что «они (цветы сибирской тайги) все те же самые по всей России». Какое-то тайное возмездие было в том, что он, строивший свою философию на познании мира, которого не познал, теперь очутился, наг и одинок, среди дремучей, своеобразной роскошной природы северо-восточной Сибири: стихийная, мифологическая кара, не входившая в расчет его человеческих судей».

На мой взгляд, Чернышевский и Набоков – это два полюса русской литературы. Книги Набокова – это глубокое знание жизни или предмета, при этом обязательная рефлексия, чувственность, изящество стиля и упоение русским словом.

Чернышевский – это антихудожественность, порою горячая, порою сухая, но всегда голая публицистика. Призывы, пророчества и назидание. И неизменно неряшливость стиля.

Несколько слов в защиту писателя-демократа

И все же, все же... Жизнь Чернышевского – это изломанная властью судьба русского интеллигента. Странного, но русского интеллигента: сначала тихого религиозно-смиренного человека,

затем – яростного проповедника и бунтаря. Словно он проснулся от векового сна и решил свою удаль: раззудись, плечо!.. Точнее говоря: перо.

Любопытно, что сам Чернышевский в статье «Апология сумасшедшего» писал: «...в каждом из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, что же происходит с обществом, которое состоит из Батыев?..»

Что происходит? Происходит произвол, «азиатчина», «Ташкент», про который Салтыков-Щедрин сказал: «Ташкент – страна, лежащая всюду, где бьют по зубам».

«Общество Батыев» и покарало Чернышевского: сначала арест, гражданская казнь, затем 15 лет каторги, где, правда, не было никаких кандалов, но не было и свободы, конечно. Чернышевский в неволи мучился, метался, жаловался и рыдал. Да, да, рыдал от бессилия навзрыд, ощущал себя жертвой ненавистного режима. Лихорадочно писал – без адреса, без читателя. Строчил и сжигал написанное. Сжег целую гору рукописей. Уцелел «Пролог», который так понравился Ленину своим радикализмом. Герцен предлагал России «метлу» (реформы), а Чернышевский исключительно «топор» (то бишь революцию).

Чернышевский – характерный русский тип, все мысли которого не о собственном благе, а исключительно о благе всего народа, поэтому необходимо просветить, освободить и осчастливить всех разом, – горячительно-безумная мечта-утопия. И скольких она заразила! Мечта эта сродни инфекционному заболеванию. И благо бы болели и бредили сами, нет, толкают к «завихрению мозгов» сограждан, народ, мол, давайте быстренько общими усилиями построим «город Солнца». Только вот незадача: вместо города Солнца выстраивается темница с непроглядной ночью. К тому времени российских Кампанелл, конечно, в живых уже нет, но книги их по-прежнему в ходу. Книги-призывы.

И все же, все же (повторим этот лингвистический вздох) Чернышевский, безусловно, страдалец. А поэтому его, конечно, жаль. Бедняга жил и мучился.

Канашечка

26 января 1853 года на вечере у Акимовых, зажиточных саратовских старожилов, познакомились молодые люди – Николай Чернышевский, ему 24 года, он окончил духовную семинарию и, как это ни странно, увлечен революционными идеями переустройства общества, и 20-летняя Ольга Васильева,

выпускница одного из частных пансионов Саратова. «Цыгановатая барышня с висячими серьгами», «мишень и краса провинциального бала» – так представляет ее Владимир Набоков в «Даре».

Чернышевский был покорен Оленькой и предложил ей стать его женой, но она его сразу предупредила, что в него не влюблена. Он любит, она – нет, – возникает страдальческий мотив Николая Гавриловича. Как отмечает Набоков, «все же был он как-то пестро счастлив. Его жениховство – с легким немецким оттенком, с шиллеровскими песнями, с бухгалтерией ласк: «…расстегивал сначала две, после три пуговицы на ее мантилье…» Непременно хотел поставить ее ножку (в тупоносенькой серой ботинке, прошитой цветным шелком) на свою голову: сладострастие питалось символами. Иногда он читал ей Лермонтова, Кольцова; читал же стихи как Псалтирь».

Нет, не поэзия влекла Николая Чернышевского, а страдание через самопожертвование. Он горел на практике претворить обуревавшие его идеи освобождения женщины. Именно в женитьбе (а она состоялась вскоре после знакомства в апреле 1853 года) Чернышевский усматривал своеобразное служение обществу: освободить женщину от цепей заурядного, обывательского брака и предоставить ей свободу любить, кого она хочет (и это за 100 с лишним лет до сексуальной революции на Западе!). Захочет иметь любовника? Пожалуйста. Брак втроем? Превосходно. Еще утопист Шарль Фурье утверждал, что одна женщина способна ублажить 3 – 4 мужчин и при этом самой получить полное удовольствие.

Все эти мысли о женской свободе Чернышевский и отразил в своем романе «Что делать?», хотя позднее один из марксистов, Георгий Плеханов, говорил, что роман пропагандировал не «эмансипацию плоти», а, наоборот, эмансипацию человеческого духа, человеческого разума. Что тут сказать? Кому как видится.

Будут новые революционные отношения между мужчиной и женщиной, рассуждал Чернышевский, будет и новая Россия, свободная и могучая. Глупый утопизм? Но каких только не бывает умственных завихрений у российских интеллигентов, особенно тогда, когда они явственно ощущают свою мужскую слабость (тут Добролюбов вспоминается и Белинский). Что касается разночинца Чернышевского, то, как замечает Набоков, он плакал охотно и часто. «Выкатилось три слезы», – с характерной точностью заносит он в дневник.

В своем жениховском дневнике будущий писатель-демократ записывал: «Я хотел бы обыкновенно быть у нее по ее желанию: «Вы можете нынче быть у меня?» – «Благодарю покорно, О. С».

О. С. – это Ольга Сократовна, невеста, которая, будучи натурой чувственною, если не сказать, страстною, к тому же истеричка, быстро уловила все прелести подобного брака: муж любит, боготворит и позволяет вполне официально иметь любовника. А может быть, двух сразу?..

Уже будучи замужней, она получала из ссылки, в которую был отправлен за свои подстрекательские идеи Чернышевский, письма, в них он настоятельно ей советовал: «Ни в чем себя не ограничивать». Какая душка! Впрочем, она называла его иначе: канашечка.

Ольга Сократовна вовсю пользовалась предоставленной ей свободой (и дети были не помехой) и при этом оставалась верной (не телом, а душой) своему мужу. Это был удачный для обоих брак. Николай Гаврилович сочинял свои революционные трактаты, жена была где-то рядом, и фантазии писателя не было предела.

Владимир Набоков, изучая материалы жизни Чернышевского, в своем «Даре» не выдержал и написал:

«Да, жалко его – а все-таки... Ну, вытянул бы разок ремнем, ну, послал бы к чертовой матери; или хотя бы вывел со всеми грехами, воплями, рысканием, несметными изменами в одном из тех романов, писанием которых он заполнял свой тюремный досуг. Так нет же! В «Прологе» (и отчасти в «Что делать?») нас умиляет попытка автора реабилитировать жену. Любовников нет, есть только благоговейные поклонники; нет и той душевной игривости, которая заставляла «мущинок» (как она, увы, выражалась) принимать ее за женщину еще более доступную, чем была она в действительности, а есть только жизнерадостность остроумной красавицы. Легкомыслие превращено в свободомыслие, а уважению к бойцу-мужу (которое она и в самом деле испытывала к нему, но попусту) дана власть над всеми ее другими чувствами...»

Вот до чего иногда доводит слепая любовь: Чернышевский видел в Ольге Сократовне одни добродетели, а вот другие, в частности родственники Чернышевского, Пыпины, считали ее «истеричкой» и «взбалмошной бабенкой с нестерпимым характером». Ну а как она швырялась тарелками! Никакому биографу Чернышевскому никогда не удастся склеить их осколки.

И снова «Что делать?»

Роман «Что делать?» попал в нерв эпохи. Книжные построения Чернышевского стали моделью поведения «новых людей» (заметим: тогда «новые люди», сегодня «новые русские»).

Идея свободы распространялась быстро, роман был прочитан почти как эротический, и герои его именовались не иначе как «клиенты разврата». Проповедуемый Чернышевским фиктивный брак превратился в некий реалистический союз братства для высших целей (один из примеров – Софья Ковалевская).

Россия, по выражению Набокова, стала «изнывать» по Чернышевскому, который своим романом показал, что любовные проблемы можно решать без душевных мук, терзаний, слез и раскаянья. Чисто механически – договорились, и всё!

Стало быть, Чернышевский не только буйно засеял революционными семенами российское поле, он еще умудрился основательно поколебать институт российского брака.

Протестуя против любовных новаций Чернышевского, Николай Лесков в статье «Специалисты по женской части» (Литературная библиотека. 1867, № 12) заявил:

«Нам добрые жены и добрые матери нужны. В них нуждается Россия более, чем в гениальных министрах и генералах. Наша страна такова, что она семьею крепка; наши нравы таковы, что мы чтим в женщине более всего хорошую семьянку, и от этого идеала наш истинный русский человек не отступится. Наш русский человек знает, что ему не благо быть одному, а находясь в общении с женщиной, которая ему нужна только на минуту, он считает себя с нею одиноким и ищет подруги довечной. Счастливая семья есть ближайший и законнейший из идеалов русского человека».

Увы, ошибся писатель Лесков насчет «ближайшего идеала». Идеи Чернышевского подхватила Александра Коллонтай, и полетел «крылатый Эрос» в революционную Россию и дел наделал, надо сказать, немало. Но это уже будет потом.

Что касается Чернышевского, его последних лет жизни, то провел он их со своей ненаглядной Ольгой Сократовной, которая, как героиня его романа Вера Павловна, «нежится после обеда на своем широком, маленьком, мягком диванчике в комнате своей и мужа». А он, по обыкновению, склонился над бумагами и пишет, отыгрывается на пишущих женщинах – Евдокии Ростопчиной, Авдотье Глинке и других, «с аппетитом терзает литературных кокеток». Берет, так сказать, реванш. А главное – для денег! – переводит нескончаемую «Всеобщую историю Георга Вебера». За одним из томов Вебера Николай Чернышевский и умер в октябре 1889 года, прожив на свете 61 год.

Ольга Сократовна пережила мужа на 29 лет и скончалась 11 июля 1918 года в возрасте 85 лет. Старушка неплохо порезвилась, собрав пряный букет в Саду любви. «Старухой она вспоминала, как изменяла мужу с польским эмигрантом Савицким.

«Канашечка-то знал... мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна».

Многие, вслед за Чернышевским, вопрошали, что делать? Ольга Сократовна отлично знала ответ на этот вопрос. Просто ответ в другом месте, не там, где его обычно ищут.

И последнее. В июле 1998 года отмечалось 170-летие со дня рождения Николая Чернышевского, и оно совпало со 100-летием певца Петра Лещенко. Фигуры, конечно, несоизмеримые, и все же мне показалось забавным столкнуть их вместе, и в одной из московских газет я поместил статью под несколько игривым названием «У самовара я и Чернышевский». Соединил знаменито-задумчивое «Что делать?» с разухабисто-бесшабашным «У самовара я и моя Маша» (так называлась одна из популярных песен Петра Лещенко). Ведь мы с вами живем как бы в двух жизнях: по Чернышевскому – в общественной, социально кипучей и по Лещенко – в приватной, частной, тихой. Между высоким и низким, между молотом и наковальней, между долларом и рублем, иногда взбираясь на трибуну, но чаще все же отсиживаясь на кухне, где привычно уютно и спокойно, без этих будоражащих вопросов: «Что делать?» и «Кто виноват?» А рядом с кухней, в общей комнате, на книжной полке пылится Чернышевский. Пылится – и это, на мой взгляд, замечательно! Хотя вы можете со мной и не соглашаться...

Родственники Чернышевского

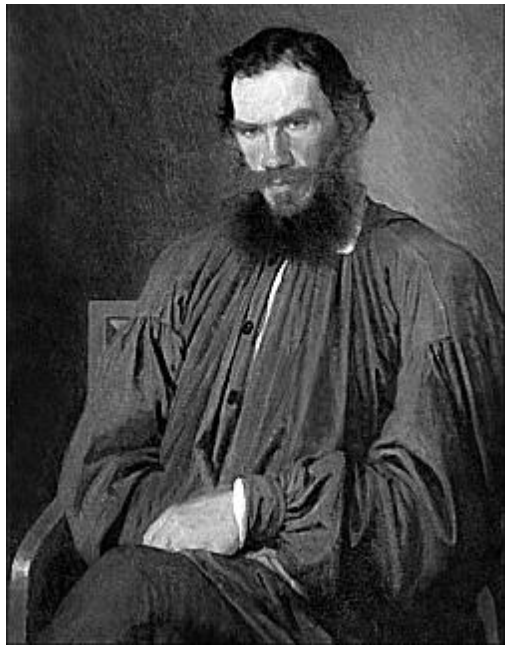
Ольга Сократовна знала ответ, а вот правнучка великого спрашивателя (ветвь от сына Михаила) мучительно искала его, не нашла и выбросилась с балкона дома-музея Чернышевского. Произошло это в 1991 году, когда, сами знаете, страна металась в поисках ответов, куда идти и что делать?..

Правнук Дмитрий Чернышевский пошел другой дорогой, не литературной, а технической. Не любит романа своего знаменитого предка и занят конкретным делом, работая в частной конторе по продаже подшипников. Днем и ночью его волнует один вопрос: «Куда пристроить подшипники?»

Чернышевский-пророк утверждал: «Деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не воодушевлена высокою идеею». А Чернышевский-правнук считает, что главное в труде не идея, а деньги. Без них, как без воды, и ни туда, и ни сюда.

Так вот изменилось время...

ЛЕВ ТОЛСТОЙ В МОСКВЕ



Лев Толстой

Вначале я не хотел писать о Льве Николаевиче, – сколько о нем написано пудов книг, вереницы и возы, – и что я буду соревноваться со всеми многочисленными толстоведами. Тем более что в книгу «69 этюдов о русских писателях» надо писать предельно кратко, не блуждая по аналитическим дебрям. Думал-думал и придумал вычленить из всего толстовского многообразия всего одну тему: Толстой в Москве; где жил, что писал. Тем более что мне, москвичу, это особенно приятно: вот по этой улице когда-то ходил Толстой!..

Коль надумал, то за дело. Но сначала все же необходимо сделать хотя бы небольшое введение о великом нашем классике.

Есть два взгляда на великих людей. Один с восхищением и восторгом. Другой с завистью и с желанием вымарать в грязи. Не избежал этой участи Лев Николаевич Толстой,

Правда, есть третий подход: привязать к текущему моменту, к политике, сделать «нашим». И вот пример из советского прошлого: одна из статей к 150-летию Льва Толстого в журнале называлась броско «Революция, Ленин, Толстой». Сначала, естественно, Ленин, ну, а потом Толстой. И хрестоматийно-

елейное размазывание статьи вождя «Лев Толстой как зеркало русской революции». Не был Лев Николаевич никаким зеркалом (и при чем тут зеркало, когда рожа кривая). Толстой был глыбой мировой литературы. Приведем лишь некоторые стихотворные оценки и мнения о писателе (стихотворные, строки всегда лаконичнее и ярче прозаических).

Ты как пророк явился к нам,
Тебе чужды пороки наши —
И сладкий лести фимиам
И злом отравленные чаши.
Ты хочешь небо низвести
На нашу сумрачную землю... —

писал Константин Фофанов.

В года страданий и гонений
И вызревающих Начал
Суровый совестливый гений
Добро и мудрость излучал...

Это – Петрусь Бровка в переводе с белорусского Якова Хелемского.

Он был сплетеньем всех корней
России, ствол ее и крона,
Певец ее трудов и дней,
Ее сермяга и корона... —

так определял Льва Толстого Лев Озеров.

Это – высокие оценки. Надо привести и низкие. Современник Толстого некий Алексей Степанович подхихикивал:

Непонятен,
Родом знатен,
С виду брав,
Лев и граф
Лапти носит,
Сено косит,
Гряды полет,
Обувь шьет
И без мяса ест пресытно.

Аппетитно,
Вин не пьет
И жену свою не бьет.
Но зато уж из доктрины
И полтины
Никому он не дает.
И поет:
Деньги вред,
Корень бед.
Сам зато, что ни что,
Каждый год сотен сто,
В банк кладет да кладет.

Отвратительно? Но это не все. Некий уже советский читатель-гражданин в «Книжном обозрении» лет эдак 20 назад писал: «Не буду утверждать, что у графа нет ярких мыслей, ценных истин... но он не мой современник... Хорош огурчик с грядки – не правда ли?..»

Огурчик с грядки, – это кто? Нынешние Сорокин с Пелевиным да Донцова с Марининой, что ли? Нет, дорогие мои соотечественники, Лев Толстой дан нам на многие времена, он никогда не портящийся и не вянущий наш классик. И не огурчик, а «нравственный меридиан земного шара», как определил его блистательный критик Серебряного века Юлий Айхенвальд. А разве устарело такое наблюдение Льва Николаевича: «Почему вы думаете, что люди, которые составляют новое правительство, люди, которые будут заведовать фабриками, землею... не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смирным только необходимое... Извратить же человеческое устройство всегда найдутся тысячи способов у людей, руководствующихся только заботой о своем личном благосостоянии».

Эти строки из неоконченной статьи Толстого «О социализме», которую он писал в октябре 1910 года. Оправдались ли слова писателя, почти сто лет спустя? В одной из ленинских статей утверждалось; что Толстой смешон, как пророк. Но нам, живущим в начале XXI века, уже не до смеха.

Однако оставим в стороне жгучие вопросы бытия, боли и страдания народа, переключимся на более спокойную тему: Толстой в Москве. «Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать», – признавался Лев Николаевич.

Сам он, как известно, родился 28 августа (9 сентября) 1828 года в Ясной Поляне Тульской области, где и прожил свыше 50

лет. Первый раз приехал в Москву 11 января 1837 года, было ему тогда всего 9 лет. И первый его московский адрес: Плющиха, дом 11. Именно здесь маленький Левушка попытался испытать чувство полета и выпрыгнул из окошка мезонина, к счастью, остался цел-целехонек. Став чуть постарше, в 1839 году Толстой попробует себя на литературном поприще и напишет очерк «Кремль». В дальнейшем опыт московской жизни отражен писателем в трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность».

После обучения в Казани, в университете, Лев Толстой вернулся в Москву и жил здесь (сначала в гостинице Шевалье, потом на Сивцев Вражке) с декабря 1850-го по 1851 год. После военной службы на Кавказе и обороны Севастополя Лев Николаевич часто бывал в Москве. Жил он то в гостинице Челышева на Театральной площади (здание не сохранилось), то снимал квартиру на Пятницкой, 12, то на Большой Дмитровке. Именно в этот период 1857 – 1858 годов он работал над повестью «Казаки» и написал роман «Семейное счастье». Часто встречался с коллегами по перу – с Сергеем Аксаковым, Афанасием Фетом, Алексеем Хомяковым, Михаилом Погодиным, Александром Островским. Телевизоров не было, поэтому сидели за чаем или иными напитками и часами толковали о жизни, о литературе, о России.

28 сентября 1862 года Толстой женился на Софье Берс. Ее отец, врач Московского комендантского управления, пользовался казенной квартирой в Потешном дворце в Кремле, где писатель неоднократно останавливался в 1862 – 1867 годах.

Зимою 1866 года Толстой недолго жил на Большой Дмитровке, 7, и интенсивно работал над романом «Война и мир», в котором Москва запечатлена во многих эпизодах. Следующий приезд Толстого в Престольную произошел в октябре 1869 года в связи с изданием романа. На Большой Дмитровке в бывшей типографии Московского университета печатался гениальный роман, кстати говоря, здесь же печатались и «Мертвые души», и «Преступление и наказание», позднее и «Анна Каренина».

Что касается самого Московского университета, то в нем Лев Николаевич неоднократно бывал. В 1887 году прочел свой реферат «Понятие жизни», 16 февраля 1875 года прочитал отрывок из романа «Анна Каренина», а 30 марта 1886 года – повесть «Смерть Ивана Ильича». Толстой был избран членом Общества любителей российской словесности при университете (тут хочется глубоко вздохнуть: тогда была словесность, а сегодня одни анекдоты, словесные выкрутасы и порно с кровью, но это уже другая тема).

В конце 1870-х годов, работая над романом о декабристах,

Толстой не раз приезжал в Москву. Работал в архивах. В сентябре 1881-го Толстые сняли квартиру в Малом Левшинском переулке, где жили до весны 1882 года. В ноябре здесь был написан рассказ «Чем люди живы?», положивший начало серии «Народных рассказов». В январе Толстой принимает участие в переписи населения в Москве, – какое было счастье людей видеть такого знатного переписчика!..

14 июля 1882 года была оформлена покупка писателем дома в Долго-Хамовническом переулке (ныне улица Л. Толстого, 21). Посоветовал купить его знакомый, старый москвич Олсуфьев: «Возьмите дом рядом с нашим садом в Хамовническом переулке. Оттуда Вы сможете постоянно ходить гулять на Воробьевы горы...» Здесь, в Хамовниках, Лев Николаевич проводил почти все зимы вплоть до 1901 года. Последний раз он посетил свой дом в 1909 году. В Хамовниках Толстой писал следующие произведения: «Власть тьмы», «Крейцерова соната», «Плоды просвещения», «Отец Сергий», «Воскресенье», «Хаджи Мурат», «Живой труп» и другие. Плодоносные Хамовники!..

Сегодня в Хамовниках действует филиал государственного музея Л.Н. Толстого. В доме сохранена обстановка семьи писателя. Висят знаменитые портреты Толстого кисти Николая Ге и Ильи Репина. Главная комната – кабинет писателя. Низкие потолки. Пол затянут серым солдатским сукном. Письменный стол. Свеча. Толстой любил работать при свете лишь одной свечи. Словом, почти аскетическая обстановка – ни один советский писатель, по всей вероятности, не имел такого скромного кабинета. В гостиной стоит рояль, за который садились такие знаменитые музыканты, как Рахманинов, Рубинштейн, Римский-Корсаков, Гольденвейзер. Кстати, любимым композитором Толстого был Фредерик Шопен. Толстой говорил: «Шопен в музыке то же, что Пушкин в поэзии».

Еще один филиал толстовского музея находится на Пятницкой, ну, а основной – на Пречистенке, 11. Здесь хранится богатейший архив писателя, фотографии, личные вещи, документальный фильм «Живой Толстой, кинохроника 1908 – 1910 гг.» и другие экспонаты, всего около 350 тыс. единиц хранения. Среди них – живой голос Толстого. Группа почитателей писателя во главе с главой акционерного общества «Граммофон» Александром Михелесом в сентябре 1909 года отправилась в Ясную Поляну. Толстой поинтересовался, какая разница между граммофоном и фонографом, который ему подарил лично Томас Эдисон. Ему объяснили. Затем на граммофон Толстой записал два коротких рассказа. Льву Николаевичу предложили в подарок граммофон с пластинками, на что он только замахал руками:

«Пожалуйста, не делайте этого. Граммофон, наверное, стоит очень дорого...» На следующий день запись голоса Толстого была продолжена. Он читал из своей книги «На каждый день». Одна из толстовских фраз весьма актуальна сегодня:

«НЕ ЗАБОТЬТЕСЬ О ТОМ, ЧТОБЫ ЛЮБИЛИ ВАС. ЛЮБИТЕ, И ВАС БУДУТ ЛЮБИТЬ».

А мы все в основном – ненавидеть!..

В Москве стоит несколько памятников Льву Толстому. Самый старый работы Сергея Меркурова, выполненный в 1910 году. Его планировалось установить на Миусской площади перед народным университетом Шенявского, однако этому помешал черносотенный «Союз русского народа». Памятник долго оставался в мастерской скульптора, потом в 1928 году его установили в сквере Девичьего поля, а в 1972-м он перенесен на Пречистенку, а на Девичьем поле был водружен современный памятник писателю. Еще один памятник Толстому сооружен на Поварской, 52, во дворе «дома Ростовых» (скульптор Новокрещенов). Лев Николаевич сидит в кресле и хмуро взирает на современников. Может быть, он недоумевает по поводу наших революций, реформ и перестройек. Сам Лев Николаевич советовал, что не надо пассивно ожидать обновления жизни: «Начинайте с себя. Нет в жизни никого и ничего сильнее человека, когда он захочет быть свободным и сильным. Ему надо только понять, что никого и ничего нет сильнее его. И раз он это понял, ничто и никто ему ни в чем не помеха, не указ... Быть собой, по-своему верить и думать – разве это так трудно, разве это невозможно при каких бы то ни было обстоятельствах и условиях?» («Одесские новости», 1903).

Уроки Толстого – они так и не были освоены ни народом, ни тем более властью. Возьмем хотя бы тему патриотизма. Толстой считал, что патриотизм несовместим с угнетением других наций, с высокомерием по отношению к другим народам. Патриотизм у Толстого всечеловеческий, он несет его в себе, как Тушин из «Войны и мира», «скрытую теплоту патриотизма». Это совсем не тот патриотизм, который мы встречаем частенько – кричащий, самодовольный, надменный, показной.

Ну, а война по-толстовски – «это просто большая драка». «Война пробуждает к жизни всевозможные злодейства», – говорил Толстой, и мы сталкиваемся с этим сегодня.

«Всеобщая любовь к людям – вот что меня воодушевляет, всеобщая свобода, труд и прогресс!» Воистину, Лев Толстой – не писатель, а пророк, хотевший «небо низвести на нашу сумрачную землю».

Увы, пока ничего не получается. Но когда нам худо и трудно,

мы обращаемся к творческому наследию великого Толстого, к его идеям добра и мудрости.

НА ГРАНИ ДНЯ И НОЧИ

Константин Случевский

Есть поэты, о которых знают только поэты и знатоки поэзии. Таков Константин Случевский. Один из литераторов о нем выразился так: «Он нужен для того, чтобы лучше понять Волошина, Цветаеву, Пастернака». Не согласен. Случевский интересен сам по себе.

Без краткого биографического экскурса не обойтись. Константин Константинович Случевский родился 26 июля (7 августа) 1837 года в Петербурге, в семье крупного чиновника, сенатора. В юности готовился к военной карьере, окончил первый кадетский корпус и был занесен в золотую книгу училища. После службы в гвардии Случевский поступил в Академию Генштаба. И тут его военная карьера оборвалась. Причина? Яркий литературный дебют.

В январском номере журнала «Современник» за 1860 год было опубликовано несколько стихотворений Случевского («На кладбище», «Ходит ветер, избочась...»), и грянул хор похвал. В стихах Случевского Тургеневу почудились «зародыши великого таланта». Павел Анненков в своих «Литературных воспоминаниях» описывает такую сцену: «Едва А. Григорьев завидел меня в дверях кабинета, как вскочил с дивана, где сидел, и, указывая мне на своего соседа, молодого морского офицера очень скромной и приличной наружности, торжественно-зычным голосом воскликнул: «На колени! Становитесь на колени! Вы

находитесь в присутствии гения!» Молодой офицер был поэт Случевский, никому тогда не известный. Он покраснел и не знал, что делать от смущения. Поднявшийся Тургенев тоже проговорил: «Да, батюшка, это будущий великий писатель».

Аполлон Григорьев написал статью, в которой поставил Случевского рядом с Лермонтовым и объявил его талант более сильным, чем талант Фета, Полонского, Майкова и даже Тютчева (но где ныне Тютчев и где Случевский? Аполлон Григорьев явно ошибся со своими оценками).

Согласитесь, что после слов Григорьева и Тургенева голова вполне могла закружиться. Закружилась она и у Случевского (сегодня мы говорим: сорвало башню). Ситуация сложилась парадоксальная: одни безмерно возносили Случевского, другие – из лагеря «Искры» – дружно ругали новоявленного поэта за приверженность к «чистому искусству». На Случевского обрушился град пародий и фельетонов, от Добролюбова до Курочкина. В одной из сатир Добролюбов пародировал Случевского: «Прежде всего я хочу себе женщину с длинною косою./ Ум и красота мне не нужны: пусть только целуется чаще…»

Случевский напора критики не выдержал и в 1861 году уехал из России. Продолжил свое образование и в Гейдельберге защитил докторскую диссертацию по философии (ну, как вам сочетание: военный, поэт и философ?..). «Я видел Рим, Париж и Лондон,/ Везувий мне в глаза дымил…» – писал он в одном из стихотворений и концовка:

… Ничто, никто мне не указка, —
Я не ношу вериг земли…
С моих высоких кругозоров
Все принимается вдали.

Случевский продолжал писать стихи, но их не печатал, а посылал Тургеневу на отзыв, а в ответ: «вычурно», «a la Бенедиктов», «прозаично», «неловко» и даже «ужасно неловко». То есть пора влюбленности Тургенева в Случевского прошла, и тот замолчал на целых 10 лет.

Ты не гонись за рифмой своенравной
И за поэзией – нелепости оне:
Я их сравню с княгиней Ярославной,
С зарею плачущей на каменной стене, —

вздыхал Случевский и продолжал:

... Сгони ее! Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать!
К чему они? Чтобы людей морочить
И нас, то здесь – то там, тревожить и смущать!
Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..

Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене.

Случевский возвращается к карьере, становится гофмейстером царского двора. Служит в Главном управлении по делам печати, затем в Министерстве государственного имущества. Разъезжает по России в свите великого князя Владимира Александровича в качестве журналиста-бытописателя. В 1891 – 1902 годах Случевский – главный редактор «Правительственного вестника». Занимается рутинными делами и тоскует, как Ярославна:

«Вы не можете себе представить, как тяжело чувствовать, что жизнь тянется против воли, – туда, куда душою вовсе не тянешься...» Короче, русского Гёте из Случевского не получилось, чтобы и поэт, и тайный советник.

Случевский был женат. С женой разошелся. Женился еще раз. Имел шестерых детей. Старший сын, морской офицер, погиб в боях под Цусимой. Но вернемся к литературе, к которой после многих лет молчания вернулся и Случевский. С середины 70-х годов он снова стал печататься. Публиковал стихи и прозу. Проза Случевского довольно-таки вялая и рассудочная. Поэзия в целом мрачная и трагичная. В изображении человеческих страданий, в образном воплощении мыслей об ужасе жизни он достигал большой силы. «Стихи Случевского часто безобразны, – отмечал Брюсов, – но это то же безобразие, как у искривленных кактусов... скорее своеобразие, хотя и чуждо красивости».

В глухом безвременье печали
И в одиночестве немом
Не мы одни свой век кончали,
Объяты странным полусном.

На сердце – желчь, в уме – забота,
Почти во всем вразумлены;
Холодной осени дремота

Сменила веянье весны.

Кто нас любил – ушли в забвенье,
А люди чуждые растут,
И два соседних поколенья
Одно другого не поймут.

Мы ждем, молчим, но не тоскуем,
Мы знаем: нет для нас мечты...
Мы у прошедшего воруем
Его завядшие цветы.
Сплетаем их в венцы, в короны,
Порой смеемся на пирах...
Совсем, совсем Анакреоны,
Но только не в живых цветах.

И в этом же духе: «Мне грезились сны золотые!/ Проснулся – и жизнь увидал.../ И мрачным мне мир показался,/ Как будто он траурным стал...»

В 1872 году Случевский под псевдонимом Серафима Неженатого выпустил отдельной книгой роман «От поцелуя к поцелую». В 1898 году вышло собрание сочинений в 6 томах. К этому времени Случевский уже был признан всеми, у него появились почитатели и ученики. В Петербурге он держит литературный салон, и на его «Пятницы» приходят многие – Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Зинаида Гиппиус и другие поэты-символисты. А дальше «Уголок» – так называл Случевский построенную им дачу-усадьбу в Усть-Нарве, «в углу Наровны и моря», там в «Уголке» он и доживал последние годы. Его мучили болезни, он слепнул, в довершение – рак желудка. Долгая и мучительная смерть. «На склоне лет живешь, годами согнут,/ Одна лишь память светит на пути...» Случевский много пишет о старости и смерти. Создает цикл «Загробные песни». Тут и воспоминания о юности:

Уст дыханье ароматно!
Грудь, как прежде, высока...
Снизойди к докучным ласкам
И к моленьям старика!

Что? Ты плачешь? Иль пугает
Острый блеск моих седин?
Юность! О, прости, голубка...
Я – не рыцарь Лоэнгрин!

И смирение перед неизбежным: «Меня в загробном мире знают,/ Там много близких, там я – свой!..» Умер Случевский 25 сентября (8 октября) 1904 года в возрасте 67 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге.

Вот такая жизненная канва с печальными узорами. А теперь поговорим о поэзии. Случевский появился на свет в год смерти Пушкина. Но пушкинской гармонии и ясного стиля не унаследовал. Начинал писать как поэт-романтик. В дальнейшем Случевский постоянно поддавался обаянию почти всех направлений современной ему поэзии. Тут и бездны Аполлона Григорьева, и народные сопереживания Некрасова, и античные созвучия и философичность Тютчева, и балладность Алексея К. Толстого (Петр I на каналах: «Будь здорова, жена! Не грусти, что одна;/ Много, видишь, каналов готово;/ Еду их осмотреть, чтоб работе спореть.../ Напиши, если что... Будь здорова!») Как заметил один критик: с Надсоном Случевский пессимист, с Фетом – восторженный ценитель мимолетного. Случевский все время варьировал свои чувства, от восхищения и восторга, к отчаянью, иронии и сарказму. Поэзия Случевского не вписывается ни в один канон, она неуловима. Он – многоликий Янус. «Поэт противоречий» – так определил Брюсов.

Младшие современники считали Случевского ближайшим предшественником поэзии русского модернизма. Действительно, Случевский был предтечей Серебряного века, недаром он оказал влияние на Блока. Случевский, как никто до него, любил балансировать на грани дня и ночи, рождения и смерти, заглядывать в другие миры. Его поэзия отличается напряженной трагичностью, пессимизмом, мистическими настроениями.

Да, я устал, устал, и сердце стеснено!
О, если б кончить как-нибудь скорее!
Актер, актер... Как глупо, как смешно!
И что ни день, то хуже и смешнее!
И как меня мучительно гнетут
И мыслей чад, и жажда снов прошедших,
И одиночество... Спроси у сумасшедших,
Спроси у них – они меня поймут!

И строгий взгляд на окружающий поэта люд: «Людишки чахлые, – почти любой с изъяном!/ Одно им нужно: жить и не тужить!..» И про солнце (в цикле «Мгновения»), которого зимою заждались люди: «И с терпеньем ровным будет им светить,/

Помогая чахнуть и ничем не быть...»

Ну как, веселенький взгляд на мир? И еще Случевский сознательно переводил стих в прозу. Уводил поэзию от музыкальных ритмов в прозаический гул городских улиц. Выступал в роли наблюдателя и аналитика нравов в обществе. Вот строки из «Дневника одностороннего человека»:

Я сказал, что в городе холера,
Те – скончались, эти – умирают...
Что у нас поэзия – афера,
Что таланты в пьянстве погибают,
Что в России жизнь идет без цели...
«Неужели?»...

А его необычный, шершавый шорох слов в знаменитом стихотворении «Листопад»:

По дороге ветер вьется,
Листья скачут вдоль дороги,
Как бессчетные пигмеи
К великану, мне, под ноги.
Нет, неправда! То не листья,
Это – маленькие люди:
Бьются всякими страстями
Их раздавленные груди...
Нет, не люди, не пигмеи!
Это – бывшие страданья,
Облетевшие мученья
И поблекшие желанья...

Не будем вовсе касаться цикла Случевского «Мефистофель» («Я, конечно, первейшая скрипка...»), и без него Случевский нагнал на читателя мрачные тучи. Но что поделаешь – таков Константин Случевский. В своей книге «Песни из «Уголка» он и сам признавался: «Мысли погасшие, чувства забытые – / Мумии бедной моей головы...» И он же слышал:

Отсель я слышу новых звуков
Еще не явленный полет.

И точно: Случевский потянул за собой поэтов Серебряного века, а те, в свою очередь, предрекли революцию. А затем

появилась советская поэзия. Самиздат и нынешний «Вишневый сад». Таков длинный прогон русской поэзии. И как восклицал Случевский: «Неужели?!»

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛЕБЕДЬ

Творящий дух и жизни случай
В тебе мучительно слиты...

И. Анненский

Иннокентий Анненский

Поэты Серебряного века, – говорим мы. Их объединяет время: конец XIX и начало XX века. Но не только временной период, а еще – высочайший уровень мастерства, чеканное отношение к Слову. Хотя поэты-серебристы все были разными – и как творцы, и как личности. Затянутый в сюртук, надменно играющий роль мэтра Валерий Брюсов. Постоянно вглядывающийся в очарованную даль Александр Блок. Язвительная и проницательная Зинаида Гиппиус. Всклокоченный и не умолкающий Константин Бальмонт. Изящный и музыкальный Михаил Кузмин. И так далее. Но, пожалуй, особняком от всех стоит Иннокентий Анненский. И личная судьба у него странная. И творческий путь необычный.

Так кто же такой Иннокентий Анненский? Но сначала стихи:

Среди миров, в мерцании светил

Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Какая удивительная чистота и музыкальность в этих строчках, какая-то космическая возвышенность и одновременно земная безнадежность. Откуда все это? Может быть, истоки лежат в биографии поэта.

Иннокентий Федорович Анненский родился 20 августа (1 сентября) 1855 года в Омске, в семье чиновника особых поручений при Министерстве внутренних дел. Кеня (так звали его домашние) был необычным ребенком. Необычным его сделала болезнь сердца, отторгнув от сверстников и сузив мир до одиночества. Из-за чего он выглядел как «утонченный цветок городской цивилизации, – свидетельствует мемуарист. – Чуть не с младенчества увлекся древними языками, потом греческой мифологией, греческой и римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он скоро ушел в него с головой».

Он любил всё возвышенное и презирал всё элементарное, «банально-ясное».

Гимназическое образование Анненский получил дома и экстерном сдавал экзамены на аттестат зрелости. Окрепнув физически, поступил в Петербургский университет, который и окончил в 1879 году по словесному разряду историко-филологического факультета со степенью кандидата и правом преподавать древние языки. До конца жизни Анненский служил по ведомству Министерства народного просвещения. Преподавал в различных гимназиях. В 1896 – 1905 годах был директором Николаевской гимназии в Царском Селе (среди его учеников Николай Гумилев).

В 1905 году Анненский защитил гимназистов-бунтарей, из-за чего был вынужден покинуть Царское Село и стать инспектором Петербургского учебного округа. Вот и вся профессиональная карьера Анненского: действительный статский советник, то бишь, чиновник. А в свободное от чиновничества время занимался филологическими исследованиями, переводил Еврипида, писал стихи. Кое-что печатал, но четко понимал, как отмечал он в

письме, «нет опасности, чтобы Еврипид прославил меня, но еще меньше, кажется, может быть опасения, что он развратит меня приливом богатства».

Никакого «прилива», естественно, не было. Анненский – единственный поэт Серебряного века, которого творчество совершенно не кормило. Всё, что он писал, – это было вроде хобби, личного увлечения, и в этом Анненский походил на Тютчева.

Помимо прочего, Анненский сочинял драмы на античные темы («Меланиппа-философ», «Царь Иксион», «Фамира-Кефаред», последняя была поставлена Таировым в Камерном театре уже после смерти Анненского). Увлекался Анненский и литературной критикой. В 1906 году вышел сборник его статей «Книга отражений», в 1909 – «Вторая книга отражений». «Я назвал их отражениями. И вот почему, – объяснял Анненский столь странное название. – Критик стоит обыкновенно вне произведения: он его разбирает и оценивает. Он не только вне его, но где-то над ним. Я же писал здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою».

Не случайно Максимилиан Волошин воспринял «Книгу отражений» Анненского как его «интимную исповедь».

В 1904 году в Петербурге вышел единственный прижизненный сборник стихотворений Анненского «Тихие песни». Сборник подписан более чем странно: «Ник.Т-о.» – то есть автор-аноним. И это очень характерно для Анненского, отличавшегося чрезмерной скромностью. Это не Северянин («Я – гений Игорь Северянин...»). Да и название книги «Тихие песни» звучало как бы в укор выходившим тогда сборникам других поэтов: «Шедевры» Брюсова, «Будем как солнце» Бальмонта, «Золото с лазурью» Андрея Белого, «Стихи о Прекрасной Даме» Блока и т.д. А тут никакого шума, эпатажа, вызова. Просто – «Тихие песни».

Когда, сжигая синеву,
Багряный день растет неистов,
Как часто сумрак я зову,
Холодный сумрак аметистов.

И чтоб не знойные лучи
Сжигали грани аметиста,
А лишь мерцание свечи
Лилось там жидко и огнисто.

И, лиловея и дробясь,
Чтоб уверяло там сиянье,
Что где-то есть не наша связь,
А лучезарное сиянье...

Издатель Сергей Маковский пытался привлечь Анненского к сотрудничеству в журнале «Аполлон». Сотрудничество началось (и оно проходило несколько нервно), но внезапно оборвалось, как и оборвались его интересные лекции по истории древнегреческой литературы на Высших женских историко-литературных курсах Н. Раева. Причина? Внезапная смерть.

30 ноября 1909 года Иннокентий Анненский скоропостижно скончался в подъезде Царскосельского (ныне Витебского) вокзала. «Высокий красивый господин лет пятидесяти, с легкой проседью в усах, бороде и на висках, схватился за сердце, медленно согнул ноги в коленях и мягко, боком, упал на тротуар. Кинувшиеся к нему люди обнаружили, что он мертв...» (Юрий Нагибин).

Анненскому было 54 года. Сердечники, как правило, долго не живут...

Через год после его смерти, в 1910 году вышла главная книга Анненского – «Кипарисовый ларец». Вот с этого сборника и началась слава Иннокентия Анненского как большого поэта. Все вдруг разом увидели и оценили по достоинству музу ушедшего поэта. В стихах Анненского, по словам Брюсова, открылась «душа нежная и стыдливая, но слишком чуткая и потому «привыкшая таиться под маской легкой иронией». Балагурство и некое травестирование не могло никого обмануть: Анненский видел мир таким, каким он был: безжалостным и жестоким к человеческой судьбе.

Стихи Анненского полны трагической напряженности, но они не только личностны (Ego), но и историчны. Прочтите стихотворение «Петербург» и, я уверен, вам станет несколько жутко:

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы и где мы,
Только знаю, что крепко мы слиты.

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.

Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

А чтоб было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.

Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознанье проклятой ошибки.

Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.

Вот так, от гармонического и элегического Пушкина к сумрачному и пессимистическому Анненскому, от первого – к «последнему из царскосельских лебедей», как выразилась Анна Ахматова.

Конечно, Иннокентий Анненский – поэт трагический. В его поэзии часто возникают мотивы и образы смерти, отчаяния, тоски (он даже слово «Тоска» пишет с прописной буквы). Излюбленные им «трилистники» носят эпитеты: ледяной, сумеречный, грозовой, тоскливый, призрачный, траурный, кошмарный и т.д. И все без просвета? У Анненского есть даже цикл стихотворений «Печаль просвета». Но опять печаль.

Не знаю, о чем так унылы,
Клубяся, мне дымы твердят,
И день ли то пробует силы,
Иль это уж тихий закат,

Где грезы несбыточно-дальней
Сквозь дымы златятся следы?..

Как странно… Просвет… а печальней
Сплошной и туманной гряды.

Эти строки написаны под вечер 17 мая 1906 года в Вологодском поезде.

Обратимся к малоизвестным воспоминаниям поэтессы Августы Даманской: «…в редакции художественного журнала «Аполлон» я встретила брата Николая Федоровича Анненского – поэта Иннокентия Анненского. «Это родной брат того Анненского», – шепнул мне Зноско-Боровский. Более резкую и более странную противоположность трудно было себе представить. Не говоря уже об отсутствии какой-либо родственной черты, но точно человек из другого круга, другой страны, с другой планеты. Тонкий, узкий, затянутый, будто в мундир, в длинный черный сюртук, черный шелковый галстук и словно из белого мрамора высеченный воротник, подпиравший изможденное бледное лицо… Это был чиновник – вице-директор Царскосельской гимназии, и поэт, возглавлявший левое крыло символистов. Автор философских и бесконечно-печальных стихов. Одно из них повторялось, как «Отче Наш», молодыми поэтами и поэтессами, которыми он всегда был окружен. Запомнилось оно и мне:

Мы на полустанке.
Мы забыты ночью
На лесной полянке
Тихой лунной ночью,
Мы забыты ночью…
Сон или воочию
Мы забыты ночью?..

Говорили, что чтит своего брата, бывшего народовольца, редактора «Русского Богатства», что наклонности у него порочные, то, что французы называют moeurs particuliers (странные привычки. – *Прим. Ю.Б.*), и что братья хотя и не встречаются, но друг друга любят. Скончался Иннокентий Анненский, возвращаясь из редакции «Аполлона» в Царское Село, одиноко, как жил. Умер на ступеньках Царскосельского вокзала…»

Кстати, у Анненского среди трилистников был «Трилистник вагонный: Тоска вокзала», где были такие строки:

И эмблема разлуки

В обманувшем свиданьи —
Кондуктор однорукий
У часов в ожиданьи...

По поводу брата. В дореволюционное время Николай Анненский был широко известен, но затем ушел в тень, а Иннокентий Анненский, напротив, ярко засверкал в русской поэзии.

И последнее, вытекающее из воспоминаний Даманской: «жил одиноко...» И, вообще, любил ли Анненский? Как относился к любви? К женщинам? Сегодня эти вопросы волнуют читателей значительно больше, чем литературоведческий анализ произведений любого поэта (в советское время этим анализом только и кормили: революция... народ... Октябрь...)

Ответим на трепещущие вопросы сразу. Женат был лишь раз. Никаких любовниц мемуаристы не называют.

Женился Анненский рано и при довольно странных обстоятельствах. Его студента-филолога, только что перешедшего на третий курс, пригласили репетиторам к сыновьям Надежды Валентиновны Хмара-Борщевской. Надежда (или Дина, как звали ее домашние и знакомые) была вдовой, но вдовой, как говорится, в самом соку. Немудрено, что студент-репетитор страстно и безоглядно влюбился в красивую женщину (первая и роковая влюбленность!). Ему 23, ей – 36 лет. Тринадцать лет разницы – да еще – студент. Скандал, да и только. Но студент жаждал во чтобы то ни стало соединить свою жизнь с ней. Именно с ней, с Диной. Было принято компромиссное решение: отложить свадьбу на два года – до окончания университета. Незадолго до свадьбы Иннокентий Анненский писал своей сестре Л. Деникер: «Моя Дина очень хороша собою: она – блондинка и волосы у нее blond cendre (светло-пепельные. – *Фр.*) с зеленоватым отливом; она светская женщина, то есть обладает всем тем привлекательным изяществом, которое, не знаю как для кого, но для меня обязательно... ее ясный ум часто указывает мне, где истина, в том случае, когда мой, ухищряясь, ходит кругом да около. Характер у нее твердый... темперамент нервный без всякого нервничанья, воля сильная, несколько излишне деспотическая и покоряющая... Любит она меня очень сильно и ревнует не меньше. Я ее очень люблю и стараюсь думать, что нисколько не боюсь».

Какое примечательное письмо! Анненский видел свою будущую жену насквозь и тем не менее добровольно пошел к ней в полон. Влюбленность застила глаза и сковала разум. Так бывает, особенно у молодых мужчин, совсем не имеющих опыта

общения с женщинами.

Они поженились. Более того, прожили всю жизнь вместе (всю жизнь Анненского), но с каждым годом поэт ощущал, что сделал сшибку и с каждым годом разрасталось отчуждение между супругами. Но он все скрывал в себе, не допуская ни малейшего проявления бунта. И в сердечных делах Анненский был крайне деликатным.

Корней Чуковский вспоминает, как он познакомился с женой Анненского, сидевшей в инвалидной коляске. Она была гораздо старше его и держалась с ним надменно. Чувствовалось, – отмечал Чуковский, – что она смотрит на мужа свысока и что он при всей своей светскости все же не может скрыть свою застарелую отчужденность от нее.

Всё знаю – ты права опять,
Права, без устали тоскуя...
Но прав и я, – и дай мне спать,
Пока во сне еще не лгу я, —

читаем мы в стихотворении Анненского «Бессонные ночи».

Сын поэта Валентин Кривич пишет, что отец прожил «с той женщиной» (так он называл свою мать) «30 долгих и сложных лет». В этой фразе вкралась ироническо-зловещая опечатка «безразлично» вместо «безразлучно». Надежда Хмара-Борщевская, в прошлом красавица, а потом уже больная старуха, мучительно цеплялась за Анненского, сковывала его жизнь, иссушала душу.

А между тем Иннокентий Анненский потаенно любил Ольгу Хмара-Борщевскую. Почему потаенно? Да потому, что она была женой старшего из его пасынков – Платона. И переступить эту этическую грань он никак не мог. Ей, Ольге, поэт посвятил «Стансы ночи»:

Я не знаю, кем, но ты любима,
Я не знаю, чья ты, но мечта...

Только мечта. Светящая, как звезда, но никогда не приближающаяся близко.

Наяву ль и тебя ль безумно
И бездумно
Я любил в томных тенях мая?
Припадая к цветам сирени
Лунной ночью, лунной ночью мая,

Я твои ль целовал колени,
Разжимая их и сжимая,
В томных тенях, в томных тенях мая?
Или сад был одно мечтанье
Лунной ночи, лунной ночи мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь мое страданье,
Дорогая,
Оттого, что нам нет свидания
Лунной ночью, лунной ночью мая...

Вот они, роковые для Анненского письмена: «Нам нет свиданья». А она, Ольга Хмара-Борщевская, хотела, жаждала ли она свиданья? Об этом пытал ее дотошный Василий Розанов, и 20 февраля 1917 года она отвечала ему в письме:

«Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Федоровича? Господи! Конечно, любила, люблю... И любовь моя «plus fort que la mort» (сильнее смерти. – *Фр.*) ...Была ли я его «женой»? Увы, нет... И не потому, что я греха боялась или не решалась, или не хотела, или баюкала себя лживыми заверениями, что «можно любить двумя половинками сердца», – нет, тысячу раз нет! Поймите, родной, он этого не хотел, хотя, может быть, настояще любил только одну меня... Но он не мог переступить... И вот получилась «не связь, лучезарное сиянье». Странно ведь в XX веке? Дико? А вот – такие еще сказки сочиняет жизнь...»

Нужен ли тут комментарий?

Физически больное сердце поэта, оказывается, было еще надорвано нереализованной тайной любовью. Не из сердца ли лились эти прекрасные и мучительно тоскливые строки? По признанию Анны Ахматовой: «Все поэты вышли из Анненского: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский».

И закончим наш краткий рассказ дивным аккордом – стихотворением Иннокентия Анненского «Тоска возврата»:

Уже лазурь златить устала
Цветные вырезки стекла,
Уж буря светлая хорала
Под темным сводом замерла.

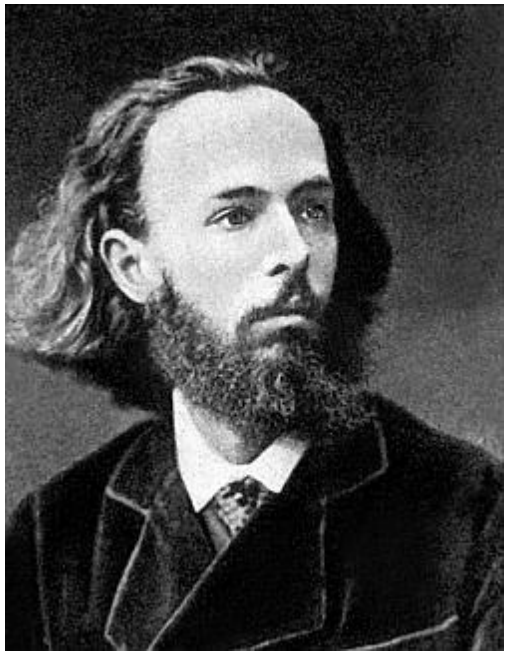
Немые тени вереницей
Идут чрез северный портал,
Но ангел Ночи бледнолицый
Еще кафизмы не читал...

В луче прощальном, запыленном
Своим грехом неотмоленным
Томится День пережитой.

Как серафим у Боттичелли,
Рассыпав локон золотой...
На гриф умолкшей виолончели.

Только истинный ангел мог сыграть такую прекрасно-изящную мелодию на виолончели поэзии. Имя этого ангелоподобного сочинителя – Иннокентий Анненский. Хотя он сам о себе написал: «Я – слабый сын больного поколенья».

РЫДАЮЩИЙ ПОЭТ



Семен Надсон

На очереди поэт Семен Надсон. Он прожил около 26 лет, но успел оставить след в русской литературе.

У Игоря Северянина есть строки, в которых он жалуется на свою творческую судьбу и судьбу своей поэтической подруги. Мирры Лохвицкой:

Я сам себе боюсь признаться,
Что я живу в такой стране,
Где четверть века центрит Надсон,
А я и Мирра – в стороне...

Да, Надсон «центрил», да еще как! Его «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» проник во все уголки дореволюционной России. Его читали. Декламировали. Им восхищались. Юлий Айхенвальд в книге «Силуэты русских писателей» отмечал:

«Все победы модернизма, вся утонченность и изысканность современной поэзии не могли стереть это скромное имя в душе русского читателя. Между тем ни для кого не тайна, что размеры

таланта были у юноши-лирика вполне ограниченны и даже о самой наличности таланта можно говорить здесь не совсем уверенно... Ведь он действительно считал, что его песни не песни, а только «намеки», и, вслушиваясь в собственные стихи, произносил им этот роковой приговор» «лишь бы хоть как-нибудь было излито, чем многозвучное сердце полно»...»

А сердце Надсона было полно горечи.

Не упрекай меня за горечь этих песен:
Не я виной тому, что мир ваш – мир цепей,
Мир горя и борьбы и душен мне и тесен,
Что я иного жду от жизни и людей...

Нет лжи в стихе моем, не призрачные муки
Пою я, как фигляр, ломаясь пред толпой!
Но стоят многих слез мои больные звуки
И стон мой – стон живой...

За этот вот стон и полюбил Надсона читающий русский народ. За стон и муки.. И вместе с ним с удовольствием рыдали. Надсон очень удачно вписался в «историю русской дряблости» (выражение Айхенвальда).

Семен Яковлевич Надсон родился 14(26) декабря 1862 года в Петербурге. Умер 19 (31) января 1837 года в Ялте. Похоронен в Петербурге на Волковом кладбище. Отец – крещеный еврей, мать – русская, урожденная Мамантова. Надсон лишился родителей, когда ему было всего 11 лет. Мальчик воспитывался в семье дяди. С 9 лет мечтал о «писательстве» и «проглотил почти всю детскую литературу» – Майн Рид, Жюль Верн, знал наизусть чуть ли не всего Пушкина. Писать стихи начал со второго класса гимназии. Учился затем в юнкерском военном училище и был произведен в поручики, но предпочел писательство военной карьере, к этому его подтолкнул и туберкулез.

В 1885 году вышла книга Надсона «Стихотворения», которая переиздавалась 29 раз общим тиражом более 200 тысяч экземпляров – огромный тираж для поэзии. За эту книгу Надсон был удостоен половинной Пушкинской премии. «Не говори мне: «он умер», – он живет, /Пусть жертвенник разбит – огонь еще пылает, /Пусть роза сорвана, – она еще цветет,/ Пусть арфа сломана, – аккорд еще рыдает!..» и «Как мало прожито – как много пережито!» знала вся читающая Россия (славное дотелевизионное время – Киркоров с Петросяном еще не родились, и народ читал книги и увлекался, – господи, в это трудно поверить – стихами!..)

Надсон пережил острую и лихорадочную популярность: всем нравилось, как у поэта «стих плакал неприлично». После триумфальных выступлений в Киеве Надсон уехал в Ялту – болезнь прогрессировала… Его ранняя смерть способствовало его славе «вечного юноши», разочарованного и рыдающего. «Самый популярный и талантливый из русских поэтов после Некрасова» – таково было мнение многих. На слова Надсона написано множество романсов Аренским, Глиэром, Рахманиновым и другими композиторами.

Давно нет Надсона, но эхо его слов доносится до нас:

Друг мой, брат мой, усталый
страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытой слезами землей;
Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь —
Верь, настанет пора и погибнет Ваал,
И вернется на землю любовь!..

Это написано в 1881-м. И ничего кардинально не изменилось – «неправда и зло полновластно царят», «струится невинная кровь». И что делать? Снова идти на баррикады? Надсон предлагал «мирный путь»:

Если душно тебе, если нет у тебя
В этом мире борьбы и наживы
Никого, кто бы мог отозваться, любя,
На сомненья твои и порывы;
Если в сердце твоем оскорблен идеал,
Идеал человека и света;
Если честно скорбишь ты и честно устал, —
Отдохни на страницах поэта…

Опять плакать и рыдать? «Я плакал тяжкими слезами, – / Слезами грусти и любви…» И это в век непобедимого агента 007 Джеймса Бонда, всесильного Терминатора, наших доблестных ментов «с разбитыми фонарями», бойцов «невидимого фронта», – нет, увольте. Нам с Надсоном не по пути. Еще в «Юбилейном» Владимир Маяковский говорил:

Кто меж нами?

с кем велите знаться?!
Чересчур страна моя
поэтами нища.
Между нами – вот беда —
позатесался Надсон.
Мы попросим, чтоб его
куда-нибудь на Ща!..

Сказал Маяковский – и как отрезал! К штыку приравняли перо, а Надсона задвинули в конец русского алфавита, на Ща. Лично мне жалко. В конце концов, «поэты разные нужны», и такие, с ранимой душой и рыдающей интонацией. Именно Надсон «средь шумного бала» сумел заметить и проследить всю цепочку дальнейших событий:

Только утро любви хорошо: хороши
Только первые робкие речи ...

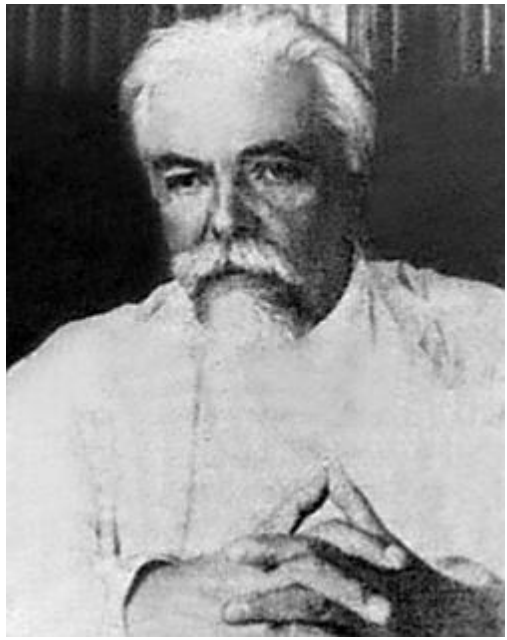
А вот дальше – проза. Что там говорить, у «вечного юноши» Надсона был вполне прозорливый взгляд.

Так вот она, «страна без прав и без закона»!
Страна безвинных жертв и наглых палачей.
Страна владычества холопа и шпиона
И торжества штыков над святостью идей!..

Неужели все это «рыдающий» Надсон? Он. И он же говорил: «Я верю в мой народ...» И что слышал в ответ?

Пока в нем слышен смех...

ЭНТУЗИАСТ И ПРОПАГАНДИСТ ЧТЕНИЯ



Николай Рубакин

Великий книгочей, выдающийся русский книговед Николай Рубакин!.. Как нам не хватает сегодня Рубакина, этого «лоцмана книжного моря». Издаваемых книг много, а вот читающих их мало – вот в чем проблема и беда одновременно.

В конце своей жизни Рубакин со свойственной ему любовью к статистике составил кратенькую таблицу им сделанного: прочитано 250 тысяч книг, собрано 230 тысяч книг, написано 49 больших научных трудов и 280 научно-популярных книг, составлено и разослано 15 тысяч программ по самообразованию, опубликовано свыше 350 статей...

«Мне уже 65 лет, – писал Рубакин в 1928 году, – но я никогда не считал и не считаю себя стариком, а работаю без воскресений и каникул вот уже 50 лет и со времени моей юности находился и нахожусь в теснейших отношениях с молодежью, которую люблю и знаю и которой по мере своих сил и как умею помогаю...»

Николай Александрович Рубакин родился 1(13) июля 1862 года в Ораниенбауме, в семье купца 2-й гильдии. Отец отдал сына в реальное училище, а в свободное от уроков время приказывал продавать веники в принадлежащих Рубакину банях. Воспитывал при помощи кулака и ремня. Но, к счастью для Рубакина, еще

была мать, Лидия Терентьевна, страстная любительница книг, которая создала в Петербурге свою библиотеку, в которой – еще подростком – начал работать Николай Рубакин. Не только работал, но умудрился прочитать все собранные здесь книги. А с 1892 года стал руководить «Общедоступной библиотекой» матери.

Вопреки воле отца, Александра Иосифовича, Рубакин уехал учиться в Петербург после того, как блестяще провалил возложенное на него родителем руководство оберточной фабрикой, так как все деньги тратил на покупку книг и на организацию библиотек для рабочих. Страсть к книге убила в Рубакине коммерсанта, но превратила его в знатока книг и библиофила. Он относился к книгам, как к живым существам. Подходил к книжным шкафам, гладил корешки любимых книг. Всегда ссорился с близкими из-за запачканной страницы, помятой обложки.

Рубакин окончил Петербургский университет с отличием, учась сразу на двух факультетах – историко-филологическом и юридическом. Участвовал в нелегальных студенческих организациях. Вступил в партию эсеров и написал ряд революционных брошюр и статей, основанных на данных статистики («Хватит ли на всех земли?», «Военная бюрократия в цифрах», «Много ли в России чиновников?» и другие). Однако разочаровался в эсерах, политике, революции и покинул Россию. С декабря 1907 года жил в Швейцарии, сначала в Кларене, потом в Лозанне, где и умер 23 ноября 1946 года, в возрасте 84 лет.

Основной библиографический труд Рубакина «Среди книг» для многих в России оказался неприемлемым. Пуришкевич назвал Рубакина «одним из самых опасных, самых дерзких посягателей на народную душу», Розанов считал Рубакина «социал-библиографом». Ленин, отдавая должное Рубакину («чрезвычайно ценное предприятие»), видел недостаток его труда в принципиальном отказе от полемики, которую Рубакин считал «одним из лучших способов затемнения истины». Уже в советское время Рубакина активно критиковали за разработанные им основы библиопсихологии – «науки о социальном и психологическом воздействии книги». На Западе ее признали интересной и полезной, а у нас – вредной, способной «к разоружению пролетариата» и к притуплению «классовой бдительности», одним словом, «рубакинщина». А Рубакин тем временем основал в Женеве секцию, а потом преобразовал ее в Международный институт библиопсихологии. Затем наша власть разобралась, что к чему, и назвала рубакинский институт «чуть ли не самым важным центром советской литературы за

пределами СССР». В годы Второй мировой войны Рубакин снабжал книгами советских военнопленных, бежавших в Швейцарию из немецких лагерей.

В последние годы Рубакину было трудно владеть правой рукой – ее постоянно сводило от письма (так называемая «писательская судорога»). Согласно завещанию Рубакина его библиотека (свыше 100 тысяч томов) была перевезена в 1948 году в Москву. Был перевезен и прах, который покоится на Новодевичьем кладбище.

Последователь позитивиста Огюста Конта, Николай Рубакин был убежден в необходимости борьбы против несправедливости в распределении материальных благ, за гражданские и политические права свободы, образование, то есть стоял за свободное перемещение знаний и идей.

Рубакин писал: «Всякий может уделить чтению один час в день, а в воскресенье – 3 часа. Следовательно, 52 воскресенья по 3 часа дадут 156 часов, а 313 будней по одному часу – это 313 часов чтения. Значит в год получается более 450 часов чтения. Это самое малое – 5 тысяч страниц! А при навыке в два-три раза больше».

Для Рубакина чтение было таким же естественным и необходимым компонентом жизни, как еда и сон. Он рекомендовал читать как можно больше. Даже не читать – если нет для этого возможности, то хотя бы держать книгу в руках, рассматривать, перелистывать, смотреть иллюстрации, запомнить обложку и название… Сам Рубакин владел быстрым чтением и проглатывал книгу за книгой. Он моментально определял степень своей заинтересованности в ней. Иногда читал лишь главы, иногда было достаточно познакомиться с содержанием. Если же книга захватывала, то он читал ее целиком. Плохую, ничего не дающую ни уму, ни сердцу книгу, он определял беспощадно: «Мебель!»

Более 60 лет нет Рубакина. И что мы читаем с вами сегодня? Книги или «мебель»? Погружаемся в мир знаний и в глубины человеческой души или передвигаем-листаем мягкие пуфики, никчемные карамельные женские романы?

Человек читающий или человек листающий? На этот вопрос важно ответить. Книга – дорога в мир. И хватит блуждать по дремучему лесу невежества. Берите пример с Николая Александровича Рубакина. Хорошо его знавший Василий Васильевич Розанов говорил: «Господа, бросьте браунинги. И займитесь библиографией». В XXI веке стыдно быть темным.

ОТ ЗОЛОТА К СЕРПУ И МОЛОТУ

Есть писатели, которым выпала участь быть дореволюционными писателями, затем советскими. Или скажем по-другому: закончить свою литературную судьбу уже в советские времена. Выпавшие на их долю годы произвели в их душах и творчестве некий разлом. Одни как-то справились с ним, другие согнулись под новым бременем, пребывая во внутренней оппозиции к режиму. О некоторых из таких писателей и пойдет речь в главе «От золота к серпу и молоту».

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ «ГРЯДУЩЕГО ХАМА»

Дмитрий Мережковский

В энциклопедическом словаре (1954) о Дмитрии Мережковском сказано: «Русский реакционный писатель и критик, символист, проповедник утонченной поповщины и мистик. После 1917 – белоэмигрант, враг советской власти». Хлестко! Но спустя 50 лет оценки поменялись, теперь уже Мережковский – крупнейший представитель Серебряного века. И, пожалуй, воспользуемся прилагательным: утонченный.

Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге.

Известно, что основы характера закладываются в раннем возрасте. О своем детстве Мережковский писал:

Всегда один, в холодном доме рос
Я без любви, угрюмый, как волчонок.

Не нашел он теплоты и в дальнейшем – в классической гимназии и в Петербургском университете. «У меня так же не было школы, как не было семьи». Всего он достиг сам, самостоятельной работой, отсюда и «кабинетный характер».

Истинный человек книги.

В мемуарах «Человек и время» Мариэтта Шагинян вспоминает о Мережковском, что это был сухонький, невысокого роста, черноглазый брюнет с бородкой клинышком, очень нервный, всегда мысленно чем-то занятый, рассеянно-добрый, но постоянно в быту как-то капризно-недовольный. Преувеличенно ценил свои книги. Они казались ему пророческими.

Внесем поправку в характеристику, данную Шагинян: Мережковский был не в быте, а над бытом, который его вовсе не интересовал, он парил в эмпиреях.

Я людям чужд, и мало верю
И добродетели земной;
Иною мерой жизнь я мерю,
Иной, бесцельной красотой.

Я верю только в голубую
Недосягаемую твердь,
Всегда единую, простую
И непонятную, как смерть.

О небо, дай мне быть прекрасным,
К земле сходящим с высоты,
И лучезарным, и бесстрастным,
И всеобъемлющим, как ты.

Это стихотворение «Голубое небо» написано Мережковским в 1894 году, когда ему было 29 лет. А стихи он начал писать с тринадцати лет. В пятнадцать лет юный Мережковский отважился читать свои стихи Достоевскому. «Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские, жалкие стишонки, – вспоминал этот эпизод Мережковский. – Он слушал молча, с нетерпеливою досадою… «Слабо… слабо… никуда не годится, – сказал он наконец. – Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать».

Что можно возразить классику?!..

В том же 1880 году Мережковский познакомился с популярным поэтом Надсоном, «полюбил его как брата» и благодаря ему смело вступил на порог литературной жизни.

Мережковскому повезло: он встречался со многими корифеями русской литературы – с Гончаровым, Майковым, Полонским, Плещеевым, Короленко, Гаршиным… Николай Михайловский и Глеб Успенский стали его учителями, но, правда, не надолго.

С 1885 года Мережковский печатает стихи во многих петербургских журналах и становится известным поэтом. В стихотворении «Волны» он сформулировал свою «идефикс»:

Ни женщине, ни Богу, ни отчизне,
О, никому отчета не давать
И только жить для радости, для жизни
И в пене брызг на солнце умирать!..

Влияние Ницше? Несомненно. Но в ницшеанство Мережковский внес и нечто свое, некую русскость:

Мне страшен долг, любовь моя тревожна.
Чтоб вольно жить – увы! я слишком слаб…
О, неужель свобода невозможна
И человек до самой смерти – раб?

В 1888, 1892, 1896, 1904 и 1910 годах выходят поэтические сборники Мережковского. Михаил Кузмин отметил, что по корням, по приемам поэзии стихи Мережковского напоминают Полонского, Фофанова и Надсона. «Мысль его почти всегда ясна, стихом он владеет прекрасно», – отмечал другой критик. Вот, к примеру, отрывок из стихотворения «Парки» (1892):

Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.

Лишь уста открою – лгу,
Я рассечь узлов не смею,
А распутать не умею,
Покориться не могу…

Даже по этим строчкам видно, что стихи Мережковского чересчур рассудочные, не эмоциональные, поэтому как поэт он

стоит во втором или третьем ряду среди пиитов Серебряного века. Проницательный Аким Волынский не зря упрекал Мережковского в отсутствии живого, искреннего чувства, в «претенциозной аффектации», в «сухой и раздражающей дидактике».

Возможно, это чувствовал и сам Мережковский. К середине 90-х годов он почти перестает писать стихи. Выступает как прозаик, критик, публицист, переводчик (переводит Эсхила, Софокла, Еврипида и других мастеров культуры). Отходит от модернизма и декаданса и ищет «новой веры, новой жизни». Его новая идейная и творческая гавань – религиозность. Как пишет Юрий Терапиано: «Мережковский по своей натуре был эсхатологом. Идея прогресса, рая на земле без Бога, а также всяческое устроение на земле во всех областях, вплоть до «совершенного искусства», «полного научного знания», а также личного спасения души в загробном мире, – для Мережковского – «мировая пошлость и плоскость, измена Духу».

А вот что отмечала Зинаида Гиппиус в биографической книге «Дмитрий Мережковский»: «Живой интерес ко всем религиям, к буддизму, к пантеизму, к их истории, ко всем церквам, христианским и не христианским равно. Полное равнодушие ко всей обрядности...»

Вот отрывок из стихотворения Мережковского «Бог»:

Я Бога жаждал – и не знал;
Еще не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал, —
Я сердцем чувствовал Тебя.
И Ты открылся мне: Ты – мир.
Ты – все. Ты – небо и вода,
Ты – голос бури, Ты – эфир,
Ты – мысль поэта. Ты – звезда...

Георгий Адамович отмечал, что Мережковский «думал о Евангелии всю жизнь и шел к «Иисусу Неизвестному» («Иисус Неизвестный» – один из центральных философских трудов Мережковского, изданный в Белграде в 1932 – 1934 годах в трех томах). Мережковский считал, что исторически христианство себя исчерпало и человечество стоит на пороге царства «Третьего Завета», где произойдет соединение плоти и духа.

Эту теорию дуализма (человек состоит из духа и плоти) Мережковский варьировал во многих своих статьях и книгах, в частности, в исследовании о Толстом и Достоевском. Язычество, по мнению Мережковского, «утверждало плоть в ущерб духу», и в

этом причина того, что оно рухнуло. Христианство церковное выдвинуло аскетический идеал «духа в ущерб плоти», и оно подошло к своему концу. Очередь теперь за «вторым Христом», который соединит плоть и дух.

Обо всем этом говорилось в доме Мережковских. В начале XX века в Петербурге было два центра интеллектуальной жизни: «Башня» Вячеслава Иванова и салон Мережковских.

В своей супруге Зинаиде Гиппиус Мережковский нашел ближайшего соратника, вдохновительницу и участницу всех своих идейных и творческих исканий. Это был надежный и прочный союз (и что удивительно: без плотского фундамента!). «Они сумели сохранить каждый свою индивидуальность, не поддаться влиянию друг друга... Они были «идеальной парой», но по-своему... Они дополняли друг друга. Каждый их них оставался самим собой», – вспоминала Ирина Одоевцева.

Из воспоминаний Юрия Терапиано: «...в личности Мережковского было нечто большее, чем то, что ему удавалось выразить в его книгах. Именно поэтому умнейшая и очень острая Гиппиус в какие-то самые важные моменты пасовала перед Мережковским, уступала ему – она понимала, что от некоторых слов его, от некоторых его замечаний или идей чуть ли не кружилась голова, и вовсе не потому, чтобы в них были блеск и остроумие, о, нет, а оттого, что они будто действительно исходили из каких-то недоступных и неведомых других сфер. Как знать, может быть, бездны и тайны были для него в самом деле родной областью, а не только литературным приемом?»

А вот свидетельство Андрея Белого: «Здесь, у Мережковского воистину творили культуры, и слова, произносимые на этой квартире, развозились ловкими аферистами слова. Вокруг Мережковского образовался целый экспорт новых течений без упоминания источника, из которого все черпали. Все здесь когда-то учились, ловили его слова».

Лев Шестов назвал Мережковского «страстным охотником за идеями». Все эти найденные или «подстреленные» Мережковским идеи расхватывались другими. Ну, что ж, щедрый охотник...

В годы революционного брожения квартира Мережковских была «своего рода магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы» (Георгий Чулков).

В 1905 году в журнале «Полярная звезда» появилась знаменитая статья Дмитрия Мережковского «Грядущий хам». «Грядущим хамом» окрестил Мережковский грядущего человека социализма. Социализму он приписал религию «сытого брюха» и полного аморализма. Будущее виделось ему как «лицо хамства, идущего снизу – хулиганства, босячества, черной сотни». Отвечая

на написанный Николаем Минским «Гимн рабочих», Мережковский предвещал, что «из развалин, из пожарищ» – ничего не возникнет, кроме «Грядущего Хама».

Мережковский предсказал «Грядущего Хама», а когда в 1917 году воцарилось «Царство Антихриста», он не уставал с ним бороться. В декабре 1919 года Мережковский и Гиппиус тайно покинули Советскую Россию. 16 декабря 1920 года в Париже Мережковский прочитал свою первую лекцию «Большевизм, Европа и Россия», в которой рассмотрел тройную ложь большевиков: «мир, хлеб, свобода», обернувшуюся войной, голодом и рабством.

Узнав о визите в Россию Герберта Уэллса, Мережковский обратился с открытым письмом к английскому писателю. В нем он, в частности, писал: «Знаете, что такое большевики? Не люди, не звери и даже не дьяволы, а наши «марсиане». Сейчас не только в России, но и по всей земле происходит то, что вы так гениально предсказали в «Борьбе миров». На Россию спустились марсиане открыто, а тайно, подпольно кишат уже везде. Самое страшное в большевиках не то, что они превзошли всякую меру злодейств человеческих, а то, что они существа иного мира: их тела – не наши, их души – не наши. Они чужды нам, земнородным, неземною, трансцендентную чуждостью...»

Ненависть к большевикам привела к тому, что, выступая по радио в 1941 году, Мережковский поддержал Гитлера, подчеркнув, что необходим крестовый поход против большевизма, как против абсолютного зла. Он выступал за интервенцию, которая помогла бы спасти мир и возродить Россию. «Я призывал, вопил, умолял, заклинал, – признавался Мережковский. – Мне даже стыдно сейчас вспоминать, в какие только двери я не стучался...», однако Запад не услышал Мережковского. Зато услышали в Москве, и в парижскую квартиру на 11-бис Авеню дю колонель Бонне пришли несколько вооруженных людей. Они опоздали: Мережковский успел умереть естественной смертью.

А теперь вернемся назад. Квартира Мережковских в Париже в течение 15 лет была одним из средоточий эмигрантской культурной жизни. На «воскресениях» у Мережковских собирался русский интеллектуальный Париж, и молодое «зарубежное поколение» любило слушать рассказы Дмитрия Сергеевича и Зинаиды Николаевны о петербургском периоде их жизни.

Говорить о Мережковском как о прозаике трудно: он написал неимоверно много. Его первым историческим романом стала «Смерть богов», где он с музейной достоверностью реконструировал события идейной борьбы в Римской империи в 4

веке. В книге «Вечные спутники. Портреты из всемирной истории» он представил многих гигантов, таких как Плиний Младший, Марк Аврелий, Монтень и другие. В 1901 году вышел его роман о Леонардо да Винчи. За исследованием «Толстой и Достоевский» последовала книга «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия». В 1904 году был опубликован роман «Антихрист. Петр и Алексей».

«Петр I по Мережковскому – соединение «марсова железа и евангельских лилий». Таков вообще русский народ, который и в добре и во зле «меры держать не умеет», но «всегда по краям и пропастям блудит».

Другие исторические романы Мережковского: «Павел I», «Александр I», «14 декабря». До революционных потрясений была написана книга «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев». Среди книг, написанных в эмиграции, выделим «Тайна Трех. Египет и Вавилон», «Тайна Запада. Атлантида – Европа», «Наполеон», «Данте», исследования о Жанне д'Арк, Лютере и т.д. Перечислять можно много. Томас Манн назвал Мережковского «гениальнейшим критиком и мировым психологом после Ницше». В 1933 Мережковский выдвигался на Нобелевскую премию, но его опередил Бунин.

Дмитрий Мережковский прожил большую жизнь (76 лет) и, казалось бы, сделал для русской литературы очень много, но, как отмечал Георгий Адамович: «Влияние Мережковского, при всей его внешней значительности, осталось внутренне ограниченным. Его мало любили, и мало кто за всю его долгую жизнь был близок к нему. Было признание, но не было прорыва, влечения, даже доверия, – в высоком, конечно, отнюдь не житейском смысле этого понятия. Мережковский – писатель одинокий».

Иван Ильин высказался еще резче: «Психология, психика, целостный организм души совсем не интересует Мережковского: он художник внешних декораций и нисколько не художник души. Душа его героя есть для него мешок, в который он наваливает, насыпает все, что ему, Мережковскому, в данный момент нужно и удобно. Пусть читатель сам переваривает все, что знает... Замечательно, что читателю никогда не удается полюбить героев Мережковского...»

«О, как страшно ничего не любить, – это уже восклицал Василий Розанов, – ничего не ненавидеть, все знать, много читать, постоянно читать и, наконец, к последнему несчастью, – вечно писать, т.е. вечно записывать свою пустоту и увековечивать то, что для всякого есть достаточное горе, если даже и сознается только в себе. От этого Мережковский вечно грустен».

И, пожалуй, последнее мнение. Критик и литератор Николай

Абрамович писал в «Новой жизни» в 1912 году, что культура прошлого была «как бы бассейном, откуда черпал обильно Мережковский», но он «первый показал, что существует особого рода талантливость, заключающаяся в способности… пылать, так сказать, заемным светом… во всем этом была жизнь – и жизнь очень напряженная и яркая».

Чтобы смягчить суровость оценок современников Мережковского, приведем стихотворение «Mori turi», которое начинается так:

Мы бесконечно одиноки,
Богов покинутых жрецы…

Концовка стихотворения такая:

Мы гибнем жертвой искупленья,
Придут иные поколенья.
Но в оный день, пред их судом,
Да не падут на нас проклятья:
Вы только вспомните о том,
Как много мы страдали, братья!
Грядущей веры новый свет,
Тебе от гибнущих привет!

Дмитрий Мережковский скончался в Париже 9 сентября 1941 года. О его страданиях и о братьях по Серебряному веку сегодня мы не вспоминаем. Сделаем исключение и вспомним.

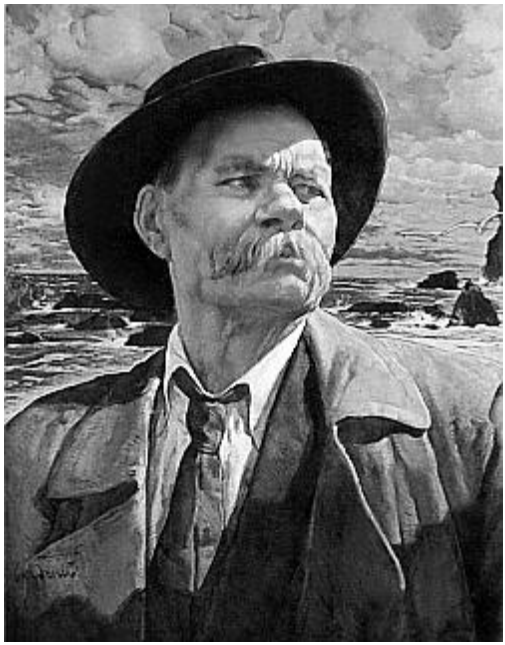
БУРЕВЕСТНИК, ПОЙМАННЫЙ В СЕТИ

Горький прожил неровную, напряженную и сложную жизнь.

Юрий Анненков

Я люблю Горького, но он из XIX века. Он не для меня.

Нина Берберова



Максим Горький

Линия судьбы

До недавнего времени отечественная литература напоминала двуглавого орла: одну голову русской литературы представлял Александр Пушкин, другую – советскую литературу – олицетворял Максим Горький. Так и парил орел с двумя головами, в одной связке. Но вот одну голову срубили. Остался орел, если так можно выразиться, единопушкинским. Без

опасного соседства.

Действительно, Пушкин – это орел. Гордая и величественная птица. А Максим Горький все же не орел, а буревестник. Согласно словарю, это большая морская птица. Орел парит в горах, а буревестник реет над морем. Алексей Максимович, можно сказать, сам себя провозгласил гордым буревестником. Это понравилось, и Горького стали называть «Буревестником революции». Однако время русской революции прошло. Море успокоилось, и пропала необходимость в революционном клекоте – в оповещении приближающейся бури.

Основателя советской литературы сегодня мало читают, в основном о нем пишут диссертации да громко шумят специалисты-горьковеды. А дальше – тишина. Неужели прав оказался Хемингуэй, когда-то давно сказавший про Горького: «Он был очень мертвый»?

125-летие Алексея Максимовича в 1993 году практически не отмечали. Было не до юбилея: справляли «поминки по советской литературе». Хотя на Западе имя Горького широко гуляло по страницам прессы и книг. Западные исследователи отдавали дань Максиму Горькому как человеку и художнику.

Некоторый бум произошел в 1996 году в связи с 60-летием со дня смерти пролетарского писателя. Появились новые книги («Горький без грима» и другие), на экране полыхнул фильм режиссера Сорокина «Под знаком Скорпиона», в котором Горький в ужасе прозревает и произносит до жути современную фразу: «Как они меня подставили!»

Однако от некоего шебуршания и мелькания материалов о Горьком фигура и личность писателя отнюдь не стала понятной и близкой. Он по-прежнему оставался непонятным, затерявшимся в высях. Он более миф, легенда, чем живой, во плоти человек (или по-горьковски: «матерый человечище»).

Проницательный Исаак Бабель встречался с Горьким в мае 1931 года и записал в дневнике: «День 22-го провел за городом, на даче у Алексея Максимовича. Встретились мы с прежней любовью. Впечатления так сложны, что еще до сих пор не разберусь. Но старик, конечно, такой, какого другого в мире нет».

Прошли десятилетия, но не утихают высказывания о том, что Горький – человек еще далеко не раскрытый в биографической литературе. Еще Корней Чуковский писал:

«Как хотите, а я не верю в его биографию. Сын мастерового? Исходил всю Россию пешком? Не верю...» А далее Чуковский отмечал некоторые черты Горького: аккуратность, однообразие, книжность, фанатизм...

Сколько написано о Горьком, а всей точности и

окончательной рельефности как не было в горьковском образе, так и нет по сей день. Буревестник-сфинкс. Буревестник-загадка.

Поэтому предупреждаю сразу, что всё, что я пишу, – это никакой не полный портрет Алексея Максимовича, а тем более в рост. А всего лишь штрихи. Некий абрис. Лирико-политические зарисовки.

Он родился 16 (28) марта 1868 года. Пересказывать биографию бессмысленно, но все же необходимо напомнить, что с 10 лет Алексей Пешков – круглый сирота. И в который раз можно поразиться его удивительным похождениям, головокружительной смене мест и профессий: Волга, Астрахань, Моздокские степи, Дунай, Черное море, Крым, Кубань, горы Кавказа… Помощник повара на корабле, продавец икон, тряпичник, грузчик, рыбак… Ну прямо российский Франсуа Вийон, а уж Джек Лондон – точно! Но вот что удивительно: казалось бы, «хождение в народ» способствует развитию любви ко всем классам, но почему-то крестьян Горький не любил, даже презирал. Ему явно не по нраву была крестьянская долготерпимость и покорность.

Босяк всея Руси был большим поклонником Фридриха Ницше и даже усы носил подобной формы, как у немецкого философа. «Босяцкое ницшеанство» Горького советские критики позднее переименовали в «революционный романтизм». Ранние герои Горького – Челкаш и Мальва – суть сверхчеловеки с босяцкого дна. Это импонировало самому Алексею Максимовичу: он не хотел быть заурядным человеком и простеньким писателем, но сверхчеловеком и непременно классиком русской литературы. И в отдельные периоды жизни он чувствовал себя и тем и другим. Были моменты и иные, когда он ощущал себя слабым и беззащитным. Не отсюда ли попытка самоубийства, происшедшая 12 декабря 1887 года (в 21 год). Как писал «Волжский вестник»: «Нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков… выстрелил из револьвера себе в левый бок, с целью лишить себя жизни».

Начинал Горький как поэт и в 1889 году показал Владимиру Короленко поэму в стихах и прозе «Песнь старого дуба». Короленко ее раскритиковал, и молодой автор, следуя литературной традиции, сжег свой опус.

Потом Горький перешел на рассказы, пьесы, романы, их успеху немало способствовала сама личность Горького и время, в которое он появился. Как писал Георгий Адамович: «В девяностых годах Россия изнывала от «безвременья», от тишины и покоя: единственный значительный духовный факт тех лет – проповедь Толстого – не мог ее удовлетворить. Нужна была пища погрубее, попроще, пища, на иной возраст рассчитанная, – и в это затишье, полное «грозовых» предчувствий, Горький со своими соколами и

буревестниками ворвался как желанный гость. Что нес он собою? Никто в точности не знал, – да и до того ли было?..»

Аресты и заключения в тюрьму тоже способствовали его популярности (ах, как любят у нас гонимых и преследуемых!).

Горький шел путем, отличным от русских писателей-интеллигентов. Он посвятил себя ордену революционеров. Роковая связь с Лениным и с большевистской партией лишь укрепила в нем мечту о всеобщем равенстве и братстве, и вот тут Буревестник и крякнул: «Буря! Скоро грянет буря!»

Справедливости ради следует отметить, что не один Горький верил в очистительную миссию революционной бури (даже Зинаида Гиппиус жаждала перемен). Персонаж горьковской пьесы «Враги» (1906), молодой рабочий Ягодин, говорит: «Соединимся, окружим, тиснем – и готово».

Соединились. Окружили. Тиснули. И одним из первых, кто заблажил от новой жизни, был Максим Горький. Его знаменитые статьи-протесты 1917 – 1918 годов были собраны в сборник «Несвоевременные мысли». Политика насилия и кровь, пролитая большевиками, испугали Буревестника, хотя лично он находился при новой власти в привилегированном положении. Как писал Евгений Замятин: «Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции...»

Я не согласен с Замятиным, с его выражением «был принесен в жертву». Никакая это была не жертва, сам Максим Горький по личной воле играл роль жреца-спасителя, и эта роль ему нравилась. Он действительно многим помогал и многих спас от ЧК, не случайно у него не сложились отношения с лидером петроградских большевиков Зиновьевым. Клевала Горького и партийная печать. Журнал «На посту» прямо заявлял, что «бывший Главсокол ныне Центрouж».

В конце концов Горького спровадили за границу, там он осмысливал пережитое в революционной России и хмуро писал Ромену Роллану: «...меня болезненно смущает рост количества страданий, которыми люди платят за красоту своих надежд».

В Италии была совсем другая жизнь. В его доме всегда находились постоянные жильцы, гости и приживальщики. За помощью к Алексею Максимовичу обращались многие эмигрантские писатели. Он всем помогал, всех кормил, а на себя тратил ничтожную малость: папиросы да рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади. Полюбил он фейерверки, праздники, которыми была богата жизнь в Италии. Все это дало повод съехидничать Василию Розанову в

одном из писем: «Наш славный Massimo Gorki».

И все же Россия тянула к себе Горького, к тому же новый хозяин страны Сталин предпринимал немалые усилия, чтобы заполучить писателя, побудить его к возвращению. Горький со своей популярностью, авторитетом, влиянием и значением в мировой культуре должен был украсить фасад СССР. Гуманизм Горького, по идее Сталина, должен был прикрыть преступления режима.

Интересно читать переписку Сталина и Горького. Писатель написал вождю более 50 писем, а все, кстати, эпистолярное наследие Горького составляет гигантскую цифру – 10 тысяч писем, из которых до сих пор не опубликовано более 15 процентов.

Горький – Сталину, 29 ноября 1929 года, Сорренто:

> «...Страшно обрадован возвращением к партийной жизни Бухарина, Алексея Ивановича (Рыкова. – Ю.Б.), Томского. Очень рад. Такой праздник на душе. Тяжело переживал я этот раскол.
>
> Крепко жму Вашу лапу. Здоровья, бодрости духа!
>
> *А. Пешков».*

Так и тянет скаламбурить, что Пешков остался пешкой в сложной политической игре вождя. В конечном счете Горький и был пожертвован как пешка, когда выполнил свою функцию гуманистической вывески Советской страны и стал раздражать своим чрезмерным человеколюбием. Но это произошло не сразу. Поначалу Горькому всё понравилось по возвращении на родину. Он верил в происходящие в стране процессы и ни на секунду не допускал, что они сфабрикованы. Клеймил «врагов народа»: «Если враг не сдается – его уничтожают» – печально знаменитая статья Горького в «Правде» от 15 ноября 1930 года. Дружил с наркомом внутренних дел Ягодой. «Освятил» рабский труд заключенных на Беломорканале. Провел Первый съезд советских писателей. Он много сделал позитивного для Сталина и Страны Советов. Был за это возвеличен и восхвален (город Горький, улица Горького, театр имени Горького и т. д.). Жил Горький в своеобразной золотой клетке, бдительно охраняемой НКВД, многое не увидел и многого не понял, но постепенно начинал прозревать, ведь не случайно, что он так и не написал панегирик Сталину, которого от него так ждали. Рука не поднялась?..

«Предлагаю назвать нашу жизнь Максимально Горькой», – как-то пошутил Карл Радек. Но писателю было не до шуток. Отношения с вождем становились все более напряженными, смею предположить, что оба – Горький и Сталин – разочаровались друг

в друге.

Горький дважды пережил драму личного сознания: в начале революции, в 1917 – 1918 годах, и в середине 30-х, на взлете строительства социализма. Судя по письмам и высказываниям, он горько жалел, что стал соавтором и соучастником величайшего иллюзиона XX века – строительства государства справедливости и правды, счастливого единения рабочих и крестьян при массовом истреблении остальных «враждебных» классов.

Горький умер накануне приезда в Москву двух интеллектуалов Запада – Андре Жида и Луи Арагона. Весьма вероятно, что он высказал бы им все наболевшее. Но эта «исповедь» не состоялась. Зловещим знаком предупреждения стала катастрофа гигантского самолета «Максим Горький», случившаяся за год до смерти писателя – 18 мая 1935 года.

Не будем муссировать смерть Буревестника: убили, отравили, валить всё на «железную женщину» – Марию Будберг. Не это главное: умер он естественной смертью 18 июня 1936 года или его «убрали». Главное то, что он был Буревестником в клетке. В сетях. Скованным и фактически замурованным. Он выполнил свою историческую миссию «освещения» революции и вынужден был покинуть сцену. Роль сыграна. Мавр оказался ненужным.

Поэт Александр Прокофьев вспоминал: «Умер Горький. Вызвали меня из Ленинграда – и прямо в Колонный зал. Стою в почетном карауле. Слезы туманят глаза. Вижу, Федин слезу смахивает. Погодин печально голову понурил. Вдруг появился Сталин. Мы встрепенулись и... зааплодировали».

Хороший эпизодик, не правда ли? Он говорит о многом.

Христианский мыслитель, историк культуры и, естественно, эмигрант Георгий Федотов откликнулся статьей «На смерть Горького». У нас она малоизвестна, и поэтому имеет смысл привести отрывок из нее:

«Горький никогда не был русским интеллигентом. Он всегда ненавидел эту формацию, не понимал ее и мог изображать только в грубых карикатурах... Горький не был рабочим. Горький презирал крестьянство, но у него всегда было живое чувство особого классового самосознания. Какого класса?.. Тех классов или тех низовых слоев, которые сейчас победили в России. Это новая интеллигенция, смертельно ненавидящая старую Россию и упоенная рационалистическим замыслом России новой, небывалой. Основные черты нового человека в России были предвосхищены Горьким еще 40 лет тому назад... Он всегда был с еретиками, с романтиками, с искателями, которые примешивали крупицу индивидуализма к безрадостному коллективизму Ленина... Добрая прививка ницшеанства в юности сблизила

Горького с Лениным в этой готовности бить дураков по голове, чтобы научить их уму-разуму. Но, в отличие от Ленина, Горький не заигрывал с тьмой и не раздувал зверя. Тьме и зверю он объявлял войну и долго не хотел признавать торжества победителей. Горький эпохи Октябрьской революции (1917 – 1922) – это апогей человека. Никто не вправе забыть того, что сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции...»

Говоря о 30-х годах, Федотов восклицает:

«Как он мог не заметить страданий народа, на костях которого шла стройка? Как он мог смешать энтузиастов с чекистами и скрепить своим именем бесчеловечность беломорской каторги? Что это? Слепота? Наивность?.. В каком-то смысле слепота усталости, которая не хочет правды. Слишком горька правда, и старый человек хочет успокоиться на подушке «достижений»...»

Федотову в эмиграции было легко писать всё, что он знал и думал. Но Горький жил в центре ГУЛАГа, о чем кричит одна из его записок: «Как собака: всё понимаю, а молчу».

Можно согласиться с выводом Дэна Левина в книге «Буревестник» (1965), о том, что Горький осознал, что прожил жизнь «не на той улице», и вложил это трагическое признание в уста Егора Булычева.

Как у человека, так и у личности Максима Горького – трагическая судьба. А судьба писателя Горького? Тоже непростая. Он хотел писать, как Бунин и Леонид Андреев, а писал, естественно, как Максим Горький. Русские писатели-эмигранты невысоко ставили всё то, что делал Алексей Максимович. Борис Зайцев утверждал, к примеру, что «литературно Буревестник убог... невелик в искусстве, но значителен, как ранний Соловей-разбойник. Посвист у него довольно громкий...»

Итак, литературный посвист...

Другие мнения: реалист, бытовик или, как выразился Виктор Шкловский, «очень начитанный бытовик» («Детство», цикл «На Руси», добротные «Артамоновы» и т. д.).

Лучшая книга, на мой взгляд, – «Жизнь Клима Самгина», настоящая эпопея об интеллигенции, хотя Борис Парамонов (русский писатель, живущий на Западе) утверждает, что это всего лишь «мемуары плебея-комплексанта». Не согласен. Прекрасная книга, не потерявшая актуальности и сегодня. Вот вам маленький отрывочек:

« – Сотенку ухлопали, если не больше. Что же это значит, господа, а? Что же эта... война с народонаселением означает?

Никто не ответил ему, а Самгин подумал и сказал:

– Это – не ошибка, а система».

Ну что ж, заканчивая эти грустно-юбилейные строчки, вслед за Максимом Горьким зададим сакраментальный вопрос: «А был ли мальчик?»

Российский вопрос-фантом. А была ли империя?..

Линия любви

Получается, как в хиромантии: линия судьбы... линия любви... О первой мы уже рассказали, приступим ко второй. В романе Горького «Жизнь Клима Самгина» в уста диакона вложены следующие примечательные слова: «Любовь эта и есть славнейшее чудо мира сего, ибо хоть любить нам друг друга не за что, однако ж – любим!»

Женщины занимали в жизни Горького, без всякого преувеличения, большое место. Существуют люди холодного склада, с очень приглушенным темпераментом, для которых любовь и секс играют подчиненную, функциональную роль, поэтому они практически не переживают и не мучаются из-за встреч и разлук, не испытывают никакой «зубной боли» в сердце, по выражению Генриха Гейне. А есть люди, для которых женщина – почти все в жизни: и неодолимое влечение, и сердечная мука, и стимул к творчеству, и еще многое... Именно таким был Максим Горький. Он с юных лет откровенно тяготел к женщине, считая ее воплощением человеческой красоты.

Когда Горькому было тринадцать лет, он страстно влюбился в молодую вдову. А увидя однажды ее обнаженной, онемел от восторга. «В ее обнаженности было что-то чистое», – признавался он позднее. Горький посещал вдову по воскресеньям. Как правило, она охотно беседовала со своим юным обожателем, лежа в постели. И поза лежащей женщины, естественно, лишь распаляла будущего пролетарского писателя. Но однажды, по обыкновению придя к ней, Горький застал ее в постели с мужчиной, причем вдова при этом даже не покраснела. Мужчина – это одно, а взирающий на нее влюбленными глазами юнец – это совсем другое. То, что было для нее обычным, житейским делом, для Горького стало потрясением: для него любовь была чем-то возвышенным и неземным, а тут плотские ласки, грубое «хапанье» руками. Отзвуки этого юношеского потрясения можно найти в недоумении Лидии Варавки (в романе «Жизнь Клима Самгина») после первой интимной близости: «И это всё. Для всех одно: для поэтов, извозчиков, собак?.. Но согласитесь, что ведь этого мало для человека!»

Однако позднее Горький осознал, что любовь возникает из естественной жажды обладания, как мы говорим сегодня, из зова

пола (по-английски sex appeal). Вот такую любовь, романтическую, но замешенную на плотском желании, испытал Горький к Марии Деренковой. Любовь вышла безответной, и 12 декабря 1887 года 19-летний Горький стрелялся. Самоубийства не получилось, но и попытка имела серьезные последствия: пуля попала в легкое, и впоследствии развился туберкулез, из-за которого Максим Горький страдал всю оставшуюся жизнь.

Эпизод с попыткой самоубийства, по всей вероятности, лег в основу горьковского «Рассказа о безответной любви». Героиня рассказа – провинциальная актриса Лариса Добрынина – довела до убийства одного юного поклонника и по этому поводу говорит второму воздыхателю: «Вот... убил себя милый, умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но – что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам – вы ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но, послушайте, неужели за то, что Бог наградил меня красотой, я должна платить каждому, кто ее хочет, если даже он противен мне?..»

Кто знает, может быть, именно этими словами и отказали Горькому, они врезались ему в память, а потом всплыли за письменным столом? Возможно, возможно...

И еще одна цитата из того же горьковского рассказа:

«В тот день была она в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет тело ее, – смотреть больно. Все на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову ее, и сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате – солнце, цветы, – невыразимо великолепна была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой...»

Конечно, горьковское письмо не бунинское, оно победнее в словах, менее узорчатое и без изысков, но напор, пожалуй, тот же, что у Бунина: того и другого женщины буквально завораживали. Но мы с вами отвлеклись. Итак, была у Горького несчастная любовь и попытка свести счеты с жизнью. Но что обычно лечит сердечные раны? Конечно, последующая встреча с другой, более доступной и податливой женщиной. Так произошло и у Горького.

На пути его встретилась Ольга Каменская (или, по некоторым источникам, Каминская), опытная особа, старше Горького на десять лет. Встреча произошла спустя полтора года после покушения на самоубийство. В рассказе «О первой любви» Горький почти автобиографически признается: «Я был уверен, что именно эта женщина способна помочь мне не только почувствовать настоящего себя, но она может сделать нечто

волшебное, после чего я тотчас освобожусь из плена темных впечатлений бытия, что-то навсегда выброшу из своей души, и она вспыхнет огнем великой силы, великой радости».

Опять же из этого отрывка встает фигура Горького как неисправимого романтика: великая любовь, великая радость... В жизни происходят, конечно, и любовь, и радость, но без этого велеречивого прилагательного «великий». Хочется великого, – это понятно, – но происходит всегда обыденное, а то и просто заземленно-забубенное. Хотя в случае с Ольгой Каменской про забубенность не скажешь, скорее тут видится некая пикантность ситуации: фактически она делит любовь между двумя солидными мужьями и пылким любовником Горьким. К тому же у Каменской на руках ребенок. Но что Горькому до всего этого? Он влюблен, он ослеплен, он жаждет быть вместе с любимой женщиной и предлагает ей развестись с официальным мужем, бросить неофициального и жить только с ним. Каменская отказывается от такого варианта, и они расстаются.

Однако судьба свела их через два года в Тифлисе. Каменская разведена, она свободна как птица, а в груди Горького по-прежнему не унимается костер собственных чувств.

Искры этих чувств вспыхивают на страницах рассказа «Макар Чудра».

«Мне до безумия хочется обнять ее, но у меня идиотски длинные, нелепо тяжелые руки, я не смею коснуться тела ее, боюсь сделать ей больно, стою перед нею и, качаясь под бурными толчками сердца, бормочу...»

На этот раз Ольга Юльевна уступила Алексею Максимовичу, и они стали жить вместе, и буквально в «шалаше» – в бане при доме священника-алкоголика. Рай в шалаше продолжался примерно два года. Горький каторжным литературным трудом зарабатывал деньги, а Каменская их легко тратила. К тому же время от времени появлялись ее бывшие мужья – Фома Фомич и Болеслав, и сердобольная женщина поддерживала их материально. Так что еще раз повторим: ситуация была пикантной. А что Горький? «Нет, я не ревновал, но всё это немножко мешало...» – можно прочитать у Алексея Максимовича.

Долго это продолжаться не могло, и пришел естественный конец. Дочка Каменской «плакала, и Каменская держала ее крепко за руку и молча минута за минутой переживала с ней вместе всё, о чем она плакала. В этот час мы хоронили вместе, она – свое детство, я – любовь».

А что хоронил Горький? Он прощался со своими романтическими иллюзиями. А жизнь тем временем катилась дальше. И вот уже новая героиня горьковского романа. В

«Самарской газете», где он работал, появилась семнадцатилетняя выпускница гимназии, золотая медалистка Катя Волжина. Она – корректор, он – маститый, к тому времени, фельетонист газеты, к тому же старше ее на десять лет. Можно поиронизировать, что теперь в роли старшей и умудренной жизнью вдовы выступает уже Алексей Максимович. Катя влюбляется в зрелого литератора. И немудрено: у него с годами появилось умение распускать павлиний хвост перед женщинами. Эту черту мгновенно заметил и описал Корней Чуковский, правда, немного позднее и по отношению к другой женщине, но это не суть важно. Вот эта дневниковая запись К. Чуковского от 24 сентября 1919 года:

«Заседание по сценариям. Впервые присутствует Мария Игнатьевна Бенкендорф, и, как ни странно, Горький не говорил ни слова ей, но всё говорил для нее, распуская весь павлиний хвост. Был очень остроумен, словоохотлив, блестящ, как гимназист на балу».

Это в 41 год, а тогда – в 27! – можете представить, как заносило Алексея Максимовича на поворотах. Короче говоря, Горький увлек Волжину и сделал ей предложение. Мать Кати препятствовала браку дочери-дворянки с «нижегородским цеховым». Горький хоть и ходил тогда в журналистах, но был по происхождению все же плебсом. Но Катя настояла, и 30 августа 1896 года они обвенчались в Самаре. Катя Волжина отныне стала Екатериной Пешковой. Через год, 27 июля 1897 года, у них родился сын Максим. Потом родилась дочь Катя, но вскоре умерла.

Однако семейная жизнь Горького с Екатериной Пешковой, как говорится, не заладилась. В этом союзе было больше дружеских чувств, чем любовных, и плотское томление Горького в конце концов привело к разрыву. Но расстались они довольно мирно, более того, по-дружески, и остались на все последующие годы в друзьях, часто переписывались друг с другом, помогали советом, когда кто-нибудь из двоих в нем нуждался.

Выскажу предположение, что Горький расстался с Катериной Пешковой еще потому, что ему хотелось видеть рядом с собой женщину не домашнюю, а скорее светскую, блестящую, красивую, которая бы облагородила его провинциальную внешность и манеры. И такая женщина вскоре после разрыва с Пешковой появилась. Как говорится, на ловца и зверь бежит.

Зверь явился в образе роскошной актрисы Художественного театра Марии Андреевой. Встреча произошла в Севастополе в 1900 году, во время гастролей там Художественного театра. Гастроли проходили в каком-то летнем театре, и вот в антракте спектакля «Гедда Габлер» в дверь артистической уборной актрисы

постучали. Голос Чехова:

– К вам можно, Мария Федоровна? Только я не один, со мною Горький.

«Сердце забилось – батюшки! И Чехов, и Горький! – читаем мы в воспоминаниях Марии Андреевой. – Встала навстречу. Вошел Антон Павлович – я его давно знала... за ним высокая, тонкая фигура в летней русской рубашке; волосы длинные, прямые, усы большие и рыжие, – неужели это Горький?..

– Вот познакомьтесь, Алексей Максимович Горький. Хочет наговорить вам кучу комплиментов, – сказал Антон Павлович. – А я пойду в сад, у вас тут дышать нечем.

– Черт знает! Черт знает, как вы великолепно играете, – басит Алексей Максимович и трясет меня изо всей силы за руку...»

Опускаем описание Горького, каким его представляла Андреева до встречи и каким он оказался на самом деле, это все как детали, главная фраза в воспоминаниях актрисы: «...и радостно екнуло сердце».

Сердце екнуло. Значит, любовь!.. Но в воспоминаниях Андреевой о любви нет ни слова (стеснялась? не хотела? специально замалчивала?). Есть другое: «Наша дружба с ним всё больше крепла, нас связывала общность во взглядах, интересах...»

Сошлись не только мужчина и женщина, сошлись два единомышленника, которые верили в царство добра и справедливости, путь к которому лежал через революцию. В лице Марии Андреевой Горький нашел отважную помощницу и отчаянную мечтательницу. Они соединили свои судьбы. Соединили де-факто, но не де-юре, официальной женой Горького оставалась Екатерина Пешкова. И когда Горький с Андреевой отправились в Америку добывать для революции деньги, там в прессе мгновенно возник скандал. Американские журналисты назвали Горького анархистом и двоеженцем. Дело дошло до того, что Горького и Андрееву не пускали на пороги некоторых гостиниц, наиболее пуританских, разумеется.

Новая жизнь с новой женой была бурной и деятельной: литература постоянно переплеталась с политикой, так было и в Италии, на Капри, где жили Горький и Андреева. Как писала она своей подруге Муратовой 11 сентября 1910 года: «Живем мы как когда, когда очень хорошо, иногда плохо, но всегда интересно и разнообразно».

Но разнообразие в какой-то момент перешло в однообразие, и Горький расстался с Марией Федоровной. Причем расставание опять-таки произошло тихо и мирно, без скандалов и битья посуды, – этого Алексей Максимович не выносил. Его всегда устраивал худой мир, который лучше любой ссоры. В 1925 году в

Сорренто на вопрос поэта Вячеслава Иванова, как у него складываются отношения с Екатериной Пешковой, Горький ответил так: «Я с нею в самых дружеских отношениях, как и с Марией Федоровной Андреевой, с которой я жил десять лет. Мне удавалось избегать с близкими женщинами драм...»

Горький всегда стремился сохранить свое душевное спокойствие. А испытывали ли драмы его любимые женщины, получившие приставку «экс»? Наверное, все-таки да. Показательно, что после расставания с Горьким Андреева не приезжала к нему в Италию в те дни, когда там гостила Екатерина Павловна Пешкова. Каждая из них не хотела видеть соперницу.

На старости лет Андреева призналась: «А я была не права, что покинула Горького. Я поступила как женщина, а надо было поступить иначе: это все-таки был Горький...»

То есть всемирно известный писатель, поэтому следовало бы не ревновать, проглатывать обиды, быть ниже травы и тише воды и т. д. Но эту роль покорницы темпераментной Андреевой сыграть не удалось.

Последней любовью Горького стала «Мария фон Будберг, она же баронесса Бенкендорф, она же Закревская, она же Унгерн-Штернберг, 1892 года рождения, уроженка Полтавы, дочь крупного помещика» – именно так она представлена в оперативной справке НКВД.

Это была примечательная женщина, некрасивая, но талантливая, из породы авантюристок. У нее было много мужей, любовников и друзей-мужчин, которых она умела заводить и околдовывать каким-то своим особым шармом и сексуальной притягательностью. Женщина-манок. Она сумела прожить часть своей жизни с двумя литературными титанами – Максимом Горьким и Гербертом Уэллсом. В быту ее звали просто Мурой, но Нина Берберова окрестила ее «железной женщиной» и написала о ней целую книгу.

Не будем цитировать Берберову (кто захочет, тот прочитает «Железную женщину» сам), лучше приведем один любопытный документик – письмо Максима Горького властителю Петрограда Григорию Зиновьеву: «Позвольте еще раз напомнить Вам о Марии Бенкендорф – нельзя ли выпустить ее на поруки мне? К празднику Пасхи? А. П.».

На момент письма, в апреле 1920 года, Мария Бенкендорф-Будберг сидела в подвалах ЧК за связь с английским послом Локкартом и подозревалась в шпионаже против советской России, кстати, ее арестовали чуть ли не в постели посла. Зиновьев откликнулся на просьбу Горького, и Алексей Максимович

получил Муру, выражаясь фигурально, в качестве пасхального подарка. Подарок пришелся очень к месту: Мура стала секретарем затеянного Горьким издательства «Всемирная литература» и одновременно личным литературным секретарем писателя. Впрочем, ее функции получились весьма расширительные: секретарь, консультант, переводчик, домоправительница и любовница. Гениальная женщина, не каждая на такое способна!

Был момент, когда она покинула Горького и уехала к Уэллсу, а Алексей Максимович бомбил ее письмами, в которых полыхали и страсть, и надрыв, и тоска. Любимая женщина вернулась и скрасила последние месяцы смертельно больного Горького. Есть версия, что именно она убила знаменитого любовника по заданию чекистов, на которых работала. Лично я в это не верю.

Когда Горький умер, в крематории присутствовали все три женщины Алексея Максимовича – одна официальная и две невенчанные жены. В книге Галины Серебряковой «О других и о себе» можно прочитать такой пассаж: «Из полутьмы, четко вырисовываясь, в траурном платье появилась Екатерина Павловна Пешкова – неизменный друг Горького. Тяжело опиралась она на руку невестки. За ней шла Мария Федоровна Андреева с сыном, кинорежиссером Желябужским. И поодаль, совсем одна, остановилась Мария Игнатьевна Будберг. Все эти три женщины чем-то неуловимо походили одна на другую: статные, красивые, гордые, одухотворенные...»

Что ж, отдадим дань вкусу Горького.

Все три главные женщины Горького пережили его намного. Мария Андреева умерла 8 декабря 1953 года в возрасте 85 лет. Настоящий «феномен», как назвал ее Ленин. Екатерина Пешкова скончалась в 1965 году, прожив на свете 87 лет, а в 1974 году ушла из жизни Мура, «железная женщина», в возрасте 82 лет.

Так что все – долгожительницы. «Сколько ей лет? – удивлялся Корней Чуковский Екатерине Павловне Пешковой. А она бодра, возбужденна, эмоциональна, порывиста...»

Последней своей пассии – Будберг-Бенкендорф, любимой Муре, Горький посвятил самое крупное и значительное произведение из всего того, что написал: «Жизнь Клима Самгина».

Любопытную запись оставил Корней Иванович в своем дневнике от 30 апреля 1962 года:

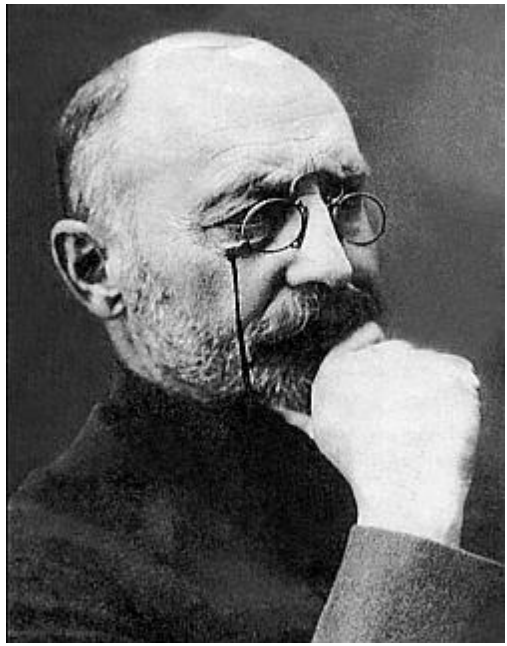
«Екатерина Павловна Пешкова получила от Марии Игнатьевны Бенкендорф (Будберг) просьбу пригласить ее к себе из Англии. Екатерина Павловна исполнила ее желание. «Изо всех увлечений Алексея Максимовича, – сказала она мне сегодня, – я

меньше всего могла возражать против этого увлечения: Мария Игнатьевна – женщина интересная».

С чего начали – тем и закончили: вкус у Максима Горького был отменный.

Вот и все, пожалуй, о Буревестнике, который пытался приспособить мировую литературу к нуждам пролетариата. Писатель и царедворец. Гуманист и конформист. А еще он – человек для подражания, ибо сумел сам себя сделать. А это удается далеко не каждому.

ИСКАТЕЛЬ ПРАВДЫ



Викентий Вересаев

Кто-то однажды сказал: «Я знаю двух Вересаевых: один – врач, другой – писатель». Этот просвещенный товарищ ошибся: Вересаев один. Он написал некогда нашумевшую книгу «Записки врача» (1901), и он же написал еще много других замечательных книг.

Итак, Викентий Вересаев. Имя почти забытое и, конечно, зря. На слуху болоболые политики, полуобнаженные поп-дивы, поющие под фанеру, предприниматели-чекисты, делящие тайно или явно собственность, и еще Бог знает кто, кому сопутствует ветер дикого капитализма. Время проныр, циников и рвачей. И только иногда слышен ностальгический вздох классика: «Да, были люди в наше время!..» Действительно, и какие! К примеру, тот же Вересаев. Максим Горький писал ему из Италии:

«...Хороший Вы человек, Викентий Викентьевич, уж разрешите сказать это. И когда люди Вашего типа вымрут в России, а они, должны вымереть и скоро уже – лишится Русь значительной части духовной красоты, силы и оригинальности своей. Лишится! И не скоро наживет подобных!»

Как в воду глядел Алексей Максимович. Вымерли Вересаевы в России. А новые так и не народились. Одна мелочь пузатая,

надутая и чванливая, – прости меня, Господи!..

Двадцати двух лет, 24 октября 1889 года Вересаев записывал в дневнике: «Пусть человек во всех кругом чувствует братьев – чувствует сердцем, невольно. Ведь это – решение всех вопросов, смысл жизни, счастье». Сейчас не человеколюбие, а остервенелая ненависть в ходу.

Вересаев – патриарх литературы. Он – современник Салтыкова-Щедрина и Гаршина, Льва Толстого и Короленко, Чехова и Горького. Он был и нашим современником. Плодовитый автор – писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, критик, публицист, переводчик. Жил Вересаев в бурную эпоху политических и социальных сломов, однако сам не сломался, не прогнулся ни под каким режимом, себя духовно сохранил до конца, недаром в молодые годы за «нерушимость взглядов» прозвали его Каменным мостом. Как построил себя, так и стоял насмерть, выдерживая любые нагрузки. Остался верен завещанию, которое ему, 12-летнему мальчику, еще в 1879 году написали родители на подаренной книге:

Стой – не сгибайся, не пресмыкайся,
Правде одной на земле поклоняйся.

Вересаев и стал рыцарем правды. Все его творчество можно охарактеризовать старомодным словом «служение».

Ну, а теперь очень кратко о жизненном пути Викентия Вересаева. Его настоящая фамилия – Смидович. Родился он 4 (16) января 1867 года в Туле, в семье польского ссыльного дворянина (его предки участвовали в польском восстании), известного врача Викентия Смидовича. Мать – Елизавета Юницкая, дочь врача, была организатором первого в Туле детского сада. В семье воспитывалось 8 детей. Кстати, приведем оригинальное высказывание Вересаева: «Всякий двухлетний ребенок – гений, всякий пятнадцатилетний мальчик-негодяй». Но это так, общее наблюдение.

Вересаев окончил классическую гимназию с серебряной медалью. Затем историко-филологический факультет Петербургского университета, а еще медицинский факультет Дерптского университета. По образованию он – врач и филолог. Долгие годы совмещал врачебную практику с литературными занятиями. Первая публикация, увидевшая свет – стихотворение «Раздумье», – в журнале «Модный свет». Автору было 13 лет. Он давно увлекся чтением, читал от Майн Рида до Писарева и Добролюбова. Любимым поэтом был Лермонтов. Вересаев начал с

поэзии, а потом перешел на прозу.

В Русско-японскую войну Вересаев был мобилизован в действующую армию в качестве врача военно-полевого госпиталя. Понюхал пороха в Мукденском сражении и в бою на реке Шахэ.

Литературное имя Вересаеву принесли «Записки врача», которые он писал, по своему признанию, «ничего не утаивая» и «искренно». В книге затронуты проблемы профессиональной медицинской этики и отношений между врачом и пациентом. Книга вызвала бурю критики, многократно переиздавалась и была переведена на многие европейские языки. «Поистине очистительной грозою промчалась она буквально по всему миру, как удар по замкнутой и ревнивой кастовости», – писал Виктор Шкловский.

Как литератор, Вересаев находился под сильным влиянием Тургенева, Льва Толстого и Чехова. Главная тема вересаевских произведений – жизнь и духовные искания русской интеллигенции. Ей посвящены повести «Без дороги» (1895) и «На повороте» (1902), рассказ «Поветрие» (1898). Не избежал Вересаев кратковременного увлечения марксистской идеологией, описывая жизнь рабочих. Упомянем цикл рассказов о войне. Отразил писатель и революционные события в России – повесть «К жизни», рассказ «Паутина». И выделим книгу Вересаева «Живая жизнь», посвященную Достоевскому, Льву Толстому и Ницше. Пресса неизменно величала Вересаева писателем-интеллигентом.

В апреле 1917 года Вересаев возглавил художественно-просветительскую комиссию московского совета рабочих депутатов. После Октября не захотел служить и целиком сосредоточился на литературной работе. Жил в Крыму при большевиках и стал свидетелей красного террора. Увиденное легло в основу романа «В тупике» (1923), который стал одним из первых произведений о Гражданской войне и трагедии становления советской власти, о страданиях и муках интеллигенции. Примечательно, что вопрос об издании «В тупике» отдельной книгой решался в Кремле. Демьян Бедный выступил решительно против. Как ни странно, поддержал Дзержинский. Не возражал Сталин. Роман после 1923 года переиздавался 8 раз.

В 1926 году Вересаева избрали председателем Всероссийского союза писателей, но вскоре он понял, что в сложившейся обстановке руководить союзом не может и в сентябре следующего года Вересаев сложил с себя полномочия председателя. Что касается помощи отдельным писателям, то Вересаев продолжал это делать, помогая нуждающимся Волошину, Грину, Сологубу и другим литераторам. Помогал

материально он и вдове Михаила Булгакова.

В 1933 году вышел роман «Сестры», посвященный проблемам комсомола и молодежи, о разительном расхождении между реальной жизнью и коммунистическими постулатами, о лжи и фальши идей. И тут же Вересаев был осужден критиками за «биологизм», «очернительство», за «клеветническую карикатуру на комсомол». Власть вспомнила предыдущий роман «В тупике» и прозрела: да и это клевета! И оба романа были тут же «арестованы» и отправлены в спецхран, подальше от читательских глаз. Вновь « В тупике» и «Сестры» были переизданы лишь в 1990 году.

Итак, прозорливый Вересаев не зря живописал своего героя врача Ивана Сартанова в тупике после революционных бурь, в тупике оказалась и Россия под властью большевиков. Романами «В тупике» и «Сестры» Вересаев предупреждал, что страна скатывается в бездну, что Россия на гибельном пути, а официальная власть утверждала обратное, что «жизнь стала веселее». В 1933 году Вересаев с горечью записал в дневнике: «Эх, правда, правда, – главный и любимейший герой Льва Толстого, – выгнали тебя вон из русской литературы». Вересаев, как и его любимый Толстой, писали в стиле критического реализма, а в советские годы требовался иной – социалистический реализм, с умолчаниями, искажениями, но с пафосом и оптимизмом. Вересаев так не писал. «Я имею претензии считаться честным писателем», – говорил он.

В 1943 году совершенно неожиданно Вересаев узнал о присуждении ему Сталинской премии «За многолетние выдающиеся достижении в области искусства и литературы» и невероятно расстроился, от недоумения не спал всю ночь, так как расценил премию как оскорбление. В дневнике с горечью спрашивал самого себя: за что? что я сделал столь неприличного, достойного этой позорной награды, премии имени тирана?..

После запрещенных романов «В тупике» и «Сестры» Вересаев отошел от художественной прозы и занялся исторической. И написал замечательные книги «Пушкин в жизни» (1926 – 27), «Спутники Пушкина» (1936), «Гоголь в жизни» (1933). При их написании писатель применил принцип «художественного монтажа» документов, писем, мемуаров современников. Все это переплавил и прокомментировал, получилось весьма занимательно и поучительно. Академический пушкинизм Вересаев максимально сблизил с читателем. Из почти 400 портретов людей, окружавших Пушкина (друзей и случайных знакомых) по-новому высветился образ любимого поэта.

Помимо этого Вересаев написал и ряд других книг, в том

числе воспоминания «Записи для себя». В них писатель признался: «Не знаю, испытывают ли что-нибудь похожее другие, но у меня так: далеко в глубине души, в очень темном ее уголке, прячется сознание, что я все тот же мальчик Витя Смидович; а то, что я – «писатель», «доктор», что мне скоро 60 лет, – всё это только нарочно; немножко поскрести, – и осыплется шелуха, выскочит маленький мальчик Витя Смидович и захочет выкинуть какую-нибудь озорную штуку самого детского размаха».

И еще одно тонкое психологическое наблюдение: «Глаза – зеркало души. Какой вздор! Глаза – обманчивая маска, глаза – ширмы, скрывающие душу. Зеркало души – губы... Чудесные, светлые глаза и хищные губы. Девически-невинные глаза и развратные губы... Берегитесь глаз! Из-за глаз именно так часто и обманываются в людях. Губы не обманут».

В 30 – 40-е годы Вересаев находился в странном положении: признания и забвении одновременно. Однажды он в «Правде» прочитал: «Книги В.В. Вересаева давно стали общенародным достоянием». Прочитал писатель это и записал в дневнике: «Горько читать. Труда невыразимого стоило протащить каждую мою книгу даже в самом ничтожном тираже. И я прочною стеною отгорожен от читателя... Выход был только один – честно молчать».

Художник, по словам Вересаева, всегда должен быть самим собою, сохраняя дух свободы. Выступая в литературной студии перед молодыми авторами и отвечая на вопрос, что нужно для того, чтобы быть писателем? – отвечал: «Смотреть собственными глазами, слушать собственными ушами». Он не сказал вслух, но вся его жизнь говорила и о том, что надо быть подальше от власти и не принимать от нее никаких подачек.

«В душном вагоне метро, – писал Виктор Шкловский, – совсем недавно встретил я Вересаева. Он был болен и как врач знал сроки жизни, но говорил только о Гомере, о точности перевода...»

Викентий Викентьевич работал до последних дней, а в день кончины редактировал собственный перевод одной из песен «Илиады». Одними из последних его слов, обращенных к близким, были: «Да, в жизнь нужно входить не веселым гулякою, как в приятную рощу, а с благоговейным трепетом, как в священный лес, полный жизни и тайны».

Вересаев умер 3 июня 1945 года в Москве, в возрасте 78 лет. В 125-летие писателя в Туле был открыт Дом-музей Вересаева и состоялась научная конференция «Первые Вересаевские чтения» И, действительно, есть чему поучиться у замечательного писателя и мыслителя.

В дневнике он честно признавался: «Нужно громадное, почти нечеловеческое мужество, чтоб самому себе говорить правду в глаза». (1 апреля 1890). А еще, как он утверждал, чтобы быть счастливым, человеку необходимо научиться побеждать свои темные инстинкты. И помочь в этом может «живая жизнь»: умение радоваться пустяку, повседневности, занятие физическим трудом, общение с природой. «Одним лучом солнца можно перестроить всю душу человека и жизненно-страшное сделать смешно нестрашным», – говорил Викентий Викентьевич.

ПОНИКШИЕ АЛЫЕ ПАРУСА

Александр Грин

«Алые паруса» – это Александр Грин. Неисправимый романтик с горячим сердцем и не менее горящими глазами. В век холодного прагматизма и ледяного цинизма он не в моде. Или, скажем так, почти забыт. Не нужен. Есть многочисленные бары и кафе «Алые паруса». Есть клубы. В библиотеках стоят книги Грина. Но кто читает их сегодня? В героях ныне ходят не прекрасная Ассоль, не бегущая по волнам Фрези Грант, не капитан Грэй, а другие – менты, сыщики, киллеры, проститутки, шлюхи, олигархи и банкиры. Среди них гриновские персонажи как инопланетяне. И никто не хочет брать билет в феерическую страну Гринландию. Богатых прельщает Куршавель, а бедных – Турция...

Краткие вехи жизни

Александр Степанович Грин родился 11 (23) августа 1880 года в городке Слободском, неподалеку от Вятки, в семье счетовода земской больницы. Отец Стефан (по-русски Степан) Гриневскиий, сын польского помещика, еще гимназистом был сослан из Витебска в Вятскую губернию, под надзор полиции за участие в Польском восстании 1863 года. Предки матери – потомки военнопленного петровских времен шведа Лепке. Мать умерла рано, когда Грин был подростком.

Отец женился вторично, и отношения с мачехой у будущего писателя не сложились. В «Автобиографической повести» Грин рассказывал о бедности в семье, об отцовском пьянстве, о жестокости мачехи. Впрочем, в повести Грин критикует и себя: «...будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещал недостатки своей работы». И еще более уничижительно: «Я был наивен, мало что знал о людях, не умел жить тем, чем живут окружающие, был нерасторопен, не силен, не сообразителен». Согласитесь, что это очень контрастирует с большинством юношей, которые почти кричат: «Я! Я! Я могу! Я умею! Я сделаю!..»

Тихий и нерасторопный мальчик Саша Гриневский, будущий Грин, поступил в Александровское реальное училище, откуда был через 2 года исключен за стишки, высмеивающие преподавателей. Мал, да удал? Отец с трудом устроил его в 4-классное училище, на этом образование Грина закончилось. Дальше путь писателя-самоучки.

Грин рано проявил способности к творчеству. И рано проявилась у него способность к фантазированию, к придумыванию того, чего нет на самом деле. Его школьные сочинения оценивали так: «Написано отлично, но не по теме». С детства Грин увлекался зарубежной приключенческой литературой – Жюль Верн, Фенимор Купер, Эдгар По. Он бредил Америкой, жаждал путешествовать, особенно его привлекало море, которого он не мог увидеть в Вятке. «Грезилось мне море, покрытое парусами...» – вспоминал о своем детстве писатель.

В 16 лет Грин покинул родной дом и отправился поступать в Одесские мореходные классы. Первые впечатления незабываемы: «Уже потрясенный, взволнованный зрелищем большего портового города, его ослепительно знойными улицами, обсаженными акациями, я торопливо собрался идти – увидеть, наконец, море... Я вышел на Театральную площадь, обогнул театр и, пораженный, остановился: внизу слева и справа гудел полуденный порт. Дым, паруса, корабли, поезда, пароходы, мачты, синий рейд – все было там...» («Автобиографическая повесть»)

Прием в мореходные классы был уже закончен, и Грин в

конце августа 1896 года поступил юнгой на пароход «Платон», на котором отправился в каботажное плавание вдоль берегов Крыма и Кавказа. Как там у Эдуарда Багрицкого? «Ай, звездная полночь! Ай, Черное море!..» Тяжкий труд юнги скрашивала морская романтика, и он не жаловался. Потом было еще одно плавание на шхуне под парусом. И заграничное плавание на пароходе «Цесаревич» мимо Стамбула и Смирны в Александрию. На обратном пути из-за ссоры с капитаном Грин был списан на берег. После чего последовали 6 лет скитаний. Пришлось быть грузчиком, землекопом, плотогоном, железнодорожным рабочим, золотоискателем, переписчиком ролей в провинциальном театре и даже шпагоглотателем в бродячем цирке. А были периоды простого бродяжничества и нищенства. Все было. «Жизненные университеты», как у Максима Горького.

В феврале 1900 года Грин пешком отправился на Урал. «Там я мечтал разыскать клад, найти самородок пуда в полтора», – пишет в своих воспоминаниях Грин. Вместо золотого самородка в конце 1901 года он по призыву пошел в солдаты: «Моя служба, – отмечал писатель, – прошла под знаком беспрерывного и неистового бунта против насилия» (увы, и тогда армия была не сахар!). Тяжкий солдатский опыт лег в основу первых рассказов Грина.

В армии Грин сошелся с эсерами, увлекли речи о правде и справедливости. Втянувшись в политику, Грин совершил побег из армии и перешел на нелегальное положение, стал агитатором. Поездил по всей России. Революционная работа кончилась тем, что Грина арестовали и почти два года он просидел в одиночке севастопольской тюрьмы. Был выслан в Сибирь. Амнистирован. Появился в Петербурге, вновь арестован и вновь выслан.

Нелегально вернулся в Петербург и жил там несколько лет по подложному паспорту. Там и началась литературная деятельность Грина. Первый рассказ «В Италии» был напечатан 5 декабря 1906 года в газете «Биржевые ведомости». Вслед за ним появились «Кирпич и музыка», «Марат», «Случай». Под рассказом «Случай» впервые появляется подпись «А.С. Грин».

Любопытно, что идею писать подсказал Грину его товарищ по революционной работе Быховский: «А знаешь, Гриневский, из тебя мог бы получиться писатель!» Он сказал это после прочтения очередной беллетризированной гриновской «агитки».

«Это было, – рассказывал Грин, – как откровение, как первая, шквалом налетевшая любовь. Я затрепетал от этих слов, поняв, что это то единственное, что сделало бы меня счастливым...

Зерно попало в душу и стало расти. Я нашел свое место в жизни».

Уже в ранних рассказах проявилась необычная манера Грина – «говорить только о важном и главном, о роковом: и не в быту, а в душе человеческой» (Аркадий Горнфельд).

Начинающий писатель сблизился с Куприным, Свирским, Леонидом Андреевым, Венским. Он стремился печататься в серьезных изданиях, но не всегда это получалось, ибо приходилось думать исключительно ради заработка, «Я желал бы писать только для искусства, но меня заставляют, меня насилуют... Мне хочется жрать», – так ответил Грин на анкету 1915 года «Как мы работаем».

Первым подлинно «гриновским» произведением стал рассказ «Остров Рено», по поводу которого один критик писал: «Может быть, этот воздух не совсем тропический, но это новый особый воздух, которым дышит вся современность, – тревожная, душная, напряженная и бессильная» (1910).

Трудился Грин титанически: до 1917 года он опубликовал 350 рассказов в различных журналах, от «Нивы» до «Нового Сатирикона». Вышло несколько сборников рассказов «Штурман четырех ветров», «Происшествие на улице Пса», «Искатель приключений» и другие.

Известие о революции застало Грина в Финляндии. Поезда не ходили, и он по шпалам вернулся в Петроград. Однако февральская эйфория быстро обернулась октябрьским унынием и горечью, В «Новом Сатириконе» Грин поместил стихотворение «Реквием» – о «крепком запахе смольнинской поварни» и о том, что «кнута и пыток пришла пора». В первые годы советской власти Грину было особенно тяжело: он чуть было не погиб от физического истощения, туберкулеза и сыпняка. Подрывало здоровье и увлечение «зеленым змием». Грина Спас Максим Горький – «из самой глубокой бездны отчаяния, болезни и ожидания смерти», как писала позднее Нина Грин. Горький выхлопотал Александру Грину академический паек и дал литературную работу. «Грин – талантлив, очень интересен, жаль, что его так мало ценят», – отмечал Максим Горький, годы спустя, в конце 20-х.

С помощью Горького Грин обосновался в Доме искусств, в своеобразном общежитии художественной интеллигенции. Маленькая каморка. Железная кровать, покрытая изношенней шинелью. Голые стены. Печка-«буржуйка». В этих спартанских условиях Грин начал создавать свои «Алые паруса». С бумагой было трудно, и Грин писал на листах, вырванных из бухгалтерской книги.

В мае 1924 года Грин вместе с женой и тещей переехал из Петрограда в Феодосию, сначала жили в гостинице «Астория», а

затем перебрались в снятую квартиру по Галерейной улице. Это был относительно короткий счастливый период жизни писателя. Супруги Грины жили затворнически и поэтому в городе их звали «мрачные Грины». Александру Степановичу была чужда курортная беззаботность, фривольность и раздетость. Он был устремлен лишь на работу. Грин испытывал творческий подъем, находился в зените своего мастерства и заслуженно считался «блестящим новеллистом»

В ноябре 1930 года Грин переехал в Старый Крым. Маленький город в 25 километрах от Феодосии, он стал его последней жизненной пристанью. К этому времени дела Грина пошли на спад: его перестали печатать и нещадно критиковали. Из поездки в Москву в августе 1931 года он возвратился крайне подавленный. Гонораров не было и вплотную подступала нужда. В такой обстановке Грин начал писать свой последний роман «Недотрога».

Болезнь Грина усугублялась. Врачи думали: туберкулез. А это был неизлечимый рак желудка и легких. С каждым днем он все больше слабел и 8 июля 1932 года скончался. Похороны состоялись на следующий день. Ленинградская школьница Таня Рождественская, увидев фотографию больного Грина, написала стихи. Простые, но от всего сердца:

Взгляд тяжел и уже неясен...
Он устал от жестоких мук.
Но вставал от боли прекрасен,
Мир, пригрезившийся ему,

Где морями шли капитаны,
Где от счастья пели глаза,
Где от Лисса до Зурбагана
Ветром полнились паруса...

Человек умирал, не зная,
Что ко всем берегам земли
Шли, как алая птичья стая,
Им придуманные корабли.

Мнения и оценки творчества Грина

Грин – необычный писатель. «Потому ли, что первая прочитанная мной еще пятилетним мальчиком книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» – детское издание

Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, – но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет», – так начинает «Автобиографическую повесть» Александр Грин.

Романтик-путешественник, Грин выводил на страницы необычных героев да еще напускал романтический туман вокруг них, – это сразу определило отношение критиков к писателю: одни его нещадно ругали, другие возносили до небес.

Критик Колтоновская писала в 1912 году, что герои Грина – «типичные горожане нашего времени, уставшие от жизни и от людей, от самих себя». Долгое время Грина не принимали всерьез, и он болезненно это переживал: «Мне трудно. Нехотя, против воли признают меня российские журналы и критики; чужд я им, странен и непривычен... Но так как для меня перед лицом искусства нет ничего большего (в литературе), чем оно, то я и не думаю уступать требованиям тенденциозным, жестким более, чем средневековая инквизиция».

Грину то и дело навешивали ярлыки, что он, де, «русский Джек Лондон», «русский Фенимор Купер», «русский Эдгар По», то есть не самостоятелен сам по себе, а всего лишь подражатель, имитатор чужого творчества». Один из критиков, некто Степанович, договорился до того, что избранный метод Грина «оскорбителен», ибо он «похитил из английской литературы чуждые нам темы необычную для нас обстановку, малопонятных нам героев» («Новая жизнь», 3 – 1914). А близкий Маяковскому критик Давидов и вовсе припечатал Грина: «иностранец русской литературы». Так и пошло-поехало: «иностранец», не знает российской жизни, да к тому же еще «зажег цветной фонарь обмана».

Нашлись и защитники Грина, в частности, критик Аркадий Горнфельд утверждал, что писатель – носитель «психологической фантастики», что выведенные им «чужие люди ему свои, далекие страны ему близки», поскольку «это люди», а «все страны» – наша земля» («Русское богатство», 3 – 1910). И, конечно, особенно поддерживал Грина Максим Горький.

Царский период кончился – начался советский период, однако Грин остался верен своим героям и своей теме «чуда», творимого собственными руками. В 1922 году вышел первый сборник рассказов Грина, изданный при советской власти, – «Белый огонь». В 1923 году вышло первое издание повести-феерии «Алые паруса», которые Виктор Шкловский назвал «пленительной сказкой русской литературы».

В том же 1923 году в журнале «Красная нива» был напечатан первый роман Александра Грина – «Блистающий мир». Далее

последовали книги: «Золотая цепь» (1925), «Бегущая по волнам» (1928). «Джесси и Моргиана» (1929), «Дорога никуда» (1930). Помимо романов, вышло 11 сборников рассказов, среди них такие замечательные, как «Возвращение», «Крысолов», «Фанданго». Во всех своих произведениях Грин выступает не только как романтик, но и как писатель-гуманист, как автор причудливых парабол об уделе человеческом, как выразился один из критиков.

У Вадима Шефнера есть стихотворение «Перечитывая “Алые паруса”»:

По воле Александра Грина
Мир сказочно преображен, —
А Грин-то знал его без грима,
Судьбы любимцем не был он.

Всю жизнь – мечтатель и творец —
Он воздвигал на радость людям
Из кирпичей нелегких буден
Бессмертно-праздничный дворец.

Владимир Лидин вспоминает, как в начале 20-х годов в Московском Доме журналистов отмечался какой-то банкет, было шумно, а в вестибюле одиноко сидел Грин.

« – Александр Степанович, может быть, вам нехорошо? – спросил я.

Он поднял на меня несколько тяжелые глаза.

– Почему мне может быть нехорошо? – спросил он в свою очередь. – Мне всегда хорошо.

Я ощутил, однако, в его словах некоторую горечь.

– У Грина есть свой мир, – сказал он мне наставительно, когда я подсел к нему. – Если Грину что-нибудь не нравится, он уходит в свой мир. Там хорошо, могу вас заверить».

Этот особый гриновский мир!.. Вот что говорит другой писатель Даниил Гранин:

«Когда дни начинают пылиться и краски блекнут, я беру Грина. Я открываю его на любой странице, так весной протирают окна в доме. Все становится светлым, ярким, все снова таинственно волнует, как в детстве. Грин – один из немногих, кого следует иметь в походной аптечке против ожирения сердца и усталости. С ним можно ехать в Арктику и на целину, идти на свидание, он поэтичен, он мужественен».

Грин презирал приземленных обывателей, людей-моллюсков. Он мечтал о «разнообразии земных форм». Это – «опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность,

мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни...»

И вот Александр Грин вошел в противоречие с властью, которая требовала социалистического однообразия жизни, послушания и исполнительности, без раздумий и сомнений следовать курсу партии. Отсюда нападки критиков на Грина, обвинения в «асоциальности», «внеклассовости», в «западничестве», «чуждости социалистической эпохе», в «перманентном бегстве в Америку» и т.д. С середины 20-х годов Грина печатают все реже. Его сознательно оттесняют на периферию советской литературы. В августе 1930 Грин с горечью писал Максиму Горькому: «Издательство отказалось... вообще издавать меня, – не по тиражным соображениям, а по следующему поводу: «Вы не хотите откликаться эпохе и, в нашем лице, эпоха Вам мстит».

Грину предлагали изменить его творческий метод, то есть, по существу, перестать быть Грином, он, разумеется, не мог стать другим и возмущенно писал Горькому: «Алексей Максимович! Если бы альт мог петь басом, бас – тенором, а дискант – фистулой, тогда бы установился желательный ЗИФу унисон».

Да, расшифруем этот загадочный ЗИФ – издательство «Земля и Фабрика».

Остракизм, устроенный Грину рьяными советскими критиками, привел Грина к фактической нищете и способствовал ускорению его болезни.

Объективности ради следует сказать о том, что не всем коллегам по перу нравилось творчество Александра Грина. Но не по идеологическим соображениям, а скорее – по стилистическим. В записках Лидии Чуковской об Анне Ахматовой есть запись от 9 декабря 1962 года, в которой описывается, как известный литературовед Юлиан Оксман представил Анне Андреевне свою племянницу, «которая пишет стихи и мечтает увидеть Ахматову». Девушка прочитала стихи, в которых упоминались герои Грина.

– Вы любите Грина? – спросила Ахматова.

– Да.

– Ну, ничего, с годами это пройдет.

Лидия Чуковская в своих воспоминаниях добавляет: «Я возгордилась: с юности Грина терпеть не могла. Все какие-то дешевые красоты дешевого романтизма, и язык не русский: то ли перевод, то ли эсперанто».

Ахматова не любила Грина и даже его «Алые паруса». Ее спросили, почему? Она задумчиво ответила: «Я сама долго не могла понять и с трудом догадалась – я не понимаю, с какого

языка он переведен».

Вот и Самуил Маршак не раз говорил: «Непонятно, на какой язык переводит Грин». И потому не рекомендовал издавать его книги.

Что ж, на вкус, на цвет…

Вспомним и Андрея Платонова, который считал что «Алые паруса» уводят в мир эфемерного, обманчивого счастья и красивой выдумки: «…лодка с корабля взяла к себе одну Ассоль. Народ по-прежнему остался на берегу…»

Но можно возразить: это дело народа, где ему быть и куда ему плыть. Хочешь под «Алые паруса» Грина, а можно находиться и горьковском «На дне». Вольному – воля.

А что касается Ассоль, то вспомним Константина Паустовского, который отмечал, что «очень немногие писатели так чисто, бережно и взволнованно писали о любви к женщине, как это делал Грин».

Ассоль, Дези, Режи, Анни – эти живые поэтические образы воплощают в себе гриновский идеал «хорошей девушки».

«Хорошая девушка, – писал Грин, – неизбежно и безусловно добра… Она добра потому, что ее свежесть душевная и большой запас нравственной силы есть дар другим, источаемый беспрерывно и беспредметно… Она может быть красивой и некрасивой, хорошенькой или просто «недурненькой», но… вызвать в человеке только все лучшее, что у него есть».

Но вернемся к творчеству Грина. После смерти писателя его произведения печатались все реже, а в послевоенный период (1945 – 1956) не публиковались вовсе. «Проповедник космополитизма» был выброшен за борт. В «оттепель» состоялось возвращение Грина. В ноябрьском номере «Нового мира» за 1956 год появилась статья молодого критика Марка Щеглова «Корабли Александра Грина»: «Белой точкой на горизонте в исчезающей отдаленности моря появляется корабль, за ним еще один и еще… И наше сердце стремится лететь за ними, к тучам, полным зарева далеких и удивительных городов, к цветам и скалам таинственных стран воображения… Это корабли Александра Грина…»

Статья Марка Щеглова вернуло Грина русскому читателю. Вопреки расхожему патриотизму, что нам «не нужен берег турецкий, чужая земля не нужна», оказалось, что нам близка и дорога страна Гринландия.

Книги Грина появились и на Западе, где проницательные западные исследователи установили подлинную «русскость» Грина, что «его произведения глубоко русские, и он никому ничем не обязан». Более того, на Западе Грина поставили в ряд с

такими именами, как Пруст и Кафка, назвав его модернистом. Польскому литературоведу Ежи Литвинову, в частности, очень понравились кружева психологических этюдов Грина и мистическое состояние душ гриновских героев.

После смерти к Александру Грину пришла литературная слава. Но, увы, не долгая. После исчезновения Советского Союза произошел общий обвал интересов к литературе вообще. Бывшие читатели и почитатели Достоевского, Толстого, Грина и прочих знаменитых имен заняты и озабочены только одним: выживанием. Не до кораблей и не до алых парусов. Хочется надеяться, что больное русское общество в конце концов выздоровеет, и книги снова начнут формировать духовный мир людей.

Ну, а теперь несколько штрихов из личной жизни Грина.

Две женщины Александра Грина

Есть такое выражение: рыбак рыбака видит издалека. А романтик романтика? Петербургская барышня, закончившая с золотой медалью гимназию, а затем Высшие женские курсы, физико-математическое отделение, Вера Абрамова неожиданно для родных и близких решила спасать заключенных революционеров (жертвенность тогда была в моде). Путь спасения был таков: найти «жениха» и объявить себя «невестой». Так, Верочка Абрамова нашла Александра Грина, заключенного в одиночную камеру Выборгской тюрьмы. «Жених» и «невеста» стали обмениваться письмами.

И вот встреча весною 1906 года в пересылочной тюрьме перед отправкой в Сибирь. «Это свидание с незнакомым человеком, на днях отправляющимся в далекую ссылку, было для меня обычным делом, – писала Вера Абрамова. – Я от него ничего не ожидала. Думала, что этим свиданием окончится наши отношения с Гриневским и другими «женихами». Однако оно кончилось совсем по-иному».

Грин неожиданно поцеловал руку миловидной барышне, и она растаяла. «До тех пор никто из мужчин, кроме отца и дяди, меня не целовал; поцелуй Гриневского был огромной дерзостью, но вместе с тем и ошеломляющей новостью, событием».

Н-да, такие были до революции барышни. Где они только ныне?!..

Вера Абрамова передала заключенному чайник, кружку и провизию, и стала ожидать весточек о нем. Пришло письмо с ошеломительными словами: «Я хочу, чтобы вы стали для меня всем: матерью, сестрой и женой».

А вслед за письмом на пороге ее дома появился ОН – бывший арестант, бывший ссыльный, человек, сбежавший из Сибири в Петербург. Он сбивчиво и горячо принялся объяснять Вере Абрамовой, почему он сбежал. «Слушая рассказ Александра Степановича, я думала: «Вот и определилась моя судьба: она связана с жизнью этого человека. Разве можно оставить его теперь без поддержки? Ведь из-за меня он сделался нелегальным».

У нелегала Грина был чужой паспорт на имя Алексея Мальгинова, но что это могло изменить в жизни двух влюбленных, а они стали влюбленными. Сначала они жили порознь и встречались тайно. А потом Верочка стала жить с Грином открыто, чем, естественно, привела в ужас отца, добропорядочного петербургского чиновника. Он отрекся от дочери. «Я стала действительно отрезанным ломтем, как он и предсказывал», – записывала Вера.

27 июля 1910 года полиция накрыла сбежавшего преступника. А как же Вера? Ведь она по существу не жена, – и тогда Грин в доме предварительного заключения пишет прошение с просьбой обвенчаться со своей избранницей. Разрешение было дано. А 31 октября того же года новоиспеченный муж отправился в арестантском вагоне к месту новой ссылки, в Архангельскую губернию. В соседнем же вагоне – вагоне первого класса – ехала уже в качестве законной супруги Вера Павловна.

Почти два года прожили супруги в ссылке, которая закончилась разрывом. «Грину нужна была очень сильная рука, а у меня такой руки не было», – объясняла Вера. Хотя можно объяснить и по-другому: у нее кончился запас романтизма и любви. Они расстались, и ее новым мужем стал геолог Казимир Калицкий. Грин все оставшиеся годы хранил портрет Веры Павловны в рамке из светло-серого багета.

О бывшей жене Грина у Корнея Чуковского есть запись в дневнике от 8 апреля 1925 года: «…очень пополнела – но осталась по-прежнему впечатлительна, как девочка. Она не солидна – почти, как я».

Вторая женщина Грина была иной, мужественной и отважной. «У меня было чувство, что только я с ним дышу всем существом своим, что больше ничего мне в жизни не надо, как только быть около него, заботиться о нем. Это была пристань сердца», – так писала Нина Короткова (ее первый муж погиб на фронте в Первую мировую войну, ее девичья фамилия – Миронова). Грин и Нина познакомились в феврале 1917 года в редакции газеты «Петербургское эхо». А когда Грину предоставили «небольшую, длинную, полутемную» комнату в Доме искусств, то они стали жить вместе.

8 марта 1921 года Грин и Нина поженились официально. Расписались Нина Николаевна и Александр Степанович в загсе, а потом пошли на Конногвардейский бульвар. Там стояла закрытая по случаю холодов церковь Благовещения. Взявшись за руки, они обошли храм трижды. Как бы освятили этим свой брак. И, действительно, он оказался крепким.

Нина стала Ассолью для Грина. Она спасла его от нищеты, алкоголизма и болезни, увезя из голодного Петрограда. «Город, – как писал Грин, – беден, как пустой бычий пузырь. Наш ежедневный рацион: триста граммов хлеба, горькие, как хина, огурцы с собственного огорода и зеленый лук».

Но трудности скрашивала любовь.

Страшный мир
свирепствует вокруг —
Приходи, прекрасный, милый друг!
Приходи! Я жду тебя давно...
Было так уныло и темно.
Но настала зимняя весна...
Легкий стук... Пришла моя жена.
Пять и шесть... и восемь
лет пройдет —
И такая же она войдет.
И такой же точно буду я...
Хороша, любимая жена!..

Это написано Грином 8 марта 1921 года, в день «свадьбы». А спустя 11 лет, 7 марта 1932-го, Грин писал жене:

Я болен, лежу и пишу. А Она
Подсматривать к двери приходит.
Я болен, лежу – но любовь
не больна, —
Она карандаш этот водит.

Александр Грин умер 8 июля 1932 года. Нине Грин было всего лишь 38 лет. Она отдала всю свою жизнь памяти Грина, добилась постановления Совнаркома об открытии в 1941 году в Старом Крыму музея писателя. Но грянула война. Она оказалась на оккупированной немцами территории. Работала в местной газете и была после войны обвинена в пособничестве фашистам. И получила 10 лет лагерей. Нину Грин реабилитировали лишь в ноябре 1998 года.

Когда она вернулась, то с ужасом увидела: в доме Грина секретарь горкома партии устроил курятник (что Грин, главные – куры и яйца!). Нина Николаевна сделала невероятное: она добилась возвращения ей домика, разыскала все, что было связано с последними днями писателя. И в течение десяти лет была директором, экскурсоводом, хранителем, уборщицей – все в одном лице – первого в СССР Дома-музея Грина.

Нина Грин скончалась в Киеве 23 сентября 1970 года и, согласно завещанию, хотела быть похоронена с Грином. Однако власти отомстили ей: «Она фашистка, ей там не место!» Нину Грин похоронили в Старом Крыму, в конце кладбища. Но ее друзья выполнили заветную просьбу и перезахоронили Нину Грин рядом с Александром Грином. Всесильное КГБ, скрипев зубами, молчало. Спустя годы состоялась официальная церемония перезахоронения.

Такая вот, далеко не романтическая, история.

И опять вспомним Грина-стихотворца:

... А, кажется, легко
В железные размеренные строки
Вложить и гнев, и пафос тот высокий,
Что душу поднимает высоко
К любви и подвигу.
Перо бессильно дремлет,
А сердце голосу
таинственному внемлет...

Нет, писать легко не получается. Не всем это дано. Не случайно однажды писатель Алексей Новиков-Прибой вздохнул по поводу Александра Грина:

«Большой человек! Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотер. А у него вдохнешь одну строку – и задохнешься. Так хорошо!»

Действительно хорошо. И так хочется поплавать под алыми парусами...

ПОЭТ И РЫЦАРЬ НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

Николай Гумилев

3(15) апреля 1886 года родился блистательный поэт Серебряного века Николай Степанович Гумилев. Его расстреляли: в августе 1921-го или, как говорили тогда, пустили в расход. Мало того, что убили, еще и вычеркнули из русской литературы. И долгие десятилетия молодое поколение не знало такого поэта, как Гумилев, не читало ни про «Заблудившийся трамвай», ни про «Шестое чувство», ни про «Капитанов». Знали и восторгались только знатоки. Для миллионов – Маяковский, для единиц – Гумилев.

Перестройка перевернула в стране все вверх дном, в том числе и литературу, и выстроилась новая иерархия, в которой Гумилев занял одно из первых мест в «десятке». Один за другим стали выходить его сборники, а уж статей и газетных заметок низвергается настоящий водопад. В моем досье хранятся гумилевские публикации различных лет. Они только заголовки завораживают:

«Самый дорогой поэт», «Самый непрочитанный поэт», «Идею судьбы испытавший», «Предсказавший свою смерть», «Призрак в аксельбантах», «Капитан Серебряного века», «Я сам из пучины...», «Мы дети страшных лет России...», «Прекрасный образчик

человека», «Наш русский рыцарь» и т.д. Не мог и я, поклонник поэта, остаться в стороне и очерк о нем в своей книге «Любовь и судьба» (1996) назвал «В «садах души» Николая Гумилева».

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны…

Рассказывать его биографию, наверное, не имеет смысла: сегодня все почти известно: и что родился в Кронштадте, и что в гимназии преклонялся перед Иннокентием Анненским, и что учился во Франции, и что путешествовал по Африке, и что…ну и так далее. Как говорится, опустим детали. Сам Гумилев не раз декларировал, что «нужно самому творить жизнь». Он ее и творил. Творил, не будучи ни богатырем, ни красавцем: был немного косоглаз и шепеляв. Не закончил ни один университет, но в свой поэтический талант уверовал сразу. Возмужав, стал подлинным поэтом и воином.

Хорошо с египетским сержантом
По Тиргартену пройти,
Золотой Георгий с бантом
Будет биться на моей груди…. —

мечтал Гумилев, чтобы вместе с гвардейским полком вступить в Берлин и прогарцевать на коне по Фридрихштрассе. Однако парада не получилось. Получились суровые военные будни Первой мировой войны и два заслуженно полученных Георгиевских креста.

Из письма Лозинскому (15 января 1917): «Я живу по-прежнему: две недели воюю в окопах, две недели скучаю у коноводов…» И в тот же день Ларисе Рейснер: «…в первый же день приезда очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня… Из окопов может писать только графоман: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс… И я целый день валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между ними линии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес…»

Это Гумилев – воин. А еще он – бродяга и путешественник – по странам, континентам, и эпохам. «Поэт географии», как выразился о нем Юлий Айхенвальд. Гумилев прославлял в стихах скитальца морей Синдбада, скитальца любви Дон Жуана и скитальца вселенной Вечного Жида. Эти три имени могли бы войти в геральдику его поэзии. В пантеоне его богов мирно

уживались и христианский Бог, и Будда, и Аллах, и боги черной Африки, и всевозможные причудливые духи. Гумилев верил в карму (судьбу) и сансару (перевоплощение) и тяготел к астральному мистицизму. Все это вместе взятое позволило Блоку и Максиму Горькому считать Гумилева иностранцем в русской литературе, он, по собственному признанию, «чужих небес любовник беспокойный». И вместе с тем Гумилев – поэт русский, продолжатель русской романтической традиции.

Открытий лоб – как свод небесный,
И кудри – облака над ним;
Их, верно, с робостью прелестной
Касался нежный серафим.

И тут же, у подножья древа,
Уста – как некий райский цвет,
Из-за какого матерь Ева
Благой нарушила завет.

Все это кистью достохвальной
Андрей Рублев мне начертал.
И в этой жизни труд печальный
Благославленьем божьим стал.

Это строки Гумилева об Андрее Рублеве. Интересный портрет самого Гумилева оставила в черновиках Лариса Рейснер: «Узкий и длинный череп (его можно видеть у Веласкеса на портретах Карлов и Филиппов Испанских), безжалостный лоб, неправильные пасмурные брови, глаза, – несимметричные с обворожительным пристальным взглядом...»

Многие называли Гумилева вечным «шестнадцатилетним гимназистом», очевидно, потому, что он никак не хотел бронзоветь, успокаиваться, постоянно искал приключения и новизну. Может быть, именно поэтому он любил работать с молодежью и создал несколько литературных мастерских, в которых учил молодых поэтов стихотворному ремеслу (одна из его учениц – Ирина Одоевцева). Гумилев поднял «новое поэтическое знамя» – акмеизм на смену символизму – абстрактному, скучному и холодному течению в литературе. Так получилось, что столкнулись две противоположности русской поэзии, символизм олицетворял Александр Блок, а акмеизм – Николай Гумилев. Каждый отстаивал свою позицию. Блок – сама стихия лиризма. Гумилев, напротив, был чужд лиризму. Он тяготел к чистой изобразительности, не случайно стихи Гумилева

зрительно воспринимаются как полотна живописца. Его любимый прием – рассказать «историю» или описать нечто: жирафа, портовую таверну, Венецию, осенний день – что угодно...

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать долго, долго,
Припоминая вечера,
Когда не мучало «вчера»
И не томили цепи долга.
И в море врезавшийся мыс,
И одинокий кипарис,
И благосклонного Гуссейна,
И медленный его рассказ,
В часы, когда не видит глаз
Ни кипариса, ни бассейна...

Это начало стихотворения «Ослепительное» из книги «Чуждое небо» (1912). Но вся эта живописность и образность поэзии Гумилева носит в себе некий секретный шифр, для раскодирования которого нужен именно оккультный ключ. И, вообще, сущность гумилевского поэтического мировидения, как отмечают специалисты, это – религиозно-эзотермическая, апокалипсичеки-утопическая, гностически– оккультистская. Трепетное благоговение перед астральным миром, перед сверхмиром, поиск Бога и запредельного рая (поэма «Сон Адама», 1910 и притча «Блудный сын», 1912). Мотив бренности всего сущего – один из главных мотивов в поэтической музыке Гумилева.

Все мы, святые и воры,
Из алтаря и острога,
Все мы – смешные актеры
В театре Господа Бога.

Это первые строки стихотворения «Театр», а вот и концовка:

Боль вознеслася горою,
Хитрой раскинулась сетью,
Всех, утомленных игрою,
Хлещет кровавою плетью.

Множатся пытки и казни...

И возрастает тревога,
Что, коль не кончится праздник
В театре Господа Бога?!

Тема мужества и страданий, гибели и смерти – это гумилевские основные темы. И еще – любовь. У Николая Гумилева довольно длинный донжуанский список, но вот вопрос: что он искал в любви? Отнюдь не «чувственную вьюгу», если воспользоваться словами Есенина. Гумилев искал вечно ускользающий идеал. Сам он писал:

Моя мечта надменна и проста:
Схватить весло, поставить ногу в стремя,
И обмануть медлительное время,
Всегда лобзая новые уста.....

Уже в молодые годы у Гумилева было ощущение любви в неразрывной связи со смертью, ощущение жизни как сновидения, как иллюзии:

Льется ли песня тишины
Или бурно бьются струны струи,
Жизнь и Смерть – ведь это сны.
Это только поцелуи.

Первая настоящая любовь и первое любовное крушение – Анна Ахматова. Любовь получилась странной, брак еще более странным. Два поэта в одной берлоге? Конечно, они не ужились. «Муж и жена пишут стихи – это смешно, – говорил Гумилев Ахматовой, – у тебя столько талантов. Ты не могла бы заняться каким-нибудь другим видом искусства? Например, балетом...» Позднее Гумилев признал в Ахматовой поэта. Но было уже поздно.

Ты совсем, ты совсем снеговая,
Как ты странно и страшно бледна.
Почему ты дрожишь, подавая
Мне стакан золотого вина?

Свидетель отношений Гумилева и Ахматовой Сергей Маковский писал: «От Анны Андреевны он требовал поклонения

себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень...»

Вторая жена Гумилева – Анна Энгельгардт. Анна Вторая была полной противоположностью Анны Ахматовой. Мягкая и покорная. Среди других увлечений и романов Гумилева отметим Елизавету Дмитриеву (Черубину де Габриак), Татиану Адамович, Ларису Рейснер, «синюю звезду» из Парижа – Елену Дебюше («Сердце прыгает, как детский мячик...») и других. Последние увлечение – Нина Берберова и Ирина Одоевцева, но это уже было после революции.

Революцию Гумилев не то что не принял, а, скорее, не заметил. По словам Ходасевича, Гумилев проходил по залам Зубовского особняка, где в 1920 году был устроен бал Института истории искусств, и весь вид его говорил: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал».

Вот и Одоевцева вспоминает: «Гумилев был мальчишкой в свои 36 лет. Тщеславный, отчаянно храбрый мальчишка, который хотел быть всегда и везде первым. Конечно, он никакой не политик, никакой не конспиратор, он был прежде всего поэтом».

Гумилев активно занимался творчеством. В 1920 году он написал свой знаменитый «Заблудившийся трамвай», в котором не мог разрешить противоречия бытия – «здесь» и «там», хотя и утверждал:

Понял теперь я: наша свобода
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.

В 1921 году вышел один из лучших гумилевскмх сборников «Огненный столп» с налетом мистицизма и сюрреализма. Но это – поэзия, а в жизни Гумилев окружил себя творческой молодежью («щебечущий выводок филологичек», по выражению Андрея Белого) и организовал объединение «Цех поэтов». «Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера» (Виктор Шкловский). Для молодых поэтов он был «великий Гум!»

Одоевцева вспоминает: «В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное... Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхающейся вокруг его длинных худых

ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид».

Николай Гумилев хотел донести до молодых стихотворцев «живое слово». У новой власти была другая задача: поиск врагов. Во враги попал и «филолог, беспартийный, бывший офицер» Николай Гумилев. Его начали травить с 1918 года. В ночь с 3 на 4 августа 1921-го арестовали. Завели «дело». На листе № 104 Петроградского губернского ЧК приписка без всякой подписи: «Приговорить к высшей мере наказания – расстрелу».

Из тюрьмы он писал записки жене: «Не беспокойся обо мне. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Вел себя мужественно. Его последними словами были: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь». И оправдалось его раннее пророчество: «...умру я не в постели, при нотариусе и враче».

Спустя год после гибели Гумилева Лев Троцкий отмечал в «Правде», что Гумилев и его сподвижники по поэзии – «не творцы жизни, не участники в созидании ее чувств и настроений, а запоздалые пенкосниматели, эпигоны чужой кровью созданных культур...» И впрямь, советской власти не были нужны ни Александр Блок, ни Николай Гумилев (оба ушли, из жизни в августе 1921 года). В идеологический и культурный интерьер новой России вписались лишь агитки Демьяна Бедного и партийные песнопения Владимира Маяковского. А Гумилев? Кому нужны были его вопросы и мечтания:

Где я? Так томно и так тревожно
Сердце мое стучит в ответ:
Видишь вокзал, на котором можно
В Индию духа купить билет.

Серебряный век кончился. Наступил век рабоче-крестьянский. «Индию духа» закрыли, и никаких билетов туда не продавали. И в этом смысле смерть Николая Гумилева выглядела закономерной.

Маленькое послесловие

Николай Гумилев оказался ненужным власти. Но он был не нужен и многим своим коллегам по перу. Ненужность по вертикали и по горизонтали. Настоящий талант всегда раздражает, утомляет, мешает, бесит, наконец. Не позволяет утверждению собственного «я». О, если бы только ограничивалось тем – «и каждый встречал/ другого надменной улыбкой» (Блок). А

еще говорили гадости, а в советское время с удовольствием писали доносы.

Примечательно стихотворение далеко не крупного поэта Александра Тинякова, написанное им в конце июля 1921 года, когда Гумилев находился под арестом, но еще был жив:

Едут навстречу мне гробики полные,
В каждом – мертвец молодой.
Сердцу от этого весело, радостно,
Словно березке весной!..

Может, – в тех гробиках гении разные,
Может, – поэт Гумилев...
Я же, презренный и всеми оплеванный,
Жив и здоров!

Это стихотворение называется «Радость жизни». В январе 1922-го Александр Тиняков пишет другое – «Я гуляю!»:

Все на месте, все за делом
И торгует всяк собой:
Проститутки статным телом,
Я – талантом и душой!

И покуда мы здоровы,
Будем бойко торговать!
А коль к нам ханжи суровы,
Нам на это наплевать!

Эти строки можно смело назвать гимном нынешних олигархов и бизнесменов всех мастей и уровней.

Сам Тиняков, живший «в страхе рыдающих метелей,/ где скорбь цветет и дышит страх», умер в 1934 году. Но кто помнит Тинякова? Только знатоки поэзии. А Гумилева знают все, кто когда-нибудь прикоснулся к высокой литературе.

МАЯКОВСКИЙ КАК ТЕРМИНАТОР

Я всю свою звонкую силу поэта
тебе отдаю, атакующий класс!

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский

После слов Сталина «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи» Владимир Маяковский перешел в разряд классиков. А раз классик, то сплошные фанфары: «Маяковский – весь наш, поэт нашей советской эпохи, поэт Октябрьский социалистической революции» (четырехтомник, 1936). Такой, сякой, разэтакий. Советская эпоха ушла, и кто теперь Маяковский? Маятник оценок качнулся в другую сторону, и в божественное тело классика вонзились острые критические стрелы. Вот и мне сегодня вместо славословия хочется пощипать Маяковского, попотрошить, а что у него внутри? А вдруг – полый? Или был начинен какой-то кибернетической схемой? Не человек, а Терминатор.

Маяковский застрелился в апреле 1930 года, а спустя 17 лет, в июле 1947-го родился Арнольд Шварцнеггер, знаменитый терминатор, который на экране воплотил великого разрушителя,

робота Т-800, и делал то, что до него в поэзии и в жизни пытался делать Владимир Маяковский.

С ранних лет в Маяковском пылал пожар разрушения: разрушить, снести, разнести в клочья окружающее и утвердить себя, любимого. Но как выделиться среди коллег-поэтов? Сыграть «ноктюрн на флейте водосточных труб»? Могут не оценить и не заметить. А вот стать Наполеоном («Сегодня я – Наполеон! Я полководец и больше...») – это уже нечто значительное. Но на худой конец можно превратиться и в собаку («Я стал на четвереньки: и залаял: гав! гав! гав!»). Нет, собачкой – мелко. Тогда – «Эй! Человек, землю самое зови на вальс!» Не какой-нибудь вальс цветов, а вальс с Терминатором!..

Классик Серебряного века Владислав Ходасевич писал, разумеется, не в СССР, а на Западе, в парижской газете «Возрождение» (1927), в статье под названием «Декольтированная лошадь»: «Маяковский поэт рабочего класса». Вздор. Был и оставался поэтом подонков, бездельников, босяков просто и «босяков духовных»... И певцом погромщиков был он, когда водил орду хулиганов героическим приступом брать немецкие магазины. И остался им, когда после Октября писал знаменитый марш «Левой, левой!» Пафос: погрома и мордобоя – вот истинный пафос Маяковского. А на что обрушивается погром, ему было все равно...»

Терминатор по призванию. Но одно дело быть терминатором индивидуальным, от себя (и кого громить и уничтожать? Обывателей: «Нажрутся, а после, в ночной слепоте, вывалясь мясами в пухе и вате, сползутся друг на друге потеть, города содрогая скрипом кроватей...»). А совсем другое дело от лица власти, с мандатом, «с Лениным в башке, с наганом в руке», – самая что ни на есть терминаторская радость. Враги кругом. Раздолье!.. Все подлежит уничтожению: «жарь, жги, режь, круши!» (поэма «150 000 000»). «Через труп буржуазии коммунизма путь». Каждая строка Маяковского клокочет мстительной яростью, жаждой кровавого возмездия. «Хорошо в царя вогнать обойму...» И не только в Николая II, но и всех приверженцев монархии поэт предлагал поставить к стенке, расстрелять, облить серной кислотой и сбросить в глубокую шахту – цитирую без всякой «лесенки», —

Прельщают многих короны лучи.
Пожалте, дворяне и шляхта,
Корону можно у нас получить,
но только вместе с шахтой.

Умерла в эмиграции «государыня Мария Федоровна», и надо же – «Париж печалью ранен», – а вот Маяковский не ранен, он весел и здоров (он же терминатор!). Он бодро предлагает и другим коронованным особам отправиться на тот свет – «Королевы и королихи, становитесь в очередь». Не жалеет поэт и других женщин:

О панталоны венских кокоток
Вытрем наши штыки!

Никакой жалости. Никаких разглагольствований. «Тише, оратор, Ваше слово, товарищ маузер». Терминаторская страсть разрастается и уже не может остановиться:

Белогвардейца
найдете – и к стенке,
а Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли?..

Оторопь берет от такой кровожадности. В поэме «Хорошо!» Маяковский лихо расправляется со всеми врагами советской власти – Керенским, Милюковым, Гучковым, Родзянко и другими. Достается и мадам Кусковой: «Чего девушка сохнет и вянет?..» Девушке Екатерине Дмитриевне в 1917 году было 48 лет. В отличие от Маяковского, она успела сделать много полезных дел, объединяя радикальную и либеральную интеллигенцию в борьбе против царизма, а позднее «мадам Кускова» была одним из организаторов Комитета помощи голодающим и спасла тысячи людей от голода. А что конкретно сделал для помощи людям Маяковский? Писал услужливые стихи для новой власти? И как отметил Иван Алексеевич Бунин: «...думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевистских лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь...»

В Гражданскую войну Маяковский звонко отвешивал поэтические оплеухи всем белым: «В Грандотеле семгу жрет Врангель краснорожий...» И Колчаку, и Юденичу – всем досталось на орехи. Бил наотмашь поэт и западных лидеров – Ллойд-Джорджа, Вильсона, Мильерана, Пилсудского... А когда Гражданская война кончилась, он откровенно растерялся и заскучал. И даже стал жаловаться своему кумиру Ленину (цитата опять же без лесенки):

Устаешь отбиваться и огрызаться,
Многие без вас отбились от рук.
Очень много разных мерзавцев
ходят гордо по нашей земле и вокруг.
Нету им ни числа, ни клички,
целая лента типов тянется.
Кулаки и волокотчики,
подхалимы, сектанты и пьяницы, —
ходят, гордо выпятив груди,
и в ручках сплошь и в значках нагрудных.
Мы их всех, конечно, скрутим,
но всех скрутить ужасно трудно...

Вот беда в чем: всех трудно!.. Нет официально войны и нельзя махать саблей. Штык в углу. И отдыхает «товарищ маузер». Вот такая напасть... Георгий Шенгели отмечал: «Люмпен-мещанин Маяковский был революционен до революций. После революционного переворота он стал просто не-революционен. И скучен».

С кем бороться? На кого наезжать? Под руку попался великий Федор Иванович Шаляпин, тот сделал что-то не так в эмиграции, и уже Маяковский требует «с барина белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок!». Маяковского раздражало то, что «живет Шаляпин, раздушенными аплодисментами оляпан» и поэтому —

Вернись теперь такой артист
назад на русские рублики,
я первый крикну: – обратно катись,
народный артист Республики!

Круто! Ничего не скажешь. Раздражает даже не уехавший другой мастер оперы – Собинов, который, по мнению поэта, не поет, а «слюнявит». А уж как достается собратьям по перу! И особенно критикам не дают работать спокойно! «Бездарнейшая погонь, раздувая темь пиджачных парусов». Маяковского ничего не радует:

Кругом тонула Россия Блока...
«Незнакомки», «дымки севера»
шли на дно, как идут обломки
и жестянки консервов...

Почтение, поклонение, уважение – все это не для Маяковского.

А почему не атакован Пушкин?
А прочие генералы классики? —

восклицал поэт с негодованием в 1918 году. Одно из его ранних стихотворений красноречиво называется «Надоело».

Не высидел дома.
Анненский, Тютчев, Фет...

Что поэзия, что проза – «словесный курорт. Покоем несет от страниц зачитанных». Ну, а он-то, Маяковский, мятежный и ураганный, конечно, жаждет бури.

Сбежал Северянин, сбежал Бальмонт
и прочие фабриканты патоки.

Нина Берберова вспоминала, как в октябре 1922 года в Берлине Маяковский говорил, что Горький – труп, он сыграл свою роль и больше литературе не нужен. Позднее обратился к Алексею Максимовичу со словами: «Очень жалко мне, товарищ Горький, что не видно Вас на стройках наших дней». Но и тех, кто творил на стройках, Маяковский тоже не жаловал. В числе критикуемых Маяковским попали Жаров, Малашкин, Катаев, Никулин, Всеволод Иванов, Орешин и многие другие.

Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки,
кто их, к черту, разберет...

Все эти поэты для Маяковского – «лирические кастраты» и «банда поэтических рвачей и выжиг», как он определил в поэме «Во весь голос».

Ну, а что вот Безыменский?!
Так... ничего... морковный кофе.

И старые счеты с Сергеем Есениным: сколько раз они пикировались друг с другом. Есенин считал, что Маяковский сочиняет в основном «агитезы», а Маяковский называл стихи

Есенина «кобылезами». И в стихотворении «Юбилейное» вообще припечатал Сергея Есенина:

Ну Есенин, мужиковствующих свора.
Смех! Коровою в перчатках лаечных.
Раз послушаешь... но это ведь из хора!
Балалаечник!

Ну, а кто мил? «Асеев Колька. Этот может. Хватка у него моя». А вообще под стать Маяковскому, как он сам считал, мог быть только один поэт: – Пушкин. «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на Пе, а я на эМ». Не откажешь в претензии Владимира Владимировича на величие. «У меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам стоит потерять часок – другой?!» Пушкин не дал согласия. Он монументально молчал, но на это Маяковский не обратил внимание, главное, говорил он...

Искритиковав современников, Маяковский обратился с «Посланием пролетарским поэтам», мол, прекратим борьбу за «венки лавровые» —

И давайте без завистей
и без фамилий класть
в коммунову стройку слова-кирпичи.

Главное, кирпичи – пропагандистские, хвалебные, верноподданнические, и желание взахлеб – «с чугуном чтоб и выделкой стали/ о работе стихов от Политбюро делал доклады Сталин...»

Пожалуй, как никто другой, Маяковский умел выдавать «нужное стихачество». Надо бороться с чиновничеством – он боролся. Надо славить коммуну – он славил. Требуется хаить Америку – он хаил. Ругать Париж «и разных прочих шведов», – пожалуйста. Восхвалять советский паспорт – с большим удовольствием: «Я достаю из широких штанин...»

Владимир Владимирович очень старался. И тщательно готовил выставку «Двадцать лет работы Маяковского». Поэт хотел отчитаться перед властью и народом за проделанную работу. Ему очень хотелось услышать отзывы и, разумеется, гром аплодисментов. Были разосланы билеты: руководителям страны – Сталину, Молотову, Ворошилову, Кагановичу, ответственным работникам Совнаркома, ВЦСПС, Наркомпроса, ЦК ВЛКСМ, ОГПУ, представителям Главискусства, Главреперткома (были такие органы), писательским организациям и персонально коллегам по

перу: Фадееву, Юрию Олеше, Леонову, Сельвинскому, Гладкову, Безыменскому, Светлову, Ляшко, Всеволоду Иванову, Эрдману и многим другим.

Выставка открылась 1 февраля 1930 года. Почти никто из приглашенных не пришел – ни члены ЦК и правительства, ни маститые писатели. Это было похоже на бойкот. А через 72 дня прозвучал роковой выстрел. Терминатор самоуничтожился. Случайно – не случайно? Маяковский еще в 1915 году писал:

> Всё чаще думаю —
> не поставить ли лучше
> точку пулю в своем конце...

И поставил.

А дальше уже без Маяковского пошла зачистка литературного поля. Временно ссылали или окончательно ликвидировали Осипа Мандельштама, Павла Васильева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова, Ольгу Берггольц, Николая Клюева, Сергея Клычкова, Бенедикта Лившица и многих других поэтов. Уже посмертно Маяковский оказался единственным классиком – его не с кем было сравнивать, он возвышался, как баобаб в саванне. И вокруг этого священного баобаба водили хороводы маяковеды.

Но далеко не всем был люб Владимир Владимирович. И как поэт, и как человек. Многие современники отмечали, что Маяковский был часто мелок, жалок, злобно завистлив, обидчив. Много актерствовал, изображал из себя всепознавшего Мефистофеля. Представлялся победителем, эдаким терминатором-триумфатором. А на самом деле был иным, слабым и неуверенным. В Париже жена Оренбурга переводила его через улицу: он боялся попасть под машину. Хорош Терминатор!.. При бешеном темпераменте и неистовом воображении (Терминатор-Казанова!) Маяковский как мужчина был ущербен («и так я калека в любовном томлении...»). Короче, если снять хрестоматийный глянец, то под бодрыми румянами оказываются бледность и хилость. Недаром друг Роман Якобсон сказал про него: «Этот человек был абсолютно не приспособлен для жизни...» Как говорится, вот тебе на!..

Лидия Чуковская рассказывала, как Ахматову много раз просили написать о Маяковском, а «она не хочет».

«В последний раз я видела Маяковского так, – вспоминала. Анна Андреевна в разговоре с Чуковской. – Это было в 24-м году. Мы с Николаем Николаевичем шли по Фонтанке. И подумала: сейчас мы встретим Маяковского. И только что приблизились к Невскому, из-за угла – Маяковский! Поздоровался: «А я только

что подумал: «Сейчас встречу Ахматову». Я не сказала, что подумала то же. Мы постояли минуту. Маяковский язвил: «Я говорю Асееву – какой же ты футурист, если Ахматовой стихи сочиняешь»...»

Единственная встреча? «Были и другие», – сказала Анна Андреевна. Но рассказывать о них не стала.

Ахматова и Маяковский – что может быть разнее?..

А Маяковский и Пастернак? Об этой паре можно написать целую книгу. «Я весь мир заставил плакать /Над красой земли моей», – воскликнул Пастернак в стихотворении «Нобелевская премия». А Маяковский заставил мир вздрогнуть. Своим «Левым маршем» и «товарищем маузером».

Любопытно вспомнить слова Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго»: «Маяковский всегда мне нравился. Это какое-то продолжение Достоевского. Или вернее, это лирика, написанная кем-то из его младших бушующих персонажей, вроде Ипполита Раскольникова или героя «Подростка». Какая всепожирающая сила дарования! Как сказано, это раз навсегда, непримиримо и прямолинейно! А главное, с каким смелым размахом шкваркнуто это все в лицо общества и куда-то дальше, в пространство!»

Какой замечательный глагол «шкваркнуто»! Не брошено, а шкваркнуто. Терминатор. Но не механический, а лирический. И загубленный в Терминаторе прекрасный лирический поэт.

ПОЭТ-МСТИТЕЛЬ

Леонид Канегисер

Выбор героев в книгу не так-то прост. Взвешиваешь на весах, кто лучше подходит к данной теме «Художник и власть». Кто взошел на эшафот? Кто подвергался страху перед ним, кто натерпелся от цензуры и зубодробительной критики коллег, кому какая выпала «планида»? Нет, скажем точнее, кто какую сам выбрал себе судьбу. И, пожалуй, только один человек из писательской плеяды (не считая декабристов) поднял руку на власть. Не побоялся отдать свою жизнь во имя свободы и России.

Это – Леонид Каннегисер. О нем не так много известно, и немудрено: стрелял в саму власть: 30 августа 1918 года 22-летний поэт Леонид Каннегисер убил председателя Петроградского ЧК Моисея Урицкого. В советской истории Каннегисер как бы не существовал вовсе, в биографии Урицкого сказано кратко и безымянно: «злодейски убит эсером». И точка. Тишина: кто? зачем? почему?.. и все без ответа.

В 1928 году в Париже в эмигрантском издательстве вышел небольшой сборник «Леонид Каннегисер». В него вошли статьи о молодом поэте и его стихи. В годы гласности отрывки из этого сборника перепечатывались в отдельных изданиях, в частности в

журнале «Наше наследие». Короткий всплеск внимания и снова историческое затишье. Фигура поэта-мстителя вновь оказалась на задворках исторической памяти.

Попробуем рассказать о забытом поэте. Леонид Иокимович Каннегисер родился 15 (27) марта 1896 года. Отец видный инженер, надворный советник, директор ряда судостроительных и металлургических заводов. Богатый человек. В семье росло трое детей: два мальчика, Сергей и Лева (домашнее имя Леонида), и девочка, называвшая себя на французский манер Лулу. Летнее время семья проводила на даче, под Одессой. Зимой жили в Петербурге, в особняке, где собирались молодые поэты: Михаил Кузмин, Борис Савинков, Осип Мандельштам… Стихи, музыка, политические споры…

Споры в основном вел патриарх революционного движения Герман Лопатин, который стал своеобразным духовным гуру молодого Каннегисера.

Леонид окончил петербургскую гимназию Гуревича и поступил на экономическое отделение Политехнического института. Параллельно вращался в кругу поэтов-акмеистов.

В мемуарах Георгия Иванова «Петербургские зимы» написано про Леонида Каннегисера:

«В 1914 году, летом, по Италии путешествовал молодой человек. Он только что кончил гимназию – это было его первое самостоятельное путешествие. Ему было семнадцать лет, он был очень красив – черноглазый, стройный, высокий, – свободен от всяких забот, вполне обеспечен денежно. Всё у него было – молодость, Италия, в которую он был влюблен с детства, деньги, которые можно тратить, не считая, время, которым можно распоряжаться, как угодно… Женщины в него наперебой влюбляются, каждый день в пансион, где он живет, присылаются цветы или раздушенные записки, адресованные «красивому русскому синьору». Молодость, Италия, свобода – вся жизнь впереди, все ему улыбается… Рай, не правда ли? Он согласен – рай. Но…

Но отчего мне так больно
В моем счастливейшем раю? —

спрашивает он, сам недоумевая: «Зачем же груз необъяснимый,/ На сердце дрогнувшем моем?» В Италии, в своей белой комнате в розах – ведет дневник. И в каждой строке этого дневника: Зачем? Отчего?..» И далее Георгий Иванов отмечает, что «детские стихи Леонида Каннегисера странно перекликаются с детскими стихами Лермонтова. Помните:

Я рано начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит.
В моей груди, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.

И странно перекликаются образы, которые они вызывают: Лермонтов «с свинцом в груди», покрытый шинелью, под проливным дождем. Каннегисер с пулей в затылке, в подвале ЧеКа. Два «дрогнувших сердца» – нашедших, наконец, покой...»

Говоря о времени, Георгий Иванов пишет в «Петербургских зимах»: «Вернисажи, маскарады, эстетические чаи разных артистических дам, этот ночной подвал («Бродячая собака». – *Ю.Б.*), где мы встретились, куда каждую полночь собираются скучать до утра разные изящные бездельники, на стенках которого рукой их излюбленного поэта, наряженного, надушенного, накрашенного Кузмина, выведено:

Здесь цепи многие развязаны,
Все сохранит подземный зал,
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

На маскарадах, вернисажах, пятичасовых чаях и полнощных сборищах все те же лица, те же разговоры... Общественность? Скука. Политика? Пошлость. Работа? Божье наказание, от которого «мы», к счастью, избавлены. Богатые – тем, что у них есть деньги, бедные – тем, что можно попрошайничать у богатых.

Маскарады, вернисажи, пятичасовые чаи, ночные сборища. Мир уайльдовских острот, зеркальных проборов, мир, в котором меняется только узор галстуков.

Кончится это страшно. Но о конце никто не думает...»

Вот в таком мире, в такой обстановке прошла молодость Леонида. Георгий Адамович тоже оставил его портрет:

«Он был тогда совсем еще мальчиком, хотя ничего мальчишеского в нем заметно не было. Он рано развился, держался, как взрослый, слегка только грустнее, чем обыкновенно бывают взрослые, и с ним обо всем можно было говорить. Он с увлечением писал стихи...

Леонид был одним из самых петербургских петербуржцев, каких я знал. Но весь он будто двоился. Он тяготился своей беспечностью и скучал – не совсем так, как большинство его сверстников. Его томила та полу-жизнь, которою он жил... Было в душе его постоянное желание какого-то полета. Было настоящее

искание подвига, – какой бы то ни было ценой. Думаю, что в годы нашей дружбы эти стремления были бессознательные. Потом они прояснились и, сделавшись острее и настойчивее, привели к катастрофе...»

Ну, а до катастрофы – беззаботный журфикс:

В гостиной на чопорном кресле
Расплачусь, как мальчик, сейчас, —
Под лифом парижского дома
Русалочье сердце у вас.

В глазах – огонек золотистый,
Насмешливо подняли бровь...
Но ваши – холодные губы,
И с вами опасна любовь.

Скорее из дома, где дамой
В кругу говорливых гостей
Русалка доверчиво губит
По старой привычке своей.

Уже я чрезмерно рассеян,
Уже я невесел и нем...
Нет, – лучше я чая не выпью
И желтого кекса не съем.

Грациозно. Иронично. Насмешливо. Одному из своих знакомых Каннегисер написал посвящение, но не о себе ли самом?

Порою грезящий незримым идеалом,
Порой мечтающий о чем-то небывалом,

Порой язвительный, порою очень нежный,
Всегда утонченный, всегда слегка небрежный, —

Проходишь Ты свой путь, Хандры и Муз дитя,
Комически молясь, трагически шутя...

А в общем – для друзей готов в любой момент
Искусный каламбур и тонкий комплимент.

В возрасте 16 лет Леонид Каннегисер записал в дневнике

свое жизненное кредо: «Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте – я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний, – но единая моя цель – вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь – не знаю...»

И вот революция – «дивное просветление», «неизъяснимая сладость» – так казалось молодому петербургскому поэту, – и разве только одному ему?! Многим хотелось новизны, очищения воздуха, грома и молний, новых сказочных горизонтов. 8 марта 1917 года Игорь Северянин в полнейшем восторге пишет стихотворение «Моему народу»:

Народ оцарен! царь низложен!
Свободно слово и печать!
Язык остер, как меч без ножен!
Жизнь новую пора начать!

Себя царями осознали
Еще недавние рабы:
Разбили вздорные скрижали.
Веленьем солнечной судьбы!..

Восторг без меры: «Долой эпоха Николая!/ Да здравствует иная явь!..» В этом радостном вихре кружится и Леонид Каннегисер. В начале Февральской революции он вступает в милицию временного правительства вместе с братом Сергеем (вскоре Сергей кончает жизнь самоубийством). В июне 1917-го Леонид зачислен добровольцем в михайловское артиллерийское училище, вступает в партию юнкеров-социалистов и пишет стихотворение «Смотр», звучащее как гимн:

На солнце сверкая штыками, —
Пехота. За ней в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.

Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос – запомнит на веки:
Россия. Свобода. Война.

Сердца – из огня и железа,
А дух – зеленеющий дуб,

И песня-орел, Марсельеза,
Летит из серебряных труб.

На битву! – и бесы отпрянут,
И сквозь потемневшую твердь
Архангелы с завистью глянут
На нашу веселую смерть.

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать! —
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать,

Тогда у блаженного входа,
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню – Россия. Свобода.
Керенский на белом коне.

Под стихотворением подпись: 27 июня 1917 г. Павловск. И совсем, наверное, не странно, что одни и те же слова приходили на ум и пронзали сердца разных поэтов. В том же июне Осип Мандельштам писал: «…сладко повторять: «Россия, Лета, Лорелея». Летом 1917 года напишет и другие строки:

О, кровь семнадцатого года,
Еще, еще бежит она:
Ведь и веселая свобода
Должна же быть защищена.

Умрем – исполним назначенье,
Но в сладость претворим сперва
Себялюбивое мученье,
Тоску и жалкие слова.

Пойдем, не думая о многом,
Мы только выйдем из тюрьмы,
А смерть пусть ждет нас за порогом,
Умрем – бессмертны станем мы…

Вот оно, долгожданное «просветление» и вот захватывающий дух «полет» – и Каннегисер с марта 1918 года участвует в противобольшевистских конспиративных организациях; цель одна: освободить Россию от красных, от «комиссаров в пыльных

шлемах», к которым у Каннегисера была классовая ненависть аристократа и поэта к черни и плебсу. Леонид Каннегисер, который в мирной петербургской жизни пытался походить на героев Уайльда, на рисунки утонченно-изломанного Бердслея, не мог не ненавидеть солдат и матросиков, ведомых большевиками, разоряющих церкви и открыто грабящих богатых, заливающих кровью страну. Его породистая утонченность бушевала в груди.

Что такое и кто такой вообще поэт? «Прежде всего, существо с удвоенной, удесятеренной чувствительностью», – давал ответ Георгий Иванов. И эта чувствительность, это эмоциональное перенапряжение толкнуло Леонида Каннегисера на крайний поступок. 30 августа 1918 года он подъехал на велосипеде к зданию Министерства иностранных дел, расположенному во дворце Карла Росси на Морской, в холле дождался появления главы петроградского ЧК, грозного Моисея Урицкого, и одним выстрелом наповал сразил одного из подручных Ленина. Далее на том же велосипеде пытался уехать, но был схвачен и отправлен в тюрьму в Кронштадте.

4 января 1919 года в «Петроградской правде» появилась информация: «При допросе Леонид Каннегисер заявил, что убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет». Расстрел самого же Каннегисера состоялся ранее, о нем было объявлено в сообщении ЧК 18 октября 1918 года. Судьба отпустила ему всего двадцать два с половиной года жизни.

Поэтесса и салонная петербургская дама Паллада Богданова-Бельская позднее писала: «Я считаю, что он был романтично настроенный юноша, способный на сильные и благородные порывы и кто знает – когда он шел на это дело, не мелькнула ли у него мысль, что убийство Урицкого – столь же полезный и необходимый поступок, как убийство Марата».

Но Россия не Франция. Там во время Французской революции казнили за убийство Марата только Шарлотту Корде, а в России ответили на белый террор красным террором. 6 сентября 1918 года было опубликовано сообщение о расстреле «в ответ на белый террор» 512 человек и одновременно начата публикация списков заложников (общей численностью 476 человек), продолжавшаяся в последующие дни. Одним из расстрелянных тогда стал великий князь Николай Романов, младший брат Александра II, внук Николая I.

Арестовали отца Каннегисера, мать и сестру Лулу. Потом выпустили, но все равно: блистательная династия сошла на нет.

А что изменилось после убийства Урицкого? Вместо одного сатрапа и палача Урицкого ЧК возглавил другой – Бокий. Репрессии и расстрелы умножились. Красное колесо убийств и насилия продолжало безжалостно вертеться…

Туман под крышу вокзала
Валил, как дым из трубы,
И в нем толпою продрогшей
Стояли твои рабы.
И там в суете печальной
Не помнить никто не мог,
Что скоро звонарь вокзальный
Последний подаст звонок…

(5 марта 1916)

Лев Никулин вспоминал, как он в последний раз встретил Леонида Каннегисера в апреле 18-го: «Была весенняя грязь… Леонид Акимович в длинной кавалерийской шинели, без офицерских погон, изможденный, бледный, мало напоминал изнеженного, немного томного юношу из петроградского подвала…»

И далее Никулин сделал вывод: «Странные, хаотические дни…

Мечтатель, эстет и поэт прибегает к браунингу, другие мечтатели идут в услужение к его палачам…»

Долго потом муссировался вопрос: «Кто Леонид Каннегисер – безумец или герой?» Пусть каждый решает сам.

Еще одно дополнение: дружба Леонида Каннегисера с Сергеем Есениным. Летом 1915 года юный Леонид гостил у Есенина в Константиново, затем они обменивались письмами друг к другу.

Марина Цветаева начала писать воспоминания «Нездешний вечер» в 1921 году, а закончила их в 1936-м. И в них она говорит о своих отношениях с братьями Каннегисер – Сережей и Леней, правда, почему-то опускает их фамилию – просто Сережа и просто Леня. Ей был ближе Сережа, а «Леня для меня слишком хрупок, нежен… цветок. Что можно сделать такими руками?..»

И об одном январском вечере 1916 года:

«…Завтра Ахматова теряла всех. Гумилев – жизнь.

Но сегодня вечер был наш!

Пир во время чумы? Да. Но те пировали – вином и розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи – уже призраки Аида – словами: звуком слов и живой кровью чувств…

...И – все заплатили. Сережа и Леня – жизнью. Гумилев – жизнью, Есенин – жизнью, Кузмин, Ахматова, я – пожизненным заключением в самих себе, в этой крепости – вернее Петропавловской...»

И закончим строками Леонида Каннегисера из стихотворения «Казнь», посвященного Марии Антуанетте:

Оцепенев, толпа стояла
В молчаньи, в ужасе – и вот
Она, не глядя на народ,
До эшафота дошагала,
Неслышной поступью взошла,
Стройней увенчанного древа,
И руки к небу – королева,
Как пальма – ветви, подняла.

РОМАН БЕЗ РОМАНА
Переписка Марины Цветаевой и Бориса Пастернака

Две гордости русской поэзии – Марина Цветаева и Борис Пастернак в течение 15 лет (1922 – 1936) активно переписывались друг с другом. Что это было? Творческая близость в «струнном ремесле»? Тяга поэта к поэту? Всполохи страсти? Изменчивая любовь? А может быть, горячечная фантазия, возникшая в голове и незаметно перешедшая в сердце? Заочные, заоблачные, фантазийные отношения – мираж любви? Но какой мираж! У Цветаевой было много мужчин и увлечений, но только Пастернак, по признанию мужа Цветаевой Сергея Эфрона, смог «растопить печь». Пастернак налетел, как ураган, и цветаевский огонь запылал ярко и жарко. «и оба уносились в эмпирей» (Пастернак). «Где бы ты ни был – тебя настигну,/ Выстрадаю – и верну назад!...» (Цветаева). Марина хотела быть не просто любимой женщиной Пастернака, а его Сивиллой, Ариадной, Эвридикой, Федрой, Психеей (две мраморные статуи, Эрот и Психея, стоящие на века). Но письма – это одно, а жизнь – совсем другое. Любовно-поэтический роман не состоялся. Жизнь внесла в него свои трагические коррективы. Но обо всем по порядку.

Марина Цветаева

Борис Пастернак

Первые встречи

В Москве Цветаева и Пастернак встречались несколько раз, накоротке разговаривали, но остались равнодушными друг к другу: мало ли знакомых на свете!.. Они могли и уже хотели встретиться в Берлине (два поэта-эмигранта), но по разным причинам встреча не произошла. Пастернак вернулся на родину, в Москву, а Цветаева жила вначале в Берлине, потом перебралась в Чехию, обосновалась под Прагой (город был не по карману) – Мокропсы, Вшеноры и другие местечки. Оба несвободны – Цветаева замужем за Сергеем Эфроном, Пастернак женат на Евгении Лурье. И вот обмен письмами. Цветаева покорена книгой Пастернака «Сестра моя – жизнь», Пастернак в восторге от сборника Цветаевой «Версты».

Первые письма

Пастернак – Цветаевой, 14 июня 1922 года: «Дорогая Марина Ивановна! Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыданья, наконец, прорвавшегося...»

Пастернак вдруг узрел среди «обилия поэтов и поэтесс» Цветаеву – пишущего человека, созвучного себе, и корит себя, что не купил месяц назад «Версты» из-за «скверного порока обывательства»: «Книгу не покупаешь потому, что ее можно купить!!.» Далее в письме следуют всякие комплиментарные слова и в конце: «Целую Вашу руку. Потрясенный Вами Б. Пастернак».

Ответ не замедлил ждать: «Дорогой Борис Леонидович!» Текст, как всегда у Цветаевой, бурно-эмоциональный, о себе и обо всех. Цветаева вспомнила, как в 1919 году в Москве на Моховой она пригласила к себе Пастернака: «Буду рада, если» – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется». То ли упрекнула Цветаева Пастернака, то ли уколола его. И о своем берлинском житье: «Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) – безымянность – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете». И в конце письма: «Жду Вашей книги и Вас».

Вот такое было начало переписки.

Цветаева – Пастернаку, октябрь 1922: «Мой любимый вид общения потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. Последнее, что я бы хотела удержать – голос. Письмо – не слова, а голос. (Слова мы подставляем!) Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Ты не проникнешь. Встреча должна нам быть аркой...» Далее у Цветаевой идет некая сбивчивая метафизическая смесь: «...К чему сейчас все это говорю? А вот: Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. – Ездят же, чтобы купить себе пальто! – Вы не меньше пальто!..»

Значит, уже порыв: если он не едет, я приеду!

В одном из февральских писем 1923 года Цветаева сетует на свою поэтическую судьбу: «...и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет) по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях – не менее пяти. Оттого я есмь и буду без имени». А пока книг нет, Цветаева посылает Пастернаку свои стихи, а он свои, в надежде, разумеется, на одобрение, а лучше,

конечно, – на восхищение.

Через стихи и письма они узнавали друг друга: «Я, например, знаю о Вас, что Вы – из всех – любите Бетховена (даже больше Баха!), что Вы страстней стихов подвержены Музыке…» – делится своими новыми знаниями Цветаева. И в том же письме (10 февраля 1923): «Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли». Ну, подобное мог написать только поэт поэту на своем высоком, небесном языке. И интересная цветаевская строка о себе: «Я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) – для людей расхождение ведь вопрос самолюбия…»

«Февраль 1923 г. в моей жизни – Ваш, – в другом письме пишет Цветаева. – Делайте с ним, что хотите».

Какое роскошное предложение! Но Пастернак не помчался к Цветаевой (визы, границы, да и как вырваться!..)

«Мой Пастернак, я, может быть, вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, – благодаря Вам!» (9 марта 1923). И в конце: «Будьте живы, больше мне ничего не нужно». К письму Цветаева прилагает большую подборку «Стихи к вам». Одно из стихотворений «Эмигрант» начинается так:

> Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами,
> Дамами, Думами,
> Не слюбившись с Вами, не сбившись с вами…

Цветаева – Пастернаку (конец марта 1923): «Ничья хвала и ничье признание мне не нужно, кроме Вашего, руку на сердце положа. – О не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т.е. не могут еще быть только чувствами… Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. Это в первый раз за жизнь, не наваждение, а… не чара, а знание … Хочу Ваших писем».

И в другом письме, вослед: «Я дружбу ставлю выше любви: не ставлю, стоит выше, просто: дружба стоит, любовь – влежку».

Однако от дружбы Цветаева начинает двигаться (а может, бежать) в сторону любви. Темперамент не позволяет оставаться спокойной. Цветаева мечтает о встрече с Пастернаком. «Читаю Ваши книги и содрогаюсь от соответствия». И в том же письме (январь 1924): «Я хочу говорить Вам просто и спокойно, – ведь 8 месяцев, подумайте, день за днем! Всякая лихорадка отпустит. Когда мне плохо, я думаю: Б.П., когда мне хорошо, я думаю Б.П., когда Музыка – Б.П., когда лист слетает на дорогу – Б.П., Вы мой спутник, моя цель и мой оплот, я не выхожу из Вас… Я так пыталась любить другого, всей волей любви, но тщетно, из другого я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас

(как на поезд заглядываются, долженствующий появиться из тумана). Я невиновна в том, что я (строка оборвана. – *Ю.Б.*), я всё делала, чтобы это прошло...»

И далее в другом отрывке письма: «Вокруг меня огромные любовные вихри, Вы моя единственная неподвижность...» И Цветаева как бы подталкивает Пастернака, говоря о «неком чувстве обреченности друг на друга». Обречены на любовь – и все! А они, между прочим, никак встретиться не могут, она – Запад, а он – Восток.

«Марина, золотой мой друг», – обращается к ней Пастернак. 14 июля 1924-го. «Какие удивительные стихи Вы пишите! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще – Вы – возмутительно-большой поэт!..» и признание: «Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно...»

В ответ, естественно, летит цветаевский вопрос: «Борис, а будет час, когда я Вам положу руки на плечи?» И где-то в конце послания интригующе-завлекающая фраза: «Недавно брала твою книгу в лес, лежала с ней».

Накал отношений

Пастернак живет в двух мирах – в письмах и в реальности. Жене, Евгении Лурье (она в Ленинграде) Пастернак пишет 27 мая 1924 года: «Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов – я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной и страшно-страшно люблю тебя, до побледнения порывисто. Ах какое счастье, что это ты у меня есть!.. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне...» И так далее, как всегда возвышенно и поэтично (поэты умеют писать!).

Но пастернаковские письма не успокаивали Евгению Владимировну, для нее болезненны были ссылки на духовную близость и понимание, которые получал Борис Леонидович в переписке с Цветаевой. «Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой один мир, большой и необходимый, моя жизнь с тобой – другой, еще больший и необходимый уже только по величине своей, и я бы просто даже не поставил их рядом...»

А параллельно летели письма к Цветаевой: «И вот вдруг ты, не созданная мною, врожденно тыкаемая каждым вздрогом, – преувеличенно, то есть во весь рост. Что ты страшно моя, а не создана мною, вот имя моего чувства».

А тем времен Цветаева осенью 1924-го сообщает Пастернаку, что в феврале ждет сына. «Это первый ребенок, который после семи лет (рождения второй дочери. – *Ю.Б.*) – постучался. Борис, если Вы меня из-за него разлюбите, я не буду жалеть. Я поступила правильно, я не помешала верстаку жизни... я не воткнула палки в спицы колеса судьбы. Это единственное, что я чту. Да, Борис, и будь этот ребенок у меня от первого проходимца, он все-таки был бы, п.ч. он захотел через меня быть. Да, Борис».

Середина февраля 1925 года: «...1 февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был 9 месяцев во мне и 10 дней на свете, но желание С. (не требованье) было назвать его Георгием – и я уступила...»

И вновь горячие слова к Пастернаку: «Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душою, как Вы – с той карточкой, Вы мой воздух и мой вечерний возврат к себе... Ваше имя, Ваше лицо, Ваш стих... Если бы я умерла, я бы Ваши письма и книги взяла с собой в огонь ...Но уцелела... Борис, я два года, я больше двух лет тебя люблю – ты ведь не скажешь, что это воображение... Ты мне насквозь родной такой же страшно, жутко родной, как я сама... Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью

руку? И – только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня знает слова...»

И вопрос, который ее мучает: «Ты ведь можешь любить чужого ребенка, как своего?..»

Письма летят, а встречи все нет и нет. «Этой встречей живу, – пишет Цветаева. – Ты моя даль – обожаемая» (26 мая 1925). Мечты и предположения: «Я бы с тобой совсем не умела жить...» (конец марта 1926). «У меня в Вандее была огромная постель – я такой не видывала, и я, ложась, думала: с Борисом это была бы не 2-спальная кровать, а душа. Я бы просто спала в душе» (апрель 1926). И в другом апрельском письме: «Борис, моей любви к тебе хватит на гораздо больше, чем жизнь. Вывод – бессмертие».

Пастернак пишет жене в Мюнхен 29 июня 1926-го: «Я не испытываю твоего чувства ревности. Я сейчас совершенно одинок. Марина попросила перестать ей писать, после того как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Возмутит это и тебя. Это правда дико... Я не предам тебя и основанья ревновать не создал...» А далее следует примечательная строка: «Совершенно помимо меня, ты обречена на постоянное страданье».

Вот так, страдай, любимая, страдай. Сестра, ангел и русалочка. Страдала и Цветаева, узнав об отношении Пастернака к Эльзе Триоле: «Милый Борис, ты не мог любить такую (расположенным можно быть к кому угодно, просто поворот тела в сторону за ужином), ты мог /можешь) любить себе обратное, но равно-сильное. Она недостаточно улица, чтобы ты ее любил, недостаточно площадь, не блоковская Катька ведь, просто Дама. И дама – недостаточно».

Намек Пастернаку, что другая пылать не сможет. Какая другая, когда Пастернак пишет Цветаевой: «О как я люблю тебя!» (4 апреля 1926). Любопытственно признание Бориса Леонидовича: «Я ведь не только женат, я еще и я, и я полуребенок... Есть тысячи женских лиц, которых мне бы пришлось любить, если бы я давал себе волю...» И где-то в конце письма: «Ехать ли мне к тебе сейчас или через год. Эта нерешительность у меня не абсурдна, у меня есть настоящие причины колебаться в стоке...» (20 апреля 1926).

Цветаева в ответ: «Через год. Ты громадное счастье, которое надвигается медленно...»

Как писались письма

Сделаем перебивку и чуточку остынем от накала цветаевско-пастернаковских страстей. Как писались письма? Сейчас мы с вами не пишем письма – исчезнувший жанр. Есть телефон, есть Интернет, электронная почта, короткие SmS. А в начале и середине XX века люди, и особенно интеллектуалы, обожали письма. В 2004 году издательство «Вагриус» издало несколько томов переписки Марины Цветаевой, в том числе и с Пастернаком, откуда я и черпаю избранные строки.

В эмиграции, задыхаясь от одиночества, Цветаева начинает писать письма. Ей хочется общения, разговора по душам. Перед тем, как отослать письмо, она шлифует каждое слово, каждую фразу, делает несколько вариантов и, прежде чем отослать письмо, переписывает его в свою тетрадь. Она не просто конфидент, она – писатель, и письма не только общение, но и лаборатория мастерства, писательская кухня, попытка разобраться в дебрях собственной души, психоанализ.

Марина Цветаева о себе

В письме от 9 марта 1923 года она предупреждает Пастернака о том, какая она сильная натура. «Вы не шутите только. Я себя знаю. 16-ти лет 2 года подряд, день в день, час в час, любила Герцога рейхтадтского (Наполеона II), любила сквозь все и всех, слепая жила. Пастернак, я себя знаю. Вы – мой дом, к Вам я буду думать домой, каждую секунду, я знаю...»

«В жизни я безмерно-дика, из рук скольжу» (9 марта 1923).

«Я бы сейчас, Борис, ни за кого не вышла замуж. Знаешь мою детскую мечту – (мечта многих...) Ребенок – и одна. Жить с ним, в нем, без того...» (апрель 1926). «В любви – и нигде больше – я нервна: как лошадь...» (август 1927) И в этом же письме: «...брежу и всегда в злостную для себя сторону».

И еще откровение: «Борис, я вообще жизнь всю считаю неестественной, т.е. мне в ней – всей – не живется, не только в моей...» (20 октября 1927). Позднее, в 30-х, Цветаева воскликнет:

Отказываюсь – быть.
В бедламе нелюдей
Отказываюсь – жить.
С волками площадей
Отказываюсь – выть...

... Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один – отказ.

Февраль 1928 года. Цветаева продолжает надеяться на встречу с Пастернаком и пишет: «...отсутствие собеседников, мое вечное в чужом кругу и в своем соку...»

4 марта 1928, Цветаева – Пастернаку: «Борис, я всегда жила любовью. Только это и двигало мною... Сейчас – до-олгое сейчас – полных четыре года я никого не любила, ни одного поцелуя никому – 4 года... Был бы жив Рильке, приехал бы ты...»

Нет любви – нет творчества: «А – с чего мне сейчас писать? Я никого не люблю, мне ни от кого не больно, я никого не жду, я влезаю в новое пальто и стою перед зеркалом с серьезной мыслью о том, что опять широко...» И еще убийственная фраза: «У меня все время, Борис, сознание, как у некой старухи, что я заедаю чью-то жизнь».

О творчестве в СССР: «Не моя вина, что я не выношу идиллии, которой все идет. Воспевать колхозы и заводы – то же самое, что счастливую любовь. Я не могу» (июль 1935).

Борис Пастернак о себе

«Посылаю тебе фотографию. Я ужасно безобразен. Я именно таков как на фотографии, – она удачна. Я только щурюсь...» (20 апреля 1926). Ответ Марины: «Борис, на карточке ты чудный. Поскольку Маяковский воля, постольку ты – душа. Лицо души...»

Пастернак все время себя уничижает: «Ты меня представляешь проще и лучше, чем я на самом деле. Во мне пропасть женских черт» (11 июля 1926).

Быт поэтов

Знаменитое ахматовское: из какого сора растут стихи... Сор, хлам, кутерьма, быт – во всем этом почти каждому поэту приходится творить (и Пушкин этого не избежал: деньги, долги, дети). Вот и Пастернак: «У меня сейчас сумасбродные дни, полные житейщины» (июнь 1926). У Пастернака – «житейщина», у Цветаевой – «чертов быт».

Пастернак сообщает Цветаевой, естественно, среди прочего, что он четвертый день ходит по издательствам и редакциям и не может получить денег, а «за квартиру не плочено три месяца». «А кругом люди, как ни бедственно положение многих, делают подарки женам, ходят не в отрепьях и, принимая друзей, развлекаются и не отпугивают их уныньем. Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок ... Вот я завтра поеду к жене и сыну. Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора...» (2 июля 1925).

Родные Пастернака в деревне, он в Москве (Волхонка 14, кв. 9 – адрес Пастернака многим ничего не говорит, но только не мне: я родился на Волхонке, в доме, рядом с пастернаковским).

Цветаевой в это время тоже нелегко. «Вам в тысячу раз трудней, – пишет ей Пастернак, – и трудность Вашей жизни слышна истории, она современна, стесненье, в котором Вы живете, делает честь всякому, кто к нему прикоснется. А мои матерьяльные неурядицы – архаизм, дичь, блажь, мыльные пузыри, практическое несовершеннолетье».

Три года спустя Пастернак пишет Цветаевой о том же: «Я должен был бы зарабатывать много, несравненно больше, чем зарабатываю в совершенно других счетных единицах, – тысячи, как их тысячи и зарабатывают, – писатели, журналисты, критики и компиляторы. Отчего же это у меня не выходит и мне так трудно? Я думаю, это от тоскливого отчужденья, которым я охвачен...» Другими словами, Пастернак с трудом вписывался в советскую реальность (не Маяковский!). И фантазийная надежда: «О, как все было бы по-иному, если бы ты была тут!..» (28 мая 1928).

А что у Марины Цветаевой? «Мне вот уже (17 – 25 г.) 8 лет суждено кипеть в быту, я тот козел, которого хотят зарезать, которого непрестанно заре– и недоре-зывают, я то варево, которое (8 лет) кипит у меня на примусе... Я растерзана жалостью и гневом, жалостью – к своим, гневом – на себя: за то, что терплю. Презираю себя за то что по первому зову (1001 в день) быта

срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА – обратно. Во мне протестантский долг... Внешне: я живу не «за границей», а на поселении, сама готовлю, качаю воду, стираю, нянчу Георгия, занимаюсь с Алей по-французски. Я неистово озлоблена, и меня не любят, восхищаются, боятся. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени думать, думает перо. Утром 5 минут (время присесть), среди дня 10, вечером – вся ночь, но ночью не могу...»

Ну, как картинка быта? Но это еще не все. «Борис, я живу фактически взаперти. У тебя хоть между редакцией и редакцией, редакцией и домом, есть куски, отрывки тротуара, пространства, я живу в котловине, задушенная холмами... Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, не нужны, а вне – не стихов, а того, что их создает – что я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях. Да еще с мужской иронией!

Где я живу – деревня, с гусями, с водокачками. В Праге бываю раз в месяц, за иждивением... Если бы восстановить мой день, шаг за шагом, жест за жестом – получилось бы – что белка в колесе и что рабочий у станка... Не 8-часовой, а 24-часовый рабочий день...»

Обращение к Пастернаку: «Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А тогда что? С моста в Москва-реку. Да, милый друг, со стихами как с любовью: она тебя бросает, а не ты ее... Ты же у лиры – крепостной...» И про себя, про свой быт: «Посуда, табуретки, тазы, ящики, сплошные острия и углы, вся нечисть быта, яростная. Тетрадям нет места. На том же столе едят и пишут (муж – докторскую работу «Иконография Рождества», Аля – французские переводы, я – налетом – Крысолова)» – все цитаты из одного июльского письма 1925 года. Нельзя не привести хотя бы несколько строк из лирической сатиры Цветаевой «Крысолов»:

К розе приписана соловью
Страсть. Изменив пенатам,
Над соловьем моим слезы лью,
А соловей – женатый!

И где-то в самом конце поэмы: «А флейта все слаще, а сердце все глуше».

Но от стихов к прозе. В мае 1926-го Цветаева сообщает (жалуется?): «Борис, ни один мой час не принадлежит мне. Никуда не могу уйти, все заранее распределено. Я бы и умереть не могла – п.ч. распределено. Кем? Мною. Моей заботой. Я не могу, чтобы Аля не мылась: Аля, мойся! по 10 раз. Я не могу, чтобы газ горел даром, я не могу, чтобы Мур ходил в грязной

куртке, я не могу... У меня гордость нищего – не по карману, не по собственным силам. И вот, как заведенная... Борис, я тебя хочу – без завода, в каком-то жизненном промежутке, в состоянии паузы...»

И неожиданная фраза-вопль из того же письма: «Я совсем не умею жить в доме и жить с другими».

21 июня 1926 года: «Пишу в Чехию с просьбой выхлопотать мне заочную стипендию, как Бальмонту и Тэффи, которых чехи содержат, никогда в глаза не видав (меня видели, всегда с ведром или с мешком, три с половиной года, – не нагляделись, должны быть!)».

Конец августа 1927-го: «Борис! Каждая кассирша, каждая телефонистка счастливее меня, п.ч. у нее есть время на работу... у меня нет ни друзей, ни денег, ни свободы, ничего, только тетрадь. И ее у меня нет».

Октябрь того же года. Цветаева после болезни вынуждена была обриться и сообщает об этом Пастернаку: «Брилась семь раз, тупя бритвы, дольше С.Я. отказался. Брили меня все кому не лень, были и такие, которые никогда не брили и на моей голове учились...»

Конец мая 1933: «Не могу я, Борис, после 20 лет деятельности ходить по редакциям, предлагая рукопись. Я этого и в 16 лет не делала. И еще менее могу...» И о своем внешнем виде: «Я, Борис, сильно поседела, чем очень смущаю моих (на 20 лет старших) «современниц», сплошь – черных, рыжих, русых, без ни одной седой ниточки. Каждым моим седым волосом указываю на их возраст». И приписка: «А ведь любят серых кошек. И волки красивые. И серебро».

И другие темы

Быт и бытие – в этих берегах текла переписка Цветаевой и Пастернака. И, конечно, часто всплывала тема России. Поначалу Цветаева резко писала о родине: «Россия для меня – почти тот свет» (1923),

«В Россию никогда не вернусь. Просто п.ч. такой страны нет. Мне некуда возвращаться» (1926). Но уже в ноябре 1927-го: «Борис, моя тоска по России растет». Однако она пишет не о «возращении», а всего лишь о «гощении» – приехать и быть только гостем. Знаменитые строки Цветаевой: «Тоска по родине! Давно/ Разоблаченная морока!..» И концовка:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все – равно, и все – едино.
Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина...

Это написано уже в 1934 году. 18 июля 1939 года – после 17 лет эмиграции – Цветаева вернулась на родину, в неведомую ей страну – в СССР.

Однако обратимся к переписке. Само собой разумеется, письма насыщены литературой. Цветаева и Пастернак обмениваются стихами, разбирают стихи, обсуждают поэзию и поэтов.

«Какие замечательные стихи из Поверх барьеров! Борис, эта книга у меня должна быть. Если нет, достань, выкради у знакомых» (1926). Подвергает Цветаева профессиональному разбору пастернаковскую поэму «Лейтенант Шмидт», возможно, многие строки Пастернака «ложились» прямо на нее:

Крушенье планов.
Что ни час растущая покорность лани.
Готовность встать и сгинуть с глаз
И согласиться на закланье.

Пастернаку, в свою очередь, нравится «Крысолов» – «удивительная вещь». Он в восторге от «Поэмы Горы», «Поэмы Конца». Он покорен Федрой. Цитаты не привожу, ибо эта не литературоведческая работа. Это человековедение.

Цветаева и Пастернак обмениваются своими оценками о

коллегах по перу. Цветаева о Маяковском: «А у Маяковского взгляд каторжника. После преступления. Убившего...» Но когда произошло самоубийство, скорбит о нем. Так же о Сергее Есенине. В свою очередь, Пастернак раздает «всем сестрам по серьгам». Любопытен отзыв об Илье Сельвинском: «Он очень талантлив, – пишет Пастернак Цветаевой в марте 1926 года. – Смешно говорить о моей или Вашей современности. Современен только он. Т.е. только такой, в революцию зародившийся сплав эпики, эклетики и нового акмеизма – плывет, голова в голову, с головою дня над мутью количества, и с ним ныряет, захлебывается и всплывает... «Среди прочего отмечает Пастернак и «мраморную красоту» Ахматовой.

Продолжение романа

Вернемся к основной линии нашего исследования.

25 марта 1926 года Пастернак пишет Цветаевой: «мое с неба свалившееся счастье», «родная», «удивительная»... «Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно ты это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила...» А затем, через нескольких страниц письма, как бы спохватываясь: «Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему! Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье...» Стало быть, еще и больна, и, возможно, поэтому Пастернак пишет: «Не низостью ли было бы бить ее врасплох».

И к Марине: «Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и что этих поцелуев я никогда не видал».

Не знаю, как вас, дорогой читатель, но лично меня такие строки Бориса Леонидовича потрясают. И далее он пишет: «Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе еще... Я боготворю тебя». И на полях письма приписка: «Когда перечитываю письма, – ничего не понимаю. А ты? Какое-то семинарское удручающее однословье!»

Июль 1926 года, Цветаева – Пастернаку: «Я бы не могла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания...» Далее Цветаева пишет, как она по-своему понимает «верность», ей подходит более всего «верность от восхищения».

«Что бы я желала с тобой, Борис, в Москве? Да разве я одна могу тебе дать сумму (Хотя я сама сумма, не только себя, но и всех моих прабабок и т.д.). Я была бы в непрестанной тоске, которая меня бы глубоко унижала. Жизнь другого нельзя выносить рядом...

У меня другая улица, Борис, лирическая, без людей, с концами концов, с детства, со всем, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им не нравлюсь, у них нюх. Я нравлюсь старикам и женщинам и собакам. Я не нравлюсь голому инстинкту, я не нравлюсь полу, пусть я в твоих глазах теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб – оцени.

Стреляться из-за Психеи! Да ведь она бессмертна, ведь ее даже никогда не было. Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи...»

В другом письме от 10 июля Цветаева развивает тему мифологической Психеи: «Пойми меня: ненасытная исконная

ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи – все...» Другими словами, в Еве – пол, тело, она вся женщина. А Психея – душа, творчество, поэзия.

И Цветаева делает вывод о невозможности счастья для себя и Пастернака: «Борис, как бы мы с тобой были счастливы – и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже весь в нас...»

«Были бы!..» В этом весь крах надежд. И ничего не означает крик Пастернака: «Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно» (31 июля 1926).

Цветаева – Пастернаку, май 1927: «Не пойми меня превратно: я живу не чтобы стихи писать, а стихи пишу чтобы жить... Ты мне, Борис, нужен как тайное, как неизбывное, как пропасть, как прорва. Чтобы было куда бросать и не слышать дна... Чтобы было куда любить. Я не могу (ТАК) любить не-поэта... »

15 июля 1927: «О Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю... Ты не знаешь моего одиночества... Думаю о Б.П., как ему ни трудно, он счастливее меня, п.ч. у него есть двое-трое друзей-поэтов, знающих цену его труда, у меня же ни одного человека, который бы – на час – стихи предпочел бы всему. Это – так. У меня нет друзей. Есть дамы – знакомые, приятельницы, покровительницы, иные любящие (чаще меня, чем стихи...). Для чего же вся работа? Это испытание столбцов, и столбцов, и столбцов – в поисках одного слова...»

Далее Цветаева пишет, что ей нужен «опыт, точное знание, не-удивление, свойственность, осведомленность. Вот для чего ты мне – главное – нужен, вот на что, говоря: на тебя! – надеюсь, – вхождение в другой мир, рука об руку...»

Пастернак – Цветаевой, 7 августа 1927: «Но ты, ты, например, меня приковала. Ты – родной, главное же – громадный поэтический мир».

В 1928 году происходит знакомство Пастернака с семейством музыканта Генриха Нейгауза – и открывается новый – на этот раз чисто любовный мир, – жена Нейгауза Зинаида Николаевна. Роман этот бурно развивается с лета 1930-го. А переписка с Цветаевой по-прежнему продолжается, и Марина Ивановна не оставляет надежд на личную встречу.

31 декабря 1929 года она пишет Пастернаку: «Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписания. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены...» И выкрик: «Я никого не любила годы-годы-годы... И никакого соблазна. Все, что не ты – ничто... С Новым годом, Борис, – 30-тым! А нашим с тобой – седьмым!.. Увидимся с тобой в 1932 – потому что 32 мое с детства любимое число, которого нет в месяце и нужно искать в

столетии. Не пропусти! М.»

Приписка: «Меня никто не позвал встречать Новый год, точно оставляя – предоставляя – меня тебе…»

Новый поворот

5 марта 1931 года Пастернак пишет письмо Цветаевой и в нем приводит свою новую балладу, среди прочих строчек:

Льет дождь. Я вижу сон. Я взят
Обратно в ад, где все в комплоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят...

Дети кругом: у Цветаевой двое детей, у жены Пастернака растет сын, у Зинаиды Нейгауз двое детей, – но это так, между прочим. А главное – Пастернак пишет уже не о своей любви к Цветаевой, а о своей жене: «...летом 26-го, когда мне так хотелось к тебе и я думал с ней расстаться. Теперь сходная обстановка, но разрыв был доведен до конца... Но Женя – человек, мизинца которого я не стою и никогда не стоил... она зовет вернуться... она живет в мираже страданья... Мне страшно трудно». И Пастернак сообщает свой временный адрес: квартира Бориса Пильняка на 2-й улице Ямского поля.

К своему взволнованному письму Пастернак приписывает: «Ничего не знаю. Может быть вернусь к Жене. Но люблю Зину. И тебя и Памир...» Понятно, что Пастернак любит сразу троих женщин: Цветаеву, брошенную жену и новую возлюбленную. Непонятно только: откуда взялся еще любимый Памир?..

Цветаева – Пастернаку, 18 марта 31-го: «Я не любовная героиня, Борис. Я по чести – герой труда: тетрадочного, семейного, материнского, пешего. Мои ноги герои, и руки герои, и сердце, и голова.

С Р. – никого не любила. Его вижу часто, он мне предан, обожает Мура, ничего не чувствую. Вот тебе мой опыт».

Р. – это Константин Родзевич, новый возлюбленный Цветаевой. Если писать об этом романе, то это совсем отдельная сага, как, впрочем, и другая с Николаем Гронским («Несколько ударов сердца»), письма (опять письма!) с последним охватывают период 1928 – 1933 годы. Но это были не только эпистолярные вздохи за письменным столом...

В цитированном выше цветаевском письме от 18 марта есть и такой пассаж: «Я знаю только одну счастливую любовь: Беттины к Гёте». Вроде намека Пастернаку: и с другой счастья не будет.

Пастернак сообщает Цветаевой свой новый адрес: Киев, улица Гершуни, где он живет с Зинаидой Нейгауз. Ответ Цветаевой:

««Мне тебя, Борис, не завоевать – не зачаровать… Когда я – т.е. все годы до – была уверена, что мы встретимся, мне бы в голову, и в руки не пришло так выявлять тебя воочию – себе и другим настолько ты был во мне закопан, завален, зарыт. Выходит – сейчас я просто изъяла тебя из себя – и поставила. – Теперь я просто могу сказать: – А это – Б.П., лучший русский поэт, мой большой друг, говоря этим ровно столько, сколько сама знаю».

Цветаева – Пастернаку 27 мая 1933: «Пиши стихи кому хочешь, люби, Борис, кого хочешь… Ты мой единственный образ (срифмованность тебя и меня) обращаешь в ходячую монету, обращая его к другой… Не вынуждай у меня жестокого вопля (как раньше говорили: Ты мне не пара/ – Ты мне не рифма!)…»

Спад в переписке

Хрустальная мечта Цветаевой встретиться с Пастернаком и влюбить его в себя разбилась вдребезги (увы, на то они и мечты, чтобы не сбываться и разбиваться). Письма постепенно теряют градус накала, уже не пылают, а чуть излучают свет. Или как река: сначала полноводная, бурная, искрящаяся волнами, а потом обмелевшая, тихая, сонная. Сколько можно писать и гореть? Сколько можно любить на расстоянии, без тепла рук?.. Пастернак вынужден признать: «Письмо утеряло значенье. Я его легко и наспех писал... Получилась какая-то забальзамированная болтовня...»

Встреча-отторжение

И вот долгожданная встреча двух великих поэтов – Марины Цветаевой и Бориса Пастернака. В Париже, куда приехал Пастернак участвовать в Международном конгрессе писателей в защиту культуры. Ехать на конгресс Пастернак не хотел. За ним в Москве послали машину. Он отказался ехать, ссылаясь на болезнь, но приехавший за ним передал слова секретаря Сталина – Поскребышева, что это приказ и обсуждению не подлежит. Пришлось собираться в дорогу. В Париж Пастернак приехал в июне 1935 года в жуткой депрессии и охваченный страхом (многие писатели подверглись гонениям, травле и арестам).

Цветаева и Пастернак встретились в коридорах Конгресса, и об этом Цветаева написала своей знакомой Тресковой: «О встрече с Пастернаком (была – какая невстреча!) напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело...»

Марк Слоним: «Когда я спросил ее об этом свидании, она сказала с горечью, которой я никогда не забуду: «Это была «невстреча», и потом вдруг повторила – не закончив – последнюю строфу своих стихов к Блоку:

Но моя река – да с твоей рекой,
но моя рука – да с твоей рукой
не сойдутся...»

Горечь и боль. Боль и горечь. «Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда. И оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше...» (октябрь 1935). А в июле, сразу после встречи-невстречи Цветаева пишет Пастернаку:

«Дорогой Борис, я теперь поняла: поэту нужна красавица... И я дура была, что любила тебя столько лет напролом. Но мое дело – другое, Борис. Женщине – да еще малокрасивой, с печатью особости, как я, и не совсем уже молодой – унизительно любить красавца, это слишком похоже на шалости старых американок. Я бы хотела бы – не могла. Раз в жизни, или два? – я любила необычайно красивого человека, но тут же возвела его в ангелы.

Ты был очень добр ко мне в нашу последнюю встречу (невстречу), а я – очень глупа...»

Октябрь: «Борис, держись своей красавицы»... «Вообще, давай переписываться – спокойно...» «Наша повесть – кончена».

Пастернак – любимый мужчина исчез. Но для Цветаевой остался Пастернак – большой поэт. В марте 1936-го она пишет

ему, предостерегая. «Ничего ты не понимаешь, Борис – ты Орфей, пожираемый зверями; пожрут они тебя. Тебя сейчас любят все, п.ч. нет Маяковского и Есенина, ты чужое место замещаешь – надо же кого-нибудь любить!.. Тебя никакие массы любить не могут, так же как ты – никаких масс любить не можешь...»

Это было последнее, 200-е письмо в переписке Цветаевой – Пастернака. В конце этого последнего письма Цветаева приводит свой разговор с сыном Муром и свой ответ на его вопрос о религии: «Не христианин, Мур, а фараон, все забираю в гробницу! – дабы через тысячелетия проросло зерно».

В письме другому адресату Цветаева восклицает: «Пастернак стал советским! Он полюбил колхозы! Боже, какой ужас!

В ответ на слезы мне – «Колхозы!»
В ответ на чувства мне – «Челюскин!»

Встречи (невстречи) на родине

18 июня 1939 года Марина Цветаева вернулась на родину. «Можно ли вернуться/ В дом, который – срыт?» – спрашивала она. И сделала попытку, которая закончилась трагедией.

Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России – нету.
– Как и той меня.

Да, это была совсем другая страна – Страна Советов. Страна крепнувшего с каждым днем культа личности Сталина. Страна ГУЛАГа и страна ликующего социализма. Страна, где все выстраивалось под один общий ранжир.

Друзья Цветаевой были глубоко поражены, узнав о ее решении вернуться в СССР. Там был Пастернак, и Цветаева очень надеялась на его поддержку в литературных делах. Но, конечно, ее грызли сомнения. На что Мур безапелляционно заявил: «Что вы, мама, вы всегда не верите, всё будет отлично!» О, если бы Пастернак при встрече с Цветаевой в Париже откровенно сказал бы, что ее ждет в России, какая там обстановка, то, может быть, Цветаева и не вернулась. Но он ничего не сказал.

18 июня 1939 года Марина и Мур прибыли в Москву, а 27 августа была арестована Аля (дочь Цветаевой Ариадна), раньше матери приехавшая в Советский Союз. Затем в сентябре последовал арест мужа – Сергея Эфрона. Прибавьте к этому, что к Цветаевой, как к «возвращенке», многие относились крайне недоброжелательно. «Белогвардейка вернулась!» – говорили о ней в писательских кругах. Было и досужее обывательское недоумение: зачем приехала? Чего ей там не хватало?..

Конечно, по приезде Цветаева очень хотела видеть Пастернака. Она рассчитывала на его душевную близость и благородную поддержку. Но не тут-то было! Бориса Леонидовича долго отговаривали от встречи с Цветаевой – «это опасно», она под колпаком органов. И все-таки они встретились, и Пастернак поспособствовал получению Цветаевой переводов – надо было на что-то жить. Она переводила грузинского классика Важу Пшавела («Эта Важа меня когда-нибудь раздавит»). На этом вся пастернаковская помощь и поддержка закончились. Цветаева жаловалась новой московской приятельнице: «Борис мог бы пригласить меня хотя бы на время пожить на его переделкинской

даче». Годы спустя Пастернак признавался, что семейная обстановка большой дачи не позволила ему то единственное, чего он хотел: пригласить Марину... И все же он помог Цветаевой получить комнату в коммунальной квартире на Покровском бульваре.

В точности неизвестно, как складывались их отношения. О последних днях Цветаевой в Москве Паустовский рассказывал Марку Слониму в Риме осенью 1965 года: «Пастернак пришел к ней помочь укладываться. Он принес веревку, чтобы перевязать чемодан, выхваливал ее крепость и пошутил, что она все выдержит, хоть вешайся на ней. Ему впоследствии передавали, что Цветаева повесилась на этой веревке, и он долго не мог простить себе того, что он назвал «роковой шуткой».

Можно этому верить или не верить, но точно одно: между Пастернаком и Цветаевой в Москве не было ни душевной близости, ни былого поэтического братства, ни стихов.

Марина Ивановна подготовила к изданию сборник своих стихотворений и поэм, но при подборе сознательно не пошла ни на какие компромиссы, и книга, конечно, была отвергнута. Критик Зелинский во внутренней рецензии написал, что «истинная трагедия Марины Цветаевой заключается в том, что, обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет что сказать людям. Поэзия Марины Цветаевой потому и негуманистична и лишена подлинно человеческого содержания».

Какой бред!

Беды и несчастья окружили Цветаеву со всех сторон. Сохранился рассказ поэта и художника Штейнберга: «Я видел Цветаеву всего один раз в жизни... Это было перед войной. Я стоял в Гослитиздате в очереди за деньгами, но денег не было, мы ждали, когда их привезут. Было много народу. Вдруг кто-то толкает меня в бок и показывает: Цветаева ... Я увидел старую женщину, неухоженную, видно, махнувшую на себя рукой, забросившую себя, с перекрученными чулками. Какая-то отчужденная от окружающих, с очень замкнутым лицом. И вдруг лицо ее преобразилась, стало женственным, счастливым, ожидающим. Она вся потянулась навстречу кому-то только что вошедшему. Я оглянулся и увидел Тарковского...»

Последнее увлечение Цветаевой – 33-летний поэт Арсений Тарковский. Ей необходим был кто-то, для кого она была бы не пустым именем, не чуждой «возвращенкой», а душой. Поэтической душой. Ей был нужен влюбленный поэт.

Гибель и возвращение

А далее все известно и описано много раз: война, эвакуация, Елабуга, отчаяние и веревка. 31 августа 1941 года Марина Цветаева повесилась, немного не дожив до 49 лет.

10 сентября Пастернак пишет в Чистополь жене: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу этому верить... Если это правда, то какой это ужас!.. Какая вина на мне, если это так!.. Это никогда не простится мне... я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно».

Летом 1944 года был убит на войне 19-летний солдат Георгий Эфрон. Тот самый Мур, которого Цветаева хотела назвать Борисом.

Дважды подвергалась аресту дочь Ариадна. Надо отдать должное Пастернаку – он помогал ей в ссылке деньгами и посылками с продуктами. 15 февраля 1955 года Ариадна (Аля) была полностью реабилитирована.

В 1961 году вышел первый маленький цветаевский сборник, в 1965 году – «большой», в серии «Библиотека поэта». Первый официальный вечер поэзии Марины Цветаевой состоялся 25 октября 1962 года в Московском доме работников искусств (ЦДРИ). На нем присутствовало лишь 140 человек особо приглашенных.

На Западе вовсю издавали сочинения Цветаевой, а у нас лишь в 1990 году вышел том всех цветаевских стихотворений и поэм.

С Пастернака начали, надо им и закончить. В очерке «Люди и положения» Борис Леонидович писал: «Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех».

Всегда загадочны утраты.
В бесплодных розысках в ответ
Я мучаюсь без результата:
У смерти очертаний нет, —

писал Пастернак в стихах.

В начале жизненного пути, в мае 1913 года в прекрасном Коктебеле 20-летняя Цветаева пророчески угадала свое будущее бессмертие:

Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!),
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

Черед настал. Но какой горький путь к славе!..

«НА ПРОСТОРАХ РОДИНЫ ЧУДЕСНОЙ…»

С этой главой всё ясно. Советский период. Тут надо откладывать перо или отрываться от пишущей машинки (увы, работаю без компьютера) и бить в литавры и барабаны, ибо, как сказано в Приветствии ЦК КПСС Четвертому съезду писателей СССР: «Рожденная на крутом повороте истории, в огне революции, советская литература открыла новый этап в развитии художественной культуры человечества. Ее международное значение и авторитет определяются тем, что она отразила всемирно-исторический опыт революционного преобразования общества, борьбу за социализм, всегда несла людям высокие идеи коммунизма, свободы, мира и прогресса. Советская литература, проникнутая революционно-гуманистическим, созидательным пафосом, верой в безграничные возможности человека, противостоит упадочному буржуазному искусству».

Дата 4-го съезда писателей СССР – май 1967 года.

В приветствии ЦК были сказаны такие слова, что оставалось только вскочить с места и кричать «Ура!» Ах, эти знакомые по советским временам, долго несмолкающие овации. Однако жизнь – штука коварная. Планы партии и власти – одно, а практика – совсем другое. И, как говорил польский сатирик Станислав Ежи Лец: «Жизнь идет по кругу всё ближе к горлу». Как в той русской поговорке: было гладко на бумаге, да забыли про овраги… А сколько было оврагов, выбоин, дыр, буреломов, проломов и провалов на дорогах советской литературы. А сколько стражей, цензоров и псов, следящих за каждым словом. Как гнули и пинали строптивых писателей, кто не хотел вписываться в советский безоблачный интерьер с цветочками на окне. Как выкручивали руки и вправляли мозги. Многие из писателей ходили пришибленными и согнутыми. А были и такие, конечно, кто ходил с поднятой головой, сияя медалями и орденами. Так и хочется привести еще один афоризм: «Литература – русский коллективный невроз» (Борис Парамонов).

В итоге (несмотря и вопреки) выходили книги. Многотысячными и даже миллионными тиражами. Власть ликовала: «Самая читающая нация в мире!» А авторы… вот об авторах мы и поговорим. Замолвим слово о бедных писателях.

СЪЕЗД БОЛЬШИХ НАДЕЖД

Вверху: ТЕНЧУРИН (Татария), ЭМИ СЯО (Китай), СЕРАФИМОВИЧ и ТУЛУМБАЙСКИЙ (Татария)
Внизу: Писательница-красный партизан КОРЕВАНОВА (Свердловск), ДЕМЬЯН БЕДНЫЙ, поэт Южной Осетии КАЗБЕК КОРАЕВ
От имени работниц, рабкор и начинающих писательни с'езд приветствует

В августе 1934 года проходил Первый съезд советских писателей. Воспоминание о нем интересно не только с точки зрения, ЧТО было, но и КАК это происходило, и какие выводы можно сделать из прошлого. Сергей Есенин, ушедший из жизни за 9 лет до исторического съезда, писал:

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье...

Прошло более 70 лет – это уже «большое расстоянье» и вполне можно расставить точки над «i».

Зачем был нужен съезд

Вместо российской империи усиленными темпами создавалась коммунистическая империя. Лихорадочно проходила индустриализация страны, в деревне шел мучительный процесс коллективизации. Настала пора поставить в строй и интеллигенцию, и прежде всего писателей, перед которыми была поставлена задача стать инженерами человеческих душ. Хватит разных литературных групп и течений. Нужна железная единая писательская организация под неусыпным партийным контролем. Социальный заказ – точное исполнение, и никаких творческих фиглей-миглей – фантазий, импровизаций и прочего. Писатель – подручный партии. У одних винтовка и лопата, у него перо. И с правой ноги вперед, шагом марш!..

Такая вот была поставлена задача, и, что удивительно, почти все писатели восприняли ее с восторгом. Все находились в плену иллюзии, что в СССР строится грандиозное государство высшей справедливости, где главная ценность – человек труда. Пелена иллюзии застила глаза и многим западным интеллектуалам, и в частности Бернарду Шоу.

Открытие съезда

Первый всесоюзный съезд писателей открылся 17 августа в Москве, в Колонном зале, работал он в течение двух недель и закончился аж 1 сентября.

> Средь мрамора, в Колонном зале
> Пятнадцать дней мы заседали... —

писали в стихотворном отчете Валентин Стенич и Юрий Олеша.

> ...Друзья пустыне и тайге, —
> Афиногены, пастернаки,
> Здесь все на дружеской ноге
> С самим последним удэге...
>
> ...О, первый съезд! Пятнадцать суток
> Ты был сенсацией Москвы...

Да, это было невиданное зрелище. В те теплые августовские дни вокруг Дома Союзов собирались большие толпы «болельщиков»: студентов, рабочих, служащих – всех волновали тогда дела литературные.

С приветствием от ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР выступил Андрей Жданов. Он без обиняков заявил, что «наша литература является самой идейной, самой передовой и самой революционной литературой...» И далее он сказал: «О чем писать, о чем мечтать, о каком пафосе может думать буржуазный писатель, откуда заимствовать ему этот пафос, если рабочий в капиталистических странах не уверен в завтрашнем дне... Современное состояние буржуазной литературы таково, что она уже не может создать великих произведений... идет всеобщее измельчание и тем и талантов, и авторов и героев...»

Стенографический отчет о съезде был издан (я читал его с «агромным» интересом) и тут же отправлен в спецхран и понятно почему: возникали при чтении нежелательные мысли и ассоциации.

А потом с ярким докладом выступил на съезде Максим Горький, главный организатор и вдохновитель писательского форума. Он сказал:

«Мы вступаем в эпоху всеобщего одичания, озверения и отчаяния буржуазии, отчаяния в своем освещении ее идеологического бессилия, ее социального банкротства, в эпоху провала всех кровавых попыток возвратиться путем фашизма к эпохе феодального средневековья. Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм революционного пролетариата, гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, подкупа, от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. Мы выступаем в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина...»

Комментировать выпад насчет «одичания и озверения» Запада нет смысла. По прошествии лет наглядно видно, где мы и где они, и где больше всяких «уродств». Лучше отметим, что главными героями съезда стали две фигуры: Сталин и Горький. Вождю, «дорогому и родному Иосифу Виссарионовичу» послали подобострастное письмо, в котором было обещание: «Мы будем бороться за то, чтобы наше искусство стало верным и метким оружием в руках рабочего класса и у нас и за рубежом». Неоднократно делегаты съезда пели осанну и Алексею Максимовичу, кто-то простодушно назвал его «Сталиным

советской литературы». Подобному сравнению Горький испугался не на шутку и пробормотал растерянно в усы: «Эт-то нельзя-с... Эт-то не хорошо-с...»

Горький с трибуны предложил собравшимся помечтать о будущих пятидесяти гениальных писателях. Потом понял, что это утопия и уточнил: наметим пять гениальных и сорок пять очень талантливых. Зал Колонного загудел, каждый подумал, что в горьковский список попадет именно он. Любопытно, что Горький в своем выступлении вспомнил про Достоевского. С одной стороны, отдал ему должное, сказав, что его талант равен, может быть, только Шекспиру. А, с другой стороны, выразил неприятие Достоевского как личности, что, де, он ходит в роли «судьи мира и людей» и при этом его легко представить в роли средневекового инквизитора. Досталось Достоевскому и от Виктора Шкловского: «Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника». Короче, долой Достоевского! Заклеймили и писательницу Лидию Чарскую, эту «пошлую романтическую институтку», которая отравляет детей «сифилисом милитаристских и казарменно-патриотических чувств» (как вам нравится слог обвинений?).

И далее на съезде

21 августа, выступая на съезде, Леонид Леонов заявил: «Нам дано удивительное счастье жить в самый героический период мировой истории. На наших глазах будут образовываться все новые советские республики... будут создаваться все более совершенные формы человеческого общения... Наш век – это утро новой эры».

И этому «утру» верили – такова была сила тогдашнего писательского слова. Сознательно или нет, советские писатели отравили народ надеждой, посулив им светлое безмятежное будущее. Они умело подыгрывали власти. И вот уже старейший писатель Александр Ширван-Заде радостно заявил: «Не старею я потому, что живу при советской власти».

Апофеозом на съезде прозвучали слова Леонида Соболева, сказанные им 22 августа: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно – право плохо писать».

В дискуссии о том, как надо писать и о чем, приняли участие представители трудящихся от заводов, фабрик, колхозов, институтов и разных общественных организаций. И все требовали книг из своей области: железнодорожники – о работе транспорта, военные – о Красной армии, металлурги – о проблемах

металлургии, шахтеры – о добыче угля и т.д. Доярка Лазарева из Каширского района Московской области заверяла участников съезда: «Мы, доярки, обещаем вам бороться за социалистическое животноводство, а вы давайте больше книг, чтобы на них мы учились, как бороться и как побеждать».

Другая колхозница, Чабан, упрекнула писателей: «Товарищи, не в обиду будет сказано, но женщина у нас в литературе не показана той женщиной, какой она сейчас на самом деле есть (голоса с мест: «Правильно!»). Мы просим вас показать таких женщин, которые собственными руками надаивают 22 тонны молока. Просим вас показать таких женщин, которые работают день и ночь на молотилке. Мы просим вас показать таких женщин, которые лучше мужчин справляются с мешками при отвозке хлеба...»

Досталось на съезде от колхозниц и Михаилу Шолохову, которого обвинили, что он в «Поднятой целине» представил свою Лукерью, «которая все время ласкается к мужу», а надо было показать ее исключительно как «ударницу колхозного производства». Любопытно, как этот наказ 70-летней давности отражен сегодня на страницах любовных романов, где женщины только и думают о сексе, да и мужчины тоже. «Он принялся ее целовать. А целовать было много – она вся!» (это современная цитата).

Представитель Осоавиахима (была такая организация) выразил твердое пожелание, чтобы каждый советский писатель умел стрелять. «А многие ли из вас умеют стрелять? Ворошиловский значок – это значок советского писателя... А когда и советский писатель будет владеть винтовкой на все сто, тогда уже никто нас не укусит, тогда нашу родину никто не съест...»

24 августа Карл Радек выступил с докладом о современной мировой литературе и задачах пролетарского искусства. Много места он уделил фашизму и Гитлеру. «Фашисты требуют от писателя: «Ты нарисуй нам такую картину, которая покажет, как при фашизме все люди идут вперед, растут и благоденствуют».

Этот пассаж Радека все восприняли нормально, никому в голову тогда не пришло, что Гитлер и Сталин действуют одними и теми же методами, что для того и другого главным врагом является буржуазная демократия. Через пять лет, в 1939-м, будет заключен пакт о ненападении, с тайным договором выдавать друг другу (Сталин – Гитлеру, Гитлер – Сталину) демократов, инакомыслящих и мыслящих вообще. Но это уже другая тема...

Рассуждения Радека о загнивании западной литературы с радостью подхватили многие писатели, в частности, Микола

Бажан сказал, что «они (это – Джойс, Марсель Пруст и Дю Гар) не знают радости, в особенности, радости свободного труда.. они не творят, они конвульсируют...»

Покончив с западной литературой, делегаты съезды стали обсуждать проблемы драматургии. Здесь хочется выделить выступление критика Иосифа Юзовского. Он сказал: «Перед вами прекрасное общество, настоящие люди, люди типа Сталина, Молотова, Шмидта, колхозницы Смирновой. Я не говорю о степени гениальности, я говорю об элементах социалистического начала, об элементах «сталинита», которые в них находятся. Так вот соединить таких людей вместе и показать драму. Вот какая задача стоит перед вами!..»

Страсти по поэзии

28 августа о докладом о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР выступил Николай Бухарин. Здесь следует заметить, что поэзия, в отличие от наших дней, тогда, в довоенные годы, была чрезвычайно популярной, и всех интересовал вопрос, кого Бухарин назовет преемником Маяковского. Но Бухарин не спешил с ответом и вначале говорил о «проблеме качества». «Сейчас уже исчерпала себя полоса, когда можно было идти под полуироническим лозунгом: «Хоть сопливенькие, да свои». Нам нужно иметь сейчас смелость и дерзание выставлять настоящие, мировые критерии для нашего искусства и поэтического творчества, – наставлял Бухарин. – Мы должны догнать и обогнать Европу и Америку и по мастерству. На это мы должны претендовать...»

А далее Бухарин отметил: «Жестокая некультурность провинции еще царит у нас. Наша поэзия еще не поднялась до понимания всего смысла нашей эпохи...»

Эта критика не понравилась многим делегатам, а «назначение» первым поэтом Бориса Пастернака и вовсе вызвало волну негодования. «Творчество Пастернака – неподходящая точка ориентации для роста большой группы наших поэтов, являющихся людьми другой социальной биографии, другого видения мира», – протестовал Алексей Сурков. Семен Кирсанов заклеймил попытку Бухарина «увести поэзию с боевых позиций участия в действительности, участия в классовой борьбе, отвести в глубокий тыл».

Против «первоклассного интимного поэта» (выражение Бухарина) яростно протестовал и Демьян Бедный. Он заявил, что ныне нам не нужны ни кузнечики, ни соловьи. Себя он назвал Ильей Муромцем и похвалился своими старыми бивнями.

«Бухарин говорил с точки зрения мировой литературы. Я принадлежу к той группе пролетарских поэтов, которые смотрят на мировую литературу с точки зрения мировой революции», – заявил Демьян Бедный и сорвал аплодисменты.

Бухарин не остался в долгу и дал отповедь всей «фракции обиженных», а в конце ответного слова призвал: «Давайте дружно работать над созданием великой поэзии социализма».

Оживленная дискуссия шла на съезде и по вопросу создания образа положительного героя. Общее мнение выразил Алексей Сурков, который посоветовал поменьше слушать щебетанье лирических птичек, а почаще вечером доставать из дальнего ящика наган, прочищать его и смазывать. И не забывать: враги кругом, во внешнем мире и в самой стране.

Концовка съезда

30 августа продолжали кипеть литературные страсти. В этот день досталось Ивану Бунину, писателю-эмигранту. Его советский коллега Петров-Скиталец, ни капельки не краснея, сделал вывод: «От литературного провала и неудач Бунина спасает только высокая техника...»

А подвел черту всем дискуссиям заведующий отделом культуры и пропаганды ЦК партии Стецкий: «Наша линия – это линия социалистического реализма». Вопросы есть? Вопросов нет!

Предпоследний день, 31 августа был посвящен молодежи. На съезде прозвучали стихи рабочего Метростроя Кострова:

> Так мы живем. Куем и рубим.
> И ненавидим. И поем.
> И учимся. И нежно любим.
> И жизнь большую создаем!

Делегаты простили поэту-рабочему несовершенные строки за его победную уверенность, что «жизнь большую создаем». С интересом было выслушано сообщение мандатной комиссии. Средний возраст делегатов составил 35,5 лет. Национальный состав: из 582 писателей русских было 201, евреев – 113, грузин – 28, украинцев – 25 и т.д.

Первого сентября 1934 года Первый съезд писателей завершил свою работу. Юрий Олеша зачитал приветствие Центральному Комитету, во главе которого «стоит наш друг и учитель, любимый вождь угнетенных всего мира – Сталин». И ключевая фраза: «Последний день нашего съезда – это начало

нашей еще более усиленной работы по созданию искусства социализма». Естественно, последовали бурные аплодисменты.

И заключительное слово Максима Горького: «Вперед и выше – это путь для всех нас, товарищи, это путь, единственно достойный людей нашей страны, нашей эпохи... Дружно, стройно, пламенно – за работу!»

И все засучили рукава...

Зачистка литературного поля

Прозорливый Горький предупредил всех делегатов Первого съезда писателей: «Мы вступаем в эпоху, полную величайшего трагизма...» Главный писатель страны имел в виду трагедию мирового масштаба – предстоящую битву с фашизмом. И, действительно, через пять лет день в день, 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу, и это стало началом Второй мировой войны.

Но Максим Горький вряд ли думал, что величайшая трагедия разразится и в собственной стране, что через три года грянет 37-й и начнется отсчет времени Большого террора, который коснется очень многих делегатов писательского съезда.

Мы вспоминаем 37-й как год Большого террора, но он начался раньше, с убийства Сергея Кирова, которое произошло через 4 месяца после закрытия съезда писателей 1 декабря 1934 года. Загадочное убийство Кирова (бытовое или политическое?) повлекло за собой судебные процессы и просто расправы против оппозиционно настроенных людей. По одному из процессов проходил и докладчик на съезде писателей Николай Иванович Бухарин, любимец партии, «Бухарчик». Его расстреляли без всякого милосердия. Так же погиб и другой докладчик на съезде, репрессированный Карл Радек.

18 июня 1936 года ушел из жизни Максим Горький и снова вопросы: умер естественной смертью или отравили? Последние два года создатель Союза писателей провел, по существу, в золоченой клетке под присмотром НКВД, оторванный от коллег-писателей и от реальной жизни. Это была не единственная писательская потеря» Не стало и Леонида Добычина, оригинального, самобытного писателя. Появившаяся 28 января 1936 года статья в «Правде» «Сумбур вместо музыки» назвала Добычина «формалистом», а следовательно, человеком, игнорирующим метод социалистического реализма. И Добычин таинственным образом исчез. Погиб. Без всякого суда и следствия.

В ночь на 27 октября 1936 года был арестован Владимир

Нарбут и этапирован в Магадан, где и растворился в лагерной пыли через несколько лет. Владимир Нарбут – поэт, журналист, организатор культуры. Именно он основал и руководил крупнейшим издательством «Земля и фабрика», создал несколько популярных журналов: «30 дней», «Вокруг света», «Всемирный следопыт» и другие.

Ну, а затем настал 1937 год и пошла зачистка литературного поля «всерьез и надолго». Одной из первых жертв пал Артем Веселый, автор романа «Россия, кровью умытая». Репрессиям с последующей ликвидацией подверглись певцы деревни Сергей Клычков и Николай Клюев. Последний когда-то приветствовал приход революции и восторженно писал:

Как буря, без оглядки,
Мы старый мир сметем,
Знамен палящих складки
До солнца доплеснем!

Впоследствии Клюев прозрел и написал несколько вещей – «Плач по Есенину» и поэму «Погорельщина» – которые пришлись не по вкусу новой власти.

В список жертв 1937 года попали: яркий и буйный поэт Павел Васильев, прозаик и драматург Иван Катаев, писатель Николай Зарудин, поэт Николай Олейников... Одного из теоретиков ЛЕФа, поэта и переводчика Сергея Третьякова, арестовали в Кремлевской больнице, где он находился на лечении. В октябре 37-го арестовали Бориса Пильняка, крупнейшего писателя «эпохи революции», а в апреле 38-го его поставили к стенке. Так же был уничтожен поэт, прозаик и драматург Бруно Ясенский (его арестовали 31 июля). Примечательно, как заблуждался Бруно Ясенский, когда на писательском съезде декларировал, что «детектив есть низший жанр, используемый буржуазией для одурачивания рабочего класса и отвлечения его внимания от насущных задач политической борьбы». Но Бруно Ясенского «взяли» не за высказывание о детективе, а за инкриминируемый ему шпионаж. Разумеется, впоследствии признали, как и всех остальных репрессированных, невиновным и реабилитировали посмертно. Экая милость!..

В 1937 году повторному аресту подвергся Варлам Шаламов, а в 1943 году он получил свой третий срок.

На заброшенных гробницах
Высекали письмена.
Запишу на память птицам

Даты, сроки, имена...

Эти строки Варлама Шаламова просятся в эпиграф литературного мартиролога.

1938 год. Подверглись аресту и далее погибли пролетарский поэт Алексей Гастев (он писал: «Я люблю тебя, рокот железный, Стали и камня торжественный звон...»), Владимир Киршон, драматург, автор пьес «Рельсы гудят» и «Чудесный сплав» о человеке труда. Еще Киршон известен песней: «Я спросил у ясеня...» Помните, такую щемящую песню из фильма «Ирония судьбы»? Так что€ спрашивать – почему и за что расстреляли талантливого 36-летнего писателя? Кто ответит?

Пускали в расход самых молодых и талантливых, в 30, 40, 50 лет. В том же 1938-м погиб поэт Борис Корнилов. Слова его песни (музыка Шостаковича) из кинофильма «Встречный» облетели весь Союз:

Нас утро встречает прохладой.
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?..

Не услышали «пенья гудка» поэт и прозаик Иван Касаткин, поэт Серебряного века Бенедикт Лившиц и еще один поэт, Петр Орешин. В ночь с 1 на 2 мая 1938 года был повторно арестован Осип Мандельштам, и на этот раз «век-волкодав» задушил его в своих объятиях. 12 декабря 1938 года подвергся аресту журналист № 1 Михаил Кольцов – и не стало Кольцова... В 1938 году арестовали Николая Заболоцкого, но он, правда, уцелел и выжил, вернулся из лагеря и ссылки с подорванным здоровьем. И потом вспоминал:

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед...

И метафора Заболоцкого: «Месяц окровавленный плывет...»

В 1939 году арестовали Исаака Бабеля. Погиб не только сам писатель, но и пропали изъятые при аресте его заметки, наброски, архив. Бабель предчувствовал свой конец и записывал в дневнике: «Почему у меня непроходящая тоска? Разлетается

жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде...»

А кто-то из нынешних продолжает талдычить, какие это были замечательные радостные 30-е годы. Для кого как... Палачам было явно веселее, чем жертвам. Но ужас был в том, что вскоре палачи становились жертвами.

1941 год. Зачистка продолжается. Ликвидировали Даниила Хармса и Александра Введенского.

Кого-то просто убивали. Кого-то травили и отнимали право писать, достаточно вспомнить судьбу Михаила Булгакова, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Михаила Зощенко, Юрия Олеши, Николая Эрдмана, Бориса Пастернака, Илью Эренбурга и многих других.

Веселое литературное время. И, как пел Александр Галич:

Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть – в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!

После Первого всесоюзного съезда советских писателей так и писали в основном, молча, и Сталинские-Ленинские премии получали. И величали себя современными классиками. Где они ныне? Кто их читает? И вообще, где современная литература? Ее тоже нет. Есть авторы. Есть книги. Но нет литературы Большого Стиля, о котором так пеклись власть и ее глашатаи, да и бедный Алексей Максимович Горький.

Съезд больших надежд закончился большим разочарованием, если не сказать крахом.

И аминь.

КАК УБИВАЛИ ЗОЩЕНКО И ТРАВИЛИ АХМАТОВУ

Сегодня о литературе не говорят. О писателях почти не вспоминают. Власть книгами не интересуется. Есть нефть, газ, недвижимость – это более весомо, престижно и денежно. Эти лакомые куски делят. Пилят. Распределяют. Рассовывают прибыли по карманам. А литература? Это даже не бедная золушка, а какая-то несчастная бомжиха. Не сегодня-завтра зачистят. Останутся лишь Интернет да мобильные телефоны с SMS-ками: «Вань, я купила пиво». А когда-то!.. В славные советские времена литература была грозным идеологическим оружием, вокруг которого кипели шекспировские страсти и разыгрывались писательские трагедии. Так, в августе 1946 года произошла очередная литературная катастрофа: вышло постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Старшее поколение наверняка его помнит (и от ужаса содрогается), а молодым следует напомнить в назидание, как жили их предки и что приходилось им испытывать.

Постановление ЦК было принято 14 августа. Первое сообщение о нем в печати появилось 20 августа. 21 августа – в главной газете страны – в «Правде». 4 сентября состоялось заседание президиума Союза писателей по поводу постановления ЦК. И понеслось!

А началась эта вакханалия 7 августа, а до этого, наверное, тайно вызревала в кремлевских коридорах. В итоге группу ленинградских писателей (Саянов, Прокофьев, Лихарев, Капица, Левоневский, Никитин, – господи, кто помнит сейчас эти имена?!) вызвали срочно в Москву. Дмитрий Левоневский вспоминал: «7 августа мы проходим бюро пропусков ЦК. Поднимаемся в отдел агитации и пропаганды. Короткая встреча с Ждановым и Александровым. Получаем подтверждение, что предстоит обсуждение работы ленинградских журналов. Никаких подробностей. Лица спрашивающих непроницаемы. Одна реплика Александрова звучит в нашем сознании тревожно: «Просьба из гостиницы «Москва» никуда не уходить. На заседание вас вызовут... По телефону не разговаривать. Ни кого из московских писателей не приглашать. Ни с кем в контакты не вступать». Уходим из здания ЦК ошарашенные...»

Ну, как детали? В них всегда скрывался партийный дьявол!..

9 августа состоялось заседание оргбюро ЦК ВКП(б). На нем решался вопрос о ленинградских журналах, еще театральные

вопросы, вопросы о репертуаре и еще 2 – 3 вопроса. Сохранилась стенограмма воспоминаний Всеволода Вишневского: «Ровно в 8 заседание началось на 5 этаже в Мраморном зале… Сталин был не в военной форме … Он бросал много реплик. Я по своей привычке записывал, так как считаю, что каждое слово, которое сказал товарищ Сталин, для нас важно и ценно».

Далее Вишневский скрупулезно записал сталинские высказывания о Зощенко. О его рассказе «Приключения обезьяны»: «Рассказ ничего ни уму, ни сердцу не дает. Был хороший журнал «Звезда». Зачем теперь даете место балагану?..» О другом журнале: «Появлялись у вас в «Ленинграде» замечательные вещи, бриллианты, но почему теперь нет? Что, материала мало?..» О Зощенко: «Человек войны не заметил. Накала войны не заметил. Он ни одного слова не сказал на эту тему… Почему я недолюбливаю Зощенко? Зощенко – проповедник безыдейности… и советский народ не потерпит, чтобы отравляли сознание молодежи… Не обществу перестраиваться по Зощенко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям».

«А Анна Ахматова? Что у Анны Ахматовой можно найти? Одно, три стихотворения… У нас журналы не частные предприятия… Наш журнал – журнал народа. Он не должен приспосабливаться к Ахматовой. Нам надо воспитывать новое, бодрое поколение, способное к преодолению любых трудностей…»

Вождь дал команду «фас!» И первым оскалил зубы драматург Всеволод Вишневский. Уже на следующий день, 10 августа, в газете «Культура и жизнь» появилfсь его статья «Вредный рассказ Мих.Зощенко». Встречаясь с американскими журналистами, в том же августе, Вишневский говорил: «Толкуют о Зощенко… Кто он такой? Офицер царской армии, человек, который перепробовал ряд профессий, без удач и толка и начавший в 1922 году писать сатирические рассказы… Они в ту пору били мещан, обывателей… Но потом в стране произошли грандиозные изменения. Страна в 9 раз удвоила свой индустриальный потенциал!.. А Зощенко, замкнутый, угрюмый, стареющий, всё продолжал писать свои сатиры… Это надоело… Это раздражало…»

Но это частное высказывание, вдохновленное решением сверху. А постановление ЦК уже расставило все точки над i. Советскую литературу мгновенно подморозили и отбросили назад. Находящемуся в Париже Илье Эренбургу Николай Тихонов рассказывал, как Сталин заявил, что Ахматова и Зощенко – «враги». Жданов выступил в Ленинграде перед писателями. Он говорил о Зощенко: «пошляк», «пакостничество и ерничество»,

«пасквилянт», «бессовестный литературный хулиган». Об Ахматовой: «поэзия взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и молельной». «Удивительно было многое...» – отмечал Эренбург в своих мемуарах «Люди. Годы. Жизнь».

Сегодня мы знаем больше, чем знали тогда. Постановление о литературе имело отнюдь не литературную подоплеку, а политическую, и отражало аппаратную интригу: технократов-прагматиков (Берия, Маленков) против ленинградцев-русофилов (Жданов, Кузнецов, Вознесенский). Жданов был поставлен в такое положение, что был вынужден не только рявкнуть на писателей и на всю интеллигенцию, но и нанести удар по своим. После чего началась адская кампания против «раболепствующих перед Западом антипатриотов», то бишь космополитов.

Примечательно, что ошельмованные Ахматова и Зощенко в некотором смысле попали под удар случайно: нужны были знаковые имена, а они под литературные репрессии подходили почти идеально. Имена, а не жизни. Их не арестовали, не сослали, не расстреляли. Просто отлучили на некоторое время от литературы. Ахматова выдержала удар, не сломалась. А вот Зощенко сломался, что и привело его к ранней смерти.

Михаил Зощенко никак не мог понять, почему его пинали ногами и власть, и коллеги. Он спросил могущественного Фадеева, в чем дело, тот ответил: «На тебя обиделся сам хозяин: писать надо непременно ему». И Зощенко написал письмо Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Я никогда не был антисоветским человеком...» И в конце письма: «Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас».

Спасая мужа, и Вера Зощенко обратилась к Сталину с пространным письмом:

«Цель моего письма – чтоб Вы поверили, что Михаил Зощенко никогда не был и не мог быть антисоветским человеком, пошляком и грязным пасквилянтом, что дело всех честных советских людей – и его дело, в котором он кровно заинтересован, что он всегда думал, что своим трудом приносит пользу и радость советскому народу, что не с злорадством и злопыхательством изображал он темные стороны нашей жизни, а с единственной целью – обличить, заклеймить и исправить их.

Цель моего письма – чтобы Вы, кого я так высоко ставлю, мнением кого дорожу, как святыней, знали правду.

Я ничего не прошу, потому что просить нечего...»

Письма не помогли. Вполне возможно, что вождь даже не удосужился их прочитать. А тем временем пункт постановления

ЦК «прекратить доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных» начал активно осуществляться. Кислород был перекрыт.

«Мне теперь почти никто не звонит, – говорил Зощенко Леониду Утесову, – а когда я встречаю знакомых на улице, некоторые из них, проходя мимо меня, разглядывают вывески на Невском так внимательно, будто видят их впервые». Один из таких знакомых с криком: «Миша, не погуби!» – перебежал от Зощенко на другую сторону тротуара. Печататься было почти невозможно, и Зощенко приходилось заниматься поденной работой – переводами, правкой, чтобы не умереть с голода. Он, кстати, блистательно перевел повести финского писателя Майю Лассила – «За спичками» и «Воскресший из мертвых». В одном из писем (ноябрь 1950) Зощенко писал: «...я теперь стал настоящим переводчиком... Фамилию мою поставили в книге столь мелкой печатью, что не сразу можно отыскать. Но под старость я вовсе растерял остатки честолюбия...»

Из письма к Федину: «Выхожу из четырехлетней беды с немалым уроном – «имение разорено и мужики разбежались». Так что приходится начинать сызнова. А за эти годы чертовски постарел и характер изменился к худшему, – как видишь – стал даже просить денег, чего ранее не бывало...»

Сталин умер 5 марта 1953 года, а в июне того же года Зощенко вновь приняли в Союз писателей. В начале 1958 года Зощенко писал Корнею Чуковскому: «С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием. Эта пенсия (думается мне) предохранит меня от многих огорчений и даст, быть может, профессиональную уверенность...» И далее с горьким вздохом: «Писатель с перепуганной душой – это уже потеря квалификации...»

«Последний раз я его видел в апреле 1958 года, – вспоминал Корней Чуковский. – Он приехал совершенно разрушенный, с потухшими глазами, с остановившимся взором. Говорил медленно, тусклым голосом, с долгими паузами... Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях. Он только махнул рукой: «Мои сочинения? Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения...»

22 июля 1958 года Михаил Зощенко умер, не дожив всего лишь неделю до 63 лет. «Гражданскую панихиду провели на рысях. Союзное начальство «сдрейфило» – как выразился писатель Пантелеев. Хоронили Михаила Михайловича в Сестрорецке. Хлопотали о Литературных Мостках – не разрешили. Короче, сгубили классика русской литературы. Не

поставили к стенке, но убили иным способом. И остается только вспомнить строки из одного рассказа Зощенко:

«Рисуется замечательная жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности. И мягкость нравов. И любовь к близким. И отсутствие брани и грубости...» («Страдание молодого Вертера», 1933).

А теперь вспомним Анну Андреевну Ахматову. В августовском постановлении ЦК 1946 года о ней сказано: «Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетизма и декадентства, – «искусства для искусства», не желающего идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимыми в советской литературе».

Вот так, наотмашь.

«Вещунья, свидетельница, плакальщица», – называл Ахматову Сергей Аверинцев. Она в 1917 году пророчески писала:

Теперь никто не станет
слушать песен.
Предсказанные наступили дни.
Моя последняя,
мир больше не чудесен,
разрывай мне сердце, не звени.

Еще недавно ласточкой свободной
Свершала ты свой утренний полет,
А ныне станешь нищенкой голодной,
Не достучишься у чужих ворот.

Чужие ворота – это тюрьма, куда был посажен во времена сталинских репрессий сын Анны Ахматовой (Лев Гумилев). Он стал заложником, и она вместе с народом испила горькую чащу страданий и слез.

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

«Черные маруси» – это машины, которые ночами приезжали за жертвами, чтобы их арестовать, ну, а дальше – кому какой выпадал жребий. В августе 1954-го из Прокуратуры СССР пришел ответ на очередное ходатайство Анны Андреевны: «...для пересмотра приговора Льву Гумилеву нет никаких оснований». И точка. Так что литературное постановление ЦК для Ахматовой стало всего лишь очередным пинком власти. «В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,/ Везде, где просыпаться надлежит /Таким, как я...» – писала Ахматова в одном из стихотворений 1955 года.

Вернемся к началу нашего рассказа. 1946-й – первый мирный послевоенный год. В апреле Ахматову пригласили в Москву. Она выступала в Колонном зале Дома союзов. Москва и вся страна была воодушевлена надеждами. Осенью обещали отменить карточную систему. А в августе грянул гром... Предназначенный к выходу в свет сборник Ахматовой «Избранное» не вышел. И лишь 12 лет спустя, в декабре 1958 года был подписан к печати тоненький вишневый сборничек стихотворений Анны Андреевны – 127 страничек, из них почти половина – переводы. Да еще со списком опечаток: напечатано «мрагные» – читать «мрачные».

В отличие от Михаила Зощенко, Анна Ахматова мужественно перенесла все злоключения судьбы, а их было немало.

А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

Это было написано до 1946 года и, как всегда, пророчески точно. Недаром Анну Андреевну звали Кассандрой.

Постепенно тучи рассеялись, и на поэтическом горизонте вновь ярко засияла звезда Анны Ахматовой. Ну, а кто теперь помнит грозы и молнии Андрея Жданова, этого сталинского сатрапа? Пожалуй, только историки. А Ахматову знают все. Она – царица Анна Российская.

И все же, все же... В автобиографической прозе Ахматовой можно прочитать: «Теперь, когда всё позади – даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, всё как-то,

почти мучительно проясняется – (как в первые осенние дни), люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств возникает при этом...»

Выходит: мужество – мужеством, а горечь – горечью.

НОЧЬ УБИТЫХ ПОЭТОВ

Много лет минуло с «ночи убитых поэтов» – так назвали на Западе день 12 августа 1952 года. С тех пор многое что произошло: потоки крови не исчезают. И тем не менее историческая память должна быть вечно живой, иначе возможны роковые повторения.

В Советском Союзе проходили различные судебные процессы: кого только не судили – военных и гражданских, мужчин и женщин, наркомов и рабочих, партийцев и беспартийных. «Враги народа» находились всюду. И вот очередь дошла до евреев. Антисемитизм Сталина известен всем (он даже дочери Светлане Аллилуевой влепил пощечину, когда она посмела влюбиться в юношу еврейской национальности). А 8 мая 1952 года был начат процесс по обвинению евреев под идеологическим прикрытием. Их обвинили в космополитизме, а, стало быть, в измене родине, мол, откровенно симпатизируют Западу, восхищаются его достижениями и т.д. Космополит – это враг.

Дело о космополитах намечали провести с большим размахом. Вначале предполагалось осудить десятки славных людей, которыми гордился советский народ, среди них были Илья Эренбург, Самуил Маршак, Василий Гроссман, Борис Слуцкий, Матвей Блантер (автор песни о Сталине: «На просторах родины чудесной...»). Всего 213 человек. Но затем, по каким-то неизвестным причинам (вряд ли одумались, просто, наверное, немного отложили это «черное дело») сузили число обвиняемых до 14 человек и расстреляли без особого промедления в ночь на 12 августа 1952 года.

В этом печальном списке числились три поэта – Перец Маркиш, Ицик Фефер, Давид Бергельсон, причем последнего расстреляли аккурат в день, когда ему исполнилось 68 лет – свинцовая пуля в подарок!.. В одном из стихотворений Ицик Фефер писал:

В дни обнаженные, в ночи тревожные
Можно ли счастья желать невозможного?
Я же стою у ворот
Целую ночь напролет —
Может быть, всё же придет!..

Философский вопрос, что понимать под счастьем? Если творчество, самовыражение и любовь читателей, то – да, Фефер

был счастливым человеком. А если принять во внимание немилость и гнев власти, то… В годы Великой Отечественной войны Фефер и Михоэлс как члены Еврейского антифашистского комитета ездили в Америку и собрали там миллионы долларов на помощь Красной армии, на строительство и оборудование госпиталей, детских домов и на прочие нужды страны, и вот ответная благодарность: расстрел. И никакая позднейшая реабилитация с грифом «невиновен» не реабилитирует злодеяние власти.

Как и Ицик Фефер, Перец Маркиш тоже был заслуженным человеком и выдающимся поэтом. 1 февраля 1949 года Переца Маркиша наградили высшим орденом страны – орденом Ленина. А спустя три года поставили к стенке. Обычное иезуитство сталинской эпохи. «Штурем тег» («Бурные дни») – так называется один из сборников рассказов Давида Бергельсона.

Но поэтами список жертв не ограничился. Под расстрел подвели дипломата Соломона Лозовского, народного артиста РСФСР Вениамина Зускина (партнера Михоэлса по сцене, веселого и печального лирика), главного врача Боткинской больницы Бориса Шимелиовича, научного сотрудника Института истории Иосифа Юзефовича, журналиста Леона Тальми, редактора Госиздата Илью Витенберга. Не пощадили и двух женщин: Эмилию Теумин, заместителя редактора Дипломатического словаря, и Чайку Витенберг-Островскую, переводчицу Еврейского антифашистского комитета. Женщин, мужчин, поэтов, врачей, дипломатов – всех без разбору. Как писал поэт Анатолий Жигулин, побывавший не по своей воле на Колыме:

Его приговорили к высшей мере.
А он писал, а он писал стихи.
Еще кассационных две недели,
И нет минут для прочей чепухи.
Врач говорил, что он, наверно, спятил.
Он до утра по камере шагал.
И старый, видно, добрый надзиратель,
Закрыв окошко, тяжело вздыхал…

Расстрелянных забыли. А в памяти остался «старый, добрый надзиратель», который «тяжело вздыхал». И старая песня о том, что «Сталин – наша слава боевая,/ Сталин – нашей юности полет!..»

Нет, этого забыть никак нельзя. В исторической памяти трепещет «ночь убитых поэтов». А кто-то из бывалых повторяет

молитву тех далеких лет:

Прости меня, грешного!
Избавь от порядка здешнего,
От этапа дальнего,
От изолятора центрального,
От института Сербского
И от дурмана зверского,
От моря Охотского,
От конвоя вологодского,
От хозяина-беса,
От пайки малого века!
О, Господи!
Спаси во веки веков
От прокуроров
И народных судов!
Аминь.

ОДИНОКИЙ ВОЛК ОКТЯБРЯ

Борис Пильняк

В рассказе «Расплеснутое море» (1924) Борис Пильняк признавался: «Мне выпала горькая слава быть человеком, который лезет на рожон. И еще горькая слава мне выпала – долг мой – быть русским писателем и быть чейстным с собой и Россией».

Он и имел горькую славу. Был честен. И лез на рожон, за что и поплатился своей жизнью. Но обо всем по порядку.

Борис Андреевич Пильняк (настоящая фамилия Вогау – его отец из немцев-колонистов Поволжья) родился 29 сентября (11 октября) 1894 года в Можайске. Окончил коммерческий институт. Писать начал рано – в 9 лет. Однако началом своей литературной деятельности писатель считал 1915 год, когда в журналах и альманахах появились его первые рассказы под псевдонимом Б. Пильняк. Первая книга «С последним пароходом» вышла в 1918 году. Считал себя учеником Алексея Ремизова («Мастер, у которого я был подмастерьем»).

Писательский взлет Пильняка пришелся на революцию, которая дала новые темы и новую авангардную манеру письма (ритм, динамика, осколочность и эскизность текста). Недаром

Пильняк однажды высказался по поводу Максима Горького: «Хороший человек, но – как писатель устарел». Широкую известность принес Пильняку роман «Голый год» (1921). Маститый критик Вячеслав Полонский писал: «Вряд ли другой советский писатель вызывал одновременно столь противоречивые оценки, как Пильняк. Одни считают его не только писателем эпохи революции, но и революционным писателем. Другие, напротив, убеждены, что именно реакция водит его рукой. В таланте Пильняка мало кто сомневался. Но его революционность возбуждала большие сомнения».

Николай Тихонов с завистью написал о Пильняке: «Верховодил в литературе… занял место первого трубача революции своими романами». Нет, никаким трубачом Пильняк не был. Он был писателем-аналитиком и пытался разобраться в политических и социальных процессах, происходящих в новой России. Он не «слушал музыку революции», он ее анатомировал и поэтому пристально присматривался к большевикам, «кожаным курткам», – кто такие и откуда (это уже потом Булат Окуджава придумал другое определение – «комиссары в пыльных шлемах»).

«В исполкоме собирались – знамение времени – кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) – и каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках губ, в движениях утюжных – в дерзании. Из русской рыхлой корявой народности – лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, – тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологий, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и – баста!» («Голый год»).

В этом своевольном, ницшеанском «баста!» никакой апологетики, никакого восхищения, а выражение сути «кожаных курток».

В книге «Отрывки из дневника» (1924) Пильняк открыто декларирует: «Я не …. коммунист, и потому не признаю, что я должен быть коммунистом и писать по-коммунистически, – и признаю, что коммунистическая власть в России определена – не волей коммунистов, а историческими судьбами России, и, поскольку я хочу проследить (как умею и как совесть моя и ум мне подсказывают) эти российские исторические судьбы, я с коммунистами, т.е. поскольку коммунисты с Россией, постольку я с ними признаю, что мне судьбы Р.К.П. гораздо меньше интересны, чем судьбы России…»

В связи с заявленной Пильняком своей внеидеологичности он был причислен критиками к группе «попутчиков», временных союзников революции. Его действительно мало волновали всякие

идеологемы, он был просто русским писателем, таким как Чехов, Борис Зайцев, Бунин, но без этих мотивов печали и пессимизма. Пильняк был более оптимистичным и светлым в восприятии жизни. Хотя в своем знаменитом романе «Машины и волки» (1924) он достаточно мрачен и пишет о волчьей России, что «вся наша революция стихийна, как волк», что дало повод современникам сказать, что, по Пильняку выходит, что главный герой Октября – это волк. Тут следует отметить, что образ волка, который олицетворяет, с одной стороны, жестокость по отношению к своим жертвам, а с другой – он сам является жертвой (известная формула: палачи и жертвы), привлекал внимание не одного Бориса Пильняка. К теме волка обращались и Есенин, и Мандельштам, и Высоцкий («Идет охота на волков...»).

В том же романе «Машины и волки» Пильняк впал в некоторое романтическое преувеличение индустриальной мощи, ему казалось, что есть особая «машинная правда», которая позволит уйти «от той волчьей, суглинковой, дикой, мужичьей Руси и Расеи – к России и к миру, строгому, как дизель... Заменить машиной человека и так построить справедливость».

Увы, торжество машин не есть торжество человечности.

Пильняк, в отличие от многих советских писателей, поездил по белу свету и ясно видел положение вещей, что есть Запад, что есть Восток и что есть Россия, «огромная земля многих народов, ушедших в справедливость». По крайней мере, так ему хотелось думать. Россия движется в сторону правды и справедливости.

В 1922 году Пильняк побывал в Германии. В дневнике Корнея Чуковского от 29 сентября можно прочитать: «Вчера был у Анненкова – он писал Пильняка. Пильняку лет 35, лицо длинное, немецкого колониста. Он трезв, но язык у него неповоротлив, как у пьяного. Когда говорит много, бормочет невнятно. Но глаза хитрые – и даже в пьяном виде, пронзительные. Он вообще жох... Со всякими кожаными куртками он шатается по разным «Бристолям», и они подписывают ему нужные бумажки. Он вообще чувствует себя победителем жизни – умнейшим и пройдошливейшим человеком...»

То, что легко удавалось Пильняку, никак не удавалось Корнею Ивановичу, отсюда и его едкие иронизмы.

Еще одна запись из дневника Чуковского от 1933 года: «Был на лекции Пильняка 22/XI. Пильняк объявил по всему городу, что будет читать «Америка и Япония». Теперь, ввиду признания Америкой СССР, Америка тема жгучая, Япония тоже. Народу сбежалось множество, а он вышел на эстраду и стал рассказывать о Японии трюизмы, давно известные из газет: вулканы, землетрясения, кимоно, гейши, самураи. Публика негодовала...

он не сказал ни слова об Америке...»

Об Америке Пильняк высказался в серии американских очерков «О'кэй», в которых он отмечал, что «ныне СССР и USA играют в шахматы сегодняшнего человечества». Эта шахматная партия двух сильнейших ядерных государств продолжается и сегодня: а кто самый сильный?!..

Пильняк был плодовитым писателем: был издан сначала шеститомник его произведений, в 1929 – 1930 годах – собрание сочинений в 8 томах. Одна из повестей – «Красное дерево» вызвала шквал критики, и появился термин «пильняковщина». В ней писатель утверждал, что не Россия для коммунистов, а коммунисты должны действовать ради России. В «Повести непогашенной луны» (1926) выдвинул версию о том, что Михаил Фрунзе был умерщвлен по приказу сверху, что вызвало возмущение очень многих: опять Пильняк лезет на рожон!

В повести «Мать-мачеха» один из персонажей говорит: «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает, – ложь повсюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все: и коммунисты, и буржуа, и рабочий, и даже враги революции, вся нация русская. Что это – массовый психоз, болезнь, слепота?..»

Вернувшись из Германии в 1922 году, Пильняк писал в одном из частных писем: «Я люблю русскую культуру, русскую – пусть нелепую – историю, ее самобытность, ее несуразность... ее тупички, – люблю нашу мусоргщину. Я был за границей, видел эмиграцию, видел ту-земщину. И я знаю, что русская революция – это то, где надо брать вместе всё, и коммунизм, и эсеровщину, и белогвардейщину, и монарховщину: всё это главы русской революции... И еще: я хочу в революции быть историком, я хочу быть безразличным зрителем и всех любить, я выкинул всяческую политику. Мне чужд коммунизм...»

Борис Пастернак посвятил Борису Пильняку стихи:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

Поэт Пастернак дружил с прозаиком Пильняком. У Пильняка висел в доме портрет Пастернака с надписью: «Другу, дружбой с которым я горжусь».

И еще сделаем маленькое отвлечение. Анна Ахматова рассказывала Лидии Чуковской, что когда Пильняк узнал, что она посвятила одно из стихотворений Пастернаку, он сказал: «А мне?» и Ахматова написала:

...И по тропинке я к тебе иду.
И ты смеешься беззаботным смехом...

Но это было написано в 1933 году после ареста и расстрела Пильняка:

Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага...
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

За два года до ареста, 14 сентября 1935 года, Татьяна Лещенко-Сухомлина записала в дневнике: «Мы были в гостях у Бориса Пильняка. Его жена прелестна. Молоденькая грузинка, сестра Наты Вачнадзе, киноактрисы. Он недавно снова женился!.. Неуемные страсти! Но младенец-сын лежал в кроватке такой хорошенький, а стоящий рядом Пильняк пыжился от гордости... Пильняк потолстел, поважнел, не такой «богема», как был. И вообще многие из тех, с кем мы встречаемся, поражают меня напыщенностью, важниченьем, какой-то фальшивой торжественностью! Конечно, советской культуре всего восемнадцать лет! И в воздухе какое-то вранье...» (по книге «Долгое будущее», М-91).

Вранье, лживый пафос – всё это было. Но был и Большой террор. Пильняка арестовали 28 октября 1937 года в день рождения сына (специально или случайно?). Сын Борис Андроникашвили-Пильняк впоследствии вспоминал обстоятельства того рокового дня:

«День тихо катился к закату. Сели пить чай... В десять часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Пильняк встречался с ним в Японии, где человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность. «Николай Иванович, – сказал он, – срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома». Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны (жены Пильняка. – *Ю.Б.*) при упоминании имени Ежова, он добавил: «Возьмите свою машину, на ней и вернетесь». Он повторил: «Николай Иванович хочет что-то у вас уточнить».

Пильняк кивнул: «Поехали». Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок... но Пильняк узелка не взял. «Он хотел уйти из дому свободным человеком, а не арестантом», – объяснила мне потом мать...»

21 апреля 1938 года последовал расстрел. Борису Пильняку

было всего 43 года. Был человек – и нет человека.

Судьба Пильняка свершилась, а судьба его книг продолжается. Теперь их издают (разумеется, писатель был признан невиновным и реабилитирован посмертно), и читатели поражаются и затейливым движением фабулы, и оригинальным пряным языком, переключением ритма повествования, насыщенной фантасмагорией, сюрреализмом и многим прочим. Стиль Пильняка довольно сложный, и за эту сложность ему немало доставалось при жизни. Его упрекали в заимствованиях, в подражательстве и т.д. Максим Горький отмечал, что Пильняк пишет «мудрено», Эренбург считал, что «вычурно». А вот мнение о Пильняке Сергея Есенина: «Пильняк изумительно талантливый писатель, быть может, немного лишенный дара фабульной фантазии, но зато владеющий самым тонким мастерством слова и походкой настроений».

Сегодня нас с вами, как читателей, абсолютно не интересуют «идейные шатания» Бориса Пильняка, а вот мастерство слова, «походка настроений» – это как раз то, для чего мы и берем книгу с полки.

«Всякая женщина – неиспитая радость...» – читаем в «Голом годе».

«Доктор Павловский хотел послушать мое сердце: я махнул на сердце рукою! Я радостнейше выползал из гирь и резин, надевал в гордости штаны, и завязывал галстук, грелся солнцем, шлепал по плечам японцев, «юроси-гоза-имасил», т.е. объяснял, что очень хорошо!..» (рассказ «Синее море»).

Борис Пильняк – это очень хорошо!

ПРОФЕССОР ПОЭЗИИ

Георгий Шенгели

Бывают поэты с несправедливой, незаслуженной судьбой. Таким является Георгий Шенгели. В статье «Как делать стихи» Маяковский презрительно бросил: «С легкой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической работе как к легкому пустяку...» Владимир Владимирович считал, что он занимается исключительно серьезным делом, как подручный партии, а Шенгели всего лишь пустяками. Можно сказать, что противостояние с Маяковским стоило Шенгели литературной судьбы.

Наследие Шенгели – не «легкий пустяк». Поэт, переводчик, стиховед, один из последних представителей Серебряного века, он оставил большое литературное наследство, которое, увы, до сих не издано, не освоено и ждет своего часа.

Итак, Георгий Аркадьевич Шенгели (его дед по отцу был грузином) родился 20 апреля (2 мая) 1894 года в Темрюке на Кубани в семье адвоката. Рано остался сиротой и воспитывался бабушкой. Учился в Керченской гимназии, а кто в гимназиях тогда не увлекался стихами? – ведь на дворе стоял Серебряный век, и стихи каскадами ниспадали со страниц многочисленных журналов. Увлекся поэзий и Шенгели. Больше всех ему почему-то

приглянулся Валерий Брюсов. «Сошел с ума от поэмы «Искушение»... Переписал ее микроскопическими буквами на листок тончайшей бумаги, зашил в клочок замши и ладонкою надел на шею...» – вспоминал Шенгели.

«Первая Олимпиада российского футуризма» докатилась и до Керчи. Страшно волнуясь, гимназист Георгий Шенгели с тетрадкой своих стихов отправился в гостиницу, где остановились столичные поэты. Его принял и выслушал Игорь Северянин. Пройдет всего лишь три года, и Шенгели выступит на концерте вместе с Северяниным и будет бисировать 14 раз – это произойдет в зале городской думы в Петрограде.

Безводные золотистые барханы
Стремятся в полусожженную неизведанную страну,
Где правят в уединении златолицые богдыханы,
Вдыхая тяжелодымную златоопийскую волну... —

это отрывок из стихотворения «Барханы» (1916). Или другой отрывок: «Зеркальный шар лилового стекла/ Меж яхонтовых гроздий винограда...» Во многих строках угадывается влияние Северянина (господи, все мы начинали с подражаний!).

Первая поэтическая книжка Шенгели, вышедшая в Керчи сразу после окончания гимназии, называлась «Розы на кладбище» (что вы хотите: тогда в моде был эпатаж. А «Танго с коровами» Каменского?..) Молодой поэт переезжает из Керчи в Харьков и поступает на юридический факультет Харьковского университета, где проучится до 1918 года. Но не юриспруденция увлекает Шенгели, а магнитом притягивают поэзия, литература, культура, история. Он целыми днями просиживает в библиотеке (в его стихах мелькают Капитолий, Тибр, Коринф, санскрит, Державин, Пушкин...).

Воспоминания о Шенгели времен Харькова: «Худой, стройный, с матовым, оливкового оттенка, точеным лицом, с глазами большими – не то бедуина, не то индийца, – появлялся этот юноша в просторном читательском зале Харьковской общественной библиотеки... Он ежедневно уносил от стойки к своему столу кипы книг... Он не только читал, он что-то писал, а когда отрывался от тетрадки, смотрел куда-то в пространство, не мигая, сквозь стекла пенсне и, закрыв глаза, неслышно шевелил губами...

Шел 1914 год. Первая мировая война уже началась. В Харькове не было литературных журналов, а харьковские газеты «Южный край» и «Утро» не нуждались в поэте, для которого в ту пору любовь к Верхарну и Эредиа была такой же насущной, как

насущная нужда в куске хлеба...»

Революцию Шенгели встретил одобрительно, ему показалось (в этом он обманулся не один), что она открывает невиданные культурные возможности. И вот Шенгели – председатель Харьковского губернского литературного комитета, комиссар искусств Севастопольского наробраза. Как написал Шенгели в одном из своих сонетов: «Невыпитых вечерних мыслей кубок.../ фантазии за письменным столом,/ Над старою и рваною клеенкой...» И в стихотворении «Поэты» (1917): «Друзья! Мы римляне. Мы истекаем кровью...»

Весной 1922 года Георгий Шенгели переезжает в Москву. Здесь он занимается поэзией всерьез и фундаментально. Он много пишет сам, работает над теорией стихосложения. Он – профессор, законодатель ритмов и рифм. За «Трактат о русском стихе» удостаивается звания действительного члена Государственной академии художественных наук. Его книги – «Раковина», «Норд», «Планер» – отмечены зрелым мастерством, отточенным стилем и изяществом мысли. Шенгели не поддался влиянию агиток Демьяна Бедного и ангажированным политическим лубкам Маяковского, он остался в рамках академической русской поэзии и ее вечных тем. Он создавал философские и лирические стихи, но не чужд был эпиграммам, проявил себя виртуозом стихотворного экспромта. В полемике был остроумен и резок.

Отношения Шенгели с Маяковским не сложились. Маяковский не терпел конкурентов. Каждый соперник по перу был для Маяковского «вроде морковного кофе»: чужие таланты не признавал (кроме, пожалуй, Асеева). И, конечно, его бесил Шенгели с его академическим званием и большими теоретическими разработками. И Маяковский бросил, как перчатку вызова:

> В русском стихе еле-еле
> Разбирается профессор Шенгели.

Шенгели не выдержал этих нападок и написал ответ – работу «Маяковский во весь голос» (1927), в которой объяснял успех Маяковского «колоссальным нахрапом самоутверждения» при отсутствии мыслей и доказывал, что Маяковский – как поэт – «желтый чепчик, натянутый на пустоту». Сплошная «хлестаковщина – в стихах». Такой выпад дорого обошелся Шенгели. После знаменитой сталинской фразы о «талантливейшем поэте советской эпохи» любая критика Маяковского оказывалась вне закона. И, как следствие, перед

Шенгели закрылись двери всех издательств. За последние 17 лет (с 1939 по 1956 год) он не смог напечатать ни одной «оригинальной» строки, только – переводы чужих текстов.

Но могло быть и хуже: примеров более чем достаточно. Надо отдать должное Георгию Аркадьевичу – он не сдался. В переводах нашел свою нишу обитания и выживания и стал одним из ведущих в создании современной школы поэтического перевода. Именно Шенгели привлек к переводам молодых поэтов, ставших впоследствии крупными мастерами: Арсения Тарковского, Семена Липкина, Марию Петровых… С 1933 года Шенгели работал в отделе «Творчество народов СССР» и одновременно в секторе «западных классиков». Сам активно переводил и давал работу другим остро нуждающимся поэтам: Ахматовой, Мандельштаму, Бенедикту Лившицу, Всеволоду Рождественскому. В 30 – 40-е годы художественный перевод был одним из прибежищ подлинной культуры.

В статье «О моей работе», которую можно смело назвать творческим завещанием грядущим поколениям переводчиков, Шенгели отмечал: «И перевел свыше 140.000 строк, – в том числе всего Байрона; почти всего Верхарна; крупный массив Гюго; две трагедии Вольтера; том Махтумкули, великого туркменского поэта… сверх этого я переводил стихи Мопассана, Эредиа, Леконт де Лиля, Верлена, Шенье, Горацио, Ариосто, Камоэнса…»

Список переводимых у Шенгели предлинный.

Как мы отмечали, Шенгели встретил Октябрь с надеждой, но вскоре понял, какое именно общество собираются строить новые власти и к каким берегам направляют корабль литературы. В своих стихах Шенгели честно выразил катаклизмы и судороги «века-волкодава» (если использовать определение Мандельштама). О себе говорил так:

> Я – не боец. Я мерзостно умен.
> Не по руке мне хищный эспадрон.

Драться не умел. Мимикрировать и подлаживаться под власть не хотел. Его и не печатали. Но он упорно продолжал писать в стол. «Ваше Ермилось, я на вас Фаддеюсь…» – острил Шенгели, имея в виду Ермилова и Фадеева – двух основных контролеров советской литературы. И о чем писал Шенгели? О Серебряном веке («Он знал их всех…»), о своей молодости, об ушедшем времени.

В замечательном стихотворении «Жизнь» (1943) писал:

> Мне шесть, а ей под шестьдесят. В наколке;

Седые букли; душные духи;
Отлив лампад на шоколадном шелке
И в памяти далекие грехи.
Она Золя читала и Ренана,
Она видала всякую любовь,
Она Париж вдыхала неустанно
И в Монте-Карло горячила кровь.
Она таит в своем ларце старинном
Сухие розы, письма, дневники;
Она могла бы объяснить мужчинам
Все линии несытой их руки.
Всезнающей, загадочной, упрямой,
Она заглядывает мне в глаза,
Из книг возникнув Пиковою Дамой,
Суля семерку, тройку и туза...

Стихотворение длинное и с различными возрастными поворотами: «Мне двадцать лет, а ей, должно быть, сорок...» Не будем его приводить, пусть пытливый и любознательный читатель найдет томик Шенгели и прочитает это стихотворение полностью – не будем лишать его самостоятельного удовольствия. Приведем лишь еще две строчки: «Все тайны грима, все соблазны грязи,/ Все выверты министров и актрис...»

В своей личной жизни Георгий Шенгели пытался избежать все эти «соблазны грязи» и не поддаваться на «выверты» литературных начальников.

Никто нас не ждет,
никуда нам не надо;
Мы тихо сидим, говорим ни о чем;
Но странной тревогой ночная прохлада
Встает и сгущается там, за плечом.

Нет, Шенгели все же «тихо не сидел», хотя, конечно, чувствовал сгущающиеся тучи за плечом, а кто их не чувствовал, кто жил в 1937 году?!..

Послезавтра – жизнь! А пока
Дайте адрес гробовщика.

Горькие шутки – как утешение. А так, в повседневности, Шенгели участвовал в бесконечных заседаниях, обсуждениях,

совещаниях – этого «отбывания повинности чиновничьей». Скрашивало то, что во время этих «бдений» он набрасывал на бумаге портреты выступавших и сидевших в зале – Шенгели был прекрасным рисовальщиком. Было еще одно удовольствие: «посетить чертоги букинистов», соприкоснуться с предметами старого быта. «Лежал в комиссионном магазине/ Меж разным дрязгом голубой бювар...»

Я горестно люблю Сороковые годы.
Спокойно. Пушкин мертв. Жизнь, как шоссе, пряма... —

язвительно написал Шенгели в январе 1949 года. И что делать? О, конечно, «времена не выбирают», как сказал позднее Давид Самойлов.

В канун оттепели, 16 ноября 1956 года жизнь Георгия Шенгели оборвалась. Он прожил 62 года. Он умер «с сердцем, надорванным трагедиями времени, изъеденным кавернами утрат» (Вадим Перельмутер). Вторую половину жизни он жил приговоренным к забвению и точно знал, что подготовленный к печати его однотомник не выйдет. Небольшая книга стихов Шенгели вышла лишь в 1988 году, а в 1997-м увидел свет однотомник «Иноходец» – собрание стихов, византийская повесть «Повар Базилевск», статьи...

Юрий Олеша сказал о Шенгели, что «он навсегда останется в моей памяти, как железный мастер, как рыцарь поэзии, как красивый и благородный человек – как человек, одержимый служением слову, образу, воображению...»

Вспомним и мы Шенгели:

Кто в семнадцатом, тридцатом
Пел громам наперебой,
Не сдаваясь их раскатам,
Оставаясь сам собой.

Кажется, это так мало – оставаться самим собой. Но вместе с тем – так много, если учесть время, в котором выпало жить Георгию Шенгели.

В «Послании к друзьям» (1926) он писал: «Друзья, Леконт де Лиль и Мандельштам,/ Всего лишь трое нас, непогрешимых...»

И заключительный аккорд. В 1932 году, в год моего рождения, Георгий Шенгели написал стихотворение «Поэту» с такой вот концовкой:

Что успел ты? Где твой Мир певучий?
Долог путь, а мало впереди
Дней и лет... Так стисни зубы круче
И спеши! Не жди! Иди!

Эти слова Шенгели обращены к каждому из нас.

ДВА КАТАЕВА

Валентин Катаев

Валентин Катаев. Это – «Белеет парус одинокий»? Или «За власть Советов»? Увы, то и другое. И стоящий в одиночестве индивидуалист и примкнувший к массе коллективист. Одни называли его истинным соцреалистом, другие – классиком советского модерна.

Хорошо знавший Катаева художник Борис Ефимов утверждает, что в нем сочетались два совершенно разных человека. Один – тонкий, проницательный, глубоко и интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественной прозы. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка – разнузданная, бесцеремонная, а то и довольно цинично пренебрегающая общепринятыми правилами приличия. В 1933 году, к примеру, на один из литературных диспутов ввалился Катаев и, сидя, начал речь. Ему сказали: «Встаньте!» А он (по воспоминаниям Корнея Чуковского): «Я не встаю ни перед кем». А далее Катаев назвал Маршака «прихвостнем Горького». Естественно, разгорелся скандал. Вообще, у Катаева был колючий и задиристый нрав.

Валентин Катаев был разноликим. Он жил в жестокую эпоху сталинизма, в котором не так-то было просто выжить. Очень

многих писателей той поры поставили к стенке, в частности, его однофамильца Ивана Катаева, других удушили критикой. «Теперь из нашей странной республики гениев, пророков, подлинных поэтов и посредственных стихотворцев, ремесленников и неудачников остался, кажется, я один. Почти все ушли в ту страну вечной весны, откуда нет возврата», – писал с грустной усмешкой Катаев в «Алмазном моем венце».

Валентин Катаев уцелел и, более того, преуспел. Его спас звериный инстинкт самосохранения. Умер Валентин Петрович при многочисленных званиях, регалиях и орденах, как «выдающийся советский писатель», как «писатель-коммунист». Кстати, в партию он вступил в 1958 году, в возрасте 61 года. Но никаким коммунистом он не был, а лишь умело играл в него, строго следуя законам времени. Участвовал в травле неугодных властям писателей, подписывал разные гневные письма и т.д. Принимая очередную правительственную награду – орден Дружбы народов – Катаев сказал: «Благодарю вас, действительно, очень приятно, этот орден еще не у всех есть». То есть благодарность и сарказм в одном флаконе. В этом весь Катаев.

В романе «Уже написан Вертер» (1979) можно найти удивительные «признательные» строки: «В конце концов, он уже стоял на платформе советской власти. Довольно переворотов. Их было по крайней мере семь: деникинцы, петлюровцы, интервенты, гетмановцы, зеленые, красные, белые. Пора остановиться на чем-нибудь одном. Он остановился. Пусть будет советская Россия...»

В своей книге «Окаянные дни» Иван Бунин писал: «Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

К счастью, уже продолжал Борис Ефимов, Катаев никого не стал убивать, а его недюжинная творческая энергия устремилась в чисто литературном направлении.

Любопытно подверстать к словам Бунина и Ефимова цитату из катаевекого «Кубика»:

«По природе я робок, хотя и слыву нахалом. В глубине души я трус. Я еще, как некогда сказал о себе Чехов, не выдавил из себя раба. Я даже боюсь начальства. Недавно, уже дожив до седых волос, я испытал ужас, когда на меня вдруг, совсем, впрочем, не грозно, а так, слегка, поднял голос один крупный руководитель. Я почувствовал головокружение, унизительную тошноту и, придя домой, лег на постель, не снимая ботинок, в смертной тоске, в ужасе, вполне уверенный, что теперь уже «всё кончено»... Мне стыдно во всем этом признаться, но что же делать, дорогие мои,

что же делать?..»

Однако вернемся к первоистокам. Валентин Петрович Катаев родился 16(28) января 1897 года в Одессе, в семье учителя. «С самого детства я был очарован произведениями Пушкина, Гоголя...» – признавался он. Одесский мальчишка по прозвищу Валька Китаец. Дружил с Ильфом, Багрицким и Юрием Олешой. Гимназист. Поэт. В 16 лет написал:

Болезненной разлукой и печалью
Запели клавиши под милою рукой.
Я встать хотел и подойти к роялю,
Но не посмел: ведь я теперь «чужой».

Какое страшное, бессмысленное слово.
Оно звучит, надежды хороня.
Ах, если бы запели звуки снова,
Как, помните, когда-то для меня.

А за любовью последовала Первая мировая война, и Катаев-офицер был дважды ранен. А в 1919-м был мобилизован уже в Красную армию. Сочинял агитки для плакатов. В 1922 году переехал в Москву и вступил на журналистскую стезю (газета «Гудок»). Из журналиста – в писатели. И длинный список написанных и изданных книг, от книги «Сэр Генри и черт» (1920) до «Сухой Лиман» (1986). Первый крупный успех – повесть «Растратчики» (1926). «Есть Катаев. Хорошо пишет Катаев, все удивляются. Талантливый человек. Растратчики у него выходят превосходно...» (Виктор Шкловский). Во многих театрах шла пьеса Катаева «Квадратура круга» (1928). Прогремел роман-хроника «Время, вперед!» (1932). В 1936 году вышел замечательный «Белеет парус одинокий», потянувший за собой трилогию «Волны Черного моря». Критики всполошились, а где руководящая роль партии? Пришлось придумывать новое название – «За власть Советов». Катаев жаловался Корнею Чуковскому: «Какая чепуха у меня с моим «Белеет парус», то бишь – с «За власть Советов»...»

Катаева частенько ругали, мол, освещает события Гражданской войны не как участник жесточайших классовых боев, а как пассивный наблюдатель. Приходилось прислушиваться к критике. «Я выбросил начало, вставил его в середину...» – рассказывал он Корнею Чуковскому в 1951 году, и запись Корнея Ивановича о Катаеве: «Сам он гладкий, здоровый, веселый...»

Напрашивается слово «конформист». Катаев и учил своих молодых коллег по перу именно конформизму. Начинающему

Евгению Евтушенко советовал: «Женя, перестаньте писать стихи, радующие нашу интеллигенцию. На этом пути вы погибнете. Пишите то, чего от вас требует высшее руководство».

Другому поэту Николаю Старшинову Катаев отвечал на его недоуменные вопросы, почему в «Юности» печатают стихи Александра Жарова: «Стихи, конечно, слабые... Что же вы от него хотите – хорошие он никогда не писал, откуда же они у него возьмутся?.. Но, послушайте, вы еще совсем молодой человек и ничего не понимаете в литературных делах... Литература – это цепь компромиссов!..»

В 1955 году Валентин Катаев организовал и встал у руля журнала «Юность». Это была замечательная «Юность», со страниц которой стартовали в большую литературу Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Гладилин, Фазиль Искандер, Роберт Рождественский и многие другие молодые таланты. «Юность» читалась взахлеб. Катаев оказался умелым и мудрым рулевым. Он сам читал многие рукописи, делал замечания, давал советы. Приходил в редакцию раньше всех и, когда видел, что сотрудники еще не пришли, с легкой печалью говорил секретарше: «Ну, что, Диночка, в лавочке-то нашей еще никого нет? Никто не торопится работать?» «Никого нет, Валентин Петрович», – отвечала она. «Ну, ничего, появятся... Их нет, а журнальчик-то все равно выходит... Вот так!..» – победно говорил Катаев. Он руководил «Юностью» по 1962 год. Ему пообещали назначить его главным редактором «Литературной газеты», но обещания не выполнили. И тогда Катаев обиделся и перестал ходить в редакцию, и отстранился от участия в работе журнала. Так продолжалось год, а потом на смену Катаеву в «Юность» пришел Борис Полевой.

В 50-е годы Катаев был популярен в основном своей повестью «Сын полка» (1945), а в конце 60-х перед читателями предстал совершенно новый Катаев, как бы порвавший с социалистическим реализмом и вернувшийся к своим прежним литературным экспериментам. Каждая новая вещь Катаева воспринималась читателями с придыханием восторга: «Святой колодец», «Трава забвения», «Кубик», «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона», «Алмазный мой венец», «Уже написан Вертер», «Юношеский роман»...

Без цитат не обойтись.

«Можно ли примириться с ужасами войны, которая ни на один день не прекращается на земном шаре – то в одном месте, то в другом, то почти незаметно тлея, как подземный пожар, то вдруг вставая багровыми облаками до звезд...» («Кладбище в Скулянах»).

«Но почему, собственно: кубик? Потому что – шесть сторон в

трех измерениях пространства и времени. А может быть, просто имя собачки. А верней всего просто так. Захотелось. Что может быть лучше свободной воли!..» («Кубик»).

«Странно, что в моей душе ничего не шевельнулось – ни сожаления, ни грусти...» («Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина»).

Что же произошло с Катаевым? Почему такой резкий перелом в творчестве? Анатолий Гладилин пишет: «Катаев мне рассказал, как он работает: пишет каждый день, перышком, для вдохновения читает стихи, например, Пушкина, Мандельштама, готовую рукопись обязательно переписывает еще раз – но никогда про ЭТО. Осторожно, мы вступаем в область догадок. Мне кажется, что причиной была та операция, которую Катаев перенес после своего ухода из «Юности». Ведь у него была на операционном столе клиническая смерть. И вот, оправившись, Катаев понял, что он может умереть, что общественная и редакторская карьера – это пустое, что надо торопиться реализовать свой талант. По инерции он еще написал проходную вещь – «Маленькая железная дверь в стене», но упорно искал иной стиль, а главное, иную точку отсчета. Он нашел и то, и другое в «Святом колодце» и уж больше себе не изменял... И все последующие книги Катаева – обращение к прошлому, которого уже нет, или выяснение отношений с теми, кто давно уже умер...»

Особенно это ярко проявилось в книге «Алмазный мой венец», которая невероятно возбудила читателей. «Нами владел рок. Мы были жертвами судьбы», – заявил Катаев. И все бросились разгадывать литературный кроссворд, кто есть кто: Маяковский – Командор, Юрий Олеша – Ключик, Исаак Бабель – Красноармеец, Владимир Нарбут – Колченогий и т.д. «Мы бесцельно бродили по городу, и почему-то я все время вспоминал Ключика, так здесь и не побывавшего. А он так часто о нем мечтал. Впрочем, кто из нашего брата, начиная с Александра Сергеевича, не мечтал о Париже?..»

Многие находили неточности в «Алмазном моем венце», возмущались. Предугадывая такую реакцию, Катаев предупреждал: «Умоляю читателей не воспринимать мою работу как мемуары. Терпеть не могу мемуаров». Он писал не мемуары, а, пропуская через свою память воспоминания, раскрашивал их в свои субъективные причудливые тона. Картина получалась двоящейся: не то акварель, не то пасквиль. Но все тексты Катаева читались с неизменным интересом. «Не нужно делать из живых людей иконы и памятники, это удел мещан», – сказал Катаев в одном из интервью.

И в «Алмазном моем венце»: «Роман – это компот. Я же

предлагаю есть фрукты свежими, прямо с дерева, разумеется, выплевывая косточки...»

Блестящий стилист, мастер детали – Катаев очень бережно относился к слову, считая, что слово – «вещь радиоактивная и пользоваться им нужно крайне осмотрительно». Идеалом для Катаева был Бунин. «Бунин – контрольный орган моего сознания», – сказал Катаев в старости. А в юности он самонадеянно пришел к Ивану Алексеевичу и представился: «Я – Валя Катаев. Пишу. Вы мне очень нравитесь. Подражаю вам...»

В зрелые годы раздраженно сказал корреспонденту газеты: «Было время, когда считал себя неплохим писателем. Но сейчас у меня ощущение, что я писатель плохой. Стал даже подумывать о том, что, может быть, мне следовало бы выбрать для себя другую профессию – учителя, военного, инженера...»

Незадолго до смерти в другом интервью Катаев затронул тему интеллигенции: «Широкие знания – это познавательная сила, которая потом трансформируется в мысль, поступки, действия».

В последнем интервью Катаев вновь вернулся к Бунину: «Именно он научил меня смотреть на мир, как на вечно живой, неиссякаемый источник поэзии» (ЛГ, 19 июня 1986).

Валентин Катаев умер 12 апреля 1986 года, прожив 89 лет. На его рабочем столе стояли девять томов полного собрания сочинений. Десятого, завершающего, куда вошли стихи, писатель не дождался. Сын Павел вспоминает, «Катаев до конца жизни остался советским человеком. Хотя он разочаровался в системе, он жил, писал и любил в этой стране, потому что это была его страна. Здесь находился его дом, его семья, его читатели. «Россия всегда остается Россией, мало ли что», – говорил он».

Дочь Елена добавляет: «Он был всегда душистый человек». Всегда подтянутым, хорошо одетым и неизменно пахнувшим одеколоном от Кристиана Диора.

«Обстоятельства существовали сами по себе. Я – сам по себе, – говорится в катаевском «Юношеском романе». – Но я был тем не менее полностью зависим от обстоятельств. А они от меня нет. Мне ничего не оставалось как только подчиниться, не делая попыток что-нибудь изменить. Каждая попытка вмешаться в судьбу кончалась для меня бедствием. Даже постоянная влюбленность в кого-нибудь всегда зависела от случая, от обстоятельств времени года, погоды, растений, полета чайки, луны над морем, степного заката, или запаха духов, или особенностей речи, роста, сложения, возраста...»

Да... Черное море... полет чайки... степной закат... Удивительный аромат письма Валентина Катаева «в этом

чудесном, загадочном, непознаваемом мире...»

ПУТЬ НА ГОЛГОФУ

Анна Баркова

В русской поэзии безраздельно царствуют две королевы: Анна Ахматова и Марина Цветаева. Но была и третья. Некоронованная. И вовсе даже не королева, а мятежница, поэтическая Жанна д'Арк, прошедшая огонь и воду тоталитарного времени, но так и не услышавшая звука медных труб. Даже после ее смерти слава едва прикоснулась к ней.

Кто эта третья? Анна Баркова.

В письме от 16 декабря 1921 года нарком Луначарский писал ей: «Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за всё пройденное время русской литературой».

Анатолий Васильевич тонко разбирался в культуре и точно определил талант молодой поэтессы. Луначарский только не мог предвидеть ее мучительную судьбу, ее путь на Голгофу.

Анна Александровна Баркова родилась 16 июля 1901 года в Иваново-Вознесенске, в «Красном Манчестере», в семье сторожа гимназии. Эту частную гимназию Крамаревской девочка не успела окончить из-за грянувших революционных событий. Вихрь революции поднял ее, закружил и завертел.

Одна из соучениц-гимназисток писала об Анне: «Огненно-красная, со слегка вьющимися волосами, длинная коса,

серьезные, с пронзительным взглядом глаза...» Рыжая, веснушчатая, но не смешная, а, напротив, собранная и строгая. О начале своего жизненного пути Баркова вспоминала так:

Что в крови прижилось,
то не минется,
Я и в нежности очень груба.
Воспитала меня в провинции
В три окошечка мутных изба.

Городская изба, не сельская,
В ней не пахло медовой травой,
Пахло водкой, заботой житейскою,
Жизнью злобной, еле живой.

Только в книгах открылось
мне странное,
Сквозь российскую серую пыль,
Сквозь уныние окаянное
Мне чужая открылась быль.

Золотая, преступная, гордая
Даже в пытке, в огне костра...

Если стихи перевести на прозу жизни, то ничего примечательного с детства и юности. Серая скука. Мгла, в которой тонуло будущее.

Стихи Анна Баркова начала писать с 12 лет. В 16 пришла в губернскую газету «Рабочий край» со своими стихами, подписанными псевдонимом «Калика перехожая». Газету тогда редактировал Александр Воронский, известный литературный критик. Под его руководством Баркова превратилась в заправского газетчика: писала заметки, отчеты. Но главное, конечно, стихи. Писала смело, необычно, отчаянно.

Я – преступница; я церкви взрываю,
И у пламени, буйствуя, пляшу.
По дороге к светлому раю
Я все травы, цветы иссушу... —

так писала Баркова в стихотворении «Преступница» (1921), а далее в нем говорится, что ее враги ей настойчиво внушают, что она всего лишь одна из ярких птиц:

Береги бледнеющие лилии,
Руки нежные свои.
Их законы мира сотворили
Для одной любви.

Но до сердца стыд меня пронзает:
Пусть я горестно ропщу, —
Созревает женщина иная,
Я в себе ее ращу.

Я – зерно гниющее. Страдая,
На закланье я иду.
Я ропщу, но все же умираю
За грядущую звезду.

Опьяненная ветрами революции, Баркова не хотела быть обычной женщиной с «нежными руками» и «бледнеющими лилиями», она растила в себе «иную женщину» – воительницу за счастье всех людей на планете (как у Блока в «Двенадцати»: «Мы на горе всем буржуям/ Мировой пожар раздуем,/ Мировой пожар в крови – /Господи, благослови!»)

А вот «Амазонка» (1922). Баркова объясняет в ней суть своего существования, точнее, предназначения:

На подушечку нежную теплого счастья
Иногда я мечтаю склониться,
И мечтаю украсть я,
Что щебечущим женщинам снится.

Но нельзя в боевой запыленной одежде
Забраться в садик наивных мечтаний,
И тоскую я: где же,
Где мои серебристые ткани!

Привлекает, манит лукаво подушечка
Амазонку с оружием грозным;
Я не буду игрушечкой:
Невозможно, и скучно, и поздно!

Те глаза, что меня когда-то ласкали,
Во вражеском стане заснули.
И приветствую дали
Я коварно-целующей пулей.

Ранняя Баркова – дерзкая Амазонка, бросающая вызов старому миру: «И не могу принять/ Я страсти земной». Для нее старый мир – это «милый враг»:

Не травы ли то шелестят,
Не его ли шаги?
Нет, он не вернется назад,
Мы с ним – враги.

Сегодня я не засну...
А завтра, дружок,
На тебя я нежно взгляну
И взведу курок.

Пора тебе отдохнуть,
О, как ты устал!
Поцелует пуля в грудь,
А я – в уста.

Эти стихи написаны Анной Барковой в 1921 году. А через год в Петрограде выходит ее первая книга «Женщина» с предисловием Луначарского. «Трудно поверить, что автору этой книги 20 лет, – писал Луначарский. – ...Посмотрите: у нее содержание. И какое! От порывов чисто пролетарского космизма, от революционной буйственности и сосредоточенного трагизма, от острой боли прозрения в будущее до задушевнейшей лирики благородной и отвергнутой любви...»

Ее отвергли или она отвергла? – это еще вопрос.

Стихи Барковой отметили многие мэтры русской поэзии: Блок, Брюсов. Луначарский пригласил переехавшую в Москву Баркову стать его личным секретарем. Она согласилась, но вскоре нарком был вынужден прервать это сотрудничество – слишком независимой и иронической оказалась новая помощница.

Не приняли Баркову и пролетарские поэты. У Барковой кипела революционность, но какая-то иная, чем у них. Как отмечал Лев Аннинский в статье «Крестный путь Анны Барковой»: «У них – чистота чувств: ненависть к врагам, ликование победы. А у нее – смесь. У нее – ощущение, что конь не только врага, но и тебя топчет. Что кровь – и твоя брызжет. Что солнце – тебя обжигает насмерть...»

«Пролеткультовцы приняли в штыки мои стихи, – писала в одном из частных писем Баркова. – Все обвинения свалились на мою голову: мистицизм, эстетизм, индивидуализм, полнейшая чуждость пролетарской идеологии и, разумеется, «пролетарской»

поэзии. В защиту мою выступил только Борис Пастернак... Заревые, Огневые (фамилии я их не помню) усердно громили меня...»

Баркова была не такая, как все, и это ощущалось всеми. Не случайно последнее ее стихотворение в сборнике «Женщина» называлось «Прокаженная». А раз так, то – ату ее!..

Анна Баркова раньше других поняла, что романтика революции – это наивная юношеская мечта о справедливом и свободном мире, что такого мира не может быть в принципе, что освобождение от духовного рабства невозможно, что после революции неизбежна безжалостная проза нового тоталитарного времени, время возникновения нового культа.

Пропитаны кровью и желчью
Наша жизнь и наши дела,
Ненасытное сердце волчье
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца.
Не швыряем в ближайшего камень —
Пробиваем пулей сердца.
А! Об этом думать не надо?
Не надо – ну, так изволь:
Подай мне всеобщую радость
На блюде, как хлеб и соль.

«Рыжеволосая ведьма» – так ее звали – продолжала писать еретические стихи: «Мы, изгнавшие бога и черта/ Из чудовищной нашей судьбы». Разве это социалистический реализм? Конечно, это реализм, но только не социалистический с оптимизмом и слепой верой, а совершенно другой – мрачный и безнадежный.

Нас душит всяческая грязь
И всяческая гнусь.
Горячей тройкою неслась
Загадочная Русь.

И ночь была, и был рассвет,
И музыка, и жуть.
И сколько пламенных комет
Пересекло ей путь.

Вплетался яростно в полет
Безумный вихрь поэм.

Домчалась. Пала у ворот,
Распахнутых в Эдем.

Смешался с грязью и с песком
Кровавый жалкий прах.
И будет память обо всем
Затеряна в веках.

Провидческие строки, написанные в 1931 году: на пороге время, когда вычеркнут из жизни имена миллионов людей, в том числе многих писателей и поэтов. И все во имя чего? «С покорностью рабскою дружно/ Мы вносим кровавый пай/ Затем, чтоб построить ненужный/Железобетонный рай...» (1932). В этом раю Баркова была незваной гостьей, чужой и ненужной.

1 декабря 1934 года произошло убийство Кирова, а 25 декабря арестовали Анну Баркову в так называемом «кировском потоке» (брали без разбора) и сослали в Казахстан. И всё же за что? За антисоветскую агитацию и «клевету на советской строй». Власти разве могли понравиться, к примеру, такие строки: «Равно и ровно отныне/ Любезное стадо, пасись,/ К чему счастливой скотине/ Какая-то глубь и высь» (1927 – 28 гг.) А уж выпады против главного пастуха, всеми любимого гениального вождя?

«Печален», «идеален», «спален»,
Мусолил всяк до тошноты.
Теперь мы звучной рифмой «Сталин»
Зажмем критические рты.

Еще один разговорец про «кремлевского горца». Баркова, как и Мандельштам, поплатилась за него.

Первый срок (1934 – 1939) Анны Барковой. А всего 25 лет, за малым исключением, Баркова находилась в местах заключения по той самой жестокой знаменитой 58-й с примыкающими к ней статьям. В 1935 году, в Караганде, она писала:

Степь, да небо, да ветер дикий,
Да погибель, да скудный разврат.
Да. Я вижу, о боже великий,
Существует великий ад.
Только он не там, не за гробом,
Он вот здесь окружает меня,
Обезумевшей вьюги злоба
Горячее смолы и огня.

Это в лагере. Но многим было суждено умереть до него.

Всё вижу призрачный и душный,
И длинный коридор.
И ряд винтовок равнодушных,
Направленных в упор.

Команда... Залп... Паденье тела.
Рассвета хмурь и муть.
Обычное, простое дело,
Не страшное ничуть.

Уходят люди без вопросов
В привычный ясный мир.
И разминает папиросу
Спокойный командир.

Знамена пламенную песню
Кидают вверх и вниз.
А в коридоре душном плесень
И пир голодных крыс.

Жутко мрачно? За 150 лет до Большого террора Салтыков-Щедрин в книге «Пошехонская старина» (1887 – 89) писал:

«Люди позднейшего времени скажут мне, что всё это было и быльем поросло и что, стало быть, вспоминать об этом не особенно полезно. Знаю я и сам, что фабула этой были действительно поросла быльем, но почему же, однако, она до сих пор так ярко выступает перед глазами от времени до времени? Не потому ли, что, кроме фабулы, в этом трагическом прошлом было нечто еще, что далеко не поросло быльем, а продолжает и доднесь тяготеть над жизнью?»

«Доднесь тяготеет» – под таким названием вышли в издательстве «Возвращение» два тома воспоминаний о сталинских ужасах. Приведены в книге и стихи Анны Барковой. В лагере в 1938 году она написала стихотворение «Савонарола»: «Я когда-то в век Савонаролы/ Жгла картины на святых кострах,/ Низводила грешных пап с престола,/ Возбуждала ненависть и страх...» Баркова писала о том времени и параллельно о своем и приходила к ужасному выводу:

Зло во всем: в привычном, в неизвестном.

Зло в самой основе бытия.

Люди подчас бывают и жертвами, и палачами. «Торжествуют демоны повсюду...»

В 1939 году Баркова вышла на свободу и поселилась в Калуге. Потом война, оккупация и вновь лагерь. Новый срок: 1947 – 1956. 27 ноября она была арестована и отправлена в Воркуту, в поселок Абезь. Там она встретила философа Карсавина, египтолога Коростовцева, поэтов Спасского и Галкина, философа Герасимова. И эти страшные годы стали подлинным расцветом поэтического творчества Анны Барковой. Стихи росли, пробивая бетон несвободы. Вот одно из лучших стихотворений об отечественной войне – «Чем торгуешь ты, дура набитая...»:

...Все поля и дороги залило
Кровью русскою, кровушкой алою.
Кровью нашею, кровью вражеской.
Рассказать бы всё, да не скажется!

Закоптелые и шершавые,
Шли мы Прагою, Берлином, Варшавою.
Проходили мы, победители.
Перед нами дрожали жители.

Воротились домой – безглазые,
Воротились домой – безрукие.
И с чужой, незнакомой заразою,
И с чужой, непонятною мукою.

И в пыли на базаре сели,
И победные песни запели:
– Подавайте нам, инвалидам!
Мы сидим с искалеченным видом,

Пожалейте нас, победителей,
Поминаючи ваших родителей.

1953

А пока одни воевали, другие сидели в лагерях и тюрьмах. «Чего ждет раб? Пропало все давно,/ И мысль его ложится проституткой/ В казенную постель. Всё, всё равно./ Но иногда становится так жутко...»

В душном бараке смутная тьма,
На сердце смута и полубред.
Спутано всё здесь: весна и зима,
Спутано «да» с замирающим «нет».

И звучит «Надрывный романс» (1955) об арестантской судьбе:

И к закату здесь так одиноко,
Ничего, кроме плоских болот,
Как мы все, осужден он без срока,
Как мы все, никуда не уйдет.

Мы с тобой влюблены и несчастны,
Счастье наше за сотней преград.
Перед нами оранжево-красный
Сиротливый холодный закат.

Неужели и в лагерях были проблески каких-то нормальных, человеческих отношений? Конечно, да, но их, разумеется, деформировали условия, в которых пребывали ссыльные. «Восемь лет, как один годочек,/ Исправляюсь я, мой дружочек,/ А теперь гадать бесполезно,/ Что во мгле – подъем или бездна...»

Опять казарменное платье,
Казенный показной уют,
Опять казенные кровати —
Для умирающих приют.
Меня и после наказанья,
Как видно, наказанье ждет.
Поймешь ли ты мои терзанья
У неоткрывшихся ворот?
Расплющило и в грязь вдавило
Меня тупое колесо...
Сидеть бы в кабаке унылом
Алкоголичкой Пикассо.

@data = 1955

Возможно, кто-то не выдерживает огненных строк Анны Барковой и думает, а зачем так много приведено ее стихов? Но, дорогой читатель, Пушкина-Лермонтова-Некрасова-Фета можно найти везде, а вот сборник Анны Барковой достать довольно сложно. Вот почему я вставляю ее лагерную лирику в эту книгу.

Это исповеди, крик и документы эпохи. Вчитайтесь еще в одно стихотворение (1955):

Загон для человеческой скотины.
Сюда вошел – не торопись назад.
Здесь комнат нет. Убогие кабины.
На нарах бирки. На плечах – бушлат.

И воровская судорога встречи,
Случайной встречи, где-то там, в сенях.
Без слова, без любви.
К чему здесь речи?
Осудит лишь скопец или монах.

На вахте есть кабина для свиданий,
С циничной шуткой ставят там кровать:
Здесь арестантке, бедному созданью,
Позволено с законным мужем спать.

Страна святого пафоса и стройки,
Возможно ли страшней и проще пасть —
Возможно ли на этой подлой койке
Растлить навек супружескую страсть!

Под хохот, улюлюканье и свисты,
По разрешенью злого подлеца...
Нет, лучше лучше откровенный
выстрел,
Так честно пробивающий сердца.

Стихи Анны Барковой изустно передавались на этапах, в тюрьмах и лагерях. Горькое слово правды летело по воздуху, минуя официальный газетный лист.

7 января 1956 года Баркову освободили, с поражением в правах на 5 лет, и как жить дальше? «Потом над собой рассмеяться,/Щербатную рюмку разбить;/ И здесь не могу я остаться,/ И негде мне, кажется, жить». А далее – несколько неосторожных строк в частном письме – и третий срок: 1957 – 1965. И только благодаря заступничеству и ходатайству Александра Твардовского Баркова была – 15 мая 1966 года – полностью реабилитирована. На воле жила без семьи, без близких, в нищете. Она умерла в Москве, как написал Михаил Дудин, «в одиночестве, со своей измаянной надеждой, в какой-то коммуналке, забытая людьми и богом, старыми лауреатами и

молодыми, жадными до славы, бойкими сочинителями стихов и песен». Умерла, так и не став членов Союза писателей.

Ее биографию и стихи по крупицам собирал подвижник, историк литературы Леонид Таганов. Когда он впервые пришел к Анне Александровне на Суворовский бульвар, «в ее маленьких глазах-буравчиках читалось: «Неужели кому-то еще интересно мое прошлое? Ну, забыли и забыли...» Но как забыть ее пронзительные стихи, к примеру, «Герои нашего времени»:

Героям нашего времени
Не двадцать, не тридцать лет.
Тем не выдержать нашего бремени,
Нет!

Мы герои, веку ровесники,
Совпадают у нас шаги.
Мы и жертвы, и провозвестники,
И союзники, и враги.

Ворожили мы вместе с Блоком,
Занимались высоким трудом.
Золотистый хранили локон
И ходили в публичный дом.

Разрывали с народом узы
И к народу шли в должники.
Надевали толстовские блузы,
Вслед за Горьким брели в босяки.

Мы испробовали нагайки
Староверских казацких полков
И тюремные грызли пайки
У расчетливых большевиков.

Трепетали, завидя ромбы
И петлиц малиновый цвет,
От немецкой прятались бомбы,
На допросах твердили «нет».

Мы всё видели, так мы выжили,
Биты, стреляны, закалены,
Нашей родины, злой и униженной,
Злые дочери и сыны.

Не просто подводить итоги, и не просто выносить приговор стране, веку. Режиму, конечно, можно – и его вождям, и его слугам, и его полицейским псам. И всё же, что делать и как жить дальше? Об этом не раз размышляла Анна Баркова бессонными ночами. И вот одно из размышлений – стихотворение «Отречение» (1971):

От веры или от неверия
Отречься, право, всё равно.
Вздохнем мы с тихим лицемерием:
Что делать? Видно, суждено.

Всё для того, чтобы потомство
Текло в грядущее рекой,
С таким же кротким вероломством,
С продажной нищенской рукой.

Мы окровавленного бога
Прославим рабским языком,
Заткнем мы пасть свою убогую
Господским брошенным куском.

И надо отрекаться, надо
Во имя лишних дней, минут.
Во имя стад мы входим в стадо,
Целуем на коленьях кнут.

Увы, рабскую психологию никак не хочет изжить в себе русский народ, и сегодня мы видим, как сбивается стадо, и на коленях готовы целовать новый крест. Ничего не изменилось. «Страна рабов, страна господ», – как говорил еще Михаил Лермонтов.

За год до смерти, в 1975-м, Анна Баркова пишет очередные исповедальные строки:

Такая злоба к говорящей своре,
Презрение к себе, к своей судьбе.
Такая нежность и такая горечь
К тебе.

В мир брошенную – бросят в бездну,
И это назовется вечным сном.
А если вновь вернуться? Бесполезно:
Родишься ты во времени ином.

И я тебя не встречу, нет, не встречу,
В скитанья страшные пущусь одна.
И если это возвращенье – вечность,
Она мне не нужна.

Вот так: намаялась, нахлебалась, отчаялась. И никакого повторения не надо, хватит. «Годы бесконечные, мгновенные,/ Вы ушли, но не свалились с плеч./ Вы теперь, как жемчуг, драгоценные,/ Но теперь мне поздно вас беречь».

И, уже стоя одной ногой в могиле, Баркова выдыхает:

Как пронзительно страданье
Этой нежности благодать.
Ее можно только рыданьем
Оборвавшимся передать.

И опять бесконечный вопрос к себе, который и на воле не отпускает ее: «Проклинаю я жизнь такую,/Но и смерть ненавижу истово,/ Неизвестно, чего взыскую,/ Неизвестно, зачем воинствую...» А высшего судьи в жизни нет: «Что я вижу? Главного беса/ На прокурорском месте» (1976).

Умирала Анна Баркова долго и трудно. В больнице к ней относились удивительно бережно, понимая, как много пришлось испытать этой маленькой старой женщине. Она часто бредила. Ей слышались голоса друзей-сокамерников, ночные допросы. Однажды она заторопилась и упала в больнице с 3-го этажа. Почему торопилась, куда? – спросили ее. А она ответила, что отстала от партии заключенных, которую повели в баню, и пыталась ее догнать... Прошлое никак не хотело отпускать ее.

Анна Баркова умерла 29 апреля 1976 года, в возрасте 75 лет. «Русский ветер меня оплачет,/ Как оплакивал нас всех...»

Что остается добавить? Она на воле жила на маленькую пенсию, на которую покупала книги. Книги заполняли всю ее комнату, она даже под книги использовала подаренный ей кем-то старенький холодильник. Свои стихи она не раз предлагала в московские журналы, но ей неизменно отказывали в публикациях: «Нет оптимизма, нет жизнеутверждающего начала».

Первое собрание сочинений Анны Барковой «Вечно не та» вышло в 2002 году. И миру явилась «Ахматова в блузе» – так она себя иногда называла. Не в вечернем платье, а в рабочей блузе. Мятежная. Непримиримая. Сердитая. Клокочущая...

И на десерт /пира во время чумы?/ приведем еще одно

стихотворение Анны Барковой, написанное ею в 1931 году, в 30-летнем возрасте:

Отношусь к литературе сухо,
С ВАППом правомерным не дружу,
И поддержку горестному духу
В Анатоле Франсе нахожу.

Боги жаждут... Будем терпеливо
Ждать, пока насытятся они.
Беспощадно топчут ветви сливы
Красные до крови наши дни.

Всё пройдет. Разбитое корыто
Пред собой увидим мы опять.
Может быть, случайно будем сыты,
Может быть, придется голодать.

Угостили нас пустым орешком.
Погибали мы за явный вздор.
Так оценим мудрую усмешку
И ничем не замутненный взор.

Не хочу глотать я без разбору
Цензором одобренную снедь.
Лишь великий Франс – моя опора.
Он поможет выждать и стерпеть.

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ КУСТ НИКОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО

Николай Заболоцкий

По новому стилю Николай Заболоцкий родился в мае, но сам поэт числил себя по старому стилю (уважал документы): «Я был первым ребенком в семье и родился в 1903 году 24 апреля под Казанью, на ферме, где отец служил агрономом».

Пересказывать вехи жизни Николая Заболоцкого не будем, тем более что не так давно вышла книга «Огонь, мерцающий в сосуде...» с его жизнеописанием. Книгу написал сын поэта – Никита Заболоцкий. Отметим только, что жизнь Николая Заболоцкого была цинично растоптана коммунистической властью, которой везде мерещились враги, да и даровая рабочая сила была нужна на лесоповалах. 19 марта 1938 года поэт был арестован и обвинен в контрреволюционной троцкистской деятельности. А далее – тюремная психиатрическая больница, «Кресты», ссылка на Дальний Восток... В отличие от Осипа Мандельштама, Заболоцкий выжил: «Я нашел в себе силу остаться в живых». Но жизнь его всё равно была трагически надломлена, и не случайно не выдержало сердце Заболоцкого: он умер в 55 лет, 14 октября 1958 года.

Вернувшись на волю, – а она не была сладкой для него, – Заболоцкий не застыл в злобе, как некоторые другие писатели. В его поэзии нет лагерных стихов, так, несколько очень сдержанных и скупых строк о страдании и несправедливости. Например, в стихотворении «Наступили месяцы дремоты...» поэт пишет о щегле:

Он поет о той стране далекой,
Где едва заметен сквозь пургу
Бугорок могилы одинокой
В белом кристаллическом снегу.

Там в ответ не шепчется береза,
Корневищем вправленная в лед.
Там над нею в обруче мороза
Месяц окровавленный плывет.

И вот этот «месяц окровавленный» «в обруче мороза», на мой взгляд, потрясает больше любой книги воспоминаний об ужасах эпохи.

Одним из шедевров лирической и отчасти философской лирики является стихотворение Заболцкого «Можжевеловый куст» (1957). Приведем его полностью:

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,

Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

Это стихотворение из цикла «Последняя любовь». Да, оно о любви и не только о любви, а еще о христианском смирении: надо принимать жизнь такой, какой она есть. И третий план: взаимоотношение человека и природы – это, кстати, одна из основных тем творчества Заболоцкого. Ограниченное – пространство не позволяет привести множество примеров, поэтому приведу только концовку моего любимого стихотворения «Я трогал листы эвкалипта...»:

Но в яростном блеске природы
Мне снились московские рощи,
Где синее небо бледнее,
Растенья скромнее и проще.
Где нежная иволга стонет
Над светлым видением луга,
Где взоры печальные клонит
Моя дорогая подруга.

И вздрогнуло сердце от боли,
И светлые слезы печали
Упали на чаши растений,
Где белые птицы кричали.
А в небе, седые от пыли,
Стояли камфарные лавры
И в бледные трубы трубили,
И в медные били литавры.

Обратим внимание на концовку. В ней какой-то вызов человеку, торжество над ним. У Заболоцкого никогда не было

позиции покорителя, победителя природы. Он признавал другое, «мирное сосуществование» и писал:

Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не замечал.
Как своенравен мир ее дремучий!..

А что остается делать человеку? Постигать природу. Совершенствоваться самому. Преодолевать сопротивление «материала». И тут, конечно, напрашиваются ставшие хрестоматийными строки:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!..

Кто мало знаком с творчеством Заболоцкого, тот может подумать, что это был очень степенный, печальный и несколько утяжеленный поэт. Ничего подобного. Он был и светел, и ироничен. Ну, а стихи его первого сборника «Столбцы (1929) были полны дерзкого веселья, сарказма, недаром, по признанию поэта, «книжка вызвала в литературе порядочный скандал, и я был причислен к лику нечестивых...» Судите сами. Один только кошачий пассаж что стоит:

Коты на лестницах упругих,
Большие рылы приподняв,
Сидят, как будды, на перилах,
Ревут, как трубы, о любви.
Нагие кошечки, стесняясь,
Друг к дружке жмутся, извиваясь...
Кокетки! Сколько их кругом!
Они по кругу ходят боком,
Они текут любовным соком,
Они трясутся, на весь дом
Распространяя запах страсти.
Коты ревут, открывши пасти, —
Они как дьяволы вверху
В своем серебряном меху...

Но какими же строками Заболоцкого закончить наш краткий рассказ? Не о котах же, конечно. Нужно что-то проникновенное, существенное, а таких строк у Николая Алексеевича очень много. Пожалуй, закончим такими:

Нет в мире ничего прекрасней бытия.
Безмолвный мрак могил – томление пустое.
Я жизнь прожил, я не видал покоя:
Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я.

Перефраз с Блоком, но у Заболоцкого формула бытия более расширительная: «жизнь и я». И надо быть на уровне этой жизни. Не мельчить ее, а тем более не опошлять. И душу-лентяйку, как учил Заболоцкий, необходимо денно и нощно мучить, «чтоб жить с тобой по-человечьи училась заново она».

СУДЬБА ОБЭРИУТОВ

Обэриуты! Что это такое и с чем это едят? Если вы любите литературу, то вам будет приятно лишний раз вспомнить о литературной группе ОБЭРИУТЫ (Объединение Реального Искусства). В декларации ОБЭРИУ (1928) говорилось: «Нужно быть побольше любопытным и не полениться рассмотреть столкновение словесных смыслов».

Обэриуты (Даниил Хармс, Александр Введенский, Константин Вагинов, Николай Заболоцкий и другие) занимались «столкновением словесных смыслов». Их увлекала игра языка и жизни. В произведениях обэриутов целая россыпь поэтических смыслов, ассоциаций, сочетаний-несочетаний и прочее лингвистическое богатство.

И еще. Обэриуты, прежде всего Александр Введенский, интуитивно чувствовали дисгармонию XX века, его катаклизмы и потрясения, исторический хаос, понять который невозможно с помощью обычного здравого смысла. Отсюда выражение Введенского – «звезда бессмыслицы». Задолго до Самюэля Беккета Введенский и Хармс предугадали и создали театр абсурда. Но Беккет – грандиозная величина мировой литературы. А Александр Введенский – почти забытый, загубленный российский сочинитель.

АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ

Александр Введенский

Немного биографии

Александр Введенский родился 23 ноября 1904 года в Санкт-Петербурге. После окончания гимназии учился на юрфаке Петроградского университета, а затем на китайском отделении Восточного факультета, но ни тот, ни другой не закончил. Увлекся поэзией и даже посылал свои стихи Блоку. Начал печататься с начала 20-х годов. Этим периодом датируется и дружба с Даниилом Хармсом. Оба они – Введенский и Хармс – входили в «Орден заумников», в котором Хармс именовал себя как «Чинарь-взиральник», а Введенский – «Чинарь Авторитет бессмыслицы». Осенью 1926 года друзья сочинили пьесу «Моя мать вся в часах», однако постановка ее не состоялась.

Далее Введенский выступал как «взрослый» поэт, а с 1927 года исключительно как детский. Печатался в популярных журналах «Чиж» и «Еж» и выпустил около трех десятков детских книжек. Особой популярностью пользовалась поэма «Кто?» (1930). А еще Введенский удачно перевел сказки братьев Гримм. Однако

литературная деятельность вскоре была пресечена: 10 декабря 1931 года поэта арестовали. Ему предъявили обвинение во «вредительстве в области детской литературы» (!). Через три месяца освободили из-под стражи, но запретили проживать в 16 городах и пограничных пунктах в течение трех лет. В ссылке Введенский оказался со своим другом Хармсом.

Затем последовало возвращение в Ленинград, переезд в Харьков, откуда Введенский изредка наезжал по делам в Москву и Ленинград. Начало Отечественной войны принесло Введенскому и Хармсу гибель, но не на поле сражения. 27 сентября 1941 года Введенский был вновь арестован и этапирован в глубь страны. По официальному свидетельству, он умер 19 декабря того же года, в возрасте 37 лет (пушкинский возраст!). Но как умер, неизвестно: то ли скончался от болезни, то ли был застрелен конвоем, то ли просто выбросили по ходу движения эшелона с арестованными, – и такое бывало.

Все буднично. Просто. Взяли и вычеркнули из жизни талантливого человека. И не охнули. Увы, не в первый раз и не в последний. Россия любит мертвых знаменитостей.

Часть архива Александра Введенского безвозвратно потеряна: при первом ареста жена со страху сожгла некоторые рукописи поэта, другая часть исчезла в недрах НКВД. Но какая-то часть была спасена, и в начале 80-х годов на Западе издали двухтомник Введенского, а уж потом и у нас.

Стихи

Говорить о поэте и не приводить строки его произведений – абсурд. Предлагаю начало «Элегии»:

Осматривая гор вершины,
их бесконечные аршины,
вином налитые кувшины,
весь мир, как снег, прекрасный,
я видел темные потоки,
я видел бури взор жестокий,
и ветер мирный и высокий,
и смерти час напрасный...

Попутно следует заметить, что в поэзии Введенского есть три доминанты: смерть, Бог и время. По существу, все его творчество роится вокруг этих трех фундаментальных тем. Приведу еще один фрагмент из «Элегии».

Летят божественные птицы,
их развеваются косицы,
халаты их блестят, как спицы,
в полете нет пощады.
Они отсчитывают время,
они испытывают бремя,
пускай бренчит пустое стремя —
сходить с ума не надо...

Читать, как видите, Введенского не просто – смыслы, образы, метафоры громоздятся друг на друга. Это плотное, природное письмо. Еще один отрывок из стихотворения «Мне жалко, что я не зверь»:

Есть еще у меня претензия,
что я не ковер, не гортензия,
мне жалко, что я не крыша,
распадающаяся постепенно,
которую дождь размачивает,
у которой смерть не мгновенна.
Мне не нравится, что я смертен...

Многие строки Введенского – это мудрость жизни, увиденная глазами ребенка. Наивно. Но глубоко, в суть.

Личная жизнь

Можно, конечно, и дальше приводить отрывки из пронзительных прозрений Введенского, к примеру, – «мне страшно, что я неизвестность /мне жалко, что я не огонь». Но глава диктует свои сокращения. Заинтересовавшиеся стихами Введенского всегда могут найти его книжку и прочитать. Но за стихами подчас не виден сам человек: какой он был, что любил, как строил свои отношения с женщинами, – без этих подробностей ныне ничего не печатается и ничего не читается: вынь да положь частную жизнь!

Кое-что вынем. Из воспоминаний Елизаветы Коваленковой, тогда молоденькой актрисы Малого театра Лизы Фохт: «Я очень хорошо помню, как он выглядел. Он мало заботился об элегантности, носил всегда один и тот же костюм – черный, в мелкую белую полосочку, вероятно, дорогой: но весь обсыпанный пеплом: Саша не расставался с пачкой «Казбека». У него были красивые черные глаза, но кожа в каких-то щербинках и зубы

плоховатые, а еще постоянный насморк. И всегда – чистые большие платки: где он при своей кочевой жизни умудрялся стирать эти платки и вечную белоснежную рубашку, которую носил с галстуком, – оставалось загадкой...»

Между Введенским и Лизой Фохт была любовь. Но женился он на другой, на Анне Ивантер, на Нюрочке. Произошло это в 1928 году. Воспоминания Анны Ивантер:

«Мы с ним идем по улице, и тут он говорит: «Я вас сейчас поцелую». Я ответила: «Нет, этого я не разрешу!» – и ему это понравилось. «Но телефон, – говорит, – дадите?» Телефон я ему дала. А он все настаивал: «Пока вы меня не поцелуете, домой не пущу...»

«Потом мы с ним поженились, – продолжает свои воспоминания Анна Семеновна, – но до этого он еще бывал у своей Тамары, она плакала, никак не хотела с ним расстаться... Жить с ним было интересно, легко... Когда он писал, он говорил вслух, а меня посылал в другую комнату. Если Маршак ему заказывал стихотворение, то «он его придумывал моментально, но к Маршаку приходил только через неделю, чтобы Маршак не подумал, что он наспех написал».

И еще интересная подробность из воспоминаний Ивантер: «Еще был кот Пуся, к которому Введенский относился очень нежно. Бывало, вернется поздно вечером и кричит с порога: «Где мой Пуся?» Мать ему говорила: «Что же ты сразу Пусю зовешь, почему не Нюрочку?»

По разным другим воспоминаниям, можно составить портрет Введенского: он любил женщин, был игроком, часто проигрывал в карты все только что полученные деньги, обожал ходить в рестораны, танцевать, он был беззаботным, богемным человеком, но в душе его шла постоянная напряженная творческая работа. Поступки совершал неожиданные, неординарные. После развода в 1936 году с Анной Ивантер неожиданно в Харькове увлекся Галиной Викторовой, секретарем местного отделения Союза писателей, и женился на ней. Примечательно, что все женщины Введенского были безумно худые (Анна Ивантер весила всего 53 кг), а у друга Введенского, Хармса, все полные, в теле.

Общей бедой друзей было то, что они жили в сталинское время, когда таланты, фантазеры и чудаки были не только не нужны, но и опасны. Кстати, Хармс сравнивал Введенского с Гоголем, Толстым и Хлебниковым. Тут, конечно, можно спорить. Но бесспорно то, что последняя пьеса Введенского «Ёлка у Ивановых» пронизана перефразами из Достоевского, в ней много, как это ни странно, параллелей с «Записками из Мертвого дома», с той лишь разницей что у Достоевского Бог на стороне

каторжников, а у Введенского Бог покинул всех людей, и они почти все гибнут в пьесе с невинным заголовком «Ёлка у Ивановых». Дата написания – 1938 год. Предчувствие катастрофы.

Итак, подведем краткие итоги. Футуристы Маяковский и Хлебников верили в хрустальные замки светлого будущего, в справедливость и равенство коммунизма. А Введенский и Хармс не верили. Они верили в абсурд. Тогда это казалось действительно абсурдным – верить в абсурд. Но сегодня абсурдным кажется многое. Логика подчас перестала ночевать на российских просторах. Так и тянет процитировать строки Александра Введенского:

> Но однако шли года,
> шел туман и ерунда...

Творчество Александра Введенского – это не ерунда. Это серьезно.

ДАНИИЛ ХАРМС

Данишл Хармс

Соратник по группе ОБЭРИУ и друг Александра Введенского – Даниил Хармс тоже был человеком необыкновенным и весьма оригинальным. Он строил свою жизнь как произведение искусства. «Хармс – сам по себе искусство», – говорил Введенский. Хармс – это литературная клоунада.

Н. Степанов вспоминал об одном вечере «обэриутов» в 1927 году: наибольшее внимание привлекал Хармс, он был в длинном клетчатом сюртуке, походя в нем на Жака Паганеля из «Детей капитана Гранта». Подчеркнуто серьезный и спокойный, Хармс держался с ошеломляющей чопорной вежливостью. На голове его была круглая шапочка, на щеке нарисована зеленая собачка. Время от времени он брал со стола книгу и клал ее себе на голову или с необычайно серьезным видом прикладывал к носу палец...

Сегодня мы бы сказали, что он был прикольщиком, любил прикалываться. Костлявый, очень высокий и очень грустный, Даниил Хармс сохранил в себе детские черты – он любил удивлять. Он мог очень серьезно спросить у газетного киоска: «Скажите, пожалуйста, здесь живет Петр Алексеевич Силантьев?» в своем вдохновенном «Вруне» он писал:

А вы знаете, что под?
А вы знаете, что мо?
А вы знаете, что рем?
Часовой стоит с ружьем?
– Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь, врешь, врешь, врешь!
Ну, с дубиной, ну, с метелкой,
Ну, еще туда-сюда,
А с заряженным ружьем —
Это просто ерунда.

Одни его псевдонимы что стоят: Чармс, Шардам, Ваня Мохов, Крал Иванович, писатель Колпаков, Чинарь Взиральник, Шустерлинг и другие. А на самом деле он – Даниил Иванович Ювачев. У него были примечательные родители: отец народоволец и политкаторжанин, а затем, правда, член-корр АН – Ювачев, а мать дворянка Колюбякина. Бунтарская и дворянская кровь. А сын пошел по совсем другой стезе – юмора и сатиры, А если держаться твердых литературоведческих терминов, то Хармс – это классик абсурдистского гротеска. В 1927 году он вошел в группу ОБЭРИУ и в сильнейшей компании замечательных талантливых поэтов (Введенский, Друскин, Олейников, Вагинов, Заболоцкий) отнюдь не потерялся. Более того, выделялся неистощимой выдумкой, полетом фантазии и пристрастием к эпатажу. Ну, скажите, кто, кроме Хармса, мог написать такую автобиографию о своем рождении?

«Первый раз папа подъехал к моей маме 1-го апреля 1903 года. Мама давно ждала этого момента и страшно обрадовалась. Но папа, как видно, был в очень шутливом настроении и не удержался и сказал маме: «С первым апреля!» Мама страшно обиделась и в этот день не подпустила папу к себе. Пришлось ждать до следующего года. В 1904 году, 1-го апреля, папа начал опять подъезжать к маме с тем же предложением. Но мама, помня прошлогодний случай, сказала, что теперь она уже больше не желает оставаться в глупом положении, и опять же не подпустила к себе папу. Сколько папа ни бушевал, ничего не помогло.

И только год спустя удалось моему папе уломать мою маму и зачать меня...»

Даниил Хармс родился 17(30) декабря 1905 года в Петербурге. С детства владел немецким и английским языком. Увлекался творчеством Э. Лира и Л. Кэрролла. Ненавидел идиотизм обыденной жизни, в которой обыватель поклонялся здравому смыслу. Хармс предпочитал жить в мире своих

фантазий. «Меня интересует только «чушь»; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении, – писал он 31 октября 1937 года. – Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт – ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех».

У Хармса было трагическое, барочное мироощущение, что отразилось в «Комедии города Петербург», в «Елизавете Бам» и других его произведениях. Он виртуозно владел гротеском, черным юмором, иронией и откровенным фарсом. Но именно эти литературные приемы были неугодны власти, и пришлось Хармсу в основном работать для детских журналов «Еж» и «Чиж». Но и для детей Хармс писал исключительно по-хармски:

Как-то бабушка махнула,
и тотчас же паровоз
детям подал и сказал:
пейте кашу и сундук...

Фантастика, почти бессмыслица этих строк, их музыкальный напор, почти prestissimo, инфантильная наивность и невинность, какая-то младенческая первозданность нравились многим.

Видел я во сне горох,
Утром встал и вдруг оглох.

Игра в слова, филологические фокусы – родная стихия Даниила Хармса. А у власти была другая стихия, иное пристрастие – искать и находить всюду «врагов народа» и особенно увлекательно – в литературе. Первый раз Хармса арестовали в декабре 1931 года. Обвинения такие: «Нет школы более враждебной нам, чем заумь», «реакционное жонглерство», «литературные хулиганы».

В 1992 году в журнале «Октябрь» опубликовали материалы следственного дела по группе ОБЭРИУ. Арестованные 10 декабря 1931 года поэты неестественно каялись (под влиянием чего, каких средств воздействия?..), и протоколы допросов полны трескучими революционными штампами. Возможно, их писали от лица арестованных, и читать их без содрогания невозможно.

Вот, к примеру, что записано в протоколе допроса, который подписал Хармс 13 января 1932 года: «...моя книжка «Иван

Иванович Самовар» является антисоветской в силу своей абсолютной, сознательно проведенной мною оторванности от конкретной советской действительности. Это – типично буржуазная детская книжка, которая ставит своей целью фиксировать внимание детского читателя на мелочах и безделушках с целью отрыва ребенка от окружающей действительности, в которой, согласно задачам советского воспитания, он должен принимать активное участие. Кроме того, в этой книжке мною сознательно идеализируется мещанско-кулацкая крепкая семья с огромным самоваром – символом мещанского благополучия...»

Бедный самовар! Бедный Хармс!

Потом дело было прикрыто, и Хармса выпустили на свободу, сослали всего лишь в Курск, а 18 ноября 1932 года позволили вернуться в Ленинград и восстановили во всех писательских правах. А через 10 лет снова взяли. Арестовали Хармса 23 августа 1941 года уже по другому обвинению – за «пораженческую агитацию». В феврале 1942 года он погиб в заключении. Ему было 36 лет.

Хармса признали «душевнобольным и невменяемым». Ну, конечно, кто был другим, не таким, как все, тот, значит, сумасшедший, – старая чаадаевская линия. По одной из версий, Хармс скончался в больнице ленинградской пересылочной тюрьмы. Не выдержало сердце? А может, пытали, как настоящего врага? Реабилитировали Хармса в 1960 году, посмертно. Вот такой Хармс-Чармс-Шардам!..

Хармс писал репризы для клоунов, любил цирк. «Стихи Хармса, – отмечал Виктор Шкловский, – иногда веселы, иногда мрачны, потому что в них показывается машинная суета и вечная повторяемость жизни тех, которые не понимают, что понятие «здравый смысл» изменяется, обычно же здравый смысл – это только сочетание предрассудков времени...»

Разумеется, поэт-абсурдист, сатирик и фантазер Хармс не для всех. Он придумал таинственную «бушемель», о которой идет «бурный спор».

> Ночь. Не видно мне лица, только слышно мне по звуку:
> Золотые все сердца! Я готов подать им руку...

Даниил Иванович, вот вам моя рука. Я с вами. Я тоже против скучного здравого смысла, тем более что в современном мире явно ощущается абсурд. Идет бурный спор о бушемеле.

Один из хармсовских абсурдов:

– Я вынул из головы шар, я вынул из головы шар, я вынул из головы шар.

– Положи его обратно, положи его обратно, положи его обратно.

Рассказывают, что во время первого ареста Даниила Хармса следователь спрашивал, почему он так часто бывает на Петроградской стороне у каких-то своих знакомых, зачем они там собираются? Хармс ответил, что они хотят под Невой сделать подкоп под Смольный. Следователь, конечно, страшно взволновался и спросил: «А зачем под Смольный вам надо делать подкоп? Зачем вам Смольный?» Хармс ответил: «А мы хотели узнать, остались ли там еще институтки?»

В этом ответе – весь Хармс. Несколько слов об «институтках». У Хармса были, конечно, женщины. Его первой женой была Эстер Рускова («Как скучно без Эстерочки...»), про нее Хармс говорил: «Она не глупа, но ум у нее так далек от моего понимания, как и мой от нее». Сложные отношения сложились у Хармса с художницей Алисой Порет. («Если бы Алиса Ивановна любила меня и Бог хотел бы этого, я был бы так рад», – писал он.) Второй женой Хармса стала Марина Марич, аристократка, ее Хармс почему-то звал «моя Фефюлька». Марич, впоследствии Дурново, написала книгу воспоминаний о Хармсе.

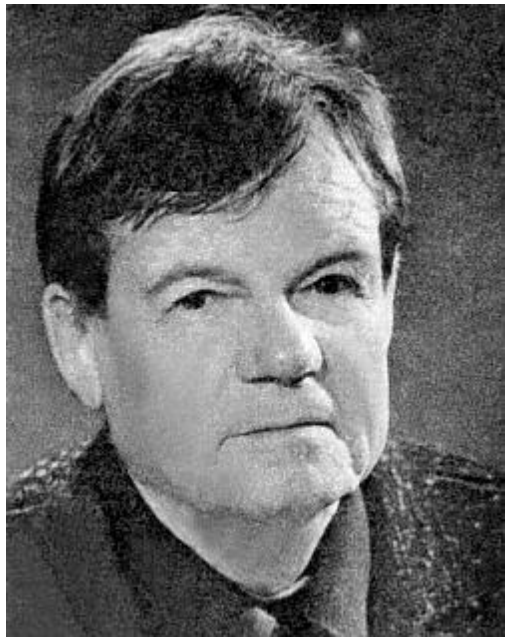
«Это ушло в это» – еще один перл Хармса.

Фадеев, Калдеев и Перемалдеев
Однажды гуляли в дремучем лесу.
Фадеев в цилиндре, Калдеев в перчатках,
а Перемалдеев с ключом на носу...

В 2005 году в Петербурге шумно отметили 100-летие Даниила Хармса, юбилей проходил под девизом: «Мы себя под Хармса чистим» (Маяковский, как мы все помним, чистил себя под Ленина). В ходу были лозунги: «Заветам Хармса верны!», «Хармс есть Это!», «Хармс есть То!»

Абсурд сорвался с привязи и вольно гуляет по просторам XXI века.

ОДИНОКИЙ ГОЛОС



Леонид Мартынов

Вспоминать в нынешнее время поэтов – дело неблагодарное. Сегодня только и слышно об инфляции, о том, как растут цены на недвижимость, как бороться с преступностью и коррупцией, что делать с бедностью, рейтингами телепрограмм и какие там новости из светской жизни, кто с кем и за сколько. А поэзия? Кому она нужна – эхо далекого прошлого.

У замечательного поэта Леонида Мартынова есть строки под названием «Дельцы»:

Знаешь,
Мной желанье овладело
Взять и оторвать дельцов от дела,
Потому что по своим делам
Ходят прямо по чужим телам...
Это уж доходит до предела!

Леонид Мартынов не ходил по «чужим телам», но по его телу прохаживались власти и критики, а он был чуточку не от мира сего. Чудак-романтик, ученый-историк, колдун-фантазер,

пустынник XX века и, конечно, удивительный, дивный поэт, который создал свою интонацию. А своя интонация – это уже чудо из чудес.

А ты?
Входя в дома любые —
И в серые, и в голубые,
Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Леонид Николаевич Мартынов оставил в русской поэзии свой неповторимый след. Он появился на свет 22 мая 1905 года, умер 21 июня 1980-го.

По рождению Мартынов – сибиряк, из Омска, дед поэта Мартын Лощилин был офеней, владимирским коробейником-книгоношей. Вот откуда книжные корни и гены! «О, книги!»/ Есть книги, как глыбы бумаги,/ Есть книги, как пестрые листья растений,/ Есть книги, которые блещут, как шпаги,/ Когда обнажает их творческий гений...»

Гимназию Мартынов не успел закончить – революция! Это было бурное время, запечатленное в стихах:

Отгородимся от прошлого,
Стертого в порошок,
Прошлого, былью поросшего,
Скошенного под корешок.
Разве что только под лупами
Станет оно видней...
Пахнут землей и тулупами
Девушки наших дней.

Первые стихи Мартынова появились в 1921 году в газете «Рабочий путь» и журнале «Сибирские огни». Поэзия в душе

боролась с живописью, и молодой сибиряк отправился в Москву поступать во ВХУТЕМАС. Затем вернулся в Омск, занялся самообразованием и стал активно печататься в прессе, проявил себя как способный газетчик-репортер, изъездивший всю Сибирь. Но очерки все же не смогли перекрыть родник поэзии.

Ведь наших дней трескуч кинематограф,
И Гепеу – наш вдумчивый биограф,
И тот не в силах уследить за всем...

Нет, ошибался поэт: чекисты отслеживали все. А если чего и не было, то талантливо придумывали и «шили дела». В 1932 году Мартынов был арестован по делу так называемой «Сибирской бригады», куда входили, помимо Мартынова, поэты Павел Васильев, Сергей Жарков и другие. Однако Мартынов «легко» отделался: всего лишь тремя годами высылки, сначала в Архангельск, потом в Вологду. За что пострадал? Якобы ратовал за автономию Сибири и за ее отделение от России.

В Вологде Мартынов встретил свою будущую жену Нину, девушку печатавшую на машинке «Ундервуд». «Но ты вошла.../ Отчетливо я помню,/ Как ты вошла – не ангел. И не дьявол,/ А теплое здоровое созданье,/ Такой же гость невольный, как и я...» Они прожили вместе 47 лет, как говорится, душа в душу.

Известным поэтом Мартынов стал после выхода в Москве книги «Лукоморье», написанной в духе романтического реализма. А его популярность укрепила тонюсенькая зеленькая книжечка «Стихи», выпущенная «Молодой гвардией» в 1957 году тиражом в 25 тыс. экз. В сборнике не было пафоса, барабанного боя тех лет, все было скромно, тихо, музыкально и мудро. «Что-то/ Новое в мире./ Человечеству хочется песен./ Люди мыслят о лютне, о лире./ Мир без песен/Неинтересен ...» «Одно/Волнение/ Уляжется /Другое сразу же готовится...» И, казалось бы, простенькое стихотворение «Вода»: «Вода/Благоволила/Литься!..»

Далее, вроде бы, у Мартынова была счастливая судьба: его много издавали, награждали государственными премиями, заласкивали и задабривали, чтобы он меньше вспоминал свое романтическое «Лукоморье» и миф о «златокипящей Мангазее».

За стеной толковали:
– А?
– Что?
– Лукоморье?
– Мукомолье?
– Какое еще Мухоморье?

– Да о чем вы толкуете?
Что за история?
– Рукомойня? В исправности.
– На пол не лейте!
– Погодите – в соседях играют на флейте!..

Вот эта волшебная флейта была не очень-то нужна. Это с грустью понимал Мартынов и пытался обуздать вихреобразность и вихреподобность своей поэзии, максимально упростить ее и идеологизировать, достаточно вспомнить ходульные стихи о Ленине: «Но Ленин вдруг в окно заглянет:/ – А все вопросы решены?»

Старый искус: понравиться власти, понравиться массам, вот почему раннее творчество Мартынова значительно поэтичнее зрелого, холодного и рассудочного.

... И вот воскрес:
Нормальный рост, нормальный вес —
Я стал как все. Я добр, я весел.
Я не ломаю спинки кресел...
И все-таки я Геркулес.

И все-таки поэт, истинный поэт, обязан ломать кресла и тормошить обывательское сознание.

Галина Сухова-Мартынова вспоминает: «Был он высок, строен и показался мне не по годам молод. Запомнился его острый пристальный взгляд. Я почувствовала, что он внутренне напряжен. Откинутая назад голова и пристальный взгляд создавали на первых порах впечатление заносчивости. Позже, когда узнала его лучше, я поняла, что это защитная реакция перед незнакомым человеком».

В Москве Мартыновы жили на Сокольнической улице, дом 11, квартира 11, в тесной и неудобной квартире, затем перехали в более просторную на Ломоносовском проспекте. Жил Мартынов отшельником, редко выходил из дома, редко выбирался в театр и полностью игнорировал тусовки. Почти все свое время он проводил сам с собой – в творчестве, в размышлениях и редко в беседах. Собрал уникальную библиотеку. Его жизненный принцип был прост: жизнь нужна, чтобы трудиться, творить. Труд – это и есть жизнь. Много писал, помимо стихов, следует упомянуть сборник автобиографических новелл «Воздушные фрегаты». Много переводил.

Какие вам стихи прочесть?
Могу прочесть стихи про честь,
Могу прочесть и про бесчестье —
Любые вам могу прочесть я,
Могу любые прокричать,
Продекламировать вам грозно...
Вот только жалко, что в печать.
Они попали все же поздно.

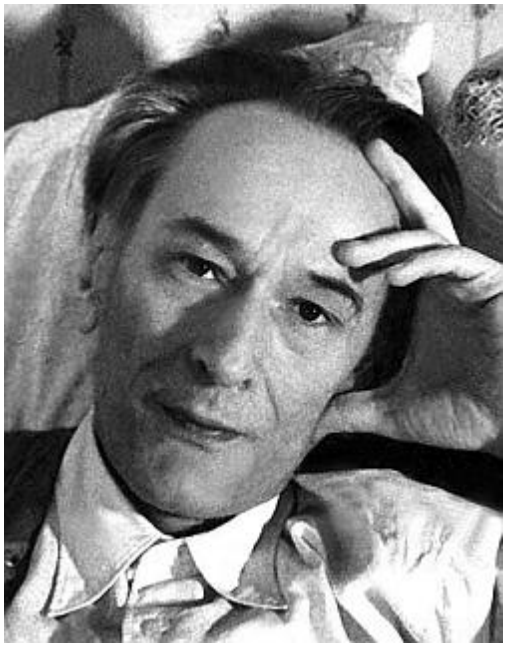
Эти строки были написаны в 1964 году. Он блистательно владел техникой стиха, и все рифмы были ему подвластны. Про себя Мартынов говорил так: «Писатель слов и сочинитель фраз».

Леонид Мартынов прожил 75 лет. В некрологе Сергей Залыгин написал: «Умер человек, который родился поэтом, был им с детства, был им всю жизнь, до последнего дня, который был и не мог быть никем больше – только поэтом...»

Русский самородок. Потомок Державина. Последователь Хлебникова. Товарищ и коллега Заболоцкого.

Сегодня что-то не видится наследников Мартынова: может быть, поэты стали ручными, смирными, а Мартынов говорил: «Из смиренья не пишутся стихотворенья».

«РОЗА МИРА» ДАНИИЛА АНДРЕЕВА



Даниил Андреев

Когда она появилась, был жадный интерес к автору и книге. Потом всё стихло. Куда-то ушло. И вместо розы мира – сплошные шипы войны, несправедливости и зла. В наши дни необходимо вспомнить эту загадочную и уникальную личность русской истории. Даниил Андреев – поэт, философ, подвижник, визионер, ясновидец и тайновидец XX века.

Всё в жизни Даниила Андреева было необычным: рождение, жизненные повороты, творчество. И как написал он сам:

Но судьба мне дала
Два печальных крыла...

Сын знаменитого писателя-мистика Леонида Андреева Даниил родился 2 ноября 1906 года в Берлине и сразу трагедия. Мать умерла от родовой горячки, и младенец остался сиротой в двухнедельном возрасте. Его увезли в Москву, он был оторван от отца (семейные сюжеты Леонида Андреева были архисложными) и вошел в семью тетки и бабушки. В доме, где он воспитывался, бывали Шаляпин, Бунин, Скрябин и другие известные люди.

Даниил окончил московскую гимназию Репмана в Мерзляковском переулке и учился на Высших государственных литературных курсах. Хотел поступить в Московский университет – не приняли из-за отца, Леонида Андреева, непримиримого врага Октябрьской революции. Тем не менее Даниил пошел по писательским стопам отца, сочинял стихи и прозу, «в стол», разумеется, ибо всё им написанное было чуждым новому пролетарскому искусству.

Даниил Андреев с детства тяготел к религиозности и мистицизму, его влекло всё сверхъестественное и таинственное. Он горел желанием разобраться в устройстве мира, в его космически-земных взаимосвязях.

Обратясь к небесам просторным,
Я молился горячим днем
С детства дерзостью
и восторгом
И с недетским уже огнем.

Даниил рано обнаружил в себе качества духовидца и ясновидца, как он это называл, «человека, способного к переживанию иной реальности». Именно отсюда его видения и «прорывы» в запредельные дали и выси. Если непосредственно говорить о его земной жизни, то это – скромная работа художника-шрифтовика и пешие путешествия, в которых Даниила Андреева «сопровождали» святые Серафим Саровский, Сергий Радонежский и поэт Александр Блок.

В конце 30-х годов Даниил Андреев начал писать роман о Москве и московской интеллигенции под названием «Странники ночи», в нем была затронута и тема массовых репрессий. Роман зачитывался ближайшим друзьям, и, естественно, его содержание стало известно соответствующим органам. Но во время войны писателя не дернули, не арестовали. Он попал на фронт. Будучи нестроевым по состоянию здоровья, он служил в качестве санитара и хоронил убитых бойцов в братских могилах.

Война закончилась, и 21 апреля 1947 года НКВД наконец-то добралось до Даниила Андреева. Однако инкриминировали ему не творчество, не писания, а покушение на вождя. Один из подследственных того времени вспоминал, как ему с тоской говорил следователь: «Вы мелкие антисоветчики. То ли дело – заговор Даниила Андреева!» Да, его обвинили по-крупному: в подготовке покушения на Сталина во время проезда по правительственной трассе, по Арбату. На допросе возникал один и тот же вопрос: «Где у вас оружие?» Оружия, разумеется, не было. На следствии Даниил Андреев упорствовал: «Я никого не

собирался убивать, но до тех пор, пока существуют цензура и несвобода совести, прошу не считать меня вполне советским человеком». Следователи решили: сумасшедший. И направили Андреева в институт Сербского, на экспертизу. Сумасшедшим его там не признали и выпустили с диагнозом «лабильная психика». То есть подвижная, неустойчивая, чрезмерно эмоциональная.

Особое совещание могло вынести расстрел, но приговор оказался более «мягким»: 25 лет. Статья 58-я. Враг народа. Следствие по делу Даниила Андреева тянулось 19 месяцев, тринадцать из которых он провел на Лубянке и Лефортово. В стихотворении «Тюрьма на Лубянке» Андреев писал:

Здесь буком и тисом украшен хитро
Лифт...
Здесь смолк бы Щедрин, уронил бы перо
Свифт...
...Гроб? Печь? Лазарет?.. – Миг – и начисто стерт
След,
Чтоб гладкий паркет заливал роковой
Свет.

Подобно Данте, Даниил Андреев прошел по ступеням ада, он назвал его загадочным словом Агр. Ему якобы открылся свет райской жизни, где нашли новое обретение Лермонтов, Достоевский и Блок.

Вместе с Даниилом Андреевым была арестована и его жена Алла, ей тоже впаяли 25 лет. Удивительна история их знакомства, творческого и духовного единения и любви. Они, как говорится, нашли друг друга. «Ангел Божий, невеста, дитя...» – писал ей Даниил. «Светленькое мое дитятко... Листик зелененький...» Кстати, о письмах: разрешалось заключенным посылать лишь по два письма в год и при этом не более двух страничек. И как драгоценны были эти скупые слова: «Родненький мой цветик, весенняя проталинка, мой ласковый летний ветерок! Снежок, тихо опускающийся на белую рождественскую землю!..» (14 янв. 1955)

Тюрьма для Даниила Андреева оказалась суровым испытанием, но его он выдержал мужественно, не сломался, не согнулся, выстоял, более того, жил напряженной творческой жизнью и писал, писал... Во Владимирской тюрьме он завершил поэтическую книгу «Русские боги» и огромную поэму «Железная мистерия» (около 500 страниц в стихах). В тюремной камере начал работать над «Розой Мира», в которой, по собственному признанию, сделал попытку «поделиться своим опытом

противостояния тирании и злу». В тюрьме Даниилом Андреевым был выношен план спасения человечества, основанный на двух идеях: 1) международная ассоциация людей доброй воли, сдерживающих агрессивных политиков; 2) уния всех светлых, этических религий, солидарных в воспитании нового человека, свободного от ненависти...

Наивная утопия? Конечно, но какая чистая и благородная!..

Еще на воле Даниил Андреев любил ходить босиком («Швырните обувь! Отриньте! Я/Напомню, что этот завет/ Блюдет премудрая Индия/Четыре тысячи лет...»), ходил он босиком и на тюремных прогулках даже зимой. Тюремная администрация сначала бурно протестовала, а потом официально разрешила босоногому строптивцу ходить так, как он хочет. И еще одна особенность Даниила Андреева как заключенного: он не впадал в уныние и не терял чувство юмора. Вместе с другими узниками – Париным и Раковым – он написал веселую книгу «Новейший Плутарх». Но, правда, это был всего лишь эпизод в творчестве Даниила Андреева, всё остальное, написанное им, далеко отстоит от веселья и шуток. Его по-настоящему интересовала история человеческой цивилизации в космическом контексте. «Роза Мира» именно об этом.

Любопытно вспомнить, когда она вышла, Юрий Нагибин в новогодней анкете «Книжного обозрения» сказал: «Книгой года для меня стала «Роза Мира» Даниила Андреева. Прежде всего, я почти ничего не понял, а это упоительно, я все время о ней думаю...»

Книга, действительно, сложная. В ней действуют мощные силы добра и зла. Фигурирует Антихрист, его подручный Сатана, планетарный демон Гагнунг. Но в конце отчаянной борьбы, по идее автора, должна воцариться эпоха – Даниил Андреев называет ее Розой Мира, – когда политика и жизнь сомкнутся, различные государства превратятся в братства и объединятся все христианские церкви. Короче, братство, гармония и красота. О, если бы было так!..

Над «Розой Мира» Даниил Андреев работал после освобождения 21 апреля 1957 года (срок сократили до 10 лет). Денег было в обрез – получал пенсию как инвалид Отечественной войны. Перенес второй инфаркт (первый – в тюрьме). И 30 марта 1959 года Даниил Андреев умер на 53-м году жизни. Исповедовал и причастил умирающего священник, его духовный отец. Незадолго до смерти, в июне 1958-го Даниил и Алла обвенчались по православному обряду, хотя до этого были женаты много лет. Похоронен Даниил Андреев на Новодевичьем кладбище, рядом с матерью и бабушкой, на месте, когда-то купленном Леонидом

Андреевым для себя.

За 23 месяца на свободе Даниил Андреев успел обработать то, что создал в тюрьме. В своих произведениях он соорудил своеобразный мост из мира реального в мир трансцендентальный (он и был жителем двух миров).

Я люблю направлять наши мысленные
Лебединые, вольные взлеты
В неисхоженные, неисчисленные
Чернолесья, урманы, болота... —

так писал Даниил Андреев в цикле «Святорусские духи». Все эти «чернолесья, урманы, болота» он находил и в других неземных мирах, витая своими мыслями и фантазиями в необъятных просторах Вселенной. При этом Даниил Андреев фанатично верил в торжество миссии русского народа и выявления в конечном итоге Вечной Женственности, как одной из основ Розы Мира.

В единстве страшном и блистающем,
Как кубки с кровью золотые,
Гремящие века России
Предстали взору моему...

Как проникновенный лирик, Даниил Андреев считал, что «вся жизнь – это танец творящего Бога, а мир – золотая одежда Его». Так ему грезилось. Так ему виделось...

Наследие Даниила Андреева долго не выходило из подполья. Первая подборка стихов появилась в «Новом мире», в 1975 году вышла в свет, обрубленный сборник стихов «Ранью заревою».

Слова отлетели, растаяли,
Исчезли блеклыми стаями.
И близкое солнце, клонясь к изголовью,
Простерло благословляющий луч, —
Бессмертная Чаша с пылающей Кровью
Над крутизной фиолетовых туч...

Многое пропало. Фронтовая переписка Даниила Андреева была сожжена на Лубянке. Сожжены были дневники и роман «Странники ночи». Но многое и осталось: многочисленные стихи и, главное, «Роза Мира». Одни встретили ее с восторгом, и

восхищением, другие – с угрюмой хулой и полным неприятием. Такое же неоднозначное отношение вызвали и «Русские боги». Но многие сходятся на том, что в середине XX столетия Даниил Андреев вдохнул жизнь в изящный, но уже давно мертвый жанр мифологии эпоса, придав ему сугубо российский колорит. Помимо этого, Даниил Андреев разработал и воплотил на практике новую метрическую систему русского стиха, обогатил русскую рифму и привел поэзию к многоцветью образности. Соединил историзм с метафоричностью.

У французского поэта Шарля Пеги есть строки: «Блажен, кто пал в пылу великого сраженья/И к Богу, падая, был обращен лицом». Даниил Андреев постоянно был обращен лицом: к Богу, к Истории, к великой русской Литературе и к России.

«НАС УТРО ВСТРЕЧАЕТ ПРОХЛАДОЙ…»

Борис Корнилов

Есть два Корнилова: Борис Корнилов – ранний советский поэт, и Владимир Корнилов – поздний. Поговорим о первом, ставшем жертвой советского режима.

Борису Корнилову не довелось участвовать в революции и Гражданской войне, но тем не менее его творчество было насыщено пафосом новой жизни и пропитано энтузиазмом и оптимизмом строительства социализма, недаром он считался одним из видных комсомольских поэтов. А родился Борис Петрович Корнилов 16 (29) июля 1907 года в селе Покровское Нижегородской губернии, в семье сельского учителя с крестьянскими корнями. В одном из стихотворений поэт вспоминал своего деда Тараса: «Только дед от бедности/ ходит – руки за спину,/ смотрит на соседей:/ чай да сахар,/ хлеб да квас… – / морду синеватую, тяжелую, заспанную/ морду выставляя напоказ…»

Борис Корнилов рано начал писать стихи. Нижегородский губком комсомола обнаружил у него «задатки литературной способности» и направил юного комсомольца в конце 1925 года в Ленинград. Юноша писал под Сергея Есенина /«Дни-мальчишки,/ Вы ушли, хорошие,/ Мне оставили одни слова, – / И во сне я рыженькую лошадь/ В губы мягкие расцеловал…»/. Но Корнилов опоздал – Есенина уже не было в живых, – и ему пришлось идти к другим учителям – в литературную группу РАППа «Смена»

(руководитель Виссарион Саянов), где он познакомился со своей будущей женой поэтессой Ольгой Берггольц.

По воспоминаниям Берггольц, Корнилов был «азартным, озорным, часто сумбурным, всегда тревожно влюбленным, умеющим безоглядно грустить и взахлеб хохотать». И о самом первом впечатлении на собрании литгруппы на Невском: «…выступал коренастый парень с немного нависшими веками над темными, калмыцкого типа глазами, в распахнутом драповом пальтишке, в косоворотке, в кепочке, сдвинутой на самый затылок. Сильно по-волжски окая, просто, не завывая, как тогда было принято, он читал стихи. Одно начиналось так:

Айда, голубарь,
пошевеливай, трогай,
Коняга, – мой конь вороной!
Все люди – как люди,
поедут домой,
А мы понесем стороной.

Его просили читать еще…» При обсуждении все сошлись на том, что пишет он «эмоционально крепко, но идеологически невыдержанно, – есенинщина так и прощупывается…» И далее пошел спор: должны ли стихи «эмоционально заражать» или «организовывать сознание»; что важнее и кто главнее: Есенин или Маяковский?..

Борис Корнилов был явно «есенинствующим», но все-таки шел своей дорогой: необычайный лиризм, беспощадность к себе, предельное самораскрытие. «У Корнилова – самое главное, – отмечала Ольга Берггольц, – ничего не написано «понарошку», такого, что не пережито, не пропущено сквозь сердце».

«Комсомольское» и лирическое в Корнилове шло как бы вперемешку: «Комсомольцы Сормова, – / ребята – иже с ними./ Я – такой же аховой – /парень-вырви-гвоздь…»/ И в тоже время совсем иное:

Дождевых очищенных миндалин
падает несметное число…
Я пока еще сентиментален,
оптимистам липовым назло.

В 1928 году вышла первая книга стихов Корнилова «Молодость», но свое подлинное начало поэт связывал со сборником «Первая книга» (1931). Затем вышли еще 9 сборников.

Цитировать можно любые строки, от «...Под окном щебечут клен и ясень,/ не понимающие директив» до «...Гремучие сосны летят,/ метель навивает, как пена,/ сохатые ходят,/ рогами стучат,/ в тяжелом снегу по колено».

Корнилов писал яркие стихи: «Ночь, пьяна и молчалива», «Надо мной звереют тучи», «И грудь слезами выпачкав, снова к вербе, к омуту ты уйдешь на цыпочках, покидая комнату», «И над шурум-бурумом в неведомую даль заплавала по струнам хорошая печаль...»

Особенно удачным выдался для Бориса Корнилова 1932 год (лично я к нему неравнодушен: я родился в этот год) – он написал много примечательного, в том числе стихотворение «Интернациональная»: «Про одно про это/ ори друзьям:/ – Да здравствует планета,/ планета рабочих и крестьян!» Но главное – это «Песня о встречном», положенная на музыку Шостаковича, она вошла в фильм Эрмлера «Встречный» и мгновенно стала, выражаясь современным языком, супер-хитом: ее пела без всякого преувеличения вся страна:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня...

Бодрая, звонкая, оптимистическая песня – она выражала настроение тех 30-х грохочущих и созидающих лет (если, конечно, закрыть глаза на репрессии и ГУЛАГ):

Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви!

Тогда казалось многим именно так, все были погружены в гипноз сияющего социализма. Параллельно фильму «Встречный» вышла поэма Корнилова «Триполье», в которой поэт говорил о главном конфликте эпохи – смертельном столкновении старого мира и новых революционных сил.

Осенью 1934 года Николай Бухарин, выступая с обзором поэзии на Первом съезде советских писателей, говорил о Борисе

Корнилове: «У него есть крепкая хватка поэтического образа и ритма, тяжелая поэтическая поступь, яркость и насыщенность метафоры и подлинная страсть. Классовая ненависть внука бедняка, как пес ползавшего перед «тушею розового барина», отстоялась в густой настой стиха: «Эту злобу внука, ненависть волчью/Дед поднимает в моей крови...» У него крепко сшитое мировоззрение и каменная скала уверенности в победе...»

На следующий, 35-год, выходит поэма Корнилова «Африка», которую похвалил Ромен Роллан и определил ее как «отказ от национальных предрассудков» и как «всемирный гуманизм». «Дай на прощанье/ дружеские руки,/ поговорим о горе,/ о разлуке,/ о Пушкине, о славе, о любви».

Корнилов в середине 30-х пишет много о Пушкине, вот отрывок из стихотворения «Пушкин в Кишиневе» (1936): «Знаменитый, /Молодой,/ Опальный,/ Яростный российский соловей,/ По ночам мечтающий о дальней/, /О громадной Африке своей./ Но молчало русское болото,/ Маковка церковная да клеть,/ А туда полгода перелета,/ Да, пожалуй, и не долететь».

Но Пушкин далеко, а рядом друзья-поэты Ярослав Смеляков и Павел Васильев. Эта троица («А был вторым поэт Борис Корнилов») дружила, и об этой дружбе впоследствии написал Смеляков:

Мы вместе шли с рогатиной на слово,
и вместе слезли с тройки удалой,
три мальчика,
три козыря бубновых,
три витязя бильярда и пивной...

У трех витязей судьба оказалась трагичной: Васильев и Корнилов были расстреляны, Смеляков дважды подвергся аресту, но избежал пули. Надежды, которые питали поэты, не оправдались. 9 апреля 1934 года Борис Корнилов писал:

...мы радуемся – мальчики – и плачем,
плывет любовь, воды не замутив,
но все-таки мы кое-что да значим,
секретари райкомов и актив.
Я буду жить до старости, до славы
и петь переживания свои,
как соловьи щебечут многоглавы,
многоязыки, свищут соловьи.

Старости не получилось: Борис Корнилов погиб молодым, в возрасте 31 года. Он начал по-настоящему набирать высоту и его, как птицу, срезали влет. По его же строке: «Что, может быть, судьба – кусок свинца». Наверное, он предчувствовал что-то недоброе, ибо писал: «Вы меня теперь не троньте – / мне ни петь,/ ни плясать – / мне осталось только локти/кусать».

Книга избранных стихов, подобранная Корниловым в 1936 году, осталась в верстке. В октябре того же года его исключили из Союза писателей. 19 марта 1937 года Борис Корнилов был арестован, вначале ему инкриминировали «контрреволюционные, кулацкие взгляды». Не обошлось тут без Николая Лесючевского, директора издательства «Советский писатель», по совместительству «эксперта» НКВД, он написал отзыв о стихах Корнилова, по существу – донос, где тенденциозно препарировал поэтические строчки и вывел из них, что они содержат «наглую клевету на советский строй», «воспевают кулака» и т.д. В вину Корнилову было поставлено даже шутливое стихотворение «Поросята и октябрята»: «В грязь упали октябрята,/ нестерпимо голосят,/ стали хуже поросят...»/ И вывод «специалиста»: «Активное сочувствие оголтелым врагам народа».

Донос лег в папку следственного дела № 23299, а дальше Корниловым занялся следователь-палач с четырехклассным образованием некий Лупандин. Как вспоминал другой подследственный поэт, Николай Заболоцкий: «Брань, крик, угрозы, зверские избиения, циничные реплики («Действие конституции кончается у нашего порога») – вот стиль «общения» этих садистов с подследственными, стиль их «допросов».

Били и Бориса Корнилова и добились «признания», что он принадлежал к троцкистской террористической организации, которое совершило 1 декабря 1934 года убийство Кирова. А тут подоспело решение Политбюро за подписью Сталина «Об антисоветских элементах» и, соответственно, вниз были спущены «дополнительные лимиты» на уничтожение «врагов народа». 20 февраля 1938 года Бориса Корнилова расстреляли.

В 1931 году в стихотворении «Смерть» Корнилов написал: «День за днем,/ и день придет, который/ всё прикончит – и еду и сны;/ дальше – панихида, крематорий,/ все мои товарищи грустны...» Не угадал поэт – никакой панихиды, сбросили тайно, по-воровски, в общую могилу, – и все. Конец.

Убили поэта и реабилитировали посмертно в 1956 году. А через год появился в свет большой сборник «Стихотворения и поэмы», после 20-летнего забвения. А знаменитая песня «Нас утро встречает прохладой...» радостно звучала все эти годы молчания: музыка Шостаковича, слова народные. И новое поколения не

знало, что автор слов песни – Борис Корнилов.

Знают ли сегодня поэта? Ответить не берусь. У Корнилова есть примечательные строки: «Мясистая сажень в плечах,/ а лоб – миллиметра четыре». Это о размножившихся современных амбалах. Они уж точно не читают стихи.

ЛЕТОПИСЕЦ И ЛИРИК

Дмитрий Кедрин

До чего же богата русская поэзия! Сотни – именно сотни! – прекрасных поэтов. От Тредиаковского до наших дней. Мы зацикливаемся на первой десятке (ах, Пушкин! ой, Некрасов! а Ахматова!..) и забываем порой остальных. Но что генералы без пехоты?!.. Один из поэтических пехотинцев – Дмитрий Кедрин.

Не перестаю удивляться бюрократическому языку наших властей. Суконный и вялый, не способный ни зажечь, ни увлечь. Вот нацпроект помощи материнству: мол, плодитесь и размножайтесь во славу России, а мы вам поможем. Не делайте аборты и исправляйте демографическую ситуацию. Но говорится об этом так, что хочется отвернутся и заткнуть уши. Эх, если бы высшие чиновники знали поэзию, тогда бы они непременно процитировали строки Кедрина:

Послушай, а что ты
скажешь,
если он будет Моцарт,
этот не живший мальчик,
вытравленный тобой?

Моцарт... Ломоносов... Гагарин... даже если будет обыкновенный мальчик, здоровый и румяный, как блинчик, резвый, как мячик, – ведь это же замечательно! Но чиновник так не скажет. Он надменен, туп и серьезен. Он листает экономические и политические расклады, ему не до поэзии. Это нам, убогим и сирым, стихи в радость и в утешение.

Вечен ток вдохновенья!
И так, не смолкая, гудит он
Острым творческим пламенем
Тысячелетия ввысь.
Так из солнечной пены
Встает и встает Афродита,
Пена вольного моря,
Которому прозвище – Жизнь.

Это вновь Кедрин. Краткие вехи его жизни. Дмитрий Борисович Кедрин родился 4 (17) февраля 1907 года на Богодуховском руднике в Донбассе. Учился в Екатеринославе (Днепропетровске) в коммерческом училище, потом в техникуме путей сообщения. Рано начал писать стихи и был ведущим поэтом местного объединения «Молодая кузница». С 17 лет профессиональный журналист. В 1931-м переехал в Москву и работал литконсультантом в издательстве «Молодая гвардия». Не случайные названия: кузница, гвардия. И, конечно, Кедрин не мог не отдать дань советскому патриотизму и оптимизму:

Завтра утром мы выстроим город,
Назовем этот город – Мечта.
В этом улье хрустальном не будет
Комнатушек, похожих на клеть.
В гулких залах веселые люда
Будут редко грустить и болеть...

Так хотелось. Так верилось. И так писалось. Известность к Кедрину пришла в 1932 году после стихотворения «Кукла», от которого в восторг пришел Максим Горький. «Кукла» повествовала о бедной девочке, которая жила в мире нищего уюта, где пьют, дерутся и воруют. Поэт горячо сочувствовал девочке и боялся за ее судьбу:

Неужели и ты
Погрузишься в попойку и в драку,

По намекам поймешь,
Что любовь твоя —
Ходкий товар,
Углем вычернишь брови,
Нацепишь на шею – собаку,
Красный зонтик возьмешь
И пойдешь на Покровский бульвар?..

Ну, а далее Кедрин патетически восклицал: разве для такой жизни – «Надрывался Дзержинский, /Выкашливал легкие Горький,/Десять жизней людских/Отработал Владимир Ильич?..» Нет! У девочки должно быть обязательно счастливое детство: «Мы дадим тебе куклу./ Не плачь!»

Тогда в 30-е годы это звучало. Сейчас, увы, нет. Кедрин ценен совсем другими стихами, лирическими и историческими. Вот стихи о сопернике в любви (стихотворение «Поединок»):

Глаза твои лгать не могут.
Как много огня теперь в них!
А как они были тусклы...
Откуда же он воскрес?
Ах, этот румяный мальчик!
Итак, это мой соперник,
Итак, это мой Мартынов,
Итак, это мой Дантес!..

Нет, Кедрин не предлагал никакой дуэли, никакой роковой развязки, а один гуманизм:

Пешком побреду домой.
И лишь закурю дорогой,
Почуяв на сердце горечь,
Что наша любовь не вышла,
Что этот малыш – не мой.

Или знаменитые строки про бродягу – «Есть у каждого бродяги/ Сундучок воспоминаний...»

И когда вода раздавит
В трюме крепкие бочонки,
Он увидит, погружаясь
В атлантическую тьму:

Тонколицая колдунья,
Большеглазая девчонка
С фотографии грошовой
Улыбается ему.

Об исторических стихах скажем позднее, а пока приведем важные строки Кедрина из его записной книжки: «Поэзия требует полной обнаженности сердца. Скрывая от всех свое главное, невозможно стать поэтом, даже виртуозно овладев поэтической техникой.

Поэзия мстит за себя этим людям. Их стихи полны маленьких изюминок, маленьких находок, но как живой ребенок не может состоять из одних ноготков или губок, так не может живое стихотворение держаться на одних этих изюминках. Стихи не срастаются в живой организм, они рассыпаются, у них нет хребта, они не дышат. Не недочетами формы нужно объяснить этот распад, а изъянами смысла, пороками содержания».

Каков сам Кедрин? Это был человек увлекающийся. Если выбирал тему, то нырял в нее с головой. Любил хорошую бумагу, любил писать черной тушью. Почерк у него был разборчивый, красивый, бисерный. До начала войны вышли его замечательные исторические вещи – «Зодчие» (1938), «Песня про Алену-Старицу» (1939), «Конь» (1940), драма в стихах «Рембрандт» (1940). Другая драма «Параша Жемчугова» так и не была закончена. Грянула война. В 1943 году Кедрин добился направления в армейскую газету «Сокол Родины», хотя по состоянию здоровья к военной службе был непригоден. Вел сатирический отдел под псевдонимом Вася Гашеткин. Что касается лирических стихов, то они были чисто кедринские, без пафоса и ура-патриотизма. К примеру, хрестоматийная «Красота»:

Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок...

Войну Кедрин воспринимал сквозь призму истории и культуры: «Война бетховенским пером /Чудовищные ноты пишет»...» Он подбадривал, но это подбадривание выходило печальным:

Засияют окна в каждом доме,
Патефон послышится вдали...
Не печалься: всё вернется – кроме
Тех солдат, что в смертный бой пошли.

Кедрин вернулся с войны живым. У него было множество планов. Надеялся, что жизнь пойдет иная, без страха и напоминаний о 1937 годе. 6 июля 1945 года он пишет приподнятое стихотворение «Приглашение на дачу»:

На Пушкино в девять идет электричка.
Послушайте, вы отказаться не вправе...

...Чудесный денек приготовлен на завтра,
И гром обеспечен, и дождик заказан.

Никто не знает своей судьбы! Заказан был не дождик, а убийство. Через два с половиной месяца, 18 сентября 1945 года, был убит в Тарасовке (недалеко от Пушкино). На его смерть Николай Рубцов (поэт с трагической тоже судьбой) написал стихотворение:

...О, как жестоко в этот вечер
Сверкнули тайные ножи!
И после этой страшной встречи
Не стало кедринской души.
Но говорят, что, во прахе
Он всё вставал над лебедой, —
Его убийцы жили в страхе,
Как будто это впрямь святой.
Как будто он во сне являлся
И так спокойно, как никто,
Смотрел на них и удивлялся,
Как перед смертью: – а за что?

По официальной версии, Кедрина убили хулиганы. По неофициальной – его заказала власть. Его устранили как неудобного, неугодного и опасного (не он первый! не он последний!). Дмитрий Кедрин прожил на год больше Пушкина – 38 лет. И много не успел написать, хотя и написанного достаточно, чтобы войти в пантеон поэтической славы. Прекрасны его «Зодчие»:

Как побил государь
Золотую Орду под Казанью,
Указал на подворье свое

Приходить мастерам.
И велел благодетель,
Гласит летописца сказанье,
В память оной победы
Да выстроят каменный храм!..

Храм был построен, а за работу зодчие получили страшную царскую милость – быдло! что с ними церемониться!..

В этой поэме, как и в других, Кедрин выступает как истинный летописец, выстраивая четкие графические сцены, да так ярко и выпукло, будто сам был свидетелем при этом. Вот история про строителя Федора Коня:

... Конь осерчал. Его обиду
Видали девки на юру,
И он легонечко, для виду,
По шее треснул немчуру.
Хозяин в грязь зарылся носом,
Потом поднялся кое-как...
А Конь с досадой фартук сбросил
И, осерчась, пошел в кабак.

Или его кратковременная работа в Италии, где Коня хвалили и предлагали ему остаться:

«Вы станете великим зодчим,
Живи в Италии у нас!»
Но Федька сквозь хмельные слезы
Ответил: «Где я тут найду
Буран, и русские березы,
И снег шесть месяцев в году?» —
«Чудак! Зачем вам эти бури?
Тут край весны!» – ответил тот.
И Конь сказал: «Моей натуре
Такой климаєт не подойдет!»

Цитировать можно без конца. Строки из «Пирамиды»:

Днем раскаляясь,
Ночью холодея,
Лежал Мемфис на ложе из парчи,
И сотни тысяч пленных иудеев

Тесали плиты,
Клали кирпичи...

Дмитрий Кедрин тоже возводил свои поэтические пирамиды. Только, к горькому сожалению, доработать до конца ему не дали.

НЕПОДКУПНАЯ И НЕПРИМИРИМАЯ

Лидия Чуковская

Отец и дочь вошли в историю русской культуры и литературы, не такой уж частый случай. Но в отличие от Корнея Ивановича, Лидия Корнеевна избрала иной творческий путь и об этом ниже.

Лидия Чуковская – прозаик, поэт, публицист, правозащитник.

И наконец самой собою
Я заслужила право быть.
Стучать о стенку головою,
Молиться или просто выть.

Надежда – поздно, слава – поздно,
Всё поздно, даже быть живой...
Но, Боже мой, как звездно,
звездно...
Лес. Я. Звезда над головой.

Достоевский часто говорил, что у нас святых – полно, а просто порядочных – нет... Лидия Чуковская была просто

порядочным человеком, неподкупным и чистым. Мерилом общественной совести и справедливости. Эту хрупкую, болезненного вида, полуслепую женщину вполне можно было назвать классиком бесстрашного заступничества.

Она родилась 24 марта (7 апреля) 1907 года в Петербурге, в семье, где не только ценили, а боготворила талант. В доме запросто бывали Ахматова, Блок, Горький, Репин, Шаляпин, Гумилев, Маяковский... Она росла среди разговоров о литературе и научилась рано мыслить. В дневнике Корнея Чуковского записан монолог его 7-летней дочери: «Нужно, чтоб все люди собрались вместе и решили, чтоб больше не было бедных. Богатых бы в избы, а бедных сделать богатыми – или нет, пусть богатые будут богатыми, а бедные немного богаче...» И отец комментирует: «Этого она никогда не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым – впервые. Я первый раз понял, какая рядом со мной чистая душа, поэтичная».

Уже будучи взрослой, у Лидии Чуковской состоялся примечательный разговор о народе с поэтом Николаем Грибачевым. Он сказал ей: «Вы считаете, что наш народ глуп». «Напротив, – ответила она, – у меня написано, что наш народ умен, но не осведомлен».

В отличие от многих, Лидия Чуковская была осведомлена о времени и о стране. Осведомлена на личном опыте. В стихотворении «Сверстнику» она писала: «Мерли кони и люди, / Глад и мор, мор и глад./ От кронштадских орудий/ В окнах стекла дрожат./ Тем и кончилось детство./ Ну а юность – тюрьмой». Еще совсем юной Чуковская была заключена в тюрьму, а затем отправлена в Саратовскую ссылку. А вернувшись, поступила в книжную редакцию ленинградского Детгиза, к Самуилу Маршаку. Вышла замуж, родила дочь Елену, рассталась с мужем и вышла замуж повторно за талантливого физика Матвея Бронштейна, друга Льва Ландау. В 1937 году налаженная жизнь рухнула: Детгиз разгромили, мужа Матвея Бронштейна арестовали и расстреляли. Когда, где? Неизвестно. Впоследствии о своем муже она написала книгу «Прочерк» (прочерк, когда ничего неизвестно).

Как «жену врага народа» Лидию Чуковскую должны были арестовать, но так случилось, что она избежала ареста и мужественно (мужественно потому, что это было смертельно опасно) начала писать в стол повесть «Софья Петровна» о сталинском времени, наполненном, с одной стороны, бодрым энтузиазмом, а с другой – леденящим души ужасом. «Софья Петровна» – это такой же литературный памятник эпохе, как и «Реквием» Анны Ахматовой.

Как странно, есть еще живые,
Руками машут, говорят.
Большие, шумные такие,
И не лежат, и не молчат.
Цел мостик, речка вольно плещет,
Туман, где хочет, там плывет.
И не от ужаса трепещет —
От ветра! – тополь у ворот, —

писала Лидия Чуковская в одном из своих стихотворений. После войны жизнь Лидии Корнеевны складывалась трудно. В дневнике она признавалась: «...обваливается на меня вся моя неумелая, жестокая и беспощадная жизнь». И далее: «С ужасом и отвращением перечитываю свои дневники 40-х годов... Какое мое ничтожество, какая постоянная немощь перед жизнью, всегда поражение – денег нет, жилья нет... себя спасти от безоплатной работы, от лохмотьев – тоже не могу. Беспомощно, беззащитно, тщетно, бездарно».

Она судила и корила себя строго, но только тайно, в дневнике. А в настоящей жизни боролась, не сдаваясь, недаром она говорила: «Культура – не один лишь труд, но и борьба». Она много писала, однако лишь в «оттепель» ей удалось издать книгу «В лаборатории редактора», «“Былое и думы” Герцена». Повести «Софья Петровна» и «Спуск под воду» (о новых арестах конца 40-х, о нравственном падении и равнодушии общества) вышли на Западе и значительно позже на родине.

В 60 – 70-е годы Лидия Чуковская проявила высшую меру гражданственности, хлопоча об освобождении Иосифа Бродского, осужденного за тунеядство. Вместе с Фридой Вигдоровой Чуковская яростно боролась за молодого талантливого поэта. В условиях новой реакции Лидия Корнеевна проявила свой блестящий публицистический дар, написав письмо в защиту несправедливо арестованных писателей Синявского и Даниэля. «Идеям следует противопоставлять идеи, а не тюрьмы», – провозгласила Чуковская. В духе герценской публицистики она пишет пламенные статьи «Гнев народа» (1976), «Не казнь, но мысль. Но слово» (1976), а еще ранее знаменитое письмо «Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» (1966), в котором она дала суровую отповедь писателю за его выступление на партийном съезде о том, что хорошо бы таких людей, как Синявский и Даниэль, расстреливать без суда и следствия.

За статью «Гнев народа» по поводу организованной властью травли Сахарова и Солженицына Лидию Чуковскую в январе 1974

года исключили из Союза писателей. Исключили, естественно, единогласно. Лишь Владимир Корнилов написал в Союз возмущенное письмо: «И вы, мужчины, преследуете женщину, защищенную лишь личным бесстрашием. По-человечески ли это? По-мужски?..»

Всё было сделано, однако, не по-мужски, а по-советски. И что значит: быть исключенным из Союза писателей? «Исключенный осужден был жить с кляпом во рту», – горестно отмечала Лидия Корнеевна. Ее не печатали почти 16 лет. Владимир Корнилов написал ей для поддержки духа стихи:

... Были казни, были бури,
Но среди переполоха
В жизни и в литературе
Вы, как целая эпоха.

Перед адом и кошмаром
Вы стояли что есть силы
Петроградским ординаром,
Чтобы нас не затопило.

Знаю, Лидия Корнеевна,
Как нерадостно и трудно
Так стараться ежедневно,
Ежечасно и минутно...

Откуда взялся образ петроградского ординара? Корнилов заимствовал его из книги американца Хедрика Смита «Русские», в которой тот писал, что Чуковская, как ординар, отмеряет уровень нравственности русского общества.

Чуковская ни при каких условиях не сдавалась и продолжала работать. Написала книгу «Процесс исключения» о гонимых советских писателях. Книга вышла на Западе. Там же, за рубежом, была напечатана повесть «Память детства» (у нас в России она вышла лишь в 1989 году). Увидел свет и грандиозный труд Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» – книга разговоров с великим русским поэтом. В ней Лидия Корнеевна воплотила завет своего отца, Корнея Ивановича Чуковского: «Помню, через десятилетия, когда мне было уже не семь, а тридцать, я однажды сказала ему, что часто встречаюсь с Анной Андреевной... В ответ он спросил требовательно-тревожным голосом: «Я надеюсь, ты понимаешь, что следует записывать каждое ее слово...» И, действительно, на века высечено каждое слово, каждая фраза и каждое рассуждение Ахматовой. Лидия Чуковская сотворила то,

что когда-то сделал Иоганн Петер Эккерман в своих воспоминаниях «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни». Чуковская охватила более длительный период: 1938 – 1966 годы.

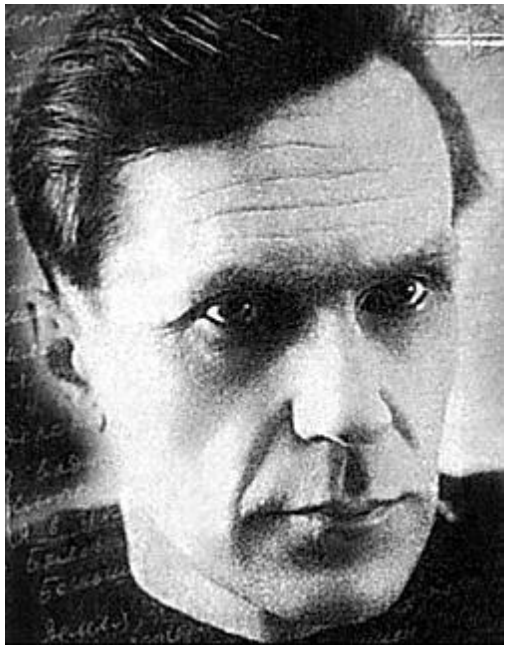
Чуковская оставила нам и воспоминания о Марине Цветаевой – «Предсмертие», о Борисе Пастернаке – «Отрывки из дневника», о Вигдоровой – «Памяти Фриды», написала портрет Андрея Сахарова – «Мощь одинокой тишины». Лидия Корнеевна многое успела сделать за свои почти 89 лет – она умерла 7 февраля 1996 года. В кратком некрологе Александр Солженицын написал: «Ее звенящий неподкупный голос страстного публициста и взыскательного критика звучал во времена всеобщего страха и замирания...»

В заключение приведу короткое стихотворение Лидии Чуковской, написанное в середине 70-х:

Россия уезжает из России...
«Счастливый путь И даже навсегда —
Счастливого пути!»
А нам – беда.
Но и беда не чья-нибудь: России.

Лидия Корнеевна Чуковская писала о литературе, а душа ее болела за Россию.

ИЗРАНЕННОЕ СЕРДЦЕ ШАЛАМОВА



Варлам Шаламов

К 100-летию Варлама Шаламова канал «Россия» показал сериал Николая Досталя «Завещание Ленина». На фоне жизнерадостных Ксюш и Сердючек сериал как ископаемый мамонт, угрюмый и недвижный. Кто-то смотрел его с интересом, кто-то содрогался, а кто-то пустыми глазами. Ни экшена, ни динамики, ни вываливающихся грудей и голых задниц. «Никто ничего не хочет знать», – с горечью писал Шаламов. Все хотят только развлекаться, – добавим мы. И все же поговорим о горьком писателе.

Благодаря сериалу, кто раньше не читал Шаламова, теперь хоть имеют минимальное представление о нем. Великий сиделец великой сталинской эпохи. Вместо биографии краткое упоминание основных вех. Варлам Шаламов родился 18 июня (1 июля) 1907 года в Вологде, в семье церковного и общественного деятеля Тихона Варламова. Учился в Вологде. В 12 лет учительница литературы в гимназии сказала ему: «Шаламов, вами будет гордиться Россия». В Москве поступил в университет на факультет советского права и познал на практике, что «это» такое. 19 февраля 1929 года был арестован и заключен в Бутырки

за распространение «Письма к съезду» Ленина.

В 1932 году вернулся в Москву и занялся журналистикой. В январе 1937-го арестован вновь и приговорен к 5 годам колымских лагерей. В 1943-м – третий арест: 10 лет за антисоветскую агитацию – посмел назвать Бунина русским классиком. После реабилитации вернулся в столицу, жил на пенсию в 72 рубля, сотрудничал с журналом «Москва». Первый поэтический сборник «Огниво» вышел в 1961 году, а в 1978-м грянул гром – в Лондоне на русском языке появились «Колымские рассказы», которые писались в стол. «Его не убивали потому, что сам дох», как выразилась Людмила Зайцева, много лет знавшая и общавшаяся с Шаламовым.

В мае 1979 года он покинул коммунальную квартиру (тяжелые бытовые условия, постоянные скандалы, ухудшающееся здоровье) и переехал в дом инвалидов и престарелых, откуда в январе 1982 года его насильно отправили в интернат для психохроников. Выкатили в кресле, полуодетого, погрузили в выстуженную машину и через всю заснеженную, морозную Москву – неблизкий путь из Тушино в Медведково – повезли в интернат № 32. Естественно, Шаламов простудился и 17 января скончался, не дотянув до 75 лет. Умер на руках чужих людей, глухой, слепой, со сдвинутой психикой (болезнь Меньера), опекаемый сотрудниками КГБ.

Такая вот «планида» Варлама Тихоновича: «Израненное сердце, живая человеческая судьба, кровавые раны души», – как писал он сам.

Колыма, где Шаламову пришлось жить и выживать, – это та же Хиросима, «Освенцим без печей», лагеря Кампучии – зловещие знаки мирового зла. Именно так воспринимал Варлам Шаламов:

Вот она – в кровавых клочьях дыма,
В ядовитой мгле,
Будущая Хиросима
Стала на земле.

Как глазурь – зеленый крик ожога,
Сплавленной в стекло.
Вот она, зловещая дорога,
Мировое зло.

У Шаламова есть рассказ «РУР» (РУР – это рота усиленного режима) о невыносимой жизни на прииске «Партизан»: голод, холод, побои, постоянная угроза расстрела... В связи с этим Шаламов писал:

«Человек не знает себя. Возможность человека к добру и злу имеет бесконечное количество ступеней. Преступления нацистов (могут) превзойти – всегда находится что-то новое, еще более страшное. Дно человеческой души не имеет дна, всегда случается что-то еще страшнее, еще подлее, чем ты знал, видел и понял. Наверное, и способность человека к добру тоже имеет бесконечное количество ступеней. Беда только в том, что человек не бывает поставлен в условия наивысшего добра, наивысшего испытания на добро...»

Вопреки всем лагерным ужасам, Шаламов выжил. Как вспоминает Зайцева, «это был разрушенный, больной человек, который знал себе цену, который никак не мог себя в этой жизни реализовать и точно знал, что его время придет. Он в этом не сомневался ни одной минуточки...»

Шаламов писал каждый день. Прозу и стихи. Стихи писал на протяжении всей жизни, почти до последних дней. «Стихи – это боль, и защита от боли...»

Хрустальные, холодные
Урочища бесплодные,
Безвыходные льды,
Где людям среди лиственниц
Не нужен поиск истины,
А поиски еды,
Где мимо голых лиственниц
Молиться Богу истово
Безбожники идут,
Больные, бестолковые
С лопатами совковыми
Шеренгами встают,
Рядясь в плащи немаркие,
С немецкими овчарками
Гуляют пастухи,
Кружится заметь вьюжная,
И кажутся ненужными
Стихи.

Проза Шаламова лишена всяких иллюзий, в том числе что человек добр. От рассказа к рассказу низость, злобность, коварство, подлость раскрываются всё полнее, и человек опускается всё ниже, – таков закон ада. Это только в песне – «Я другой такой страны не знаю,/ Где так вольно дышит человек». А в ГУЛАГе человек не дышит. Воздух залит свинцом. Один из рассказов Шаламова «Надгробное слово» начинается так: «Все

умерли...»

Лагерь в восприятии Шаламова это – абсолютное зло. Безмерное и бесконечное унижение, превращающее человека в животное. Катастрофическое обесценение человеческого существования, всей личности, смена всех понятий о добре и зле. Перевернутый звериный мир под кумачовым сталинским лозунгом «Труд есть дело чести, дело славы, доблести и геройства». Подневольный труд рабов. «К честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты – до самой смерти. Это выгодно им – этот «честный» труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы» (рассказ «Сухим пайком»).

Двадцать лет провел Шаламов в советских тюрьмах, лагерях и ссылках, «и этот архипелаг нашел в его лице летописца, художника, создателя огромной трагической фрески, в которой нет открытого гнева и бессильного разоблачительства, а есть мощная правда страшной нормы, вдохновившей и организовавшей этот адский эксперимент» (Евг. Сидоров, «Огонек», 22 – 1989).

Запись Варлама Шаламова «Мелочи» (1961):

«Три великих лагерных заповеди: не верь, не бойся, не проси. Каждый отвечает за себя. Не учить товарища, напарника, что ему делать. Всё, что чужая воля – дело не твое. Несложные, но трудные заповеди лагеря, требующие опыта, самообладания, бесстрашия».

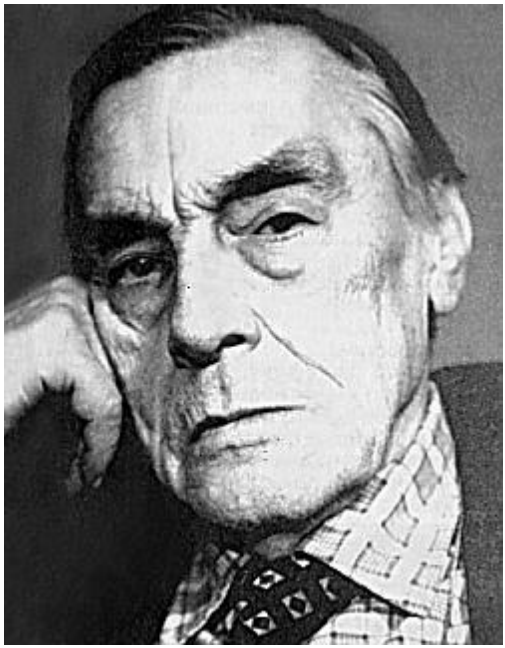
Раба из меня не сделают.
Клейменный, да не раб, —

восклицал Шаламов. И он надеялся, что его колымский опыт, его жизненный путь не пропадет даром: «...Что чей-то опыт, чей-то знак/ В пути мерцал,/ Мерцал в пути, как некий флаг, / Средь мертвых скал».

Для кого-то мерцает, а для кого-то по-прежнему тьма в душе. И в августе 2000 года на Кунцевском кладбище с могилы Шаламова отморозками было похищено бронзовое скульптурное изваяние писателя. Вот вам и «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам...»

Варлам Шаламов – великий сиделец, великий страдалец и не менее великий прозаик и поэт.

НАСЛЕДНИК СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА



Арсений Тарковский

Арсений Тарковский поэт удивительной судьбы и особенного творчества. Среди всяких «измов» он, в прямом смысле, сберег слова русской классической поэзии, сохранил ее словарь, самость истинного русского слова. Он действительно наследник Серебряного века.

Арсений Александрович Тарковский родился 12(25) июня 1907 года в Елизаветограде, который он шутливо называл «Елдабеш». Имел знатную родословную, корни которой уходят к дагестанским князьям Тархи. Его отец – Александр Тарковский был известным народовольцем и участвовал в покушении на харьковского генерал-губернатора. Мальчик Арсений, или, как его звали, Арсик, не унаследовал революционного рвения. Худобедно грыз гранит науки и искренно любил поэзию. Первые его стихи – подражания Сологубу, Северянину, Хлебникову и Крученых. В 17 лет Арсик появился в Москве с тетрадкой стихов и «умением ничего не есть по два дня подряд». Поступил на Высшие литературные курсы и учился стихосложению у Георгия Шенгели (того самого, которого недобро «припечатал» Маяковский). Набирался творческого опыта Арсений Тарковский в газете

«Гудок», где писал стихотворные фельетоны под псевдонимом Тарас Подкова (в «Гудке» в то время блистательно «гудели» Булгаков, Олеша, Катаев, Ильф и Петров).

Молодому Тарковскому удалось поработать и на радио, сочиняя радиопьесы, одна из них – «Стекло» о Михаиле Ломоносове – привлекла внимание рапповских критиков и тут же автора «Стекла» обвинили в мистицизме. Пришлось Тарковскому переключиться на художественные переводы. Начиная с 1932 года Арсений Тарковский выступает как переводчик с азербайджанского, чеченского, туркменского, сербского, польского и других языков. Он был принят в Союз писателей именно как переводчик, а не как оригинальный поэт. Переводчиком Тарковский был классным, стал лауреатом Каракалпакии (перевел эпос «Сорок девушек») и Туркмении. Но допереводился до того, что, по его признанию, «при одной мысли о переводах впадал в депрессию» Об этом Тарковский написал шуточные строки, однако пронизанные настоящей горечью:

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Тарковский переводил стихи других поэтов ради заработка, а свои стихи писал ради души.

Струны счет ведут на лире
Наши древние права,
И всего дороже в мире
Птицы, звезды и трава.

Стихи Арсения Тарковского отмечали Осип Мандельштам и Марина Цветаева (лучших рекомендателей не бывает!). Однажды Тарковский застал Цветаеву за стиркой белья и родились строчки:

... Белье выжимает. Окно —
На улицу настежь, и платье
Развешивает.
Всё равно,
Пусть видят и это распятье...

В декабре 1941 года Арсений Тарковский добровольцем ушел

на фронт, участвовал во многих боях и сражениях, в том числе под Москвой. 13 ноября 1943 года был тяжело ранен. Перенес несколько ампутаций и был демобилизован в звании гвардии капитана. А далее – более 50 лет этот «томный красавец» (как выразился поэт Ваншенкин) прожил одноногим (костыли, протезы), испытывая, естественно, непомерные физические и психологические мучения. Инвалидность при красоте…

Поэтесса Юлия Нейман вспоминает Арсения Тарковского 18-летним времен Литературных курсов: «Что он красив, мы, первокурсницы, заметили сразу. Но своеобразная особость этой черно-белой красоты осознавалась поздней и постепенно. Первый взгляд ухватывал только то, что могло быть присуще любому красивому брюнету: черные крылья бровей на очень белом лбу. И яркий рот…»

Уже позднее, после смерти Тарковского, Константин Ваншенкин вспоминал: «В нем чувствовалась порода, утонченность, он был бледен и красив какой-то сословной дворянской красотой. Он был словно из начала прошлого века, двенадцатого года. Знаете у Цветаевой: «О, молодые генералы?..»

И, конечно, Арсений Тарковский не мог не нравиться женщинам. Женщинам он посвятил одно из своих прекрасных стихотворений «Первые свидания», вот его начало:

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла…

Еще учась на Литературных курсах, женился он на чудесной девушке с тяжелыми белокурыми волосами – Марусе Вишняковой. «Она училась у нас же, на младшем курсе» (Юлия Нейман). Появились дети – Андрей (будущий великий кинорежиссер) и Марина. «И вдруг он понял, что разлюбил Марусю. А раз это случилось – он должен уйти», – такую версию событий дает Нейман. – Он ведь был поэтом, а поэты, как сказала потом Ахматова, «ни в чем не виновны – ни в том и ни в этом…»

Конечно, это была семейная драма. Я учился вместе с Андреем Тарковским и приятельствовал с ним в школе, он никогда ни одним словом ни обмолвился об отце. Они сблизились лишь позднее, когда Андрей сам стал взрослым и

решал уже свои семейные проблемы.

Второй женой Арсения Тарковского стала Антонина Бохонова. Их брак совпал с Отечественной войной. Уйдя на фронт, Тарковский писал жене почти каждый день («Родная моя Тонечка, ласочка, ласточка-сласточка, солнышко мое, детуня» и другие обращения):

Еще идет война; подумай: это – море,
И волны глухо бьют, на миг блеснет броня
И рухнет столб воды, и день настанет вскоре.
Не забывай меня...

Увы, любовь оказалась недолгой. Третьей женой Арсения Александровича стала Татьяна Озерская, переводчица английской классики. Они оставались вместе до конца. И постоянная боль: у каждого было по сыну от прежних браков, и они пережили своих сыновей. Но оставим эту деликатную тему семейных отношений и вернемся к поэзии.

В 1946 году в издательстве «Советский писатель» был подготовлен» к выпуску сборник «Стихов разных лет» Тарковского, подготовлен и не выпущен. Сборник подпал под постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», и весь набор книги был уничтожен. Рецензент Евгения Книпович посчитала, что Тарковский принадлежит к тому же «Черному пантеону», что и запрещенные тогда Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Ходасевич, то есть весь цвет Серебряного века. После этого в течение долгих 15 лет лишь отдельные стихотворения Тарковского появлялись в печати, да и то эпизодически, и он оставался поэтом без книги.

Первый сборник собственных стихов Тарковского «Перед снегом» вышел в 1962 году, когда поэту было 55 лет. Согласитесь, позднее признание. Еще судьбе было угодно, что дебют отца и сына состоялся одновременно: в том же году на экраны вышло «Иваново детство» Андрея Тарковского, и имена Арсения и Андрея Тарковских стали спрягать вместе.

На первую книгу Арсения Тарковского отозвалась Анна Ахматова: «...этот новый голос в русской поэзии будет звучать долго». Как написал позднее об Арсении Давид Самойлов:

Среди усопших и живых
Из трех последних поколений
Ты и Мария Петровых
Уберегли от искушений
И в тайне вырастили стих.

Плотина долгого молчания была прервана, и книги Арсения Тарковского стали выходить одна за другой. Из «Черного пантеона» запрещенных поэтов он перешел в Пантеон славы русской поэзии.

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой.

За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг.

За то, что ты надежды
Уводишь, уходя,
И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

Действительно, строки, занесенные в советское время из Серебряного века: «Я учился траве, раскрывая тетрадь,/ И трава начинала, как флейта, звучать…/ Но зато не унизил ни близких, ни трав…/ Надо мною стояло бездонное небо./ Звезды падали мне на рукав».

Стихи Арсения Тарковского живут в гармонии тепла, любви и ожидания чуда. «На белом свете чуда нет./ Есть только ожиданье чуда./ На том и держится поэт,/ что эта жажда ниоткуда». «У Тарковского есть то, с чего начинается поэт, – своя музыка, – отмечал Семен Липкин. – Он смело и ювелирно-нежно обрабатывает алмазные строки». И вывод: Трагизм без крика – так можно сказать о лирике Тарковского.

Признание и слава пришли к Арсению Тарковскому слишком поздно, он переносил ее стоически. Как человек был достаточно терпим. Не любил конфронтации, острых углов. Никогда не спорил с пеной у рта, а просто молча оставался при своем мнении. Был ироничен. Придумал сочетание «Кафка Корчагин». А

главное, у него была безукоризненная репутация человека высокой порядочности.

Арсений Тарковский прожил длинную жизнь, познав всё – безвестность и славу. И как он писал сам, угасая:

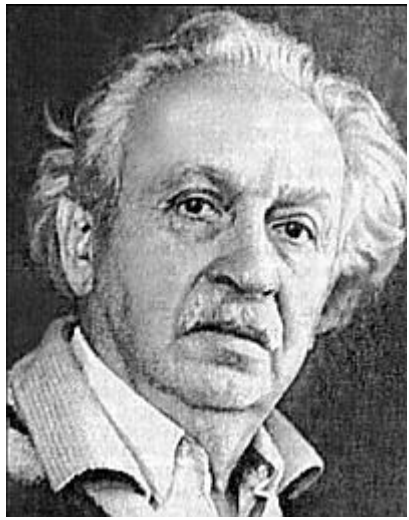
Меркнет зрение – сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами...

И дальше идет пронзительная строчка: «Я свеча, я сгорел на пиру...» Пережитые Арсением Тарковским все горести и беды, жестокое фронтовое увечье, переживания за сына («Твой сын – несчастный и замученный Андрей») и прочие жизненные передряги сломили поэта. Он как-то осунулся и одряхлел. Участились мозговые спазмы. Он мог часами сидеть в своем кресле и молчать. Татьяна Алексеевна тормошила его и просила прочитать какое-нибудь стихотворение. Он читал, еле шевеля губами, и снова уходил в вечность...

«Я бессмертен, пока я не умер...» Смерть пришла 27 мая 1989 года. Арсений Александрович Тарковский не дожил совсем немного до 82 лет. Похоронен он в Переделкине и посмертно был удостоен Государственной премии.

«Соберите мой воск поутру,/И подскажет вам эта страница,/ Как вам плакать и чем вам гордиться...»

БАЛОВЕНЬ ИЛИ БОРЕЦ?



Александр Борщаговский

Александр Борщаговский считал себя баловнем судьбы. Баловень, потому что уцелел, когда на полных оборотах работала машина уничтожения? Или все-таки борец, ибо не прогнулся, не согнулся, не упал от сокрушительных ударов, а продолжал бороться, проявляя характер и волю? Ответим так: конечно, баловень, но и борец, а еще литератор с золотым пером.

Сам о себе Александр Михайлович Борщаговский говорил: «Я действительно считаю себя баловнем судьбы. Она уберегла меня от искушений, от постыдных компромиссов, от малодушия соблазнов...» Словом, неискушенный и убереженный. Он родился 1(14) октября 1913 года в Белой Церкви. Отец – адвокат и журналист, мать – акушерка. Обычная еврейская семья. Школу Борщаговский закончил в Белой Церкви, а в Запорожье – школу ФЗУ паровозоремонтного завода. Хотел водить паровозы и их ремонтировать? Отнюдь. Мерещились не вагоны и рельсы, а литература и театр. Гуманитарное начало возобладало. Учился в Киевском театральном институте, поступил в аспирантуру и написал вышедшую отдельной книгой в 1948 году на украинском языке кандидатскую диссертацию «Драматургия Ивана Тобилевича». Еще написал книги о творчестве Амвросия Бучмы, Ивана Франко и Тараса Шевченко. Создал журнал «Театр» и в 24 года умудрился стать и.о. начальника Главреперткома Украины. Прыткий молодой человек...

Признанным театральным критиком в конце 1946 года переехал из Киева в Москву. Был введен в редколлегию «Нового мира» и одновременно стал зав.литературной частью Центрального театра Красной армии. Казалось, что карьера удалась и впереди лежит прямая дорога к новым далям и свершениям. Наверное, всё было бы так, если бы не «милое тысячелетье» на дворе, как выразился Борис Пастернак. У многих фронтовиков после 1945 года кружилась голова от победы (Борщаговский прошел войну в качестве военного корреспондента и завлита фронтового театра, но сам скромно заявлял: «Я в окопе не лежал, на брюхе не ползал, в атаку не ходил и фронтовиком себя не называю»), и вождь решил поумерить пыл победивших солдат и офицеров, показать им, кто в доме хозяин, и подкрутил гайки, – стоп, машина, хода нет!..

28 января 1949 года в «Правде» появилась огромная редакционная статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Первый удар молотка по головам интеллигенции. Врагов, а точнее козлов отпущения, как вспоминал Борщаговский, искали всюду и везде. Искали у биологов среди «вейсманистов-морганистов», искали в санчасти завода им. Сталина (ЗИС), где было арестовано более 100 человек, искали среди писателей и книжных редакторов – где только не искали! А тут вдруг выяснилось, что среди театральных критиков очень много евреев. Для Сталина это был просто подарок.

«Правда» выделила «великолепную семерку»: пять евреев (Александр Борщаговский, Яков Варшавский, Абрам Гурвич, Ефим Холодов и Иосиф Юзовский), одного армянина (Григорий Бояджиев) и одного русского (Леонид Малюгин). Русского, чтобы чуточку разнообразить национальную компанию? Причем был раскрыт псевдоним Холодова – вовсе не Холодов, а Меерович, сами понимаете кто!..

В «Правде» о Борщаговском, который шел первым номером, было сказано, что он, «умалчивая о произведениях, извращающих советскую действительность и образы советских людей, весь пыл своей антипатриотической критики направил на пьесу А. Софронова «Московский характер» и на Малый театр, поставивший эту пьесу. Тот же А. Борщаговский, который в свое время пытался опорочить пьесу «В степях Украины» А. Корнейчука, вознамерился и ныне ошельмовывать такие произведения, как «Хлеб наш насущный» Н. Вирты, «Большая судьба» А. Сурова и др.»

И далее – «перед нами не случайные отдельные ошибки, а система антипатриотических взглядов, наносящих ущерб

развитию нашей литературы и искусства, система, которая должна быть разгромлена».

Ну, и разгромили.

Тут молодому поколению читателей следует напомнить, что советская власть планомерно уничтожала, вытесняла и замалчивала наиболее талантливых писателей, поэтов и драматургов (Мандельштам, Бабель, Ахматова, Платонов и многие другие), а других, малоталантливых, сереньких, но безоговорочно преданных партии и вождю, оберегала и возвеличивала. Софронов с Виртой и компанией и были такими «священными коровами», на которых посмели поднять руки театральные критики, в том числе Борщаговский.

Статья в «Правде» – как выстрел «Авроры». Сигнал к травле – и понеслось! «Литературная газета» написала, что «двурушник Борщаговский поставил своей целью загородить дорогу всему новому, всему партийному в советской драматургии...» И что? Конечно, должен был обезврежен (в 37-м ликвидировали бы сразу). К первой семерке прибавили еще с десяток фамилий – жертв: Цимбал, Дрейден, Шнейдерман, Янковский...

Судьба театральных критиков была трагичной. Первым умер не названный по недосмотру в «Правде» Иоганн Альтман. В «Записках баловня судьбы» Борщаговский пишет: «Раньше других умер Альтман – сердце, потрясенное безысходностью, безнаказанностью клеветы, измученное судорожными попытками сохранить веру, как-то отделить мразь и черносотенство от святого для него, единственно сущего и дорогого дела революции. Сердце его разорвалось. Он погиб в день, когда узнал, что восстановлен в партии. Он, единственный из семерых, был арестован...»

И Борщаговский продолжает: «Я чувствовал себя виноватым перед Иоганном Альтманом еще до того, как он подвергся аресту. Мне было трудно, иначе и быть не могло; и я был выброшен из партии, выброшен раньше других, но я был молод, беспечен, любим, друзья оставались верны, впереди лежала целая жизнь, мне открылась возможность испытать себя в том, о чем я мечтал и к чему суета жизни меня не допускала. Я исповедовал убеждение, что до 50 лет человек, если он чего-либо стоит, обязан и раз, и два, и три подниматься на ноги, как бы больно ни сшибали его».

Борщаговский выстоял, а вот другие нет. Так называемый отложенный стресс достал их в виде различных болезней (в основном – рак). «Я остался один изо всей упряжки семериком, снаряженной «Правдой» в истязающую дорогу», – констатировал Борщаговский. Даже не дорога, а сплошные ухабы, рытвины и ямы. Из театра уволили. Выселили из служебной квартиры (ул.

Дурова, 13) – документ о выселении подписал помощник Военного прокурора Мосгарнизона майор Мундер, – говорящая фамилия. Вдобавок лишили московской прописки, и семья (жена, двое детей и старуха-мать) оказались на улице. Еле-еле нашли приют в полуподвале у Михаила Вершинина, автора знаменитой песни «Москва – Пекин». Нужда была страшная. Работы не было. Денег не было. И что делать? Борщаговский готов был поехать в сельскую школу преподавать историю или географию, о чем написал в ЦК партии. Цековец по фамилии Головченко возмутился праведным гневом: «Этот Борщаговский хочет, чтобы мы ему доверили воспитание советской детворы! Да у нас скот пасут Герои социалистического труда!» Так что в сельскую школу Борщаговского не допустили.

Чтобы сделал бы любой творческий человек на месте Борщаговского? Запил. Затосковал. Погрузился бы в пучину депрессии. Любой, но не Александр Михайлович. Он пошел в библиотеку, в «Ленинку», попросил соответствующие материалы периода Крымской войны XIX столетия и начал писать исторический роман «Русский флаг». Нельзя было писать о нынешних временах, тогда напишем о прошедших. Через 11 месяцев «Русский флаг» был написан. Все читавшие роман хвалили его (академик Тарле, Константин Симонов, Твардовский), и тем не менее роман отказывали печатать, он вышел в свет лишь после смерти Сталина. О том времени Борщаговский писал: «Жизнь во лжи продолжалась. Ложь размашисто, невозбранно шагала по стране, продолжая коверкать судьбы».

В краткий период оттепели дышать стало легче, табу на имя Борщаговского было снято, и он получил возможность свободно печататься. Вышли романы «Млечный путь» (1968), «Где поселится кузнец» (1975), «Сегень» (1977), «Портрет на памятнике» (1984), «Восстань из тьмы» (1987). Театральный критик стал заправским писателем. Историческим романистом. А еще Борщаговский писал повести («Седая чайка», «Стеклянные бусы» и другие), рассказы («сборник «Ноев ковчег» и др.), пьесы («Жена», «Медвежья шкура», «Король и Шут» и др.) и киносценарии (всего поставлено 12 фильмов), самый лучшие из них – «Три тополя на Плюхище» (1968) с блистательным дуэтом Татьяна Доронина – Олег Ефремов.

Выделим пьесу «Дамской портной» (1980) о массовом убийстве фашистами мирных жителей-евреев в Бабьем Яру. Впервые пьеса была поставлена в Нью-Йорке в 1985 году, в 1991 году у нас вышел фильм (в роли старого еврея – Иннокентий Смоктуновский).

Честь и хвала Борщаговскому за исторический памятник – за трилогию мемуаров – «Записки баловня судьбы», «Обвиняется кровь» и «Пустотелый монолит», в которых Александр Михайлович выступил в трех лицах – очевидца, свидетеля и жертвы. Сам Борщаговский именовал трилогию как документальный детектив. Ничего придуманного. Только документы и факты плюс эмоции и оценки.

«Записки баловня судьбы» (1991) – о том, как громили театральных критиков. «Обвиняется кровь» (1994) – публицистическое расследование о разгроме и гибели Еврейского антифашистского комитета и истреблении лучших представителей еврейской культуры. С лучшим из них – Соломоном Михоэлсом Борщаговский дружил и провожал его в последний путь на перроне отъезжающего поезда «Москва – Минск». Михоэлс с большой симпатией относился к Борщаговскому и смачно переиначивал его фамилию: Борщагивський... Чтобы написать «Обвиняется кровь», Борщаговскому пришлось долго знакомиться со многотомными архивами КГБ – о позорных деяниях чекистов, о пытках, выбитых признаниях и оговорах бедных жертв – себя, друзей и коллег. После чтения архивов Борщаговский возвращался домой с черным лицом.

По поводу создания «Обвиняется кровь» в одном из интервью Борщаговский рассказывал: «Замысел книги возник у меня очень давно. Когда был убит Михоэлс, я не сразу связал этот трагический акт с гонением «безродных космополитов». Но через год-полтора всё соединилось, стало очевидным, что шло глобальное наступление на еврейский интеллектуальный мир. Архивные документы подтвердили мою убежденность в том, что Сталин хотел выкорчевать всю еврейскую культуру, всю, а не только уничтожить некоторых ее творцов или отдельные явления. Срочная, паническая по темпу работа по ликвидации еврейской культуры шла по всем направлениям. В последнюю неделю января 1949 года аресты еврейских писателей и журналистов в Москве, Киеве, Минске, Одессе, Черновцах... приняли массовый характер, – единицы добирались весной и летом того же года...» (ЛГ, 27 окт. 1993).

Не один Сталин ответственен за все эти черные дела. Ему активно помогали многие «подручные партии», и в первую очередь руководитель Союза писателей Александр Фадеев. С подачи Фадеева на партийных собраниях правоверные писатели громили «безродных космополитов», всех этих «нусиновых, феферов, маркишей, квитко, галкиных» и прочих мастеров еврейской культуры. Задвигая одних, выдвигали других своих, с

русской кровью. Верных и преданных. Об одном из них – об Анатолии Сурове поведал в своей книге «Пустотелый монолит» Александр Борщаговский. Суров – это порождение системы, где беззастенчивой ложью и преданностью власти можно сделать любую карьеру. Такую карьеру и сделал «драматург» Суров. Кавычки не случайны: пьесы, шедшие в театрах – «Рассвет над Москвой», «Зеленая улица», «Далеко от Сталинграда», – под именем «Суров» не были написаны им. Их создавали «литературные негры», по тем или иным причинам обязанные Сурову, и, как отмечает Борщаговский, на Сурова работали 4 – 5 еврейских писателей. За «свои» пьесы Суров получил две Сталинские премии и стал раздутой литературной величиной. Руководил газетой «Советское искусство», заседал в многочисленных комиссиях, бюро и неизменно возвышался в президиумах. Монумент. Монолит. Но когда его разоблачили, то, оказалось, он абсолютно пуст. Всего лишь ловкий проходимец, порожденный и взлелеянной системой. Сегодня имя Сурова не найти ни в одном справочном издании. А в 40 – 50-е годы Суров вместе с Софроновым, Первенцевым и другими литературными «орлами» активно разворачивал «охоту на ведьм» – об этом последовательно рассказал Борщаговский в книге «Пустотелый монолит».

Битый-перебитый, тертый-перетертый Борщаговский в последние годы жизни мог быть довольным собой и тем, что сделал в литературе. На вопрос, почему он все-таки недоволен и находится в состоянии душевного смятения, Борщаговский ответил так:

«Причина видится мне одна: стыдная жизнь, жизнь, опустившаяся ниже всех допустимых, всех мыслимых и всех пережитых прежде нравственных отметок и уровней. Именно стыдная: не могу и не хочу подбирать другие, смягчающие ситуацию слова... Нас непрерывно обманывают, нам лгут, и самое малое из всех покушений на нас – это жадное, неодолимо бесстыдное обворовывание народа. Воровство идет целеустремленное, развязное, торжествующее. Всё поставлено на службу лжи, противостоят ей только единицы, отдельные личности, вызывающие чувство благодарности, но заранее обреченные терпеть поражение...» Это было сказано осенью 1999 года.

У меня было несколько встреч с Александром Михайловичем. Ему было далеко за 80 лет, но выглядел он крепко и кряжисто. Голос звучал напористо. На отдыхе на палубе теплохода, где отдыхали сотрудники газеты «Вечерний клуб», он никак не мог, а, может и не хотел, полностью расслабиться и рокотал про

атмосферу духовных погромов 40 – 50 годов. Судя по всему, время не отпускало его: он был весь в том, в горячем прошлом среди арестов, гонений и травли. Какой уж там баловень судьбы. Истинный боец, не забывающий о былых боях. Баловень судьбы лишь в одном: прошел длительную жизнь с любимой женой Валентиной Филипповной, Лялей, как ласково он ее звал. Любимая женщина – понятно, а кто был у Борщаговского любимый персонаж в русской истории? На этот вопрос Александр Михайлович ответил так: «Герцен: он страдал, размышлял и сделал для России бесконечно много. Святая книга – «Былое и думы». Во все трудные времена – а они у меня были – я спасался этой книгой».

Александр Борщаговский умер в 2006 году, в канун Дня Победы на 93-м году жизни. Большая благородная жизнь, наполненная борьбой по самый краешек.

«Я ВЫБИРАЮ СВОБОДУ»

Он судит пошлость и надменность
и потешается над злом,
и видит мертвыми на дне нас,
и лечит на сердце надлом.
И замирает близь и далечь
в тоске несбывшихся времен,
и что для жизни значит Галич,
мы лишь предчувствуем при нем...

Борис Чичибабин. «Галичу»,

1971

Ах, Россия, Расея —
Чем набат не веселье!

Александр Галич. «Китеж»,

1974

Александр Галич

Ошибка автора

Бывают в жизни непостижимые ошибки и проколы: я очень любил песни Александра Галича, но ни разу не видел его «живьем». Я не был вхож в бардовско-поэтический цех и даже не пытался в него войти. Я просто любил магнитофонные песни Галича. Любил заочно, издалека. В то прошедшее время это было настоящей отдушиной, глотком свободы, катарсисом от застоя и одичалости.

По иронии судьбы, вместо живого Галича я увидел могильный крест поэта, драматурга и барда на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем, с надписью «Блаженны изгнани правды ради». Рядом могилы Ивана Бунина, Виктора Некрасова, Андрея Тарковского…

Призывают: спешите делать добро. Говорю и я: обязательно встречайтесь с теми, кого любите. Не опаздывайте!..

Эти записи о Галиче – как искупление личной невстречи.

Советский период

Александр Галич родился 19 октября 1918 года в Екатеринославе. Вообще-то он родился 20 октября, но дядя Галича, известный литературовед-пушкинист Самуил Гинзбург, очень почитал день лицейского братства – 19 октября, и это стало днем празднования рождения маленького Александра, а уже потом этот день утвердился во всех справочниках и энциклопедиях.

Во втором томе «Литературной энциклопедии» (1964) о Галиче написано так: «рус. сов. драматург. Автор пьес «Улица мальчиков» (1946), «Вас вызывает Таймыр» (в соавт. с К. Исаевым, 1948), «Пути, которые мы выбираем» (1954; др. назв. «Под счастливой звездой»), «Походный марш» («За час до рассвета», 1957), «Пароход зовут “Орленок” (1958) и др. Г. написал также сценарии кинофильмов «Верные друзья» (совм. с К. Исаевым, режиссер М. Калатозов), «На семи ветрах» (режиссер С. Ростоцкий) и др. Комедиям Г. свойственны романтич. приподнятость, лиризм, юмор. Г. – автор популярных песен о молодежи».

Итак, романтическая приподнятость. Одну из песен Галича «До свиданья, мама, не горюй!..» пела вся страна. То есть первоначальный настрой: «Главное, ребята, сердцем не стареть…» Так всех нас воспитывали. Таким романтически настроенным

юношей был и Галич, и поэтому он без особых осложнений вписался в интерьер советской жизни. Его ранние стихи заметил и похвалил Эдуард Багрицкий в «Комсомольской правде», а первая публикация была в «Пионерской правде».

В конце 30-х годов Галич одновременно учился в двух вузах, в Литературном институте и на актерском факультете Студии Станиславского. «Перед весенними экзаменами, – вспоминает Галич в автобиографической повести «Генеральная репетиция», – меня остановил Павел Иванович Новицкий, литературовед и театральный критик, который и в институте, и в Студии читал историю русского театра – и характерным своим ворчливым тоном сказал:

– На тебя, братец, смотреть противно – кожа да кости! Так нельзя... Ты уж выбери что-нибудь одно...

Помолчав, он еще более ворчливо добавил:

– Если будешь писать – будешь писать... А тут все-таки Леонидов, Станиславский – смотри на них, пока они живы!

И я бросил институт и выбрал Студию».

Любопытно: на экзаменационном листке Галича председатель приемной комиссии Леонид Леонидов вывел: «Принять. Артистом не будет. Но кем-нибудь обязательно станет».

И все же, прежде чем стать драматургом и поэтом, Галич немного поактерствовал.

«Впервые я увидела 22-летнего Сашу Галича (тогда еще Гинзбурга) в 1941 году перед войной в нашумевшем спектакле «Город на заре». Он играл одну из главных ролей – комсорга строительства ортодокса Борщаговского, превратившего молодежную стройку в концлагерь», – вспоминает Марианна Строева, ныне доктор искусствоведения.

Дальше – фронтовой театр. Параллельное актерство и сочинительство. Знаменитый Александр Таиров заметил молодого драматурга и хотел поставить пьесу Галича «За час до рассвета», но театр был разогнан и эту пьесу позднее поставил Николай Охлопков.

В 1948 году в Театре сатиры с триумфом прошла лирическая и вместе с тем блещущая остроумием комедия Александра Галича «Вас вызывает Таймыр». Знакомые то и дело звонили по телефону и, шутя, говорили: «Вас вызывает Таймыр».

В конце 40 – начале 50-х годов Галич был на пике популярности. Ему хорошо писалось и хорошо пелось (он давно дружил с гитарой). Его пьесы шли во многих театрах Москвы, художественные ленты и мультфильмы демонстрировались на экране, от «Трижды воскресшего» до мультяшки «Упрямое тесто».

Галич – член двух творческих союзов – писателей и

кинематографистов. Его печатают, ставят, читают, смотрят, любят. Он – нарасхват. Он почти всем нравится – «высокий, черноглазый, усатый, какой-то гасконский» (Ольга Кучкина). Эдакий советский мушкетер, только вместо шпаги – перо и гитара. И вдруг...

Антисоветский период

Нам сосиски и горчицу —
Остальное при себе,
В жизни может все случиться,
Может «А», а может «Б»...

Александр Галич

И случилось невероятное: Александр Галич променял сытую, красивую, преуспевающую жизнь на тревоги и хлопоты. Он неожиданно для многих бросил смертельный вызов власти, казавшейся тогда монолитной и неодолимой. Он перестал сочинять фальшиво-светлые комедии и сценарии про советскую действительность и запел о своем народе и о своей стране чистую правду. На фоне официальной лжи она звучала резко и громко.

Старики управляют миром,
Суетятся, как злые мыши.
Им, по справке, выданной МИДом,
От семидесяти и выше.
Откружили в боях и вальсах,
Отмолили годам продленье...
И в сведенных подагрой пальцах
Держат крепко бразды правленья...

С годами к Галичу пришло понимание и прозрение, что это за власть и какова ей истинная цена. «К чиновной хитрости, к ничтожному их цинизму я уже давно успел притереться, – признавался Галич. – Я высидел сотни часов на прокуренных до сизости заседаниях, где говорились высокие слова и обделывались мелкие делишки...»

Но чаша переполнилась, и Галич решительно порвал со своей ролью, как он сам выразился, «благополучного сценариста, благополучного драматурга, благополучного советского холуя. Я понял, что я так больше не могу, что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду».

Чиновники, партбосы и прочие вершители человеческих

судеб стали объектами его яростной сатиры («...что у папаши ее пайки цековские, а по праздникам кино с Целиковскою...») А еще он ненавидел богачей, первачей, палачей...

Пусть другие кричат от отчаянья,
Об обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем – доходней молчанье,
Потому что молчание – золото.
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи! —

так Галич язвил и сокрушался в своем «Старательском вальске». В балладе «Ночной разговор в вагоне-ресторане» Галич сочно представляет историческую картину разоблачения культа личности:

Заявился к нам в барак
Кум со всей охраною.
Я подумал, что конец,
Распрощался матерно...
Малосольный огурец
Кум жевал внимательно.
Скажет слово и поест,
Морда вся в апатии.
«Состоялся, дескать, съезд
Славной нашей партии.
Про Китай и про Лаос
Говорились прения,
Но особо встал вопрос
Про отца и гения».
Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
«Оказался наш Отец
Не Отцом, а сукою...
Полный, в общем, ататуй,
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять на станции!..»

Галич пел про зеков, про лагеря. Его спрашивали: «Александр Аркадьевич, ну не может быть, чтобы вы не сидели в лагере?»

Нет, Галич не сидел, но он явственно видел и ощущал, что лагерь был не только в Магадане, лагерь был везде, повсеместно, в том числе и в Москве, всюду располагался лагерь, где попирались человеческие свободы, где правили бал палачи.

Он иронизировал. Шутил. Но было «от шуточек этих зябко», как говорил персонаж одной из его песен Иван Петрович (разумеется, не Рыбкин).

Несомненно, в Галиче был определенный заряд ненависти, но было в нем и другое, что подметил премудрый академик Дмитрий Лихачев: «Он не злой был… он был больной страданиями народа».

Галич четко различал, что Власть и Россия – не одно и то же. Власть – надутая, чванливая, наглая и без конца и края помпадурствующая. А Россия – бедная, затюканная, исстрадавшаяся людская масса, которая всем своим бедам и напастям противопоставляет свои маленькие радости, для них «готовит харчи «Наркомпит»:

Получил персональную пенсию,
Завернул на часок в «поплавок»…

Или знаменитое:

Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино.
А я цыпленка ем табака,
Я коньячку принял полкило…

Другой вариант:

Я в пивной сижу, словно лорд,
И даже зубы есть у меня!..

И, вообще, «полстраны сидит в кабаках». Ну, а «шизофреники вяжут веники».

Ах, у психов жизнь —
Так бы жил любой!
Хочешь – спать ложись,
Хочешь – песни пой.
Предоставлено
Им вроде литера —

Кому от Сталина,
Кому от Гитлера!..

Это нынешнему поколению покажется, возможно, странным, что вот, де, Галич надрывался, как и Высоцкий, пел и кричал правду, ну, мол, и что?!. Сегодня бедные и обездоленные кричат. Бьются за свои зарплаты и пенсии. Сегодня крик недовольства и правды – рядовое явление. А тогда, в золотые годы социализма и КГБ, молви одно неосторожное словечко – и сразу каюк. Поэтому в те времена мало кто отваживался на критику, в основном все держали фигу в кармане, интеллигенты выпускали пар на кухнях, люди искусства и литературы отводили душу в подтекстах, намеках и аллюзиях. Сколько тогда было храбрых? Да считанные по пальцам единицы (Солженицын, генерал Григоренко да еще несколько имен). Среди этих смельчаков был Александр Галич со своим советом: «Спрашивайте, мальчики, спрашивайте!..»

Идут мимо нас поколенья,
Проходят и машут рукой.
Презренье, презренье, презренье
Дано нам, как новое зренье
И пропуск в грядущий покой...

Александр Галич был опасен царям и псарям социализма, ведь он не хотел жить в неволе и декларировал:

Сердце мое заштопано,
В серой пыли виски,
Но я выбираю свободу
И – свистите во все свистки!

Сначала власти терпели, скрипели зубами, позволяли выступать подальше от столицы, в Академгородках. Галич там выступал с неизменным успехом. В 1968 году на фестивале песни в Новосибирске ему вручили серебряную копию пера Пушкина и почетную грамоту Сибирского отделения Академии наук СССР, где было написано: «Ваше творчество предвосхищает и подготавливает грядущее нашей Родины... и мы восхищаемся не только Вашим талантом, но Вашим мужеством».

Песни

В России были три великих барда: Булат Окуджава, Владимир Высоцкий и Александр Галич. Все три разные, но все замечательные. Тихий и интеллигентный Булат, рвущий душу и гитару Высоцкий, ироничный и язвительный Галич. Но, пожалуй, из всех троих Галич ближе всего к высокой литературе, к настоящей словесности. Песни Галича – явление изначально литературное. В своих песнях-балладах он использовал широкий спектр лексических средств: от возвышенно-торжественных слов до грубо-просторечивых («никаких вы не знали фортелей...»).

«Его поэзия отличалась такой остротой содержания, таким напряжением гражданского пафоса, – свидетельствовала писательница И. Грекова, – что действовала ошеломляюще».

Карусель городов и гостиниц.
Запах грима и пыль париков...
Я кружу, как подбитый эсминец,
Вдалеке от родных берегов...
. . . . . .

(«Старый принц»)

А последний шарманщик – «обломок империи»
Все пылил перед Томкой павлиньими перьями,
Он выламывал, шкура, замашки буржуйские:
То, мол, теплое пиво, то мясо прохладное!
А шарманка дудела про сопки маньчжурские,
И спала на плече обезьянка прокатная.
– Тихо вокруг,
Ветер туман унес...

(«На сопках Маньчжурии»)

Песни Галича распространялись по стране с быстротой эпидемии гриппа. Галичем «заболевали» сразу и надолго. Невозможно было без внутренней слезы слушать его песни, такие как «Облака», «Мы похоронены где-то под Нарвой», «Петербургский романс» и эту, с надсадой:

Уходят, уходят, уходят друзья,
Одни – в никуда, а другие – в князья...

Все три барда – Окуджава, Высоцкий и Галич по-своему выразили эпоху. Как отметила Мария Розанова: «Мы рождались на песнях Окуджавы, зрели и многое понимали на песнях

Высоцкого, а сражались уже под песни Галича». Не без помощи этих поэтов-бардов рухнула ненавистная империя зла. Что произошло дальше, включая сегодняшний день, – не вина поэтов. Вина – капитанов и рулевых, наследников коммунистического прошлого, бросивших корабль «Россия» на рифы и скалы. И это, как говорится, отдельная песня.

Галич – кровный наследник совсем другого – наследник великой русской литературы. В его песнях – отголоски творчества многих выдающихся сатириков – Салтыкова-Щедрина, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Даниила Хармса. И, конечно, он следовал некрасовской традиции, о чем еще заметил Корней Чуковский, – боль за народ. А еще Александр Галич подхватил темы трех других Александров – Полежаева, Блока и Вертинского.

По признанию Александра Меня (боже, сплошные Александры!): «Окуджава пел о простом, человеческом, душевном после долгого господства казенных фраз. Галич изобразил в лицах, в целой галерее лиц, портреты нашей трагической эпохи...»

Если у Булата в песнях часто действуют абстрактные гусары и драгуны, музыканты и скрипачи, то у Галича – вполне конкретные люди с точным социальным адресом. Пьяный истопник, поведавший историю про физиков, которые «на пари раскрутили шарик наоборот»:

И то я верю, а то не верится,
Что минует та беда...
А шарик вертится и вертится,
И все время не туда!..

Или Галич поет про «останкинскую девочку» Лену Потапову, милиционершу, которая неожиданно для всех вышла замуж за африканского принца. Про директора антикварного магазина № 22 Копылова, попавшего в психиатрическую больницу. Или вот Клим Петрович Коломийцев, мастер цеха, член парткома и депутат горсовета, выступающий на митинге:

Вот моргает мне, гляжу, председатель:
Мол, скажи свое рабочее слово!
Выхожу я, и не дробно, как дятел,
А неспешно говорю и сурово:
«Израильская, – говорю, – военщина
Известная всему свету.
Как мать, – говорю, и как женщина
Требую их к ответу!
Который год я вдовая —

Все счастье – мимо,
Но я стоять готовая
За дело мира!
Как мать вам заявляю и как женщина!..»

Галич остроумно показал, как из людей делали говорящих марионеток: они говорили то, что им подсказывала в своих интересах власть.

А как едко высмеял Галич прочность советской семьи в песне «Красный треугольник»:

А вернулась, ей привет – анонимочка,
Фотоснимок, а на нем – я да Ниночка!
Просыпаюсь утром – нет моей кисочки,
Ни вещичек ее нет, ни записочки...

В песнях Галича отображена вся наша прежняя жизнь в ее искореженных реалиях и подчас анекдотических деталях.

Евреи

Я папаше подношу двести граммчиков,
Сообщаю анекдот про Абрамчиков...

Александр Галич

Галич был евреем по рождению, он родился в семье Аркадия и Фейги Гинзбург. Но рос неверующим, а в юные годы был отчаянным комсомольцем и атеистом. В семье в иудаизм верил только дед Галича, читавший по ночам Тору. Сам Галич в зрелые годы говорил: «Если когда-нибудь я поверю, то приму только православие. Еврейская вера хороша, но слишком сурова». И тем не менее в песнях Галича евреи появляются довольно часто. Он откровенно презирал холуйствующих евреев:

Если ж будешь торговать ты елеем,
Если станешь ты полезным евреем,
Называться разрешат Росинантом,
И украсят лапсердак аксельбантом.
Но и ставши в ремесле в этом первым,
Все равно тебе не быть камергером,

И не выйти на елее в Орфеи...
Так не шейте же вы ливреи, евреи!

Галич понимал не только внешне, но и изнутри проблему антисемитизма в стране. Вот, к примеру, пассажик из «Веселого разговора»:

Всех отшила, одного не отшила,
Называла его милым Алешей.
Был он техником по счетным машинам,
Хоть и лысый, и еврей, но хороший.

Ах, этот милый, так называемый бытовой антисемитизм. Диалог в «Вальсе-балладе про тещу из Иванова». Теща с дочерью о зяте: « – Сам еврей? – А что? – Сиди, не рыпайся. Вон у Лидки без ноги да с язвою...» А тут, вроде, с ногами и без язвы, но вот, однако, червоточина: еврей. А вот горько-смешная история, рассказанная Галичем о русском майоре, который потерял документы и решил шутки ради назваться евреем, на что органы пришли в ярость:

Мы тебя не то что взгреем,
Мы тебя сотрем в утиль!
Нет, не зря ты стал евреем,
А затем ты стал евреем,
Чтобы смыться в Израиль!

Рассказывая о злоключениях евреев в России, Галич оставался не «жильцом», а сыном Отечества, которое он очень любил и никуда из него не собирался выезжать, тем более для того, чтобы «жрать свою мацу» в Израиле.

Жены

Ныне публикация без женщин – считай материал в корзину, об этом еще точно определил еще сам Галич:

А как вызвали меня, я свял от робости,
А из зала мне кричат: «Давай подробности!»
Все, как есть,
ну, прямо, все, как есть!..

«Все, как есть» – не хочу. А вот коротко скажу: официально Александр Галич был женат дважды: первая жена – красавица, актриса Валентина Архангельская. Вторая – Ангелина, племянница легендарной Матери Марии, из дворянского рода Караваевых. Женщина умная, тонкая, образованная, она забросила все свои дела ради творчества Галича и его самого. Она буквально растворилась в нем.

Ангелина Николаевна (Нюша – в быту) никогда не устраивала сцен ревности вечно молодящемуся Галичу. Она действовала иначе. Когда Галич в окружении щебечущих поклонниц отправлялся в Дом творчества ВТО, она выбирала самую опасную, на ее взгляд, соперницу и невинно просила ее проследить за Сашей: «Я на вас очень надеюсь! Вот это лекарство надо давать каждые полчаса, оно предотвратит сердечный приступ. Заранее вам благодарна. Сашенька – такой легкомысленный, не думает о своем здоровье...»

Такой прием действовал безотказно.

Галич по натуре был увлекающимся человеком. «В романе с женщиной для него был важен не результат, а процесс, – рассказывает дочь поэта Алена Архангельская-Галич. – Он пользовался у женщин огромнейшим успехом. Он умел себя держать, умел разговаривать. Был такой смешной случай – мы пришли в комиссионку покупать мне пальто, и папа просит меня отойти в сторону, чтобы он мог разговаривать с продавщицей «нежно-половым» голосом. И продавщицы таяли и вынимали замечательные вещи из-под прилавка. И тогда папа подзывал меня...»

Юрий Нагибин в своем дневнике оставил такую характеристику Александра Галича: «Он был пижон, внешний человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадник, а сыграть ему пришлось почти что короля Лира – предательство близких, гонения, изгнанье...»

Гонения

«В шестьдесят восьмом году, – рассказывает Галич, выступая на Западе, – мне было запрещено выступать публично. В Советском Союзе, кстати, нет такой формулы «запрещено». Мне было «не рекомендовано» *(смех в зале)*. Меня вызвали в соответствующую инстанцию и сказали: «Не стоит. Не стоит... Мы не рекомендуем». Я продолжал выступать в разных квартирах у моих друзей. Иногда даже у совсем незнакомых людей: кто-нибудь из друзей меня туда звал, и я выступал...»

Галичу не только запретили выступать публично в

общественных залах, но и сняли его имя с титров фильма, где он был автором сценария. С указания высокого партийного начальства Галича исключили из Союза советских писателей 29 декабря 1971 года. «Когда и почему свихнулся Галич? – писала «Неделя». – По времени это случилось в начале 60-х годов, когда он практически бросил литературную работу и занялся сочинительством и исполнением под гитару полублатных, а чаще клеветнических песен. Причины? Может быть, творческий срыв? Заниматься сомнительным стихоплетством, конечно, легче, чем писать драмы, а клеветать, разумеется, проще, чем критиковать... Или кризис моральный? Пьянки, дебоши, неразборчивые амурные связи Галича. В мае 1968 года секретариат московской писательской организации предупредил Галича. Ему дали время образумиться. Но Галич не унимался...»

Вот так грязно и разнузданно писали об Александре Галиче. Злопыхал главный редактор махрового «Огонька» Анатолий Софронов: «Галич был и остается обычным блатным антисоветчиком». Обидные слова в адрес поэта и барда бросил Алексей Арбузов: «Галич был способным драматургом, но ему захотелось еще славы поэта – и тут он кончился!»

Кто-то назвал Галича даже «мародером». Позднее Галич ответил: «Историки разберутся – кто из нас мародеры...» Но вся эта лавина зубодробительной критики была предсказана самим бардом:

И лопается терпенье,
И тысяча три рубак
Вострят, словно финки, перья,
Спускают с цепи собак...

Постыдная история. Кто-то безропотно выполнял волю сверху, кто-то хотел быть святее папы римского, а кто-то поливал грязью исключительно из-за литературной зависти, впрочем, такой расклад наблюдался и ранее при линчевании Бориса Пастернака. Кстати, одно из лучших стихотворений Галича посвящено опальному поэту:

«Мело, мело по всей земле,
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела».
Нет, никакая не свеча,
Горела люстра!
Очки на морде палача

Сверкали шустро!
А зал зевал, а зал скучал —
Мели, Емеля!
Ведь не в тюрьму и не в Сучан,
Не к «высшей мере»!
И не к терновому венцу
Колесованьем,
А как поленом по лицу —
Голосованьем!..

Три инфаркта – цена гонения Александра Галича. И надо вспомнить, что его отлучили не только от Союза писателей, но и от Литфонда и от медпомощи. Естественно, ему, больному человеку, сердечнику, в последние годы было худо физически и психологически.

К 1973 году жизнь Галича стала совсем невыносимой. Норвежский театр, зная его бедственное положение, прислал ему приглашение на семинар по творчеству Станиславского. Но ничего из этой благородной затеи не вышло: Галича несколько раз вызывали в ОВИР и столько раз ему отказывали в поездке. Наконец его вытолкнули из страны по израильской визе. Ему предложили в десять дней уехать из Советского Союза, сказали, что либо он уезжает за рубеж, либо остается в СССР, но едет на Север. То есть: эмиграция или высылка! Такая вот «добровольность» перемещения!..

Что ж, прощай, мое Зло, мое доброе Зло.
Ярым воском закапаны строчки в псалтири,
Целый год благодати в безрадостном мире —
Кто из смертных не скажет, что мне повезло?!
Что ж, прощай, мое Зло!..

Эти строки из стихотворения «Заклинание добра и зла», написанного в Москве 14 июня 1974 года. А уже в Норвегии Галич написал так:

Мы бежали от подлых свобод,
И назад нам дороги заказаны.
Мы бежали от пошлых забот
Быть такими, как кем-то приказано.

И горький вздох-вывод: «Мы тождественны в главном – мы

беженцы...»

Перед отъездом Александр Галич принял православную веру. Обряд крещения совершил Александр Мень. «И в первом же разговоре, – вспоминал отец Александр, – я ощутил, что его «изгойство» стало для поэта не маской, не позой, а огромной школой души... Его вера не была жестом отчаяния, попыткой куда-то спрятаться, к чему-то примкнуть, лишь бы найти тихую пристань. Он много думал. Думал серьезно. Много пережил. Христианство влекло его...»

Разуверившись в земных ценностях, Галич искал «доброго Бога»:

Он снимает камзол, он сдирает парик.
Дети шепчутся в детской: «Вернулся старик».
Что ж – ему за сорок, немалый срок,
Синева, как пыль, – на его губах...
«Доброй ночи, Бах», – говорит Бог,
«Доброй ночи, Бог, – говорит Бах,
Доброй ночи!..»

Таможенник на границе не хотел пускать Галича с крестом в самолет. Последнее унижение. Но Галич настоял на своем и не снял крест. Изгнанный, но не побежденный, он взошел на трап авиалайнера.

Александр Галич покинул родину 24 июня 1974 года, в этот печально-знаменательный для себя день он записал: «Сегодня собираюсь в дорогу – в дальнюю, трудную, извечно и изначально-горестную дорогу изгнания...»

В начале он уехал в Норвегию, затем жил некоторое время в Мюнхене, а потом в Париже.

Как могу я не верить в дурные пророчества:
Не ушел от кнута, хоть и бросил поводья.
И средь белого дня немота одиночества
Обступила меня, как вода в половодье...

На Западе

По свидетельству дочери, на Западе Александр Галич отнюдь не бедствовал: «У него было все – признание, пластинки, книги, концерты, у него было даже две работы – радио «Свобода» и еще он редактировал в английской энциклопедии раздел русской поэзии. Он был достаточно обеспеченным человеком, у него была

прекрасная квартира...»

Прервем цитату и отметим, что на Западе вышли сборники его стихов «Песни», «Поколение обреченных», «Когда я вернусь...», а также автобиографическая книга «Генеральная репетиция» (1974). А теперь довершим цитату дочери Алены: «Но у него постоянно было ощущение не своей жизни».

Можно сказать так: Галич был очень русским человеком и очень связанным с прошлым и настоящим своего народа, он был, как говорится, плоть от плоти его. Свои передачи на радиостанции «Свобода» Галич начинал с песни «Когда я вернусь...» Эта песня была его позывными.

Когда я вернусь...
Ты не смейся, когда я вернусь,
Когда пробегу, не касаясь земли,
по февральскому снегу,
По еле заметному следу – к теплу
и ночлегу —
И вздрогнув от счастья, на птичий твой
зов оглянусь —
Когда я вернусь.
О, когда я вернусь!..

Он не вернулся. Вернулись лишь его стихи, песни и книги.

Смерть

15 декабря 1977 года – последний день жизни Александра Галича (он прожил 59 лет и без четырех дней два месяца). В тот последний день он приобрел радиоприемник «Грюндик» и страшно радовался своему приобретению. Жене Ангелине, ушедшей из дома за сигаретами, сказал: «Вернешься, услышишь необыкновенную музыку». Он любил «чистый», бархатный звук.

Когда жена вернулась, Галич был мертв. Он лежал с обугленной полосой на руке и зажатой в кулаке антенной. Смерть от несчастного случая? Такова была официальная версия врачей. Неофициальная версия: убрали спецслужбы. Вместе с КГБ почему-то называли и ЦРУ.

Что произошло на самом деле, мы не узнаем никогда, ибо уход Галича был из того самого разряда загадочных и таинственных смертей (если хотите: от президента Кеннеди до генерала Рохлина).

Лев Копелев сказал наиболее точно: «Умер на чужбине чужой

смертью».

Вот звенит прощальный звон,
Вот звенит прощальный звон,
Вот звенит прощальный звон,
Бьют колокола...
Первый сон, последний сон...
Так и жизнь прошла!

Так заканчивается одно из последних стихотворений Галича «Там, в заоблачной стране...»

Ангелина Николаевна, жена Галича, погибла через 9 лет при очень странных обстоятельствах: якобы, от незатушенной сигареты начало тлеть одеяло, а далее смерть от удушья. А в результате: ушла из жизни важная свидетельница жизни и кончины Александра Галича. Примечательно: со смертью вдовы исчез и архив поэта. И концы в воду...

Эпилог

Конечно, у каждого времени свои певцы и песни. Выросло новое поколение. Но нельзя забыть Галича. Он – часть нашей истории. Он был, как выразился Леонид Плющ, Гомером опричного мира. А Владимир Буковский продолжил: «Каждая его песня – это Одиссея, путешествие по лабиринтам души советского человека».

В разгар всемирного угарища,
когда в стране царили рыла,
нам песни Александра Галича
пора абсурдная дарила, —

писал Борис Чичибабин. А вот строки и самого Александра Галича:

А наше окно на втором этаже,
А наша судьба на виду...
И всё это было когда-то уже,
В таком же кромешном году!..

...А что до пожаров – гаси не гаси,
Кляни окаянное лето —
Уж если пошло полыхать на Руси,

То даром не кончится это!..

Когда это написано? В ноябре 1971 года, а звучит устрашающе актуально. Гомера нет. Разрушена советская Троя. А мы – все беженцы в новом «кромешном году». Таков печальный итог российской мистерии. Утешает одно: итог не окончательный, а лишь промежуточный. И слава Богу, Александр Галич нисколечко не устарел. Он звучит жгуче свежо.

ПОЭТ, МЕЧТАТЕЛЬ И ВОИН

Павел Коган

Павел Коган. О нем в Литературной энциклопедии сказано так: «В стихах К. – яркая поэтическая исповедь молодого поколения участников Великой отечеств. войны, «мальчиков невиданной революции» (1966). Вроде бы правильно, но требует расшифровки.

Еще раз обратимся к Лит. энциклопедии. В ней два Когана: Петр и Павел (как два апостола?). Один – представитель новой советской литературной школы (одна из его работ – знаменитые «Очерки по истории древних культур»). Другой Коган – Павел – представитель новой советской литературы, из «молодых поэтов нового течения» (Михаил Кульчицкий), и еще одно определение: из поколения «мальчиков из страны Гайдара» (Бенедикт Сарнов). А я сказал бы так: из поколения молодых людей, брошенных в горящую топку истории.

Мы научились платить сполна
нервами и кровью своей
за право жить в такие года,
за ненависть и любовь, —

так считал Павел Коган. Он, как и многие другие молодые поэты, и заплатил сполна. Погиб на войне. А мог бы, выжив, погибнуть позднее, к примеру, в подвалах Лубянки: уж очень ярок и прыток, – таких режим откровенно не любил и побаивался.

Многие ровесники (Наровчатов, Самойлов и другие) дожили до седых волос. Приобрели горький опыт жизни в тоталитарной стране и прозрели. А Павел Коган не дожил до зрелости и не успел понять, что к чему. Так и умер романтиком советской закваски:

Я – патриот. Я воздух русский,
я землю русскую люблю…
Но мы еще дойдем до Ганга,
но мы еще умрем в боях,
чтоб от Японии до Англии
сияла Родина моя.

Явственный отзвук идеи мировой революции, желание: «Я хату покинул,/ Пошел воевать,/ Чтоб землю в Гренаде/ Крестьянам отдать…» (Светлов).

Биография Павла Давыдовича Когана весьма короткая. Родился 4 июля 1918 года в Киеве, в еврейской семье. В 1936 году в 18 лет поступил в престижный МИФЛИ. В 1939 – в Литературный институт. Литературные учителя? Их много – от Пушкина до Багрицкого, от Байрона до Киплинга. Давид Самойлов познакомился с Коганом, когда тому было 20 лет, и вспоминал о нем: «Нахмурив густые брови, чуть прищурив глаза, он уверенно читал стихи, подчеркивая ритм энергичным движением худой руки, сжатой в кулак».

Какие стихи читал Коган? Может быть, эти? —

Поэт, мечтатель, хиромант
Я по ладоням нагадал
Ночных фиалок аромат
И эту нежность на года…

Или, наверное, другое – стихотворение «Гроза» (1936) с концовкой-вызовом:

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!

Современники Павла вспоминают его, сухощавого и угловатого юношу, удивительно жизнелюбивого и страстного в своих жестах и суждениях. Его глубоко запавшие каре-зеленые глаза постоянно вспыхивали дерзостными огоньками.

Осенью 1938-го к мэтру, к Сельвинскому, пришла троица поэтических мушкетеров – Павел Коган, Сергей Наровчатов и Давид Самойлов. «Пили чай с сушками и разговаривали до поздней ночи. Илья Львович признал нас поэтами» (Д. Самойлов).

Поэтом-то Сельвинский назвал Когана, но ведь он ни одного стихотворения при жизни не напечатал. Он читал только свои стихи друзьям и товарищам, и они их многие знали наизусть. А «Бригантина», положенная на музыку другом Павла Жорой Лепским, пользовалась огромной популярностью.

И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза —
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина подымает паруса...

...Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза...
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина подымает паруса.

«Бригантина», конечно, была навеяна «Алыми парусами». Мотивы Александра Грина. «Снова месяц висит ятаганом,/ На ветру догорает лист./ Утром рано из Зурбагана/ Корабли отправляются в Лисс...» И концевые строки этого стихотворения:

Мы поднимем бокал за Грина
И тихонько выпьем за Лисс...

То есть в душе Павел Коган был мечтателем чистой воды. Романтически настроенным юношей:

В этих строках всё: и что мечталось
И что плакалось и снилось мне,
Голубая майская усталость,
Ласковые песни по весне,
Дым, тоска, мечта и голубая
Даль, зовущая в далекий путь,
Девочка (до боли дорогая,
До того, что хочется вздохнуть)...

И концовка стихотворения:

Ой, как мало, в сущности, написано,
Ой, как много, в сущности, писал!

16 лет – и много писал! Сердце трепетало от поэтического вдохновения!.. И вот этому романтику пришлось жить в суровое время советских пятилеток, где требовалась иная романтика – не мечтателя, а строителя социалистических буден, да еще в стране, якобы, окруженной одними врагами (СССР как форпост свободы и социальной справедливости, как авангард всего прогрессивного человечества – если использовать пропагандистские клише). А всё это требовало совсем других песен, громких и мужественных, без всяких лирических взрыдов.

По воспоминаниям Наровчатого, Павел Коган «был одним из первых застрельщиков молодых энтузиастов искусства, поставившего себе целью духовную подготовку народа к борьбе с нашими заклятыми врагами» (цитата по книге «Павел Коган. Стихи. Воспоминания о поэте. Письма», 1966).

Из характеристики по семинару Сельвинского, июнь 1941 год: «Павел Коган. Активен. Очень культурен. Поэтически высоко принципиален...»

Не случайно определение «активен». Одно из стихотворений Когана так и начинается: «Выходи. Колобродь. Атаманъ...» Общественная активность активностью, а любовь любовью, и Павел Коган тоже хотел любви. «По переулку у Мясницкой/ простая девушка идет...» («Поговорим о счастье»). Первая любовь, первая ревность, первое страдание, первое желание «забыться» с друзьями:

И мы с тобою сядем
У стекла, глядящего в ночь.
Из ящика со стихами
Я вытащу осторожно
Бутылку, наверно, рома,
А может быть, коньяку.

Когда грянула Великая Отечественная война, Павлу Когану исполнилось 23 года. Перед началом войны поэт чувствовал приближавшиеся раскаты грома, и сказал одному из студентов МИФЛИ: «Я с нее не вернусь, с проклятой, потому что полезу в

самую бучу. Такой у меня характер».

У Павла Когана не было сомнений в выборе. Выбор был один: добровольцем на фронт! Защитить родину и умереть. Об этом говорят все немногие письма, которые он посылал родным и друзьям в перерывах между боями, хотя где-то в глубине души он надеялся вернуться с войны и написать о ней книгу: «Я не волнуюсь: каждая пылинка моего века удивительно прилипает ко мне. Какую книгу мы с тобой напишем… (декабрь 1941)

В другом декабрьском письме: «Я очень бодр. Я знаю, что у меня хватит сил на всё…»

12 марта 1942 года: «И вот за то, чтоб на прекрасной нашей земле не шлялась ни одна гадина, чтоб смелый и умный народ наш никто не смел называть рабом, за нашу родину, за нашу с тобой любовь я и умру, если надо…»

Обращаясь к матери: «Только здесь, на фронте, я понял, какая ослепительная, какая обаятельная вещь – жизнь» (май 1942).

И, наконец, одно из последних писем: «Я верю твердо, что будет всё. И родина свободная, и Солнце, и споры до хрипоты, и наши книги…» (июль 1942).

И победа, и солнце, и книги – всё сбылось. Только вот в спорах до хрипоты поэт Павел Коган уже не участвовал. Лейтенант Павел Коган погиб 29 сентября 1942 года на сопке «Сахарная» под Новороссийском. Он возглавил поиск разведчиков и в полный рост пошел под пули. Он прожил 24 года с небольшим. Незадолго до гибели Коган писал:

Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь.
. . . . . .
И, задохнувшись «Интернационалом»,
упасть лицом на высохшие травы,
и уж не встать…

Он и не встал. Так литература потеряла своего безусловно талантливого сына. В этой связи следует вспомнить стихи, которые написал Павел Коган в 19 лет:

Мне было жутко, когда кончилось детство.
Мне тоскливо, что кончается юность,
неужели с грустью встречу старость
и не замечу смерть?

Старость поэту встретить не пришлось. Осталась

незаконченной поэма «Первая треть» (1939 – 1941) и ее разбирать не будем. Отметим другое: как у всех талантливых поэтов (избегаю слово «гениев»), у Павла Когана была сильно развита интуиция, предчувствие, предвидение будущего (как у Блока, к примеру). И в этом смысле достаточно вчитаться в его «Монолог», написанный в 1936 году:

Мы кончены. Мы отступили.
Пересчитаем раны и трофеи.
Мы пили водку, пили «ерофеич»,
Но настоящего вина не пили.
Авантюристы, мы искали подвиг,
Мечтатели, мы бредили боями,
А век велел – на выгребные ямы!
А век командовал: «В шеренгу по два!»
...Мы кончены. Мы понимаем сами,
Потомки викингов, преемники пиратов:
Честнейшие – мы были подлецами,
Смелейшие – мы были ренегаты.
Я понимаю всё. И я не спорю.
Высокий век идет высоким трактом.
Я говорю:
«Да здравствует история!»
И головою падаю под трактор.

Товарищ Павла Когана по ифлийской поре Семен Фрейлих утверждал в конце 80-х годов, что это – «главное стихотворение поэта», что «Павел Коган предчувствовал не только войну, но и 1937 год», что «стихотворение «Монолог» было актом сопротивления режиму, проявлением чувства превосходства над ним».

Что остается добавить? Стихи Павла Когана увидели свет только в конце 50-х годов, а первый сборник стихотворений вышел в 1966 году, ну, а дальше переиздания, воспоминания, цитирование...

Бригантина неизменно поднимает паруса, и постоянно хочется говорить и спорить, даже в отсутствие ее капитана Павла Когана. Листать книги, читать стихи, размахивать руками...

КЛОУН СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

Николай Глазков

Как удивительно порой меняются авторитеты! Не так давно, в советский период, тиражировалась своя звучная обойма имен: Сурков, Тихонов, Матусовский, Ошанин и прочие. В наши дни о них вспоминают всё меньше, зато на слуху другие поэты – из бывшего второго-третьего и других дальних рядов, все те, кто раньше пребывал в тени обласканных властью поэтов. Сегодня они вырвались из тьмы забвения. Один из них – Николай Глазков.

Он родился 30 января 1919 года в городе Лысково Нижегородской губернии (умер 1 октября 1979 года в Москве, в возрасте 60 лет). Отец – адвокат, был репрессирован в 1938-м. Мать – учительница немецкого языка. Учился в трех институтах – в Московском педагогическом, в Литературном и в Горьковском педагогическом. Немного поработал учителем в провинции. В 1944 году вернулся в Москву. Работал грузчиком, носильщиком, пильщиком дров. Увлекался историей и географией, геологией и минералогией, шахматами и плаваньем.

Волжанин по рождению, Глазков более 50 лет прожил в Москве на Арбате. Это был удивительный человек. Поэт, эссеист, актер (летающего мужика в «Андрее Рублеве» помните?), шахматист, боксер... «Глазков, – сказал о нем Евгений Евтушенко, – это русский Омар Хайям, но из нашего века, где существуют атомные бомбы и бюро пропусков...» Глазков был настоящий «анфан террибль» литературных Союзов.

Я иду по улице,
Мир перед глазами,
И стихи стихуются
Совершенно сами.

Глазков – яркий пример того, как талантливый человек не может жить в тоталитарной системе, выламывается из нее. Каждый находил тогда себе нишу. У Глазкова была своя: ниша юродивого поэта, философа и клоуна одновременно:

Я поэт или клоун?
Я серьезен иль нет?
Посмотреть если в корень,
Клоун тоже поэт.

Глазкова долго не печатали: не певец, не фанфарист власти, а ерник и циник, как считали чиновники от литературы. Первый сборник Глазкова вышел лишь в 1957 году, когда поэту было 38 лет, и вышел не в московском издательстве, а в калининском и назывался «Моя эстрада». Чиновники тайного смысла названия не поняли.

Да здравствуют мои читатели,
Они умны и справедливы!
На словоблудье не растратили
Души прекрасные порывы.

Надо отметить, что, хотя Глазков поздно пришел в официальную литературу, среди читающей публики он был известен давно, стихи его передавались из уст в уста.

Мне простите, друзья,
За милую странность,
Но не выпить нельзя
За мою гениальность!

В 1940 году Глазков собрал полное собрание своих сочинений (их было 187) и «издал» в трех экземплярах от руки (даже не на машинке). Своей книжечке он дал гриф «Сам-себе-издат», и таким образом именно Николай Глазков пустил по миру этот всем известный и тогда весьма роковой термин «самиздат».

Конечно, Глазков был типичным самиздатским автором, «рабом поэзии» в «море лжи». Сам себя он называл «юродивым из Поэтограда», «поэтом переулков», и все его строки пронизаны какой-то особой нежностью к простым людям и сдобрены изрядной порцией самоиронии. Кто, кроме него, мог написать такие строки о войне:

Бомбы падают у дач,
Где не следует;
Миллионы неудач
Нас преследуют.

Или вот это:

Те люди, совесть у кого чиста,
В атаку шли за родину, за Ста...
Нет! Люди воевали за Россию,
Речь о другом была для них пуста.

Так и жил этот удивительный человек, продолжатель традиций Хлебникова, «бравый солдат Швейк» тоталитарной эпохи. Издавался и не издавался. Много пил (а какой гений не пьет?), уходил в свои норы и отдушины от затхлой атмосферы официальной помпезной литературы, уходил от «большого стиля» в маленький, частный, интимный. Еще до войны – в 1938 году (страшно сказать: в год выхода Краткого курса ВКП(б)) – он написал в пику Эдгару По свой вариант поэмы «Ворон»:

Черный ворон, черный дьявол,
Мистицизму научась,
Прилетел на белый мрамор
В час полночный, черный час.

Я спросил его: – Удастся
Мне в грядущие года
Где-нибудь найти богатство? —
Он ответил: – Никогда!

Я сказал: – В богатстве мнимом
Сгинет лет моих орда.
Все же буду я любимый? —
Он ответил: – Никогда!

Я сказал: – Пусть в личной жизни
Неудачник я всегда.
Но народы в коммунизме
Сыщут счастье? – Никогда!

И на все мои вопросы,
Где возможны нет и да,
Отвечал вещатель грозный
Безутешным: – Никогда!

Такое в прежние годы не только не могли напечатать, но за такое можно было и крепко схлопотать. Слава богу, пронесло! «Надо быть очень умным, чтобы валять дурака», – как-то заметил Глазков. Ему всё как-то сходило с рук – политика и любовь.

И неприятности любви
В лесу забавны и милы:
Ее кусали муравьи,
Меня кусали комары.

И вот такие наскоки на держиморд-издателей:

Я лучше, чем Наполеон и Цезарь,
И эту истину признать пора:
Я никого на свете не зарезал,
Напротив, резали меня редактора!

Давно нет с нами Николая Глазкова, не дожил он до перестройки и гласности, до ГКЧП и последующих реформ-обвалов, всего того, что воплотилось в его гениальных строках:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней.

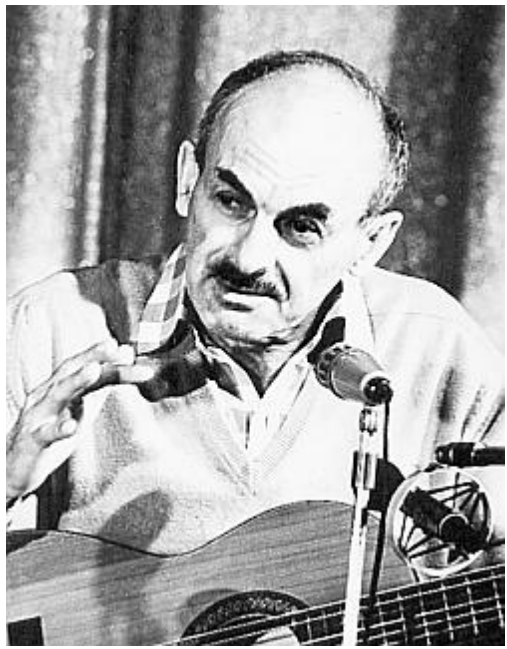
90-е годы оказались интереснейшими для историков и чересчур печальными для всех нас. Но опять же спасает Глазков:

Было очень много неудач,
Срывов, промахов, помех и сплетен...
Всё же улыбайся, а не плачь,

Радуйся, что ты живешь на свете!

Ну что ж, хороший совет дал Николай Глазков. Простой и мудрый. Годится и в XXI веке.

БУЛАТ ВСЕГДА БУЛАТ
Воспоминания об одном вечере Окуджавы



Булат Окуджава

Булат Окуджава ушел из жизни 12 июня 1997 года, в возрасте 73 лет (родился 9 мая 1924). Прошло не так уж много времени с момента его ухода, но, кажется, целая вечность: разительно поменялась страна, изменился ее уклад, ее люди, изменилось и отношение к литературе, и в частности к поэзии. Поэты давно уже не кумиры. Бардовская песня вытеснена на периферию, и на сцене звучат всякие «муси-пуси», «прелестный шрам на левой ягодице», «ты любишь земляничку, а я я люблю клубничку...» и т.д. И удивляется всему этому бронзовый Окуджава на Арбате: и куда мы все пришли?..

О Булате написаны книги, изданы воспоминания, казалось бы, всё давно известно, вплоть до любовных увлечений. И всё же еще раз хочется вспомнить незабвенного Булата. Но не нынешнего бронзового классика, а того, еще живого, еще не знавшего, как сложится дальше его судьба.

Итак, старые записи о старом времени.

1 декабря 1982 года в Доме архитектора проходил вечер «Булат Окуджава рассказывает о своих книгах».

Окуджаве 58 лет. Он высок и еще прям, но лицо уже морщинистое, старое. Одет небрежно: помятый серый костюм, черный пуловер и рубаха с расстегнутым воротом, без галстука.

Вечер начался с записок.

– Где вы искреннее – в своих стихах или прозе?

От вопроса у Булата несколько округлились глаза:

– Стихи и романы отличаются только формальными признаками, объемом, а так это всё одно и то же. И в стихах, и в прозе я рассказываю о себе, выражаю себя, окружающий меня мир... Десять лет я не писал стихов и вот начал писать снова... Давно не выступал перед аудиторией: со старыми стихами и песнями я сам себе надоел...

– Кто влиял на ваше творчество? – зал напрягся от внимания, действительно интересно – кто?

– Гофман, Александр Сергеевич, Лев Николаевич и Набоков. Вот мои учителя...

«Кто такой Набоков?» – прошелестело по рядам.

– Почему вы обратились к прозе? – гласил вопрос в следующей записке.

– Почти случайно. Вызвали как-то в Политиздат и попросили написать книгу о каком-нибудь революционном деятеле... Обещали крупно заплатить. Это заинтересовало. Однако я посмотрел на предложенный мне список лиц, и никто меня не заинтересовал. Потом я вспомнил про Пестеля. «Ах, мы забыли», – сказали в Политиздате и согласились со мной... Около года читал литературу, однако ничего из этого не получилось, да и Пестель мне вдруг оказался неинтересным... Потом я обратил внимание на протоколы следственного комитета, которые вел какой-то полуграмотный писарь. Представил его себе: провинциальный дворянчик...

Так начал примерно рассказывать о своем первом прозаическом опыте Булат Окуджава. Роман у него назывался «Бедный Амвросимов». В Политиздате он вышел под заголовком «Глоток свободы». Иначе назвать они, конечно, не могли...

– Как вас принимали во Франции?

– Я был там несколько раз. Принимали хорошо. Сначала на выступлениях были в основном эмигранты, потом половину зала составляли уже французы.

– Как подбирать библиотеку? – вопрос одного библиофила.

Окуджава дернул головой и отказался давать рекомендации:

– Еще не так скажешь...

Он рассказывает буднично-равнодушно, даже каким-то нарочито скучным голосом. Весь его вид говорит о том, что всё это уже когда-то было, ничего не ново, а потому неинтересно:

переполненные залы и одинокие кумиры на сцене, экзальтация толпы и вдохновенные слова пророков:

Целый век играет музыка.
Затянулся наш пикник...

– Вы пошли на фронт добровольцем, расскажите, пожалуйста, о военном периоде вашей жизни?

Ответ Окуджавы ошеломил некоторую часть публики, воспитанную на традиционных газетных ценностях:

– Мне это неинтересно... Об этом много говорят другие... Я не хочу...

37 лет минуло с времен войны. Иной мир – иные проблемы. Не разрывы снарядов над головой, а не менее суровое испытание на сытость. А мы всё бу-бу-бу...

Спрашивают о бардах. Окуджава дает высокую оценку Брассенсу и Брелю, а по поводу Высоцкого говорит так:

– Мы с ним дружили, но дружба была странная. Он очень компанейский, открытый, я человек замкнутый, одиночка-кустарь. К тому же разный возраст... Высоцкий – выдающаяся фигура в нашей культуре. Потеря его – трагедия для всех нас...

– Как вы начали петь? В чем популярность ваших песен?

– Петь я начал в 1956 году, в период расцвета массовой песни. А тут появились песни интимные, почти собеседнические... Для некоторых людей темы моих песен казались острыми, даже опасными, и они согревали их души... Когда появилась песня «Ленька Королев», меня пригласили в одно место и сказали, что вот вы неправильно ориентируете нашу молодежь. Ленька не вернулся с фронта, но разве некому его оплакивать?!. Потом я написал песню про дураков. Меня вызвали и спросили, зачем вы всё это пишите? У вас же была прекрасная песня про Леньку Королева... *(в зале смех)*. В песне, в любом творчестве не надо суетиться, торопиться, сиюминутно откликаться... Время рассудит и покажет, что останется, что нужно, а что нет...

– Почему вы не пишете прозу на современные темы?

– Мне это неинтересно... Я пишу на исторические темы, там больше простора для фантазии... А потом, знаете, человек мало изменился за прошедшие сто лет. Изменились одежда, дома, транспорт, технические средства, а сам человек остался все таким же. Так же страдает, так же любит, завидует... Так же люди умны и глупы, как и раньше...

Эти речи Булата странно звучали на сцене, украшенной флагами союзных республик в честь 60-летия образования СССР, опасно контрастировали с официальным утверждением о

создании новой общности людей, сплошь образованных, гуманных и чертовски умных.

Далее Окуджава обрушился на своего оппонента Бушина, который в журнале «Москва» опубликовал «политический донос».

– Но ужасно не то, что он написал, а ужасно то, что его напечатали... Ловит меня на мелких ошибках: князь в марте ест малосольные огурчики – откуда? Бушин меряет сегодняшним днем, а князь, наверное, мог себе это позволить?.. *(смех)*.

– Как вы относитесь к тому, что сегодня происходит на Арбате?

Председательствующий Феликс Медведев бодро добавил:

– В зале сидят архитекторы, от которых многое зависит.

– Ничего от них не зависит, – мрачно изрек Окуджава. – Москва отдана на откуп людям, которые плохо разбираются в архитектуре, не любят ее, не ценят старину... Может быть, правы были те, кто в 20-х годах предлагал Москву законсервировать, а столицу сделать в каком-то областном центре?..

Снова вопрос о песнях, о начале пути.

Окуджава закончил свои воспоминания, встал, взял гитару, неодобрительно посмотрел на микрофоны и спел несколько своих последних песен. В одной из них было признание: «Я не пел окопной каше...»

Как всё это выглядело? Еле слышный перебор струн. Знакомый хрипловато-тягучий шепот. И – после гибели Высоцкого это особенно заметно – полное отсутствие огня, страсти, напряжения, вздутия вен... Нет, Булат не взорвется, не крикнет, не сгорит. Другой темперамент. Иной душевный склад. Другие точки отсчета. Он всего лишь усталый артист, печальный и утонченный, и песни его – не отчаянные прорывы в Правду, а всего лишь изящные песенки-сказки, баюкающие усталого интеллигента чеховской печалью и забавляющие легкой иронической усмешечкой Зощенко...

Когда воротимся мы в Портленд,
Мы будем кротки, как овечки,
Да только в Портленд воротиться
Нам не придется никогда...

Вслед за «Пиратской-лирической» последовала песня о Высоцком.

Зал аплодирует.

Булат сжимает гитару и поет песню о дураках:

Сколько дураков в своей жизни я встретил,

Мне давно пора бы уже орден получить...
...Дураком быть выгодно,
да очень не хочется.
Умным – очень хочется,
да кончится битьем.

Знакомая тема! Дураки. Литсобратья. Начальники с чугунными запретами, редакторы с корявыми перьями, завистники с черными душами... а еще торговцы, лавочники, мясники... «Где сладкая революция?» – не унимается в вопросе бабелевский старик Гедали.

И умным быть плохо, и дураком становиться не хочется, рассуждает Окуджава и приходит к спасительной надежде: но, может быть, когда-нибудь к среднему придем!..

Окуджава сел. Он устало посматривает на часы: мероприятие закончено. Но, к сожалению, надо еще присутствовать – неутомимый Феликс собрал парад молодых бардов. Теперь их очередь демонстрировать свое умение.

Булат слушал сумрачно: ах, эти горячие порывы изменить... сломать... добиться... сделать... Ах, это «упоение в бою». Молодым страсть как хочется выплеснуть свою энергию, доказать свою смелость. «Допустим, – говаривал мудрый Ежи Лец, – ты пробил головой стену? Что ты будешь делать в соседней камере?» Именно этого и не знают молодые. Это знание приходит со зрелостью. Оно постигается ушибами, ранами, болью...

Зачем биться головой о стену? Надо просто положиться на судьбу. «Всё, что возможно, происходит, однако возможно только то, что происходит», – говорил Кафка.

Окуджава сидел неподвижно и, казалось, дремал. Он походил на старого льва, у которого искрошились клыки и притупились когти. До его слуха доносится издалека рык молодых львят, но он не пробуждает в нем ни ярости, ни отваги. Ему не хочется ни рычать, ни прыгать, ни тем более показывать пример. Лев старый и почти ручной, да и зоопарк им обжит и кажется таким уютным. О, бывший царь зверей, разрешите немножко потревожить ваш благостный покой, – Жанна Бичевская исполняет песню Александра Дольского, обращенную к маэстро:

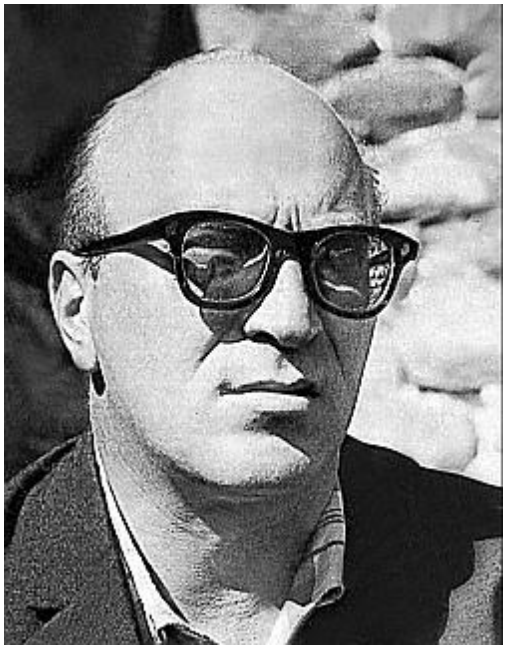
Почему вы молчите, маэстро,
Неужели вы бросили крест?..

Маэстро молчал. Может быть, приближаясь к возрасту Пастернака, он ясно понимал, какая это неимоверно трудная и

ответственная роль – быть певцом и выразителем передовой интеллигенции.

Я один, всё тонет в фарисействе,
Жизнь прожить – не поле перейти.

ДАЛЬНИЙ БЕРЕГ ЮРИЯ КАЗАКОВА



Юрий Казаков

Юрий Казаков прожил всего 55 лет. Ушел из жизни в 1982. И уже тогда Андрей Вознесенский вздыхал: «Новое поколение читателей, увы, не знает Казакова. Критики не упоминают о нем. Он незаметно исчез из литературного обихода, как исчезают из нашей флоры лесные ландыши. Его создания не переносят загрязнения среды».

С 82-го года произошло не только загрязнение среды, но и страна кардинально изменилась. Люди стали другими. Книги выпускаются иные. Литература стала коммерческой. Слово потеряло свой вкус и цвет. Можно даже сказать, что последним ароматным писателем (и тончайшим психологом тоже) был именно Юрий Казаков, достойный представитель бунинской школы.

Юрий Павлович Казаков родился 8 августа 1927 года в Москве в семье рабочего. «Отец и мать мои – бывшие крестьяне, выходцы из Смоленской губернии, – писал Казаков в автобиографии. – В роду нашем, насколько мне известно, не было ни одного образованного человека, хотя талантливы были многие. Таким образом, я первый человек в нашей родне,

занимающийся литературным трудом.

Писателем я стал поздно. Перед тем как начать писать, я долго увлекался музыкой... Сначала я стал играть на виолончели, но так как заниматься музыкой я начал довольно поздно (с 15 лет) и пальцы мои были уже не столь гибки, то я скоро понял, что виртуозом-виолончелистом мне уже не стать, и перешел тогда на контрабас... и тут я мог рассчитывать на успех...»

Казаков окончил музыкальное училище и три года играл в симфонических и джазовых оркестрах, но бросил музыку ради литературы. «Где-то между 1953 и 1954 годами стал всё чаще подумывать о себе как о будущем писателе. Скорее всего, это случилось потому, что я, как, наверное, и каждый молодой человек, мечтал тогда о славе, об известности и т.п. а моя служба в оркестрах, конечно, никакой особенной славы мне не обещала...» Захотев стать писателем, Казаков стал внимательно читать очерки и рассказы, стараясь понять, как они сделаны. Написав несколько небольших очерков в газете «Советский спорт», он в 1953 году поступил в Литературный институт. Случайно попал на семинар Виктора Шкловского и поразил всех рассказом «На полустанке». Именно тогда Паустовский и сказал о Казакове: «Есть один молодой, пронзительного таланта».

В годы литучебы Юрий Казаков много читал, и «после долгих чтений и размышлений я пришел к выводу, что лучше всех писали наши русские писатели. И я решил писать так же, как они». В 50-летний юбилей Казакова его тезка Юрий Трифонов писал о нем: «Казаков близок к Бунину, он его ученик, мастер бунинской школы, продолжатель, но не подражатель. О, нет! Близость к Бунину – в стилистике, во фразе, в умении живописать, но наполнение казаковских рассказов иное. Они наполнены воздухом нашего бытия... Не менее Бунина, мне кажется, Казакову близки Платонов и Паустовский, американцы Хемингуэй и Сетон-Томпсон. Да мало ли кто! Всех нас омывают многие дожди, и каждый дождь приносит свою радиацию...»

А вот что писал о Казакове Юрий Нагибин: «Мой друг не ведал периода ученичества, созревания, он пришел в литературу сложившимся писателем с прекрасным языком, отточенным стилем и внятным привкусом Бунина. Влияние Бунина он изжил в своем блистательном «Северном дневнике» и поздних рассказах. Он никогда не приспосабливался к «требованиям», моде, господствующим вкусам и даже не знал, что это такое... Слово было дано ему от Бога. И я не встречал в литературе более чистого человека».

Итак, Бунин. Но и Эрнест Хемингуэй. «Хемингуэй повлиял на меня не стилистически – он повлиял на меня нравственно, –

признавался Казаков. – Его честность, его правдивость, доходящая порой до грубости (так и нужно!), в изображении войны, любви, питья, еды, смерти, – вот что было мне бесконечно дорого в творчестве Хемингуэя».

Первая книга Казакова «Тедди» (1957) вышла в Архангельске, затем там же сборник «Манька», ну, а потом появился в Москве сборник «На полустанке» (1959). Казакова сразу же отметили мэтры литературы Эренбург и Олеша, а критики приняли в штыки: после рассказа «Трали-вали» в журнале «Октябрь» Казакова отлучили на долгие годы от толстых журналов. Рассказы Казакова «Запах хлеба», «В город», «Ни стуку, ни грюку», появившиеся в альманахе «Тарусские страницы», еще больше увеличили водораздел между горячим интересом читателей и холодным неприятием критики. В те 60 – 70-е годы советские писатели творили в основном «по зову партии», а Казаков писал исключительно по зову сердца. Писал о том, что задевало, трогало, наболело. Казаков не придумывал жизнь, а изображал ее такой, какая она есть. Без всяких прикрас, но с неизменной печалью и горечью. Он считал, что человеческое счастье возможно только на миг и поэтому почти неуловимо. В героях у него ходили не передовики производства, не летчики и физики, а самые простые люди будничных профессий.

Юрий Казаков вослед Паустовскому возродил русский классический рассказ. Казаков говорил: «Рассказ дисциплинирует своей краткостью, учит видеть импрессионистически – мгновенно и точно». Именно так «сработаны» такие казаковские рассказы, как «Вот бежит собака!», «Осень в дубовых лесах», «Двое в октябре», «Адам и Ева», «Плачу и рыдаю»...

Одна лишь цитата про любимую Казаковым охоту: «Мы... пошли в ночную синеву, в туман и холод, и ружья наши были давно заряжены и готовы для убийства древних прекрасных птиц, еще молчавших в предчувствии любви и смерти» («Долгие крики»).

Как выглядел Юрий Казаков? Ольга Кучкина вспоминает: «Он был большой, с широкими покатыми плечами, большими руками, красным лицом, заикающийся, пьющий и гулящий. Ему бы ходить и плавать, и летать с мужиками, бакенщиками, летчиками по земле, воде и небу. Он и ходил, и летал, и плавал... Он и был мужик – а еще человек, нежный, внимательно сберегающий впечатления жизни...»

Казаков построил дачу, крытую шифером, бежевого цвета финский дом, с мансардой, стоящий в низинке недалеко от речки Яснушки, и любил совершать прогулки по живописным окрестностям Абрамцева. Природа вдохновляла и лечила его.

Только вот пожить привольно на даче ему не пришлось из-за постоянных разъездов. Несколько лет Казаков отдал переводу с казахского трехтомного романа Нурпеисова «Кровь и пот» (нужны были деньги и на жизнь, и на ремонт дома). Он говорил, что своей кровью орошает пустыни Казахстана, «зато верный заработок».

Последние его рассказы, появившиеся в печати: «Свечечка» (1973) и «Во сне ты горько плакал» (1977). Удивительные, неповторимые казаковские рассказы и, конечно, окрашенные глубокой печалью. А «Свечечка» начинается вообще с фразы: «Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться – хоть вешайся!»

Опубликовал и замолк. Причин было множество: развод с женой, разлука с сыном, одиночество, болезни, разочарование в устройстве жизни (пресловутый застой), в литературе. На одном из книжных базаров увидел, как гонялись за автографами модных писателей, а к нему не подошел никто, и он был одинок как перст. Да и самому ему вдруг показалось, что он пишет не то, считал свои рассказы «обветшалыми». Были и иные причины. А все гадали, почему не пишет? И десятки предположений: «исписался», «спился», «кончилась оттепель – кончился Казаков», «молчит в знак протеста» и т. д. Один из знакомых безапелляционно заявил о Казакове: «На Западе кричат, что эта его изоляция есть форма оппозиционерства. А Юра просто пьет. Ты не знал? По-черному... » Остается только хмыкнуть: н-да. А кто не пил в наипьянейшее время? В застойные времена, в отсутствие горизонта...

В январе 1971 года Казаков писал Эдуарду Шиму из Алма-Аты: «Все-таки молодец ты, что живешь на земле, не на асфальте, хорошо, что и я купил себе домишко и что еще одно усилие, еще одна трата денег на ремонт, а потом десяток лет можно и не думать о доме, а только о посадках, о теплицах, о расчистках леса, о деревьях и кустах и вообще – жить. И жалко, что благодать эта пришла мне теперь, а не в двадцать пять лет».

Благодати не вышло. Длительная работа с переводом. Тяжелый недуг – боль, операции, больницы. Попытки работать снова, в письме к Георгию Семенову спрашивал: «Как тебе название: «Послушай! Не идет ли дождь?» За 8 дней до смерти писал Виктору Конецкому из военного госпиталя: «...Загрудинная боль хватает раза два в день. Так что на всякий случай прощай, друг мой, не поминай лихом». В ночь на 29 ноября 1982 года Юрий Казаков умер (диабетический кризис и инсульт). На рабочем столе остались наброски повести «Две ночи» («Разлучение душ»). Из официального некролога: «Советская

литература понесла тяжелую утрату...»

В эссе «О мужестве писателя» (1966) Юрий Казаков делился мыслями о своем ремесле: «Писатель должен быть мужествен, думал я, потому что жизнь его тяжела. Когда он один на один с чистым белым листом бумаги, против него решительно все. Против него миллионы написанных ранее книг – просто страшно подумать! – и мысли о том, зачем же еще писать, когда про всё это уже было. Против него головная боль и неуверенность в себе в разные дни, и разные люди, которые в эту минуту звонят к нему или приходят, и всякие заботы, хлопоты, дела, как будто важные, хотя нет для него в этот час дела важнее того, которое ему предстоит. Против него солнце, когда тянет выйти из дому, вообще поехать куда-нибудь, что-то такое повидать, испытать какое-то счастье. И дождь против него, когда на душе тяжело, пасмурно и не хочется работать...»

Далее Казаков продолжает перечислять все трудности своего ремесла: «В том-то вся и штука, что ему никто никогда не поможет, не возьмет ручку или машинку, не напишет за него, не покажет, как надо писать. Это он должен сам. И если он сам не может, значит, всё пропало – он не писатель...»

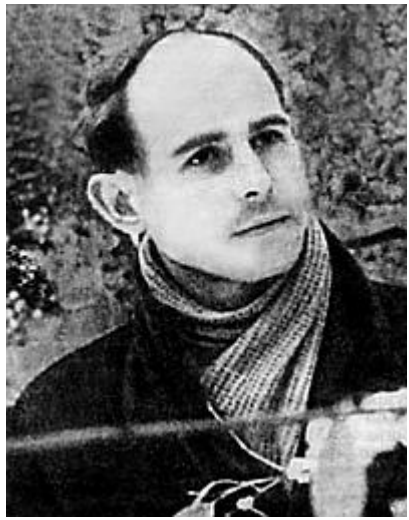
А во имя чего все эти муки творчества? Казаков считал, что если у писателя есть своя правда и свое слово, то он – «должен быть трижды мужественен, чтобы, несмотря на все свои несчастья, неудачи и срывы, все-таки нести людям радость и говорить без конца, что жизнь станет лучше».

Юрий Казаков давал людям надежду. Но надежды не всегда исполняются. Венгерский поэт Шандор Петефи когда-то писал:

О, наши надежды, прекрасные птицы!
Все выше их вольная стая стремится,
Куда и орлы подымаются редко —
В простор поднебесный, и чистый, и ясный...
Действительность, этот охотник бесстрастный,
Стреляет в них метко!

А Юрий Казаков, наперекор и вопреки действительности, всё же верил, что жизнь станет лучше.

ПЕЧАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА НИКОЛАЯ РУБЦОВА



Николай Рубцов

Николай Рубцов продолжил традицию раннего ухода поэтов из жизни. Ушел в 35 лет. 19 января 1971 года был задушен в своей кровати в скромной квартире хрущевской пятиэтажки на окраине Вологды. И кем? Любовницей. Бытовая трагедия, и не важно, кто виноват и в какой степени, – он сам или его полюбовница, – важно другое: не стало человека. И какого!..

Рубцов был удивительный русский поэт, бесшабашный и непутевый, вроде Аполлона Григорьева. И судьба постоянно испытывала его на прочность, на разрыв: сиротство, детдомовщина, бедность, неприкаянность. Он часто сам не знал, где преклонить ему голову. Хотел поступить в мореходку, но туда не попал, хотя и походил по морю – «Я весь в мазуте, весь в тавоте,/ Зато работаю в Тралфлоте!..» Кочегар рыболовецкого судна, матрос, слесарь-сантехник на заводе... Учился в нескольких техникумах, но ни одного не закончил. По натуре был простодушен, наивен, провинциален, да еще с трудным характером. Короче, не продвинутый, не прагматичный, не интерактивный. Может быть, поэтому он и не вписался в жизнь, хотя в его пору она, эта самая жизнь, еще не была коммерциализованной, и в основном действовал принцип бартера: ты мне – я тебе.

Но опять же теперь не важно, каким был Рубцов. Главное, что жил на белом свете такой замечательный поэт, по нынешним

меркам – классик. Стихи его охотно печатают, выходят книги, воспоминания, есть Всероссийская литературная премия «Звезда полей» имени Николая Рубцова. Все есть! А человека нет… Старая российская история: при жизни не ценят, не замечают, третируют, топчут. А после смерти вдруг спохватываются и возносят до небес.

Несколько биографических штрихов. Николай Рубцов родился 3 января 1936 года в поселке Емецк Архангельской области. Отец погиб на фронте. В стихотворении «Детство» поэт с горечью писал: «Мать умерла. Отец ушел на фронт./ Соседка злая/ Не дает проходу./ Смутно помню/ Утро похорон/ И за окошком/ Скудную природу…»

Потеряв мать в 6 лет, Рубцов воспитывался в детских домах. А когда исполнилось 16 лет, скитался по стране. Перебрал различные профессии, а мечта была одна: стать поэтом. В 1962 году поступил в Московский литературный институт им. Горького. Через два года был исключен за нарушение дисциплины.

Первая книга «Лирика» вышла в 1965 году в Архангельске, в 1967 году в Москве «Звезда полей».

Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою…

Звезда полей! В минуту потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит за зимним серебром…

Ну, и так далее. Ныне хрестоматийные строки – звезда, которая «горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли». Таким беспокойным и тревожным был сам Николай Рубцов. Последний прижизненный сборник «Сосен шум» вышел в 1970 году.

О своем творчестве Рубцов написал так: «Я переписывать не стану/ Из книги Тютчева и Фета,/ И я придумывать не стану/ Себя особого, Рубцова,/ За это верить перестану/ В того же самого Рубцова,/ Но я у Тютчева и Фета/ Проверю искреннее слово,/ Чтоб книгу Тютчева и Фета/ Продолжить книгою Рубцова!..»

Вот так изложил кредо путем нарочитого нагнетания тавтологий Николай Рубцов. Он жил трудно. А писал легко. Да у него и было прозвище легкое – «Шарфик». Легкий,

развевающийся, трепетный... Себя он высоко не ставил, но тем не менее свою силу чувствовал.

Мой стиль, увы, не совершенный...
Но я ж не Пушкин, я другой...

Лермонтовский перифраз: «Нет, я не Байрон, я другой...» Любил Рубцов Есенина и Тютчева. А мы любим Рубцова. Верно сказал о нем один из критиков: «Он далеко смотрел, высоко думал и глубоко чувствовал». Он был маленьким звенящим колечком в длинной цепи бытия, звеном, которое тянулось от Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Он являлся эхом славных русских дружин, вступивших в смертельную битву с чужеземной ордой. Он как бы слышал сквозь толщу временных наслоений гиканье и свист богатырей и удальцов. Ему снились по ночам малиновые пожары и багровые зарева великих сражений. Он, маленький, тщедушный Рубцов, тоже хотел стать в ряд булатных ратников:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризной,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Николай Рубцов истинно любил Россию. Без крика. Без патриотического надрыва. Без нарочитого показа. А тихо. Сердечно. По-настоящему.

Тихая моя Родина!
Ива, реки, соловьи...

Как вспоминал земляк поэта, Виктор Коротаев, Рубцова томила «неистребимая, мучительная и всепоглощающая нежность к зеленым лугам и золотистым осенним лесам, медленным водам и терпким ягодам, томливым полдням и прохладным вечерам – всему, без чего не мыслил он ни своей жизни, ни своего творчества».

Он не просто любил землю, на которой вырос, по которой ходил, запахи которой вдыхал. Землю, не придуманную чьей-то фантазией, обсаженную бутафорскими липами и присыпанную сверху сахарной пудрой, а реально существующую...

Случайный гость,
Я здесь ищу жилище
И вот пою
Про уголок Руси,
Где желтый куст
И лодки кверху днищем,
И колесо,
Забытое в грязи...

Никакой идеализации. Никакого захлеба от нахлынувшего счастья. Сурово и тем не менее нежно.

Теперь в полях везде машины.
И не видать плохих кобыл.
И только вечный дух крушины
Всё так же горек и уныл...

Рубцов никогда не чувствовал себя творцом на земле, он всего лишь «случайный гость» на ней. Это стержень всей поэзии Рубцова. «Деревья, избы, лошадь на мосту,/ Цветущий луг – везде о нем тоскую./ И, разлюбив вот эту красоту,/ Я не создам, наверное, другую...» Он пронзительно чувствовал, что всё вокруг преходяще. И весна пройдет, и юность пролетит, и отчий дом разрушится, и человеку не миновать своей горькой судьбы.

Замерзают мои георгины.
И последние ночи близки.
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...

Нет, меня не порадуют – что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолеты,
Просвистели мои поезда...

Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачевские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.

Мотивы усталости, обреченности у Рубцова сквозят во многих стихотворениях: «Давно душа блуждать устала/ В былой любви, в

былом хмелю,/ Давно понять пора настала,/ Что слишком призраки люблю...»

И нельзя не привести свое любимое стихотворение поэта, пронизанное мистическим чувством ожидания чего-то темного и страшного:

Печальная Вологда дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

Замолкли веселые трубы
И танцы на всем этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.

Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

И сдержанный говор печален
На темном печальном крыльце,
Все было веселым вначале,
Все стало печальным в конце.

На темном разъезде разлуки
И в темном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто...

Прилагательные «печальная, печальный» с наречием «печально» доминируют в строках и создают настроение полнейшего отчаяния, но отчаяния не громкого, со стонами и рыданием, а тихого, смиренного, безысходного. «Все было веселым вначале,/ Все стало печальным в конце», – кто возразит против этой мудрости жизни, разве что полнейший идиот, твердящий дурацкую формулу, что человек создан для счастья, как птица для полета. «Но итоги всегда печальны, даже если они

хороши», – вторит Рубцову Андрей Вознесенский.

Николай Рубцов слышал печальные звуки, и они его не обманули. Он прожил всего 35 лет и 16 дней, и над ним сомкнулся «ужас ночи». «А где-то в солнечном Тифлисе/ Ты ждешь меня на той горе,/ Где теплый день при легком бризе,/ Прощались мы лицом к заре...»

Что сказать в завершение? Сегодня идет другая жизнь. Бары-рестораны, казино, ночные клубы. Рекою льется вино. Стриптизируют обнаженные девицы. Всё шумит. Сверкает. Переливается всеми красками радуги, – разумеется, только в столице, в этом финансовом Вавилоне, а отнюдь не в бедной провинции. И так не хватает одного: немного рубцовской печали. Без этой печали нет гармонии в жизни...

Но все равно в жилищах зыбких —
Попробуй их останови! —
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плёсе, о любви.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ ПРОЩАНИЕ

Александр Вампилов

Август – месяц Александра Вампилова. 19 августа 1937 года – он родился, 17 августа 72-го погиб. Странная судьба. После смерти Вампилова зачислили в классики.

«Я люблю людей, с которыми всё может случиться», – такую фразу можно найти в записных книжках Вампилова. Случайная фраза или предчувствие?

Александр Валентинович Вампилов родился в поселке Кутулик Иркутской области, в учительской семье. Отец Валентин Никитич мистически предугадал судьбу сына, написав в письме к другу незадолго до рождения своего 4-го ребенка: «Я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинистую щеку. Боюсь, как бы писатель не родился». Отец хотел назвать сына Львом в честь Толстого, но в 1937 году отмечали 100-летие со дня гибели Пушкина и сына назвали Александром.

Александр Вампилов и впрямь стал писателем, а точнее – драматургом. Но отец (бурятское имя Бадма, потомок бурятских лам) не дождался успехов сына. Когда Саше был всего лишь годик, отца в 1938 году зачислили в «панмонголисты», обвинили в замысле объединить всю Бурятию и быстренько расстреляли.

Матери с четырьмя детьми пришлось туго. Мало того, что она осталась без мужа, так еще и без отца, деда Александра Вампилова, православного священника в третьем поколении, тоже поставили к стенке.

Жили Вампиловы бедно. Первый костюм Саше купили на выпускной школьный вечер. Однако юноша не унывал, он собирался стать писателем, однако понимал, как это будет трудно добиться, и вывел закон большого успеха: «Чтобы добиться признания, надо уехать или умереть». Умереть – понятно (у нас болезненно любят рано и нежданно ушедших), а вот уехать? Вампилов – провинциал, да еще не очень русский – черноволосый, кудрявый, скуластый, с азиатским разлетом бровей. А успех куется исключительно в столице, там раздувается огонь славы.

В 1955 году Вампилов поступает на историко-филологическое отделение Иркутского университета. Счастливая, полная надежд оттепельная пора: все впереди. Вампилов – душа любой компании – гитарист (любимый ковбойский шлягер: «Хорошо в степи скакать,/ Свежим воздухом дышать,/ Лучше прерий места в мире не найти!..»), шутник, острослов, футболист, рыбак… А еще сочинитель искрометных текстов в духе О'Генри с неожиданными концовками и «говорящими» фамилиями (Гонорарьев, Штучкин и т. д.). По существу это – заготовки будущих пьес. С 1958 года рассказы Вампилова появляются в местных газетах под псевдонимом «Санин, студент госуниверситета».

Затем последовала работа в иркутской газете «Советская молодежь» и командировка на Высшие литературные курсы Центральной комсомольской школы в Москву. Творческий семинар в Малеевке. Одноактные комедии «Сто рублей новыми деньгами» и «Воронья роща».

В 1961 году в Иркутске вышла первая и единственная при жизни Вампилова книга «Стечение обстоятельств». Отдельные публикации рассказов и пьес в сборниках и в журнале «Ангара». Попытки поставить на сцене «Прощание в июне» были безрезультатны. Вампилов поступил в Литературный институт и там подружился с вологодским поэтом Николаем Рубцовым.

– Ну что ты грустишь? – спрашивал Вампилов нового друга. – Не печатают? Так и меня не ставят. Пойдем выпьем, забудемся.

Строптивый стих, как зверь страшенный,
Горбатясь, бьется под рукой.
Мой стиль, увы, несовершенный,
Но я ж не Пушкин, я другой… —

так писал Рубцов. Таким «другим» ощущал себя и Вампилов. В 1966 году он вступает в Союз писателей. Сразу в трех изданиях выходит «Прощание в июне», а в клайпедском драмтеатре осуществляется первая ее постановка. Тогда же Вампилов дает свое первое и последнее интервью газете «Советская Клайпеда».

На следующий год Вампилов возвращается в Иркутск, переделывает свои первые пьесы, объединяя их под общим названием «Провинциальные анекдоты». А тем временем его пьесы начинают триумфальное шествие по провинциальным театрам. В провинции Вампилов свой, а в столице по-прежнему чужой. 1971 год – вампиловский «Старший сын» идет в 28 театрах страны, более тысячи спектаклей – лидер театрального сезона. А Москва всего лишь присматривается к Вампилову. В моде другие – Арбузов, Володин, Розов, Рощин. Они привычны и понятны, а вот Вампилов какой-то непонятный. Его драматургия несет пугающую новизну – его герои переживают стрессы не только на бытовом уровне, но и на метафизическом. Это пьесы, комедии, фарсы, трагифарсы, – опять же трудно определить точно жанр, – представляют собою некий сюр, не Беккет, не Ионеско, а какой-то сюр по-русски.

В 1972 году проходят репетиции «Старшего сына» в театре им. Ермоловой, одновременно премьера «Провинциальных анекдотов» в БДТ (у Товстоногова). Договор на сценарий первого кинофильма. То есть грозит обвал успеха. И... неожиданно обрывается жизнь.

За два дня до 35-летия, 17 августа, Вампилов погибает на озере Байкал. Лодка, зацепившись за плавающее бревно (топляк), перевернулась. В лодке было двое. Знакомый Вампилова иркутский литератор ухватился за днище лодки в ожидании помощи. А Вампилов поплыл к берегу. Доплыл и умер от разрыва сердца – вода в Байкале в ту пору была холодной. И вот неожиданная смерть в 35 лет.

И мистические подробности похорон: забыли веревку, на которой опускают гроб. Собирались опустить в могилу – яма оказалась маловата. Словом, насмешки судьбы. Хоронили комедиографа, и отсюда комично-трагические детали.

А дальше? Дальше оглушительный успех («чтобы добиться признания, надо уехать или умереть») – постановки вампиловских пьес в многочисленных театрах в стране и за рубежом (США, Канада, Англия, Германия, Португалия, Швеция, Япония, Финляндия и т. д.). Выходит собрание сочинений драматурга в двух томах. Именем Вампилова названы улица, школа и театр (иркутский ТЮЗ). Многочисленные исследования, статьи, диссертации, дискуссии, семинары, фестивали, вампиловские

дни. Вампилов становится классиком… Эх, все бы это, да при жизни! Но, с другой стороны, как мудро заметил Андре Моруа: «Смерть превращает жизнь в судьбу». Посмертная судьба Вампилова оказалась завидной.

Итак, Вампилова провозгласили классиком. Но это не прояснило до конца сущность его творений. В основе многих пьес Вампилова лежит анекдот, а потом он неожиданно для зрителей превращается в драму и трагедию. И все его пьесы – некое слияние конкретики и символики, взаимосвязь тягот и гадостей жизни с возвышенным идеалом. Парение со дна реальности в небесную духовность. Если говорить о героях Вампилова, то они почти все духовные скитальцы, кающиеся грешники, люди с расколотым сознанием. Один из них Виктор Зилов из знаменитой «Утиной охоты» (ее ставил в Художественном театре Олег Ефремов) – слабый человек, подверженный житейским страстям (женщины, вино, охота). В пьесе он испытывает потрясение, когда друзья в шутку присылают ему похоронный венок. И тут же взгляд в лицо реальной смерти.

Критик Рудницкий анатомировал вампиловскую драматургию: «Дурашливая кутерьма, весело разбежавшись, как обычно у Вампилова, вдруг подкатывается к настоящей беде и застывает перед ней озадаченно и растерянно. Легкому и безмятежному пиликанью водевильных скрипочек внезапно отвечает глубокий влажный звук виолончели. Водевиль уступает дорогу драме. В совершенном безветрии среди ясного неба отчетливо раздается гром…»

В связи с 60-летием Вампилова Олег Табаков, размышляя о творчестве юбиляра, говорил: «Его пьесы можно назвать энциклопедией метаний русской души, именно провинциальной русской души, – он же ведь про себя писал. Может быть, поэтому это так и велико. Вампилов ведь – великий русский драматург второй половины XX столетия…»

Вампилова часто сравнивают с Чеховым, та же провинциальность, поместье или предместье. Но у Чехова за действием героев стоит Рок, а у Вампилова – чертовщина или абсурд. И, конечно, ощущение надвигающегося трагизма. Игнорируя это, зачастую вампиловские пьесы ставят как бытовые. А они не бытовые, а скорее инфернальные, мистические, с двойным дном и с главным вопросом: как жить дальше?.. Но не все понимают эту глубинность Вампилова и принимают его, как выразилась Майя Туровская, «с восторженным непониманием».

Но оставим театроведение театроведению, вернемся непосредственно к автору. Всю жизнь Вампилов вел записные книжки. Вот несколько фраз из них:

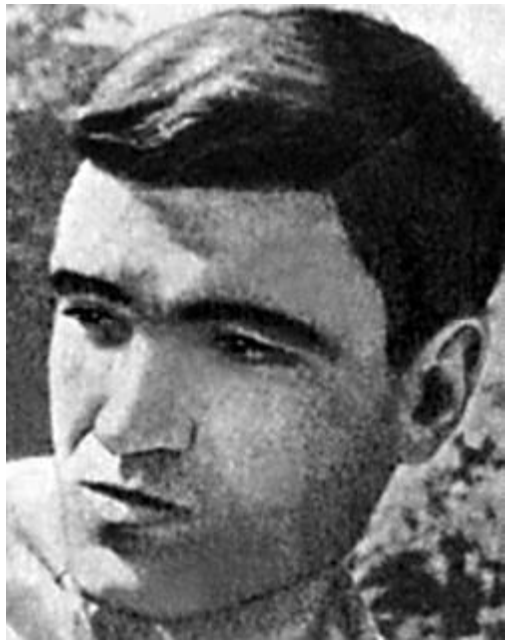
– Время нужно для того, чтобы разлюбить. Полюбить – времени не надо.

– Мечты, которые сбываются – не мечты, а планы.

– Чем больше друзей, знакомых женщин, тем отчетливее становится одиночество.

Образно говоря, Александр Вампилов спел «новую песню» в современной драматургии. Далее ее подхватили другие – Галин, Петрушевская, Коляда и иные драматурги. И светлее от этого на сцене и в душе не стало. Впрочем, никаких ворчаний и обид. Театр – это зеркало жизни.

А Я ИДУ, ШАГАЮ ПО МОСКВЕ…



Геннадий Шпаликов

Давно ушел из жизни Геннадий Шпаликов. Он прожил пушкинские 37 лет. Помните: «А я иду, шагаю по Москве…» Кто-то продолжает шагать, а Шпаликов отшагал. Отмерил. И отошел в сторону. В мир иной… Вспомним о нем.

До сих пор поют песни на его стихи, не напечатанные при жизни: «Пароход белый-беленький, дым над красной трубой…», «Над лодкой белый парус распущу…», «Я пришел к вам в черном фраке, элегантный, как рояль…» и другие. Бессчетное количество раз крутится кино «Я шагаю по Москве». Посмертно много издано из того, что написал Шпаликов. А писал он легко, летуче, броско. С мягкой улыбкой и еле заметной иронией.

…А я – осенняя трава,
Летящие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит к разряду истин.

Из «Кинословаря»: «Шпаликов Геннадий Федорович (6.9.1937 – 2.11.1974), советский сценарист, поэт. Автор сценария

лирической комедии «Я шагаю по Москве» (режиссер Г. Данелия). Написал сценарий фильма «Мне двадцать лет» (режиссер М. Хуциев)... «Я родом из детства» (режиссер В. Туров)... По собственному сценарию поставил фильм «Долгая счастливая жизнь»... Написал сценарий фильма «Ты и я» (режиссер Л. Шепитько)...»

Добавим. Родился Шпаликов в Сенеже, в Карелии. Из офицерской семьи. Окончил Суворовское училище в Киеве, был курсантом престижного училища им. Верховного Совета РСФСР. В 1956 году поступил во ВГИК. Диплом защитил в 1964 году сценарием «Я шагаю по Москве» (по уже вышедшему фильму на экраны).

Есть у Шпаликова короткое стихотворение «Утро»:

Не верю ни в бога, ни в черта,
Ни в благо, ни в сатану,
А верю я безотчетно
В нелепую эту страну.

Она, чем нелепей, тем ближе,
Она то ли совесть и бред,
Но вижу, я вижу, я вижу,
Как будто бы автопортрет.

Шпаликова воспитывали как преданного советской стране человека. Как патриота. Защитника. Верного и надежного винтика советской системы. А он взял и сорвался с резьбы, ибо откуда тогда появилась «нелепая страна»? У Шпаликова не было открытого конфликта с властью. Он не был диссидентом. Он просто, повзрослев, увидел, что творится вокруг. Кто ходит в королях и кто прорывается «в дамки» («все жулье от кинематографа, случайные люди, блатмейстеры, прилипалы...» – говорил он). Он на собственной шкуре ощутил, что можно и чего нельзя, что может пройти в печать, а что запрещено. Хотел глотнуть воздуха. А дышать, дышать-то оказалось нечем. И в этом бездушье времени Шпаликов был не одинок. Многих то, хрущево-брежневское, время сжимало, ломало, корежило. Кто-то спивался («Безвременье вливало водку в нас», – кричал Высоцкий). Кто-то уходил в подполье, в андеграунд, в самиздат. Кто-то отправился в изгнанье. У всех был разный выбор, и все выбирали свой путь. О своем поколении Шпаликов писал с усмешечкой:

То ли страсти поутихли,
То ли не было страстей,

Потерялись в этом вихре
И пропали без вестей
Люди первых повестей.

И уже без усмешки, с явным отчаянием:

Но откуда на сердце
Вдруг такая тоска?
Жизнь уходит сквозь пальцы
Желтой кромкой песка.

Простые люди, не задумываясь ни о чем, строили города и дороги («Партия сказала – комсомол ответил: «Есть!») Довольствовались малым. Были счастливы от любых перепадающих им крох. А вот люди творческие… Им было особенно тяжело. Они хотели самовыражаться. Иметь свой взгляд на происходящее. А вот этого как раз и не дозволялось – запреты, цензура. Уничтожающей критике подвергся сценарий Шпаликова «Застава Ильича». Фильм в конце концов вышел в искореженном виде и под другим названием «Мне двадцать лет».

О природе творчества Шпаликов иронически писал:

Бывают крылья у художников,
Портных и железнодорожников,
Но лишь художники открыли,
Как прорастают эти крылья.
А прорастают они так,
Из ничего, из ниоткуда
Нет объяснения у чуда,
И я на это не мастак.

А вот эти творческие крылья власть с садистским удовольствием и подрезала. Или уничтожала вовсе. Считая: рожденный ползать летать не должен.

Но в начале, по молодости лет, все было, конечно, хорошо и прекрасно. Бездумно и богемно. Наслаждался после военной муштры в училище вгиковской вольницей. Излюбленное хождение по московским улицам и переулкам. «Я шагаю по Москве,/ Как шагают по доске./ Что такое – сквер направо/ И налево тоже сквер./ Здесь когда-то Пушкин жил,/ Пушкин с Вяземским дружил,/ Горевал, лежал в постели, /Говорил, что он простыл». Шпаликов не отлеживался в постели, а, напротив,

любил петь под гитару, посещать забегаловки – «стекляшки» – выпить со случайными знакомыми, узнать сквозь их хмельной бред что-то новое о жизни. «Обожал я снегопад,/ Разговоры невпопад,/ Тары-бары-растабары/ И знакомства невпопад».

Из дневниковых записей 1957 – 1958 годов: «Ходил по улице Горького в поисках нечаянной радости и надоел самому себе до таких высоких степеней, что захотелось мне упасть лицом в высокую траву, и плакать, и проклинать. Только травы в Москве нет, кроме газонов». Однажды на рассвете Шпаликов заявил друзьям, что спрыгнет с моста в реку. Ему не поверили. А он прыгнул… Неисправимый романтик.

Работа не тяжелая,
И мне присуждено
Пить местное, дешевое
Грузинское вино.
Я пью его без устали,
Стакан на свет гляжу,
С матросами безусыми
По городу брожу.
С матросам безусыми
Брожу я до утра,
За девочками с бусами
Из чешского стекла.
Матросам завтра вечером
К Босфору отплывать,
Они спешат, их четверо,
Я пятый – наплевать.
Мне оставаться в городе,
Где море и базар,
Где девочки негордые
Выходят на бульвар.

Однако «оставаться в городе», а не отправляться в фантазийный Босфор, было совсем непросто. Заедал элементарный быт, вечное отсутствие денег (однажды Шпаликов мрачно сказал: «Если бы я с каждого, кто поет «А я шагаю по Москве», собрал по рублю, я бы стал миллионером»). Собственной квартиры у Шпаликова долго не было, и ему постоянно приходилось скитаться, чаще всего по Домам творчества. И не простые отношения с женщинами (первая жена – Наталья Рязанцева, вторая – актриса Инна Гулая (помните «Тучи над Борском»?). Однако эту тему без вины виноватых муссировать не будем.

Я не был лично знаком со Шпаликовым, но, вчитываясь в его строки, можно предположить, что внутри у него, в душе, происходил постоянный разлад, дисгармония, недовольство собой. Вчитайтесь в его стихотворение «Квазимодо», отбросьте лирические иронизмы и что получите в остатке?

О, Квазимодо, крик печали,
Собор, вечерний разговор,
Под колокольней раскачали
Не медный колокол – топор.

Ему готовят Эсмеральду,
Ему погибнуть суждено,
Он прост, как негр, как эсперанто,
Он прыгнет вечером в окно.

Он никому вокруг не нужен,
Он пуст, как в полночь Нотр-Дам,
Как лейтенант в «Прощай, оружье»,
Как Амстердам и Роттердам...

Когда кровавый герцог Альба
Те города опустошил
И на тюльпаны и на мальвы
Запрет голландцам наложил.

А Квазимодо, Квазимодо
Ждет, минуя этажи.
Молчат готические своды,
Горят цветные витражи...

«Он никому вокруг не нужен» – не случайные слова. Шпаликов это ощущал своей кожей. А он так хотел – чистой дружбы, понимания, любви (из дневника: «Я искал тебя долго и трудно, я не могу тебя найти, моя страна несбыточной мечты. Ах, как хочется красивых слов и всего простого – и нет ничего») и, конечно, творческих успехов. Наверное, по природе своей Шпаликов не был рассчитан на преодоление, сопротивление, борьбу (бывают такие натуры) и, может быть, поэтому рано сломался.

Редеет круг друзей, но – позови,
Давай поговорим как лицеисты —
О Шиллере, о славе, о любви,

О женщинах – возвышенно и чисто.

Воспоминаний сомкнуты ряды,
Они стоят, готовые к атаке,
И вот уж Патриаршие пруды
Идут ко мне в осеннем полумраке.

О, собеседник подневольный мой,
Я, как и ты, сегодня подневолен,
Ты невпопад кивай мне головой,
И я растроган буду и доволен.

Излишне романтическое восприятие жизни сказалось и на литературе. Шпаликов признавался: «Я почти никогда не знал, как будет строиться то, что называется сюжетом. Более того, строить его мне неинтересно. Я не понимаю, к примеру, прелести внезапной развязки и еще много в этом роде. Смена настроений, чувств или, скажем, погоды – снег, дождь на закате, сумерки, летняя жара в городе – вот вам лучший сюжет...» И почти все свои сценарии он строил в импрессионистической манере.

Шпаликов сам решил свести счеты с жизнью. Но самоубийство никогда не бывает неожиданным, спонтанным. Идея добровольного ухода из жизни сидит в голове у самоубийц, и они проворачивают эту идею туда-сюда, как уйти, как это будет выглядеть со стороны, какова будет реакция окружающих:

Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как-нибудь иначе,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.

Или другое стихотворение, аккордно панихидное:

Хоронят писателей мертвых,
Живые идут в коридор.
Живые людей распростертых
Выносят на каменный двор.

Ровесника друга выносят,
Суровость на лицах храня.
А это – выносят, выносят
Ребята выносят меня!..

Тема прощания всплывает у Шпаликова многократно. «Не прикидываясь, а прикидывая,/ Не прикидывая ничего,/ Покидаю вас и покидываю,/ Дорогие мои, всего!..» Разве это случайно? Рассказывают, что незадолго до смерти Шпаликов часто надевал чистое белье и мыл полы – готовился?.. Состояние беззаботной молодости («Мы по палубе бегали – / Целовались с тобой...») ушло. Наступила пора взрослого осознания, что к чему, и кто есть кто.

В 19 лет Шпаликов написал рассказ «Человек умер»: «Деканат сценарного факультета с грустью сообщает, что на днях добровольно ушел из жизни ШПАЛИКОВ ГЕННАДИЙ. Его тело лежит в Большом просмотровом зале. Вход строго по студенческим билетам...»

Более чем мрачная шутка. А может, предчувствие? Предвидение? Восемнадцать лет спустя, живя в Доме творчества в Переделкине, работал над сценарием «Девочка Надя, чего тебе надо?» 28 октября 1974 года закончил его и отдал на машинку. А еще успел написать стихотворение, посвященное Виктору Некрасову:

Зачем приходишь по ночам,
Распахнутый, с веселой челкой, —
Чтоб просыпался и кричал,
Как будто виноват я в чем-то...

А через три дня, в ночь с 31 октября на 1 ноября повесился на своем шарфе (по другой версии – на полотенце).

Шпаликов мечтал о гармонии человеческих отношений. Романтик «оттепели» не выдержал обмана «оттепели». Его раздавила «диалектика реальности». О самоубийстве Шпаликова газеты промолчали.

«Зачем я пишу о вечности? Никакой вечности нет...» (из дневника Шпаликова). В его архиве остались несколько незаконченных сценариев, в том числе «Люди 14 декабря», незавершенный роман, прекрасные стихотворения.

...Никто из нас не Карамзин —
А был ли он, а было ль это —
Пруды, и девушки близи,
И благосклонные поэты.

Первая подборка стихов Шпаликова появилась в журнале «Аврора» в 1975 году. В 1979-м вышел том «Избранное». По

телевизору очень часто гоняют фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой роман» с песенкой Шпаликова: «Рио-рита, рио-рита,/ вертится фокстрот,/ на площадке танцевальной/ сорок первый год...»

А в заключение о «девочке Наде». Чего ей было надо? Шпаликов вывел свою героиню Надежду Смолину – токарь, волжанка, жена, мать, – и вот ее выдвигают кандидатом в депутаты Верховного Совет СССР. Она государственный человек и свято верит, что служит народу. Но власти такое служение совсем не нужно, не нужна никакая советская Жанна д'Арк, нужен всего лишь винтик в голосовательной машине (единогласно «за» – и полный порядок!). Надю сначала уговаривали не лезть на рожон, предупреждали, грозили и, наконец, убили – стояла на дороге, мешала. «Девочка Надя, чего тебе надо?» Такая простенькая и вместе с тем пророческая история, сочиненная Геннадием Шпаликовым. Сценарий, естественно, заморозили, – правда глаза колет?..

Труды приносят мне долги,
Отдохновенья не приносят,
Долги построились в полки,
Приказа ждут и крови просят.

Я к ним покорно выхожу
И руки кверху поднимаю,
Я их прекрасно понимаю,
Но выхода не нахожу... —

писал Шпаликов в одном из стихотворений. И он нашел «выход». Но на самом деле это был не выход. Поиски он предоставил нам.

«…И НЕ НАДЕЙТЕСЬ – Я НЕ УЕДУ!»

Владимир Высоцкий

25 июля – печальная дата: в 1980 году не стало Владимира Высоцкого. «Белый аист московский на белое небо взлетел,/ Черный аист московский на московскую землю спустился», – написал в те дни Булат Окуджава.

Высоцкий прожил 42 года и еще ровно 7 месяцев (родился 25 января 1938 года). Прожил? Нет, точнее, сгорел. Пролетел огненным метеором и исчез в космическом пространстве, недаром одна из статей о нем называлась «Космический пришелец или избранник Божий?» «Он родился с обнаженной душой», – сказал о Высоцком Роберт Рождественский. Я бы сказал иначе: с огромным сердцем в груди, которое в конечном счете и разорвало поэта. Он это сам чувствовал и просил: «Хоть немного еще постою на краю…» Постоял – и сорвался вниз. С мучительным надрывом порвались «серебряные струны».

Писать о его жизни и творчестве? Пожалуй, уже все написано.

Лучше Альфреда Шнитке не скажешь: «Это – гениальный человек, со всеми достоинствами и недостатками гениального человека». Поэтому сузим пространство и поговорим на тему «Русский поэт и Запад». Поэтов и писателей издавна привлекал Запад, «страна священных чудес», как выразился Алексей Хомяков. Пушкин мечтал о Европе, да в ней не побывал. Гоголь с удовольствием жил и творил в Италии. Тютчев, Некрасов, Фет и другие русские поэты неоднократно посещали европейские страны. Жили там. Лечились. Писали лирические страницы о России («Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье», – как справедливо отметил Сергей Есенин). До революции 1917 года съездить на Запад – не составляло ничего трудного (разумеется, для обеспеченных людей), ну, а потом контакты стали затруднены, а затем и вовсе опустился железный занавес – Запад стал запретным плодом. Туда-сюда шастали только дипломаты, партийные функционеры да шпионы. А простым людям – запрет. Шлагбаум, так сказать. Так, дозированный и профильтрованный туризм: «Перед выездом в загранку/ Заполняешь кучу бланков...» И далее у Высоцкого:

А за месяц до вояжа
Инструктаж проходишь даже —
Как там проводить все дни:
Чтоб поменьше безобразий,
А потусторонних связей
Чтобы – ни-ни-ни!

Кто раньше ездил, тот хорошо помнит все эти предзагранничные мытарства с комиссиями, где какой-нибудь партийный маразматик непременно говорил: «А вы на Байкале были? Почему бы вам не съездить туда...»

А как хотелось посмотреть не только Байкал и Сенеж! Всем, кто родился в 30-е и 40-е годы, жителям коммуналок и «системы коридорной» так хотелось увидеть свет. Каждый из нас грезил и мечтал, как Владимир Высоцкий:

Мне казалось, я тоже сходил с кораблей
В эти Токио, Гамбурги, Гавры...

Неисправимый романтик Александр Грин на новом историческом витке, которому явственно виделись алые паруса. Сесть на яхту...

А потом будут Фуджи и порт Кюрасау,
И еще черта в ступе, и бог знает что,
И красивейшей в мире фиорд Мильфорсаун —
Все, куда я ногой не ступал, но зато...

Это «зато» – Таити – пришло позднее. А сначала пришлось хлебать и выслушивать инструкции ответственных товарищей за выезд:

Говорил со мной как с братом
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В польский город Будапешт...

Кто его знает, где этот, действительно, Будапешт? В Польше? В Венгрии? В Японии? Мы там не бывали. И вот эту тоску-печаль «небытия» и невозможности ТАМ побывать прекрасно выразил Владимир Высоцкий:

Наверно, я погиб: глаза закрою – вижу.
Наверно, я погиб: робею, а потом —
Куда мне до нее – она была в Париже,
И я вчера узнал – не только в ём одном...

В песне автобиографический аспект: она – это Марина Влади, русско-французская русалка, знаменитая кинозвезда 50 – 60-х годов. Двенадцать лет продолжался роман Владимира Высоцкого и Марины Влади, с перерывами, переездами, жизнь «на две страны». Любовь-скандал для обывателей. Любовь-бельмо для властей. Они скрипели зубами, но ничего не могли поделать: слишком звездная была пара, их разлука стала бы международным скандалом. В ход шли злобные слухи и грязные наветы. Высоцкий вынужденно отвечал:

Нет меня, я покинул Расею!
Мои девочки ходят в соплях!
Я теперь свои семечки сею
На чужих Елисейских полях.

Кто-то вякнул в трамвае на Пресне:
«Нет его – умотал наконец!
Вот и пусть свои чуждые песни

Пишет там про Версальский дворец!»

И мощная концовка-отповедь:

Я смеюсь, умирая от смеха:
Как поверили этому бреду?! —
Не волнуйтесь – я не уехал,
И не надейтесь – я не уеду.

У Владимира Высоцкого была прекрасная возможность остаться на Западе. Он говорил своему другу Михаилу Шемякину: «Нью-Йорк – это город-бог! Ничего остального нет. Только там мы можем работать...» Но это всего лишь был порыв. Так думалось, но не так хотелось. Вне Москвы, вне России Высоцкий себя не мыслил, несмотря на все шероховатости и проблемы на родине:

А люди все роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
Мы в очереди первые стояли,
А те, кто сзади нас, – уже едят...

На Западе, даже в любимом всеми русскими Париже, Высоцкому с его ширью-удалью было тесно, неуютно (это чувство испытывал в свое время Сергей Есенин). В песне «Письмо к другу» он пел:

...Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны, как в бане пассатижи.

Какая рифма! И какая метафора! Что остается? Пить да выражаться ненормативной лексикой:

Проникновенье наше на планете
Особенно заметно вдалеке:
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке!..

Ну, и, конечно, русский загул. И если сам не хотел, так заставляли приятели и знакомые. «Ну, как не выпить с Высоцким – на всю жизнь сувенир!» – вспоминает Михаил Шемякин. И в его воспоминаниях есть страницы, как они вдвоем с Высоцким гуляли

в Париже. Сначала в кабаре «Две гитары», затем в «Распутине», потом в ресторане с цыганами. Высоцкий разбрасывал «денежные знаки населению» и пел про черный пистолет на Большом Каретном. Спьяну Шемякин кричал, вспомнив про оружие: «Вовочка, вот, здесь он!» Вынимал пистолет и начинал палить в потолок. Короче, гуляли славно, на всю катушку!..

Что ж, было такое. Были и серьезные концерты в Америке и Канаде. Пел Высоцкий и в Голливуде, изумляя и потрясая своих американских слушателей мощнейшим напором и надрывом в песнях. Как вспоминает Марина Влади: «Володя ездил по свету: мы побывали в Мексике, и на Таити, и в Голливуде, но после 2 – 3 недель его тянуло домой. Ему хотелось слышать родной язык – ему он нужен был как воздух. Он не мог здесь жить, не хотел и никогда о переезде не говорил».

Под Парижем в поместье Марины Влади, казалось бы, было все: дом-дворец, сад, подстриженные газоны, цветники... А он звонил Шемякину и кричал в трубку: «Мишка! Если не приедешь – повешусь! Потому что я смотрю на эти французские деревья, и мне хочется повеситься! Что мне здесь делать?!»

Нет, Высоцкий никогда не обольщался прелестями Запада:

И я не отличался от невежд,
А если отличался – очень мало, —
Занозы не оставил Будапешт,
А Прага сердце мне не разорвала...

Нет рая на земле. Ни на Востоке. Ни на Западе. Ни в капиталистическом обществе. Ни в социалистическом. Ни в каком другом. И Высоцкий с горькой нотой пел:

Я никогда не верил в миражи,
В грядущий рай не ладил чемодана...

Конечно, Россия горька. «Долго жить во тьме привыкали мы...» Да, к тому постоянно – «Идет охота на волков, идет охота!..» Все это так. Но – родина. Любимая Россия. О ней пел Владимир Высоцкий «на краю пропасти». И надорвался. Не выдержали нервы, струны, сердце...

«Возвращаются все – кроме тех, кто нужней...»

Эх, Владимир Семенович, запел бы ты сегодня! Какие темы! Какие сюжеты! Какие персоны!..

Слева бесы, справа бесы,

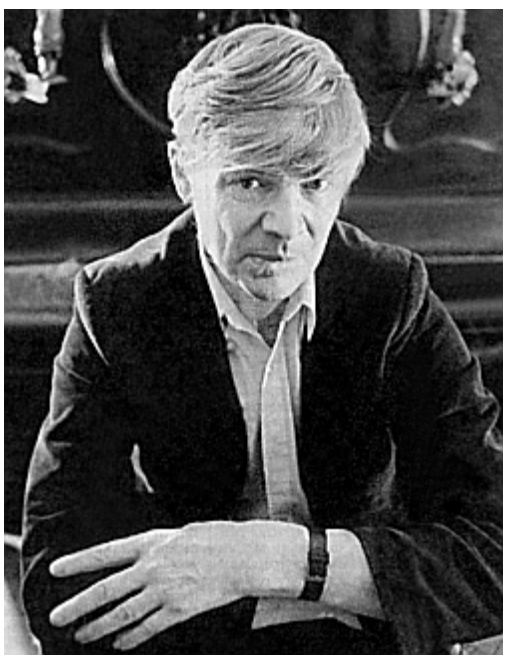
Нет, по новой мне налей!
Эти – с нар, а те – из кресел, —
Не поймешь, какие злей...

МОСКВА – ПЕТУШКИ, ДАЛЕЕ БЕЗДНА, ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА ПО КЛИЧКЕ ЕРОФЕИЧ

«Кто поручится, что наше послезавтра будет не хуже нашего позавчера».

Венедикт Ерофеев

Тип русского человека



Венедикт Ерофеев

Один из критиков нашел точные слова: «После Карнавала, или Вечный Веничка».

Почему карнавал? Да потому, что вся советская действительность представляла собой сплошной карнавал – шествие с масками и плясками смерти. Мы жили в перевернутом мире человеческих ценностей, изрядно сдобренном трупным запахом (террор, ГУЛАГ, безысходное пьянство и добровольное самоубийство как спасение). А Вечный Веничка? Это наша русская ментальность. Веничка – это определенный тип русского человека, талантливого созерцателя, не востребованного жизнью

и сознательно уклоняющегося от нее. Талантище и умница без меры. «Самый русский из всех наших писателей, после Розанова», «не выходя из тени родных осин, осознающий и воспринимающий себя в западном контексте от Баха до Сартра» (Петр Вайль). Естественно, не признанный. Сам Венедикт Васильевич говорил: «А я, хоккейно выражаясь, забытый и пропущенный».

И принимайте таким, какой он есть.

Петушки – наш тоскующий град

> *«Я вышел из дому, прихватив с собой три пистолета: один пистолет я сунул за пазуху, второй – тоже за пазуху, третий – не помню куда. И, выходя в переулок, сказал: «Разве это жизнь? Это не жизнь, это колыхание струй и душевредительство».*
>
> *Венедикт Ерофеев.*

«Василий Розанов глазами эксцентрика».

Венедикт Ерофеев – автор бессмертной поэмы «Москва – Петушки» (бессмертной – без всякого преувеличения). «Все мы вышли из «Петушков»« – это не только надпись на первой изданной в России антологии поэтов новой волны. Это правда. Сначала была «Шинель», а теперь вот «Петушки». Новый язык. Новый стиль. Новое прочтение и восприятие жизни. Озарение и упоение страданием (вот он, наш исконный и домотканый менталитет, поляны и осины русской души). Настоящей страстью Вени, отмечает Ольга Седакова, было горе. Он предлагал писать это слово с прописной буквы, как у Цветаевой: Горе. Горе не бытовое, а общемировое, экзистенциальное.

Но не только страдание, переходящее в сострадание и в любовь к ближнему и дальнему. Друг Венички Ерофеева Игорь Авдиев (выведенный в «Петушках» как Черноусый) вспоминает: «Веничка был апологетом нежных отношений между людьми. Со страниц «Петушков» он как бы говорит нам: «Люди, ну не будьте так грубы!» Он возбуждал забытые со времени Карамзина, литературы сентиментализма чувства. Я бы сказал, он был учителем нежности».

Итак, евангелический, сострадательный аспект. Но у поэмы «Москва – Петушки» есть и другой аспект – социологический: в ней угадан и воплощен бурно протекающий процесс национальной люмпенизации. Водка, матюги, бред, глум,

абракадабра и прочие проявления темноты и неразумения людей, сошедших со своей социальной резьбы.

Но опять же это не все. «Москва – Петушки» – это и религиозная книга. Поиски Бога и разговор с ним. Исповедь и раскаяние. Восхищение и недоумение («Мы грязные животные, а ты – как лилея!»). Негодование по поводу миропорядка и мироустройства («Получается – мы маленькие козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред...»). Вызов от имени всех униженных и оскорбленных, вопль собственного бессилия («Смотри, Господь, вот розовое крепкое за руль тридцать семь...»).

В «Петушках» Венедикт Ерофеев выступает как «праведник среди дикарей», «миссионер среди варваров», «святой среди богохульников», по определению Льва Аннинского. Герой поэмы (его авторское «я») все пытается совершить паломничество к святыне. Она Дева и Богородица. Живет в Петушках. Ее образ ослепителен и притягателен. Вот бы добраться и припасть к ее мраморно-белоснежным коленям. Там – рай. Но... никак не может доехать Веничка до вожделенного пункта своего счастья. Не дается Рай. Герой блуждает по кругам Ада, все время проезжая мимо станции «Серп и Молот». Он пьет, чтобы прибавились силы, однако алкоголь (портвешок и другие его заменители) лишь обессиливает его. Бессмысленное кружение без катарсиса.

Когда «Москва – Петушки» в самиздатовском варианте (а это был 1969 год) стала гулять по стране, то реакция оказалась полярной, от полного восхищения до такого же полного отторжения. Одни чутко улавливали мысли и чувства, вынесенные за скобки и утопленные в подтексте, для других же все было ясно: «Да просто пьяница едет в электричке».

«И в запой отправился парень молодой»

«Кто хочет, тот допьется».

Название главки и эпиграф

из записей Венедикта Ерофеева

Итак, пьяница в электричке. О пьянстве Венички следует поговорить особо. Да, Венедикт Ерофеев пил (а кто не пил из российских писателей?), Во владимирский его период у Ерофеева бывали дуэли с самыми знаменитыми выпивохами, и он перепивал всех, причем знаменитости валялись под столом, а он, чистый как стеклышко, в домашних тапочках на босу ногу (о, бедность!), снисходительно принимал восторги дев, зрительниц данных соревнований.

Мать первой жены, Валентины, растапливала печку Вениными дневниками, приговаривая: «У пьяного Тришки одни рваные книжки».

По воспоминаниям друзей и знакомых, у Ерофеича (так его иногда называли) была изумительная способность не пьянеть, она длилась долго. А потом, увы, иссякла. Лидия Любчикова вспоминает: «Он остался такой же веселый и хороший, как в молодости, но только когда был трезв, а это случалось все реже. Очень жаль, что Венедикт потерял способность не пьянеть. Потому что пьяным он становился совершенно другим – резким, неприязненным. Его трудно стало любить – ценить, все прочее, а любовь он мог оттолкнуть очень резко. И слава Богу, что многие все-таки его видели настоящего и любили...»

Хотя, конечно, были и просветы и попытки если не пить совсем, то по крайней мере мало.

Из письма Ерофеева сестре Тамаре, 13 ноября 1982 года: «День рождения обстоял вполне благополучно, и я намеренно почти ничего не пил (вот что удивительно, и Галина меня перехвалила: все последовали моему образцу, и все обошлось «без бурь, без громов и без молний» (Висс. Белинский). Я заведомо спровадил всех потенциальных экстремистов, налив им по рюмке водки и мысленно дав поджопника, а всех максималисток, поочередно с каждой кулуарно беседуя, заверил в своей любви и в их единственности...»

И все же Венедикт Ерофеев, скажем прямо, был сильно пьющим человеком. Как писал Генрих Сапгир в стихотворении «Очередь», посвященном Веничке Ерофееву

> Дрызнь об нас обколотила все углы.
> Мы бы рады стать красивей – жены злы,
> вот и пьем и вяжем мать твою в узлы...

На вопрос, пьет ли он, Венедикт Ерофеев отвечал:

– Попиваю, да, но ведь без всякой эскалации.

– И часто?

– Когда как. Другие – чаще... Но я – в отличие от них – без всякого фарсу и забубенности. Я – только когда печален...

По мнению Ольги Седаковой, Венин алкоголь был для него в своем роде возвышающей страстью. «Чувствовалось, что этот образ жизни – не тривиальное пьянство, а какая-то служба. Служба Кабаку? Мучения и труда в ней было несравненно больше, чем удовольствия. О таких присущих этому занятию удовольствиях, как «развеяться», «забыться», «упростить общение» – не говоря уже об удовольствии от вкуса алкогольного напитка

(тому, кто хвалил вкус вина, Веня говорил: «Фу, пошляк!»), в этом случае и речи не шло. Я вообще не встречала более яростного врага любого общеизвестного «удовольствия», чем Веничка. Получать удовольствие, искать удовольствий – гаже вещи для него, наверное, не было. Должно быть плохо, «все должно идти медленно и неправильно, чтобы не загордился человек...» – как помнят читатели «Петушков»...»

Наталья Шмелькова, последняя подруга Венедикта Ерофеева, дает такую оценку: «...Вообще я его алкоголиком не считаю. Он не был этим болен. Тут сложнее. Это был как бы образ жизни. Алкоголь не был для него наркотиком, как для других: мозги затуманить, забыть и уснуть. Абсолютно нет. Он не любил тупого пьянства. Пили, беседовали, юмор. Терпеть не мог, когда физически пьянели, всегда свежая голова, свежие глаза. Говорил: ненавижу пьяниц».

Старый друг и собутыльник Венички Игорь Авдиев подтверждает: «Веня ненавидел просто пьяниц. Ненавидел опьяняющее скотство: нетвердость в ногах, жесты чересчур, слабость, когда ты, как трехмесячный младенец, плохо голову держишь, – это Веня прощал, но заплетающийся язык, нечеткость мыслей, стилистическую несуразность, советские идеолекты, безмозглость логики, мертвость пошлости – еще чего? Чего же еще! Сам Веня никогда не был, видимо, пьян. Он или затихал, как дерево в роще, но только, когда вся роща уже затихала, он затихал последним, как самое высокое дерево в роще, или, если роща вырубалась и молола посюстороннюю чепуху, Веня становился трагичен, как Бранд в вышине. Веня не любил налитые бельма, бессмысленность взгляда...»

«Мне с вами не о чем пить» – коронная фраза Венедикта Ерофеева. По Веничке, пить – это значит общаться, разговаривать, мыслить, острить.

«В манере Пастернака: “Достать бы водку за шесть гривен”» (из записных книжек Венедикта Ерофеева).

Возвращение к «Петушкам»

В книге «Москва – Петушки» можно вычитать любые рецепты алкашей того советского славного периода. Знаменитый «Сучий потрох» (рецепт изготовления: пиво «Жигулевское» – 100 г, шампунь «Садко – богатый гость» – 30 г, резоль для очистки волос от перхоти – 70 г, клей БФ – 12 г). А еще спиртовые коктейли: «Слеза комсомолки», «Поцелуй тети Клавы», «Дух Женевы»...

Да, «Петушки» богато спиритуализованы. Это видимая и ощущаемая сторона повествования. Но есть и другая, невидимая

для тех, кто незнаком с мировой и русской литературой, и именно эта часть доставляет настоящий кайф. Впрочем, это касается и других произведений Венедикта Ерофеева. Он виртуозно владел методом литературного монтажа: цитаты, прямые и скрытые, аллюзии, переклички, параллели идут в тесном ряду и создают энциклопедический аромат культуры. Если курят, то тринадцать трубок; если позвонок, то четвертый; если что-нибудь отблескивает, то на клине бороды и т. д.

«И пламенный Хафиз (пламенный пошляк Хафиз, терпеть не могу), и пламенный Хафиз сказал: «У каждого в глазах своя звезда». А вот у меня ни одной звезды, ни в одном глазу.

А Алексей Маресьев сказал: «У каждого в душе должен быть свой комиссар». А у меня в душе нет своего комиссара...» («Василий Розанов глазами эксцентрика»)

Все эти цитаты плотно вписаны в ерофеевский текст, не говоря уже о Библии. Библейские образы, метафоры и ходы освоены Ерофеевым до блеска.

Так что же получается? Алкоголик и книгочей?! Бомж и эрудит? Плебей и высоколобый? Пушкин-Евтюшкин?.. Чисто российский вариант, но с иностранным вкраплением. Что-то вроде помеси Аполлона Григорьева с Артюром Рембо. Вечный изгнанник. Вечный бездомный. Вечно неприкаянный. Но – с нежной душой и четким умом философа.

Тут напрашивается биография: откуда, как и почему? Но вот незадача: Венедикт Ерофеев уже при жизни стал мифом, оброс основательно легендами и слухами, превратился в почти фольклорный персонаж.

Пришелец из Заполярья

« – Плевать на Миклухо-Маклая, что бы он там ни молол. До тридцати лет, после тридцати – какая разница? Ну что, допустим, сделал в мои годы император Нерон? Ровно ничего не сделал. Он успел, правда, отрубить башку у брата своего, Британика. Но основное было впереди: он еще не изнасиловал ни одной из своих племянниц, не поджигал Рима с четырех сторон и еще не задушил свою маму атласной подушкой. Вот и у меня тоже – все впереди!»

«Василий Розанов глазами эксцентрика».

И все же без нескольких биографических штрихов никак не обойтись. Венедикт Ерофеев родился 24 октября 1938 года в Кировске (бывший Хибиногорск) Мурманской области. Родители из Ульяновской области, с Поволжья. Отец Венички был репрессирован в 1946 году. По словам сестры Нины, он был человеком очень остроумным, мог рассказать анекдот, а этого было достаточно для ареста. Мать одна тащила шестерых детей – Веничка был пятым. Рос он в бедности и голоде, В школе у Вени с братом Борей был один портфель на двоих. Рассказывает сестра Нина:

«Веничка необычный был и маленький: когда он научился читать, мы даже и не знали, никто его специально не учил, может быть, сам что-то спрашивал у старших. Он был сдержанный, углубленный в свои мысли, память у него была превосходная. Например, такой эпизод. Книг особых у нас не было, поэтому читали все подряд, что под руку попадется; был у нас маленький отрывной календарь, который вешают на стену и каждый день отрывают по листочку. Веничка этот календарь – все 365 дней – полностью знал наизусть еще до школы; например, скажешь ему: 31 июля – он отвечает: пятница, восход, заход солнца, долгота дня, праздники и все, что на обороте написано. Такая была феноменальная память. Мы, когда хотели кого-нибудь удивить, Показывали это. К тому же у него всегда был независимый характер. Например, на него жаловалась учительница в первом классе: когда детей принимали в октябрята, он ей сказал, что не хочет. Учительница была вне себя: «Как же так, все же октябрята!» – «А я не хочу, как все». Так и не стал октябренком. И ни пионером, ни комсомольцем он не был. А ведь это было в 40 – 50-е годы».

Три года Венедикт провел в детском доме. Затем его, когда вернулся отец, забрали в Кировск, и там, на Кольском полуострове, он закончил 10 классов. Золотым медалистом в 17 лет отправился Веничка, в Москву и поступил в 1955 году на филологический факультет МГУ. «В нем еще ничего не было, кроме через край бьющей талантливости и открытости к словесности» (сокурсник и друг Владимир Муравьев). Жили студенты-филологи очень весело, ставили оперу «Апрельские тезисы», которую сочинили все вместе. Но это веселье долго не продолжалось.

В одном из интервью Венедикт Ерофеев рассказывал:

– Майор, который вел наши военные занятия, сказал

однажды: «Ерофеев! Почему вы так стоите? Неужели нельзя стоять стройно, парам-пам-пам! Главное в человеке, – и он прохаживается перед строем наших филфаковцев, – выправка!» Ну, а я ему и сказал, что это, мол, не ваша фраза, это точная цитата из Германа Геринга, конец которого, между прочим, известен...

– А что, интересно, ответил товарищ майор?

– Товарищ майор ничего не ответил, но дал мне глазом понять, что мне недолго быть в МГУ имени Ломоносова. Но ничего не возразил – что на это возразишь?..

На зимней сессии второго курса Ерофеева вышибли; Но не товарищ майор был тому виною, а сам Веничка в первую сессию он сдал на пятерки без всякого для себя напряжения, а потом перестал сдавать экзамены и вообще ходить на занятия. Ему хотелось быть вольной птицей, а такого не дозволялось.

Четыре вуза – Московский университет, Орехово-Зуевский, Коломенский и Владимирский педагогические институты – изгоняли его. Во Владимире не только отчислили из института, но и выслали из города. Формулировка такая: «За моральное, нравственное и идейное разложение студентов Института имени Лебедева-Полянского». В чем выразилось «нравственное и идейное разложение»? В общежитии, в тумбочке, у Ерофеева нашли Библию, которую он постоянно читал и часто цитировал. По тогдашним временам это было нечто контрреволюционное и антисоветское, а поэтому – ату его!..

Вот так складывалась судьба юноши из заполярной глубинки. С институтами не получалось, приходилось работать. «Чем занимался? Да чем только не занимался, – рассказывал «Московским новостям» Венедикт Ерофеев. – Работал каменщиком, штукатуром, подсобником на строительстве Черемушек, в геологоразведочной партии на Украине, библиотекарем в Брянске, заведующим цементным складом в Дзержинске Горьковской области... Кем угодно».

Не получив высшего образования и не имея возможности работать по специальности, связанной с филологией, с литературой, Венедикт Ерофеев 15 лет скитался по стране. Был еще приемщиком стеклотары, змееловом в Средней Азии, дорожным рабочим, монтажником линий связи.

«Я работал тогда на кабельных работах, и по моей вине вся Россия покрылась телефонными кабелями, – в другой раз и другой газете рассказывал Ерофеев. – Я связал Вильнюс с Витебском и Полоцк с Москвой, но это не минуло литературу, поскольку ей всегда необходим новый язык, со старым языком ничего не будет, а на кабельных работах я получил отличную

фольклорную практику. Жил я в вагончике тогда, в грязи, в одном вагончике помещалось девять человек. Мои соседи обращались со мной нормально, но считали дураком...»

Именно там, на кабельных работах, лежа на верхней полке нар, написал Венедикт Ерофеев поэму «Москва – Петушки», ставшую символом целой эпохи. Тонюсенькая книжечка, написанная в 1969 году, вызвала бурю литературоведческих дискуссий и сразу вошла в народ, как нож входит в масло. По количеству крылатых слов и выражений «Москва – Петушки» может соперничать с «Горем от ума».

Но еще раньше, в студенческую пору, Ерофеев сочинил «Записки психопата», затем роман о Шостаковиче. И то, и другое считается утерянным.

Ну а дальше на Венедикта Ерофеева навалились болезнь и слава, почти одновременно. Он перенес тяжелую операцию, и благодарное отечество отвалило ему 26 рублей пенсии по инвалидности. Поэма «Москва – Петушки» (повесть, роман – как ее только не называют) перепечатывалась многократно у нас и за рубежом. Публиковалось эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика». Пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» шла в театре. Журналисты стали осаждать уже признанного и знаменитого писателя вопросами типа: «Наследует ли советская интеллигенция лучшие традиции интеллигенции русской?» На что Венедикт Васильевич отвечал так:

– Советская интеллигенция? Господи, а это что такое?.. Это чистейшая болтовня. Чего им наследовать? Советская интеллигенция истребила русскую интеллигенцию, и она еще претендует на какое-то наследство...

– А как вы оцениваете современное состояние культуры – как кризисное? – вопрошал корреспондент «Московских новостей» в декабре 1989 года.

– Никакого кризиса нет, и даже полное отсутствие всякого кризиса, – отвечал Венедикт Ерофеев. – Добро бы был хотя бы элементарный кризис, а то вообще – ни культуры, ни кризиса, решительно ничего.

На такое полное отрицание кто-кто, а Венедикт Ерофеев имел право.

Книжный человек

Alit lectio ingenium[1].

Владимир Муравьев о Венедикте Ерофееве: «Он всю жизнь читал, читал очень много. Мог месяцами просиживать в

Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная. Но читал не все что угодно. У него был очень сильный избирательный импульс, массу простых вещей он не читал, например, не уверен, что он перечитывал когда-нибудь «Анну Каренину». Не знаю, была ли она вообще ему интересна. Он, как собака, искал «свое». Вот еще в общежитии попались ему под руку «Мистерии» Гамсуна, и он сразу понял, что это – его. И уж «Мистерии» он знал почти наизусть. Данные его были великолепны: великолепная память, великолепная, незамутненная восприимчивость. И он совершенно был не обгажен социалистической идеологией... Он вообще мечтал весь век учиться, быть школьником или сидеть с книжечкой в библиотеке... Он действительно был человеком литературы, слова. Рожденным словом, существующим со словесностью...»

Когда Веничка приезжал к родным – сестрам и братьям, то составлял для них список, что надо читать. «“Что ты читаешь?” – «Пикуля». – «Фу! Вот Набокова надо читать, – вспоминает слова Вени сестра Нина. – Неужели ты дожила до таких лет и не знаешь, кто такой Набоков?.. Вот сейчас печатают Конквиста», а у него эти книги в такие годы. Он давал эту книгу нам с Тамарой на одну ночь».

Любимыми писателями Венедикта Ерофеева были из западных Рабле, Паскаль, Ибсен, Гамсун... Из отечественных – Гоголь («Если бы не было Николая Васильевича, и меня бы как писателя не было, и в этом не стыдно признаться»), Некрасов, Салтыков-Щедрин, Козьма Прутков, обэриуты Хармс, Олейников... Из поэзии любимыми были Бальмонт и Северянин, к которым Ерофеев сохранил привязанность до конца дней своих. В юности Ерофеев любил сочинять пародии в стиле Северянина. Вот отрывок, написанный летом 1957 года и посвященный тогдашним международным событиям:

О, катастрофа Будапешта
была изящным менуэтом,
она, как декольте Сильваны,
сорвала русские муары.
Для нас служила оппонентом
декоративность пируэта,
для них – трагедия Суэца —
своеобразным писсуаром.
Я, очарованно загрезив,
постиг рентабельность агрессий
и, разуверившись в комфорте
республиканского фрегата,

неподражаемо эффектно
сымпровизировал позессив,
пленив пикантностью Жюль Мока
и деликатных делегатов.

Не терпел Ерофеев Чернышевского и Добролюбова. Не любил Ахматову и Булгакова (по воспоминаниям, «Мастера и Маргариту» ненавидел так, что его трясло). Про писания Эдуарда Лимонова говорил: «Это нельзя читать».

К современным писателям Венедикт Васильевич относился плохо. Во многих из них его коробила «победоносная самоуверенность» – по мнению Ерофеева, «писатели должны ходить с опущенной головой». Не признавал напыщенности. «Я хоть и сам люблю позубоскалить, – говорил он, – но писать нужно с дрожью в губах, а у них этого нет». И еще Венедикт Ерофеев признавался: «Писать надо, как говоришь». По наблюдению Шмельковой, сам Ерофеев писал легко и быстро, на одном дыхании, когда накатывало вдохновение, потом мог подолгу молчать.

Помимо книг, Венедикт любил музыку и хорошо ее знал. Одним из самых любимых его композиторов был Ян Сибелиус. Характерное признание содержится в письме писателя к сестре Тамаре от 13 ноября 1982 года: «Теперь другая помеха занятиям: по случаю кончины нашего президента мне на голову свалилась такая бездна добротной музыки, что я едва успеваю перебегать от радио к телевизору и обратно. Допустим, только что по радио закончилось мое любимое получасовое andante из 4-й симфонии Брукнера, как слышишь: в той комнате, по телевизору, начали 8-ю сонату Бетховена; не успев ее дослушать, бежишь на кухню, потому что там без всякого предупреждения вступила самая скорбная и горемычная часть из 1-й сюиты Сибелиуса и т. д.».

Веничка во весь рост

«Что я, в сущности, люблю? Лютики, песни Блантера, портвейн и человеконенавистнические замыслы американской военщины».

Венедикт Ерофеев

В этом признании – весь Веничка: кроткий ироник со всеми слабостями и грехами. На вопрос одного из журналистов: какие мечты он лелеял в детстве? – Веничка ответил так:

«Я вначале мечтал быть стеклодувом, потом фальшивомонетчиком, вампиром – а потом опять стеклодувом и прекрасной дамой».

Из ответа ясно: Ерофеев не выносил серьезного пафоса и штампов газетных интервью. Был ироничен и остроумен. Любил шутку, веселую историю, каламбуры. Юмор не покидал его в самых тяжелых обстоятельствах. В его записных книжках много истинных перлов:

«Зачем мне сюжет, был бы бюджет».

«Я попросил Господа Бога сделать ну хоть на полтора градуса теплее обычного. Он ничего твердого мне не обещал».

«Ходил в лес исследовать апрель, каковы его свойства».

«Вот еще вид спорта: погоня за химерами».

Венедикта Ерофеева любили почти все окружающие. Любопытно, что все называли его по-разному. Он сам составил такую хронологическую классификацию своих кличек:

«В 1955 – 1957 гг. меня называли просто «Веничка». В 1957 – 1958 гг., по мере поведения и повзросления – «Венедикт»; в 1959 г. – «Бен», «Граф», «Сам»; в 1961 – 1962 гг. – опять «Венедикт», и с 1963 г. – снова поголовное “Веничка”».

Ерофеев всегда был открыт, сострадателен к чужой беде. Не случайно с ним дружили такие люди, как Виктор Некрасов, Юрий Домбровский, Андрей Амальрик, Вадим Делоне… Однако дружба и пьяные застолья отвлекали его от творчества.

Галина Ерофеева вспоминает: он все время мечтал, что вот сейчас останется один и будет писать. Из его записных книжек видно, что это постоянное желание – быть в одиночестве. Где бы он ни был, всегда бывал окружен людьми. Для него характерно такое признание: «Мое нормальное положение – закрытое, как у шлагбаума».

Со слов второй жены: «Он был очень хрупким, незащищенным, буквально как цветочек». И далее о нем: «Известно, как обычно мужики носятся со своим здоровьем, – у него этого никогда не было. Он был невероятно застенчив даже перед собой. Он как посмотрит на лица наших писателей – мурло! Ну кто, когда из русских писателей мог позволить себе быть таким гладким? А он никогда не жаловался, даже с этой проклятой болезнью…»

Речь у Венедикта Ерофеева была размеренной, голоса он никогда не повышал. «Горше всего вспоминать о нежности Бена. Она осталась невостребованной», – отмечает Лидия Любчикова.

Еще одна грань характера и личности Венедикта Ерофеева: очень сильный религиозный потенциал, – вспоминает Владимир Муравьев. «У Венички было ощущение, что благополучная,

обыденная жизнь – это подмена настоящей жизни, он разрушил ее, и его разрушительство отчасти действительно имело религиозный оттенок. Как, кстати, и у декадентов, которые были ему близки...»

Не отсюда ли нелюбовь к душевному покою? Самоистязание, самосожжение. «Без страдания обходиться не мог» (Наталья Шмелькова).

И последний штрих: «В материальном отношении он был абсолютно бессребреник» (Александр Леонтович).

Женщины Венедикта Ерофеева

«Я люблю дебелых, я дебелогвардееец».

Венедикт Ерофеев

На вопрос: «А как вы относитесь к женщинам?» – Ерофеев отвечал коротко: «Противоречиво отношусь».

Расшифруем: он относился к ним нежно, но эту нежность тщательно скрывал за иронией. «У нас в паспортах так и записано: у меня: «Недоносок», а у нее: «Пеннорожденная»«.

Вот вам и «расстановка сил».

Рассказывает Лидия Любчикова:

«В юности он был очень добродушен и деликатен, никогда он никого резко не отталкивал. И у него, по-моему, были романы, но не знаю, насколько они его глубоко трогали. По рассказам, он любил Юлию и чуть ли это не осталось болезнью на всю жизнь. Юлия у них была «комсомольская богиня». Она была, кажется, секретарь комсомольской организации, девица с волевым характером, ездила на мотоцикле, стреляла и так далее. Она училась на биолога и сейчас, кажется, кандидат наук. Тогда дело кончилось разрывом: наверное, в этом виновата и его богемная натура, и очевидная неустроенность, и благосклонность ко всем девушкам, которые вокруг вились. Была легенда, что Юлия хотела даже застрелить Бена.

Валя Зимакова, тоже из пединститута, оказалась, очевидно, той, которая полюбила Вето сильнее других, «прилепилась» к нему, как советует Писание, и стала в конце концов его женой. После распределения она поехала к себе в Мышлино преподавать. Это под Петушками (деревня), совершенно захолустная: через поля, через леса. Там несколько деревень близко друг от друга. Валя жила в Мышлине, а преподавала немецкий и потом что придется в соседней деревне, в школе. Бенедикт приезжал в

Мышлино, когда у него были свободные дни. Валя начала очень сильно пить, а может быть, она пила еще со Владимира, там была тогда мода на пьянство и бесовство: все девицы объявляли себя ведьмами, была общая истерия, вечно их нужно было вызволять, спасать: то они себе разрежут вены, то еще что-нибудь. Контора Бенедикта была в Москве, жил он где придется, у него никогда не было своего дома. Неустройство было ужасное...»

Среди русских литераторов это обычная напасть: большинство писателей маялось то с домом, то с семьей, а уж с презренными деньгами, наверное, почти все, кроме Льва Николаевича. Но вернемся к воспоминаниям Лидии Любчиковой:

«Ребенка своего Бенедикт называл «младенцем» – так и повелось. Он ужасно его любил, но не показывал этого впрямую. Ему несвойственно было говорить нежные слова, но интонация, выражение лица... Ребенок в «Петушках» – это Валин сын, а женщина – не она. И даже буква «Ю», я думаю, идет от имени Юлия. Бен потом снова сошелся с Юлией, и на какое-то время семью у него как отрезало, он о них даже не вспоминал, не говорил. У Юлии была трехкомнатная квартира в Пущине, она постаралась его обиходить, потому что он в переездах среди своих пьяных мужиков, житья на квартирах и в гостиницах оборвался .весь... И она взялась его одевать, обувать, отмывать, всячески холить и нежить. Приезжает он как-то раз к нам и портфель несет. То у него были какие-то замызганные чемоданчики, а тут – роскошный министерский портфель, и оттуда он вынимает замечательные тапочки – мягкие, коричневые. Он нам тапочки показывает, усмехаясь над собой, и говорит: «Что тапочки! У меня теперь холодильник даже есть, представляете! Первый раз в жизни у меня есть холодильник, и чего там только в этом холодильнике нет!» И весь сияет и рад по-детски...»

И такое уже в истории было, достаточно вспомнить, как Зинаида Райх спасала Сергея Есенина и тоже пыталась отучить его от пристрастия к алкоголю. Юлия Рунова тоже ставила ультиматум, чтобы Веня не пил. Слово, конечно, он не сдержал, пошли ссоры-раздоры, и стал тогда Венедикт Ерофеев метаться между женой и любовницей, между Валей и Юлией, между Мышлином и Пущином, не забывая при этом таскать с собой «замечательные тапочки». В конце концов Юлия не выдержала и прогнала Ерофеева окончательно.

Потом Веничка возник в жизни другой женщины, Галины. Ее подруга, Нина Козлова, знакомая Вени, попросила Галину пустить его пожить в квартиру на Камергерском. И, конечно, интересно вчитаться в воспоминания Галины, которая стала второй

официальной женой Венедикта Ерофеева:

«В общем, сначала все выглядело так, что я сдала свои комнаты писателю… Пустить в дом Ерофеева – все равно что пустить ветер, это не мужик, а стихия. И в житейском отношении я ничем не отличаюсь от большинства русских баб: и у меня муж был пьяница, и у меня он все пропивал. Когда за границей вышли «Петушки» – это ничего в нашей бедности не изменило… В доме я была добытчицей… Как я понимаю, всю жизнь Ерофеева преследовал голод… Мы прожили вместе 15 лет, и я не помню, чтобы он жадно ел… Я перестала, работать за год до его смерти, когда уже совсем уж ему стало плохо. Тогда деньги стали появляться, и пьеса пошла в театрах. А то, что я работала, – этими деньгами только за квартиру платить. А был период, когда я была в больнице, – нечем было и за квартиру платить. Тогда мать моя ездила отвозить ему еду. Все бывало. Все русские варианты мы прошли…» Галина Ерофеева вспоминает, как увлеченно Веничка интересовался политическими новостями, слушал радио, смотрел теленовости. Когда шел первый съезд народных депутатов, Веня говорил: «У меня работа. С десяти часов я на съезде». Он всегда был в курсе всего и обращался к жене: «Вот, девка, смотри». Он всех называл «девка» или «дурочка», большинство захлебывалось от возмущения: «Я дурочка?»

По воспоминаниям Нины Фроловой, сестры писателя, «Галя была ему как мама родная, а когда он заболел – тем более».

Но Галина была не единственная. Когда Веничка стал популярным, вокруг него роилось множество «жриц». «Эти «жрицы», – вспоминает Лидия Любчикова, – все занимались угождением ему и вели себя, как кролики перед удавом». Однажды они засыпали уснувшего Венедикта Ерофеева белыми хризантемами. Эффектная сцена: он возлежал на диване весь в цветах.

Ольга Кучкина спросила Вадима Тихонова, прожившего с Ерофеевым душа в душу более 32 лет: «А женщины Веничку любили?» Ответ Тихонова:

– Ой, Господи! Они от него вообще без ума были. Ему, придурку, 50 лет, а около него пасутся эти, девятнадцатилетние девки. Я ему говорю: какого хрена, Ерофеич, что ты с ними делаешь? Он говорит: я не знаю, что они со мной делают.

Из записных книжек Венедикта Ерофеева:

«Душою надо полнеть, девки, а не телесами».

«Не женщина, а телесное наказание».

« Вакханка-пулеметчица».

«И как жаль, что у нее только две коленки».

У Венедикта Ерофеева была мечта: всех девушек, которые его

любили, собрать за одним столом. Устроить эдакую Вальпургиеву ночь и посмотреть, как они будут вести себя – сами передерутся, может быть, его убьют, или все тихо будет.

Не собрал. Хотя в последние три года жизни Венедикта Ерофеева около него были две женщины: жена Галина и подруга Наталья Шмелькова (ученая-геохимик, кандидат наук, литератор, искусствовед, художница и очень красивая женщина, модель известных художников). Когда они познакомились, Веничка записал в своем дневнике: «Нахальная брюнетка». Затем они крепко подружились, но это были какие-то особенные отношения.

Наталья Шмелькова признавалась: «Это было многослойное чувство: и как к ребенку, и к мужчине, и к другу. И он ко мне так же. Я его матерью крестной стала...»

Это целая история: Ерофеев крестился в католическом костеле святого Людовика. Он принял католичество, ибо не любил православие «за холуйство».

Не будем копаться в отношениях Ерофеева и Шмельковой: то, что считает нужным, отдает на суд читателей сама Наталья Шмелькова: «Единственная любовь – Веничка. Я обожала его. Не подумайте, потому что писатель. Если бы он был дворником, кем угодно, при тех же качествах...»

А вот Галина иногда упрекала мужа, что он не кандидат наук, – она была кандидатом. И, к сожалению, психически больной женщиной. Во время осенних кризисов формулами исписывала обои и однажды хотела выброситься с балкона навстречу комете Галлея, которая тогда приближалась к Земле. Во второй раз попытка была успешной: она выбросилась из окна 13-го этажа. Это случилось после смерти Вени и не было самоубийством на почве любви и отчаяния.

«С чего начинается Родина?..»

@Epigr = «Что ж, и я Россию люблю. Она занимает шестую часть моей души».

@EPIGR-P = Венедикт Ерофеев

О женщинах поговорили, теперь – о Родине. Вряд ли Венедикт Ерофеев писал это слово с большой буквы. У него к ней было двойственное отношение, как у Лермонтова, к примеру. Его горькая фраза: «И еще угораздило родиться в стране, наименее любимой небесами» – явно восходит к пушкинской: «Чорт догадал меня родиться в России с душой и талантом!..»

Ерофеев хорошо знал не только русскую литературу, но и русскую историю, от Ивана Грозного до Иосифа Сталина, и со знанием дела говорил: «За кровавую блажь нескольких

параноиков должна платить вся нация».

К патриотам-невротикам типа Зои Космодемьянской Ерофеев испытывал ненависть. Их подвиги, воспетые пропагандой, служили, по его мнению, лишь укреплению власти, режима, а надо жить не для родины, а для себя – вот позиция Венички. «Политикой партии и правительства не интересуюсь. Газет не читаю, скрыт, замкнут, способен на любое преступление» – такую он давал себе шутливо-серьезную оценку в духе практиковавшихся в стране доносов.

Нет, газеты и журналы как раз он читал и очень интересовался происходящим в стране, особенно в горбачевский бурный период гласности и перестройки. Незадолго до смерти Веня как-то сказал Шмельковой: «Меня-то скоро не будет, а ты когда-нибудь испытаешь гордость за то, что жила в это время».

Своими проницательными глазами он видел все, что происходит в стране и с народом. Примечателен его воображаемый разговор с Василием Розановым в его знаменитом эссе:

«Не зная, чем еще высказать свои восторги (не восклицать же снова: «О, шельма!»), я пересел на стул, предоставив ему свалиться на мое канапе. И в трех тысячах слов рассказал ему о том, чего он знать не мог: о Днепрогэсе и Риббентропе, Освенциме и Осоавиахиме, об истреблении инфантов в Екатеринбурге, об упорствующих и обновленцах (тут он попросил поподробнее, но я подробнее не знал), о Павлике Морозове и о зарезавшем его кулаке Данилке.

Это его раздавило, он почернел и опустился. И только потом опять заговорил: об искривлении путей человеческих, о своем грехе против человека, но не против Бога и Церкви, о гефсиманском поте и врожденной вине.

А я ему – тоже о врожденной вине и посмертных реабилитациях, о Пекине и кизлярских пастбищах, о Таймыре и Нюрнберге, об отсутствии всех гарантий и всех смыслов...»

Вот как понимал Венедикт Ерофеев свою родину – как страну без всех гарантий и всех смыслов, то есть бесчеловечную.

Ему звонили. Угрожали: «Ерофеев, если вы не оставите свои семитские штучки, мы и вас не пожалеем, когда сила будет на нашей стороне». На этот счет Веничка говорил: «Если начнутся еврейские погромы, то в знак протеста переименую себя в Венедикта Моисеевича».

Запись из дневника Натальи Шмельковой от 17 февраля 1989 года:

«Вечер Вени в Литературном институте… Выступали Битов, Еременко, потом Веня. Много вопросов. Последний – про «Мою

маленькую Лениниану». Вот тут и началось!!! «…Этого плешивого мудака давно пора убрать из мавзолея». Под смех и аплодисменты парторг, вытянув шею, с пунцовыми пятнами на щеках, по ногам сидящих в ряду стремительно пробирается к выходу. «Коммунисты не способны решить никаких задач, – продолжает Веня. – Вот разве что СССР выиграл войну. Но коммунисты здесь ни при чем. Выиграл войну народ». Реакцией студентов остался доволен. Особенно когда садился в такси, а они на прощание махали ему вслед руками».

«Моя маленькая Лениниана» – это еще один маленький шедевр Ерофеева. О пастве Ильича Веничка писал:

Не одолев их буйной дури,
Он встал под знамя Ильича,
Теперь, мятежный, просит бури,
Как морда просит кирпича.

И еще один Веничкин прикол: «Да мало ли от чего дрожит рука? От любви к отечеству».

Болезнь и смерть

«Они вонзили мне шило в самое горло… Я не знал, что есть на свете такая боль. Я скрючился от муки, густая красная буква «ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не приду».

Венедикт Ерофеев.

«Москва – Петушки»

Венедикт Ерофеев успел увидеть свою пьесу «Вальпургиева ночь», дождался репетиций «Диссидентов», готовилась к публикации «Фанни Каплан». И – огромное количество незаконченного, недоделанного в ящиках письменного стола. «У него было миллион планов, и все готово, но в голове. Ему все казалось, что сейчас у него будет две свободные недели – он сядет и напишет, но сил уже не было» (Галина Ерофеева).

Сил не было – болезнь пожирала его изнутри. Ему были срочно необходимы хорошие врачебные руки, современные лекарства и новейшая медицинская аппаратура. Однако «компетентные органы» дважды не выпустили его из СССР на

лечение во Францию и Израиль. Про эти «компетентные органы» Венедикт Ерофеев говорил:

«И они копались, копались – май, июнь, июль, август 1986 года – и наконец объявили, что в 63-м году у меня был четырехмесячный перерыв в работе, поэтому выпустить во Францию не имеют никакой возможности. Я обалдел. Шла бы речь о какой-нибудь туристической поездке – но ссылаться на перерыв в работе двадцатитрехлетней давности, когда человек нуждается в онкологической помощи, – вот тут уже... Умру, но никогда не пойму...»

Весьма ценен дневник Натальи Шмельковой о последнем периоде жизни Венедикта Ерофеева:

1989 год. «3 ноября узнаю от него о возобновлении метастазов, начавшихся, оказывается, еще летом, о чем он никому не говорил. Поражаюсь его самообладанию, ведь все это время он вел себя как обычно, ровно, без тени паникерства.

В Абрамцеве он последний раз встречает свой любимый праздник – Новый год... 23 марта возвращается в Москву. Врачи обнаруживают увеличение лимфатического узла. Считая положение безнадежным, предлагают все же сделать несколько сеансов облучения. Ерофеев сопротивляется: «Не буду, ничего не хочу, хочу в Абрамцево». 28-го вызывается машина, чтобы повезти его на рентген. Он еще шутит: «Не надо такси, поеду на метрополитене, надо копить на домик». В больнице сообщают результат: «Это фатально, ничего не поможет».

10 апреля Ерофеев последний раз выходит из своего дома... Говоря, что «на этот раз я уже не выкарабкаюсь», берет в больницу книги, последние дневниковые записи... Врачи назначают капельницу... Ежедневно навещают родные, друзья, знакомые. Он всем рад. «Гости действуют на душу анестезирующе».

С 26 апреля наступают самые тяжелые дни. Ему постоянно колют сильнодействующие наркотики... 4 мая выдергивает из вены иглу от капельницы...

Уже находящемуся почти в полном беспамятстве писателю приносят в палату конверт со справкой о полной посмертной реабилитации его отца, Василия Ерофеева, пробывшего несколько лет в лагерях и выпущенного после смерти Сталина «за неимением состава преступления».

Перед Днем победы на очередной «летучке» разгневанно выступает дежурящий по ночам мед брат, жалуясь лечащим врачам, что приходит много народу, что в палате не продохнуть, что до 9-го можно еще потерпеть, а там...

9 мая. Состояние резко ухудшается. Вечером в палату заходит молоденькая, очень внимательная медсестра. Советует отказаться

от всяких антибиотиков – лишние мучения, обезболивающие – другое дело. «Не шумите. Он сможет уйти и сегодня, даже во сне».

10 мая. Врачи предупреждают, что предстоящая ночь – последняя.

11 мая, в 7 часов 45 минут, Венедикта Ерофеева не стало».

Так лаконично закончила свои записи Наталья Шмелькова. Его друг Игорь Авдиев написал так:

«Венедикт Васильевич Ерофеев проснулся в пятницу 11 мая, посмотрел на мир ясными голубыми глазами обиженного ребенка, как бы спрашивающими, за что «эта боль», «этот холод собачий», «эта невозможность», – и уснул навеки».

В дневниковых записях самого Венедикта Ерофеева есть такие слова: «Вот сейчас последний раз выдохну – и уйду в мир чистых сущностей».

Он умер 11 мая 1990 года. Немного не дотянул до августовского путча 1991 года. «Наверняка Ерофеев бы назвал его ПУТЧ-К: Пусть Умрет Такое Чудовище – Коммунизм! Не довелось ему порыдать над развалинами Империи Зла...» – написал в некрологе Слава Лен.

Далеко не железный Командор, а всего лишь Поникший Лютик покинул порог огромного сумасшедшего дома. Ушел «в мир чистых сущностей».

«Мы живем скоротечно и глупо, – признавался Венедикт Ерофеев Василию Розанову и кивая в сторону Запада, – они живут долго и умно. Не успев родиться, мы уже издыхаем. А они, мерзавцы, долголетни и пребудут вовеки. Жид почему-то вечен. Кощей почему-то бессмертен. Всякая их идея – непереходяща, им должно расти, а нам – умаляться. Прометей не для нас, паразитов, украл огонь с Олимпа, он украл огонь для них, мерзавцев...»

Нечто личное

@Epigr = «Пишущих много. Чтобы выдержать конкуренцию, надо иметь сердце на плечах, голову в груди».

@EPIGR-P = Венедикт Ерофеев

Марина Цветаева гордо писала: «Мой Пушкин». Если есть свой Пушкин, почему не может быть своего Ерофеева? Для меня Венедикт Ерофеев – «мой». Мой, потому что он некоторым образом мой двойник – во вкусах, в пристрастиях, в характере. Он, как и я, обладал страстью и усердием классификатора и коллекционера сведений. Он был собирателем фактов. «Любимым его коньком была систематизация. Вечно он что-то упорядочивал,

собирал, систематизировал. У него была страсть составлять антологии» (Лидия Любчикова).

«У него не было режима, не было понятия времени, но он совсем не был рассеянным профессором. Была и аккуратность, и математическая способность. Он все записывал, все подчеркивал» (Галина Ерофеева).

Боже мой, как похоже! Узнаю самого себя: я тоже собираю, подчеркиваю, выписываю, вечно что-то составлю; и систематизирую...

Венедикт Ерофеев любил фиксировать уличную температуру, вел дневник грибника (когда идут белые, рыжики, сыроежки и т. д.), составлял списки нормальной температуры диких и домашних животных. А главное – вынашивал идею антологии «Русские поэты». Мечтал создать «Календарь русских поэтов», где каждому дню соответствовало бы стихотворение. Венедикт Ерофеев не успел ее составить. А я составил, но... увы, ни одно издательство не заинтересовалось им. Какой календарь?! Какие поэты?! Главное – инфляция, цены, эмиссия... Главное не читать, главное – выжить!..

Но мне, конечно, грех обижаться, многое из моих систематизаций и импровизаций публикуется, и даже книги выходят. Так что некоторые идеи и мечты Венички Ерофеева я развиваю и несу читателям. Однако я, кажется, слишком увлекся в своем писании, и, как говорил Венедикт Васильевич, «слишком все это затянулось. Затянулось, как лобзанье».

Пора прощаться. Адью. Дай петушка!..

ИСТОРИЯ С ХРОНОЛОГИЕЙ

ПЕРВЫЙ СБОРНИК «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

Что было в далеком 1956 году? Главное, XX съезд партии и доклад Хрущева на закрытом заседании «О культе личности и его последствиях». Ошеломление. Потрясение. Шок. Страна как бы сбросила с себя оковы репрессивного прошлого. И медленно пошел процесс десталинизации. Илья Эренбург назвал этот период оттепелью. Все вздохнули с облегчением и надеждой на возвращение нормальной человеческой жизни, без боязни и страха.

И первой вздохнула культура. Именно в 1956 году состоялось зарождение театра «Современник». На экраны страны вышел драматический фильм «Сорок первый», появилась озорная комедия «Карнавальная ночь» и лирическая «Весна на Заречной улице». Вышел в свет роман Владимира Дудинцева «Не хлебым единым». И еще одно знаменательное событие произошло: 15 сентября был подписан к печати первый сборник «День поэзии» в веселой салатовой обложке с автографами поэтов. Любители поэзии и литературы встрепенулись и оценили этот сборник как поворот к лирике. Или можно сказать иначе, что поэзии предоставили зеленую улицу. И стихи хлынули весенним разливом, струящимся водопадом, стремительно и взахлеб.

«День поэзии» представил реабилитированных поэтов: Павла Васильева, Льва Квитко, Николая Заболоцкого, Сергея Клычкова и других поэтов, доселе вычеркнутых из советской поэзии. После длительного перерыва снова заблистали имена Сергея Есенина, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. А открывался «День поэзии» стихотворением старейшего поэта Николая Асеева:

Еще за деньги люди держатся,
как старины держались люди
во времена глухого Керженца,
но скоро этого не будет.

Еще ко власти люди тянутся,
не зная меры и цены ей,
но долго это не останется:
настанут времена иные...

Так казалось многим. Но этот прогноз не оправдался: сегодня и власть, и деньги – в цене, как никогда раньше. Повсюду властная вертикаль и диктат денег. И литература ныне на

обочине, и поэзией мало кто интересуется. Но тогда, в 56-м, это было начало расцвета. Лирический ренессанс.

Особенно радостно было возвращение подлинных классиков русской поэзии – Есенина, Цветаевой и Ахматовой. Правда, над Есениным еще довлела старая оценка как «певца отсталой дореволюционной деревни» с его неприемлемыми для бодрой советской поэзии «мотивами отчаяния, душевной опустошенности и настроения богемы, кабацкой тоски и удали» (Энциклопедический словарь, 1953). Но народ и особенно любители поэзии обожали Сергея Есенина: его старые книги не издавались, так их переписывали от руки в заветные тетрадочки, стихи читали и декламировали. «Гой ты, Русь, моя родная,/ Хаты – в ризах образа...», «Отговорила роща золотая...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»

Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»

Молодое поколение, не знавшее Есенина, с восторгом восприняло его стихи. Но первое собрание сочинений поэта в пяти томах появилось лишь позднее (1966 – 1968).

Если Сергей Есенин долгое время оценивался как кулацкий и упаднический поэт, то Марина Цветаева для власти была белоэмигранткой, хотя и возвратившейся позднее в СССР и тут же повесившейся. В этом же Энциклопедическом словаре (третий том, 1955) Цветаева не удостоилась чести быть представленной. Оперная певица Елена Цветкова была представлена, а Цветаева нет. И наконец ее представили в «Дне поэзии». А спустя 5 лет – в 1961 году – был издан ее небольшой сборник «Избранное», с которого и началась посмертная слава Марины Цветаевой.

Поэтесса Елена Тараховская вспоминала: «Я спросила: «Марина, неужели вы в Париже не скучали по России?» – «Моя родина везде, где есть письменный стол, окно и дерево под этим окном...» И все же Марина Цветаева испытывала сильнейшую ностальгию по родине. Помните ее признание: «Тоска по родине! Давно/ Разоблаченная морока!...» А в конце взрывные строки:

Но если по дороге – куст
Встает, особенно – рябина...

В том же Энциклопедическом словаре советского времени нет

и Анны Ахматовой, – еще живет и действует постановление ЦК партии от 1946 года о журналах «Звезда» и «Ленинград», где главные обвиняемые были Михаил Зощенко и Анна Ахматова. И вот подарок: в «Дне поэзии» чеканные алмазные строки Анны Андреевны. Она вновь возвращена в цветистые луга поэзии после душного заточения непечатания.

Когда бы вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда...

А первая тонюсенькая книга Анны Ахматовой после многих лет вышла в 1958 году. Новых стихов почти нет, одни старые, в том числе и написанные строки в 1927 году в Кисловодске:

Здесь Пушкина изгнанье началось,
И Лермонтова кончилось изгнанье...

1956 год – изгнанье кончилось и для многих советских поэтов. Кратко о некоторых из них. Павел Васильев. Мощный, самобытный поэт. Борис Пастернак отмечал, что Павел Васильев «был сравним с Есениным творческой выразительностью и силой своего дара». Одни «Стихи в честь Натальи» что стоят:

Я люблю твой телесный избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ноготков люблю...

Свою последнюю поэму «Христолюбивые ситцы» Павел Васильев дописать не успел, она оборвалась на полуслове. Его арестовали 6 февраля 1937 года и обвинили в принадлежности к «террористической группе правых» и 15 июля расстреляли. Павлу Васильеву шел всего лишь 28-й год...

Такая же печальная участь у еврейского советского поэта Льва Квитко, с той лишь разницей, что он погиб позднее – в 1952 году и в возрасте 62 лет. Один из друзей писал: «Казалось, он непременно доживет до ста лет. Было даже странно представить себе, что он может когда-нибудь хоть на миг заболеть. Коренастый, моложавый силач... Его любимейшее слово: хорошо. И второе любимое слово: чудо. Эта очарованность окружающим миром и сделала его детским писателем. На детей Квитко глядел

с завистью. «Каждый ребенок, – говорил он, – считает, что лужи созданы специально для его удовольствия».

О сладостной сливе, о славе ее
Никто не сказал еще слово свое... —

так писал Лев Квитко, еще не знавший горечи своей судьбы.

Классик русской поэзии – Николай Заболоцкий. Был арестован весной 1938 года и выслан на Дальний Восток. В Москву вернулся в 1946 году. В 1948 году вышла его книга «Стихотворения». Через 10 лет, в 1958 году, в возрасте 55 лет Николай Алексеевич Заболоцкий скончался. Его трехтомник вышел спустя годы – в 1984-м.

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, —
Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей...

Возвращаясь к 1956 году, следует отметить, что обложка сборника «Дня поэзии» стала совместным родным домом, куда вернулись многие замечательные поэты; кроме перечисленных, и Осип Мандельштам, и Сергей Клычков, и Николай Клюев, и многие-многие другие.

Через 5 лет – в 1961 году – вышла не менее знаменитая книга «Тарусские страницы», и в этом литературно-художественном сборнике тоже было много стихов. Поэты входили в моду: Евгений Винокуров, Наум Коржавин, Аркадий Штейнберг, Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Петр Семынин, Андрей Досталь... В «Тарусских страницах» было напечатано стихотворение Винокурова «Заведующий поэзией»:

Человек. В черных, как смоль, глазах
Лихорадочный блеск.
Заявление: «Прошу назначить меня
Писателем Советского Союза».
Сумасшедший...
Прут. Все пишут стихи.
Пишет весь мир!..

Да, было такое время; действительно, стихи «перли и перли» и их – удивительное дело! – читали! Романтики 50 – 60-х годов. Люди самоотверженно трудились на стройках коммунизма и тянулись к поэзии. Стихи были разные – нежные и трогательные, суровые и мужественные, простенькие и философские. В тех же «Тарусских страницах» появилось ставшее затем хрестоматийным стихотворение Наума Коржавина «Над книгой Некрасова»:

...Столетье промчалось. И снова,
Как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Она бы хотела иначе —
Носить драгоценный наряд...
Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Поэтический бум продержался три десятилетия: активно выходили поэтические сборники, в газетах регулярно печатались поэтические подборки, поэты собирали полные залы и целые стадионы. Выходили в свет сборники «День поэзии», один из последних вышел в 1986 году, больше 20 лет назад. Поэзия к тому времени изменилась по темам и тональности, стала более яростной и социальной, или гражданской, как говорили во времена Некрасова. К примеру, Евгений Евтушенко писал:

Зоя Осипова – телеграфистка.
В ее пальцах – такая печаль.
От нее и до полюса близко,
А до счастья – дальнющая даль.

Роберт Рождественский выступил со стихотворением-требованием «Отвечать!»:

Ситуация ошарашивает.
И уже
невозможно молчать!
Надо нам научиться
спрашивать.
А тем более —

отвечать!..

Ослабли цензурные вожжи, и поэты бросились с головой в общественную тематику. «Как научились воровать!/ Воруют все – напропалую...» – восклицал Николай Тряпкин. В «Дне поэзии» 1986 года опубликованы были стихи Владимира Высоцкого, которые ранее никак не проходили в печать:

Да, правда: тот, кто хочет, тот и может!
Да, правда: сам виновен, бог со мной!
Да, правда! Но одно меня тревожит:
Кому спасибо, что живой!

Короче, все было по Николаю Глазкову: «Сумасшедшие гении/ Сочиняли стихи или прозу...»

Стихи читали. Поэтам внимали. Им аплодировали. Была читающая нация...

Теперь стихи практически не печатают. Поэтов не видят в упор. Нация «суверенной демократии». Национальная идея – деньги. Бедная поэзия, как забитая золушка, притулилась где-то в углу. Плачет и молится. Молится и плачет...

Подайте бедной поэзии на пропитание и на поддержание духа!..

МАЙ – МЕСЯЦ ПОЭТОВ

Классифицировать писателей можно по-всякому: по алфавиту, по знакам зодиака, по годам рождения, по направлению творчества, по жанрам и т.д. А можно даже и по сезонам: зима – весна – лето – осень. К примеру, зима – холод самодержавия, лед крепостничества… Осень – промозглый ветер революции, слякоть социальных передряг… Лето – духота общественной жизни, неумолимая тяга покинуть столицу и уехать на юг… Весна – это пора надежд. И особенно выделяется май.

Май – удивительный месяц. Май леса наряжает, лето в гости ожидает. Благодатное время сочных трав, цветущих садов и долгожданной теплыни. А еще май примечателен тем, что в этом последнем месяце весны родилось много русских поэтов. Не поверите! 25!! Всех сразу и не представишь, поэтому предлагаю разделить их на тех, кто появился на свет в прошлые века, и на тех, кто творил совсем недавно, в XX столетии. Итак, часть первая…

Начнем, конечно, с «солнца русской поэзии», с **Александра Пушкина**. В советское время его лихо перенесли на новый стиль – на 6 июня. Но он ведь родился и отмечал свой день рождения 26 мая. И давайте договоримся: всех старых поэтов будем давать по старому стилю, это правильнее (так, кстати, поступает Историческая энциклопедия).

Итак, Александр Сергеевич. Оставим в стороне его общественную позицию и лирику, а зададимся вопросом: как он относился к временам года? Известна его любовь к зиме («Серебрит мороз увянувшее поле» и многие другие известные строки) и к осени (ах, эта плодотворная Болдинская осень!..). А весна? «Мне вас не жаль, года весны моей,/ Протекшие в мечтах любви напрасной…» И еще – «Не стану я жалеть о розах,/ Увядших с легкою весной…» И главное определение в стихотворении «Осень»:

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель: вонь, грязь – весной я болен…

Ну, хорошо, это – март. А май? Александр Сергеевич обошел май стороной. Как бы не заметил…

Посмотрим тогда, что писал предшественник и учитель Пушкина ***Константин Батюшков*** (род. 18 мая 1787). Вот, к примеру «Мои пенаты»:

Мой друг! Скорей за счастием
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастием
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!..

Остановимся на этом, чтобы не цитировать другие, более мрачные строки Батюшкова, типа:

Мой друг! Я видел море зла
И неба мстительного кары...

Следующий поэт. ***Алексей Хомяков*** (1 мая 1804). Глава славянофилов, апологет православия. Назвал Запад «страной святых чудес». И обращался к России с призывом: «Проснися, дремлющий Восток!» Хомяков взывал и к Киеву: «Пробудися, Киев, снова!» И в этом же стихотворении «Киев»:

– «Я от Ладоги холодной»,
– «Я от синих волн Невы»,
– «Я от Камы многоводной»,
– «Я от матушки Москвы»...

Далее по хронологии – ***Аполлон Майков*** (23 мая 1821). Москвич по рождению, как и Хомяков. Но 44 года прослужил в Петербурге в должности цензора. Его поэзия созерцательна, идиллична и отличается рассудочностью.

Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов...

Но Майкова знают, однако, не по этим строкам, а совсем по другим, ставшими хрестоматийными:

Весна! Выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.
Мне в душу повеяло жизнью и волей:

Вон – даль голубая видна...
И хочется в поле, в широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна!

Илиодор Пальмин (15 мая 1841). Имя малоизвестное. Но поэт был примечательный. О своем времени писал:

Поборник совести и чести
Идет с сумой или в тюрьму...

В письме к Лейкину Пальмин возражал против узких представлений последнего о патриотизме: «...люблю Русь, но всей душой, с остервенением, как бешеная собака, ненавижу и кляну систему и строй нашего общества, т.е. все то, что завещано веками, что поддерживается охранителями...» А цензор Сватковский жаловался на Пальмина: «Не знаю, что и делать с ним – кажется, ничего нет, пустишь, а потом смотришь – яд каплет между строками...»

Арсений Голенищев-Кутузов (26 мая 1848). Учился в Московском университете, а потом перевелся в Петербургский. Критики причислили его к школе Фета – Полонского. В советское время о Голенищеве Кутузове писали, что он был далек от общественной жизни и освободительного движения. Другими словами: аполитичный.

Прошумели весенние воды,
Загремели веселые грозы,
В одеяньях воскресшей природы
Расцвели гиацинты и розы...

Но не только радость, но и раздумья:

На шумном празднике весны,
При плеске вод, при звуках пенья,
Зачем мечты мои полны
Недугом скуки и сомненья?..

К. Львов – псевдоним. На самом деле: Витольд-Константин Розенблюм (1 мая 1862). Один из первых русских поэтов-эмигрантов.

Среди волнений мимолетных

И мимолетной суеты
Ищу я призраков бесплотных
Невыразимой суеты...

Константин Фофанов (18 мая 1862), которого Игорь Северянин определил так:

Певец весны, певец сирени,
И майских фей и соловьев,
Чьей лиры струны так весенни,
Чей стих журчливее ручьев...

У этого «весеннего» поэта была очень трудная и драматическая судьба, но он не уставал славить природу:

Там, за душной чертою столичных громад,
На степях светозарной природы,
Звонко птицы поют, и плывет аромат,
И журчат сладкоструйные воды.

И дрожит под росою душистых полей
Бледный ландыш, склоненный бокалом, —
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом...

Полной противоположностью Фофанову был поэт ***Иван Рукавишников*** (3 мая 1877). Поэт насупленный, мрачный. Одно его стихотворение «Страшное» что стоит!

Поскорей бы к концу! Но не видно конца...
И к убийству сжимаются руки...

Максимилиан Волошин. В автобиографии писал: «Я родился в Киеве 16 мая 1877 года, в день Святого духа». «События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми...»

Вошел незваным, пришел я непрошеным.
Мир прохожу я в бреду и во сне...
О, как приятно быть Максом Волошиным —
Мне!

Волошин – поэт разноплановый, сложный. Суть жизненных целей выразил так:

Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цветы вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями.
Всё воспринять и снова воплотить.

Писал стихи и акварели. Не будем касаться его пламенных строк о революции и России («Революция губит лучших,/ Самых чистых и самых святых...»; «В анархии – все творчество России...» и т. д.) Приведем нейтральный отрывок из «Старых писем»:

Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов...

Поэт Серебряного века ***Виктор Гофман*** (14 мая 1884), решивший уйти из жизни в 27 лет.

У меня для тебя столько ласковых слов и созвучий,
Их один только я для тебя мог придумать, любя,
Их певучей волной, то нежданно-крутой, то ползучей,
Хочешь, я заласкаю тебя?..

Корифей Серебряного века – ***Владислав Ходасевич*** (16 мая 1886). Ревнитель традиций «пушкинской школы». Пушкин был кумиром Ходасевича.

В том честном подвиге, в том счастье песнопений,
Которому служу я каждый миг,
Учитель мой – твой чудотворный гений,
И поприще – волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу.

Увы, ныне русский язык в беде, и нет нового Ходасевича, чтобы его поддержать и воспеть. Но это уже иная тема, и бросаем

мостик к другому поэту.

Игорь Северянин (4 мая 1887), поэт ананасов и шампанского. О нем я подробно писал в своей книге «Ангел над бездной» (2001). Среди мириадов стихов этого плодовитого поэта выберем строки, посвященные именно весне – «Весна – и гул, и блеск, и аромат».

Опять весна взошла на пышный трон,
И снова сад весной благоухает...

В «Поэзе майских дней» Северянин восклицал: «Какие дни теперь стоят!/ Ах, что за дни!..» И далее:

Чего-то жду, кого-то жду...
Так страстно жду весь день...
Сирень, сирень в моем саду!
В моем саду – сирень!

Сирень как эмблема мая. «Тревожит душу зов любви,/ Сирень, весна и соловьи...» «Шумите, вешние дубравы!/ Расти, трава! Цвети, сирень!..» А раз весна, то – «Еще душа веснится и верит...» Отсюда и «Поэза раскрытых глаз»:

Арфеет ветер, далеет Нарва,
Синеет море, златеет тишь,
Душа – как парус, душа – как арфа.
О чем бряцаешь? Куда летишь?..

Но радость – чувство мимолетное, и вот уже «Поэза раздражения» и «Поэза странностей жизни»: «Встречаются, чтоб разлучаться... Влюбляются, чтоб разлюбить...»

От Игоря Северянина – к ***Михаилу Зенкевичу*** (9 мая 1891). Поэт-акмеист. Один из основателей советской школы поэтического перевода.

Поэт – наркоман, а какой наркоз
Ужасней наркоза рифм!..

На этом завершим первую часть нашего маленького представления «Май – месяц поэтов». Как говорится, продолжение следует. Поэзия – действительно наркотик. Только безопасный, благородный и приятный.

* * *

Поэты XX века, родившиеся в мае. Если не нарушать хронологического ряда, то парад открывает ***Николай Ушаков*** (25 мая 1899), тонкий мастер стиха, умело сочетающий пушкинско-тютчевскую традицию с новаторством.

Но я, писатель терпеливый,
храню, как музыку, слова.
Я научился их звучанье
копить в подвале и беречь.

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь, —

писал Ушаков в стихотворении «Вино». И еще о себе: «Томит вопрос: что я такое – /Неотшлифованный алмаз/ Иль только стеклышко простое?»

Николай Заболоцкий (7 мая 1903). Без преувеличения классик русской поэзии. Его «Городские столбцы», написанные давно, сегодня не кажутся абсурдными – «и всюду сумасшедший бред». Бред нас действительно окружает. И – «стоят чиновные деревья,/ почти влезая в каждый дом...»

Заболоцкий – певец природы. Для него весна – «вешних дней лаборатория», где

В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная пенится
И кипит сама собой.

И знаменательное признание поэта:

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.

Но весна – период не только созерцания и любования, но и поэтического вдохновения:

А весна, сумасбродка небес, —

И подружка моя, и поэма.

Главный завет Заболоцкого: «Не позволяй душе лениться! / Чтоб в ступе воду не толочь, /Душа обязана трудиться /И день и ночь, и день и ночь!»

Иосиф Уткин (28 мая 1903), ровесник Заболоцкого. Поэт совершенно иного плана. Более лирический и более ироничный, достаточно прочесть его «Повесть о рыжем Мотэле»:

И над каждой слабенькой крышей,
Как она ни слаба,
Свое счастье,
Свои мыши,
Своя судьба...

У Уткина есть «Стихи красивой женщине», которые вновь звучат злободневно. Это строки о легкомысленных женщинах, «живописных лахудрах»:

Разве – это ищут люди?
Разве – это людям надо?
То кокетничает грудью,
То кокетничает задом...

Выходишь сегодня на улицу и видишь: джинсы спущены, пупок наружу, – и вперед с мобильником! Но, с другой стороны, как заметил поэт: «Опадет черемухи нежность, /Опадет и вновь родится. /К нам же молодость и нежность /Никогда не возвратится...»

Как говорится, пойдем дальше. Суровый поэт ***Леонид Мартынов*** (22 мая 1905). Он требовал дать ответ:

Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Вопрос кардинальный и на него надо ответить.

Поэтесса трагической судьбы – ***Ольга Берггольц*** (16 мая 1910). Жизненные вехи: комсомол и гибель близких, арест и тюрьма, ленинградская блокада и сталинская премия, выход книг и раззор души… – список «горьких лет гонения и зла». Приведем строки Берггольц из цикла «Родина» (1939):

Изранила и душу опалила,
Лишила сна, почти свела с ума…
Не отнимай, – раскаешься сама!
Не отнимай, чтоб горестный и славный
Твой путь воспеть, чтоб хоть в немой строке
Мне говорить с тобой, как равной с равной, —
На вольном и жестоком языке!

Иная, вполне благополучная судьба ***Евгения Долматовского*** (5 мая 1915). Начал печататься с «Пионерской правды» и публиковался до последних дней, без сучка и задоринки. Автор многочисленных лирических песен – «Все стало вокруг голубым и зеленым…» (помните фильм «Сердца четырех»?); и «Как много девушек хороших, как много ласковых имен…» (это уже «Веселые ребята»). Не своей лирикой остался в памяти Долматовский, а именно своими песнями, точнее, текстами песен: «Провожают гармониста в институт…», «За фабричной заставой…», «Школьные годы», «Если бы парни всей Земли…» И полная уверенность, что «И на Марсе будут яблони цвести…» Если кому-то хочется припасть к оптимистическому источнику, то читайте Евгения Ароновича. А если к горькому – то ***Бориса Слуцкого*** (9 мая 1924). Он тоже поначалу верил и в светлое будущее, и в мудрых вождей. Прозрение пришло позднее.

Вожди из детства моего!
О каждом песню мы учили,
пока их не разоблачили,
велев не помнить ничего.
Забыть мотив, забыть слова,
чтоб не болела голова…

Борис Слуцкий занял решительную позицию, порвав с прошлым: «Я в ваших хороводах отплясал…»:

Я был в игре. Теперь я в не игры.
Теперь я ваши разгадал кроссворды.

Я требую раскола и развода,
и права удирать в тартарары.

Далее по хронологии – ***Булат Окуджава*** (9 мая 1924). Поэт арбатского двора.

Ах Арбат, мой Арбат, ты – мое призвание,
Ты и радость моя, и моя беда.

Ну, и, конечно, «моя религия» и «мое отечество». И очень приятно предполагать, что «Часовые любви на Волхонке стоят, / Часовые любви на Неглинке не спят...» А разве не замечательно пел Булат Шалвович про то, как

На фоне Пушкина снимается семейство.
Как обаятельны (для тех, кто понимает)
все наши глупости и мелкие злодейства
на фоне Пушкина! И птичка вылетает...

Но, увы, не осуществилась надежда, что «мы все теперь в обнимку». Все теперь порознь. Разбиты на свои социальные группы. И все поклоняются своим кумирам («Дураки обожают собираться в стаю, /впереди главный – во всей красе...»). И остается только молитва:

Пока Земля еще вертится, Господи, – твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому хоть до исхода дня.
Каину дай раскаянье... И не забудь про меня...

XX век – печальные песни. Сколько в мире накопилось ненависти и зла, что многие поэты не выдержали напряжения и сорвались в пропасть небытия, как это случилось с Юлией Друниной в ноябре 1991 года. А родилась ***Юлия Друнина*** 10 мая 1924 года в Москве. Ее вещей темой была война, в которой она непосредственно участвовала. Она была связной «между теми, кто жив и кто отнят войной».

Не говорю, что жизнь проходит мимо —
Она и нынче до краев полна.
И все-таки меня неудержимо
Влечет война.

Но когда страна отвернулась от социализма и вступила в войну за капитализм, Юлия Друнина не выдержала и свела счеты с «новой» жизнью. И, как написала о Друниной Римма Казакова:

Сама за край предела,
хоть это и грешно,
ушла, не захотела
досматривать кино.

Очередной «майский» поэт – ***Андрей Вознесенский*** (12 мая 1933). К нему у меня особое отношение: вместе учились в московской школе № 554 в Стремянном переулке. Он свою первую книгу «Мозаика» выпустил в 1963 году, а я на путь писательства вступил значительно позднее – первая книга «От Рюрика до Ельцина» вышла в 1993 году. Когда я подарил ее Андрею, он сказал про меня: «Поздняя ягода». Я очень люблю раннего Вознесенского и настороженно отношусь к позднему: слишком сложно, метафорично, барочно. А в «Треугольной груше», к примеру, всё проще, ярче, выпуклее: «В ревю танцовщица раздевается, дуря...», «Царь застыл – смурной, малохольный...», «Завораживая, манежа, /Свищет женщина по манежу!..», «Не сбываются мечты, /С ног срезаются мячи...».

А как со временами года у Вознесенского? Он, как Пушкин: много об осени и совсем мало о весне. «Васильки Шагала» – но это лето. Есть, правда, строки о марте:

По Суздалю, по Суздалю
Сосулек, смальт.
Авоською с посудою
Несется март!..

Но март уже прошел. А авоськи вовсе исчезли. Вместо тетенек с авоськами – девочки с пирсингом. Настали новые времена, когда

Нет времени читать статьи глупцов,
набрать грибов ни в Бологое, ни в Бремене
нет времени. И даже на любовь
нет времени.

А что есть? «Словно гоголевский шнобель, /над страной летает Мобель». Все обращаются только по мобильнику: ты чо?! Ты где?!.

На сердце хмара.
В век безвременья
мы не построили своего храма.
Мы все – римейки.

Мы возвели, что взорвали храм.
Нас небеса еще не простили —
мы не построили своего храма.
В нас нету стиля...

А какой стиль был у ***Иосифа Бродского*** (24 мая 1940)? Нобелевский – это точно. Если возвращаться к теме «Времена года», то у Бродского есть строки об осени, есть «Стихи об апреле», а о мае я не нашел. Зато есть знаменитые «Письма к Римскому другу»:

Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство...

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
Но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
Лучше жить в глухой провинции, у моря...

И совет Бродского, питерца, который нашел последний приют в Венеции: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...»:

Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более – изувеченным...

Как будто Бродский угадал будущее, когда писал эти явно иронические строки. Жизнь внесла коррективы: вместо вербальной иронии – нож в спину. «Такие времена!» – как говорит не поэт, а телеведущий Владимир Познер. И как хочется уйти в

другие, более спокойные и безопасные, где «май-баловник», «май-чародей» «веет свежим опахалом». И повторим вслед за «майским» поэтом Константином Фофановым:

Дорогая моя! Если б встретиться нам
В звучном празднике юного мая —
И сиренью дышать, и внимать соловьям,
Мир любви и страстей обнимая...

А может быть, старое доброе время вернется?.. Но возникает вопрос, а было ли старое время добрым? Конечно, нет. Само время – это жесткая штука, а литература под стать времени. Как сказал молодой современный критик: «Русская литература – это кульминация России, ее возгонка в реторте духа». Ну, а ее создатели, наверное, алхимики: всё перемешивают, добавляют, короче, химичат. Может быть, в этом смысле прочитанная вами книга – универсальная, синтетическая, органическая с добавлением пепла Клааса, который стучит в сердце.

notes

Примечания

1

Чтение питает ум (*лат.*).